

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ

На правах рукописи

ЛЕЩАК Олег Владимирович

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

10.02.19 - общее языкознание, социолингвистика,
психолингвистика

10.02.01 - русский язык

Диссертация
на соискание ученой степени доктора филологических наук

Научный консультант - член-корреспондент МАН ВШ,
доктор филологических наук, профессор Немец Г.П.

ТЕРНОПОЛЬ – 1997

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I.	
Типологические черты функциональной методологии лингвистики	
§ 1. Проблемы онтологии вербального смысла как объекта лингвистического исследования.....	21
1.1. Тетрихотомия в лингвистической методологии.....	21
1.2. Функционализм как онтологическая позиция в лингвистике.....	32
1.3. Языковая деятельность как целостный объект функционального лингвистического исследования: к онтологии соотношения языка, речевой деятельности и речевых произведений.....	44
§ 2. Проблемы гносеологии и генезиса вербального смысла.....	75
2.1. Тетрихотомия в гносеологии как исследовании генезиса смысла.....	75
2.2. Функциональное понимание становления и развития вербального смысла.....	89
2.3. Функциональная семиотика и проблема соотношения вербального и невербального смысла.....	99
§ 3. Типологические проблемы методики лингвистического исследования.....	138
3.1. Лингвистическое исследование как коммуникативно-предметная мыслительная деятельность. Характер теоретического познания и проблема источника базы лингвистических данных.....	138
3.2 Соотношение лингвистического знания и вербального факта в процессе исследования. Тетрихотомия в методике лингвистического исследования.....	147

ГЛАВА II.

Языковая деятельность в свете функциональной методологии

§ 1. Методологические проблемы структуры и объема вербального смысла и организация информационной базы языка.....	160
1.1. Функциональное понимание познавательной деятельности и методологические проблемы структуры и объема вербального смысла.....	160
1.2. Методологические проблемы формирования объема и структуры информационной базы языка.....	191
1.3. Семантическая структура речи и речевых знаков.....	250
§2. Методологические проблемы речевой деятельности и структура внутренней формы языка.....	307
2.1. Составные речевой деятельности и их отражение в структуре внутренней формы языка. Режимы речевой деятельности и модели внутренней формы языка	307
2.2. Структура и функционирование моделей речепроизводства.358
2.3. Фонация и графическое оформление речи и их отображение во внутренней форме языка.....	425
2.4. Знакообразование и словопроизводственные модели внутренней формы языка.....	459
2.5. Обобщение: структура внутренней формы языка.....	488
ВЫВОДЫ.....	491
ЛИТЕРАТУРА.....	508

ВВЕДЕНИЕ

Всякая теория, если она претендует на роль научной теории, должна содержать в себе, как минимум, два четко определенных положения: об объекте исследования и о наборе методов и приемов научного анализа объекта. Без этого неперемного условия всякая теория становится неуловимым, ускользающим от рук и глаз фантомом, который, в лучшем случае, может произвести на читателя благоприятное впечатление и вызвать у него эстетическое удовольствие. Очень немногие лингвисты составляют себе труд определиться как в плане онтологического статуса объекта, так и в отношении гносеологических и методических основ своего исследования. Это совсем не значит, что их лингвистические исследования лишены методологических оснований. Различное видение онтологических, гносеологических и методических аспектов исследования, как правило, имплицитно присутствует в любом теоретическом, а подчас и практическом споре между лингвистами. Многие лингвисты не отдают себе отчет в том, что их теоретическое противостояние с тем или иным оппонентом разрешимо только в том случае, если они стоят на идентичных методологических позициях, в противном случае их спор либо принципиально не может быть разрешен, либо должен быть переведен в плоскость методологической дискуссии о самих основаниях исследования. Понятие методологии, принятое нами в этой работе, согласуется с мнением тех ученых и философов, которые видят в методологии основания теоретической эвристики, т.е. учение о принципиальных основаниях познавательной деятельности и основных критериях выбора и определения объекта, критериях его исследования, включая и выбор тех или иных приемов и методов (М.Ярошевский, Н.Наливайко, Э.Юдин): "... под методологией следует понимать систему общих принципов (способов) организации и трактовки знания, а не только теоретические постулаты, на которых оно базируется" (Ярошевский, 1984:329), "Никакая простая совокупность методов не

составляет еще методологии” (Наливайко, 1990:48), “Методологический подход - это принципиальная методологическая ориентация исследования, точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования” (Юдин, 1978:143). В лингвистике это положение еще не достаточно осмыслено. Ученые не всегда осознают эти аспекты исследования, из-за чего их работы оказываются весьма противоречивыми в теоретическом отношении. Далеко не все лингвисты понимают, что в языкознании, как и в других гуманитарных науках, нет и не может быть т.н. общих мест, трюизмов или аксиом, если только ученый методологически осознанно подходит к своему исследованию.

Будучи одной из наиболее древних областей знания, лингвистика, тем не менее, до сих пор представляет собой набор разрозненных рефлексий по поводу чего-то неопределенного, что в быту называют языком. Говоря о неопределенности объекта лингвистики, мы нисколько не преувеличиваем. Термин "язык" безо всяких оговорок, как бы для простоты, очень часто используют и в смысле языковой системы, и в смысле речевой деятельности, и в значении языковой деятельности, и для обозначения результатов речи, причем этот термин используется как в отношении естественной человеческой коммуникации, так и в отношении коммуникации животных или искусственных вспомогательных коммуникативных систем. При этом строгое размежевание данных понятий считается чуть ли не дурным тоном и огрублением, упрощением тонкой и многообразной материи языка. Такой подход к лингвистике, ставший модным в последнее время в так называемых "постмодернистских" течениях, представляется нам существенным отступлением от того уровня научности, которого достигла лингвистика во время расцвета структурализма, особенно в его пражской разновидности.

Разногласия (не в смысле конфронтации, но в смысле разногласия) в вопросе онтологического статуса объекта исследования и

гносеологических основ его изучения, как правило, начинаются уже с вопроса о том, что же должны исследовать лингвисты: письма, звуки, тексты, значения, поведение, действия и отдельные поступки людей, их психическое или физиологическое состояние, абстрактные идеи или конкретные предметы и наблюдаемые ситуации и т.п. Даже определившись в этом отношении, исследователь еще не закрыл для себя вопрос о методологических основаниях своего исследования. Следует еще ответить на вопрос: а что есть данный объект исследования, где и как он есть, почему и зачем он есть, как мы можем знать, что он есть и почему мы можем быть в этом уверены, каким образом мы сумели обнаружить его и каким образом мы можем что-либо о нем узнавать.

Таким образом, первый серьезный критерий лингвистической методологии - онтологический - должен касаться центральной проблемы всякого лингвистического исследования: что есть объект исследования лингвистики и каковы его главные характеристики. Однако само по себе представление об объекте исследования не порождает научную теорию и не образует направления в лингвистике. Для этого необходимо еще осознание гносеологических принципов изучения данного объекта. Мало знать объект своего исследования. Для лингвистики как гуманитарной дисциплины проблема гносеологического критерия является не менее значимой, чем проблема онтологии объекта. Лингвист должен четко отдавать себе отчет в том, что представляют из себя все его познавательные шаги относительно объекта и как следует интерпретировать все наличные и возможные результаты его исследовательской деятельности. Прежде всего он должен понимать сущность связи между объектом его исследования и собственной гносеологической позицией, а также осознавать прямую зависимость между этой позицией и возможными последствиями его исследования. Наконец, третьей составляющей методологической специфики любой теории является позиция ученого касательно характера и места тех или иных научных методов и исследовательских приемов, ко-

торыми он пользуется в ходе исследования. Методика исследования в значительной степени может испытывать на себе влияние онтологической или гносеологической позиции, но может быть и свободной от них, особенно тогда, когда эти позиции четко не осознаются лингвистом или являются смешанными в типологическом отношении.

Последовательно отстаивая позиции апостериорного ментализма, мы полагаем, что по своему объекту лингвистика представляет собой весьма своеобразную отрасль знаний как со стороны онтологии ее объекта, так и со стороны познания этого объекта. Прежде всего, ее объект является одновременно продуктом психической деятельности конкретного индивида и межличностной коммуникации множества представителей некоторого социума, а, значит, он в равной степени естественен и искусственен. Несомненно, языковая способность - продукт человеческой деятельности, но это продукт не всегда или всегда не сознательной деятельности. Даже столь крайние формы сознательного лингвистического конвенционализма, как искусственные языки, отличительными чертами которых являются такие рациональные характеристики, как обратимость структуры и однозначность единиц, в случае их социализации и последующей психологизации претерпевают изменения и постепенно приобретают черты всякого естественного языка, как то: полифункциональность единиц, историческая изменчивость, динамичность связей и отношений единиц в системе и функциональная гибкость в их использовании. Именно этот аспект имел в виду Ф. де Соссюр, когда описывал язык в качестве самонастраивающейся системы. Сам по себе процесс самонастраивания системы ни в коей мере не означает ее статичности. С одной стороны, будучи естественным коммуникативным средством, язык подчинен психологическим законам развития человеческого организма (и в этом смысле не терпит вмешательства факторов, являющихся несвойственными его внутренней организации), но, с другой стороны, будучи продуктом межличностной коммуникации и предметной деятельности, язык постоянно приспосабливается к их нуждам, изменя-

ясь формально и содержательно. Таким образом лингвист имеет дело с постоянно изменяющимся и, вместе с тем, с постоянно целостным объектом.

Еще одна специфическая онтологическая черта объекта лингвистики - это его одновременная единичность и множественность. Нет двух людей, обладающих идентичной языковой способностью, идентичными языковыми возможностями и идентичным речевым опытом. Нет человека, чьи языковая компетенция и интуиция оставались бы неизменными на протяжении сколько-нибудь продолжительного временного отрезка. Тем не менее, ни у кого не возникает малейшего сомнения в том, что его язык - это именно его язык (и вчера, и сегодня), что эти два человека говорят на одном и том же диалекте или языке, что все люди говорят на языке (не важно, на какой из его типологических или этнических разновидностей именно). Исследуя язык, лингвист должен постоянно учитывать то, что исследует свой объект одновременно как нечто индивидуальное и нечто социальное.

Язык, как известно, по отношению к лингвистике является одновременно и объектом, и средством исследования. "Слово есть философия факта, - писал Лев Выготский, - оно может быть его мифологией и его научной теорией" (Выготский, 1982, I:365-366). Это делает любые попытки лингвиста хоть как-то объективировать свою деятельность тщетными, если, конечно, под "объективацией" понимать поиск некоторой объективной, независимой от исследователя истины.

Эта проблема имплицирована в науках, исследующих чувственно наблюдаемые объекты (вроде естественных наук) или в науках, изучающих высококонвенциональные смысловые объекты (вроде математики). Так, если естествовед или математик ошибутся, ошибочность их методик и подходов видна практически сразу. Смысловой режим относительно их объектов задан либо естественным развитием человеческого сознания (т.н. "здравым смыслом"), либо теоретической конвенцией исследователей. Практически нельзя встретить естествоведа, который бы усомнился в том, действительно ли то, что он исследует, явля-

ется "Солнцем", "ветром", "камнем", "растением", "человеком", "животным", "светом", "температурой" и т.д. не в смысле их названий (в этом случае легко и охотно вводятся условные символы), а в смысле их наличия в качестве таковых. Уилфрид Селларс, один из наиболее функционально мыслящих рационалистов об этом написал так: "Структура здравого смысла совершенно ложна, то есть такие вещи как физические объекты и процессы структуры здравого смысла, реально не существуют", но тут же объясняет, что "конечно это не означает, что не существует столов или слонов. Данное утверждение нужно понимать в том смысле, что столы и слоны реально не существуют так, как они представляются здравым смыслом..." (Селларс, 1978:376). Точно так же ни один математик не сомневается в том, что существуют числа, математические действия, что "2" есть продукт прибавления "1" к "1" или вычитания "1" из "3". Иное дело гуманитарий. Нельзя себе представить, например, языковеда (если не брать во внимание дилетантов, ориентирующихся на школьные грамматики), который бы однозначно соглашался с тем или иным высказыванием другого языковеда без учета методологической позиции последнего.

В лингвистике метод, подход играет едва ли не доминирующую роль. Подход в лингвистике определяет не только характер и средства исследования, но и самое объект. "Оказывается, что факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно разные факты" (Выготский, 1982, I:359) [выделение наше - О.Л.]. Зная, на каких позициях стоит исследователь, в принципе, можно спрогнозировать результаты его исследований. Вместе с тем, не зная методологических основ той или иной теории, практически невозможно сколько-нибудь верно интерпретировать содержащиеся в ней положения. Это предопределяется именно специфическим характером объекта лингвистики. Истинность или ложность научных представлений в лингвистике целиком зависит от системы координат, заданной тем или иным методом или подходом. Поэтому единственное требование, которое можно выдвинуть к лингвистической теории любой ме-

тодологической ориентации, - это непротиворечивость положений в пределах заданных теорией критериев.

Естественно, данное положение может оказаться губительным для всяческой возможной критики, поскольку всякая теория верна уже сама по себе, если она внутренне непротиворечива. Однако это не так. Для языкознания очень сложно выстроить абсолютно конвенциональную систему координат, которая бы никак не соприкасалась с предметно-коммуникативной деятельностью, т.е. была бы абсолютно спекулятивной. В этом смысле лингвистика напоминает любую естествоведческую дисциплину. В крайнем случае, об объекте можно судить по внешезвуковым сигналам и поведенческим реакциям испытуемых (что зачастую и принимается за лингвистическое исследование). И все же, указанные феномены, хотя и не являются собственно лингвистическими объектами, могут и должны учитываться как факторы, объективизирующие исследование. Та или иная лингвистическая теория может быть верифицирована (или, скорее, фальсифицирована) не только со стороны собственной внутренней непротиворечивости, но и со стороны предметно-коммуникативных результатов ее применения. Нельзя не согласиться со Стефаном Тулмином, что “изучение отдельного концептуального выбора в науке на его историческом и общекультурном фоне не оправдывает автоматически ни самого этого выбора, ни критериев, которыми он детерминирован. Однако такой анализ дает нам возможность увидеть все богатство рассуждений, которые привели к соответствующему решению, и его следствия, как ожидаемые, так и неожиданные” (Тулмин, 1978:189).

Важным гносеологическим фактором лингвистического исследования является личность самого исследователя. Знание языка, языковая компетенция и языковая интуиция (именуемая иногда “языковым чутьем”) в значительной степени определяют и методику лингвистического анализа, и научную картину языка, создаваемую лингвистом в своих работах. Польский лингвист Иренеуш Бобровский на одной конференции обосновал блестящую и очень простую мысль

о том, что, несмотря на источник базы лингвистических данных, декларируемый лингвистом в качестве основного или единственного, таковым является всегда только его собственная языковая компетенция и интуиция. Лингвист не в силах обнаружить в речи окружающих то, что не является частью его собственной индивидуальной языковой способности. Вилем Матезиус в заключение статьи “Функциональная лингвистика” заметил, что “Не может быть лингвистом нового типа тот, кто не наделен тонким чутьем языковых ценностей” (Mathesius, 1982:38).

Значит ли то, что единственным источником базы данных является психика самого исследователя, необходимость использования исключительно интроспективных методов познания? Отнюдь. Каждый психолог знает, что сознательная и целенаправленная интроспекция практически никогда не ведет к удовлетворительным результатам. Менее всего человек способен сознательно объективно охарактеризовать собственные действия, поступки, знания, в том числе и лингвистические. В этом состоит еще один парадокс лингвистики. Лингвистическое исследование по своему направлению может быть только интенциональным, направленным вовне, на чужую языковую деятельность. Но по своей сущностной характеристике оно всегда интроспективно. Иными словами, исследуя других, мы исследуем в первую очередь себя. Но исследовать себя непосредственно, без опосредующего звена в виде партнера по коммуникации невозможно.

Константная актуальность методологической проблематики заключается в том, что, как и всякий другой теоретический или научно-практический вопрос, вопрос о принципах и критериях исследования также методологически детерминирован. Это значит, что отвечать на этот вопрос приходится также с определенных методологических позиций. А значит, не только теоретические положения или практические результаты, но и самое видение общего положения дел в лингвистике в конечном счете полностью зависит от методологической позиции автора. Именно поэтому смена методологии исследования

влечет за собой не просто смену способа лингвофилософской рефлексии или смену методического инструментария, но и смену самого видения картины науки и ее объекта.

В современной литературе по данному вопросу существует очень широкий спектр мнений. Отстаивая функциональное понимание методологии лингвистики, мы вынуждены отметить причины неприятия существующих точек зрения на само понятие методологии и на те методологические классификации, которые предпринимаются как самими лингвистами, так и философами языка. Все существующие мнения относительно сущности методологического подхода или течения в лингвистике можно разделить на идеологические, теоретические, дисциплинарные, диахронические, этнические и собственно эпистемологические.

Идеологическое понимание методологии досталось современной постсоветской лингвистике в наследство от тоталитарного прошлого и квалифицируется нами как наименее научное. Это практически всегда методологическая дихотомия: диалектико-материалистическая (единственно верная, плодотворная и перспективная) vs. буржуазная (чаще всего, идеалистическая, тупиковая, ошибочная) методология. Подобным пафосом проникнуты не только работы по методологии советского периода (Е.Миллер, Г.Мартинovich), но иногда и постсоветские исследования, например, коллективная монография “Методологические основы новых направлений в мировом языкознании” (см.Основы, 1992).

Очень часто понятие методологических основ лингвистического исследования подменяется понятием его теоретических основ. В этих случаях в ранг методологий возводятся отдельные теории. Так, в работах лингвистов можно встретить выражения о методологии лингвистической относительности, дескриптивной, бихевиористской методологии (Г.Яворская, Т.Харитоновна - см.Основы, 1992), генеративно-трансформационной, когнитивной (Петров, 1988) или суждения о специфических методологиях глоссематики, структурализма, общей

теории систем (Ж.Пиаже, Э.Юдин), теории речевых актов, теории речевой деятельности, теории коммуникации. Чаще всего теоретическая типология методологических подходов смешивает методологию с методикой, применяемой (часто *ad hoc*) для подтверждения той или иной теории. Так, методологические черты могут приписываться даже отдельным методическим приемам или конструктам, таким как принцип достаточности, квантитативный анализ или дискурс, введение которых в научный обиход квалифицируется как эпизод методологического переворота (Паршин, 1996). Отстаиваемая нами в данной работе структурно-функциональная теория языковой деятельности также ни в коем случае не должна смешиваться с функциональной методологией, на основе которой она строится.

Более распространенной и разнообразной является дисциплинарная типология методологии. В этом случае понятие методологии приписывается приоритетам, которым следует лингвист или целая школа в исследовании той или иной стороны объекта или аспектам, в которых осуществляется исследование. Так, можно услышать о биологической, социологической (социолингвистической), психологической (психолингвистической), физиологической или логической методологии лингвистики (А.Хайнц; см. Heinz, 1978), системологической или динамической методологии (Э.Юдин), семасиологической или ономасиологической методологии (Даниленко, 1993, Зубкова, 1988), методологии (лингвистической философии) имени, предиката или эгоцентрических слов (Руденко, 1993), отражающей приоритетность семантики, синтактики или прагматики (являющихся, как известно, всего лишь аспектами семиотики, выделенными еще Ч.Моррисом) в лингвистическом исследовании и под. Столь же дисциплинарным, а не методологическим, является противопоставление классического структурализма (и соссюрвской семиологии) прагматическому или когнитивному функционализму (и пирсовско-моррисовской семиотике) (Т.Линник - см. Основы, 1992), поскольку различие между ними не в способе и характере видения и понимания сущности объекта и теории

его познания, а в преимущественном интересе к системе языка (в первом случае) и преимущественном интересе к исследованию речевых актов (во втором). Даже в самых новых работах можно встретить противопоставление существующих направлений по методологическому принципу формальности или функциональности (Ньюмейер, 1996), который на деле оказывается либо разделением на лингвистику слушающего (семасиологи-ческую, описательную) и лингвистику говорящего (ономасиологи-ческую, объяснительную), где отдается предпочтение одной из сторон коммуникации - восприятию или порождению высказывания, либо разделением на лингвистику преимущественно семантическую и лингвистику преимущественно формально-грамматическую, тяготеющие к исследованию той или иной стороны семиотической деятельности - плана выражения или плана содержания. Иногда методологическая типология может представляться как междисциплинарное явление (напр., принципиальное противопоставление методологии лингвистики и истории О.Ткаченко - см. Основы, 1992). Смешивание методологии и дисциплины может проявляться также и в требованиях квалифицировать некоторую область познания в качестве науки только в случае наличия единой общедисциплинарной методологии (Цв.Тодоров). В этом вопросе мы разделяем мнение Р.Фрумкиной (Фрумкина, 1996) о правомочности и необходимости наличия множества методологических подходов в пределах одной и той же гуманитарной дисциплины, в частности, лингвистики.

Очень распространенным видом методологической типологии является также диахроническое понимание методологии, восходящее к куновскому принципу сменяющих друг друга во времени научных парадигм. Такое понимание наиболее свойственно феноменологически (реалистически) ориентированным лингвистам и философам языка, поскольку предвидит наличие на каждом этапе развития науки единой и единственной парадигмы. Различия в подобных трактовках касаются, как правило, только количества парадигм, а отсюда - и способа

перехода от одной к другой. Если таких парадигм всего две, то их смена представляет собой колебания маятника или восхождение по гегелевской триаде (П.Паршин), если их три, то они сменяют друг друга по кругу (Д.Руденко), если их бесконечное множество, то они следуют друг за другом чередой (Т.Кун).

Иногда можно встретить анализ методологических подходов, типологизированный по этническому или этнополитическому принципу (американский структурализм, английский эмпиризм, французский функционализм, советская лингвистика) (С.Магала, А.Хайнц, Лингвистический энциклопедический словарь) или близкому к нему теоретико-географическому принципу однозначной привязки методологии к той или иной школе (методология Казанской, Лондонской, Женевской, Львовско-Варшавской школ, Пражского, Копенгагенского, Венского кружков и под.), хотя почти всегда в подобные школы входят ученые различной методологической ориентации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В данной работе представлена собственно эпистемологическая функциональная, плюралистично-системная версия сосуществования парадигм, предполагающая наличие в современной лингвистике, с одной стороны, стольких методологических подходов, сколько существует самостоятельно мыслящих лингвистов, а с другой, - наличие четырех глобальных методологических направлений, постепенно сложившихся в ходе исторического развития лингвистики вследствие самоограничения и сближения индивидуальных методологий на основе принципиальных онтологических и гносеологических постулатов о сущности объекта лингвистики. По нашей гипотезе, методологические подходы не сменяют друг друга, но, однажды возникнув (оформившись), сосуществуют, трансформируясь и реализуясь в различных теориях и школах. Поэтому, в отличие от перечисленных выше версий, наш подход предполагает одновременное наличие нескольких

возможных методологических решений сходных лингвистических проблем, которые могут быть конвертированы в другую методологию только с учетом их типологических различий. В силу своего антропоцентрического характера функциональная методология не может выдвигать претензии на роль единственно возможной методологии. Применительно к лингвистике плюрализм функциональной методологии основывается именно на идее синхронного сосуществования нескольких методологий, предлагающих параллельные пути развития лингвистики в будущем столетии. Отсюда первая проблема, составляющая одну из двух задач данной работы - проблема определения сущности лингвистической методологии в свете функционализма как методологического направления. Несмотря на кажущуюся несводимость лингвистических исследований, исповедующих различные взгляды на то, что следует понимать под термином "язык", мы попытались ввести в одну парадигму лингвистические школы и направления на основе целого ряда критериев онтологического, гносеологического и методического характера.

Нерешенность методологической проблемы в лингвистике делает любое методологическое исследование константно актуальным. Актуальность нашей работы кроме этого состоит также в том, что с выходом постсоветской лингвистики из узких рамок марксистско-ленинской идеологии, у лингвистов все чаще проявляется заведомо отрицательное отношение к самому понятию методологии исследования, но говоря о том, чтобы активно разрабатывать и культивировать этот аспект научной деятельности. Об актуальности и, что более важно, нерешенности методологической проблематики, касающейся современного состояния лингвистических и лингвофилософских поисков, свидетельствует повсеместное проведение итоговых научных собраний, симпозиумов и конференций, посвященных принципиальным методологическим вопросам лингвистики конца XX века. С одной стороны, причина этому чисто мифологическая - магия числа (вступление в новое тысячелетие), но с другой, - назревшая к концу XX века

необходимость качественного обновления научного мышления, связанная с крушением глобального идеологического противостояния и переходом многих стран к созданию общества открытого типа. В этом смысле нам представляется, что функциональная методология, вызревшая в гуманистических и плюралистичных по своей сущности концепциях И.Канта, В.Джемса, К.Поппера и других философов, и не получившая своего полноценного воплощения в гуманитарных науках (в т.ч. и в лингвистике) вследствие чрезмерной увлеченности идеями реализма (феноменологией, марксизмом, томизмом, религиозным экзистенциализмом, оккультизмом), эмпирического позитивизма (бихевиоризмом, вульгарным материализмом, натурализмом) или рационализма (логицизмом, сциентизмом, солипсизмом), на общем фоне “бесчеловечности современной лингвистической парадигмы” (Караулов, 1986) заслуживает того, чтобы стать одной из равноправных основ для теоретических поисков в лингвистике XXI века.

Основной мыслью, которую нам хотелось бы подчеркнуть, прежде чем приступить к подробному анализу методологических подходов в лингвистике, является то, что в силу изложенной специфики человеческой языковой деятельности в языкознании невозможно построение какой-либо стройной теории без последовательного решения методологических проблем и, в первую очередь, без тщательной синхронизации всех трех составляющих методологии: онтологии объекта, гносеологии исследования и методики исследовательских приемов. Совмещение всех трех позиций представляет один из существенных моментов новизны данного исследования. Принципиально новым является также представление тетрихотомической (четырёхкомпонентной оппозитивной) модели современной лингвистической методологии и обоснование функционализма как целостного методологического направления, принципиально противостоящего позитивизму (эмпиризму), рационализму (солипсизму) и феноменологии.

Второй задачей данной работы наряду с анализом существующих методологических подходов к исследованию языка и обоснова-

нием на их фоне основ функциональной методологии лингвистики является изучение возможности последовательного применения оснований функциональной методологии к исследованию конкретных аспектов языковой деятельности славянского этнокультурного типа.

В данной работе мы не ставим перед собой задачи охватить все вопросы и проблемы современной лингвистики и, тем более, дать единственно верные ответы на подобные вопросы. Это и невозможно, так как сам по себе язык (как некая “вещь-в-себе”) непознаваем ни эмпирическими описательными методами, ни трансцендентальными спекуляциями. Познавать можно лишь язык как конкретное явление, т.е. функцию человеческой деятельности. Именно языковую деятельность, понятую как коммуникативно-экспрессивное отношение между предметно-коммуникативной и психомыслительной деятельностью человека, мы представляем в качестве основного объекта лингвистики. Гораздо более важной нам представляется задача полноценного обоснования самой постановки лингвистических вопросов с последовательных позиций функциональной методологии. Отсюда - принципиальное переосмысление сущности объекта лингвистического исследования - языковой деятельности, совершенно новая трактовка структуры языка, речи и речевой деятельности, сущности языкового и речевого знаков, их структурной организации и функционального соотношения.

Практическая значимость работы сорстоит в том, что в работе предлагаются пути решения многих противоречивых моментов как в теоретических лингвистических исследованиях, так и в преподавании славянских языков. Результаты исследования могут быть применены как в разработке конкретнаучных аспектов современной лингвистики, так и в практике вузовского преподавания для разработки методологически последовательных учебных курсов.

Структура работы непосредственно отражает поставленные задачи. В первом разделе предлагается обоснование основ функциональ-

ной методологии на фоне принципиально отличных от нее методологических подходов, что предполагает ответ на следующие вопросы:

- чем принципиально отличается функциональная методология лингвистики от других существующих (существовавших) подходов;
- что является объектом лингвистики в функциональной методологии;
- каковы онтические свойства, структура и способ существования, генезис и функционирование этого объекта;
- как следует изучать этот объект, какие приемы и методы следует признать наиболее адекватными функциональному пониманию объекта и его изучению,

а во втором - на основе выдвинутых постулатов - излагается собственно авторская версия функциональной теории языковой деятельности как психосемиотической функции активного социализированного индивида, что, в свою очередь, предполагает функционально-методологическое обоснование ответов на вопросы:

- что есть языковая деятельность, каковы ее составные и каково их структурное соотношение друг с другом, каковы их характеристики;
- каковы единицы составных языковой деятельности и каковы характеристики и свойства этих единиц;
- какова структура единиц языковой деятельности.

Вся дополнительная информация, включая историко-философские экскурсы, обоснования частных вопросов функциональной методологии, схемы, таблицы и рисунки вынесены в отдельные "Приложения".

На защиту выносятся следующие положения:

- функционализм представляет собой целостное методологическое направление, отличающееся собственной онтологической концепцией объекта, собственными гносеологическими принципами его исследования и собственной спецификой проведения лингвистического анализа;
- в современной лингвистике полноценно развились четыре противостоящих методологических направления - позитивизм, рационализм, феноменология и функционализм;

- объектом исследования в функциональной методологии лингвистики является языковая деятельность обобществленного индивида как единственная онтически реальная форма существования кода человеческой коммуникации, состоящая из трех смежных объектов - языка, речевой деятельности и речи (речевых произведений);
- языковая деятельность представляет собой смысловую психосемиотическую сущность; языковые и речевые знаки и речевые процессы - это онтически различные сущности в пределах языковой деятельности;
- язык не обладает уровневой структурой и состоит из информационной базы (системы языковых знаков) и внутренней формы (системы языковых моделей);
- речевая деятельность состоит из двух обратно пропорциональных процессов - речепроизводства (синтаксирования, фонации и графического оформления) и знакообразования (образования языковых знаков);
- речь представляет собой линейную синтагматическую последовательность речевых знаков, равно эксплицирующих языковую и внеязыковую мыслительную семантику.

ГЛАВА I. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИКИ

§ 1. Проблемы онтологии вербального смысла как объекта лингвистического исследования

1.1. Тетрихотомия в лингвистической методологии

Лингвистика, равно как и другие гуманитарные науки, своим предметом желает видеть нечто, имеющее отношение к смыслу. Все существующие и существовавшие в лингвистике школы, течения и направления были таковыми (и являются сейчас) только потому, что они объединялись тяготением их представителей к единообразной постановке вопроса о смысле. Проблемы дефиниции языка, его составных, функций, устройства, истории, функционирования, форм представления и т.п. всегда были и будут производными от этой главной методологической проблемы: что есть смысл, где он, как возникает и существует и зачем он есть.

Естественно, приступая к вскрытию любой научной проблемы, следует понимать, что и само исследование, и его результаты *a priori* “освящены” методологической позицией исследователя. Не является исключением и эта работа, хотя одним из объектов наблюдения будут именно различные методологические позиции. Субъективизм подобного предприятия очевиден, поскольку с одной методологической позиции будут рассмотрены не просто результаты чьих-то исследовательских действий, которые, казалось бы, лежат на поверхности, и даже не сами методы и приемы такой деятельности, а то, что движет этими методами и приемами и заставляет прийти к подобным результатам - методологическая позиция исследователя..

Одной из самых больших сложностей методологической работы является вопрос о методологии как критерии организации научно-философской деятельности как отдельного исследователя, так и це-

лых групп, именующих себя школами, течениями или направлениями. М.Хайдеггер прав, говоря: “Поскольку современная наука есть теория ... в любом ее рассмотрении решающее первенство принадлежит способу “смотрения”, т.е. характеру прослеживающе-устанавливающего подхода, т.е. методу” (Хайдеггер, 1993: 246). Сторонники абсолютного методического плюрализма в науке при тщательном анализе их работ оказываются сторонниками онтологического плюрализма, в то время как сторонники школ и “парадигм” - так или иначе поддерживают идеи инвариантного единства мира или инвариантного единства сознания. Даже те, которые решительно опротестовывают решающую роль онтологии в науке, сами оказываются выразителями некоторой онтологии. Нельзя не согласиться с М.Вартофским, что “... попытка что-либо понять связана с признанием чего-то в качестве реального и с рассмотрением суждений относительно этого реального как истинных” (Вартофский, 1978:87).

Поскольку одним из основных законов функционирования сознания является закон экономии (инертности) (в этом мы полностью разделяем мнение Дж.Агасси - см.Агасси, 1978), а основным мыслительным приемом - аналогия, оказывается, что в расхожей сентенции “Все новое - это хорошо забытое старое” есть много правды. Подавляющее большинство ученых и философов не столько продуцируют новое путем вскрытия или изобретения абсолютно нового и доселе небывалого, сколько по-новому интерпретируют чьи-то идеи, которые, в свою очередь и в свое время, были такими же интерпретациями. Базисные идеи, подвергшиеся новой интерпретации, просто были ранее не замечены или не до конца продуманы, неточно сформулированы или же неверно применены в ходе их социализации. Причин может быть множество. Не последняя из них - опережение автором своего времени и пренебрежение к мнению современника, всегда господствовавшее и поныне господствующее в науке. Проникновение новых взглядов (интерпретаций) в широкую теоретическую сферу (социализация идей) занимает определенное время. Это время можно назвать пе-

риодом формирования школы, течения (“парадигмы”). Затем он сменяется периодом критики и забвения. Мы совершенно не согласны с идеей Т.Куна (см.Кун,1977) о том, что “парадигмы” совершенно не сводимы друг к другу и научным понятиям одной парадигмы нет места в другой, а “научная революция” призвана сменить одну парадигму другой. Это было бы возможным только в том случае, если бы наука (или философия) была полностью априорной и никак не детерминированной со стороны предметно-коммуникативной деятельности ученого или философа и была бы чистой работой мозга. Но это не так. Научная или философская деятельность - лишь рефлексия над обыденным сознанием, являющимся их онтической и эпистемологической базой. Мы полностью разделяем мнение Патрика Серио, что “в лингвистике (и вообще в гуманитарных науках) парадигмы не сменяют друг друга и не отрицают друг друга (в смысле “не устраняют” - О.Л.), но накладываются одна на другую, сосуществуют в одно и то же время, игнорируя друг друга” (Серио,1993:52). Но мы бы не хотели впадать ни в одну из крайностей - ни в крайность полного отрицания возможности существования течений и школ, как это делают некоторые критики науки, ни в крайность обратную - отрицания всякой возможности построения новой концепции (в том числе методологической) и самой возможности различных взглядов на решение одной и той же или аналогично понятой проблемы. Сущность функциональной методологии, основы которой мы здесь рассматриваем, состоит в том, что взглядов на одну и ту же проблему может существовать столько, сколько возможно различных постановок вопроса, т.е. бесконечное количество; но, вместе с тем, общность предметно-коммуникативной деятельности, в рамках которой возникли эти взгляды, детерминирует их единство по более высокому принципиальному критерию. Таким наивысшим критерием является обыденная жизнедеятельность и обыденное сознание со всеми его достоинствами (многовековым опытом открытий и познания) и со всеми его недостатками (многовековым опытом заблуждений и предрассудков).

Это генетическая онтологическая предпосылка единения (но не холистического единства) взглядов. Есть и функциональная посылка - это научно-теоретическая коммуникативная деятельность ученого (преподавательская или академическая), сопровождающая получение им образования, участие в научных дискуссиях (конференции, публикации, защита диссертаций) или самообразование (конспектирование, рецензирование). Вольно или невольно он оказывается втянутым в некоторый социум единомышленников (реальный или условный, номинальный - через заочное знакомство по публикациям). Но, несмотря ни на что, нет такой степени единства взглядов, которая бы полностью поглощала индивидуальность ученого. Следует иметь в виду, что первичной и базисной онтологической формой существования науки или философии, с точки зрения функциональной методологии, все же остается теоретизирующая деятельность индивидуального сознания. В этом смысле нам вполне понятна та настойчивость, с которой Имре Лакатос разграничивал "внутреннюю" и "внешнюю" историю науки (См. Лакатос, 1978).

Намечая контуры собственной методологической позиции, мы тем самым уже подошли к постановке главного вопроса лингвистической методологии - вопроса об онтологии смысла как объекта исследования (познания). Трудность оценки возможных методологических позиций, как нам кажется, состоит прежде всего в том, что выражение мысли, ее оформление и обоснование требует апелляции к предыдущему опыту, но нет никакой уверенности в том, что наши аргументы и авторитеты, к мнению которых мы будем апеллировать, не окажутся совершенно ничего не значащими для тех, кто стоит на иных методологических позициях. Однако с этим придется примириться из-за отсутствия иных способов изложения мысли.

В данной работе мы пытаемся обосновать лингвистическую методологию на базе кантовского понятия трансцендентальности человеческого познания. Говоря о выдвинутом И. Кантом понятии "трансцендентальное", мы намечаем основные точки отсчета в методологиче-

ском вопросе о смысле. Такими точками нам представляются пространственная и временная проблема смысла, иначе говоря, проблема локализации смысла и его темпорального определения. Как это ни странно, но у ученого или философа нет иной возможности ответить на вопрос "что есть смысл?", как ответить на вопрос "где и когда есть смысл?" или "где и когда он возникает и существует?" Категории времени и пространства представляют собой одни из очень немногих общих понятий, принимаемых в самых различных теоретических построениях в качестве аксиом человеческого мышления. Во всяком случае, не найдется человека, который бы в своей деятельности смог обойтись без представления о пространстве и времени.

Понятия пространства и времени влекут за собой другую пару понятий, с которыми они неразрывно связаны, которые они обуславливают, но вместе с тем и сами являются обусловленными ими - это понятия предметности (субстанции) и процессуальности (действия и состояния). Определяя что-то как предмет, мы выделяем его в пространстве среди других нетождественных или тождественных предметов. Но, определяя нечто как предмет, мы тем самым и определяем его бытийность, т.е. то, что он есть, он действует во времени. В лингвистическом отношении эти достижения человеческого сознания обрели форму имени и глагола, категорий, присущих всем без исключения человеческим языкам.

Именно это побуждает нас поступить вполне естественным (человеческим) образом и, задавая себе вопрос о смысле (выражающемся, например, во всех славянских языках именем существительным), отвечать на него так, как если бы дело обстояло с определением некоего предмета (доселе невиданного и незнаемого), т.е. локализовать его в пространстве, а затем (или одновременно с этим), установив его бытийность, определить его временные характеристики. Только в связи с этими процедурами и после них мы решимся на определение сущности смысла применительно к лингвистике.

Задаваясь вопросом о месте локализации смысла (как первом онтологическом критерии), невольно приходится вооружаться тем, что Кант называл трансцендентальным или критическим мышлением, т.е. априорно подыскивать место смыслу в своем представлении о мире. И здесь мы сталкиваемся с очередной трудностью методологического характера: смысл есть где-то, или это я сейчас пытаюсь втиснуть его во что-то. Можно поставить проблему шире: смысл есть вне человека (любого, каждого) или же вне человека никакого смысла нет. Таким образом мы выстроили первую дихотомию касательно локализации смысла: “в человеке // вне человека” (Подробно обоснование именно такой постановки вопроса представлено в монографии “Языковая деятельность”; см. Лещак, 1996б:20-22). Все существующие теории смысла, а следовательно, и теории языка как средства сохранения, передачи или порождения смысла в методологическом отношении расходятся по две стороны локальной (пространственной) оси: феноменализм (онтологический объективизм) - ментализм (онтологический субъективизм). Историко-философский экскурс о возникновении феноменализма и ментализма и их основных разновидностей - эмпиризма, феноменологии и рационализма дан в приложениях (См. Приложение 1).

Во втором случае носителем смысла, а следовательно, языковым субъектом оказывается человек, а в первом - некий объективно существующий феномен (текст, предмет, сигнал) или сам язык, Дух, Бог, мир и т.п. Обычно принято считать, что подобная дистрибуция автоматически исключает в менталистских теориях признание какого бы то ни было соответствия смысла некоей вне человека существующей реальности, а в феноменалистских (реалистских) теориях - наличия каких бы то ни было субъективных смыслов. Тем не менее, они встречаются весьма часто. Однако это второстепенные постулаты, либо выходящие за пределы проблемы смысла (как “вещь-в-себе” или природа как возможный опыт в трансцендентальной теории Канта), либо касающиеся частных проблем теории (как множественность ин-

терпретаций или личностные смыслы в герменевтических или описательных лингвистических теориях). Поэтому при оценке той или иной теории с методологических позиций следует соизмерять важность постулируемых положений по отношению друг к другу и их месту в теории.

Естественно, вынося смысл в сферу объективного (объективизм), т.е. утверждая, что "содержание познания независимо от субъекта и от человечества и относительно существования объективной действительности оно дано объективно" (Schaff, 1965, 98) и что "Дух ... есть сама себя поддерживающая абсолютно реальная сущность" (Гегель, 1992: 234), ученые и философы далеко не всегда соглашались в вопросе о характере бытования смысла, формах его существования, т.е. относительно процессуальных, а следовательно, темпоральных свойств смысла. Одни исследователи связывали смысл только с конкретными физическими феноменами, скептически относясь к наличию неких универсальных (абстрактных) смыслов, детерминирующих наличие смыслов "реальных", другие же, выводили смысл за пределы конкретных жизненных (эмпирически осязаемых) проявлений в область виртуального, потенциального. Позицию первых можно было бы назвать условно апостериорной (онтологически детерминированной), позицию же вторых - априорной (онтологически индетерминированной). К.Поппер выдвинул подобную классификацию методологических воззрений относительно объективистских теорий. Он размежевал в рамках историзма (концепции вынесения смысла за пределы сознания и психики человеческой личности) методологический эссенциализм, характеризующийся тенденцией к телеологии и поиску сущности, скрытой от непосредственного чувственного созерцания, и методологический номинализм, акцентирующий внимание на единичных фактах бытования вещей в конкретных событийных ситуациях (См. Поппер, 1994, I: 84-90). У В.Джемса это размежевание обозначено как противостояние рационализма (интеллектуализма), под которым он понимает реалистическую платоно-гегелевскую традицию и эмпиризм

ма (сенсуализма), которым он именует распространенный в конце XIX века физико-биологический позитивизм (См.Джемс,1995:8-13).

Этот же темпоральный критерий, как нам представляется, лежит в основе размежевания и менталистских теорий. Здесь также нет единства в вопросе о темпорально-процессуальных свойствах смысла в человеческом сознании (психике, душе). Одни исследователи полагают, что смысл наличествует у человека до и вне опыта как способность к порождению смысла. При этом сам смысл приобретает процессуальное, нестабильное свойство: он порождается в ходе реализации этой врожденной способности. Другие исследователи считают, что смысл детерминирован общественным укладом, социальными отношениями, является продуктом предметной (и эмпирически ориентированной мыслительной) деятельности индивида и характеризуется стабильностью и инвариантностью. Так, в частности, Кант писал: “Всякое познание вещей из одного чистого разума есть не что иное, как призрак, и лишь в опыте есть истина” (Кант,1993:192).

Так выкристаллизовалась вторая ось, которую можно было бы назвать временной или темпоральной: индетерминированность (онтологический априоризм) - детерминированность (онтологический апостериоризм). Как следует из сказанного, все теории смысла, во всяком случае те, которые получили более менее завершенное оформление, можно противопоставить в методологическом отношении по двум глобальным критериям характеристики смысла: локальному (менталистские и феноменалистские) и темпоральному (априорно индетерминированные и апостериорно детерминированные). Следовательно, таких методологически дистрибуированных направлений может быть четыре: апостериорно-феноменалистское (позитивистское, сенсуалистское, эмпирическое), априорно-феноменалистское (реалистское, эссенциалистское, феноменологическое), априорно-менталистское (субъективистское, солипсическое, рационалистическое, логико-позитивистское) и апостериорно-менталистское (функциональное, прагматистское, деятельностное). Аналогичные тетрихо-

томические модели в классификации лингвофилософских теорий находим и у других исследователей (об этом см. Приложение 2).

Такое размежевание методологических позиций имеет несколько условный характер. В чистом виде оно встречается крайне редко, однако методологическая нечистота лингвистических теорий, если и не бросается в глаза сразу, то весьма существенно сказывается на стройности теории, доказуемости ее положений, концептуальной согласованности задач, приемов, методов и результатов исследования.

Одним из центральных моментов противопоставления методологических позиций в лингвистике является вопрос о формах бытования смысла, который, прежде всего, сводится к проблеме понимания инварианта. Философские основания этой проблемы изложены нами в Приложении 3. Одна и та же методологическая посылка относительно признания или непризнания наличия инвариантного смысла наряду с единичным может присутствовать в онтологически противоположных теориях (инвариант не признают как натуралистические, так и логические позитивисты, в то время как оба модуса существования смысла признают феноменологи и функционалисты). Но это сходство лишь поверхностное, поскольку атонизм (фактуализм) позитивистов второй половины XIX века и вульгарных материалистов XX далеко не идентичен логическому, субъективно-рациональному фактуализму представителей Венского кружка, Львовско-Варшавской школы и американской школы логической семантики. Столь же различны понятия инварианта в традиции гегельянства, феноменологии и герменевтики и в традиции функционального структурализма. Таким образом критерий признания или непризнания той или иной формы бытования смысла прямо не совмещается с рассмотренным нами ранее локально-темпоральным критерием. Для различения теорий по их тяготению к признанию или непризнанию "реальности" (в любом возможном понимании) инварианта следует ввести термины "категоризирующие" и "референцирующие" методологические направления.

Существенное различие между категоризирующими и референцирующими теориями смысла состоит прежде всего в самом понятии о сущности и понимании ее места в методологических построениях. Референцирующее представление о смысле - чисто фактуальное. Здесь если и встречается понятие сущности или инварианта, то оно резко противопоставляется понятию явления как ирреальное - реальному со всеми вытекающими отсюда методологическими последствиями. У нас не вызывает сомнения собственно субъективный характер инварианта (поскольку именно так понимается инвариант в функционализме). Сомнение вызывает безапелляционное признание реальности (объективной реальности) явления и, отсюда, истинности единичного знания, фактуального знания в позитивистских методологических построениях, а также произвольность и полная индивидуальность единичного смысла в рационалистских теориях. К тому же сама сущность инварианта в позитивистских теориях представлена все так же референциально, атомистически - как простого множества или суммы единичных смыслов. Подобное понимание инварианта находим у В.Солнцева: "Понимание языка как реального средства (орудия) общения, а речи как применения, использования этого средства заставляет считать, что язык состоит из того же, из чего состоит речь - из конкретных экземпляров, но представленных в виде классов или множеств, названия которых (т.е. исследовательские конструкты - О.Л.), отображающие свойства этих множеств, и есть инварианты" и, далее, "Значение любой единицы само по себе инвариантно и служит основой для объединения в вариантный класс разных экземпляров единицы, обладающей этим значением. Разные значения одного и того же слова не варьируют, а аккумулируются в слове" (ЛЭС, 1990:81).

Такого рода трактовки инварианта - как суммы вариантов или как чисто искусственного конструкта - мы относим к референцирующим методологическим направлениям. Таковы физикалистский позитивизм и логический рационализм. В отличие от них, феноменология и функционализм должны быть отнесены к категоризирующим методологи-

ям, поскольку в теориях этого типа признается несомненная реальность инварианта. Принципиальное различие между ними - признание внеличностной реальности инварианта у феноменологов и признание психологической реальности инварианта у функционалистов.

1.2. Функционализм как онтологическая позиция в лингвистике

Функциональная лингвистика как методологически оформившееся направление языковедческой мысли появилась в начале XX века. Это наименее разработанное в методологическом отношении течение в лингвистике. Вопрос о научно-теоретических и философских истоках функционализма был частично затронут в связи с размежеванием функционального и рационального подходов в пределах субъективно-менталистской методологии (См. Приложение 1). Здесь уместно еще раз подробнее остановиться на тех теоретических положениях т.н. трансцендентальной критики И.Канта, которые обычно затушевываются исследователями его взглядов. Речь идет о попытке Канта совместить в пределах одного методологического подхода трансцендентальный субъективизм и эмпирический детерминизм. Внимательное прочтение работ И.Канта с опорой на новейшие исследования в области психологии человеческой деятельности и нейрофизиологии мозга позволяют увидеть в теории И.Канта нечто совершенно новое, до сего времени не оцененное по достоинству и не подвергнутое современной интерпретации.

Анализируя субъективизм Протагора, Декарта и Канта, Мартин Хайдеггер совершенно верно выделил из этого ряда Р.Декарта как собственно субъективиста, тогда как Канта причислил к последователям Платона. Что же заставило Хайдеггера так поступить, если априоризм и субъективизм Канта в современной науке практически не подвергаются сомнению и считаются характерными признаками кантианства? Хайдеггер в качестве доказательства своего тезиса, в частности, приводит цитату из Канта: "Условия возможности опыта вообще суть одновременно условия возможности предметов опыта" (Цит. по: Хайдеггер, 1993:163). Однако, как нам кажется, Хайдеггер редуцировал как второстепенное то обстоя-

тельство, что понятие опыта у Канта и у Платона и платоников не идентично. Опыт в системе трансцендентализма И.Канта - это чисто субъективное, менталистское, антропологическое положение. Это не опыт как абсолютный дух, но опыт человека как такового. Понятие опыта или, точнее, возможного опыта нам представляется центральным в кантовской методологии смысла. Это тот момент, который, с одной стороны, делает возможным существование мира, а в нем человека как части этого мира, а с другой, ограничивает существование мира для человека условиями его (человека) возможного опыта. Мир, таким образом, существует для человека в той мере и в той форме, в которой человек способен, может (категория "возможности") его опытно постичь. Однако сами эти возможности постоянно изменяются. Изменяясь, они изменяют характер человеческого опыта и тем самым меняют понимание самого мира как природы, как возможного опыта. Поэтому мир (как его видит и понимает человек) меняется вместе с человеком. Но формула возможности опыта гораздо более емкая. В ней есть фактор нереализованности, будущее время человеческого познания. Опыт, как возможный опыт, это не только то, что человек (человечество) уже познал или познает сейчас, это также (а, может быть, прежде всего) то, что он способен познать в будущем. Однако в понятии возможного опыта есть и ограничительный гносеологический момент, который рассматривается большинством философов как агностическая позиция Канта. Агностицизм Канта состоит собственно в том, что в силу ограниченности эмпирико-сенсорных возможностей и в силу наличия трансцендентальных форм познания в виде категорий времени и пространства, у человека сложился определенный тип познания мира, а именно понятийно-субстанциальный, в пределах которого мы и постигаем природу, мир как возможный опыт. Возможности постижения мира в этих формах и этим способом практически безграничны, но выйти

за пределы своего возможного опыта для человека значило бы выйти в сферу невозможного, такого, для познания чего у нас нет никаких опытных оснований.

Такой онтологический статус человеческого сознания позволяет одновременно видеть в человеке субъект предметной деятельности (опыта) и субъект формирования смысла, под которым понимается форма видения мира сквозь призму прошлого, настоящего и возможного опыта. Именно этим можно объяснить, почему человеку удается правильно прогнозировать и реализовать свою предметную деятельность, и, вместе с тем, почему на каждом новом этапе реализации возможного опыта человек несколько по-иному понимает мир, чем его предшественники.

Ограниченность же нашего познания состоит именно в том, что мы мыслим наш мир в категориях субстанции и процесса, а следовательно - пространства и времени. Кант сам попал в ловушку этого способа мышления, когда стал говорить о непознаваемом, небывалом, не могущем быть понятым, как о вещи. В эту же ловушку попадают и его критики, обращающиеся с понятиями "предел разума" или "граница" между явлением и вещью-в-себе так, как если бы речь шла об опушке леса, линии на доске или меже на поле. Впрочем, в некоторых случаях Кант, все же, не забывает отметить, что "каковы вещи в себе, я не знаю и мне незачем это знать, потому что вещь никогда не может предстать мне иначе как в явлении" (Кант, 1964:325) [выделение наше - О.Л.]. Э. де Боно писал, что "может потребоваться значительная деятельность нешаблонного мышления, чтобы понять, что существуют проблемы, которые невозможно сформулировать" (де Боно, 1976:71). К таким, без сомнения, относится идея мира как невозможного опыта - как вещи-в-себе (критический анализ кантовского понятия вещи-в-себе дан нами в монографии; см. Лещак, 1996б:45-47). Специфика человеческого мышления состоит в том, что человек мыс-

лит абстрактное как конкретное, а новое как старое. Отсюда и та легкость, с какой диалектическая логика справляется с любым препятствием. Поппер очень остроумно подметил, что “для могущественного диалектического метода этого мастера логики (Гегеля - О.Л.) было детской забавой вытаскивать настоящих физических кроликов из чисто метафизических цилиндров” (Поппер, 1994, II:34). Неуязвимость гегелевской диалектики обусловлена ее собственно человеческим, мифологическим характером. Это качество человеческого мышления прекрасно иллюстрируется свойствами языков, например, выражать любой смысл именем существительным (от предметности до качества, действия или обстоятельства действия) или легко превращать любое утверждение в вопрос или отрицание изменением интонации или прибавлением отрицательных частиц. Особенно ярко эта способность стирать границы проявляется в искусственных типах мышления (научно-теоретическом и художественно-эстетическом), где сильно ослаблен контроль со стороны предметной деятельности. Таким образом, осознав мифологизм обыденных “солнце встало”, “ветер подул”, “листок упал”, ученые порождают новые мифы, вроде гадмеровских “разум достигает своего предела”, “разум остается целikom и полностью у себя самого”, “предел может быть самим собой лишь снимая себя самого” и под., подчас забывая, что это не более чем речевые обороты, а также метонимии и метафоры мышления. Наверное, этим и объясняется появление множества аналитических модальных логик, ограничивающих мифологическую “вольницу” диалектики, ориентированных на принятие конвенциональных условий логичности того или иного суждения.

Существенное отличие кантовского понятия опыта от эмпирического опыта картезианского субъекта состоит в том, что опыт у Канта - это обобщенный, инвариантный опыт, а не элементарный опыт понимания конкретного положения вещей (подробнее об этом

см. Приложение 3). Кант противопоставляет суждения восприятия и суждения опыта по критерию наличия или отсутствия маркированного состояния сознания. В процессе конкретного сенсорного восприятия, по Канту, состояние сознания маркировано, опытное же суждение - есть суждение нейтрального, т.е. инвариантного состояния сознания. Странно было не заметить еще в "Прелегomenах" высказанное тем самым суждение о языке и речи, о памяти и мыслительном процессе. Именно это - размежевание потенции и акта, динамис и энергей сближает позицию Канта и Платона, как сближает позиции феноменологии и функциональной методологии. Однако существенно то, что Кант экстраполировал эти идеи на человеческое сознание как субъект смысла, чего не сделали феноменологи.

Категория опыта, тесно связывающая познавательную (смыслообразующую) деятельность индивида с предметным миром через предметную деятельность этого индивида, содержит в себе еще один существенный момент, отличающий функционального языкового субъекта от картезианской языковой личности. Это момент общности опыта. Опыт в отвлечении от конкретной эмпирической ситуации оказывается обобщенным опытом. Введение понятия "состояние сознания" есть не что иное как ролевая установка или функция потенциального отношения. В каждую конкретную минуту деятельности, в каждом акте речемыслительной деятельности сознание человека пребывает в состоянии выполнения определенной функции или ролевой установки, но в это же время человек не перестает потенциально быть готовым к выполнению массы иных функций и ролей. Каждый из нас характеризуется тем, в какие отношения он включен с предметным миром. Следовательно, наше сознание - это функция соотношения нас с природой, вещами, с обществом, с друзьями, близкими, родными, коллегами по работе, соседями. "Быть человеком, - писал В.Франкл, -

означает находиться в отношении к чему-то или кому-то иному, нежели он сам” (Франкл,1990:77). Все это не может не отразиться на состоянии нашего сознания в момент общения с различными людьми и в момент осуществления всякого иного рода предметной деятельности (например, манипулирования с предметами). В такой момент наше сознание и наш язык входят в определенное состояние, выполняют определенную функцию отношения. Но в это же время мы остаемся тем, что мы из себя представляем как инвариантная совокупность этих функций. Кант, наряду с основными понятиями нашего сознания - понятиями субстанции и действия, в которых мы мыслим мир, называет и понятие взаимодействия (взаимности) как основное условие функционирования первых двух. Именно через понятие взаимности Кант приходит к выводу о реальности сосуществования (См.Кант,1993). А что же это, как не принцип детерминированности смысла предметной деятельностью, а языка - речевой коммуникацией, иначе говоря, - социальной деятельностью этого индивида. Именно в социальной и предметной детерминированности состоит сущность смысла в функциональной методологии. Именно ролевой, функциональный характер отличает субъект языковой деятельности в функционализме от картезианского субъекта в рационалистической методологии. Эту двусторонность человеческого сознания, его функциональную ориентированность одновременно на предметный мир и на свое внутреннее духовное “Я” Виктор Франкл выразил в формуле: “... я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю” (Франкл,1990:114). Столь же решительно определяет сущность социального индивида и Лев Выготский: “Мы сознаем себя, потому что сознаем других, и тем же самым способом, каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только по-

стольку, поскольку я являюсь сам для себя другим...” (Выготский, 1982, I:96).

С позиций функциональной методологии язык - не просто субъективная способность личности, но социально ориентированная функция мозга человека, необходимая и возможная именно в силу необходимости и возможности вступать в отношения с другими людьми и с окружающим миром нашего возможного опыта.

К сожалению, философские основания функционализма И.Канта так и не были до конца развиты в философии. Те отдельные идеи и положения, которые можно охарактеризовать как принципиально функциональные, проникали в лингвистику не непосредственно, а опосредованно через рационализм и феноменологию. Наиболее значительный вклад в развитие кантовских идей внесли Вильям Джемс и Карл Поппер. Они по разному шли к функционализму. Один - отталкиваясь от феноменологии, через критику не удовлетворявшего его эмпирического позитивизма (Джемс), а второй, также принципиально отрицая феноменологический историзм (эссенциализм), через критику зашедшего в тупик рационализма в его неопозитивистской ипостаси (Поппер). Оба взяли у Канта главное - гуманистическую идею человеческой личности как *causa finalis* смысла, функциональный дуализм предметно-опытного и трансцендентального познания и прагматический релятивизм (агностицизм) истины (о развитии функциональных взглядов Канта в философии XX века см. Приложение 4, а также Лещак, 1996а).

К функциональным методологическим идеям лингвисты и психологи пришли все же не через философию, а через научно-теоретическую деятельность в своей области. Первые серьезные шаги в разработке теоретических основ функционального понимания языка предпринял Ян Бодуэн де Куртенэ, совершенно четко определивший язык как психосоциальное явление, форму челове-

ческой деятельности, в равной степени обращенную как внутрь человеческого сознания, так и вне его - на предметный, эмпирически постижимый мир. Такая постановка проблемы выявляла в языке основное его сущностное свойство - быть функцией, отношением, переменной между работой сознания человека и его предметной коммуникативной деятельностью: "Объяснение языковых изменений может быть только психологическое и до некоторой степени физиологическое. А психическая и физиологическая жизнь свойственна только индивидууму, но не обществу. Психические процессы и физиологические изменения происходят только у единиц, но никогда не происходят в обществе. А то, что у разделенных между собой индивидуумов они происходят подобным образом или даже одинаково, то это зависит, во-первых, от одинаковости уклада и условий существования, во-вторых, - при психических изменениях - от само собой разумеющегося взаимного общения обобществившихся индивидуумов" (Бодуэн де Куртенэ, 1963, I:224). В другом месте читаем: "... человек совершил проекцию своей психики во внешний мир и, путем смешения понятий, навязал внешнему миру то, что существует только психически" (Бодуэн де Куртенэ, 1963, II:118). Почти одновременно с Бодуэном де Куртенэ, идею языка как системы психологических по своей сущности знаков, предназначенных для обеспечения социально-коммуникативной, прагматически ориентированной деятельности человека, в Америке обосновали Чарльз Пирс и Вильям Джемс, а в Швейцарии - Фердинанд де Соссюр. Роль Бодуэна де Куртенэ и Соссюра в становлении функционализма как методологического направления в лингвистике не раз подчеркивал основатель пражской школы структурно-функциональной лингвистики Вилем Матезиус (См. Mathesius, 1982:43). Двусторонний психический характер языкового знака в теории Соссюра прямо указывает на функционально-психический онтический статус языка. Соссюр писал, что

для наличия языкового факта "необходимо наличие соответствия, но ни в коей мере субстанции или двух субстанций" (Соссюр, 1990:129) и, далее: "Любой языковой факт представляет собой отношение; в нем нет ничего, кроме отношения" (Там же, 197). Н.Слюсарева подчеркивает, что, по мнению Соссюра, предмет познания формируется познающим субъектом и что Соссюр, хотя и трактовал язык как социальное явление, все же не толковал языковые законы как социальные (Слюсарева, 1975:105-108). Это объясняется тем, что Соссюр, очевидно, разводил онтический психологизм и функционально-гносеологический социологизм языковой деятельности.

Еще одним важным научно-теоретическим источником функциональной методологии лингвистики была психология языковой деятельности, у истоков которой стоял Лев Выготский. Следует отметить, что серьезную базу для его функциональной психологии подготовила русская рефлексология, позитивистская психология Джемса и структурализм гештальтпсихологов. Центральным положением психологической теории языка Выготского стало признание субъекта языка многоместным субъектом, микросоциумом. Он резко выступил против того, что социальное понимается "грубо эмпирически, непременно как толпа, как коллектив, как отношение к другим людям. Общество понимается как объединение людей, как добавочное условие деятельности одного человека. Эти психологи не допускают мысли, что в самом интимном, личном движении мысли, чувства и т.п. психика отдельного лица все же социальна и социально обусловлена... Именно психология отдельного человека, то, что у него есть в голове, это и есть психика, которую изучает социальная психология. Никакой другой психики нет" (Выготский, 1986:26). Точно такую же трактовку соотношения психологического (психического) и социального встречаем и у Э.Сепира: "Мы будем исходить из того, что любое психологическое учение,

объясняющее поведение индивида, объясняет также и поведение общества постольку, поскольку угол зрения психологии пригоден и достаточен для изучения социального поведения” (Сепир, 1993:594) и, далее, “... бессмысленно подразделять человеческие поступки на имеющие изначально индивидуальную и изначально социальную значимость” (Там же, 596). Вообще следует заметить, что методологические позиции и, что самое главное, причины и пути определения этих позиций у Сепира и Выготского очень похожи. Показательно, что Выготский в одной из своих фундаментальных работ, а именно, в “Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование” (Выготский, 1982, I: 291-436) последовательно строит свою методологию социально-психологического исследования, отрицая базисные положения всех трех методологических направлений, существовавших в его время: гештальтпсихологии и понимающей психологии (за феноменологизм), вюрцбургской школы и К.Бюлера (за логицизм и рационализм), а также русских рефлексологов и бихевиористов (за позитивизм). Хотя сам он называл свое методологическое понимание генетическим, однако факты свидетельствуют о том, что именно Выготский стал основателем функциональной методологии в общей психологии и в психологии языковой деятельности. В отличие от Выготского, Сепир определял свою методологическую позицию, отстраняясь лишь от двух источников - феноменологии (в частности, в ее юнговской форме) и бихевиоризма. Поэтому в позднем периоде научной деятельности он постепенно переходит на рационалистские позиции. В определенной мере становлению функционализма способствовала швейцарская функциональная психология, и, в частности, работы Эдуара Клапареда, а также и австрийская психологическая школа (ближе всех к собственно функциональному пониманию языка и сознания подошел ее видный представитель Виктор Франкл).

Мы полагаем, что именно Кант, Джемс, Бодуэн де Куртенэ, Соссюр и Выготский создали тот теоретический фундамент, на котором их ученики и последователи (Н.Крушевский, Е.Поливанов, Р.Якобсон, Н.Трубецкой, Л.Якубинский, В.Матезиус, Ф.Данеш, Э.Сепир и др.) построили несколько лингвистических концепций, которые можно определить как функциональные в методологическом отношении. Специфика взглядов всех функционалистов состоит в том, что они непременно видят в социальном - психологическое, в психологическом - социальное и признают человека единственным субъектом смысла, язык - коммуникативной и экспрессивной (а в целом, - семиотической) функцией сознания человека, реализующейся в ходе предметно-коммуникативной деятельности. Американский лингвист Эдвард Сепир, чьи взгляды постоянно колебались между функционализмом и позитивизмом, совершенно верно отметил, что “у нас нет иного выхода, как признать, что язык есть вполне оформленная функциональная система в психической, или “духовной” конституции человека (Сепир, 1993:33). Логическим продолжением развития ментализма в лингвистике (и не в последнюю очередь - функционализма) стало появление психо- и нейролингвистики. Т.Ахутина отмечает, что “наиболее тесная связь объединяет [психолингвистику] с наследниками Казанской школы И.А.Бодуэна де Куртенэ - Л.В.Щербой, Л.П.Якубинским, Е.Д.Поливановым и особенно с Пражской школой функциональной лингвистики, создавшей целостную теорию функционирования языка” (Ахутина, 1989:22). Именно работы в области психо- и нейролингвистики позволили по-новому осмыслить кантовский трансцендентальный априоризм в органичном единстве с идеей природы как возможного опыта.

Наибольший вклад в развитие функциональных идей внесли Пражская лингвистическая школа, французские и английские функционалисты, хотя именно в силу неразвитости философско-

методологических основ функционализма в научных разработках представителей этих школ зачастую перемежаются методологические посылки разных направлений.

1.3. Языковая деятельность как целостный объект функционального лингвистического исследования: к онтологии соотношения языка, речевой деятельности и речевых произведений

Рассматривая проблему онтологии объекта лингвистики, мы в основном сосредоточились на вопросе онтологии смысла как такового (в частности, на разграничении инвариантно-языкового и фактуально-речевого смыслов), в то время как информативный аспект не покрывает всю область объекта лингвистического исследования. Обязательной составляющей такового (кроме, собственно, смысла) является операционально-процессуальный аспект языковой коммуникации, т.е. весь комплекс речевых (и, шире, речемислительных) процедур, сопровождающих межличностную коммуникацию. Следовательно, целостный функциональный подход к лингвистическому исследованию требует несколько иной, более широкой постановки самого вопроса об объекте, чем локализации его только на языке или только на текстах. Таковым объектом мы, в развитие взглядов Ф. де Соссюра, полагаем целостную языковую деятельность общественной личности, включающую как собственно языковые или речевые смыслы, так и сами процессы и механизмы их порождения.

В связи с этим естественно встает вопрос онтологии структуры этого целостного объекта и функциональных отношений между его составными. Исходя из специфики функциональной методологии, языковую деятельность [langage] можно определить как осуществляемую человеком в процессе предметной и нейрофизиологической жизнедеятельности совокупность мыслительно-коммуникативных (вербализация, девербализация, запоминание, воспоминание и хранение в памяти) и предметно-коммуникативных действий (говорение, фиксация в изобразительных знаках, слушание и чтение) [1], взятую вместе с их фактуальными смы-

словыми продуктами (текстами, высказываниями и другими речевыми произведениями) [2] и системой информативных знаков (инвариантных смыслов) и правил (механизмов) вербальной коммуникации [3]. В терминах де Соссюра первое и второе можно иначе именовать речью [parole] (речевой деятельностью и речью-результатом), третье - языком [langue]. Далеко не все лингвисты сумели правильно и по достоинству оценить то величайшее открытие в лингвистике XX века, которое сделал Соссюр, разграничив понятия языка и речи и представив их составными (но не аспектами!) единой языковой деятельности.

Во вступительной статье Н.Слюсаревой к "Заметкам по общей лингвистике" Ф.де Соссюра (М.,1990) довольно убедительно доказана неправомерность перевода соссюрковского термина "langage" как "речевая деятельность" и необходимость использования в качестве перевода термина "языковая деятельность". [В необходимости подобной поправки убеждают и комментарии других ученых, имевших отношение к изданию "Заметок..." (См. Бокадорова,1992, Нарумов,1992)]. Неадекватность этих понятий очевидна. Языковая деятельность включает в себя и язык как совокупность знаний о том, как и при помощи каких средств можно общаться с другими людьми, и речевую деятельность как совокупность действий (поступков, операций), направленных на общение при помощи языка, и сами продукты такой деятельности (речь-результат, текст, языковой материал - в терминологии Л.Щербы).

Лингвисты самостоятельно пришли к необходимости решать проблемы виртуального и актуального смысла в специально-научном ракурсе. Впервые о необходимости разводить понятия актуального и виртуального заговорили именно представители функциональной методологии в лингвистике Ян Бодуэн де Куртенэ и Фердинанд де Соссюр. Наиболее важным результатом разведения понятий виртуального и актуального смысла стало последо-

вательное размежевание языка (языковой системы) и речи (речевой деятельности и ее продуктов) в рамках единой социально-психологической языковой деятельности.

Идея множественности ипостасей одного и того же слова присутствовала в языкознании с древних времен, однако теоретическое обоснование инвариантного единства языкового знака (во вне- и функционально доречевом модусе) в качестве его имманентного свойства стало возможным и необходимым только после того, как окончательно оформился феноменологический взгляд на смысл в концепции Гегеля и герменевтической теории В.Дильтея. Такое обоснование с самого начала приобретает двойные черты: феноменологические (феномен у Э.Гуссерля, имя в концепции А.Лосева, сущность у М.Хайдеггера, социальный объективизм "Курса общей лингвистики" Ф.де Соссюра в трактовке А.Сеше и Ш.Балли, социологический априоризм Л.Ельмслева, трактовка фонемы в Московской фонологической школе) и функциональные (социально-психологическая церебрация, фонема и морфема у Я.Бодуэна де Куртенэ и в работах представителей Казанской лингвистической школы, психологическая трактовка знака и социально-психологический апостериоризм языковой деятельности в "Заметках по общей лингвистике" Ф.де Соссюра, последовательное размежевание фактов языка и речи в концепции Пражского лингвистического кружка). Наиболее значимым вопрос об инварианте стал для появившихся в начале XX века многочисленных структуралистских теориях. Жан Пиаже в своей книге "Структурализм" отмечал, что "действительно главная проблема всего структурализма: созданы ли единства от века - тогда каким образом или кем - или же они изначально (и все еще) находятся в стадии становления? Иными словами, требуют ли структуры формирования, или их характеризуют лишь большие или меньшие видоизменения. Следовательно, структурализму для того, чтобы продвигать-

ся далее приходится либо выбирать, либо устранять противоречия между генезисом, лишенным структуры, который лежит в основании атомистических ассоциаций и к которым приучил нас эмпиризм (т.е. эмпирический позитивизм - О.Л.) и единствами или формами, лишенными генезиса, которые из-за этого постоянно угрожают переходом в сферу трансцендентных сущностей, платоновских идей или априорных форм" (Piaget, 1971: 36-37). Нам кажется, Пиаже лукавит, когда рисует перед структурализмом (который он понимает эпистемологически) два равных методологических пути: позитивистский и феноменологический (хотя, действительно, во время возникновения структурализма наиболее развитыми методологическими течениями были эти два). Еще до появления первых работ по структурализму (Соссюр в лингвистике, В.Келер и К.Коффка в психологии) уже были созданы предпосылки для трихотомической методологии: феноменология // позитивизм // субъективизм. К тому же, структурализм с самого момента своего появления ориентировался не столько на проблемы онтологии смысла (т.е. воспринимался не как онтологическая теория), сколько на способы познания и понимался как разновидность методики, т.е. как гносеологический прием. Тем не менее, определенные онтологические пристрастия в структурализме все же были. Сама идея системы, как единства, а не простого множества элементов, так или иначе заставляла структуралистов выбирать именно категоризирующую (а именно, холистическую) позицию. Несколько позже, когда структурализм окончательно стал восприниматься чисто методически, как исследовательский прием, его стали использовать представители практически всех методологических направлений с той единственной разницей, что в феноменологии и функционализме этот принцип объединялся с онтологическим и гносеологическим основанием методологии, а в позитивизме и рационализме он использовался для объяснения строгих

зависимостей между отдельными фактами мира или отдельными логическими фактами (вспомним классификацию структуралистских течений Ю.Степанова, о которой мы вспоминали выше). Нас интересует именно категоризирующая трактовка инвариантного единства в структурализме, поскольку она максимально погружена в сферу онтологии смысла. Пиаже понимал это, поэтому склонялся к идее категоризирующей и апостериорной методологии, определяемой нами здесь как функционализм. Сам Пиаже определял свою позицию как функциональную и психогенетическую (кстати, как и Л.Выготский). К структурализму же у него выработалось явное предубеждение: он так и не увидел принципиального отличия между структурными теориями Блумфилда с дескриптивистами, Ельмслева, Хомского, с одной стороны и "пражцев", с другой. Судя по тому, как Пиаже критиковал атомизм позитивистов, логицизм неопозитивистов и идеи врожденности Хомского, а также феноменологический холизм Ельмслева, он искал свой, четвертый путь, а именно функциональный.

Особую роль в становлении обеих концепций инварианта (феноменологической и функциональной) сыграли работы Ф.де Соссюра. Факт приписывания Соссюру своих мыслей издателями его "Курса..." практически не вызывает сомнения у современных лингвистов (См. об этом, в частности, Слюсарева, 1975, Слюсарева, 1990). Однако, далеко не все осознают ту принципиальную разницу, которую представляют взгляды, изложенные в "Курсе...", и взгляды, изложенные в записках и дневниках самого Соссюра. Причин такого непонимания несколько. Одной из немаловажных причин является привычность, шаблонность восприятия Соссюра как основоположника структурализма, социологизма и объективизма в лингвистике и нежелание переосмыслить и сломать стереотип. Однако это причина чисто внешняя. Глубже спрятано желание многих эссенциалистски (феноменологически) настроенных

лингвистов удержать Соссюра в рамках своей методологии как весьма авторитетное прикрытие для собственных построений.

Принципиальным в концепции де Соссюра нам представляется ее детерминистский характер. Его языковой инвариант, в отличие от феноменологической первичной идеи, является не онтологической моделью речевых вариантов (речевых фактов), а возникает как обобщение фактов ("в языке нет ничего, чего бы не было в речи"). Имманентность этой мысли соссюровской теории ни у кого не вызывает сомнения. Столь же несомненен и принципиальный ментализм онтологических взглядов де Соссюра ("в языке нет ничего кроме отношений" и "знак является двусторонней психологической сущностью"), что совершенно противоречит эссенциалистской позиции Гегеля, Гуссерля, Лосева и других основоположников классического структурализма. "Весь смысл соссюровского определения заключается в том, что язык во всей полноте его системности, его связей и отношений содержится именно в сознании говорящих" (Слюсарева, 1975:12). Следует обратить внимание на неразрывность соссюровских положений об онтологическом психологизме знака и его функциональном характере ("знак как система отношений", "ценность знака"): "Для упрощения ... можно не проводить коренного различия между пятью вещами: ценностью, тождеством, единицей, реальностью (в смысле - лингвистической) и конкретным лингвистическим элементом" (Соссюр, 1990:23). Поэтому совершенно недостаточно просто принимать системный характер смысла (психики-сознания, языка, знака), как это делали многие последователи де Соссюра (например, Ельмслев). Мы совершенно однозначно поддерживаем мнение, что понятие ценности (в наших терминах - функциональности) является концептуально центральным в теории Соссюра (См. Слюсарева, 1975). В отрыве от его функционального, прагматического характера, в абстрактном отвлечении от речевой деятельности, от

межличностной коммуникации во всех ее проявлениях смысл превращается в метафизический самостоятельный феномен, в некоторую дегуманизированную сущность, т.е. в феноменологический эйдос, Дух, объективный закон.

Кстати, именно такого онтологизирующего понимания инвариантного смысла в структурализме боялся Жан Пиаже: "Хотя, с одной стороны, "структуры", о которых идет речь, выработаны *ad hoc* в это же время существует внутренняя тенденция структурализма - говорится ли об этом вслух или нет - к вскрытию "естественных" структур, при чем это понятие, до некоторой степени многозначное и пользующееся недоброй славой, включает в себя либо идею глубокого проникновения в природу человека (а с ней и опасность возврата к априоризму), либо, наоборот, - идею абсолютного существования, в определенном смысле независимого от природы человека, который вынужден к системе просто приспособиться (с этим вторым пониманием приходит опасность возврата к трансцендентным сущностям)" (Piaget, 1971:57). Фраза Пиаже не совсем ясна, поскольку он не приводит примеров теорий, в которых наблюдается эта "внутренняя тенденция". Если речь идет о феноменологической методологии, то непонятно, почему Пиаже противопоставляет эти подходы. Если под "природой человека" понимается биологическая или физиологическая природа и инвариантность смысла относится на счет врожденных свойств, то в методологической оппозиции должны состоять не врожденное системное восприятие мира (априоризм инвариантного смысла) и полученное свыше (трансцендентность инварианта), а индетерминизм смысла (в который войдут оба предыдущих случая) и его прагматический детерминизм. Но под "природой человека" можно понимать и усвоенную от предыдущих поколений способность воспринимать мир системно (инвариантно), тогда оппозиция Пиаже верна, поскольку противопоставляется феноменологическое и

функциональное понимание онтологии смысла. Однако в этом случае нас не удовлетворяет оценка такого положения как угрожающего, ведь априоризм методический (дедукция) далеко не всегда связан с гносеологическим априоризмом. Скорее всего, Пиаже так и не смог в своих взглядах окончательно избавиться от эмпирического позитивизма. А то, что подобный подход до определенной степени близок Пиаже видно по его пристрастию к полному сенсорно-эмпирическому гностицизму, проявляющемуся в его настойчивых поисках системного инварианта в природе (См. там же раздел о структурализме в физике и биологии). В данном случае для нас важно то, что Пиаже сумел увидеть методологически различное усвоение идеи системы как единства разными учеными, которых внешне определяют как структуралистов. Соссюр представил собственно функциональную трактовку системного единства, что оказалось настолько новым для его времени, что не могло быть воспринято однозначно. Одни оценили его открытие в чисто позитивистском или рационалистическом плане (как метод описания), другие - феноменологически - как отражение естественного или сверхъестественного положения вещей.

Именно так, феноменологически, восприняли идею структуры (системы) структуралисты 50-60 гг., а еще раньше - Л.Ельмслев.

Однако вернемся к истокам собственно функционального понимания инварианта. Наряду с Ф.де Соссюром и независимо от него к функциональному видению смысла пришли Ян Бодуэн де Куртенэ и (может быть, в меньшей степени) его ученик Николай Крушевский. Бодуэн де Куртенэ был одним из очень немногих ученых конца XIX - первой трети XX века, кто сумел разглядеть рациональное зерно кантовской теории гуманистического трансцендентализма и не отойти при этом от идеи возможного опыта. Именно у представителей Казанской школы встречаем первые последовательно социально-психологические исследования языко-

вой деятельности как отношения церебральной деятельности мозга к коммуникативно-предметной деятельности телесных органов обобществившегося индивида. Одним из наиболее принципиальных положений теории Бодуэна де Куртенэ, что он сам неоднократно подчеркивал, является то, что язык по онтической структуре своей психичен (локальный методологический аспект), а по функциональной детерминированности - социален (темпоральный методологический аспект). Кстати, как видно по вступительной статье к избранным трудам Бодуэна де Куртенэ, Витольд Дорошевский так и не понял этого основополагающего момента функциональной методологии (См. Бодуэн де Куртенэ, 1963, I: 28-29). Собственно кантовские истоки взглядов Бодуэна де Куртенэ хорошо видны из следующего пассажа: "Причинной связи, закона зависимости в какой бы то ни было области не укажет ни самый чувствительный микроскоп, ни далее всех достигающий телескоп. Причинную связь, научный закон досоздает человеческий разум" (Там же, 225) [выделение наше - О.Л.].

Вместе с тем, Бодуэн де Куртенэ отстаивал опытную, эмпирическую основу знаний, коренящуюся в практической деятельности социализированной личности. Языковая единица в его концепции складывается как обобщенный инвариант из множества речевых смыслов. Именно таково его понимание фонемы и морфемы, а также слова как единства всех его возможных речевых проявлений. Именно такое принципиальное совмещение ментализма и опытной детерминации находим в традиции Канта: "Идеализм состоит в утверждении, что существуют только мыслящие существа, а что остальные вещи, которые мы думаем воспринимать в воззрении, суть только представления мыслящих существ, не имеющие вне их на самом деле никакого соответствующего предмета. Я же, напротив, говорю: нам даны вещи в качестве находящихся вне нас предметов наших чувств, но о том, каковы они могут быть сами по

себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явления, т.е. представления, которые они в нас производят, действуя на наши чувства. Следовательно я признаю во всяком случае, что вне нас существуют тела, т.е. вещи, хотя сами по себе совершенно нам неизвестные, но о которых мы знаем по представлениям, возбуждаемым в нас их влиянием на нашу чувственность и получающим от нас название тел, - название, означающее. таким образом, только явление того для нас неизвестного, но тем не менее действительного предмета" (Кант, 1993:59-60). И далее: "Всякое познание вещей из одного чистого рассудка или чистого разума есть не что иное, как призрак, и лишь в опыте есть истина" (Там же, 192). Целый ряд положений функционализма Казанской школы можно почти напрямую выводить из философии И.Канта.

Идея опытного характера инвариантного языкового смысла не раз встречается как в работах самого Бодуэна де Куртенэ, так и в работах Н.Крушевского (См.Бодуэн де Куртенэ, 1963, II:39, 217, 281, 289; Крушевский, 1883:10-11, 18, 45, 67-69, 108). Для справедливости скажем, что функциональное понимание инварианта как у Бодуэна де Куртенэ, так и у Крушевского выразилось скорее на практическом уровне в конкретном лингвистическом анализе, чем на уровне методологическом. Социологизм и ментализм их взглядов подчас причудливо переплетался с чисто позитивистским атомизмом и физикализмом. В частности, однозначно и неоднократно отстаивая психосоциальную реальность индивидуального языка и противопоставляя языковую и речевую реальность, Бодуэн де Куртенэ, все же теоретически не обосновал идею системности, инвариантности языковых единиц в сравнении с актуально-конкретным характером речевых произведений. Язык и речь у него противопоставлены не так в плане "общее // частное", как в плане "психическое // физико-физиологическое", где "психическое" - это и речевые психические процессы и собственно языко-

вые знания индивида, а "физико-физиологическое" - это внешние сигналы речевой коммуникации и физиологические процессы подачи таких сигналов. Поэтому, инвариантные языковые единицы Бодуэном де Куртенэ иногда трактуются как простые совокупности речевых использований ("Разные формы известного слова не образуются вовсе одна из другой, а просто сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная психическая связь, и они друг друга обуславливают и путем ассоциации одна другую вызывают" [Бодуэн де Куртенэ, 1963, II:143]), а иногда как модели, предписывающие образование речевых единиц ("... громадное большинство форм возникает в нашей психике благодаря не только простому воспроизведению усвоенного, но вместе с тем путем производства, творчества, путем решения своеобразной пропорции" [Там же, 281]). Если инвариант - это просто совокупность вариантов, то усвоение языка превращается в механическое усвоение бесконечного множества речевых фактов путем простого количественного накопления. "Решения своеобразных пропорций" (т.е. использования алгоритмов образования единиц) не потребовалось бы, если бы все варианты языковых единиц находились в памяти просто как части некоторого множества. При подобном (чисто позитивистском) решении вопроса отношения в языке становятся чем-то похожим на отношения числовых понятий в математике, а морфологические и синтаксические правила напоминают математическую логику. Бодуэн де Куртенэ настаивал на том, что языковые инвариантные единицы представляют из себя не научно-логические конструкции, но реальные психические сущности (при этом не врожденные, а выработанные в ходе межличностной коммуникации). Если внимательно посмотреть на его обоснование инвариантного единства фонемы, морфемы или слова, можно легко обнаружить, что такие единицы предполагают не просто механическое сосуществование в их составе некоторого

множества речевых проявлений, но эти проявления сосуществуют одновременно: "Фонема - соединение нескольких дальше не разложимых произносительно-слуховых элементов ... в одно единое целое благодаря одновременности всех соответствующих работ и их частных результатов" (Бодуэн де Куртенэ, 1963, II:289-290) [выделение наше - О.Л.]

Одним из важных моментов различения позитивистского и собственно функционального начал во взглядах Бодуэна де Куртенэ можно считать его понимание инвариантной целостности индивидуального языка в противовес простой совокупности постоянно сменяющих друг друга речевых ситуаций. В работе о Н.Крушевском Бодуэн де Куртенэ говорит об инвариантности онтологического субъекта смысла - психики-сознания человека. Несмотря на то, что "все люди пользуются различными языками в различные моменты жизни; это зависит от различных душевных состояний, от различного времени дня и года, от различных возрастных эпох жизни человека, от воспоминании о прежнем индивидуальном языке и от новых языковых приобретений" (Там же, 200) и то, что "Язык ... все время прерывается, все время переносится с личности на личность и у каждой личности должен заново воспроизводиться (терминологически "язык" и "речь" у него еще не разведены - О.Л.). Однако в понятии, в абстракции можно приписать языку длительность, если длительностью обладают, с одной стороны, языковая традиция, а с другой, психическая основа (субстрат) языка у отдельных индивидуумов" [выделение наше - О.Л.] (Бодуэн де Куртенэ, 1963, I:188). Абстрактному, конструктивному по своей природе "языку" (как социальному образованию) Бодуэн де Куртенэ противопоставляет в качестве реального факта индивидуальный языковой субстрат. В приведенной выше цитате наряду с психологическим субстратом инвариантностью, по мнению Бодуэна де Куртенэ, обладает также

"языковая традиция". Если бы не постоянные упоминания в текстах Бодуэна де Куртенэ о личностном, психологическом характере языка как реального средства общения, можно было бы подумать, что "языковой традиции" он приписывает сущностные свойства. "Языковую традицию" следует понимать как имманентное свойство все того же индивидуально-психологического субстрата. Его социально детерминированный ментализм как нельзя лучше вскрывается в тех случаях, когда он говорит о соотношении понятий "индивидуум // общество", "индивидуальный язык // общественный язык", "развитие // история": "Необходимым условием подлинной истории как прерывающегося развития, но опосредствованно соединенного, является непрерывная продолжаемость общения индивидуумом. Индивидуумы, существующие одновременно, взаимно воздействуют друг на друга. Вновь рождающиеся и подрастающие поколения непрерывно сцепляют одних индивидов с другими, образуя так называемое современное поколение, и так далее без конца. Если прервется нить взаимного общения, прервется и история общества, а следовательно, и история языка." (Там же, 224). Двусмысленность некоторых положений Бодуэна де Куртенэ, причина которых состоит в несоответствии терминологического и понятийного аппарата лингвистики конца XIX - начала XX веков, препятствовала широкому признанию его нового понимания сущности языковой деятельности. Так же, как и в случае с Соссюром, взгляды Бодуэна де Куртенэ были восприняты соответственно времени: одни (Л.Щерба и ленинградская фонологическая школа) продолжили его собственно эмпирические, детерминистские традиции и построили на их основании позитивистские лингвистические теории, другие (Р.Аванесов и московская фонологическая школа) развили категоризирующие черты его методологии и воплотили их в чисто феноменологическом духе, и лишь немногие (Н.Трубецкой и Пражская школа), по нашему мне-

нию, сумели максимально точно увидеть и теоретически разработать функциональную основу взглядов Бодуэна де Куртенэ.

Конечно, далеко не со всеми выводами и положениями теории языковой деятельности Соссюра можно и должно соглашаться, но нельзя не согласиться с его принципиальной позицией, а именно - положением о том, что язык и речь суть онтически различные явления. Если язык - это система вербализованной информации и правил ее использования в ходе коммуникации, то речь - это общение с использованием языка. Иначе говоря, язык и речь соотнесены между собой не просто как онтически различные составные единой языковой функции человеческой психики (языковой деятельности), но и как онтически смежные, а не сходные явления. Язык не становится речью, как речь не может стать языком. Положение Соссюра о том, что язык и речь суть составные языковой деятельности следует понимать буквально, а именно: они не покрывают друг друга, не переходят друг в друга, не являются разными ипостасями одного и того же, не представляют "диалектического единства", но соотносятся друг к другу как средство коммуникации и сама коммуникация. Очень четко это принципиальное положение теории Соссюра отметил И.Торопцев в своей блестящей и до сих пор неоцененной по достоинству книге "Язык и речь" (См.Торопцев,1985).

С какими же позициями теории Соссюра необходимо согласиться, а какие следует пересмотреть? Согласиться следует прежде всего в том, что язык (как система-код) и речь (как деятельность) принципиально не сводимы в один феномен, как не сводимы смысл и оперирование смыслами. Выше мы рассматривали онтологию смыслов, теперь же остановимся на анализе онтической сущности речевых процессов.

Во второй части "Fundamentals Of Language" Роман Якобсон выделил два типа нейропсихологических реакций, лежащих в ос-

нове речемыслительных процессов: субститутивные и предикативные (Jakobson, Halle, 1971). Первые лежат в основе ассоциаций сходства, вторые - в основе ассоциаций смежности. Иными словами, предикативные реакции - это соположение в психике индивида всех элементов знания о мире, установление связей смежности, рема-тематических отношений, в результате которых возникает некоторый речемыслительный континуум или континуальная картина мира. Субститутивные же реакции лежат в основе процессов выделения определенного участка речемыслительного континуума, установления его границ (дискретизации), иерархического структурирования дискретизированной информации в ходе актов сравнения и противопоставления и фиксации ее в памяти. Очень условно можно было бы предположить, что в механизмах речевой деятельности и мышления превалируют предикативные реакции, а в механизмах организации языка и памяти - реакции субститутивные. Но это вовсе не значит, что когнитивные (связанные с хранением информации) или когитативные (связанные с оперированием информацией) процессы разобщены и могут протекать независимо друг от друга. Они взаимно предполагают друг друга. Это две стороны функционирования человеческой психики-сознания. Неразумно даже ставить вопрос о первичности (онто- или филогенетической) какой-либо из указанных сторон психической деятельности. Нельзя выстроить речемыслительный континуум при отсутствии дискретизированных информативных блоков. Точно так же невозможно образовать подобный блок при отсутствии образованного ранее целостного представления о каком-либо участке действительности. Ни одно из существующих когнитивных понятий не представляет собой автономный, самодостаточный феномен. Все они являются только потому таковыми, как они есть, что связаны многочисленными отношениями сходства и смежности с огромным множеством других понятий. Понятие соз-

дается своим окружением. Проблема соотношения языка и речи может быть более или менее адекватно разрешена лишь при экстраполировании ее на проблему соотношения психики-сознания (в смысле инвариантной совокупности рациональных знаний, чувственных переживаний и воспоминаний о сенсорных, волевых и эмотивных ощущениях) и психики-мышления (в широком операциональном смысле - как процесса создания информации в ходе оперирования элементами психики-сознания).

Естественно, в таком плане мышление представляет собой не столько упорядоченный линейный процесс (или как его иногда называют "поток сознания"), сколько собственно процессуальное состояние появления в психике-сознании множества рема-тематических связей и отношений, скорее всего, в виде "клубка" ассоциаций, который может в результате предикативных речемыслительных операций трансформироваться в некоторые более или менее упорядоченные линейные структуры. Линейность нами понимается как протяженность в пространстве и последовательность во времени. По нашему глубокому убеждению мало выделять в структуре психических процессов только мыслительную деятельность. Наряду с ней нужно говорить и о более глубоком оперативном слое психики - мыслительном состоянии. В то время как первая так или иначе может эксплицироваться в речевых и других семиотических структурах (в том числе и в линейном по своей сущности предметном поведении индивида), второе принципиально неподвластно волевым процессам и присутствует в человеческой психике на протяжении всей его жизни во всех ее состояниях.

Однако ни мыслительная деятельность, ни мыслительное состояние не составляют собственно сущности психики-сознания. Они принципиально изменчивы. Психомыслительные состояния никогда не повторяются. Если бы мы в определении человеческой личности руководствовались положением (к которому склоняются

многие позитивисты), что личность есть совокупность психических состояний, нам пришлось бы прекратить всяческие поиски этой личности, так как психомыслительные состояния не образуют никакой совокупности, но постоянно сменяют друг друга. Следовательно нам пришлось бы каждый раз говорить о другой личности. Тем не менее, опыт межличностной коммуникации и предметно-мыслительной деятельности нам подсказывает, что без всякого сомнения можно говорить о разных состояниях одного и того же сознания (психики), когда мы говорим о том или ином конкретном человеке.

Бесспорно, встречаются случаи, когда психический инвариант личности не образуется или разрушается. Тогда память как такая (если она и присутствует), представляет из себя постоянно изменяющуюся хаотическую совокупность впечатлений и отдельных, не связанных между собой воспоминаний. Отсутствие инвариантного смысла и инвариантной системы смыслов в целом означает только одно - отсутствие личности или ее распад, встречающийся при ряде психических заболеваний. Однако, даже при сильных нарушениях в области психики-памяти (и уже - сознания-памяти), как правило, в большей или меньшей степени сохраняется способность осуществлять те или иные психические действия, так или иначе реагировать на влияния внешней среды. И.Кант писал, что "невозможна... такая психологическая темнота, которую нельзя было бы рассматривать как сознание" (Кант,1993:87). Когда говорят о так называемом "рациональном" ("разумном") или "цивилизованном" ("культурном") поведении, чаще всего имеют в виду его предсказуемость и стабильность. В терминах функциональной методологии это значит наличие стройной функциональной системы инвариантных социально детерминированных смыслов, к которым может регулярно апеллировать как сам их носитель, так и вступающий с ним в предметно-коммуникативное

взаимодействие субъект. Мы полагаем, что сущность личности состоит не в динамических операциональных структурах (психомыслительных состояниях, мыслительной деятельности, речевой деятельности), а именно в инвариантных информационных системах (ее психике-сознании, семиозисе и языке).

Только после субститутивной обработки информация, содержащаяся в операциональных структурах, может быть преобразована в инвариантную форму и может приобретать вид категориальной иерархической структуры, элементы которой соотносятся между собой как в виде гипо-гиперонимической и парадигматической понятийной структуры (организованной по субститутивному принципу "класс - единица"), так и в виде полевой структуры (организованной по предикативному принципу "ядро - периферия").

Именно в таком двойном состоянии информативные единицы психики-сознания - когнитивные понятия - закрепляются в памяти. Понять эту мысль нетрудно. Речь идет о том, что каждое когнитивное (обыденное) понятие в нашем сознании содержится одновременно в двух структурах, т.е. связано с другими понятиями двумя типами связей - предикативными (смежностными, соположительными) и субститутивными (сходственными). Именно эти связи и отношения структурируют когнитивное понятие и позволяют при необходимости изъять его из системы для оперирования в ходе мыслительной деятельности.

За счет наличия этих двух типов отношений между когнитивными понятиями (отношений парадигматического сходства и синтагматической смежности) структурируются как сами понятия (инвариантные смыслы), так и вся система таких смыслов - психика-сознание (подробно нами этот вопрос рассматривался в диссертационной работе, см. Лещак, 1991).

Ф. де Соссюр совершенно правомочно развел на онтологическом уровне смысловой и операциональный аспект языковой деятельно-

сти. Однако далеко не все критерии размежевания языка и речи, представленные в "Курсе общей лингвистики" (вне зависимости от того, принадлежат ли они по праву авторства самому Соссюру, или же это плод позднейших интерпретаций его редакторов), могут полностью удовлетворить функциональную методологию.

Так, как нам кажется, совершенно неверно интерпретировано положение о социальности (и обобщенности) языка и психологизме (индивидуальности и единичности) речи. Исходя из вышеизложенного взгляда на локальную онтологию смысла, всякий смысл - и инвариантный, и фактуальный - является психологическим (об этом же, кстати, писал и сам Соссюр, рассматривая вопрос о психологизме языкового знака). Вместе с тем, с точки зрения темпоральной онтологической характеристики всякий смысл - и языковой, и речевой - является социальным. Всякая речь социальна по функции, даже если это внутренняя речь. Речь - как речевая деятельность - это всегда общение или подготовка к нему. Она не нужна ни для чего иного, кроме как для общения. Речь - как речевое произведение - построена по общепринятым правилам языка и изначально предназначена для реципиента, для того, чтобы быть кем-то услышанной, прочитанной и понятой, хотя бы самим ее субъектом, понимаемым в функциональной методологии как микросоциум. Язык же, понимаемый как социокультурное образование в любой из форм - как человеческий язык, как национальный язык или диалект - является ни чем иным, как структурной функцией конкретного индивидуального языка, т.е. психологического по своей онтологической сути явления. Всякие попытки представления индивидуального языка производной (элементом класса) реально существующего социального языка (национального, литературного, диалектного), встречающееся у многих прогегелевски и марксистски настроенных лингвистов, мистифицируют понятие социального и отрывают его от его психологиче-

ской основы. Нам видится совершенно противоположное соотношение понятий индивидуального и социального языка. Поскольку всякий индивидуальный язык социален по функции, а всякий социальный - индивидуален по онтической сущности, все возможные социальные формы существования языка (национальная, литературная, диалектная) могут и должны интерпретироваться как структурные функции индивидуальной языковой деятельности и составные индивидуального языка, т.е. аспекты его системы. Такое же понимание онтологии индивидуального языка находим и у ряда функционально ориентированных философов (Д.Дубровского, А.Сабощука, Я.Руднянского, А.У.Мура и др.): "... язык имеет не только общественную, но и индивидуальную форму реализации. так как существует исключительно в речевой (языковой - О.Л.) деятельности живущих людей" (Сабощук, 1990:92) [выделение наше - О.Л.]. Ошибкой (или недоработкой) Соссюра было невведение в свою теоретическую систему однозначного понимания индивидуального языка как единственной онтологически реальной сущности, что, кстати, последовательно делал Бодуэн де Куртенэ.

Проблема соотношения социального и индивидуального иногда совершенно неправомерно подменяется проблемой соотношения общего и единичного или, того хуже, проблемой соотношения объективного и субъективного. Социальное далеко не всегда означает общее, и уж тем более никогда - объективное. Равно как индивидуальное - не всегда единичное и не всегда только субъективное. В принципе, гораздо более правомочно говорить о соотношении социально-психологического и индивидуально-психологического, так как нет и быть не может ничего социального, т.е. общественно-человеческого, что не было бы онтологически привязанным к психике индивидуального человека, что существовало бы в качестве социального безотносительно к множеству

конкретных личностей, входящих в определенный социум. И то, и другое (т.е. социально-психологическое и индивидуально- психологическое) в равной степени субъективно, так как является порождением психической и предметной деятельности человека. Человек же, или, точнее, человеческая личность, представляет из себя сложную функцию, соотношение индивидуального и социального. Не найдется человека, в котором социальное (т.е. совместное с другими людьми) знание не было бы преломлено через его индивидуальное видение мира, через его индивидуальную систему ценностей и через его индивидуальный опыт психической и предметной деятельности. Точно так же, в психике какого-либо конкретного человека не найдется чего-то настолько единичного в своем роде, чему не могло бы быть аналога в психике другого конкретного человека. Социальное всегда индивидуализировано, а индивидуальное всегда социализируемо. Польский праксеолог Ярослав Рудняньски в работе “Эффективность мышления” писал: “... человек в состоянии бодрствования (т.е. не в состоянии сна) практически беспрерывно должен изымать информацию из окружающей его действительности. “Должен” - это значит, что в случае, если он ее не изымает на протяжении определенного времени (от 4 часов до 6 дней; в зависимости от степени минимализации возбудителей), что становится возможным в основном в лабораторных условиях, происходят нарушения в функционировании организма...”(Rudniański, 1969:122). А.Мур однозначно утверждал, что “не только в своем происхождении, но и в своем непрерывном развитии и действии [сознание] должно быть всегда функцией всей той целостной социальной ситуации, которая его породила” (Цит. по Хилл, 1965:321).

Проблема же соотношения общего и единичного или целого и элемента применительно к языковой деятельности выглядит еще сложнее. Если проецировать эту проблему на понятие смысла,

следует различать несколько уровней соотношения общих и единичных смыслов, как минимум, следующие:

- универсальный смысл (объективная истина, божественный или абсолютный Дух) // общечеловеческий смысл (гуманистическая относительная истина) - на этом уровне проблему смысла так или иначе решали Платон, Г.Лейбниц, Г.Гегель, Ф.Шеллинг, К.Маркс;

- общечеловеческий смысл // этнокультурный смысл (культурно-национальный, национально-языковой) - здесь наиболее показательны теории В.фон Гумбольдта, М.Хайдеггера, Х.-Г.Гадамера (как разновидность подобной оппозиции можно представить противопоставление национально-языкового - территориально- или социально-диалектному);

- этнокультурный смысл (национальный или диалектный) // индивидуально-личностный смысл - впервые проблему в лингвистике поставили рационалисты Пор-Рояля, Гумбольдт и младограмматики, теоретически обосновал Я.Н.Бодуэн де Куртенэ.

Наконец, эта проблема может быть поставлена и в ключе "индивидуальный обобщенный смысл // индивидуальный ситуативный смысл", если противопоставлять инвариантные и фактуальные смыслы в пределах одной конкретной человеческой психики. Так впервые стали смотреть на языковые смыслы позитивисты XIX века (младограмматики), а серьезное обоснование эта оппозиция получила в "Логико-Философском трактате" Л.Витгенштейна и в некоторых генеративистских версиях рационалистской методологии. Впрочем, в этом ракурсе мы уже рассматривали проблему смысла выше. Здесь же еще раз подчеркнем неправомерность смешения проблемы общего // единичного (целого // части), касающегося размежевания структурных форм бытия инвариантного смысла (в виде индивидуально-личностного, группового, диалектного, национального, общечеловеческого и универсального) и

проблемы общего // частного (инвариантного // фактуального), касающегося функциональных модусов бытия смысла как такового. Поэтому Ф.де Соссюр, рассматривая язык как социальное явление, брал его как нечто единое, социально-психологическое во всех своих формах бытия, противопоставленное как общее-инвариантное речевому смыслу (смыслу речевых произведений) как единичному-фактуальному, соотносимому только с наиболее конкретной и базовой структурной формой языкового смысла - индивидуально-языковым смыслом. Отсюда - все терминологические, а, подчас, и теоретические проблемы восприятия взглядов Соссюра. Речь, понимаемая как речевые произведения, действительно может быть противопоставлена языку (притом, именно индивидуальному языку) по критерию "общее // частное", чего нельзя сделать в случае противопоставления языку речи, понимаемой как речевой деятельности. По нашему глубокому убеждению главной ошибкой Соссюра в его размежевании языка (*langue*) и речи было именно сведение речи как процесса (речевой деятельности) и речи как текста (речевого произведения) в единое понятие "речь" (*parole*). Позже это привело как к неверному восприятию его понятия языковой деятельности (*langage*), которое в русском переводе подано как "речевая деятельность", так и к неверной интерпретации всей теории Соссюра в вопросе соотношения языка и речи (в частности, к фальсификации самой онтологической разницы между ними представлением речи линейной формой языка или языком в действии).

Наиболее существенным критерием размежевания языка и речи как речевого произведения, из выдвинутых Соссюром, является критерий "системность // линейность", что в итоге означает просто структурную сторону проблемы "общее // частное". Действительно, только инвариантный смысл может и должен обладать структурным свойством одновременного присутствия равноценных

(признанных равноценными) сходных и смежных элементов или компонентов. Конкретная предметно-коммуникативная ситуация никак не предполагает наличия понимания того или иного явления как класса или как представителя класса. Ни по чему не видно, что данный куст, данное облако, данный жест данного человека, данный звук или данная совокупность созерцаемых или мыслимых сейчас и здесь предметов и явлений, их отношений и свойств, определяемая как событие или ситуация, являются лишь представителем некоторого класса кустов, облаков, жестов, людей, звуков, событий или ситуаций. Всего этого нет и быть не может в сиюминутном фактуальном смысле, структурированном в линейном отношении.

Действительно, любая единица речи - от слога до текста - представляет собой рема-тематическое соположение двух компонентов: базы (темы, старого) и модальной характеристики этой базы (ремы, нового). Любая речевая единица всегда является последовательностью соположенных во времени и пространстве составляющих. В этом моменте мы полностью соглашаемся с Соссюром, что основное отличие языка и речи состоит в их различных структурных характеристиках: язык - система парадигматически и синтагматически связанных единиц, а речь - линейная синтагма. Только смешение понятий языка и речи может заставить лингвистов искать парадигматические отношения в речи. Нетрудно убедиться в том, что мы осознаем формы одного слова в речи как таковые не потому, что что-то в тексте сигнализирует об их парадигматических отношениях, но потому, что в своем сознании (языке) обладаем необходимой парадигматической информацией касательно данного слова. То же касается таких понятий как синонимия или антонимия, словообразовательный тип или категория, понятий части речи или грамматической категории, типа предложения или типа текста. Всей этой информации нет и не

должно быть в тексте. Но, несмотря ни на что, мы можем без особого труда не только подобрать нужную или отсутствующую в тексте форму или единицу, но и обнаружить ошибку. Обнаружение ошибки, наличествующей в тексте, как ничто другое подтверждает факт отсутствия парадигматики в речи и присутствия ее в языке. Еще лучше подтверждает этот же тезис факт необнаружения ошибки человеком, слабо ориентирующимся в правилах языка. Это означает, что, если в языковой парадигме данного индивида нет необходимой информации, он никогда не сможет обнаружить ее в тексте. Это касается и неизвестных слов и выражений, и незнакомых форм и конструкций.

Элементарный анализ любой синтагмы как единицы речи может проиллюстрировать отсутствие парадигматики в речи. Рассмотрим синтагму "деревянный стол". В ней отсутствует а) парадигма числа и падежа опорного слова; и б) парадигма рода, числа и падежа у прилагательного. Аналогично и в случае с высказыванием. В высказывании "Книга лежит на столе" нет информации о возможных типах сказуемого, о возможных типах грамматических центров, о типах высказываний по цели и структуре.

Иногда можно услышать, что отношения между различными компонентами значения словоформы (речевой единицы) следует называть парадигматическими. Однако, как известно, под парадигматическими отношениями обычно понимают отношения между сходными и противопоставленными единицами. Отношения между элементами лексического и грамматического значений или между различными грамматическими значениями в пределах одной словоформы никак не могут считаться парадигматическими уже по одной только причине несходства между значением, например, цвета и степени качества, поступка и грамматического времени действия, мужского рода и значением именительного падежа, значением неполного предложения и значением дополнения. Тем и

отличается значение актуализированное от виртуального, что второе по своей структуре - система парадигматически и синтагматически соотнесенных сем, а первое - линейное рематематическое соположение сем и семных комплексов.

Существенным свойством любой системы, а тем более такой консервативной, как язык, является ее иерархическое устройство, обеспечивающее ее устойчивость. Этими свойствами не обладает ни речевая деятельность как скоротечный (во времени и пространстве) коммуникативный акт, ни речь как линейная предикативная (смежностная) структура соположенных во времени и пространстве речевых произведений. Устойчивость системы предполагает, как минимум, чтобы ее составные отличались воспроизводимостью, (цельностью и дискретностью), включенностью в многочисленные отношения, что позволит в любой момент использовать их в коммуникативном акте в качестве эталона. Обыденное использование языка предполагает не просто воспроизводимость языковых единиц, но очень высокую степень такой воспроизводимости, что позволяет использовать их почти автоматически.

Язык и речь по своей структурной организации неидентичны и неизоморфны и это проявляется во всех их единицах, т.е. единицы языка структурированы системно-иерархически, единицы речи - последовательно-линейно. Исходя из признания тезиса о воспроизводимости языковых единиц и производимости речевых (прекрасно это положение изложено И.Торопцевым в книге "Язык и речь" (Торопцев, 1985), мы отмечаем еще один аспект неидентичности языка и речи. Это касается неидентичности самого набора единиц. Так, если между структурными и информационными единицами языка и речи, наблюдается хоть какой-то параллелизм (фонема - фон, морфема - морф, слово - форма слова), то на более сложном уровне организации речи такого параллелизма уже нет: соответствием высказыванию является модель построения

высказывания, словосочетанию - модель построения словосочетания, текстовому блоку - модель построения текстового блока, тексту - модель построения текста. Однако такое понимание "параллелизма" (изоморфизма) единиц языка и речевых произведений ошибочно. Словоформа, морф и фон - такие же речевые единицы, как текст, текстовый блок, высказывание или словосочетание. Однако, если морфема и фонема могут быть введены в ряд модельных единиц языка, поскольку являются операциональными, а не собственно смысловыми единицами, то слово как единица смысловая должно быть выведено из этого ряда. Поэтому в языковой системе словоформе следует противопоставлять не слово, а операциональную единицу - модель образования словоформы. Подробнее на этом вопросе мы остановимся ниже.

Как видно из сказанного, различие между набором единиц языка и набором единиц речи не ограничивается их смысловой характеристикой: инвариантной у единиц языка и фактуальной у единиц речи. В отличие от речи, где наблюдается линейное вхождение единиц меньшей степени сложности в более крупные, но такие же изоморфные линейные структуры: морфов - в словоформы, словоформ - в словосочетания, их обоих - в высказывания, высказываний - в текстовые блоки и тексты, что придает речи гомогенный структурный характер, язык обладает гораздо более сложной, гетерогенной структурой. Кроме собственно смысловых единиц в языке любого типа обязательно должны наличествовать операциональные единицы, т.е. модели языковой деятельности. Таких единиц, при всем желании, не найти в речи. Этот факт зачастую гипертрофируют в лингвистических теориях формалистского толка, принимая систему таких операциональных единиц собственно за языковую систему. В некоторой степени этим страдала глоссематическая модель Л.Ельмслева и многие генеративистские модели, включая и трансформационную модель Н.Хомского. Главный просчет такого пони-

мания языковой системы, по нашему мнению, состоит в пренебрежении к собственно смысловой стороне языка, т.е. в невключении в языковую систему наряду с операциональной подсистемой моделей языковой деятельности (мы будем ее впредь называть внутренней формой языка) также и подсистемы знаковых информационных единиц (в нашей терминологии - информационной базы языка). Именно так, как нам кажется, и следует интерпретировать соссюрское положение о том, что язык - это система систем. Вряд ли можно назвать системой систем гомогенную единую систему, элементы которой входят в качестве составных в более крупные блоки на основании одного критерия иерархической или линейной сложности.

Как по части структуры и набора элементов, так и по части смыслового характера составляющих язык и речь принципиально (онтически) отличны. Точно так же отличны язык как инвариантная система систем и речевая деятельность как коммуникативный предметно-мыслительный процесс.

Открытым остался вопрос о соотношении речевой деятельности и речи (в терминологии И.Торопцева - речи-процесса и речи-результата). Мы уже отмечали выше, что одним из существеннейших просчетов теоретического построения Ф.де Соссюра было неразмежевание речевых процессов и линейного смыслового образования, возникающего в их результате. Более последовательно это делал Я.Бодуэн де Куртенэ, постоянно подчеркивавший различие между речевыми процессами (в частности, мозговыми и физиологическими), с одной стороны, и их продуктами, с другой. Наиболее последовательно эту идею подытожил ученик Бодуэна де Куртенэ - Л.Щерба, воплотив ее в своей трихотомической схеме языка: языковая система - речевая деятельность - языковой материал. Если отбросить как нерелевантную для данного вопроса несколько позитивистскую трактовку Щербой языковой системы как грамматического конструкта (словарь + грамматика), и согла-

совать его терминологию с соссюрдовской (язык = языковая деятельность или *langage*, языковая система = язык или *langue*, речевая деятельность + языковой материал = речь или *parole*) с этой схемой вполне можно согласиться. Впрочем, термин "языковой материал" нас не вполне удовлетворяет по той причине, что собственно материалом для языка в щербовском понимании (т.е. языковой деятельности у нас) является, прежде всего, собственно языковая система (язык), а тексты и другие речевые произведения, которые Щерба именует языковым материалом, являются не материалом, а продуктом, результатом языковой деятельности. Правда, можно трактовать щербовский "языковой материал" и как "речевой материал", т.е. материал речевой деятельности, однако и при такой трактовке термин "материал" не совсем точен, поскольку предполагает априорное наличие готовых речевых произведений до и вне речевой деятельности, для того, чтобы в ходе этой последней быть использованным в качестве ее материала. Мы же полагаем, что речевые произведения как таковые образуются только в процессе речевой деятельности по моделям языка на основе его (языка) знаковой информации.

Речевая деятельность понимается нами довольно широко. Сюда включаются и процессы кодировки мыслительной интенции в языковых знаках (внутреннее речепроизводство), и образование внешне-речевых линейных структур (речевых знаков), а также процессы опознавания посторонних речевых произведений и декодировки их на основе языка в когнитивные смыслы. При этом процедуры речевой деятельности не ограничиваются репродуктивной деятельностью относительно языка (таковой является только речевая деятельность, направленная на речепроизводство), но включают также и творческие процессы, которые частью подчинены продуктивной деятельности психики-мышления, а частью управляются со стороны соответствующих языковых механизмов (например, моделей словопроизвод-

ства). Понятно, что воспринимаемая так речевая деятельность не смешивается ни с языком, ни с речью. Таким образом, мы придерживаемся терминологической триады "язык - речевая деятельность - речь" (См. табл.1 в Приложении 7)

Проблематичным остается вопрос об иерархии компонентов в триаде. Мы отстаиваем позицию, согласно которой стержнем всей языковой деятельности индивида является язык. Речевая деятельность находится в прямой зависимости от наличных в языковой системе речевых механизмов. Речь же прямо зависит как от языка, так и от речевой деятельности. Смысл речевых произведений и их формальные характеристики порождаются и воспринимаются только носителем данного языка и только в ходе речевой деятельности. Это функциональный аспект проблемы. В генетическом отношении язык может появиться только вследствие речевой деятельности, а языковые единицы (инвариантные смыслы и речевые модели) возникают вследствие работы мозга, обобщающей речевые произведения. В онтическом отношении (а, соответственно, и в структурном плане) это три различные сущности: система инвариантных смыслов и алгоритмов поведения (язык), само коммуникативное поведение (речевая деятельность) и линейная структура фактуальных смыслов (речь). Речевые же сигналы - это уже четвертая онтическая сущность, но, в отличие от трех предыдущих, не смысловая (не семантическая), а физическая.

§ 2. Проблемы гносеологии и генезиса вербального смысла.

2.1. Тетрихотомия в гносеологии как исследовании генезиса смысла

В основе функциональной теории познания, которая по своим типологическим характеристикам противостоит как объективистским теориям пассивного отражения смысла, наличествующего вне человека, так и априористским теориям вне- и сверхопытного характера познания, лежит идея опытной субъективности смысла. Как видно уже из самой постановки проблемы, типология гносеологических позиций, по нашему мнению, должна проводиться по двум основным критериям: сущностному (что представляет из себя процесс познания смысла) и атрибутивному (каков этот процесс, каковы обстоятельства, условия его осуществления).

Проанализировав различные эпистемологические подходы в лингвистических исследованиях, а также рассмотрев с позиций функционализма философскую проблему генезиса смысла (См. Приложение 5), мы остановились на том, что с точки зрения сущности процесс познания может пониматься либо как процесс смысловосприятия (получения, обнаружения, открытия, отражения, нахождения смысла), либо как процесс смыслопорождения (построения, создания смысла). Первая позиция максимально ориентирована на смысл как объект познания, очерчивает локальную ориентацию процесса познания как движение от смысла к субъекту, т.е. как проникновение смысла в субъект извне, снаружи. Вторая, наоборот, максимально ориентирована на субъект познания, очерчивает локальную ориентацию познавательного процесса как движение от субъекта к смыслу, т.е. как исхождение смысла из субъекта вовне, наружу. Именно поэтому данный критерий типологической классификации можно еще назвать локальным. Принципиальное различие между названными гносеологическими позициями состоит в том, что первая ищет истину как нечто субстанциальное, а вторая ее продуцирует. В.Джемс так определял сущность истины в

прагматической (= функциональной) методологии: “Истина какой-нибудь идеи - это не какое-то неизменное, неподвижное свойство, заключающееся в ней. Истина случается, происходит с идеей. Идея становится истинной, делается благодаря событиям истинной. Ее истинность - это на самом деле событие, и именно процесс ее самопроверки, ее проверки. Ее ценность и значение - это процесс ее подтверждения” (Джемс, 1995:100). Б. Рассел также определял научное постижение истины прагматически как устранение “таких верований, которые являются ... источником потрясений, и в удержании таких, против которых нельзя привести никаких определенных аргументов” (Рассел, 1957:218).

Следовательно, по локальному признаку гносеологические подходы можно противопоставить как объективистские (объектная гносеология) и субъективистские (субъектная гносеология). Термины "объектная" и "субъектная", наверное, лучше подходят к нашим целям, так как они наименее коннотированы и идеологизированы. Кроме того они подчеркивают не характер результатов познания (их соответствия или несоответствия "объективной" истине), поскольку такая постановка проблемы (свойственная чаще представителям объектной гносеологии) неминуемо влечет за собой оценочность, а значит, и субъективность утверждений (один из парадоксов эпистемологии), но подчеркивают именно направленность и характер самого познавательного процесса.

К объектным гносеологическим теориям можно отнести практически все феноменологические (эссенциалистские) и позитивистские (эмпирические) построения. К субъектным - рационалистские и функциональные. Впервые дихотомию “объективизм / субъективизм” в эпистемологию ввел Р. Декарт. М. Вартофский отмечал, что именно Декартом “в основания современной науки и философии была введена альтернатива: реализм - инструментализм. Эта альтернатива породила два понимания науки: (1) наука - это исследование истины в том смысле, что она формулирует и обосновывает истинные суждения относительно мира, природы или природного бытия; (2) наука - это ин-

струмент предвосхищения будущих данных опыта на основе открываемых и формулируемых закономерностей в прошедшем опыте” (Вартофский, 1978:56).

Второй критерий типологии гносеологических подходов в лингвистике - атрибутивный - касается темпорального¹ характера и условий познавательного процесса, а точнее, отнесенности познания к опыту человеческой жизнедеятельности. Теории, ориентированные на опыт как основную детерминирующую категорию познания, обычно определяются как методологически апостериорные, а теории, ориентированные на вне- и сверхопытное познание, - как методологически априорные.

Априоризм здесь - это локальная, а не темпоральная характеристика познавательной деятельности, поскольку отражает не столько глобальные обстоятельства процесса смыслопорождения, сколько его сущностную специфику: понятийное смыслотворчество сущностно противостоит принципу чувственного восприятия. Возможность продуцировать новые понятия на основе уже существующих и по законам человеческой логики ни в коем случае не следует смешивать с темпоральными обстоятельствами возникновения такого понятия, с фактом их внеопытного или сверхопытного происхождения. Следовательно, сущностный (локальный) гносеологический априоризм нельзя смешивать с априоризмом атрибутивным (темпоральным). Первый есть собственно субъективизм, т.е. указание на человеческое сознание как источник смысла (именно в этом суть понятия гносеологической локализации). Второй - есть собственно априоризм, т.е. указание на независимость происхождения смысла от жизненного опыта (и в этом суть понятия гносеологической темпоральности)

Собственно темпоральным критерием следует считать именно отнесенность процесса возникновения смысла (генезиса смысла) к обстоятельствам его возникновения, т.е. к жизненному опыту его

¹ Уравнивание атрибутивного и темпорального критерия осуществлено нами ad hoc, поскольку объектом в данном случае является процесс (смыслопорождение

субъекта. Естественно, теории, отрицающие биологизм субъекта смысла (феноменологи, эссенциалисты, реалисты, социологические объективисты и пр.) не могут связывать смысл с опытом, поскольку понятие опыта может быть применено лишь к чему-то исторически конкретному, но никак не к Духу, Истине, Миру, общественному сознанию. В последнем случае могут возникнуть возражения, ведь марксисты неоднократно пытались обосновать историческую конкретность общественного сознания и даже историческую закономерность его генезиса. Однако опыт как общественная практика настолько абстрагирован и, что еще хуже, заидеологизирован, что серьезно сравнивать этот тип опыта с опытом жизни конкретного индивида не представляется никакой возможности. Для серьезного анализа характеристик общественного опыта необходимо, как минимум, четко определить в пространственном и временном отношении границы самого субъекта такого опыта: человечества, нации, народности, класса, социального слоя или социальной группы. Чаще всего сделать это однозначно невозможно. Поэтому термин "опыт" лучше применять именно к человеческому индивидууму как социальной личности.

Мы полагаем, что темпорально обусловленной опытом можно считать только жизнедеятельность конкретного индивида, а теории, выводящие свое понимание гносеологии смысла из категории опыта, можно именовать апостериорными. При этом, сущность опыта человеческой жизни может сводиться к его чувственно-биологической предметной деятельности (как в эмпирическом позитивизме и вульгарном материализме), либо пониматься как опыт предметно-коммуникативной мыслительной деятельности (как в функционализме). Не только феноменология или социологический объективизм абстрагируют смысл от опыта жизнедеятельности конкретной человеческой личности. Делают это и логические позитивисты, солипсисты, интеллектуальные интуитивисты и др. представители рационалистской методологии. Их приверженность к "чистой" логике, к "чистым" уни-

или смысловосприятие), а основным атрибутом процесса является именно временная характеристика.

версальным смыслом, "чистой" дедукции зачастую прямо или косвенно являются производными от картезианской идеи врожденности смыслов (например, у Бюлера или Хомского) или его же идеи индивидуального рационального мышления как озарения, интеллектуальной интуиции в качестве единственного реального проявления и доказательства бытия субъекта смысла ("Cogito ergo sum"). Именно поэтому мы склонны относить поклонников индивидуально-рационалистической идеи вместе с эссенциалистами и феноменологами к гносеологическим априористам.

Таким образом, по линии темпоральных свойств познания существующие в языкознании теории можно развести на априорные (смыслы недетерминированы опытом жизнедеятельности человеческого субъекта) и апостериорные (смыслы возникают в пределах жизненного опыта и для него).

Феноменологические и тяготеющие к ним теории следует характеризовать как априорные и объектные в гносеологическом отношении, поскольку их сторонники утверждают, что познание носит характер открытия сущностной истины, а путь проникновения к этой истине чаще всего является или эйдетическим "схватыванием", экзистенциальным "откровением" или трансцендентным прорывом в область запредельного бытия смысла. Однако путь феноменологического познания вовсе не обязательно должен быть иррациональным. Он может быть и логическим (например, у последователей Гегеля или Маркса). В лингвистике априоризм гносеологии выражается, прежде всего, в универсалистских тенденциях и описательном характере исследования. Показательны в этом смысле работы классических структуралистов, исследовавшие чистые системные отношения в отвлечении от реальных речевых процессов, от социально-психологических условий опыта языковой деятельности, включающих этнические, половые, возрастные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и др. особенности субъектов и целый ряд экстралингвистических факторов, влияющих на языковую деятельность целиком и на данный коммуникативный акт, в частности.

Для феноменологической гносеологии весьма показательно игнорирование реальных фактов и желание прямо, без учета онтической единичности объекта, проникнуть в его "сущность". Для феноменологов вещи таковы, как они есть, и их сущность слита с их явлением. Поскольку все феномены не более чем явления некоторой единой сущности, можно смело игнорировать разнообразие этих явлений, их внешние различия и на основе любого из представителей сущности выйти на понимание сущности. Как писал Л.Выготский, "там, где бытие непосредственно совпадает с явлением, нет места для науки, а есть место только для феноменологии" (Выготский, 1982, I:141). Суть понимания истинности в феноменологии можно выразить формулой: "Истинно то, что соответствует действительности".

Позитивистские (эмпирические) теории мы относим к апостериорно-объектным на том основании, что их представители склонны понимать познавательный процесс как чисто отражательную эмпирическую, сенсорную деятельность, нацеленную на обобщение мельчайших фактуальных проявлений, которые, по мнению позитивистов, являются носителями объективной информации. Достаточно разработать достаточно совершенный инструментарий наблюдения за внешними фактуальными проявлениями, как истина сама откроется перед познающим субъектом как она есть. В языкознании это проявляется, прежде всего, в привлечении к лингвистическому исследованию все более сложной и точной измерительной аппаратуры, в тенденции к фактуализму, подчеркнутому индуктивизму, в склонности ограничивать объект исследования внешнеречевыми феноменами, а то и коммуникативными сигналами (физическими звуками, начертаниями).

В марксистской критике широко распространено мнение о принципиальном различии позитивистской эмпирической гносеологии и материалистической теории отражения, приписывающее первой черты субъективного идеализма, а второй - черты объективного познания. Истоком обеих теорий является чувственное созерцание. Именно с него начинается познание. И совершенно неважно, признаем ли мы объектом познания внешний предмет, "данный нам в ощущениях" или

сами эти ощущения, данные нам природой. В любом случае наше познание приобретает сущностный характер получения разумом знаний из сферы чувственности, а не создания его разумом. “Символом веры” позитивистской гносеологии можно считать формулу: “Истинно то, что может быть созерцаемо”.

К субъектным в гносеологическом плане нами отнесены рационалистические (логистические, сайентологические, солипсические, индивидуалистические) и функциональные теории. Разница между ними проходит по линии “априоризм / апостериоризм”. Рационалистические теории тяготеют к индетерминизму, индивидуально-биологическому характеру познавательного процесса, независимому от социальных условий. Некоторые представители этого течения не скрывают своих симпатий к картезианской идее врожденной языковой компетенции, слишком широко трактуют генный фактор становления и развития языковой деятельности. Будучи ориентированными на индивидуальную специфику личности языкового субъекта, представители рационализма, так же, как и позитивисты, склонны гиперболизировать речевые факты, но в отличие от вторых, рассматривают эти факты изолированно от реального речевого процесса. Правда, в 70-80-е гг. XX века в рационалистских теориях (в частности, в прагмалингвистике) наметился некоторый поворот к апостериоризму, что отразилось в попытках расширить сферу индивидуальной языковой компетенции за счет понятия дискурса, которое включало в себя некоторые элементы опыта языковой деятельности. Основная формула познания в рационализме: “Истинно то, что может быть логически доказано или что является психически очевидным субъекту”.

В своей работе мы отстаиваем функциональную гносеологию лингвистического исследования, предполагающую субъектно-апостериорный подход как к процессу порождения смысла, так и к исследованию этого процесса. С точки зрения функционализма процесс порождения смысла, т.е. собственно познавательный процесс, является субъектно-личностным процессом. Смысл не открывается человеком, не обнаруживается и не извлекается ни из предметов чувст-

венного опыта, ни из объективно существующих законов природы, ни из объективно существующего Абсолютного Духа. Нет смысла и во взятых самих по себе ощущениях или эмоциях. Как писал Л.Выготский, "всякое наше восприятие имеет значение: любое бессмысленное мы воспринимаем (как осмысленное), приписывая ему значение" (Выготский, 1982, I:164). Смысл формируется как функция предметно-коммуникативного и мыслительного опыта субъекта познания. "Новые истины, - отмечал В.Джемс, - являются как бы равнодействующими новых опытов и старых истин, взятых в их взаимодействии" (Джемс, 1995:85). "Дана прежняя истина и свежие факты и наш ум находит новую истину" (Там же, 119). Именно за счет этого порождается смысл одновременно локально субъективен (ориентирован на мыслительные способности субъекта) и темпорально апостериорен (ориентирован на опыт социальной по своей сущности предметной и коммуникативной деятельности этого субъекта). Поэтому проблемы фило- и онтогенеза в функциональной методологии следует рассматривать совместно. Формула истинности функционализма: "Истинно то, что в данное время социально полезно индивиду и согласуется с его предметно-коммуникативной деятельностью".

Собственно понятие смысла как функции состоит в том, что он возникает как соотношение мыслительной деятельности и предметно-коммуникативного опыта. При этом нельзя ни в коем случае смешивать функции сознания и функции языка, которые они выполняют относительно смысла. Лишь сознание (и мышление как основная форма его функционирования) может рассматриваться как смыслообразующая функция. Язык же (при всем его активном участии в процессе смыслообразования) выполняет лишь семиотическую функцию, т.е. эксплицирующую (фиксация и выражение смысла в форме языковых знаков) и коммуникативную (достижение взаимопонимания и intersubъектного взаимодействия) функции. В этом вопросе мы полностью согласны с А.Сабошук, что "Язык является средством общения, средством взаимного обмена мыслями, превращающего их в общественное достояние, в форму общественного сознания. Но в этой своей

исконной и основной функции он в лучшем случае может внедрять мысли, уже сформировавшиеся в умах одних людей, в сознание других людей. Следовательно, оставаясь в рамках языкового речевого общения, нельзя объяснить ни приращение новых знаний, ни тем более возникновение мышления” (Сабощук, 1990:112). Появление смысла - целиком прерогатива психики как мыслительно-чувственной функции. Во многом пафос кантовского эмпирического трансцендентализма состоял именно в признании двустороннего (рационально-чувственного) характера познавательного процесса. Кант решительно отвергал всякую возможность "чистой" интеллектуальной интуиции, свободной и независимой от чувственного опыта (как, например, в монадологии Лейбница, а позже - в феноменологии Гегеля и Гуссерля, экзистенциализме и герменевтике). Столь же решительно он отбрасывал идею выведения всех человеческих смыслов из актуального чувственного опыта (как у Юма, а позже у позитивистов). Четко отмежевывая свою гносеологическую позицию как от трансцендентного объективизма Лейбница, так и от эмпирического объективизма Локка, Кант писал: "... Лейбниц интеллектуализировал явления, подобно тому как Локк согласно своей системе ноогонии (если можно так выразиться) сенсифицировал все рассудочные понятия, считая их лишь эмпирическими или отвлеченными рефлексивными понятиями. Вместо того чтобы видеть в рассудке и чувственности два совершенно разных источника представлений, которые, однако, только в сочетании друг с другом могут давать объективно значимые суждения о вещах, каждый из этих великих философов ратовал лишь за один из источников познания, относящийся, по их мнению, непосредственно к вещам в себе, а другой источник считал или запутывающим, или приводящим в порядок представления первого” (Кант, 1964:321). Функциональный, двусторонний, трансцендентально-чувственный характер познания вслед за Кантом последовательно отстаивал и В.Джемс: “Наш ум ... стиснут между гранями, которые ему полагают явления чувственного мира, с одной стороны, и умственные, идеальные отношения - с другой. Наши идеи должны согласовываться под угрозой постоянных за-

блуждений и непоследовательности с действительностью” (Джемс, 1995:105). И далее: “Прагматист скорее даже, чем кто-либо другой, чувствует себя как бы между наковальней всех капитализированных истин прошлого и молотом фактов окружающего его чувственного мира” (Там же, 116).

Научное обоснование позитивистского понимания онтогенеза как процесса получения знаний извне методом проб и ошибок в ходе опытного разрешения поведенческой проблемы по принципу "стимул-реакция" было дано, с одной стороны, русской рефлексологией, а с другой, - В.Торндайком и бихевиористами. Именно такое понимание онтогенеза смысла (и языкового смысла, в том числе) утвердилось в советской (и продолжает главенствовать в постсоветской) психологии и педагогике, несмотря на появление еще в 30-е годы функционального (деятельностно-генетического) подхода к решению этой проблемы, разработанного Л.Выготским (философский аспект онто- и филогенеза смысла рассмотрен нами в Приложении 5). Причина этого - в повороте советской марксистской философии с собственно марксовской (феноменологической по своей методологической сути) позиции на позитивистские и вульгарно материалистические позиции. Справедливости ради отметим, что и сам Л.Выготский был далеко не столь последователен в своих функционалистских привязанностях. Кроме того, немаловажным фактором последующего неразвития функциональных взглядов Выготского стало то, что обе его наиболее ценные в методологическом плане работы ("Психология искусства" и "Исторический смысл психологического кризиса"), где он максимально реализовал свои функционалистские идеи, так и не были изданы вплоть до 60-80 гг. Функционализм в 20-30 гг. XX века только начинал формироваться на основе раннего швейцарского функционализма (де Соссюр, Клаппаред, Пиаже), раннего русского функционализма (Бодуэн де Куртенэ, Крушевский, Сеченов) и американско-английского прагматизма (Джемс, Шиллер, Дьюи) и семиотики (Милль, Пирс). Показательно, что все без исключения ранние функционалисты вышли именно из позитивистской среды (из русской рефлексологии, английского эмпирического позити-

визма, естествознания). Все они, в большей или меньшей степени, то и дело сбивались на позиции эмпирического позитивизма, поскольку боялись утратить естественнонаучную почву своих исследований в области смысла и развития человеческой психики на фоне все более набирающего силу в начале XX века иррационализма (интуитивизма, волюнтаризма, экзистенциализма и феноменологии) и только что появившегося априорного (логического) позитивизма как реакции на антиинтеллектуализм классического эмпирического позитивизма.

Все это нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идет о судьбе становления функциональной методологии. Отведенного ей историей межвоенного двадцатилетия оказалось явно недостаточно, чтобы утвердиться в качестве полноценного методологического течения в философии и науке. Функциональные идеи Пражского лингвистического кружка были искоренены фашистской оккупацией и сталинской идеологической чисткой в первые послевоенные годы. То же касается функциональных идей, развивавшихся в работах ОПОЯЗа (О структурно-функциональном методологическом характере работ представителей этого кружка см Бавевский, 1994:249). Та же судьба ожидала и наиболее прогрессивные функциональные идеи Л.Выготского в области психологии. Что касается американского и западноевропейского научно-философского пространства, то здесь в связи с бурным развитием научно-технической революции и в связи с апокалиптическими настроениями в послевоенной культуре развились две методологические крайности, одинаково далекие от функционализма: с одной стороны технотронный логицизм (или логический позитивизм, несущественно эволюционировавший за последние тридцать лет в сторону умеренного логического прагматизма) и интеллектуальный интуитивизм (колеблющийся на грани феноменологического рационализма и трансцендентного экзистенциализма, вплоть до мистицизма).

Возвращаясь к сказанному выше о сущности генезиса смысла: получение (с накоплением, расширением, увеличением объема) или формирование (с переходом из одной формы в другую, со сменой, замещением новым старого, полным изменением сущности), то имен-

но в этом моменте лучше всего видно различие между позитивистским и функциональным подходом к развитию смысла. У Л.Выготского находим как раз второе решение, хотя и его схема превращения ранних синкретических образных полевых структур в ассоциативные, коллекционные, цепные и диффузные комплексы представлений, а затем в псевдопонятия подростков и обыденные понятия взрослых страдает определенным редуccionизмом (См. Выготский, 1982, II: 136-162). Но это не столько вина Выготского, сколько ограниченность современной ему психологии (прежде всего, в методологическом отношении). Впрочем, схему Выготского следует (как и все в науке) воспринимать не как окончательное решение проблемы, а как постановку вопроса и определение пути дальнейшего развития.

Что до функциональных методологических положений у Выготского, то здесь мы обнаружили одну важную параллель с трансцендентальным априоризмом Канта. Это касается именно противопоставления функциональной гносеологии позитивизму (у Выготского) и, трансцендентализма - эмпиризму (у Канта). Так, критикуя бихевиористов, Выготский отмечает, что в их трактовке (свойственной, впрочем, всем позитивистам) процесс познания является полностью чувственно-эмпирически связанным. [Высшие центры деятельности мозга] "... могут тормозить и сенсibiliзировать деятельность низших, но не могут создать и привнести в деятельность мозга ничего принципиально нового" (Выготский, 1982, I: 172). Сказанное свидетельствует в пользу принципиального соответствия точки зрения Выготского идее трансцендентальных познавательных возможностей человека. Выготский ставит идею Канта об априорности когнитивно-понятийного мышления на естественно-научную основу: "... при поражении какого-либо центра при прочих равных условиях больше страдает ближайший к пораженному участку низший зависящий от него центр и относительно меньше страдает ближайший высший по отношению к нему центр, от которого он сам находится в функциональной зависимости... в зрелом мозгу компенсаторную функцию при каком-либо дефекте принимают на себя часто высшие центры, а в развивающемся мозгу - низшие по

отношению к пораженному участку центры" (Там же, 173). Указанные наблюдения подтверждают одновременно два важнейших гносеологических положения функциональной методологии: трансцендентальный характер познавательной деятельности (порождение смыслов у взрослого человека носит дедуктивный характер и не связано системой органов чувств), благодаря которому становится возможным полноценное функционирование понятийного мышления даже при функциональных нарушениях сенсорной системы, и апостериорный характер происхождения смысла (что доказывает принципиальная разница действия механизмов познавательной деятельности у взрослого и у ребенка), из-за которого становится возможной сама идея онтогенеза познавательной деятельности. Познавательная деятельность взрослого потому и отличается от познавательной деятельности ребенка, что последняя апостериорна, опытна по своему происхождению. Но этот апостериоризм относителен. Детское познание апостериорнее взрослого, но так же трансцендентально по своей типологической сущности. Показательно в этом плане замечание Выготского: "Обучать ребенка тому, чему он не способен обучаться, так же бесплодно, как обучать его тому, что он уже умеет самостоятельно делать" (Выготский, 1982, II:254) [выделения наши - О.Л.]. Процесс обучения лишь темпорально (каузально, атрибутивно) апостериорен, онтологически же (структурно, сущностно) он всегда трансцендентален.

Л.Выготский выражал понимание функционального двустороннего характера языкового понятийного смысла (значения) через понятия "общение" и "обобщение": "Центральный факт нашей психологии - факт опосредования... Внутренняя сторона опосредования открывается в двойной функции знака: 1) общение, 2) обобщение... Общение и обобщение внутренне связаны между собой" (Выготский, 1982, I:166). И далее: "Обобщение есть выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры" (Там же, 167). Понятия "общение" и "обобщение" как моменты смыслопорождения можно интерпретировать как смежностное соположение, установление внешних связей, предикацию ("общение") и как сопоставле-

ние, сравнение по внутреннему сходству, введение в класс, категоризацию или субституцию ("обобщение"). Познание не может обойтись без этих двух функций, соотносящихся друг к другу в плане обратной пропорции: чем более познание ориентировано на факты (чем более оно предикативно), тем менее оно склонно категоризировать и порождать обобщенные смыслы и, наоборот, чем сильнее субститутивная функция обобщения, тем менее склонно сознание обращать внимание на фактуальные частности. Функциональная гносеология предполагает постоянную ориентацию фактов на систему понятий и понятий на факты.

2.2. Функциональное понимание становления и развития вербального смысла

Еще до появления кантовской теории трансцендентальной гносеологии Б.Спиноза писал: "... для того чтобы был найден наилучший метод для исследования истин, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и, чтобы исследовать второй метод, не надобно никакого третьего метода и.т.д. до бесконечности; так как таковым путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще ни к какому понятию. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда, где было бы возможно подобное же рассуждение: действительно, чтобы выковать железо, надобен молот, чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан; для этого нужно опять иметь молот и другие орудия; чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия, и т.д. до бесконечности; на этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказать, что люди не имели никакой возможности выковать железо" (Цит. по: Выготский, 1982, I: 319). Эта мысль вполне может быть интерпретирована в функционально-методологическом плане применительно к проблеме фило- и онтогенеза языковой деятельности и ее составных: языка, речи и речевой деятельности.

Нередко в лингвистических исследованиях можно встретить попытку решить проблему приоритета происхождения языка или речи (понимаемой либо как речевая субстанция, либо как речевая деятельность, либо как одно и второе одновременно). Для правильной постановки вопроса еще раз обратим внимание на наши дефиниции указанных составных языковой деятельности.

Язык - система вербальных инвариантных знаков (представляющих вербальную картину мира) и правил речевой вербализации мыслительного процесса. Следовательно, уже в самом понятии языка содержится идея и предполагается факт априорного наличия процес-

са речевой деятельности и речевых фактуальных знаков, обобщение которых и позволило выработать систему инвариантных языковых средств.

Речевая деятельность - процесс коммуникативного сообщения человеческих индивидов по правилам языковой системы и при помощи инвариантных языковых средств (знаков и алгоритмических моделей речевой деятельности). Следовательно, речевая деятельность как таковая становится возможной только при априорном наличии языковой системы.

Речь - линейный коммуникативно-информационный континуум, результат речевой деятельности, образуемый по языковым моделям и на основании информации, содержащейся в языковых единицах.

Как видим, ни одна из составных частей языковой деятельности немыслима в генетическом отношении без двух других. Поэтому сама постановка вопроса о приоритете одной из них теряет в функциональной гносеологии смысл. В функциональном отношении (в плане функционирования) приоритет языковой системы по отношению к речевой деятельности выражается в возможности наличия языковых знаний до и вне речевой деятельности, а также в факте производимости речевых знаков по правилам и законам языка. В этом же отношении можно выявить и приоритет речи по отношению к языку. Это выражается в факте пополнения языковой системы новыми элементами, впервые появившимися в речи ("В языке нет ничего, чего бы не было в речи"). Но в генетическом отношении (и онтогенетическом, и филогенетическом) язык, речь и речевая деятельность совершенно равноценны. Именно эту мысль и выражает высказывание Спинозы. Язык может возникнуть только из речи и только в ходе речевой коммуникативной деятельности. Речью можно назвать только закодированное особым образом (известным кому-либо, а значит, социальным и инвариантно фиксированным) сообщение, т.е. нечто, образовавшееся в ходе речевой деятельности и по правилам языка. А речевая

деятельность обязательно предполагает наличие системы правил речевой деятельности.

Только взятые вместе, в виде языковой деятельности индивида, все они могут сопоставляться с понятием опыта предметно-коммуникативной мыслительной деятельности. Общеизвестно, что ребенок научается языку у взрослых (ни один "царский эксперимент" еще не дал повода для обратного вывода) и происходит это не сразу. Предметно-коммуникативная деятельность ребенка предшествует возникновению у него полноценной языковой (вербальной) функции. Однако нет никакой возможности распределить генезис возникновения у него этой функции между составными языковой деятельности: системой инвариантных знаков и моделей, процессом вербализации коммуникативной интенции и коммуникативной вербальной субстанцией. Все они, взятые в стадии становления, могут быть довольно-таки условно названы языком, речевой деятельностью и речью. И все же, гносеологические и терминологические возможности на этом пути очень ограничены. Для этого необходимо четко выделять отдельные этапы их становления и давать им на каждом новом этапе новое название, вплоть до их полного преобразования (оформления), соответственно, в язык, речевую деятельность и речь "взрослого" образца. Конечно же, это практически невозможно. Таких этапов становления языковой деятельности и в онтогенезе, и в филогенезе может быть бесконечно много. Кроме того, мы сильно ограничены в познании филогенеза языковой деятельности и количественно (недостаток данных) и качественно (изменение типа мыслительной деятельности по сравнению с прошлым).

Несмотря на то, что между онтогенезом смыслопорождения (и языковой деятельности, в частности) и филогенезом человеческой психики-сознания существует прямая онтологическая связь (первое является единственной онтической формой второго), было бы сильным упрощением видеть в современных онтогенетических процессах прообраз предшествующих генетических шагов. Онтогенез лишь час-

тично обращен в прошлое, что выражается в том, что ребенок иногда в своей языковой деятельности обнаруживает речевые формы и языковые модели, уже давно ушедшие из языковой системы.

Так, например, в языке детей, говорящих на славянских языках, часто появляются дometатетические или допалатализационные формы. Впрочем, их объяснение вполне может оказаться совершенно современным. Во всяком случае, появление форм с отсутствующим чередованием, вроде укр. "Львіва" (вм. "Львова"), "покіра" (по аналогии с "покірний", вм. "покора"), "різеш" (вм. "ріжеш"), "шісти" (вм. "шести") или русс. "осела" (вм. "осла") или "хотю" (вм. "хочу"), возникают по совершенно синхронным причинам - закону аналогии. Ребенка, говорящего на украинском языке, употребившего русизм "на криші", родители поправляют: - Не "на криші", а "на стрісі". Ребенок, выросший в городе и ранее не слышавший этого слова (сельской реалии), отвечает: - А я не знаю, що таке "стріся". Таким образом, ребенок самостоятельно образует форму именительного падежа вместо нормативной "стріха" по уже образовавшейся у него ранее модели склонения подобных имен женского рода. Ошибка происходит оттого, что у ребенка не выработалась еще модель чередования на морфемном шве и не было в информационной базе соответствующего знака с корневой морфемой, где присутствует морфонема {x/s'}. Аналогичны и случаи с детским окказиональным словообразованием. Например, русс. "На пятом этаже видно верхушки деревьев, а низушки не видно" или укр. "Я вже не хочу їсти після пиння" (вм. "пиття"), "повбитані" (вм. "повбивані"), "в мене очне захлебнуття" (вода попала в глаза), "кавказний" (вм. "кавказький"), "четверьоє" (вм. "четверо" по аналогии к "двоє" и "троє"). И.Зимняя на основе собственных наблюдений отмечала, что "ребенок сначала овладевает придаточными предложениями с союзами "потому что", "так как" и т.д., т.е. каузальными словами, а затем уже соответствующими этим синтаксическим формам смысловыми структурами (т.е. знаками - О.Л.)" (Зимняя, 1991:133).

Эти формы свидетельствуют в пользу того, что развитие внутренней формы языка (системы моделей и алгоритмических предписаний речевого поведения) опережает в онтогенезе языковой деятельности развитие системы языковых знаков (информационной базы языка). Мы полагаем, что ребенок сначала усваивает отдельные речевые формы, затем открывает для себя принцип модели словоизменения, и только после этого окончательно формирует инвариантную воспроизводимую единицу. Это предположение как нельзя лучше иллюстрирует функциональную идею о трансцендентальном апостериоризме: фактуальный смысл является обязательным условием возникновения инвариантного смысла (апостериорный характер онтогенеза), а порождение новых фактуальных смыслов становится возможным после возникновения модели и инвариантного смысла (что свидетельствует в пользу трансцендентального, творческого, дедуктивного характера возникновения модели).

В пользу раздельного генезиса информационной базы языка (системы знаков) и его внутренней формы (системы моделей), а также в пользу признания их различной функциональной роли в становлении языкового смыслотворчества свидетельствуют также многочисленные факты усвоения второго (неродного) языка, особенно детьми. Наблюдение за речью людей, изучающих неродной язык (особенно в естественных коммуникативных условиях, т.е. без специально организованного процесса обучения и без контроля со стороны обучающего), обнаружило любопытный факт: люди легко воспринимают речевые знаки (естественно, в ограниченном объеме - частично фонетическую и когнитивную информацию, в меньшей степени - грамматическую, крайне редко - эпидигматическую), но очень долго проникают во внутреннюю форму чужого языка. На протяжении какого-то времени человек, "общаясь" на неродном языке (особенно это заметно в случаях близкого родства родного и иностранного языка), образует формы на основе заимствованной знаковой информации, но по моделям внутренней формы родного языка. Иногда (как в

случае с русско-украинским или русско-белорусским двуязычием) монолингву кажется, что достаточно усвоить модели произношения, как сразу же их речь превратится из русской в украинскую или белорусскую или наоборот. Так, в серии экспериментов, проведенных в Тернопольском пединституте и некоторых школах города совместно с С.Ткачевым, были обнаружены многочисленные факты произнесения украинских слов по моделям русского произношения, которые воспринимались их субъектами как перевод или подбор русского аналога: "перерез" (вм. "сечение" по аналогии с "перері́з"), "свойский" (вм. "домашний"; укр. "св́йський"), "митиковать" (вм. "соображать"; укр. "метикувати"), "загарбать" (вм. "захватить"; укр. "загарбати") и под. Аналогичны случаи с произношением русских слов по произносительным моделям украинского языка: "хокеїсти підустали" (вм. "трохи втомились" под влиянием русского "подустали"), "нравиться" (вм. "подобається"; русс. "нравится"), "всігда" (вм. "завжди"; русс. "всегда"), "понімаєте" (вм. "розумієте"; русс. "понимаете"), "мішати" (вм. "заважати"; русс. "мешать") и под. Часто монолингв формирует ложную произносительную модель неродного языка и начинает применять их по отношению к формам, к которым они неприменимы. Так, весьма распространенными ложными произносительными моделями для украинцев, усваивающих русский язык является сплошное аканье, независимо от позиции, а для русских, изучающих украинский, - произнесение украинского и [ы] на месте русского [и]: кулиса (вм. куліса), інтелігент (вм. інтелігент) и др. Встречались случаи, когда активный носитель одного славянского языка, пассивно владеющий каким-то вторым, обнаруживал некоторое фонетическое сходство этого второго с третьим славянским языком. При коммуникативной необходимости общения на этом третьем языке он моментально вырабатывал модель произношения именно на основе произносительных правил второго языка. Т.е. даже произносительные модели, казалось бы, ориентированные на опыт чувственного созерцания, вырабатываются трансцендентально.

Созданием произносительной модели и усвоением когнитивных знаний не завершается, но лишь начинается процесс генезиса знака. Даже на этом этапе, как видно из вышесказанного, усваивающий неродной язык не застрахован от ошибок. Ему предстоит еще не раз корректировать свои произносительные модели (равно как и когнитивный смысл знака, особенно в случае, когда в его когнитивно-понятийной системе отсутствовало это понятие или в системе знаков его родного языка отсутствовало именно такое лексическое значение). Тем не менее, первым шагом на пути формирования знака неродного языка всегда будет создание функционального отношения между некоторым лексическим значением (не обязательно адекватном значению изучаемого знака) и некоторым звуковым представлением или совокупностью звуковых представлений (также, возможно, отличающимся от звуковых представлений носителя этого языка). Все остальные компоненты появляются в знаке позже.

Особенно сложно формируется словоизменительная (морфологическая) информация (а иногда и словообразовательная - при межъязыковой синонимии словообразовательных средств). Долгое время человек использует заимствованные знаки с опорой на модели словоизменения родного языка или образует в изучаемом языке паронимичные образования на основе моделей словопроизводства своего языка. Так, дети очень часто рассказывая стихотворения или исполняя песни на неродном, но родственном языке, заменяют морфологические элементы текста аналогами из родного, хотя корневые элементы (или основы) почти всех знаменательных слов используются нормативно. Исключения касаются тех слов, в которых морфологические замены формами родного языка вынудили ребенка изменить весь знак (создать новый, окказиональный или употребить прямой или паронимический аналог из родного языка): "Кар Іванович з довгим носом приходив до мене з вопросом" (вм. "Карл Иваныч с длинным носом приходил ко мне с вопросом" с переводом русс. "длинный" в "долгий" через посредничество укр. формы "довгий"), "растворник"

(вм. "растворитель"), "V potoci se voda toče" (вм. "V potoce se voda točí", влияние украинских форм "потоці" и диалектного западноукраинского "точе ся" - "точить ся"), "Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирае, песенки поёт" (вм. "собирает" под влиянием украинского "збирає"). Впрочем, так поступают не только дети. Вот примеры подобного грамматического и словообразовательного творчества из взрослой речи русских, говорящих на украинском языке: "написав понад двохсот музичних творів" (вм. "понад двісті" под влиянием русс. "свыше двухсот"), "популярно-розважлива передача" (вм. "популярно-розважальна"), "познайомлять вас з питаннями права загалом та окремими законами частково" (вм. "зокрема", влияние русского "в частности"), "опитування громадянської думки" (вм. "громадської"). Раздельное функционирование знаков и моделей языка особенно хорошо видно при исследовании межъязыковой интерференции при двуязычии.

Так, при сохранении ядра морфологической формы языкового знака (лексико-фонематической функции, реализованной в корневой морфеме) при интерференции могут нарушаться именно модельные функции знака (словоизменительные и словопроизводственные). Так, при польско-украинском двуязычии очень заметно влияние грамматического строя одного языка на другой (при одновременном сохранении собственно знаковых функций): "w szkoli" (вм. "w szkole"; укр. "в школі"), "ludzi" (вм. "ludzie"; укр. "люди"), "trzy chłopca" (вм. "trzech chłopców"; укр. "три хлопця"; в украинском языке отсутствует категория одушевленности в плурале прилагательных, числительных и глаголах в формах мужского рода, отсюда в польских говорах на Украине формы: "przyszli Sowiety", вм. "przyszli Sowieci", "te ludzi", вм. "ci ludzie", а также "kobiety wyrobili", вм. "kobiety wyrobiły"). В этих же говорах встречаем и явно украинское устранение личных глагольных агглютинативных показателей ("ja szedł", вм. "szedłem" и "my chodzili" вм. "chodziliśmy"), а также прибавление избыточных с точки

зрения польского языка личных местоимений ("ja byłem" вм. "byłem" или "my pracowaliśmy" вм. "pracowaliśmy").

Как показывает опыт обучения иностранному языку, даже в случае более менее адекватного усвоения отдельного знака или ряда знаков как совокупности всей информации об их речевой реализации, тем не менее, человек, изучающий иностранный язык, еще не может самостоятельно образовывать формы вновь поступающих к нему знаков. Это происходит до тех пор, пока он не образует соответствующую модель словоизменения.

Важным моментом для понимания функциональной гносеологии является последовательное разведение понятий "генезис" и "функционирование" смысла. Мы считаем, что разница между генезисом и функционированием проходит именно по линии "гносеологическое // онтологическое" или "познавательное // бытийное" так как генезис смысла касается факта его возникновения, т.е. факта некоторого познания, в то время как функционирование - это одна из ипостасей бытия смысла (наряду с его инвариантным состоянием покоя, "небытием"). Функционирует в равной степени и то, что уже сформировалось, и то, что еще становится. Поэтому мы склонны соотносить генезис и функционирование не как сходные (а значит, и противопоставленные) процессы, но как смежные. При этом генезис можно трактовать только как составную функционирования. Поэтому с позиции генезиса можно говорить лишь о процессе порождения смысла, но нельзя говорить о смысле как таковом, т.е. о его субстанциальных, онтических характеристиках.

Довольно спорной является мысль Выготского о том, что к фактам мышления следует относить только осмысленные волевые акты когнитативного плана. Чисто же коммуникативные акты (воспроизведения готовых форм по памяти или повторение по образцу) он не относит к мыслительным (См. Выготский, 1982, II:111). Однако, далеко не всякое повторение услышанного (даже экспериментальной фразы) и, тем более, воспроизведение заученного наизусть стихотворения,

которые Выготский выводит в область чисто речевого внемыслительного, является бессмысленным механическим актом. Самая рядовая, автоматически произнесенная фраза (вроде приветствия или ответа на банальный вопрос) сопряжена с процессом смысловотворчества, даже если она не была зафиксирована волевыми механизмами. Мы не отрицаем, что предикация, лежащая в основе мышления, может быть продуктивной (творческой) и репродуктивной (автоматизированной) по своему характеру, но грань между ними весьма зыбкая. Поэтому мы склонны в мыслительном процессе (в предикации) различать когитативный (творческий, продуктивный) и коммуникативный (автоматический, репродуктивный) моменты, отнесенные друг к другу как обратные стороны того же явления. Чем более предикация творческая (чем больше в мысли нового), тем менее она автоматична и, отсюда, тем менее она коммуникативна (понятна другим) и наоборот.

Отдельным аспектом гносеологического исследования смысла является исследование функционального характера смысла, т.е. специфики смысла в зависимости от той основной функции, которую этот тип смысла выполняет. До сих пор мы анализировали процесс познания с точки зрения возникновения главного объекта всякой гуманитарной науки - смысла. Но основным объектом лингвистического исследования является не любой смысл, но лишь смысл вербальный. Следовательно, в гносеологическом плане нас интересует не только, и не столько вопрос, как возникает смысл вообще, сколько вопрос - как возникает вербальный смысл, смысл, основная функция которого - быть коммуникативно-экспрессивным (семиотическим) посредником между мыслительными деятельностями индивидов. А, значит, следует отдельно подвергнуть анализу лингвистическую гносеологию семиотики.

2.3. Функциональная семиотика и проблема соотношения вербального и невербального смысла

Исходя из нашего принципиального размежевания инвариантного (в т.ч. языкового) и фактуального (в т.ч. речевого) смыслов, методологически неизбежным становится разделение вербальных знаков на языковые и речевые. Поэтому свести языковые и речевые знаки в одном понятии можно только через понятие языковой деятельности, к которой они имеют непосредственное отношение. Поскольку от термина "языковая деятельность" нет возможности образовать необходимое прилагательное, а термин "знаки языковой деятельности" несколько громоздок, далее для обозначения обобщенного понятия о языковых и речевых знаках мы будем использовать термин "вербальный знак".

Центральным понятием семиотики, естественно, является понятие акта означивания, т.е. образования знака, или, говоря иначе, кодирования некоторой информации (некоторого смысла) средствами той или иной семиотической системы. Последнее положение для нас крайне важно, поскольку оно предполагает наличие:

а) смысла, еще не переведенного в код семиотической системы (а, значит, невербального смысла) - иначе не потребовался бы акт означивания; б) семиотической системы кодирования; в) самих процессов кодирования и г) результатов кодирования - знаков.

Предложенная модель семиотической деятельности далеко не исчерпывает всех проблем, которые могут возникнуть в связи с данным вопросом. Далеко не все семиологи единодушны в понимании характера, объема и структуры смысла, который предстоит кодировать. Устройство и функционирование кодирующих семиотических систем понимают по-разному и, наконец, подчас совершенно противоположны взгляды на продукты означивания.

Исходя из структурно-функционального понимания соотношения вербального знака (в частности, лексической единицы) и невербали-

зованных смыслов (например, когнитивного понятия) (См. Гудавичюс, 1985, Лещак, 1993), мы попытаемся несколько уточнить логику терминологических отношений между "означаемым" и "означающим". Устоявшееся в семасиологии и семиотике применение этих терминов для номинации двух сторон вербального знака представляется нам до определенной степени нелогичным. Для того, чтобы наша мысль была предельно ясна, зададимся вопросом: какова функция языка в смысловом отношении?

Прежде всего язык призван помогать достижению взаимопонимания как цели и следствию межличностного общения. Каким образом? Человек в ходе своей социальной предметно-мыслительной деятельности образует в психике-мышлении (или, точнее, у него в психике-мышлении образуется) некоторый интенциональный смысл, т.е. такой смысл, который необходимо предполагает согласование с другими людьми. Такой интенциональный смысл всегда соотнесен с некоторым конкретным состоянием сознания, т.е. это фактуальный смысл. Фактуальный характер интенционального смысла вовсе не значит, что его возникновение свободно от наличествующих в памяти инвариантных смыслов. Выше мы уже останавливались на том, что фактуальный смысл не может появиться на голом месте, но функционально и генетически базируется на ранее сформировавшихся знаниях, хранящихся в памяти в качестве инвариантных смыслов. Поэтому всякий интенциональный смысл так или иначе связан с системой инвариантных смыслов. Именно за счет этой связи наши смысловые коммуникативные намерения (интенциональные смыслы) не являются простыми рефлекторными реакциями (как их иногда представляют в бихевиористски ориентированных позитивистских теориях), но являются осмысленными (обдуманными) и спланированными. Мы полностью разделяем точку зрения Дж.Миллера, К.Прибрама и Е.Галантера на место и роль плана в предметно-мыслительной (и, в частности, в коммуникативной) деятельности человека (См. Миллер, Галантер, Прибрам, 1965).

Этот интенциональный смысл человек с большей или меньшей степенью адекватности кодирует средствами языка (вербализует его). Процесс подобной кодировки предусматривает образование таких знаков, при помощи которых можно было бы выразить необходимый фактуальный смысл. Следовательно, такая семиотическая кодировка предполагает образование не просто вербальных знаков, но именно речевых знаков. Ведь именно речевые знаки обладают главными необходимыми для предметно-коммуникативной деятельности свойствами: фактуальностью смысла и линейностью структуры (для того, чтобы быть преобразованным в физический сигнал, знак должен быть протяженным в пространстве и времени). Именно этими свойствами не обладают языковые знаки.

Затем речевой знак без особого труда переводится в форму сигнала (неважно, посредством звуков, графем, жестов или какими-либо другими средствами), а уже этот последний, будучи объектом предметных манипуляций передается партнеру по коммуникации. Однако, как смог человек образовать речевые знаки, и, что еще более важно, как его партнер по коммуникации смог эти знаки воспринять и понять сообщение (пока оставляем в стороне проблему адекватности такого понимания)? Очевидно оба должны были обладать необходимыми знаниями о:

а) картине мира и образе мышления друг друга (свойственных данному уровню культуры) и

б) языковой картине мира, присущей этнической языковой деятельности, в коде которой велась коммуникация и о вербальных средствах экспликации этой картины (иначе говоря, о языке).

Следовательно, для того чтобы образовать речевой знак, нужно либо обладать необходимой информацией о том, какой инвариантный смысл стоит за фактуальной информацией, которую этот знак призван вербализовать и как обычно сообщают об этом смысле в ходе коммуникации (т.е. нужно обладать необходимым языковым знаком в системе индивидуального языка), либо, в случае аб-

солютной новизны такого фактуального смысла, осмыслить его отношение к системе смыслов психики-сознания, что необходимо приведет к идентификации его с каким-либо из уже существующих инвариантных смыслов (референции) или к образованию на его основе нового инвариантного смысла (генерализации). Последнее, в случае коммуникативной необходимости, может привести к образованию нового языкового знака в информационной базе языка.

Возникает вопрос: что означил средствами языка говорящий? Если верить терминам, то означил он именно то, что именуется означаемым, так как "означаемое" - это то, что означивают. Следовательно, знак означивает некоторую информацию, некоторый смысл; если это знак речевой - то фактуальный смысл, если языковой - то инвариантный. Но, в таком случае, может ли этот смысл, это "означаемое" быть имманентным свойством знака или, тем более, его составной структурной частью? А ведь именно так понимается значение знака. В билатеральной соссюрвской трактовке, которую мы поддерживаем, знак есть значение (когнитивный смысл) + выражение (операциональный смысл).

Термин "значение" при всей его распространенности и традиционности все же не может быть использован без определенных оговорок. Исходя из структурно-функциональной теории знака, значение языковой или речевой единицы принципиально неотлично от вербального знака, ибо знак - есть информация. Термин "значение" может быть использован как условный в практике лингвоанализа применительно к отдельным элементам знака (лексическое, грамматическое, эпидигматическое или фоно-графическое). Как только мы выходим на семиотический уровень, термин "значение языкового знака" должен применяться только по отношению к лексическому значению (когнитивному смыслу) в противовес к собственно вербальной (собственно языковой) стороне знака (грамматической, эпидигматической или фоно-графической) - внутриформенному значению. Применительно к речевым единицам номинативного характера (прежде всего

словоформам) термин "значение речевого знака" можно использовать как оппозитивный по отношению к конкретному акустическому образу (как плану выражения речевой единицы).

Мы полагаем, что сам по себе термин "значение знака" с точки зрения функциональной методологии плеонастичен. Невербализованный смысл обычно значением не называют. Всякий языковой знак может быть таковым только в случае, если он фиксирует в вербальной форме некоторый инвариантный смысл, следовательно, он обязательно должен содержать соотносимое с этим смыслом языковое значение. Всякий речевой знак образуется на основе языкового знака и реализует некоторый интенциональный фактуальный смысл, а, следовательно, обязательно содержит в себе некоторое речевое значение, соотносимое с этим смыслом. Поэтому может ли быть еще какое-то "значение", которое не было бы при этом составной и имманентной характеристикой знака? А раз так, то называть значение "означаемым" терминологически некорректно.

В такой же степени некорректно использовать термин "означающее" применительно ко второй стороне знака - его плану выражения. Рассмотренный Ф.де Соссюром на заре развития семиотики акустический образ в качестве означающего, по нашему мнению - не более чем предварительная гипотеза, которую следует развить и доработать.

Что же такое акустический образ, понятый как форма (план выражения) языкового знака? Действительно ли существует некоторый абстрактный акустический образ слова как единицы, совмещающей в себе фонетическую форму всех возможных словоформ? Каков же он, например, у глагола "идти"? Совпадающий с инфинитивом только потому, что инфинитив был избран лексикографами в качестве начальной формы? А может он каким-то образом совмещает в себе все возможные варианты звучания данного слова в процессе говорения : "иду", "идешь", "шел", "шедший", "пойдем" и

т.д.? Что же тогда такое фонематическая сущность данного слова, каковой, очевидно, и является соссюрровский акустический образ?

Дальнейшее упорство в попытках представить фонематический состав слова как нечто реально существующее в нашей памяти в качестве единого акустического образа, т.е. чисто сенсорной психической единицы, приведет к еще большим абсурдам и путанице. Конечно, можно попытаться включить в фонемный состав слова варьирующиеся звуки, в том числе варьирующиеся в силу исторических причин ("друг // друзья", "носить // ношу" и под.). Это, собственно, уже очень успешно сделано именно с позиций функциональной методологии Н.Трубецким через систему понятий "фонема - архифонема - морфонема". Но как включить в фонематическое слово вариативность морфемную? Как втиснуть в психологически-сенсорное представление о звучании слова (акустический образ) парадигму окончаний или формообразующих аффиксов? А как быть с аналитизмом или супплетивизмом?

Нам представляется, что выход можно найти только в признании фонематики слова не более чем функционально-информативным свойством, значением, совокупностью функциональных модельных предписаний. Мы предлагаем ввести фонематику слова в единую систему вербального значения слова, наряду с грамматическим и эпидигматическим значением. Понятое таким образом фонематическое значение становится не более, чем информацией о связи данного знака с соответствующими моделями озвучивания, точно так же, как эпидигматическое значение несет информацию о связи знака с определенной словопроизводственной моделью, а грамматическое - с моделями порождения речевых единиц. В этом случае у нас появится шанс выбраться из теоретического тупика. Знак становится однородным в сущностном отношении - информационным блоком. Но, с другой стороны, понятый таким образом знак перестает вписываться в привычные лингвистические шаблоны - как соединение некоторого значения с некото-

рым звучанием (или, в лучшем случае, некоторым представлением о звучании). В принципе, второе определение формы знака могло бы остаться в силе, если только интерпретировать понятие "представление о звучании" как целостную (а не только чисто сенсорно-психическую) информацию о том, как можно в процессе коммуникации выстроить физические (как правило, акустико-артикуляционные) сигналы, чтобы возбудить в слушающем (воспринимающем) аналогичную интенции говорящего информацию.

Представление плана выражения языкового знака в виде сенсорно-психической сущности (акустического образа), во-первых, значительно сужает понимание выразительных средств до звуковых средств (хотя, несомненно, теория знака принципиально применима и к графической речи, и к языку глухонемых и слепоглухонемых, и к другим семиотическим вербальным системам). Во-вторых, он противоречит самой методологической позиции де Соссюра, стоявшего на позициях категоризирующей теории и понимавшего языковые единицы (в т.ч. и фонематические) как системные функции, а не отражательно-физиологически, как это принято в позитивизме. Поэтому акустический образ именно в силу своего речевого (фонетического) характера не может быть признан универсальной выразительной частью двустороннего вербального знака. Мы склонны полагать, что акустический образ, т.е. фонетическая цепочка может быть признана частью только речевого знака. В-третьих, и это касается прежде всего языковых знаков, такой подход сильно сужает само понимание языкового (вербального) выражения. К языковым средствам выражения (средствам вербальной кодировки смысла) относятся не только, и не столько фонематические единицы, сколько весь комплекс средств языковой деятельности, как то: стилистическая, синтаксическая, синтагматическая сочетаемость знака с другими знаками, морфологическая, словообразовательная, фонетическая, графическая и другая сочетаемость структурных элементов формы знака и сами эти элемен-

ты (аналитические и синтетические морфемы, фонемы, графемы и пр.). Как бы не понимали план выражения знака, в любом случае, неверно представлять его как означающее, ибо, с точки зрения билатерализма, таковым является весь знак, а не какая-либо из его частей.

В унилатералистских теориях, правда, пытаются представить знак в виде одного означающего, выводя смысл за пределы знака. С одной стороны в такой трактовке нам импонирует безоговорочное признание невербальных смыслов, так как, если знак не содержит в себе смысла, а язык - система знаков, этот смысл - невербален. Однако это сразу же ведет к:

а) признанию языка совершенно независимым от когнитивных смыслов и когнитивно-познавательной деятельности феноменом, существующем в себе и для себя (а не для выражения смысла и установления межличностных смысловых связей) и

б) отрицанию наличия языковой картины мира, отличной от когнитивной картины мира, что ведет к признанию чисто регистрирующей, пассивно фиксирующей функции языковой деятельности.

Если стоять на унилатералистских позициях и не различать когнитивно-языковой (инвариантной) и когнитивной (фактуальной, воплощающейся в речевых знаках) информации, то как можно объяснить факт постоянного несоответствия интенции говорящего и содержания сообщения у слушающего ("Вы меня не так поняли..."), интенции говорящего и содержания его же речи для него самого ("Я не то хотел сказать..."), но одновременное понимание самых завуалированных речевых высказываний, основанное на общности опыта предметно-мыслительной деятельности, как объяснить непонимание исторических текстов даже недалекого прошлого, взаимное непонимание людей разных культурных слоев и типов цивилизации, неперебиваемость формы речи, но возможность понять ее смысл и содержание, несоответствие смысла адекватного по языковой форме сообщения у взрослого и ребенка и т.д.

Разделяя с Соссюром идею произвольности знака, мы, тем не менее, склонны трактовать эту идею чисто методологически. Связь плана содержания знака с его планом выражения действительно не является естественно необходимой. Она не телеологична. То или иное когнитивное значение действительно не должно в силу некоторой целеполагающей установки быть выражено именно такими языковыми формальными средствами. Более того, и об этом писал еще до выхода книг Соссюра Н.Крушевский, для того, чтобы слово выражало некоторую идею, нет никакой необходимости, чтобы какие-то части его плана выражения были естественным образом связаны с самим объектом мысли (Крушевский, 1894). Достаточно того, что оно используется для обозначения этого объекта. Но ведь все эти рассуждения об арбитrarности знака касаются не отношения составных знака друг к другу, а собственно экстралингвального отношения знака к миру наших органов чувств, т.е. к предметам нашего сенсорного опыта, познавая которые, мы образуем смыслы, и к коммуникативным сигналам, порождаемым все теми же органами предметной деятельности. Но это совершенно не относится к соотношению значения и выражения в знаке. Здесь отношения далеко не столь произвольны. Попробуйте выразить идею некоторого действия в славянских языках не в грамматической форме глагола, а, скажем через предлог или существительное (имена, вроде русс."хождение", чеш."palba" или поль."gwizd" являются отглагольными, что говорит уже само за себя; имена же, вроде русс."дождь", укр."завірюха" или поль."wiatr" только содержат элементы процессуальной семантики, но не выражают значения действия), попробуйте выразить убежденность в некотором мнении, не используя соответствующих синтаксических и просодических средств, попробуйте дать определение некоторого понятия без использования составного именного сказуемого, попробуйте выразить идею предстоящего характера некоторого действия, не обращаясь к грамматическим средствам выражения будущего времени. С другой сто-

роны, попытайтесь совершенно абстрагироваться от словообразовательных связей между словами, от того, что та или иная флексия в силу исторического развития связана с выражением определенного типа грамматических отношений, а эти последние неминуемо влекут за собой определенные когитативные смыслы. Наконец, можно было бы вспомнить и о многочисленных работах в области фоносемантики и истории языка, которые, как нам кажется, доказывают то, что прежние состояния человеческих языков знали гораздо большую каузальную связь между лексической, грамматической и словообразовательной семантикой и фонематикой слова. Наконец, достаточно хоть немного позаниматься архитектурой поэтических текстов, чтобы убедиться, что в эстетической сфере языковой деятельности эта связь в некоторой степени сохранена и поныне.

Недоразумения в этом вопросе возникли именно от непонимания сущности двустороннего характера знака (1) и сущности самого процесса означивания (2).

Смысл двусторонности знака состоит не в том, что знак структурно и онтически двусторонен, потому что состоит из плана содержания и плана выражения, т.е. является гетерогенным образованием, своеобразным гибридом двух принципиально отличных сущностей. Это расхожее заблуждение. Обе стороны знака однородны в онтическом отношении - это информация. Соссюр был абсолютно прав, когда говорил о том, что языковой знак психичен как со стороны смысла, так и со стороны выражения. Смысл двусторонности состоит как раз в обратном: знак состоит из плана содержания и плана выражения, потому что он двусторонен. А двусторонен он потому, что является семиотической функцией, соотношением предметно-мыслительной и предметно-коммуникативной деятельности. Одним источником происхождения знака является познавательная деятельность общественного индивида, а вторым - его сигнальное общение с другими членами этого же социума. По-

этому, в любом языковом знаке содержится две информации - информация о картине мира и информация о коммуникативных средствах сигнализации. И связь между этими двумя типами информации настолько сильно детерминирована целым рядом исторически сложившихся факторов (деривационных, морфологических и синтаксических), что назвать ее произвольной затруднительно.

Ведь несомненно, что в каждом слове мы найдем информацию о мире (о наших знаниях о мире) и информацию собственно языковую, которая напрямую не относится к передаваемой информации: это стилистическая, синтаксическая, синтагматическая, морфологическая, словопроизводственная и собственно сигнальная (в том числе фонетико-фонематическая и графическая) информация. Признание же знака односторонней сущностью сводит всю проблему вербализации только к речепроизводству, причем возникающему из ничего и исчезающему в никуда. Это идея чисто референцирующая, т.е. восходящая к позитивистскому и рационалистскому отрицанию системности и инварианта и сведению смысла к хаотическому многообразию фактов. Поэтому мы полностью согласны с Н.Арутюновой, что "знак в принципе не может быть односторонним, не перестав быть знаком" (Арутюнова, 1968:69). Об этом же читаем у Выготского: "Нет вообще знака без значения, смыслообразование есть главная функция знака" (Выготский, 1982, I:162). С точки зрения функциональной методологии, по меньшей мере, странно звучат рассуждения о том, что происходит со знаком после того, как он утрачивает значение: "Знак, утративший значение, - это просто предмет материального мира, использование которого ограничивается его собственными материальными свойствами, следовательно значение неотъемлемо от знака (! - О.Л.). Однако, с другой стороны, значение находится вне знака (!? - О.Л.), так как в самом знаке, кроме некоторых материальных свойств, нет ничего" (Шахнарович, Юрьева, 1990:15-16). Аналогично трактует знак и Л.Резников. (Резников, 1958). Это чисто позитивистская трактовка знака. В

функциональной же методологии знак рассматривается исключительно как смысловая функция.

Это касается как языковых знаков, так и речевых. И одни, и другие являются онтологически смысловыми феноменами. Абсолютно прав А.Бондарко, когда отмечает, что и в отношении языковых, и в отношении речевых знаков следует применять термины семантики: “На наш взгляд, целесообразно ставить вопрос именно о порождении семантики (одного типа) на базе семантики (другого типа), а не о порождении формальных элементов” (Бондарко, 1978:82). И от одних, и от других следует отличать собственно физические феномены, каковыми являются сигналы. В семиотике делают серьезную ошибку, когда рассматривают вербальные знаки наряду с внешними физическими сигналами, не различая их онтологической сущности. Принципиальное отличие сигналов от вербальных знаков (и от других психических двусторонних знаков) заключается в их одностороннем, чисто физическом характере. При этом, уже среди сигналов можно выделять собственно речевые сигналы (физические звуки, зримые начертания, движения рук или губ, неровности на бумаге и прочие осязаемые объекты, специально созданные или преднамеренно используемые в коммуникативных целях по правилам языка). Речевые сигналы связаны с языковыми знаками через речевые знаки, поскольку являются, собственно, сигналами речи, а не языка. Кроме речевых сигналов обычно выделяют еще и другие, прямо не относящиеся к языковой деятельности. Это символы-сигналы культуры (произведения искусства, ритуальные предметы и под.), следы и признаки (непроизвольные следствия деятельности живых существ или осязаемые результаты естественных процессов, освоенные человеком в качестве сигналов) и симптомы (естественные следствия физических, физиологических, эмоциональных и др. состояний живых существ и состояний в природе, также освоенные в качестве сигналов). Обычно в работах по семиотике ничего не говорится об отношении

этих сенсорно воспринимаемых, внешних человеческой психике объектов к их функциональному статусу знака. А ведь только тогда эти предметы и явления могут восприниматься в качестве сигналов (сигнал - это их функция, а не онтологическая сущность), когда в сознании общественного индивида присутствует соответствующий смысловой семиотический феномен - знак. И только этот последний, как двусторонняя психическая сущность, может рассматриваться в качестве объекта семиотики, как вербальный знак - в качестве объекта лингвистики. Таково видение проблемы соотношения вербального знака и сигнала в функциональной методологии. (Подробнее о различных типах семиотических единиц см. Горелов, Енгальчев, 1991)

Очень часто речью называют собственно сигналы речи, откуда стремление изучить физические характеристики речи (см., например, работы Н.Жинкина, а также работы многих позитивистски ориентированных фонетистов, особенно Ленинградской школы). Но можно ли назвать речью проистекающие изо рта человека звуки, даже если они организованы сообразно законам языка? Можно ли назвать речью напечатанный или написанный текст? Предположим, что мы не знаем языка, на котором заговорил к нам случайный прохожий, или не знаем языка, на котором написана найденная нами при археологических раскопках книга. Где гарантии, что те звуки, которые издает незнакомец или те чернильные следы в книге - речь, а не бессмысленный, необработанный поток звуков или начертаний? Речью они станут для нас только тогда, когда мы сможем наполнить их содержанием, т.е. соотнести их с определенными понятиями и представлениями о мире. Можно, конечно, и проще объяснить нашу позицию. Признав звучащий поток речью, мы тем самым соглашаемся, что в речи единицы одноплановы, т.е. в них есть только план выражения. Нет и не может быть содержания в потоке воздуха. Нет и не может быть его и в разбросанной по бумаге типографской краске. Содержание появляется у текста или вы-

сказывания, синтагмы или словоформы только тогда, когда книгу открывает живой человек, знающий язык, на базе которого и был создан этот текст. Таким образом, речь - это либо процесс говорения (с одновременным осознанием говоримого), либо процесс слушания (с одновременным осознанием слышимого). То же касается процессов писания или чтения. Так что, употребляя выражения "речь-говорение", "речь-слушание", "речь-писание" или "речь-чтение", мы имеем в виду нейропсихологические процессы, сопровождающие эти физико-физиологические действия. То есть, в строгом смысле речь идет о "психическом говорении (слушании, писании или чтении)". А.А.Леонтьев и И.Торопцев называли этот процесс внутренним проговариванием, которое нельзя путать ни с внутренней речью, ни со звучащим потоком. Идея внутреннего проговаривания возникла, впрочем, не в функциональной, а в рациональной методологии, в частности, в интеллектуалистской психологии вюрцбургской школы. Писал об этом (без использования термина) и Лев Выготский: "Новейшие экспериментальные работы показали, что активность и форма внутренней речи не стоят в какой-либо непосредственной объективной связи с движениями языка или гортани, совершаемыми испытуемым" (Выготский, 1982, II: 110). Поэтому, и "звук", и "буква" должны восприниматься как единицы физические, прямого отношения ни к языку, ни к речи не имеющие. В речи же можно выделить фоны (представления о звуках, психологические образы отдельных звуковых сигналов, использующихся в языковой деятельности) и графы (представления о буквах, психологические образы отдельных графических сигналов, использующихся в языковой деятельности). В языковой системе им соответствуют единицы модельного характера (компоненты языковых моделей не обладающие знаковой функцией) - фонемы и графемы (подробнее это будет рассмотрено ниже). Но сами по себе фонемы и графемы или фоны и графы - еще не знаки. Одно восприятие сигнальной оболочки еще не гарантирует возникновение в созна-

нии некоторого смысла. Мы совершенно согласны с мнением Н.Горелова и В.Енгальчева, что в случае восприятия совершенно незнакомого вербального сигнала мы еще не имеем дела со знаком: “Полностью вербальным такой знак считать нельзя. Одна вербальная оболочка (форма) еще не делает знак знаком” (Горелов, Енгальчев, 1991:53). Весьма показательны, что традиционная лингвистика, а также смежные дисциплины (психолингвистика, философия языка, герменевтика) пребывают буквально “в плену” фонетики и орфографии. Более того, даже общетеоретические и философско-методологические построения иногда базируются на фонетических и графических феноменах. В частности, Гадамер анализирует введенную Августином параллель между христианской идеей Троицы и триединством идеи (Дух), внутреннего (незвучащего) слова (Отец) и внешнего (звучащего) слова (Сын), а также томистскую параллель: Троица / мысль-слово-вещь (Гадамер, 1988:487).

Конечно, такой взгляд на речевую деятельность и речь-результат может показаться слишком радикальным, поскольку он сильно усложняет привычное манипулирование с произносимыми или изображаемыми сигналами как с речевыми (а значит, двусторонними) знаковыми единицами или, что также часто встречается, как с языковыми инвариантными знаками. Однако, иной возможности систематически исследовать речь, а через нее - язык, нет. Единственное, что при этом следует иметь в виду, - это то, что писанный (печатный) или звучащий текст - не речь, а лишь ее сигнальная передача, ее след.

Впрочем, эта мысль покажется не такой уж и парадоксальной, если вспомнить свой жизненный опыт и учесть, что ни один печатный текст не может отразить адекватно устную речь, которая всегда первична по отношению к речи письменной. Что же касается устной речи, то практически не встречаются случаи адекватного восприятия такой речи. И причины здесь не в различиях на уровне когнитивных или языковых систем, но в элементарной человече-

ской невнимательности, рассеянности, во всевозможных отвлекающих факторах внешнего и внутреннего свойства. Следовательно о речи как таковой можно говорить только как о продукте актуальной речевой деятельности ее субъекта (говорящего-пишущего или слушающего-читающего). А значит, в строгом смысле слова речью является именно процесс внутреннего проговаривания, необходимо сопровождающий внешнюю физическую сигнализацию.

Вторая проблема, далеко не всеми лингвистами и семиологами понятая, касается сущности процесса означивания. Ее можно сформулировать следующим образом: "Что же означивается?", "Знаком чего является знак?" Ответ, казалось бы, напрашивается сам собой: "знак - это знак реальной действительности". А если все сказанное - сплошь и рядом одна абстракция, поток чувств, субъективных переживаний и фантазий?

Сказав, что знак обозначает (или означивает?) предметы и явления реальной действительности, мы не только не ответили на вопрос, но и поставили несколько новых: "Что такое действительность?", "До какой степени она реальная?", "Какую реальность замещает знак?" и "Есть ли принципиальная разница в процессах означивания и обозначения?". Ответ на первый из этих вопросов целиком зависит от методологической гносеологической позиции исследователя. Мы уже затрагивали этот вопрос выше, когда речь шла об объекте лингвистического исследования и онтологии смысла. Для человека нет иной действительности, кроме той, которая является объектом его предметной и психомыслительной деятельности. О всем том, что не является сферой нашего прошлого, настоящего и будущего (т.е. возможного) опыта, мы не только не знаем, но и никогда не узнаем. Следовательно, если и есть что-то вне нашего возможного опыта, то это никак не может быть признано действительностью. Степень же реальности действительности нашего возможного опыта определяется целиком уровнем современного познания объектов нашей предметно-психической деятельно-

сти. Совершенно условно мы можем разделить действительность нашего возможного опыта на "реальную" ("объективную") и "ирреальную" ("субъективную"). Грань, разделяющая эти два вида действительности, очень зыбка. К несомненно "реальной" действительности можно отнести только физические осязаемые предметы, однако их "реальность" сильно ослабляется тем, что они не являются простыми самотождественными сущностями, "вещами-в-себе", но, во-первых, представляют собой функциональные предметы ("вещи-для-нас"), во-вторых, представляют собой составные сущности (состоят из частей, также являющихся "вещами-для-нас"), в третьих, в онтологическом отношении представляют из себя вещественные сущности (являются состоящими из какого-то вещества, материала, отличного от них самих в понятийном отношении). Как видим, нет ни одной "реальной" вещи, которая до определенной степени не была бы детерминирована сознанием познающего индивида. Вернее было бы сказать: мы не знаем ни одной такой реальной вещи, знание о которой не было бы замешано на специфически человеческом видении мира, т.е. которая бы не была одновременно частью нашей картины мира, а следовательно, - не была бы "ирреальной".

Что же замещает знак? Следуя логике функционализма, знак замещает в коммуникативной деятельности элементы человеческой картины мира, а не собственно элементы самого этого мира. Знак - есть знак понимания, видения мира, знания о мире, знак "субъективной действительности", но такой "субъективной", которая возникает в ходе совместно-человеческой, социально детерминированной предметно-мыслительной деятельности.

При таком понимании семиотической деятельности совершенно утрачивает свой смысл противопоставление терминов "означивание" и "обозначение". Только при релевантности различения мира и картины мира для семиотического процесса эта оппозиция имеет смысл. В нашем же случае мир как таковой, как объективная дей-

ствительность, как "в-себе-бытие" совершенно чужд процессу семиотического замещения, не имеет к этому процессу никакого отношения. Поэтому, терминологическая пара "означивание" и "обозначение" в равной степени могут использоваться для определения отношения знака к объекту семиотического замещения с той лишь разницей, что, в силу деривативно-грамматических причин, русский термин "означивание" более довлеет к использованию в качестве понятия процесса, а термин "обозначение" - в качестве понятия акта или результата. Однако в последнем смысле используется термин "знак".

Что означает такой базисный вербальный знак, как слово, какой именно элемент картины мира он замещает? Мы полагаем, что таким объектом означивания может быть только когнитивное понятие. Дело в том, что история развития человеческой мысли и многочисленные факты расхождений в обыденных (отраженных в языке) и научных представлениях о мире (действительности) убедительно свидетельствуют об опосредованности языковой картины мира когнитивной картиной мира, а этой, в свою очередь, сенсорной (чувственной) картиной мира. Проще говоря: мы называем не только не предметы и явления действительности, и даже не свои ощущения или восприятия (не данные своих органов чувств), но свои мысли. И, при этом даже не мысли о действительности, но мысли о своих чувствах, ощущениях и представлениях об этой действительности. Именно в этом и состоит суть субъективизма как гносеологической позиции функциональной методологии в языкознании. Но это только одна сторона функциональной гносеологии. Такое видение процесса познания было бы не только не полным, но и принципиально не отличалось бы от позитивистского, поскольку принимало бы только одностороннее направление познавательного и семиотического акта: от предмета к знаку через ощущения, восприятия, представления и когнитивные понятия. Б.Рассел, в отличие от Юма, совершенно верно полагал, что "хотя ощущение и

есть источник познания само по себе, оно не является - в любом обычном смысле - познанием" (Рассел, 1957:456). Функциональный же подход тем и отличается от позитивистского, что предполагает образование базисного знания, каковым является когнитивное понятие, как функционального отношения полученных в ходе предметно-сенсорной деятельности представлений и системы когнитивных понятий, сформировавшейся в ходе предметно-коммуникативной мыслительной деятельности. Таким образом, когнитивное понятие оказывается следствием столкновения системы понятий, ориентированной на общечеловеческий (национально-этнический) многовековой предшествующий опыт мыслительно-коммуникативной деятельности и фактуальных знаний, полученных в процессе конкретно-личностной жизнедеятельности. Более того, функциональный характер психики-мышления у современного человека распространяется и на немыслительную сферу психической деятельности, в частности, на образование представлений (наглядных образов), а подчас и чувственных восприятий. А. Бондарко отмечает, что "говоря о мыслительном (понятийном, смысловом, логическом) содержании, мы включаем в это понятие и аффективный (эмоционально-экспрессивный) компонент содержания" (Бондарко, 1978:4-5). Последнее выражается в том, что цивилизованный человек очень часто видит, слышит, воспринимает на вкус, обонянием или осязанием не то, что представляет из себя сам объект с точки зрения инвариантного смысла, а то, что в данный момент ему диктует система когнитивных понятий. Говоря терминами функциональной семиотики, он неверно осуществляет референцию когнитивного понятия, распространяя понятие на "чужой" объект. Таким образом, все психические образования в большей или меньшей степени представляют из себя функции (двусторонние отношения).

Значит, в семиотическом процессе в качестве означаемого языкового знака выступает не его значение и не предмет или явление предметного мира, но когнитивное понятие (или представле-

ние, как в случае с междометиями), а для речевого знака таким означающим является определенная разновидность фактуального смысла, которую пока трудно терминологически определить. Ясно одно, объектами номинации являются не реальные вещи, а понятия нашего сознания, так как "... отношение языковых форм к обозначаемым ими материальным действиям опосредуется мыслью, идеальным отражением этих действий" (Сабощук, 1990:126).

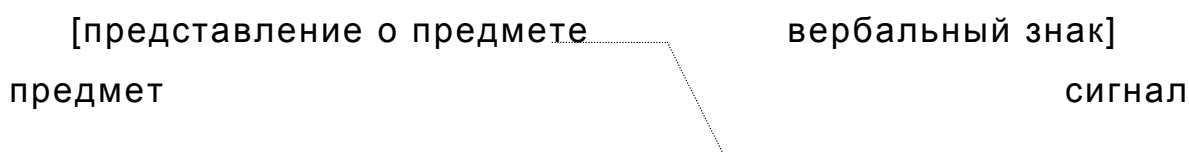
В качестве означающего в семиотическом процессе по отношению к инвариантному смыслу (когнитивному понятию или представлению) выступает языковой знак в совокупности обеих своих сторон - лексического значения и языковой формы, а по отношению к мысли во всех ее фактуально смысловых вариациях - речевой знак, также в совокупности предметно-когнитивного содержания (смысла) и речевой формы. Для определения роли составных вербального знака в семиотическом процессе можно использовать термины "эксплицируемое" и "эксплицирующее". Почему именно такая терминология?

Слово в языке обозначает и означает понятие, но (в силу своей социально-коммуникативной ориентации) далеко не полностью покрывает его объем, который (из-за предметно-познавательной ориентации когнитивных понятий) постоянно изменяется. Значительная часть наших знаний о мире остается невербализованной. Зачастую она скрыта не только от наших партнеров по коммуникации, но даже от нас самих. Этим объясняется значительно большая способность человека понимать и распознавать, чем созидать и передавать. Однако существует часть объема когнитивного понятия, которая вследствие социальной коммуникации оказывается вербализованной знаком, т.е. в сознании целой группы индивидов она оказывается связанной с определенной языковой формой. Следовательно, она стала частью языкового знака. Причем, такой частью, которая присутствует (или, точнее, участвует) в каждом акте коммуникации, когда на базе этого языкового знака

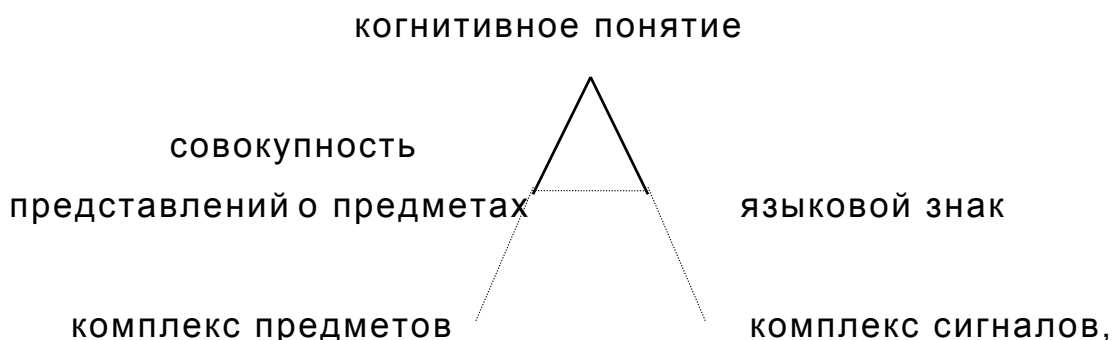
образуется речевое произведение. Эта часть когнитивного понятия (т.е. значение языкового знака) и есть эксплицируемая, выражаемая его часть. Языковая же форма (план выражения знака) эксплицирует не все когнитивное понятие как таковое, но только эту часть понятия. Поэтому значение знака можно определить в функциональном отношении как "эксплицируемое", а форму знака - как "эксплицирующее". Сходное понимание соотношения значения и когнитивного понятия находим и у А.Бондарко : "... мыслительное и языковое содержание, не будучи тождественными, образуют единство" (Бондарко,1978:5). При этом мыслительное содержание может и вовсе не означиваться или означиваться невербальными средствами. "Мыслительное содержание имеет и такие формы существования, которые являются внеязыковыми, оно может опираться и на неязыковые средства выражения, и на сочетание взаимодействующих языковых и неязыковых средств" (Бондарко,1978:5-6). (Подробнее об этом см. Горелов,Енгальчев,1991). Функциональные отношения в знаке и знака к когнитивному понятию можно выразить в схематической форме (См. табл.2 в Приложении 7)

Изложенное понимание вербализации вполне соответствует сущности семиотических отношений в интерпретации Ч.Огдена и Л.Ричардса (См.Ogden,Richards,1936), известной в лингвистическом мире под названием семиотического треугольника. В углы треугольника помещены Знак (слово) - Мысль (концепт, понятие) - Вещь (референт, предмет действия). Причем связь первого и третьего обозначена пунктиром, что символизирует ее опосредованный мыслью характер. Нам кажется, что схема семиотического замещения Огдена-Ричардса может быть интерпретирована самым различным образом в зависимости от методологического подхода. Так, воспринимая Знак унилатерально можно представить эту схему в чисто позитивистском ключе как отношение реального ("действительного") объекта к реальному физическому сигналу (Знаку) через широко понятое сознание индивида (Мысль). Однако авторы

схемы отстаивали вслед за Соссюром собственно психический характер языкового знака (Слова). Воспринятая таким образом модель вербализации становится диспропорциональной, поскольку содержит наряду с двумя психическими сущностями (Мыслью и Знаком) одну физическую - Вещь. В книге Ч.Огдена и Л.Ричардса ясно определен этот последний член триады как Референт, т.е. через функцию, которую он выполняет, а не собственно как физический предмет. Поэтому мы полагаем, что третий компонент схемы так же психичен, как и первые два. Следовательно, функционально данный семиотический треугольник может и должен быть преобразован в пятичленную структуру, крайние элементы которой выходят за пределы психики человека, так как представляют из себя физические объекты:

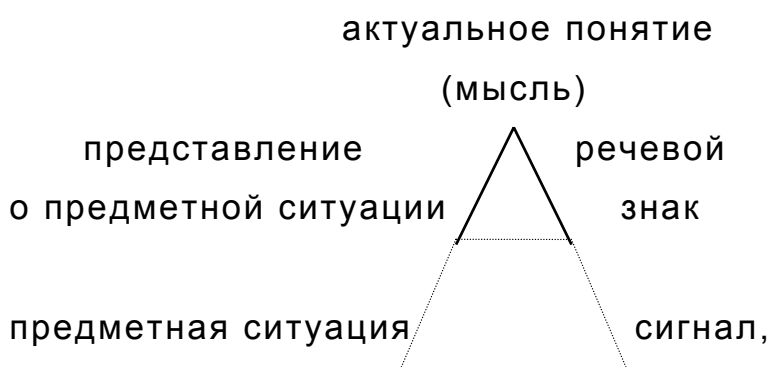


Внутренняя триада данного соотношения и представляет, собственно, семиотический треугольник, но ни объекты т.н. "реальной действительности", ни физические сигналы не являются непосредственными участниками семиотической деятельности. Сходную логику рассуждения можно встретить у Л.Новикова, который заменяет триаду Огдена-Ричардса параллелограммом. Естественно, данная схема должна быть конкретизирована отдельно для вербализации инвариантных и фактуальных смыслов. Чаще говорят только о ситуации собственно языковой вербализации, по отношению к которой данная схема должна выглядеть так:



где предметы и сигналы прямо не участвуют в процессе вербализации, так как их самотождественность полностью зависит от понятийной картины мира и языковой системы данного индивида. Для того, чтобы знать каковы предметы или что они есть, а также какими сигналами о них можно сообщить в ходе коммуникации не нужно не только иметь конкретного наличного представления о конкретном предмете или о конкретном сигнале, но и нет необходимости, чтобы они (эти предметы и эти сигналы) где-либо в данный момент реально существовали. Они возможны, но не необходимы.

В отношении же речевой вербализации данная схема должна выглядеть несколько иначе:



где обязательна некоторая предметная ситуация, повлиявшая на возникновение данного вербализационного процесса, а также желателен (хотя и не необходим) в качестве результата вербализации некоторый конкретный сигнал.

Может сложиться впечатление, что это совершенно автономные процессы, никак между собой не связанные. Но это не так. Языковая семиотическая модель (модель языковой вербализации) возникает как следствие многочисленно повторяющихся процессов речевой вербализации (в результате генерализации). Наряду с этим большинство актов речевой вербализации совершается в

процессе экстраполирования уже существующей модели языковой вербализации на конкретную фактическую ситуацию предметно-коммуникативной деятельности (процесс референции).

Языковая и речевая вербализации различаются не только своей функцией в системе предметно-коммуникативной мыслительной деятельности, но и функцией соответствующих им вербальных знаков, а также структурно-функциональными отношениями между составными этих знаков. Языковой знак призван хранить инвариантную опытную информацию, речевой - возбуждать аналогичную фактуальную информацию в психике-мышлении партнера по коммуникации (или, в случае ее отсутствия, провоцировать психику-мышление реципиента к порождению такой информации). По своей внутренней структуре языковой знак системен. Двусторонний, и тем самым, гетерогенный характер языкового знака является функциональной характеристикой его отношения к предметно-коммуникативной мыслительной деятельности. В онтическом же структурном плане языковой знак однороден. Все его составные в качестве смысловых элементов входят в единую структуру парадигматических и синтагматических отношений. При этом парадигматическая иерархия элементов и функционально-синтагматическая их значимость в структуре знака целиком зависят от их роли в процессе речевой вербализации смысла.

Характер структуры речевого знака иной. Он линейен. И линейность его распространяется на все элементы знака: лексическое, грамматическое и фонографическое значения. Специфика линейности речевого знака была вскрыта Вилемом Матезиусом, предложившим в качестве объясняющего критерия идею рема-тематического предикативного соположения речевых единиц. Линейность речевого знака опирается на процесс рематического вычленения отдельных элементов языкового знака, смежностного модально-предикативного соположения их по отношению ко всем остальным (тематическим). Этот процесс обычно называют актуали-

зацией. К традиционному пониманию процесса актуализации мы хотели бы только добавить то, что он охватывает не только лексическое значение языкового знака, но всю его структуру: это полное структурное переустройство языкового знака, а, говоря точнее, образование на основе элементов языкового знака совершенно отличной психической сущности, каковой является речевой знак, т.е. речевой знак отнесен к языковому в смежностном функционально-генетическом плане. Именно в этом смысле следует употреблять термины "актуальное значение" (как значение речевого знака) и "виртуальное значение" (как значение языкового знака). Но совершенно ошибочно, с точки зрения функциональной методологии, было бы говорить об "актуальном" и "виртуальном" значении одного и того же знака.

Так, говоря "дерево облетает", мы образуем на основе сложной иерархической системы языкового лексического знака "ДЕРЕВО" линейную рема-тематическую структуру "растение со стволом, номинированное стилистически немаркированным конкретным существительным среднего рода второго склонения (тема) + один представитель этого класса, обладающий листьями, осознается в качестве субъекта действия, связанного с его сезонными циклами, является подлежащим в высказывании, что выражается в морфологических значениях именительного падежа и единственного числа (рема)".

Языковой же знак "ДЕРЕВО" содержит в себе все эти и еще целый ряд не упомянутых здесь семантических элементов *in potentia*. Мы полагаем, что планом содержания речевого знака "дерево" в высказывании "Дерево облетает" следует считать не какой-то один семантический элемент этого рема-тематического соположения (синтагматического поля-ряда), но все указанное соположение целиком (т.е. тема + рема), а функцию плана выражения выполняет уже упоминавшийся выше акустический образ. При этом обе стороны речевого знака - изоморфны, они представляют из себя линей-

ное образование, что позволяет частям плана содержания синхронизироваться с частями плана выражения (акустического образа). Для макроречевых знаков (вроде текста, текстового блока, высказывания или словосочетания) минимальной подобной синхронизированной единицей является словоформа, а для словоформы - ее структурные элементы: формообразующие морфы и морфные комплексы (основа словоформы). Все указанные единицы речи представляют из себя двусторонние образования, сопряженные с фактуальными смыслами и функциями, но уже преобразованными в языковом коде в вербализованную форму. Именно поэтому речевые знаки, в отличие от языковых, обладают двойной семантической отнесенностью - собственно фактуальной и инвариантно-языковой. С одной стороны, речевые единицы могут быть декодированы в нормативные конкретные фактуальные смыслы (порожденные их автором и сопорождаемые реципиентом) только с опорой на языковую (инвариантную) семантику (и эту функцию максимально реализует их внутренняя форма: морфный состав словоформ, структурные отношения в словосочетании, высказывании, текстовом блоке или тексте). А с другой,- речевые единицы могут (а, в некоторых типах речемыслительной деятельности, и должны) декодироваться в специфические конкретные фактуальные смыслы, которые максимально реализуются в их внешних структурных отношениях, например, введением ненормативных морфов или квазиморфов в морфную структуру словоформы ("жратеньки", "напиши-ка", "я-то говорил", "chodil-li" или "компуктер" вм. "компьютер", "регбус" вм. "ребус", "между протчим" вм. "между прочим"), образованием ненормативных сочетаний слов, ненормативного порядка словоформ и словосочетаний в высказывании, ненормативного сочетания или порядка высказываний в текстовом блоке (сверхфразовом единстве) или текстовых блоков в тексте. Опираясь на инвариантно-языковую информацию, можно сопородить (понять) только нормативный фактуальный смысл речи своего партне-

ра по коммуникации, т.е. языковое содержание его речи. Целостная же семантика речи (ее содержание и смысл) может быть вскрыта только при учете всех внутренних и внешних функций как самого речевого сообщения в целом, так и всех функций его составляющих.

Во всех случаях речевая семантика так или иначе оказывается связанной с архитектурными (фоно-графическими) средствами экспликации, т.е. с образами сигналов, соответствующими разным типам речевых знаков: фонами (речевыми звуками), интонационными и ритмическими контурами синтагм и фраз, аллитерациями и ассонансами и пр. Однако, во всех случаях планом выражения речевого знака служат не физические звуки с их высотой, тембром, частотой и т.д., а именно обобщенные и упорядоченные, систематизированные образы физических сигналов. А значит, речевые знаки так же психичны по онтической сущности, как и языковые. Поэтому их нельзя смешивать с внешнекоммуникативными сигналами (например, физическими звуками, жестами или начертаниями).

Еще одной важной отличительной чертой речевого знака, непосредственно восходящей, во-первых, к его линейному структурному характеру, а во-вторых, к его двойной смысловой отнесенности (к непосредственному состоянию сознания и к инвариантным смыслам памяти), является недискретность (диффузность) его семантики. С одной стороны, семантика речевого знака неотделима от семантики речевого произведения, частью которого он является (семантика словоформы неотделима от семантики словосочетания или высказывания, в которых она употреблена, а семантика высказывания неотделима от семантики текстового блока или текста), т.е. семантика речевого знака формируется с учетом семантики более крупных речевых единиц. Так, например, семантика словоформы "светает" может быть понята только через призму содержания высказывания "Светает.". С другой стороны, диффузность семантики речевого знака (например, словоформы) заключается в

том, что элементы семантики соответствующего ему языкового знака (слова) оказываются в речи как бы "разбросанными" по другим, синтагматически соотнесенным с данным речевым знакам. Так, например, семантика слова "МОРГНУТЬ" предполагает наличие глаза, но это не мешает нам использовать эти слова в одном словосочетании "моргнуть глазом". С такой же легкостью мы образуем предложные сочетания глаголов с существительными, используя предлоги, семантика которых дублирует семантику глагола: "выходить из", "входить в", "заходить за" и под. С этим же связано широко известное явление избыточности и плеонастичности речи. Именно поэтому речевые знаки могут рассматриваться как таковые только в их отнесенности к языковым знакам и соответствующим языковым моделям речепроизводства.

Таким образом, именно диффузность когнитивной семантики и подчиненность в структурно-функциональном отношении языковым знакам и моделям позволяют игнорировать когнитивную семантику речевого знака в качестве самостоятельной и полноценной стороны знака, определяющей место знака в линейной структуре речи. Это место определяется не когнитивной, а именно вербальной семантикой: стилистикой, синтактикой, синтагматикой и морфологией речевого знака. Когнитивная же семантика через посредство словообразовательного значения входит в единую семантическую структуру речевого знака и вместе со всеми другими семантическими компонентами составляет его план содержания. Планом же выражения является собственно акустический образ, который задает линейность всей структуре речевого знака.

Совершенно иначе с позиций функциональной методологии представляется соотношение структурных составляющих языкового лексического знака (слова). Вследствие его структурно-иерархического устройства, никак нельзя согласиться с мнением, что, как и словоформа состоит из морфов, слово состоит из морфем. Морфема одновременно может быть охарактеризована в се-

миотическом отношении как одностороннее и двустороннее явление. В глобальном семиотическом плане морфема и морфемный комплекс (основа, формант) являются односторонними структурными составными гомогенного языкового знака (слова), а именно, - составными его плана выражения. Именно поэтому морфемы не являются языковыми знаками. Если же рассматривать морфему в локальном семиотическом плане - уже как составную формы слова - то она несомненно функциональна, т.е. двусторонняя единица, так как совмещает в себе два различных типа информации: эпидигматическую и фоно-графическую (словообразовательные морфемы) или морфологическую и фоно-графическую (формообразующие морфемы).

Говоря о морфемах как элементах формы слова, уместно вспомнить размышления Н.Арутюновой над проблемой морфемного единства слов с супплетивными формами: "Признавая супплетивизм на уровне слова, ...ученые отрицают возможность подобного явления среди морфем. Вместе с тем формула о том, что слово состоит из морфем, никем не отрицается" (Арутюнова, 1968:84). Функциональная методология, ориентированная на смысл, просто обязана отрицать эту формулу. Ни лексическое или грамматическое значение в отдельности, ни знак целиком не разлагаются на компоненты, изоморфные морфемному составу формы знака, а следовательно не вступают в жесткие дистрибутивные отношения с определенными фонетическими цепочками или фонематическими комплексами плана выражения.

Обычно в словах славянских языков различают морфемную словообразовательную и морфемную грамматическую (формообразовательную, словоизменительную) структуры. При этом в рамках первой различают собственно морфемную (морфемно-этимологическую) и собственно словообразовательную структуры. Во всех случаях единицами указанных структур являются морфемы (понимаемые, чаще всего, как двусторонние знаки) или морфемные

комплексы - основы (основа слова - производящая или производная, основа словоформы) или форманты. Наблюдение за словоизменением и словопроизводством в славянских языках убеждает в том, что совершенно отличные по форме (по фонетическому составу) морфемы могут участвовать в образовании слов или словоформ с идентичным словообразовательным или грамматическим значением, т.е. имеет место широкая синонимия средств экспликации того или иного смысла. Вместе с тем, одна и та же морфема оказывается втянутой в процесс образования языковых или речевых знаков совершенно различной семантики. Это общеизвестное явление впервые было серьезно научно обосновано С.Карцевским и названо ассиметрией знака.

Интерпретируя это явление с функциональных методологических позиций, следует заметить, что причиной подобной ассиметрии является именно функционально изменчивый характер связи между сторонами знака, что было бы совершенно невозможно при феноменологической интерпретации знака как изначально данной и самотождественной двусторонней сущности. Однако это лишь один аспект проблемы. Вторым является то, что функциональный характер языкового знака не идентичен функциональному характеру его составляющих. Ассиметрия знака состоит не в том, что составляющие его плана выражения могут связываться с каким угодно элементом его плана содержания и выполнять какую угодно функцию, а составляющие плана содержания могут находить себе какую угодно форму выражения. Именно так зачастую превратно истолковывают соссюрдовскую идею арбитrarности знака. Ассиметрия знака состоит в том, что план содержания данного знака может быть выражен только планом выражения этого же знака, в то время как никакой элемент одной из сторон знака не обладает столь же прямой и однозначной функциональной связью с каким-либо элементом другой его стороны помимо всех остальных составляющих. А это значит только одно - семиотически двусторонним является

только знак целиком. Никакого другого в том же смысле двустороннего элемента в знаке нет. Лексическое значение знака частично или целиком выражается не каким-то одним элементом в плане выражения (например, корнем: вспомним однокорневые слова с совершенно различным лексическим значением), а всем планом выражения знака. Оно присутствует во всех словоформах (речевых знаках), образованных на базе данного языкового знака вне зависимости от их морфемного состава (вплоть до супплетивных). Если анализировать словообразовательное значение того или иного слова, можно заметить, что ни производная основа, ни формант в отдельности не выражают каких-то отдельных частей лексического значения, совокупив которые, можно было бы получить это значение целиком. Так, в слове "баскетболист" ни производящая основа "баскетбол-" (означающая "относящийся к баскетболу"), ни формант "-ист- + система флексий 2-го склонения" (означающий "деятель") в отдельности не несут информацию о спортсмене, занимающимся баскетболом. Таковую информацию несет только все слово целиком. Основа (или корень) могут лишь указывать на лексический мотив словопроизводственного акта (а через него - на другие слова, относящиеся к той же тематической сфере информационной базы языка). Последнее только при условии, если в системе сохраняется живая функциональная связь между этими словами, подкрепляемая их совместным использованием в определенных ситуациях общения. Формант же "-ист- + система флексий 2-го склонения" обладает собственной функцией быть составляющим определенной словообразовательной модели только в той мере, до которой данная модель является живой моделью данного языка и используется для образования определенного рода слов. По мере развития языковой системы данная модель может трансформироваться или полностью исчерпаться, что ведет к деэтимологизации или декорреляции морфемной структуры слов, образованных ранее по этой модели. В любом случае, и корневая морфема (или произ-

водящая основа), и формант (или отдельный аффикс) оказываются лишь опосредованно отнесенными к лексическому значению слова (т.е. к плану содержания лексического языкового знака), т.е. оказываются и со стороны своей фонематической структуры, и со стороны своей семантической функции (быть частью словопроизводительной модели или словообразовательного гнезда) полностью отнесенными к собственно языковой, т.е. выразительной стороне знака, а не к его когнитивно-понятийной стороне. А это значит, что словообразовательные элементы слова не могут рассматриваться как такие же двусторонние знаковые образования, каковым является само слово. Их структура неизоморфна структуре знака.

Последнее вовсе не значит, что морфемы являются односторонними единицами. Они двусторонни, но их обе стороны относятся к плану выражения языкового знака. План содержания словообразовательной морфемы - словообразовательное (лексико-словообразовательное или категориально-словообразовательное) значение данного слова, а план выражения - некоторый фонемно-графический набор. То же, но еще более очевидно, касается и грамматических морфем. Их содержание (смысловая функция) полностью обращено в сферу собственно языкового, т.е. плана выражения знака. Видовые префиксы и суффиксы, временные и аспектуальные суффиксы и вспомогательные элементы аналитических временных форм и форм наклонения славянского глагола, компаративные и суперлативные аффиксы и вспомогательные элементы аналитических форм степеней сравнения славянских прилагательных и наречий, флексии всех возможных форм словоизменения - все эти морфемы, хотя и помогают так или иначе эксплицировать некоторые когнитивно-семантические смыслы, но делают это опосредованно, через систему собственно языковых, выразительных смыслов, каковыми являются морфологические значения. Именно морфологические значения (как элементы плана выражения языкового знака) являются планом содержания таких морфем.

Планом выражения для них, так же, как и для словообразовательных морфем, являются фонемно-графические комплексы.

При этом следует подчеркнуть, что словообразовательная семантика слова неразрывно связана с морфологической именно через морфемную структуру формы слова. Лексическая же семантика связана с фоно-графической через словообразовательную и морфологическую, т.е., в конечном итоге, также через морфемно-морфологическую структуру плана выражения.

Если обратить внимание на соотношение лексической (когнитивно-понятийной) семантики и синтактико-синтагматического значения в славянских языках, можно заметить, что семантика предметности (субстанциальности) обычно реализуется в синтаксических функциях подлежащего или дополнения, а семантика процесса - в синтаксической функции сказуемого. В конечном счете, это отношение закрепляется в качестве типологического для морфологического (частеречного) значения слова, а именно: функция предмета-подлежащего/дополнения закрепляется в морфологической семантике существительного, а функция процесса-сказуемого - в морфологической семантике глагола. Таким образом, оказывается, что определенный когнитивный смысл также может выражаться в синтактике знака через посредство морфологического значения, хотя эта связь не столь детерминирована, как в случае с морфологической или словообразовательной семантикой. Это объясняется тем, что не синтактика является производной морфологии и словообразования, а, наоборот, морфология и словообразование производны от синтактики и синтагматики. Это методологическое положение, так как выражает каузальный, детерминистский характер функциональной методологии, для которой инвариант - это обобщение на основе фактов, а языковое значение - обобщение речевых.

Мы пока говорили только о свойствах морфемы и ее месте в структуре языкового знака. Открытым остался вопрос онтической

сущности морфемы. Если морфема двусторонняя, то она - функция, но если она не содержит в себе элементов лексического значения, а касается только собственно языкового в знаке, то она - не вербализующая функция сознания, а эксплицирующая функция языкового знака, т.е. часть его плана выражения. А значит, морфема - не знак, и, даже, не структурный элемент языкового знака (в отличие от морфа, который может быть рассмотрен в качестве структурного компонента речевого знака), но лишь структурный элемент формы языкового знака - его плана выражения.

Такая структурная неизоморфность языкового и речевого знаков является следствием их различного функционального предназначения: языковой знак является знаком невербального знания о мире, его план содержания - когнитивный смысл, предназначенный для вербализации, а план выражения - языковая информация о средствах вербализации (среди которой не последнее место занимает морфемная структура); в то же время, речевой знак - это знак вербализуемой мысли, его план содержания - вербализованная мысль в ее функциональной связи с языковым знаком (языковыми знаками), а план выражения - сенсорный образ сигнала (для естественной устной речи это акустический образ). Структура языкового знака - иерархична. Морфемная структура в качестве составной его плана выражения представляет из себя информацию о структуре речевых знаков, обобщением которых является данный языковой знак, а морфема - информацией о функционально нагруженном элементе этой структуры. Однако это не единственная и не главная функция морфемы и морфемной структуры. Как показывают наблюдения за т.н. деэтимологизированными формами, в которых произошли опрощения, перераспределения, усечения или наложения морфем, а также за "пустыми" в семантическом отношении атавизмами, вроде бывших детерминативов славянских существительных (-es-, -ent-, -er-, -en-, -j- в существительных бывшей мягкой разновидности склонения на -о- и -а-) или бывших тематических и

классификационных показателей глаголов (-i- и производный от него -j-, повлиявший на целый ряд чередований и переразложений в формах 1.лица ед.ч. настоящего времени глаголов на -i-, а также отглагольных существительных, страдательных причастий прошедшего времени и формах несовершенного вида, образованных от таких глаголов, -а-, -пои-, -ова-, -е- в формах 2, 3 лица ед.ч. и 1, 2 лица мн.ч. настоящего времени глаголов бывшего 1-3 классов), морфемы имеют свойство утрачивать свое значение и, вследствие этого - исчезать. Функция морфемы, а, следовательно, и ее семантика, зависит не только, и не столько от роли ее морфов в конкретном речевом знаке, сколько от наличия или отсутствия в языковой системе определенной словоизменительной или словопроизводственной модели, а также (что непременно) и от наличия соответствующей информации о такой модели в данном языковом знаке.

Поэтому, говоря о морфеме как структурной единице языка, следует иметь в виду, что она:

- не является знаком (не является самостоятельным заместителем некоторого когнитивного смысла);
- не является элементом слова как языкового знака (слова не состоят из морфем);
- не состоит из фонем, но
- является минимальной значимой двусторонней структурной (формальной) единицей языка, входящей как информация одновременно в состав языкового словесного знака информационной базы языка и в состав словопроизводственной или словоизменительной модели внутренней формы языка;
- является составной формы языкового словесного знака, заключая в себе одновременно словообразовательную или словоизменительную и фоно-графическую внутриформенную информацию.

Подытожив сказанное, можно отметить, что с точки зрения функциональной методологии рассмотрение семиотики языковой деятельности будет неполным и искаженным, если последователь-

но не различать два типа вербализации смысла и два типа вербальных знаков: языковые и речевые знаки, обладающие не только различной семиотической функцией (когнитивно-ментальной - языковой знак и когитативной - речевой знак), но и совершенно различной структурой (системно-иерархической - языковой знак и линейно-морфной - речевой знак). Отсюда, и совершенно различное понимание дихотомии "содержание // форма" применительно к различным типам вербального знака. То, что для речевого знака является планом содержания (например, грамматическое или словообразовательное значение), для языкового знака является частью формы, то же, что для речевого знака является формой - акустико-зрительный образ (психический отпечаток некоторого звукоряда или некоторого графического комплекса), в языковом знаке вовсе отсутствует. Вместо него в плане выражения языкового знака наличествует обобщенная фонематическая информация, единицами которой являются морфонемы, архифонемы и фонемы в их вариативном соотношении друг к другу. Следует заметить, что вариативность наряду с воспроизводимостью является едва ли не самой основной характеристикой именно языкового знака. Речевой знак не вариативен, а фактуален. Сам по себе он не предполагает никаких вариаций ни в плане содержания, ни в плане выражения. Для того, чтобы понять, что та или иная словоформа является одной из вариаций одного и того же явления, следует знать это, т.е. обладать соответствующим языковым знаком, где и хранится эта информация. Сведение речевых знаков в парадигматический комплекс возможно только в пределах языкового знака. Это касается и лексической семантики речевого знака, и его лексико-грамматического отнесения к той или иной части речи, и его синтактико-морфологических характеристик и, тем более, его формы. Не зная парадигмы склонения или спряжения, нельзя понять, что "стол", "стола", "столом", "столами" или "иди", "иду", "шел", "шли", "будут идти" являются речевыми знаками, парадигматически вариативными.

ми в языковом отношении, т.е. соотносимыми с двумя инвариантными языковыми знаками, которые, ввиду невозможности прямой адекватной презентации, здесь условно можно обозначить как "СТОЛ" и "ИДТИ". Но это собственно содержательная вариативность языкового знака. В той же степени лишен речевой знак и формальной вариативности. Нет никаких собственно речевых оснований воспринимать знаки русс. "весной" // "весною", укр. "чоловіку" // "чоловікові", чеш. "myslit" // "myslet", как чисто формальные варианты одного речевого знака. Ведь не считаем же мы "столом" вариантом "стол" только на том основании, что они созвучны и что первый речевой знак содержит в себе второй: "стол-ом". На том же основании можно было бы считать вариантами того же явления и речевые знаки "стол-ик", "стол-б", "стол-овый", "стол-кнуть". Однако, подобные фантазии не приходят даже увлеченным эйдетической идеей феноменологам, которые подчас считают "одним и тем же словом" все однокорневые слова одного языка или, что не менее удивительно - переводные, исторически родственные или заимствованные формы из разных языков (См. Хайдеггер, 1993:101, 132, 163, 232, 234; Гадамер, 1988:148, 446, 530, Гейзінга, 1994:40 и др.). Единственным основанием сведения какого-то ряда речевых знаков в одну единицу и объявления их вариантами является наличие в системе языка инвариантного языкового знака. На этом основании мы хотим еще раз подтвердить релевантность для современной функциональной методологии лингвистики соссюрковского положения о синтагматичности структуры речевых единиц и двояком (парадигматико-синтагматическом) характере структуры единиц языковых.

Проблема вариативности, таким образом, является чисто языковой проблемой, поскольку только языковой знак и, прежде всего, его план содержания оказываются стержнем единения множества речевых знаков, их узнавания и их порождения. Если носитель языка абстрагируется от фонетических или морфемных различий

между речевыми знаками (хорошо - лучше, я - мне, друг - друзья, идти - шли и под.) и считает их формами одного и того же слова, это, как ничто другое, свидетельствует в пользу того, что морфемный или фонемный состав не является фактором тождества языкового знака. Если выразиться проще, слова сохраняются в памяти и употребляются при необходимости не в зависимости от фонемного или морфемного состава своей формы, но в зависимости от значения, функционально им присущего. Еще сложнее обстоит дело с идентификацией гетерогенных речевых знаков, выполняющих номинативную функцию, т.е. отнесенных к соответствующим гетерогенным языковым знакам (клишированным словосочетаниям, фразеологизмам, клишированным высказываниям, пословицам и поговоркам, клишированным текстам) с варьирующимися составными формы. Очень часто единственным идентификационным критерием оказывается собственно категориальное значение такого знака, т.е. информация о месте данной единицы в системе информационной базы языка. Именно оно позволяет идентифицировать существенно отличающиеся тексты как варианты текста одной и той же песни (чаще всего, народной), того же стихотворения или анекдота, различные высказывания или словосочетания как варианты того же клише или фразеологизма. Следовательно, только языковой знак оказывается критерием единства и средством дискретизации и идентификации речевых знаков.

§ 3. Типологические проблемы методики лингвистического исследования

3.1. Лингвистическое исследование как коммуникативно-пред-метная мыслительная деятельность. Характер теоретического познания и проблема источника базы лингвистических данных

Любая лингвистическая теория, чтобы быть целостной, должна быть однозначно определенной в методологическом отношении. Составными такой методологической определенности являются:

- онтологическая определенность объекта исследования;
- гносеологическая определенность познавательных возможностей теории и специфики познания объекта и
- методическая определенность исследовательских приемов.

Первые две проблемы нами были рассмотрены выше. Особенность этих аспектов теории относительно объекта лингвистического исследования состоит в том, что, рассматривая его онтологический статус, мы неминуемо вторгаемся не только в его гносеологические характеристики, но и в саму гносеологическую сторону теории. Это происходит потому, что объект лингвистики по своей онтической сущности представляет из себя гносеологическое явление - вербальную деятельность человека, включающую в себя вербализованные смыслы, правила вербализации мыслительных интенций, сами процессы такой вербализации и продукты этих процессов. Иначе говоря, онтическая сущность языковой деятельности (как объекта лингвистики) заключена в том, что эта деятельность есть составная познавательного процесса. Однако это вовсе не значит, что онтологический и гносеологический момент лингвистической теории составляют одно и то же. Как мы попытались показать, онтологический аспект лингвистической теории состоит в определении сущностных свойств объекта, т.е. в ответе на вопрос: что есть языковая деятельность как психосоциальная функция психики-сознания индивида,

что есть языковая деятельность как семиотическая функция, что есть ее составные - язык, речь и речевая деятельность и в чем состоит сущностное различие между ними и их компонентами. Другими словами, онтологический вопрос - это прежде всего вопрос статуса и структуры объекта. Гносеологические же проблемы касаются специфики порождения смысла в онто- и филогенезе, сущности познавательных шагов, сопровождающих появление языкового смысла, функциональных и генетических аспектов речемышления и их отражения в структуре языковой деятельности как единства языка, речи и речевой деятельности. Гносеологические проблемы - это вопросы: каков для меня объект исследования и почему он именно таков.

И хотя, как справедливо писал в свое время Николай Крушевский, "науку не называют по ее методу, а по ее объекту" (Крушевский, 1894:85), тем не менее, научная теория не сводится только к вопросам онтологии и гносеологии объекта. Не менее важным является и третий вопрос методологии лингвистического исследования - вопрос о методах и приемах исследования, хотя он и подчинен предыдущим и должен бы, по логике вещей, выводиться из ответов на первые два. Если лингвист согласует свой выбор средств лингвистического исследования со своими онтологическими и гносеологическими взглядами, его теория может считаться внутренне логичной и непротиворечивой.

Тем не менее, для многих лингвистов именно вопрос методики исследования затмевает первые две проблемы. Это объясняется очень просто: в силу того, что конкретное лингвистическое исследование, как и всякое другое, начинается со сбора и обработки материала, создается иллюзия, что оно совершенно "чисто" и свободно от "идеологического" диктата методологической позиции. Такое понимание характера научного исследования проникло в сферу гуманитарных наук из естествознания, появившегося как логическое продолжение освоения природы человеком в ходе обыденно-практической деятельности. Затем эта позиция была теоретизирова-

на и методологизирована позитивистами. Сам этот факт весьма любопытен с методологической точки зрения, ибо отрицание доминирующей роли методологии в позитивизме превратилось в центральную методологическую установку, детерминирующую все последующие научно-теоретические шаги адептов позитивизма.

Приступая к научному исследованию, в частности, лингвистическому, начинающий ученый, сам того не осознавая, руководствуется методологическими принципами, полученными от своих учителей и предшественников, на которых он ориентируется в своей работе. Если таковые исповедовали различные или даже противоположные методологические взгляды, а молодой лингвист не заметил этого, его первые шаги в лингвистике неминуемо будут сумбурными, а результаты - эклектичными и малопродуктивными. Не исключено, что, опять-таки, сам того не замечая, ученый может выйти на совершенно новый уровень исследования именно потому, что не придерживался чьей-то определенной методологической позиции, а произвольно выработал свою собственную. Излишне говорить, что эта "новая" позиция может оказаться усовершенствованием или развитием чьей-то уже существовавшей методологии, которую данный лингвист воспринял косвенно: через термины и дефиниции, способы обнаружения, квалификации или классификации научных фактов, исследовательские методы и приемы.

Оказывается, что методика исследования, а точнее, методология методики является наиболее существенным экспликатором онтологических и гносеологических воззрений ученого. Действительно, как иначе понять взгляды исследователя на сущность и характеристики объекта, если не через методику его исследования. Могут возразить, что для этого существуют теоретические выкладки. Однако именно они менее всего привлекают большинство лингвистов, поскольку требуют высокого уровня теоретической подготовки, способности к абстрагированию и обобщению и, что самое главное, большой толе-

рантности и открытости к восприятию нового и не согласующегося с его собственными научными представлениями.

Ход и результаты аналитических операций с материалом как нельзя лучше вскрывают методологическую позицию лингвиста (если таковая у него есть). По методике исследования и способу представления материала можно даже лучше судить о методологии автора, чем по его теоретическим выкладкам, которые могут быть заимствованы у его учителей и предшественников, могут быть данью моде или следствием вынужденного теоретизирования (в силу специфики жанра, например). Наконец, они могут отражать отсутствие у автора каких-то устойчивых методологических позиций или обнаружить факт методологического шатания автора между несколькими позициями (например, позицией его учителя и новоприобретенной или новосозданной). Абсолютно "чистых" методологических позиций нет и быть не может, поскольку методологий может быть столько, сколько существует лингвистов. И все же, лингвисты (опять-таки в силу уже рассмотренной нами ранее социальности познавательной деятельности) стремятся согласовать собственные методические исследовательские шаги и теоретические положения, а через них (прямо или косвенно) - и свои методологические позиции, друг с другом. Отсюда значительная унифицированность методологических позиций, а значит, и возможность их квалифицировать и классифицировать. Вторым источником унифицированности этих позиций является производность научно-теоретического мышления от обыденного, а это последнее сложился в ходе многовекового совместного опыта предметно-коммуникативной деятельности.

Методика научно-теоретического исследования отображает основные моменты онтологии и гносеологии теории в виде понятий о материале (опытных данных, научных фактах), о теоретическом знании (научном понятии, суждении, теории) и методах его получения, а также об исследовательских шагах и операциях. Нетрудно понять, что, выделяя эти три методических элемента научной деятельности, мы, так или иначе, учи-

тывали тот факт, что научная деятельность - лишь разновидность предметно-коммуникативной мыслительной деятельности, и в ней есть свои "язык", "речь" и "речевая деятельность". "Язык" научной деятельности - это ее теоретические инвариантные (трансцендентальные) знания в форме концепций, категорий, научных понятий и прописных истин, принимаемых адептами данной теории в качестве аксиом. "Речевой деятельностью" ее является процесс сбора и описания научных фактов, квалификации и классификации их согласно существующей системы научных понятий и аксиом, подведения их под существующие научные понятия и аксиомы (в обыденной речевой деятельности такой процесс мы именовали генерализацией), а также поиск необходимых научных фактов для доказательства тех или иных положений, верификация или фальсификация существующих научных понятий или аксиом фактами (применительно к обыденной речевой деятельности для такого рода актов мы использовали термин референция). Однако это лишь одна из сторон "речевой деятельности" научного исследования, а именно репродуктивная ее сторона. Сущность же научной деятельности заключается в ее продуктивной стороне. А это процесс трансцендентального создания новых научных понятий и аксиом, выдвижения гипотез и формулировки теорем, верификации и фальсификации этих трансцендентальных построений, подведения фактов под научные понятия и аксиомы и, наконец, обоснования и оправдания сущности самих научных фактов. Последний момент имеет особое значение, поскольку для любого исследования крайне важным элементом является понятие научного факта. Факт - это тот отправной пункт, с которого исследователь начинает теоретическую деятельность (поскольку он в качестве основной цели своего исследования полагает познание фактов). Вместе с тем, научный факт - это крайняя позиция теоретизирования, к которой исследователь стремится (поскольку именно к фактам он апеллирует, верифицируя свои гипотезы или апробируя результаты своей деятельности). Именно факты (если понимать под ними не физические предметы как таковые, а максимально положенные во время и пространство опытные знания) в нашей системе

метафор занимают место "речи" научного исследования. Сам по себе факт не является частью теории или научного понятия. Он соотносится с теорией как созерцание с трансцендентальным знанием, т.е. он смежен понятию, а не сходен с ним. Можно предположить, что факт может предшествовать понятию. Но в этом случае он еще не научный факт. Ибо, чтобы стать таковым, некоторое опытное знание должно стать объектом теоретического рассмотрения, т.е. быть соотнесенным с понятийной системой и квалифицированным с точки зрения этой системы. А этого никак нельзя проделать с опытным знанием, если не "извлечь" его из пространственно-временного континуума актуального опыта и не осознать его как понятие. Поэтому опытное знание становится научным фактом только вместе с возникновением соответствующего научного понятия, т.е. теоретического инвариантного знания. Отсюда вывод: научный факт не может предшествовать теории. Предшествовать теории может только опытное созерцание, которое к научной деятельности как таковой прямого отношения не имеет. Сказанное призвано поставить один из наиболее сложных вопросов методологии лингвистического исследования: как соотносятся лингвистическое знание и вербальный факт. Эта проблема имеет два аспекта. Один касается источника базы лингвистических данных и сущности лингвистического познания (в конечном счете - сущности знания), а второй - условий взаимодействия знания и факта в познавательном акте и, как следствие, имеет прямое отношение к сущности научного факта.

Методологические проблемы методики лингвистического исследования непосредственно наслаиваются на гносеологический аспект познания вообще. Поэтому естественно, что эти проблемы прямо коррелируют с проблемами, которые встают при изучении гносеологии понятийного смысла, а именно с проблемой сущности познавательной деятельности и проблемой детерминированности познавательной деятельности опытом. Напомним, что выше мы определили позицию функционализма в области гносеологии языкового смысла как субъективистскую апостериорную методологию, а по своей сущ-

ности процесс познания был нами определен как смыслопорождение (в противоположность объективистскому смысловосприятию или смыслооткрытию). Поэтому вполне естественно, что и лингвистическое исследование нами определяется в методологическом отношении как дедуктивный процесс.

Данное положение может показаться весьма спорным, особенно если под дедукцией понимать операциональный логический прием прямого вывода знания из отдельного частного случая путем гипотетического обобщения в противовес индукции - как операционального приема постепенного накопления частных знаний. Иногда эту пару терминов используют для номинации различного понимания сути структурных отношений в системах. Дедуктивным называют подход тех ученых, которые определяют сущность устройства некоторой системы по принципу: целое задает часть. Индуктивными же считаются теории, которые выводят сущность целого из сущностей его частей. Мы рассматривали этот структурный аспект смысла, когда исследовали онтологию инвариантного знания. Там мы использовали другую пару терминов: категоризирующие и референцирующие теории. Однако здесь мы говорим об индукции и дедукции как о методологических принципах организации научного познания, при котором исследователь либо пытается обнаружить смысл в фактах, для чего использует широкий арсенал описательных методик, либо пытается выдвинуть целостную непротиворечивую гипотезу, которая бы покрывала максимальное количество фактов.

С проблемой характера познания (дедуктивного или индуктивного) прямо соотносится и вопрос об источнике базы данных. Может ли быть таковым внешняя по отношению к исследователю речь? Если да, то в какой степени и в какой форме. Если нет, то как возможно познание внешних фактов?

Выше мы уже оговаривали наше понимание сущности речи. Исходя из него, мы вынуждены отвергнуть возможность познания единиц чужой (в полном смысле этого слова) речи в качестве фактов

лингвистического исследования. Мы не можем ни прямо, ни косвенно проникнуть в речь постороннего индивида. Максимальная возможность - исследовать звуки речи, т.е. физические коммуникативные сигналы. Именно так и призывают поступать позитивисты. Однако, как мы уже писали выше, сигналы не являются единицами речи, а следовательно, познавая сигналы мы не познаем речь. Мы познаем лишь ее физическую корреспонденцию. Еще сложнее обстоит дело с семантическими элементами речи, которые прямо не эксплицируются. Поэтому единственным источником базы лингвистических данных для исследователя может стать его собственная речь. Такой подход не обязательно ведет к солипсизму. Солиптическая, индивидуалистская заикленность исследователя на себе как единственном источнике корпуса лингвистических данных может иметь место только в тех теориях, которые отвлекаются от всего многообразия речевого опыта и сосредоточивают его на чисто лингвистической интроспекции исследователя как исследователя. Если бы исследователь интроспективно наблюдал не свое языковое мышление или сознание (что само по себе совершенно невозможно), но наблюдал бы за своей языковой предметно-коммуникативной деятельностью во всех ее реальных проявлениях, то он без труда обнаружил бы в себе не только активные лингвистические знания, но и пассивные, к которым следует отнести факты неполного освоения социального вербального опыта. Такими могут быть, например, знаки и модели, формирование которых не завершилось в языковом сознании субъекта. Однако следует помнить, что без таких пассивных (недосформированных) языковых знаний невозможно было бы обнаружить в чужой речи ничего действительно чужого. "Чуждость" того или иного факта - это не следствие восприятия чего-то такого, чего нет в собственной языковой способности, но именно следствие обнаружения в собственном языке такого недооформленного, а потому неосвоенного элемента, не превращенного в активный, "свой" элемент. Не зная, что бывают диалекты, и не имея представления о том, каким образом диалект

может отличаться от литературной нормы, нельзя не только исследовать диалектные данные, но невозможно даже воспринимать их как таковые. Такие данные просто не будут существовать для этого исследователя. Точно так же нельзя изучать иностранный язык, не владея хотя бы пассивными, неосвоенными, недосформированными данными иностранного языка. Нельзя обнаружить в речи писателя специфические черты, если не подозревать их, не быть готовым к их обнаружению и, самое главное, не желать их замечать. Только позиция языкового субъекта-микросоциума позволяет, исследуя онтологически свое, познавать чужое. К сожалению, обратное невозможно.

Специфика источника базы лингвистических данных накладывает отпечаток не только на работы дедуктивного характера, но и на описательные работы. На последние даже в еще большей степени, так как описанию подвергаются чаще всего чужие речевые произведения, условия создания которых остаются тайной для исследователя. Желание максимально объективизировать чужую речь почему-то приводит к максимальной ее десубъективизации, а следовательно, к отрыву ее от всей совокупности психических (предметно-мыслительных и коммуникативно-мыслительных) связей, в которых только она и может существовать. Это провоцирует лингвистов на еще большую абстрагизацию от факторов, повлиявших на порождение того или иного речевого произведения, что, в свою очередь, заставляет смотреть на язык как на замкнутую систему чистых отношений (очевидно незамутненных социальными, логико-психологическими, аффективными, физиологическими и другими факторами). Таковы феноменологические теории, рациональные ответвления которых (структурализм, например) сосредоточены на описании именно таких "чистых" отношений в системе, а иррациональные (вроде герменевтики) культивируют идею эйдетического или феноменологического описания, цель которого - проникновение в суть объективно существующего вербального факта (чаще всего через семантический этимологический анализ слова).

Говоря об индукции и дедукции, мы ни в коей мере не отрицаем наличия элементов одного и второго в работах и описательных, и объяснительных. Речь идет лишь о признании дедукции или индукции основополагающими принципами построения теории с выходом на конечные цели исследования. Поэтому функциональная методика определяется нами как методологически дедуктивная. Мы совершенно согласны с Джеймсом Файфом, который назвал теорию де Соссюра первой дедуктивной лингвистической теорией, а Соссюра - "Френсисом Бэконом научной грамматики" (См. Fife, 1991:184).

3.2. Соотношение лингвистического знания и вербального факта в процессе исследования. Тетрихотомия в методике лингвистического исследования

Вторым методическим аспектом проблемы характера лингвистического исследования является понимание лингвистами взаимного соотнесения знаний и фактов в процессе теоретического познания. В конечном итоге решение этой проблемы всецело уходит в понимание лингвистом самой сущности вербального факта. Если факт понимается как феномен предметного опыта или функциональный продукт такого предметного опыта, лингвистическое исследование приобретает черты апостериорного или собственно фактуального. В таком исследовании факт включается в структуру исследования и становится фактором, постоянно детерминирующим познавательный процесс. Фактуальными являются методики позитивистского описания и функционалистского объяснения фактов, поскольку первые сводят процесс познания к описанию фактов (феноменов), а вторые понимают процесс познания как порождение смыслов, строго верифицируемых или фальсифицируемых научными фактами. Можно вполне согласиться с Е.Салминой, что при функциональном подходе "сущность выводится не из объектов, а из функций, что приводит к более

глубоким и содержательным понятиям. В соответствии с функциональным подходом объект, явления рассматриваются в качестве элемента более широкой системы через выделение той роли, которую они выполняют в ней” (Салмина, 1988:78). Оба типа методик ориентированы на сплошную выборку данных, т.е. не исключают из теории никаких фактов. Феномен, если он зафиксирован в таком исследовании как научный факт, не может быть проигнорирован. Ему должно быть найдено место среди других фактов. И, самое главное, наличие некоторого научного факта в таких теориях может повлиять на изменение ее понятий и аксиом. В противовес фактуальным (эмпирическим) методикам мы выделяем методики принципиальные. Это априористские методики. Вербальный факт в них не столь существенен. Он обычно подчинен принципам (отсюда и название - принципиальные). Идея различения научных и философских методик по методологическому критерию “фактуализм // принципиализм” принадлежит В.Джемсу, который противопоставлял по этому принципу реалистские (феноменологические, в его терминах - “рационалистические”) и позитивистские (в его терминах - “эмпирические”) теории (См. Джемс, 1995:10). При этом главенствующими могут признаваться как индивидуально-субъективные принципы смыслообразования, так и объективные принципы, подлежащие познанию в ходе смыслообращения. Первые характерны для субъективистско-априорных теорий, вроде рационалистских, а вторые более свойственны феноменологическим теориям. Оба типа методик построены на избирательном подходе к фактам. Априоризм феноменологических методик заложен в самой идее явленности сущности и очевидности истины, постигаемой интуитивно (в эйдетических, иррациональных теориях) или же в идее телеологической необходимости выявления истины в ходе структурного описания системы (в структуралистских теориях). Г.Гегель, один из основателей феноменологии, писал: “Главное, однако, в том, - и это надо помнить на протяжении всего исследования, - что оба эти момента, понятие и предмет, бытие для иного и бытие

в себе самом, входят в само исследуемое нами знание и, следовательно, нам нет необходимости прибегать к критерию и применять при исследовании наши выдумки и мысли; отбрасывая их, мы достигаем того, что рассматриваем суть дела так, как она есть в себе самой и для себя самой” (Гегель, 1992:47). Этот манифест априоризма хотя внешне и противостоит априоризму рационалистическому, методическому, прибегающему к “критерию” и применяющему “выдумки и мысли”, но они в одинаковой степени основаны на чистых логических схемах, на чистом разуме, лишенном как социального психологизма жизни реальной личности, так и психологической социальности функционирования общества. Обычно такими методиками исследуются замкнутые семиотические системы, искусственные и формализованные языки, а также нормализованные и кодифицированные формы языка (например, литературный язык), исследуя которые, можно абстрагироваться как от разнообразия фактов, так и от их субъектной разнородности. Рационалисты легко уходят от этих трудностей, исключая из своих исследований факты естественного языка или нивелируя такие факты, сводя их до “пустых” в семиотическом отношении форм. Феноменологи же нивелируют разнообразие фактов признанием их полной подчиненности объективно существующим принципам. В методическом отношении это проявляется в разделе фактов на существенные и маргинальные, последние из которых обычно не попадают в поле зрения. Такими маргинальными фактами для структуралистов оказывались все факты, которые не вписывались в строгую систему принципов (замкнутую систему отношений). В формальной лингвистике, вроде московской школы, практически нивелировались все индивидуальные отличия, “нарушения”, “отклонения” и “патологии”, которые, по нашему мнению, и составляют наибольший интерес для исследователя, ибо вскрывают как принципы функционирования и развития языка, так и принципы его структурной организации. Системность языка видна не столько в его закономерностях, сколько в нарушениях этих закономерностей. В противовес

“принципиализму” феноменологических и рационалистских методик, методики, использующиеся в позитивизме (эмпиризме) и функционализме, в большей или меньшей степени фактуальны. В.Джемс писал, что “прагматический метод, когда ему приходится иметь дело с известными понятиями, не ищет окончательного решения в состоянии изумленного созерцания (вспомним вышеприведенный постулат Гегеля - О.Л.), но погружается вместе с этими понятиями в поток опыта, открывая с их помощью новые перспективы” (Джемс, 1995:64). Следовательно, функциональное понимание методики лингвистического исследования должно учитывать то, что, с одной стороны, научный факт (как элемент теории) есть порождение предметно-мыслительной теоретизирующей деятельности и сам по себе не является истиной, а с другой, - то, что теория не может игнорировать порожденные ею же факты и быть построенной на одних принципах. Один из наиболее функционально мыслящих рационалистов Уиллард Куайн отмечал, что ни одна из истин, известных нам, не является чистым соглашением (принципом) или чистым фактом, но вместе они образуют “бледно-серую ткань, в которой черное идет от факта, белое - от соглашения”, но в то же время нельзя увидеть “ни одной целиком белой или черной нити” (Цит. по Хилл, 1965:441).

Ось “фактуальность // принципиальность” разделяет лингвистические методики также и со стороны характера самой познавательной деятельности. Так, если по оси “дедуктивизм // индуктивизм” методики разводятся по роли субъекта познания, а отсюда, и по самой сущности познавательного процесса: активная роль субъекта и созидательный характер теоретического познания в дедуктивных методиках и пассивная функция субъекта, а также фиксирующий характер теоретического познания в методиках индуктивных, то по оси “фактуальность // принципиальность” (“апостериорность // априорность” или “эмпиричность // рационалистичность”) методики разводятся по месту и роли предметно-фактуальной деятельности в теоретическом познании. Если лингвист выводит свою теоретическую познаватель-

ную деятельность за пределы предметно-практической деятельности и полагает ее целиком в сферу рефлексии (неважно, логической или трансцендентно-эйдетической), его методика квалифицируется как "принципиальная" ("априорная", "логистическая" или "эйдетическая"). Если же он не отделяет свою лингвистическую рефлексю от предметной деятельности (т.е., в первую очередь, от речевой и сигнальной деятельности во всех их проявлениях), то его методика квалифицируется как "фактуальная" ("апостериорная", "психологическая"). Показательно, что как рационалисты, так и феноменологи (в т.ч. структуралисты) в методическом отношении максимально ориентированы на логику (формальную, математическую или модальную) или эйдетическую философию, а позитивисты и функционалисты - на психологию (индивидуальную или социальную), психофизиологию или нейропсихологию.

Таким образом, и в методике мы предлагаем тетрихотомическую методологическую модель, составными которой являются следующие направления: феноменология - теории, ориентированные на произвольное описание принципов построения искусственных (в т.ч. литературных) или темпорально неопределенных языковых систем (национальный язык в общем) путем избирательного сбора данных; позитивизм - теории, ориентированные на строгое неизбирательное описание конкретных речевых фактов; рационализм - теории, ориентированные на произвольное логистическое объяснение механизмов порождения индивидуальной речи (искусственной или произвольно созданной) и функционализм - теории, ориентированные на психологическое объяснение устройства и функционирования естественного языка путем строгой неизбирательной верификации принципов речевыми фактами.

Как мы уже не раз подчеркивали, лингвистическая теория является непротиворечивой, а значит, функциональной (в смысле - действенной), если в ней согласованы все три составные методологии: онтология, гносеология объекта и основания методики исследова-

ния. Раньше мы определили четыре возможных онтологических понимания объекта лингвистического исследования: феномениалистско-индетерминированное (объектом лингвистики является объективно существующая система инвариантных языковых смыслов), феномениалистско-детерминированное (объект лингвистики - объективно существующие факты внешней речи), менталистско-индетерминированное (объект лингвистического исследования - индивидуально-личностные факты речемышления) и менталистско-детерминированное (объект - социально-детерминированная индивидуальная языковая деятельность, включающая в себя как речевые факты, так и систему инвариантных смыслов).

Рассматривая гносеологические основания лингвистики, мы пришли к выводу, что здесь также следует различать четыре принципиально отличающихся подхода: объективистско-априорный (познавательный процесс является безусловным проникновением в объективный смысл), объективистско-апостериорный (познавательный процесс является отражением объективного смысла в ходе накопления опытных данных), субъективистско-априорный (познание является безусловным и чистым индивидуальным продуцированием субъективного смысла) и субъективистско-апостериорный (познание - функция отношения между индивидуальной предметно-мыслительной и коммуникативно-мыслительной деятельностью, порождающая социально-детерминированный субъективный смысл).

В области методики лингвистического исследования мы пришли также к тетрихотомической модели: методики индуктивно-принципиальные (исследование представляет собой описание внешнего по отношению к исследователю объекта на основе априорно избранных принципов), индуктивно-фактуальные (исследование представляет собой последовательное описание всего множества фактов, без сведения их к некоторым принципам), дедуктивно-априорные (исследование представляет собой выдвижение гипотез объяснения возникновения разнообразного множества индивидуаль-

но-маркированных фактов речи) и дедуктивно-апостериорные (исследование представляет из себя гипотетическое объяснение функционирования индивидуальных языковых систем, направленного на выражение индивидуальной интенции и установление социального межличностного контакта в ходе предметно-коммуникативной жизнедеятельности).

Как видно из предложенного здесь принципа методологической тетрихотомии, эти частнометодологические проблемы не могут не быть связанными между собой. То, что нам удалось разглядеть в существующих ныне лингвистических теориях четыре принципиально отличных онтологических, гносеологических и методических подхода, говорит о том, что все эти три стороны методологии представляют собой одно целое, детерминирующее все теоретические и практические шаги лингвиста. Это не вызывает у нас никакого сомнения. Совершенно иной вопрос - до какой степени лингвист отдает себе отчет в том, на каких именно методологических позициях он стоит и в том, какое онтологическое понимание объекта гармонирует с тем или иным гносеологическим подходом и каковы при этом должны быть методы и принципы лингвистического исследования, чтобы не впасть в противоречие и достичь некоторого теоретического и практического успеха. Критики такого плюралистического понимания методологии лингвистики могут нам возразить, что правда (научная истина) может быть только одна, и путь к ней может быть либо верным, либо неверным. Но мы стоим на том, что такой специфический объект познания, каковым является коммуникативно-семиотическая деятельность обобществленного человеческого индивида, еще долго будет представлять из себя *ding an sich* для исследователей, по крайней мере до того времени, пока не будет окончательно решена проблема форм бытия материи, соотношения материального и идеального, соотношения объекта и субъекта, характера и сущности познавательного процесса, а также целый ряд чисто прикладных вопросов, связанных с нейрофизиологией человеческого мозга, зоо- и

биоопсихологией, созданием искусственного интеллекта и социально-психологической предметной деятельностью человека. Пока эти проблемы не решены, все в лингвистике будет зависеть от методологической позиции исследователя. А поскольку ученые имеют обыкновение ориентироваться друг на друга в своей теоретической деятельности, заимствуя друг у друга идеи, понятия, термины, способы и методы аналитической деятельности, или, наоборот, отталкиваясь от позиции своих предшественников, отрицая их идеи, понятия и методы, огромное многообразие конкретных индивидуальных лингвистических теорий оказывается вполне сводимым к ряду наиболее общих из них, принципиально противостоящих друг другу по ряду самых важных положений. Мы не пытаемся утверждать, что таких принципиально важных позиций должно быть непременно четыре. Мы лишь утверждаем, что к концу XX века лингвисты и философы языка осознали (сознательно зафиксировали и реализовали на практике) именно четыре таких методологических подхода.

Феноменализм в онтологии непременно выводит объект лингвистики, который не может не быть определенным в смысловом отношении, за пределы человеческой личности, ее сознания-психики. Познать такой объект можно только путем прямого (трансцендентного или логического) или опосредованного (физиологического или биологического) проникновения в него и принятия в себя, в свое сознание-психику заложенного в этом объекте его собственного имманентного смысла. Отсюда, как обязательное условие методологической непротиворечивости, положение о том, что теории, феноменалистские в онтологии должны быть объективистскими в гносеологии. В методическом же отношении, исследование, базирующееся на такой онтолого-гносеологической основе, непременно должно быть описательным (индуктивным). Таким образом, мы приходим к тому, что следует совместить указанные онтологические, гносеологические и методические позиции в единую методологическую ось: феноменализм - объективизм - индуктивизм. Логично противостоять ей будет

вторая методологическая позиция: ментализм - субъективизм - дедуктивизм. Это вполне понятно, поскольку ментальный по своей онтической сущности объект (язык или языковая деятельность как функция мозга человека) может познаваться только субъективистским путем и только путем выдвижения гипотез с их последующей верификацией или фальсификацией.

Так же обстоит дело и с темпоральной стороной методологии: теории, признающие доопытный (врожденный, объективно-материалистический, объективно-социологический или божественно-мистический) характер объекта, непременно должны и в гносеологии отстаивать априоризм познавательной деятельности (то, что существует как таковое до жизненного опыта, нельзя познать опытным путем, его нужно либо знать изначально - как свое "Я", либо проникнуть в него чистыми от опыта способами - чистой логикой или трансцендентно-эйдетически). А значит, и в методике следует не особо ориентироваться на факты. Куда важнее принципы и априорные положения (например, предписания того или иного типа логики). Отсюда, первая темпоральная ось: индетерминизм - априоризм - принципиализм. Естественной антитезой ей является ось: детерминизм - апостериоризм - фактуализм. Если лингвист отстаивает принципиальную невозможность существования смысла вне физических, биологических, физиологических или материально-психологических форм, он непременно будет искать причины функционирования объекта и основания для его исследования только во внешнем предметном опыте. Независимо от того, признает ли он объект внешним по отношению к себе феноменом или же своей внутренней психической функцией, он никогда не абстрагирует свой объект от материальных условий собственного бытия и собственной познавательной деятельности. Так же и в методике, такой лингвист не сможет абстрагироваться от всего многообразия фактического проявления объекта - от повседневной естественной речи.

Совместив таким образом онтологические, гносеологические и методические посылки, мы пришли к констатации целостного характера методологической тетрихотомии. Графически это можно смоделировать в виде трехъярусного куба, нижняя плоскость которого выражает онтологический, средняя - гносеологический, а верхняя - методический аспекты лингвистической методологии. Вертикальные грани схематизируют описанные выше методологические оси, а боковые плоскости - четыре методологии: феноменологическую, позитивистскую, рационалистскую и функционалистскую (См. рис.1 в Приложении 8).

Следовательно, теории, которые последовательно отстаивают индетерминированный феноменализм (в онтологии), априорный объективизм (в гносеологии) и принципиальный индуктивизм (в методике) мы относим к феноменологическим (эссенциалистским, реалистическим). Позитивистские (натуралистические, сенсуалистические) теории отмечены детерминированным феноменализмом, апостериорным объективизмом и фактуальным индуктивизмом. Рационалистские (логистические, сциентистские, солипсические) теории с онтологической точки зрения представляют собой индетерминированный ментализм, с точки зрения гносеологии - априорный субъективизм, а со стороны методики - принципиально-дедуктивны. Наконец, функциональными (деятельностными, прагматическими) мы называем теории детерминированно-менталистские в вопросах онтологии объекта, апостериорно-субъективистские в гносеологическом отношении и фактуально-дедуктивные в методике.

Признавая плюрализм методологических подходов, мы, тем не менее, оставляем за собой право критиковать наших оппонентов, особенно по вопросам принципиально важным для самого определения нашей методологической позиции, а также в тех случаях, когда наши оппоненты впадают в противоречие из-за непоследовательности в своих методологических воззрениях. А непоследовательности в методологии - это нормальное и весьма распространенное явление в лингвистике (и в

науке вообще). М.Вартофский заметил, что “многие ученые полны метафизических воззрений, однако ... редкие из них могут последовательно придерживаться того или иного метафизического убеждения” (Вартофский, 1978:86-87). В частности, на грани методологий нередко (особенно в периоды идейных и теоретических шатаний, возникающих как реакция на научную революцию) возникают целые течения. Примером подобной методологической “гибридизации” могут служить экзистенциализм, неореализм и феноменология Гуссерля, совместившие в себе феноменологическую онтологию и рационалистскую эпистемологию (См. об этом: Tischner, 1993:23-24,31-35). Уместно здесь вспомнить и распространенные в XX веке версии марксизма, совмещавшие позитивистскую онтологию и феноменологическую эпистемологию. Это и колебавшееся на грани функционализма и рационализма неокантианство. В лингвистике это т.н. русская ономаσιологическая школа 70-80-х гг., пытавшаяся объединить функциональную методику и гносеологию с феноменологической онтологией, и когнитивная лингвистика, колеблющаяся частично между рационализмом и феноменологией, а частично между рационализмом и функционализмом и другие течения. Не исключено, что подобные попытки когда-нибудь расшатывают каркас тетрихотомической методологии и явят образец некоторого нового методологического устройства. Однако для этого необходимо одно - чтобы описанное нами тетрихотомическое противостояние в методологии лингвистики не просто завершило свое становление, но изжило себя и перестало давать плоды.

Основополагающими чертами структурно-функциональной лингвистики, на позициях которой мы стоим, является признание объекта лингвистики - языковой деятельности - чисто индивидуальной, психонейрофизиологической онтологической сущностью. Но, вместе с тем, по условиям своего происхождения и по своей функции языковая деятельность - явление насквозь социально-детерминированное. С методической точки зрения данное направление носит объяснительный функциональный характер. Речевые факты признаются

единственным критерием истинности дедуктивно выдвигаемых теоретических положений. Вместе с тем, ориентация на индивидуальную языковую деятельность (языковую деятельность конкретного индивидуума, в первую очередь, самого исследователя) позволяет учитывать все многообразие связей и отношений единиц в системе и разноплановость факторов, влияющих на конкретную речевую деятельность и ее результаты. Признание индивидуального языка единственной онтологически реальной формой существования языка во все не отрицает возможности существования иных форм (но уже не как реальных феноменов, а как равнодействующих функций в пределах индивидуального языка). Еще одно замечание необходимо сделать касательно методики структурно-функционального дедуктивного исследования. Подход от говорящего вовсе не ограничивает объект лингвистики только говорением (кодированием). Процессы декодирования и интерпретации воспринимаются реальнее и полноценнее, если к ним подходить с позиции субъекта, поскольку и в случае кодирования, и в случае интерпретации мы имеем дело, практически, с идентичными процессами порождения информации. Термин "передача информации" страдает определенной надуманностью. Нельзя передать того, что принципиально не может возникнуть в воспринимающем сознании. Потому, говоря о восприятии речи, понимаем порождающее восприятие.

В дальнейшем мы остановимся подробнее на основных теоретических вопросах лингвистики, не столько намереваясь решить все многообразие лингвистических проблем, сколько попытаюсь сформулировать лингвистические проблемы в последовательно функциональном методологическом ключе, а также наметить их решение именно в русле функциональной методологии. В частности, мы рассмотрим семиотические и семантические проблемы языкового и речевого смысла, структуры языковых и речевых знаков, а также проблемы структуры и функционирования языковой системы и организации речевой деятельности.

ГЛАВА II. ЯЗЫКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

§ 1. Методологические проблемы структуры и объема вербального смысла и организация информационной базы языка

1.1. Функциональное понимание познавательной деятельности и методологические проблемы структуры и объема вербального смысла

Учитывая двойственное (функциональное) происхождение понятийного смысла, его структуру можно представить как принципиально двуаспектную. Один, обязательно присутствующий аспект любого понятийного смысла (инвариантного или фактуального), обращен к системе когнитивных понятий, это обобщающий, категоризирующий аспект. Второй - конкретизирующий, референцирующий. Однако, применительно к инвариантному и фактуальному понятиям смыслом характер вхождения этих двух аспектов в единую структуру понятия оказывается различным. Причиной тому различная структурная организация инвариантного и фактуального смысла. Структура инвариантного смысла представляет из себя сложную иерархическую и полевую систему. Поэтому структурные компоненты инвариантного когнитивного понятия мы представляем как две пересекающиеся подсистемы, структурированные на разных основаниях. Условно мы принимаем для них наименования "категориальная" и "референтивная" части когнитивного понятия. Структура же фактуального смысла - линейна. Это пропозициональное рема-тематическое соположение, мыслимое как протяженное во времени и пространстве мыслительной деятельности.

Первая подсистема в структуре инвариантного смысла - категориальная - представляющая классификационно-квалификационную информацию о месте данного когнитивного понятия в иерархической

системе понятий, сама также обладает иерархической гипогиперонимической структурой. Каждый элемент ее является следом функциональной связи с целым рядом других когнитивных понятий по принципу категориального сходства. В зависимости от степени и уровня обобщающего признака данные элементы соотносятся друг с другом либо в соотношении равноправных членов парадигмы, либо в отношении общего к частному.

Так, все когнитивные понятия, реализующиеся в славянских языках в виде существительного, объединены в единую категорию субстанциальных понятий, главными признаками которых являются способность реализоваться в процессе и наличие пространственной локализации. Проще говоря, все субстанциональные понятия обладают имманентной способностью "быть" и иметь "место". Это черта в качестве основного (генерального) категориального признака наличествует в категориальной части структуры каждого такого понятия. Вместе с тем некоторые понятия, а именно понятия, которые Кант производил из эмпирического созерцания, могут мыслиться как чувственно осязаемые, а некоторые - исключительно как "чистые" от ощущения понятия. Первые образуют подкатегорию "конкретных" понятий, вторые - подкатегорию "абстракций". Соответственно, в каждом из таких когнитивных понятий наличествует категориальная информация о вхождении его в такую подкатегорию. Этот элемент категориальной структуры когнитивного понятия является подчиненным элементом "субстанция", так как и эмпирические, и "чистые" понятия обладают этим свойством. Показательно, что в "Критике чистого разума" И.Кант определил именно такой характер членения понятия "о предмете вообще (взятом проблематически, без решения вопроса о том, есть ли этот предмет что-то или он ничто)", как более "высокого" на "возможное" ("что-то", конкретно-эмпирическое понятие) и "невозможное" ("ничто", абстракция) (См. Кант, 1964:334). Далее "конкретные" понятия можно расклассифицировать на одушевленные и неодушевленные (а в научной понятийной сфере это деление может приобрести черты органических и неорганических фе-

номенов; при этом научная и обыденная картина мира может существенно разойтись). "Абстракции", как гибридные по своей гносеологической сущности понятия, в свою очередь, распределяются на "модальности" (временные, пространственные, причинно-следственные отношения и т.д.) "качества / свойства", "процессы / результаты" и "количества". Вполне вероятно, что на этом уровне по отношению к некоторым типам инвариантных смыслов придется уже говорить не о когнитивных понятиях, а собственно о значениях соответствующих языковых информационных единиц. Это касается таких значений, как "субстантивированное действие", "субстантивированное качество / свойство" и "субстантивированное количество", которые возникли как чисто языковая, а не собственно когнитивно-понятийная реальность.

Второй базовой категорией ментальной (когнитивной) системы является категория процессуальности, охватывающая все когнитивные понятия действий и статальных процессов (процессуальных состояний). Соответственно, в рамках данной категории можно выделить подкатегории процессов и состояний. Первые мы расчленяем на интенциональные (направленные на объект) и неинтенциональные, вторые - на экспликативные (понятия пассивного проявления некоторого внутреннего свойства) и импликативные (понятия пребывания в некотором состоянии). Конкретная классификация этих и остальных категорий является предметом специального исследования, выходящего за пределы поставленной здесь чисто методологической задачи. Нас интересует лишь сам принцип подобной классификации. Функциональный подход к такой классификации, по нашему мнению, состоит в том, чтобы последовательно выдвигать классификационные критерии по линии спада в иерархическом отношении. На лингвистическом уровне подобная классификация должна осуществляться со строгим соблюдением верификационно-фальсификационной проверки данными исследуемой языковой деятельности. Методика такой работы описывалась нами ранее (См. Лещак.1991).

Данный классификационный пассаж был предпринят нами с целью проиллюстрировать наше понимание иерархической структуры категориальной части когнитивного понятия. Последним квалификационным моментом категориальной части является собственно понятийный элемент, далее неделимый в категориальном (гипогиперонимическом) отношении, объединяющий в себе все единичные представления, которые подводятся под данное когнитивное понятие. Этот компонент категориальной части понятия является крайним и последним критерием выделения данного когнитивного понятия из системы и содержит собственно информацию о том особенном категориальном смысле, который отличает данный объект мысли от всех подобных. В понятии о дереве может содержаться категориальная информация о том, что это нечто (субстанция) конкретное (предмет), вид растения. Но собственно квалификационным признаком этого когнитивного понятия является ступень, на которой дерево как таковое выделяется из родового понятия "растение" (как один из его видов). При этом вся гиперонимическая информация, которую мы можем подвести под когнитивное понятие "дерево" ("береза", "клен", "дуб", "баобаб", "сосна" и пр.), не является самостоятельным составным элементом иерархической структуры категориальной части понятия "дерево", но может входить в качестве составной именно этого последнего категориального компонента. Сослагательность подобного вхождения объясняется очень просто. Для одного носителя языка в понятие "дерева" входит один "список" гиперонимов, для другого - другой. Подведение некоторых видовых когнитивных понятий под родовое понятие "дерево" происходит не потому, что они содержатся в качестве составных понятия "дерево", а как раз наоборот, потому, что когнитивное понятие "дерево" входит в их состав в качестве составной их категориальной части. Подобное понимание может показаться странным, поскольку обычно принято полагать, что частные понятия входят в состав общих. Однако еще И.Кант писал об общих представлениях: "Представление, которое должно мыслиться как общее различным [другим представ-

лениям], рассматривается как принадлежащее таким представлениям, которые кроме него заключают в себе еще нечто иное; следовательно, оно должно мыслиться в синтетическом единстве с другими (хотя бы только возможными) представлениями раньше, чем я мог бы в нем мыслить аналитическое единство сознания, делающее его *conceptus communis*" (Кант, 1964:193). Мы полагаем, что именно частные когнитивные понятия включают в себя общие в качестве информации о своем месте в системе. При этом нельзя путать ни теоретически, ни терминологически когнитивные понятия и ономаσιологические категории. Категория (как совокупность понятий: класс, подкласс, род, вид, тип, группа и т.д.) в качестве общего всегда шире и объемнее отдельного когнитивного понятия как единичного, входящего в ее состав. Но категориальное понятие, выражающее суть, особенное в этой категории, лишь категориально шире своих составных (поскольку охватывает их гипонимически). В референтивном же отношении категориальное понятие уже своих составных. Так, когнитивное понятие "растение" шире, объемнее в референтивном отношении, чем его родовое - "предмет", но уже, чем его видовое - "дерево". Доказать это можно экспериментально, проанализировав способность носителей языка подводить известные им когнитивные понятия под родовые и перечислять видовые. Первый процесс практически всегда однозначный ("стол - мебель", "медведь - зверь", "мальчик - человек", "куст - растение"), конечно, при условии, если не выходить за пределы обыденного сознания и не заставлять испытуемого квалифицировать научные абстракции. Вторым процесс всегда даст различные результаты (например, при реакции на просьбу: приведите пример мебели, зверя, человека, растения). Часто испытуемый вовсе затрудняется выполнить подобное задание, поскольку теряется в выборе из множества возможных ответов. Классическим примером может служить ситуация минутного замешательства, когда собеседник, узнав, что вы владеете иностранным языком, просит у вас сказать что-нибудь "по-иностранному".

Показательно, что обыденному сознанию свойственно функционирование в среде "усредненных" в категориальном отношении когнитивных понятий. Обыденное сознание чуждается как гипонимов высокой степени обобщения, так и специфицированных гиперонимов. Мы очень часто не знаем названий отдельных цветов, птиц, грибов, насекомых, деталей машин, нюансов событий и отношений, именуя их более общими наименованиями (например, "цветочек", "птичка", "поганка", "жучок", "деталь", "он меня не любит", "они нас обманывают" и под.). В случае же необходимости использования некоторого высококатегориального гипонима в обыденной речи мы легко используем дейктические слова, вроде "это", "такой", "какой-то", "что-то", "вещь", "делать", "штучка" и под.

В семиотическом отношении последний, квалификационный момент категориальной части когнитивного понятия можно еще именовать десигнатом (так называет его чешский исследователь Зденек Главса), в семантическом - его обычно называют интенсионалом (См. Никитин, 1988). Интенсионал когнитивного понятия, таким образом, это все то особенное, что выделяет данное понятие из минимальной группы категориально сходных однородных понятий. Если пользоваться терминологией и концептуальной базой Канта, можно интерпретировать интенционал когнитивного понятия как результат априорного созерцания и синтетического единства апперцепции. Этим интенционал, во-первых, вводится в круг трансцендентальных (интеллектуальных) продуктов классификационно-обобщающей способности сознания (как один из категориальных моментов когнитивного понятия), а с другой, - противопоставляется другой обязательной составной ядра понятия - денотату (в терминах З.Главсы, см. Hlavsa, 1975) или экстенсионалу (в понимании М.Никитина; см. Никитин, 1988). Интенционал трансцендентален не только потому, что он является продуктом обобщающей деятельности сознания и представляет собой (как и вся категориальная часть когнитивного понятия) собственно человеческую форму классификации опыта, но еще и потому, что он предваряет тот опыт, предписывает нам наши

возможные эмпирические шаги. Интенционал не только и не столько обобщает все представления действительного опыта, подводимые под данное понятия, сколько предписывает подводить под него и все аналогичные (категориально сходные) представления возможного опыта. Опять-таки обратимся к Канту: "... не предмет заключает в себе связь, которую можно заимствовать из него путем восприятия, только благодаря чему она может быть усмотрена рассудком, а сам рассудок есть не что иное, как способность а priori связывать и подводить многообразное [содержание] данных представлений под единство апперцепции" (Кант, 1964:193).

Графически можно схематизировать категориальную часть когнитивного понятия в виде встроенных друг в друга кругов, каждый из которых символизирует наличие в когнитивном понятии категориальной информации той или иной степени обобщения (т.е. информации, обуславливающей функциональную субститутивную связь данного когнитивного понятия с другими понятиями, обладающими такой же информацией), а точка внутри - интенционал данного понятия, определяющий отличие этого понятия от наиболее сходных и место его в иерархической системе. Как всякая схема, эта схема страдает неточностью. Более точно было бы изобразить наше понимание категориальной части понятия в виде полого конуса с вершиной в интенционале, стенки которого схематизируют функциональную связь данного понятия с тем или иным кругом сходных ему когнитивных понятий (См. рис.2 в Приложении 8 - на примере когнитивного понятия "волк").

Никакое понятие не может иметь места в нашем сознании, если оно прямо или косвенно не экстраполировано на чувственно-предметный опыт. Кант отмечал, что "для нас возможно априорное познание только предметов возможного опыта" (Кант, 1964:214), под которым (опытом) он понимал "определение явлений в пространстве и времени" (Там же, 216). Поэтому когнитивным понятием можно считать не один лишь категориальный смысл, но только двустороннюю функцию, отношение трансцендентального (интеллектуального) и

чувственного. По Канту обыденное понятие есть "нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, а с другой - с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям. Это опосредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой - "чувственным" (Там же, 221). Эта "трансцендентальная схема" И.Канта может быть непонятна, если ее рассматривать в чисто философском или логическом плане. Но, если ее применить к языку, она становится вполне ясной и очевидной.

Второй составной всякого когнитивного понятия является, по нашему мнению, его референтивная часть. В отличие от категориальной части, являющейся иерархией классификационных смысловых элементов, основанной на механизмах субституции, референтивная часть как информация о всех единичных свойствах, подводимых под данное понятие представлений опыта, основана на механизмах предикации и, поэтому, является полевой структурой смежностно соположенных элементов смысла. Именно за счет наличия в когнитивном понятии референтивной информации мы способны мыслить "дерево" как конкретное дерево (с ветками, листьями или хвоей, растущее или срубленное, высокое или низкое, прямое или изогнутое и т.д.). Более того, в обыденной мыслительной деятельности мы просто не можем полностью отвлечься от всего многообразия референтивной информации. Воспоминание (извлечение смыслов из памяти) обычно проходит именно через референтивные структуры, т.е. через полевую структуру смыслов. Полевая структура смыслов очень трудно поддается исследованию, поскольку она максимально обращена в сферу фактуальных смыслов. В отличие от категориальной структуры, основным свойством которой является дискретность и инвариантность понятий, полевая структура отличается плавностью переходов и синкретизмом составных. Одно и то же когнитивное понятие может входить в громадное множество референтивных (смежностных) связей с другими понятиями, а следовательно, одновременно быть элементом самых различных образований в полевой структуре. Сами эти образования поэтому ста-

новятся трудноисследуемыми. Трудность заключается уже в их терминологическом определении. Мы будем придерживаться терминологической схемы: понятийное поле -[микрофрейм, фрейм, макрофрейм] - тематическая категория. Четко обособить в нашей схеме можно только крайние позиции. Понятийное поле фактически совпадает с референтивной частью некоторого конкретного когнитивного понятия, не являющегося родовым по отношению к каким-либо другим понятиям. Так, когнитивное понятие о какой-то конкретной березе не является родовым по отношению к какому-нибудь другому когнитивному понятию. Поэтому его референтивная часть вполне может трактоваться как минимальная единица полевой структуры психики-сознания. Максимальной единицей полевой структуры сознания может быть тематическая категория "Мир", включающая в себя все понятия, более узкими - подкатегории "Я" ("мой мир") или "не-Я" ("не мой мир"). Все остальные полевые образования могут быть выделены совершенно по-разному для различных индивидов. Это могут быть макрофреймы или ментальные пространства (термин В.Петренко; см. Петренко, 1988), вроде "Быт", "Наука", "Искусство", "Государство", "Семья", "Школа", "Природа", "Секс", "Питание", "Прошлое", "Родина" и под. Естественно, они пересекаются, образуя другие полевые группировки когнитивных понятий.

Собственно референтивной следует считать информацию о единичных предметах (явлениях, ситуациях, проявлениях свойств и качеств), подводимых под данное когнитивное понятие. Подобная характеристика достигается, как и в случае с категориальными характеристиками, за счет наличия у данного понятия функциональных связей (на этот раз предикативных, смежностных) с целым рядом других понятий (рациональная информация), целым рядом созерцательных единиц - представлений, наиболее устойчивых чувственных восприятий и ощущений (сенсорно-эмпирическая информация) и с наиболее частотными эмотивно-волевыми состояниями, вызываемыми предметами и явлениями, которые подводятся под это когнитивное понятие (эмотивно-волевая информация).

Несмотря на то, что каждое понятие может входить в целый ряд фреймов, ментальных пространств или полевых категорий, в нем есть ключевая, наиболее характерная для него референтивная информация, совокупность которой является тем особенным, что позволяет применить ко множеству референтов (явлений) возможного опыта это же понятийное содержание. Кант определяет в качестве причины возникновения такой информации эмпирическое созерцание, а в качестве определяющей объединяющей характеристики - аналитическое единство апперцепции. Как мы уже отмечали выше, мы именуем такую информацию экстенсионалом когнитивного понятия, а с позиции познавательного и семиотического процесса - денотатом, как обобщенным представлением об объекте познания и номинации. Таким образом, интенционал (десигнат, содержание) - это минимальный классификационный элемент, особенное в категориальной части когнитивного понятия, а экстенционал (денотат) - особенное в его референтивной части, совокупность наиболее существенных предикативных (атрибутивных) свойств, приписываемых данному понятию. Вместе они образуют ядро когнитивного понятия, которое с точки зрения семиотики можно именовать сигнификатом, а с позиции языка - лексическим значением.

Так же, как и категориальную часть, референтивный аспект понятия "волк" можно схематизировать в виде круга (овала), символизирующего синтагматическое поле референтивного значения, с точкой в центре, символизирующей экстенционал понятия. Внутри круга линиями обозначены смежностные связи экстенсионала с частными референтивными смыслами, через которые осуществляется предикативная связь данного когнитивного понятия со смежными понятиями, представлениями, эмотивными состояниями (См. рис 3 в Приложении 8). Инвариантное понятие, интенционал и экстенционал которого представляют две обратно отнесенные стороны одного ядерного компонента понятия - сигнификата, схематизированно изображает рис.4 в Приложении 8.

Показательно, что практически идентичную трехкомпонентную (денотат-десигнат-сигнификат) структуру понятия мы обнаружили в трактовке структуры наименования Чарльза Осгуда в его "Психолингвистике" (См. Psycholinguistics, 1954:176). Еще более интересной нам представляется параллель, которую мы усмотрели между трехкомпонентной структурой когнитивного понятия и структурой человеческого индивидуума по В.Франклу. В статье "Общий экзистенциальный анализ" он выделяет три составных или три основных аспекта человеческой личности, при этом характеризуя их с позиции трихотомии "общее-особенное-единичное" (См. Франкл, 1990:246-247). Так, физическое в человеке Франкл относит на счет единичного, психическое (которое он трактует как социально-психологическое) - на счет общего, а духовное - рассматривает как собственно ядро личности, то, чем она отличается от всех остальных, т.е. как ее особенное.

Всякое когнитивное (житейское или спонтанное, в терминах Л.Выготского), обыденное понятие обязательно состоит из трех составных: ядра (сигнификата), категориальной и референтивной части. Такое членение понятия релевантно, прежде всего, для семиозиса смысла, поскольку в лексическое значение языкового знака входит далеко не вся понятийная информация, но прежде всего, в основу формирования языкового знака ложится именно сигнификат когнитивного понятия. Остальные элементы категориальной и референтивной частей могут входить в знак опосредованно, через словообразовательное (эпидигматическое) или грамматическое значение.

Элементы понятия входят в семантику знака по-разному. Так, через когнитивно-словообразовательное значение в знак "jeřab" (чеш. "подъемный кран") вошел явно неядерный референтивный (а, потому, и не входящий в денотат и сигнификат) смысл "похожий на журавля" (показатель - корень слова), а через типизирующе-словообразовательное значение (термин болгарской лингвистики Э.Пернишки; Пернишка, 1980) в знак "nauczyciel" (поль. "учитель") вошел явно категориальный (не входящий в десигнат и сигнификат)

смысл "человек, имеющий профессию" (показатель - формант "-siel"). Категориальный смысл "неодушевленный предмет", свойственный понятию о подъемном кране, проникло в чешский знак "jeřáb" в виде грамматической (морфологической) информации о словоизменении по модели неодушевленных существительных (род.пад., ед.ч. - "jeřábu"). В значениях падежей, чисел, синтагматических и синтаксических значениях могут реализовываться и другие референтивные или категориальные признаки. Например, признак "орудийность" - в значении форм "jeřábem", "romosí jeřábu", "множественность" - формами множественного числа, субъектность относительно некоторого действия - функциональной позицией подлежащего и под.

При установлении функциональной связи между элементами понятийной структуры и элементами собственно языковой семантики (являющейся едва ли не самым консервативным элементом сознания) могут появиться совершенно новые, собственно языковые когнитивные (лексические) смыслы. Так, фактуально осмысливая некоторый процесс как субъект или объект действия, носители славянских языков (вернее, их предки) вынуждены были решить проблему реализации категориальной части когнитивного понятия процесса (напр., "ходить") через языковой инвариантный смысл, закрепленный за понятием субъекта действия. Таким смыслом является во всех славянских языках частеречное значение имени существительного. Мысля процесс "ходить" как субъект, носитель одного из славянских языков просто обязан мыслить процесс как субстанцию: "хождение". Следовательно он был вынужден соединить категориальный смысл когнитивного понятия "ходить" - "процессуальность" с грамматическим значением "предметность", что в итоге привело к возникновению гибридной семантики (абстрактных имен существительных), в частности, появлению совершенно новых, не сводимых ни к собственно процессу, ни к собственно субстанции, понятий: деятельность, событие, результат действия, отношение и под.

В связи с вышесказанным можно в структуре лексического значения каждого языкового знака выделять свою категориальную и свою референтивную часть, которые могут совпадать с соответствующими частями вербализуемого этим знаком когнитивного понятия, но могут и различаться. Именно поэтому, часть существительных в славянских языках (имена действия, имена свойства, имена количества), будучи семантически субстанциальными в категориальном отношении (обладая субстанциальной категориальной частью), тем не менее процессуальны, атрибутивны или квантитативны семиотически (по своей понятийной отнесенности, а, следовательно, и по своему сигнификату). Мы склонны полагать, что имена, вроде "хождение", "твердость" или "двойка" (аналоги есть во всех славянских языках), не означивают какого-то иного когнитивного понятия, чем соответствующие им знаки "ходить", "твердый" или "два". Однако это совсем не значит, что их значение идентичны. Категориальные части значения этих существительных не идентичны категориальной части понятий, которые они вербализуют, в то время, как соответствующие глагол, прилагательное и числительное идентичны по своей категориальной части указанным понятиям. Значение глагола "ходить" содержит в своей категориальной части категориальную информацию (категориальную сему) "процесс", родовую информацию (родовую сему) "действие", видовую информацию (видовую сему) "реализовать способность" и типовую информацию (семантему - термин заимствован у Ж.Соколовской, хотя он встречается еще у "пражцев") "передвигаться". В то же время категориальная часть существительного "хождение" содержит совершенно иную информацию: категориальную - "субстанция", подкатегориальную - "абстракция", родовую - "процессуальность", видовую - "процесс", типовую - "действие". Как видно, типовая информация понятия и глагола "ходить" (семантема "передвигаться") оказывается нерелевантной на уровне значения существительного "хождение", поскольку тип "субстантивированное действие" далее не членится на какие-то равнофункциональные группы, которые бы соотносились друг к другу как сходные по семантеме как гипонимическому признаку и противостояли

друг другу по какому-то категориальному гиперонимическому признаку. В то же время категориальные понятийные признаки "процесс" и "действие" вошли в состав значения существительного в качестве видо-типового значения. Однако, наряду с ними, здесь присутствуют субстанциальная категориальная и гибридная подкатегориальная семы, отсутствующие в когнитивном понятии. Все сказанное позволяет нам, с одной стороны, проиллюстрировать идею несоответствия понятийной (когнитивной) и языковой картины мира, т.е. показать неидентичность понятийного и вербального смысла, а с другой, - демонстрирует возможность трансцендентального образования новых абстрактных синтетических понятий на основе конкретных, эмпирических и для последующего их применения в опыте предметно-коммуникативной деятельности.

Специфика структуры инвариантного смысла состоит в том, что при всей его ориентированности на опыт внешнепредметной деятельности понятие остается "чистым" трансцендентальным образованием, т.е. категориально структурированным. Этим оно и отличается от собственно чувственных форм познания - ощущений, восприятий и представлений (наглядных образов), структура которых плавна и количественна.

И.Кант для описания чувственной и созерцательной информации использовал понятие величины, т.е. количества. Плавность и количественность ощущений состоит в том, что они постепенно интенсифицируются или убывают по мере их возникновения. Такое свойство конкретного ощущения, сопряженного с единичной реакцией отдельного органа чувств, Кант назвал интенсивной величиной. Действительно, исследования в области физиологии и психологии человеческой сенсорики говорят о том, что наши органы чувств могут образовывать огромное количество информации, различающейся аспектом, но объединенной органом ее опытной референции. Так, глаз может отмечать цветность, освещенность, удаление, объем, контуры объекта. Каждое из этих ощущений может быть дифференцировано, прежде всего, при физиологических нарушениях и дефектах. Каждое

из них имеет количественную характеристику. И количественность эта (величина) имеет именно интенсивный характер, поскольку обладает степенью интенсивности. Наиболее интенсивны непосредственные актуальные ощущения. Эти ощущения следует отличать от их ментальных отпечатков, т.е. их психических аналогов в памяти. Ощущения являются единственной интенсивно количественной информацией об объектах предметного мира (возможного опыта). Все остальные единицы информации уже не обладают той степенью единства, которая позволяет наслаивать каждый новый информационный блок на предыдущий, усиливая чувственное впечатление. Уже восприятия (не говоря о представлениях - созерцаниях, в терминах Канта) как информация характеризуются не интенсивностью, а именно экстенсивностью величины. Кант писал: "Экстенсивной я называю всякую величину, в которой представление о целом делается возможным благодаря представлению о частях (которое поэтому необходимо предшествует представлению о целом)" (Кант, 1964:238). Общее зрительное восприятие неоднородно по своей сути, оно экстенсивно количественно, поскольку состоит из множества зрительных ощущений. Но было бы ошибкой считать, что зрительное (или какое-либо другое) восприятие складывается из ощущений простым прибавлением или постепенным присоединением. Предметы действительного опыта воспринимаются сразу во всех аспектах ощущения. Раздельное функционирование, как мы уже отмечали выше, становится возможным только в патологических случаях. Такое одномоментное образование восприятий Кант назвал схватыванием или антиципацией (предвосхищением). Впрочем, это понятие и ранее широко использовалось в философии (правда, в иной теоретической интерпретации и терминологическом оформлении). Вспомним платоновскую идею (эйдос), принцип возникновения которой выводился из аналогии к моментальному зрительному схватыванию предмета в чувственном восприятии. Известно оно и современной психологии и психопатологии (эйдетическое восприятие и эйдетизм как функциональное нарушение).

Таким же свойством обладает, по мнению Канта, и созерцание (представление об объекте наличного опыта как комплекс всех актуальных восприятий). Наглядный образ так же, как и восприятие, складывается и потому может и должен считаться экстенсивной величиной. Актуальный наглядный образ также нельзя смешивать с ментальным наглядным образом (общим опытным впечатлением об объекте, хранящимся в памяти и складывающимся из множества актуальных созерцаний). Не исключено, что именно такое общее представление и имел в виду И.Кант, когда вводил различие между эмпирическим и чистым (априорным) созерцанием.

Реальность такого психического феномена, как общее представление, легко доказать тем, что каждый из нас неоднократно и без труда способен умственно представить некоторый объект, актуально не воспринимаемый органами чувств. Сравнив затем это представление с актуальным (в момент чувственного созерцания) легко убедиться в том, что ментальный образ в целом соответствовал актуальному, хотя между ними и были существенные отличия. Общее (ментальное) представление включает в себя далеко не всю актуальную информацию, но только наиболее частотную, яркую и характерную. Эта характерность и яркость может быть осознана только при сравнении актуальных представлений. А это становится возможным только с возникновением понятийного обобщающего абстрактного мышления. Именно понятийная форма информации (смысловая) предписывает созерцанию представление множества различных (с точки зрения органов чувств) объектов как одного и того же. Поэтому, для более менее научного понимания сути познавательного процесса следует последовательно разводить следующие типы информации:

- актуальные ощущения конкретного единичного объекта;
- ментальные ощущения единичного объекта (запечатленные в памяти воспоминания актуальных ощущений);
- актуальные чувственные восприятия единичного объекта (слагающиеся из актуальных ощущений в момент перцепции);

- ментальные восприятия - отпечатки актуальных восприятий единичного объекта в комбинации с ранее зафиксированными в памяти ментальными ощущениями;
- актуальное наглядное представление о единичном объекте (возникающее при актуальном созерцании конкретной березы);
- ментальное представление единичного объекта (воспоминание о конкретной березе вне ее актуального созерцания);
- общее ментальное представление о всех объектах возможного опыта, подводимых под данное понятие (общее представление о различных березах, встречавшихся в действительном опыте или как их себе представляет субъект в принципе);
- инвариантное понятие (категоризированный инвариантный смысл, отвлеченный от конкретного фактуального мышления об объекте, образованный вследствие процесса генерализации фактуальных мыслительных смыслов) и
- актуальное понятие (фактуальный понятийный смысл, образованный вследствие процесса референции на основе инвариантного понятия).

Принципиальное отличие актуального и общего ментального представления состоит в том, что в актуальном опыте предметной деятельности мы имеем дело, прежде всего, с актуальным представлением. Именно по актуальному представлению мы судим о явлениях нашего предметного опыта. И именно это представление о единичном явлении становится отправной точкой познавательного процесса. Ни отдельные восприятия, ни ощущения, ни, тем более, реальные предметы (явления) внешнего мира как таковые (как вещи-в-себе) не являются полноценным участником процесса смыслообразования. Поэтому, с позиций функциональной методологии уместнее всего именовать термином "референт" не вещь, явление предметного мира, но собственно актуальный наглядный образ некоторой познаваемой реалии. "Денотатом" же следует именовать обобщенное представление о всех возможных референтах данного акта смыслообразования.

Однако и референт, и денотат смысла являются количественными величинами: это информационный набор, комплекс (экстенсивная величина). Понятие как смысл принципиально отличается как от актуального, так и от общего ментального представления. Это не количественная, но качественная величина. Ощущение может быть интенсивным или неинтенсивным, восприятие или представление могут быть полными или неполными. Понятие же либо есть, либо его нет. Ни одно дерево (если оно мыслится в форме понятия) не является в большей степени деревом, чем другое, ни одно событие не является более событием, чем остальные, ни один моряк не более и не менее моряк, чем другой. Поэтому понятие нельзя подвести под характеристику интенсивной величины. Но понятие нельзя свести и к совокупности соположенных элементов (как восприятие или представление). Мы можем мыслить некоторый объект как человека, даже если актуальное представление о нем и противоречит такому выводу. Единственным и последним критерием нашего понятия (*causa finalis*) является осознание его качественной сущности, т.е. его места в иерархической системе понятий. Эта способность человеческого рассудка мыслить объекты своего опыта в форме качественных смыслов (понятий) и именуется Иммануилом Кантом трансцендентальной способностью.

Здесь же следует остановиться на проблеме структуры актуального понятия, а через нее - на проблеме структуры любого речевого смысла вообще, поскольку связь элементов чувственного (созерцательного) познания с инвариантными понятиями осуществляется всегда именно через актуальное понятие как фактуальную смысловую единицу.

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы, еще раз вспомним кантовскую дефиницию понятия опыта как "определения явлений в пространстве и времени". Это вполне применимо к нашей проблеме. Всякое актуальное знание, в конечном итоге, не что иное, как определение некоторого объекта деятельности относительно пространства и времени актуального бытия. Актуальное представление

как таковое становится возможным именно вследствие определения некоторого объекта как этого, находящегося здесь и сейчас. Референция понятия (его актуализация, конкретизация) становится возможной именно тогда, когда мы выделяем некоторый объект мысли из системы и поля как специфицированный относительно момента времени и пункта в пространстве.

Идея включения некоторого когнитивного понятия в пространственно-временной континуум как нельзя лучше иллюстрирует нашу идею о фактуальных и инвариантных смыслах и напрямую соотносится с философскими понятиями движения и покоя, бытия и небытия. В пространственно-временном континууме нет места парадигматической одновременности и соприсутствию. Анализ любого мыслительного дискурса (в том числе, и реализованного в речевой деятельности) свидетельствует в пользу того, что в актуальном мышлении (и речи) реализуется лишь определенная часть понятийной информации, содержащейся в инварианте. Мысля дерево как цветущее весной в саду, мы не мыслим его одновременно как опадающее осенью во дворе или как срубленное замерзшее зимой в лесу, как разновидность многолетних растений или как предмет, за которым можно спрятаться, играя в прятки. Тем не менее, в референтивную часть инвариантного понятия о дереве может входить не только эта, но и еще огромный пласт другой информации. Точно так же, используя в тексте форму "деревом", мы никак не выявляем другие возможности данного слова, а именно: возможность образования одиннадцати остальных падежных форм (не говоря о том, что грамматико-семантических смыслов можно выразить, используя языковой знак "дерево", гораздо больше). Остается неэксплицированной в речи также словообразовательная информация (связь данного слова с однокорневыми), не реализуется в полной мере синтагматическая функция (например, при наличии в тексте словосочетания "спрятался за деревом" остается неэксплицированной синтагматическая способность данного языкового знака выступать опорным членом согласования) и синтаксическое значение (осталась нереализованной

возможность быть подлежащим или дополнением). Парадигматики, составляющей сердцевину любой инвариантности, нет и быть не может в речемыслительном континууме именно потому, что последний есть пространственно-временной континуум, а инвариантно (парадигматически) понимаемый объект мысли есть одно-, все- и вне-временной, а также одно-, все- и внеместный объект.

Поэтому мы, вслед за Ф. де Соссюром, полагаем, что объекты инвариантно-ментального плана (инвариантные понятия, языковые знаки) структурированы системно-иерархически, а объекты фактуально-мыслительного плана (актуальные понятия, суждения, концепции, речевые знаки) структурированы линейно, в виде рематематических соположений.

Линейный характер актуальных понятий и речевых смыслов не следует смешивать с экстенсивно-полевым характером созерцательных единиц. Такое понимание означало бы только то, что понятия как качественная ступень информации (смысл) существует только в психике-сознании и распадается в мышлении опять на представления. Но это не так. Актуальные понятия не перестают быть понятиями. Они не утрачивают основного свойства понятия, составляющего его качественную сущность - его категориальной и классификационной дискретности.

В основе структурирования актуального понятия и речевого смысла лежат все те же два принципиально отличных, но взаимно предполагающих друг друга структурно-информационных аспекта: категориальный (десигнативный) и референтивный (денотативный). Однако, если в инвариантном понятии (и языковом знаке) они представляют собой две разнотруктурированные группы смысловых признаков (иерархическая система категориального содержания и полевая структура референтивного объема), пересекающиеся в сигнификативном ядре, то в актуальном понятии они максимально свернуты таким образом, что представляют из себя только рематематическое соположение, пропозициональную функцию, где роль темы или ремы поочередно выполняют то некоторый элемент кате-

гориальной части инварианта, то некоторый референтивный элемент. Так, в речевых континуумах "дерево расцвело", "сидели под деревом", "прибили к дереву" или "упал с дерева" тематическим является именно десигнативный элемент значения, а ремой выступают различные элементы (семы) референтивной части. В контекстах же "береза - это лиственное дерево" или "дерево - это многолетнее растение со стволом и развитой корневой системой" ремой является именно категориальный (десигнативный) элемент значения. В сема-сиологии для этих случаев используют термин "актуализированная сема". В нашей интерпретации актуализация семы - это рематическое выделение некоторого элемента значения относительно всех остальных, которые полагаются в смежностную пропозицию в качестве темы.

Естественно, что в обыденных понятиях более привычной функцией для категориальной части является функция темы, а для референтивной - функция ремы, хотя здесь нет строгой зависимости. Рематическое выделение категориальной части может происходить чаще всего в суждениях дефиниции. В таких суждениях иногда референтивная часть может полностью игнорироваться и поглощаться десигнатом. Представленное в таком аспекте понятие перестает быть собственно когнитивным понятием и превращается в научное (философско-теоретическое) понятие. Возможно и другое аспектное состояние когнитивного понятия. Оно образуется тогда, когда пропозиция соположения максимально реализуется в референтивной части и квалификационный элемент десигната поглощается денотатом понятия. В таком случае понятие может частично утрачивать свою категориальную отнесенность и становиться до определенной степени размытым. В этом случае оно также перестает быть собственно когнитивным обыденным понятием и превращается в художественный образ. Поэтому мы в научной речи так легко абстрагируемся от частно-референтивных признаков обыденного понятия, а в художественном типе речемыслительной деятельности легко можем мыслить неживые предметы как живые, абстракции - как конкретные, а жи-

вотных - как людей. Оба аспекта познавательной деятельности можно представить как формы осознания той или иной стороны когнитивного понятия (неосознаваемого по своей гносеологической сути) или как формы рефлексии. Л.Выготский писал: "Очевидно, само по себе спонтанное понятие необходимо должно быть неосознанным, ибо заключенное в нем внимание направлено всегда на представленный в нем объект, а не на самый акт мысли, схватывающий его" (Выготский, 1982, II:219). Следовательно, объектом указанной рефлексии является как раз не объект предметной деятельности, а та или иная сторона когнитивного понятия. При любых формах гносеологической (или генетической) аспектуализации обыденно-мифологическое сознание (и когнитивное понятие как основная форма смысла) остается базовым для человека. Вильям Джемс в своей книге "Прагматизм" совершенно верно заметил, что "наши основные методы мышления о вещах - это сделанные весьма далекими предками открытия, сумевшие сохраниться на протяжении опыта всего последующего времени. Они образуют один великий период, одну великую стадию равновесия в развитии человеческого духа, стадию здравого смысла. Все другие стадии развились на основе этой первичной, но им никогда не удалось окончательно устранить ее" (Джемс, 1995:85).

Генетико-гносеологическую аспектуализацию когнитивного понятия не следует смешивать с его функциональной аспектуализацией. Последняя есть собственно актуализация или референтизация его, т.е. сужение его денотата и конкретизация его референтивной части. Первая же означает переосмысление структурных отношений в ядре когнитивного понятия (сигнификате). При таком переосмыслении не происходит собственно функциональная аспектуализация. Понятие не изменяет сущность своей структуры, т.е. не превращается из двуструктурированной иерархически-полевой микросистемы в линейную пропозициональную функцию. Иначе говоря, мы хотим акцентировать внимание на том, что следует различать процесс гносеологической аспектуализации, при котором базовое когнитивное

понятие преобразуется в познавательном-семиотическом плане в научное понятие или художественный образ от процесса функциональной аспектуализации, при котором на основе инвариантного понятия (одного из его гносеологических аспектов) образуется актуальное понятие. Так, в инвариантном состоянии в психике-сознании человека может храниться некоторое когнитивное понятие в одном или нескольких гносеологических аспектах (обычно в одном - обыденном, но у ученого или носителя официально-деловой информации может быть в двух - обыденном и научно-теоретическом, а у художника, журналиста или оратора также в двух - обыденном и образном). Во всех случаях речь идет об инвариантном смысле. При функционировании же сознания в одном из режимов речемыслительной деятельности (подробнее о них будет сказано ниже) на основе этой инвариантной информации в психике-мышлении образуются фактуальные смыслы (речевые значения, содержания и смыслы), линейная структура которых совершенно отличается от структуры их инвариантных прообразов. Так, в обыденной речи может появиться некоторое знаковое образование, в основе которого лежит инвариантный смысл обыденного когнитивного понятия. В научной или деловой речи фактуальные смыслы следует соотносить с научными и обыденными (в силу их базового характера) аспектами инвариантных понятий, а в художественной и публицистической - с образными и обыденными (по той же причине). Это вовсе не значит, что в научной или деловой речи не может появиться фактуальный смысл аспектуализированный в образном плане (шутка, метафора, образный пассаж) или в речи оратора, журналиста или художника не может появиться научный фактуальный смысл. Ярким примером первого может быть сравнение Д.Уортом в одной из своих статей нулевого суффикса славянских конверсивов с улыбкой Чеширского кота из "Алисы в Стране чудес". Однако такие моменты в научной речи потому и запоминаются, что они там крайне редки. Насыщение научной речи образами делает ее эссеистической, научно-популярной и сильно сближают ее с публицистикой. Использование

научных и официально-деловых терминов в художественной и публицистической речи создает эффект стилизации, а при перенасыщении делает соответствующие формы речи скучными для читателя (слушателя), пребывающего в режиме художественно-эстетического восприятия.

Как видно из вышесказанного, принципиальное отличие структур инвариантного и актуального понятия (а, соответственно, языкового и речевого значения) состоит в том, что первая представляет из себя трехкомпонентную микросистему (категориальная иерархия, сигнификат и референтивное поле), а вторая - линейное рематематическое соположение, в котором один элемент понятия (значения) модально характеризует его другой элемент. Объем актуального понятия при этом никогда не совпадает с объемом инварианта. Он всегда меньше объема инвариантного понятия, на основе которого возникло данное понятие. Но это совсем не значит, что актуальное понятие - это лишь какая-то часть инвариантного понятия. Такой вывод был бы крайне ошибочным, поскольку отрезал бы всякую возможность развития смысла и порождения новых смыслов.

Как нам кажется, методологические основания для ответа на вопрос: как возможны новые смыслы, следует искать также у И.Канта. Ведь именно он впервые четко сформулировал этот вопрос в своей "Критике чистого разума": как возможны априорные синтетические знания.

Идея раздела суждений (в нашей интерпретации - фактуальных и речевых смыслов) на аналитические и синтетические может оказаться весьма плодотворной для методологии лингвистики. Под первыми Кант понимает такое фактуальное знание, которое не выходит за пределы уже существующего инвариантного понятия, а под вторыми - новые фактуальные смыслы, порожденные синтезом понятий, предполагающем обязательный выход за его пределы. Если преодолеть узость кантовского применения этих понятий только к научно-теоретическому ("чистому") знанию и применить его ко всей ре-

чемыслительной деятельности, можно логично и непротиворечиво объяснить порождение семантики новых фактуальных смыслов.

Принципиальное размежевание Кантом двух типов суждений вполне может быть согласовано с нашим различием двух типов предикаций: когитативной и коммуникативной. Первая есть порождение новых смыслов, вторая - использование старых. При этом не следует преувеличивать значимость первой и умалять значение второй. Когитация смысла как предикативный процесс еще не значит, что это процесс абсолютно творческий, а коммуникация - не символ рутины и шаблона мышления, хотя доля истины в такой постановке проблемы несомненно есть. Каждому, имеющему дело с семиотикой и семантикой, известно понятие баланса информации. Абсолютная новизна информации не оставляет шанса реципиенту для ее восприятия и понимания. Абсолютная ее шаблонность делает процесс ее усвоения автоматизированным, а потому неосознанным (отсюда эффект "неполучения" информации, который возникает у реципиента, для которого вся информация оказалась известной). Без коммуникативной информации не могла бы существовать и когитативная, ведь новое может возникнуть и функционально проявлять себя только на фоне старого. Однако и без когитации не могла бы возникнуть коммуникативная информация, ей просто неоткуда было бы взяться.

Рассматривая проблемы когитации и коммуникации, следует помнить, что в обоих случаях речь идет о возникновении фактуальных смыслов (т.е. о предикации). Применительно к речевой деятельности можно интерпретировать акт предикации как акт речепроизводства. При этом могут образовываться как новые словоформы, словосочетания, высказывания, сверхфразовые единства и тексты, так и воспроизводиться уже существующие в информационной базе языка. Однако, данная проблема не имеет прямого отношения к инвариантному смыслу. Всякое появление нового инвариантного смысла - всегда процесс творческий. Новый инвариантный смысл может сформироваться только в акте творческой субституции - ква-

лификации нового категориального смысла в системе понятийных смыслов. Применительно к языковой деятельности субституция - это акт, влекущий за собой возникновение нового языкового знака в системе знаков. По мнению И.Торопцева, этот акт (словопроизводственный процесс) осуществляется одновременно в и вне акта рече-производства. Это положение легко вписывается в нашу схему, если его интерпретировать следующим образом: образование нового языкового смысла осуществляется в процессе и для процесса речевой деятельности, и в этом состоит апостериорность данного акта, его причинная детерминированность опытом речевой деятельности. Но процесс этот проходит вне акта рече-производства, поскольку это не предикативный (установление смежностной соположенности), а субститутивный процесс (нахождение места новому смыслу в системе инвариантных понятий). В этом состоит трансцендентальность процесса субституции. А значит, рече-производство не тождественно речевой деятельности. Речевая деятельность шире. Она включает в себя как предикативные акты (рече-производство), так и субститутивные (знакообразование).

В любом случае субституция и предикация как мыслительные процессы осуществляются в ходе предметно-коммуникативного процесса и не могут быть вырваны из опыта жизнедеятельности индивида. При этом следует помнить, что речевая деятельность это единственный возможный опыт для порождения и реализации языковых знаний. В обыденной жизни мы порождаем новые смыслы (новые вообще - филогенетически или новые для нас - онтогенетически) только в связи с процессами межличностной коммуникации и в ходе этой коммуникации.

В дидактическом плане это положение может иметь далеко идущие последствия. Новые знания могут возникать у ребенка только трансцендентально (как процесс открытия, самостоятельного порождения) и только апостериорно (для опыта социальной жизнедеятельности), а значит, мотивированно. Подобный мотив очень трудно создать искусственно. Он должен максимально иммитировать есте-

ственную предметно-коммуникативную деятельность. Ребенок не обладает достаточно развитой системой научных понятий, его когнитивные понятия или вообще не аспектиализированы в научно-теоретическом отношении, или аспектиализированы недостаточно. Проще говоря, в его сознании недостаточно развит научно-теоретический гносеологический аспект познавательной деятельности. Поэтому он не может ни самостоятельно организовать свою познавательную деятельность в научно-теоретическом режиме, ни приспособиться к организации такого типа деятельности взрослым (педагогом). Именно поэтому познавательная деятельность ребенка должна осуществляться в предметно-функциональном, т.е. индуктивном, а не интеллектуально-трансцендентальном (дедуктивном) ключе. Лев Толстой высказал очень разумную мысль: "Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или прочтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует наконец случайно необходимость употребить это слово - употребит раз, и слово и понятие делаются его собственностью... Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия" (Цит. по: Выготский, 1982, II:190). Л.Выготский скептически отнесся к данному дидактическому постулату Толстого. И его скепсис вполне понятен, ведь, как мы уже отмечали ранее, он, исповедуя чисто историко-генетический функционализм, совершенно упускал из виду синхронный аспект проблемы. Собственно функциональный аспект оставался маргинальным для Выготского. Постулат Толстого в функционально-онтологическом отношении можно интерпретировать как методологический принцип дидактики функционального познания вообще, но можно трактовать и как конкретное дидактическое предписание, как его и воспринял Выготский. Естественно, с точки зрения Выготского, научное понятие является более высокой филогенетической ступенью познания, чем обыденное понятие. Поэтому он

считал просто необходимым условием всего школьного обучения усвоение научных понятий. Однако речь идет о совершенно ином. Толстой говорил о принципе естественного познания, результаты которого оказываются гораздо более стабильными и долговечными, чем результаты научно-теоретического познания, особенно если учесть, во-первых, возможность существования громадного количества точек зрения и школ в науке, а во-вторых, - чисто интеллектуальный, прямо не верифицируемый предметным опытом характер научных знаний, что в совокупности оказывается весьма неубедительным аргументом для школьника в сравнении с его обыденными знаниями, полученными в непосредственной обыденной предметно-коммуникативной деятельности. Поэтому разумнее было бы в школе совмещать оба подхода, но таким образом, чтобы все время в школьном преподавании превалировала функциональная подача материала, создающая лишь предпосылки для самостоятельного творчества ребенка, а дедуктивное изложение теорий лишь постепенно вкраплялась в дидактический процесс по нарастающей по мере приближения к старшим классам. Лев Выготский сам соглашается с тем, что ребенок "действует, так сказать, по сходству раньше, чем его продумывает" (Выготский, 1982, II:208). Из чего затем делает вывод, который сам называет "законом осознания": "Чем больше мы пользуемся каким-нибудь отношением, тем меньше мы его осознаем... Чем больше какое-нибудь отношение употребляется автоматически, тем труднее его осознать" (Там же, 209). Совершенно верное положение. Однако разве осознание всегда означает овладение соответствующим умением и выработку соответствующего навыка? Кроме того, разве приходит осознание без какой бы то ни было внешней и внутренней мотивации? И, наконец, разве является достаточным внешним мотивом познавательной деятельности и осознания обращение учителя и введение им научного термина вне какой-либо практической привязанности данного понятия к системе ценностей и знаний ребенка? Ведь, в конечном итоге, единственным прямым доказательством усвоения или, тем более, осознания некоторо-

го смысла является умение безошибочно его применять на практике, причем не только сознательно, но и автоматически. Конечно, автоматизм бессознательных осознанных знаний отличается от автоматизма бессознательных неосознанных. И, поэтому, нельзя не согласиться с Выготским, отстаивающим важность систематического обучения и постижения научных понятий. Но, вводя в школьную практику метод априорно-теоретического познания смысла, нельзя забывать о специфике онтогенетического уровня познавательных способностей у ребенка и игнорировать закономерности естественного пути усвоения знания. Чисто дедуктивное изложение материала требует высоко развитых научно-теоретических способностей, которые не всегда присутствуют и у взрослого человека. Есть сфера школьного и вузовского обучения, где актуальность функционального подхода не исчезает никогда. Это изучение языков, в том числе и иностранных, практическое овладение которыми может произойти только естественно-эвристическим путем, т.е. путем самостоятельного открытия для себя естественных законов языка. Практическое овладение языком как дидактическая задача должно при этом отличаться от изучения языкознания как науки. Последнее можно и должно изучать именно дедуктивным, а не индуктивным способом.

Научные понятия, впрочем, как и художественно-эстетические образы, чаще всего образуются на базе когнитивного обыденного понятия как его гносеологические аспектуальные ипостаси, хотя иногда возможно чисто умозрительное, априорно-интеллектуальное смысловое творчество. В таком случае когнитивное понятие может возникнуть уже после появления научного или философского понятия вследствие вхождения последнего в виде термина в научный и, особенно, деловой или технический коммуникативный обиход, а также вследствие применения его в обыденном мышлении. Такая участь постигла множество научных и философских понятий, превратившихся в обыденном сознании в расхожие мифологемы (вроде понятия о Троице или коммунизме), а в художественно-эстетическом сознании - в образы или пропагандистские идеологемы (вроде об-

раза Архимеда, сидящего в ванной, откуда выплескивается вода, олицетворяющего собой понятие "закон Архимеда"). Большинство научных и философских понятий так и осталось чисто теоретическими абстракциями.

Обратный путь: от образа к обыденному понятию, а от него к научному - также возможен. Такова судьба всевозможных образов и идеологем, которые проникли из художественно-публицистической сферы сознания (особенно из сакрально-мистической, ритуально-религиозной и общественно-политической) в обыденную. Чаще всего источником поступления образов в обыденную сферу сознания оказывается фольклор, религиозные культы, школьное обучение, средства массовой информации и массовая культура. Проникновение же образа в научную сферу возможно крайне редко. Пожалуй, самыми яркими могут быть примеры предвосхищения некоторых научных открытий писателями-фантастами.

Процесс постижения научных понятий и образов (порождения или со-порождения), так же, как и процесс постижения базовых когнитивных понятий, является творческим трансцендентальным процессом, для которого внешняя предметно-коммуникативная деятельность является мотивом, корректирующим и катализирующим фактором, целью и полем апробации и верификации, но все же не представляет сущностной доминанты. Знание должно возникнуть в данном сознании (психике), но никаким образом не может быть введено, привнесено сюда извне. Ко всем аспектам инвариантного состояния понятия применима формула онтогенеза познания научных понятий, выдвинутая Л.Выготским: "... научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли" (Выготский, 1982, II:198). И далее: "Говорим ли мы о развитии спонтанных (когнитивных - О.Л.) или научных понятий, речь идет о развитии единого процесса образования понятий, совершающегося при различных внутренних и внешних условиях, но остающегося единым по природе, а не складывающимся из борьбы,

конфликта и антагонизма двух взаимно исключающих с самого начала форм мысли" (Там же, 199).

Образование нового понятия и соответствующего ему знака не может происходить на основе одной фактуально-мыслительной (когнитативной) информации. Прежде всего формирующееся понятие (и, соответственно, языковой знак) ориентируются на уже существующую систему понятий и систему знаков и квалифицируется в качестве такового (становится самим собой), определяясь относительно целого ряда других понятий и знаков. Отсюда, необходимость рассматривать процессы формирования и хранения понятий и знаков в их структурно-функциональных отношениях в системе психики-сознания и информационной базы языка как одно из ключевых положений функциональной методологии применительно к лексической семасиологии и ономасиологии.

1.2. Методологические проблемы формирования объема и структуры информационной базы языка

К наиболее принципиальным положениям функциональной методологии лингвистики, несомненно, относятся утверждения относительно языковой семантики, что:

а) каждый номинативный языковой знак является частью инвариантного когнитивного понятия и его заместителем в языковой картине мира,

б) все номинативные языковые знаки обладают однотипной смысловой структурой,

в) смысловая структура номинативного языкового знака изоморфна структуре соответствующего этому знаку инвариантного понятия (но не обязательно идентична ей),

г) структура всей системы языковых знаков (информационной базы языка) изоморфна смысловой структуре номинативного языкового знака,

а также относительно речевой семантики, что:

а) каждый речевой знак является самостоятельной онтической сущностью, построенной по образцу языкового знака по модели внутренней формы языка и для означивания некоторого модального смысла (актуального понятия или мысли),

б) все речевые знаки обладают однотипной структурой содержания,

в) структура содержания речевых единиц изоморфна структуре мыслительных единиц, знаками которых они являются (но не идентична ей),

г) содержательная структура речи изоморфна структуре содержания речевых знаков, ее образующих.

Данные положения ставят перед нами целый ряд теоретических и методологических проблем. Прежде всего, это разграничение номинативных и неноминативных языковых знаков, а также номинативных

и собственно предикативных речевых знаков. Затем, следует четко определить сущность смысловой структуры вербального знака и ее отличия от других структурных отношений в его пределах. И, наконец, необходимо выяснить характер структурных отношений между номинативными и неноминативными языковыми знаками в системе, а также между номинативными и собственно предикативными речевыми знаками в речемыслительном континууме.

Ответ на поставленные вопросы следует искать все в той же формуле двух сторон речемыслительной деятельности: субституции и предикации. Напомним, что термин “предикация” нам приходится использовать омонимично: для обозначения нейропсихической реакции соположения смысловых единиц в едином пространственно-временном континууме и для обозначения способа вербализации смысловых результатов такого соположения средствами того или иного языка. Предикация как нейропсихический процесс противопоставляется субституции и лежит в основе порождения отдельных фактуальных смыслов и целостной когитативно-речевой картины опытной ситуации. Под субституцией мы понимаем процесс разрушения речемыслительного континуума и трансцендентального вычленения из его целостности дискретных понятийных блоков по принципу категориального сходства с другими понятиями в системе ментально-когнитивной картины мира. Субституция является гносеологической основой порождения инвариантных смыслов.

Как видим, уже в определении процессов смысловотворчества заложены и понятия модуса существования смысла (инвариантный и фактуальный смысл), и понятия целостных смысловых структур, частью которых являются единичные продукты этих процессов (когитативно-речевая картина опытной ситуации и ментально-когнитивная картина мира). Это весьма показательно в том смысле, что с позиций функционализма понятия процесса, структуры и единицы признаются взаимозависимыми составными одного целого. Единицами субститутивных реакций являются, в первую очередь, инвариантные когни-

тивные понятия, а единицами предикативных реакций - актуальные когнитивные понятия или более сложные модальные состояния, которые условно можно назвать терминами “мысль” и “поле знания”.

Если экстраполировать указанные процессы и их результаты на сферу языковой деятельности, то субституция окажется мыслительным процессом, имеющим непосредственное отношение к языковой номинации, а предикация - процессом, лежащим в основе речепроизводства (образования речевых знаков). Именно по отношению к этому последнему мы и используем вторично термин “предикация”. Но ни в коем случае нельзя идентифицировать эти два типа процессов. Номинация далеко не всегда связана только с образованием нового языкового знака. Она может быть как языковой, так и речевой.

Речевая деятельность не сводится только к процессам речепроизводства. В речи мы не только выражаем некоторый фактуальный смысл, но и указываем на его отношение к ранее сложившейся в нашем сознании картине мира. Поэтому речевые единицы могут наряду с собственно предикативной функцией выполнять и номинативную функцию. При этом характер такой номинации очень сильно отличается от характера языковой номинации, поскольку первая есть репродуктивный процесс (знакоиспользование), а вторая - процесс продуктивный (знакообразование). Предикация, как установление некоторого модального отношения между смыслами, также может быть продуктивной и репродуктивной. Мы уже выше определяли продуктивный вид предикации как когнитивную предикацию, а репродуктивный - как коммуникативную предикацию. При этом сразу же оказывается явной теснейшая связь между репродуктивной номинацией и речевой предикацией, поскольку репродуктивная номинация - это употребление речевых знаков, парадигматически соотносимых в языке в качестве репрезентантов единого языкового знака, с целью указания на отношение фактуального опытного смысла к системе инвариантных смыслов. Предикация же - это всегда образование отдельного речевого знака как такового. Но, несмотря на близость этих процессов, это далеко не идентичные процессы. По на-

шему глубокому убеждению, следует видеть принципиальную разницу между образованием (по определенным моделям склонения существительных и на основе информации, заложенной в языковом знаке "ДЕРЕВО") знака "деревьям" как речевого знака некоторого фактуального смысла и использованием языкового знака "ДЕРЕВО" в вышеозначенном процессе. Внешне это выглядит как одно и то же. Однако между этими процессами существует глубокое отличие. Одно дело вербализовать некий фактуальный смысл речевым знаком "деревьями", другое дело номинировать некий участок когнитивной картины мира посредством использования (актуализации) языкового знака "ДЕРЕВО". Иначе говоря, с точки зрения речевой номинации "деревьями" - это речевой знак, вербализующий некоторое актуальное понятие. Таким образом, "деревьями" это просто речевой знак, соотносимый с конкретным актуальным понятием. Но с точки зрения языковой номинации "деревьями" - это репрезентант инвариантного языкового знака "ДЕРЕВО". В этом случае он уже соотносится не с актуальным понятием, а с языковым знаком (словом) и через него с инвариантным понятием. С позиции предикации как способа означивания "деревьями" - знак актуального понятия и элемент высказывания (производимая единица). С позиции речевой номинации "деревьями" - представитель языкового знака "ДЕРЕВО" (во всех его возможных ипостасях), а, следовательно, воспроизводимая единица. Именно поэтому мы трактуем в тексте формы "дерево", "деревом", "деревьев", "деревьям", "дереве" как различные речевые единицы, но эти же единицы мы идентифицируем как одну и ту же номинативную единицу на основании того, что все они соотносятся в функциональном отношении с языковым знаком "ДЕРЕВО".

Следовательно, в речи следует различать собственно номинативную и собственно предикативную функцию речевых знаков. Номинативным следует считать только такое использование речевого знака, когда этот знак функционально может быть отнесен к какой-либо воспроизводимой языковой знаковой единице. Так, номинативную функцию, помимо предикативной, свойственной всем речевым еди-

ницам, выполняют всегда словоформы, а также словосочетания, соотносимые в функциональном отношении с фразеологизмами и клишированными словосочетаниями. Так, словосочетания "в ус не дую", "в ус не дуешь", "в ус не будут дуть", будучи различными предикативными единицами, являются одной и той же номинативной единицей, так как образованы на основе инвариантного фразеологизма "В УС НЕ ДУТЬ". То же касается и словосочетаний "летучая мышь", "летучей мыши", "летучей мышью" или "сберегательная книжка", "сберегательную книжку", "сберегательных книжек" и под. Однако, номинативную функцию в словосочетаниях "новый компьютер", "подойти к окну", "быстро вырасти" или "металлические ставни" выполняют не сами эти словосочетания, а лишь составляющие их словоформы.

Ни словоформы, ни даже словосочетания не могут считаться полноценными предикативными речевыми единицами, хотя они и являются самостоятельными речевыми знаками. Этим они отличаются как от морфов, которые, будучи речевыми единицами, не являются знаками, так и от высказываний, текстовых блоков и текстов, являющихся не только речевыми знаками, но и полноценными предикативными единицами речи. В.Матезиус считал предложение элементарным высказыванием (термином "высказывание" он объединял все предикативные единицы речи (См. Mathesius, 1982:94); мы же используем этот термин для обозначения только реально употребленных в речи предложений).

Таким образом, рассматривая два типа речепроизводства - речевую предикацию и речевую номинацию, мы пришли к необходимости различения в речи собственно предикативных и номинативных речевых знаков. Пока же необходимо решить проблему, с какими единицами языковой системы могут быть в функционально-семантическом отношении соотнесены те или иные речевые знаки. Важность этой проблемы для функциональной методологии чрезвычайна, поскольку, не зная как соотносятся речевые знаки с языковыми и не зная, какую именно единицу языка репрезентирует тот или иной знак речи, не-

возможно не только понять, какую функцию выполняет данный речевой знак, но и правильно квалифицировать сам этот знак. Значит, построить сценарий интерпретации данного знака и всего речевого произведения в целом невозможно. Только в референцирующих лингвистических теориях может быть игнорирован вопрос о языковом инвентаре информационных единиц.

Принято считать, что предикативную функцию выполняют только синтаксические единицы речи (начиная от высказывания и далее), а номинативную - лексические (т.е. слова). Мы хотели бы возразить против такой постановки вопроса. При такой трактовке совершенно смешиваются понятия языкового (лексическая единица) и речевого (синтаксическая единица). Очевидно, говоря о лексической единице, выполняющей номинативную функцию, имеют в виду все же не слово как языковую единицу, а его речевой репрезентант - словоформу, а говоря о номинативной функции, которую выполняет словоформа в речи, имеют в виду именно речевую, а не языковую номинацию. В противном случае трудно свести в одно логическое суждение мысль о том, что номинативную (языковую) функцию выполняют слова, а предикативную - предложения и тексты. Если имеют в виду именно это последнее, то, очевидно, тем самым хотят развести номинацию и предикацию как соответственно языковой и речевой процессы. Мы категорически не согласны с таким ходом мыслей. В языке нет никаких процессов. Все процессы осуществляются в речевой деятельности: и процессы речепроизводства (причем, как номинация, так и предикация), и процессы знакообразования. Говоря о том, что слова выполняют номинативную функцию в противовес предложениям, выполняющим функцию предикативную, мы не говорим ничего. Слова по выполняемой ими функции можно сравнивать лишь с другими информационными единицами языка, а предложения (как синтаксические, т.е. речевые знаки) можно сравнивать, соответственно, с другими речевыми знаками (в том числе и со словоформами). Номинативность или неноминативность знаков языковой системы, как и номинативность/предикативность речевых знаков

всецело касается выполняемой этими знаками семиотической функции. Если языковой знак вербализует некоторое инвариантное понятие, а значит отсылает к тому или иному участку когнитивной картины мира, значит это номинативный знак. К номинативным языковым знакам мы относим не только гомогенные в структурном отношении лексические единицы (слова), но и воспроизводимые гетерономинативы (клишированные словосочетания и фразеологизмы). Но в языковой системе знаков есть и такие, которые непосредственно не номинируют структурный элемент картины мира, но хранят некоторые готовые идеи, апеллируя к которым, можно облегчить свое вербальное поведение.

Следовательно, номинативную функцию в речи могут выполнять как гомогенные (словоформы) так и гетерогенные речевые единицы. Гетерогенными единицами мы называем все аналитические вербальные единицы, т.е. единицы, форма которых может быть разложена на отдельные части, каждая из которых обладает характеристиками формы самостоятельного знака. Эти единицы, при всем их структурном сходстве с предикативными единицами, обладают высокой степенью воспроизводимости и дискретности, что делает их сходными со словоформами и позволяет находить им инвариантные соответствия в системе информационной базы языка. Но самое главное, они вербализуют инвариантное понятие, т.е. закрепляют в языке наименование некоторого участка картины мира. Понятно, что отдельные морфемы или фонемы не обладают всеми характеристиками, позволяющими считать их самостоятельными знаками. Их функция строго структурная. Словоформа, даже если она и состоит из отдельных морфем, не может считаться гетерогенным речевым знаком. Поэтому, естественно, что гетерогенными следует считать только единицы в структурно-формальном отношении больше словоформы (в речевом потоке) или больше слова (в информационной базе языка). Таковыми являются клишированные словосочетания (термины, журналистские и политические штампы, модальные выражения) и фразеологизмы. Естественно, базовой единицей информационных баз славянских языков является слово. Все ос-

тальные единицы обладают периферийным характером. Анализ значений фразеологизмов и клишированных словосочетаний свидетельствует в пользу унитарности их значения. Их гетерогенный характер не распространяется далее их формы. Так единицы, вроде русс.- "ветер в голове", "забить баки", "принять ко вниманию", "божья коровка"; чеш.- "domov důchodců", "kyslíčnik dusný", "mít srdce na dlani", "zachvět se hrůzou"; болг.- "млечен път", "скъпоценен камък", "хлопа му дъската", "роднина по бялата кобила"; поль.- "Matka Boska", "Zielona Góra", "od czasu do czasu", "wziąć ślub" гетерогенны лишь по форме (по грамматическому, словообразовательному и фонографическому значениям). Впрочем, частично гетерогенными по форме являются и некоторые гомогены (слова). Таковы, например, композиты (русс.- "бетономешалка", "спецзадание", "диван-кровать"; чеш.- "hokus-pokus", "kosočtvercový"; поль.- "dziesięciobój", "klub-kawiarnia", "prawomocny"; болг.- "българо-мохамеданин", "свободомислящ", "развей-плява"), сращения и слияния (русс.- "быстрорастворимый", "долгоиграющая"; чеш.- "dluhotrvající", "dvaadvacet"; поль.- "czyjkolwiek", "wiarygodny"), сложносокращенные слова (русс.- "совхоз", "районо") или аббревиатуры (русс.- "ООН", "СНГ"; чеш.- "JZD", "MuDr", поль.- "PKS", "PKO"). Таковы аналитические слова (русс.- "по-моему", "к сожалению", "без умолку"; чеш.- "jasnit se", "jak se patří"; поль.- "po bożemu", "do widzenia", "na wspak"; болг.- "в същност", "все пак", "спомня си"). Таковы, наконец, аналитические формы некоторых знаков, считающихся гомогенными: ("был бы", "буду писать", "nesl bych", "dala jsem", "еще искам", "еще съм изпълнил", "щях да ходя" и под). По лексическому (когнитивному) значению же (а также и по большинству позиций внутриформенного значения) все они гомогенны и унитарны. Если отвлечься от того, что именно лексическое значение является стержнем структуры знака, определяющим его место в системе, то трудно будет вообще свести воедино все разнообразие словоформ (синтетических и аналитических, одно- и двусловных, как у славянского глагола, однокорневых и суппле-

тивных), номинативно представляющих в речи один и тот же языковой знак. Поэтому мы считаем, что семантическая структура языкового номинативного знака определяет его место в системе информационной базы языка, а структура информационной базы языка изоморфно дублирует семантическую структуру языкового номинативного знака.

Однако в языковой системе (в информационной базе языка) содержатся также и другие гетерогенные единицы, которые в смысловом отношении коренным образом отличаются как от слов, так и от гетерогенных языковых знаков, упомянутых выше. Весьма сложно решить проблему вхождения в информационную базу языка единиц, которые по своей когнитивной структуре не являются понятийными, а являются суждением, умозаключением или когитативным полем. Такой языковой знак содержит в себе информацию, которая непосредственно не отсылает к структурному элементу картины мира, но хранит некоторые готовые идеи, апеллируя к которым, можно облегчить свое вербальное поведение. Он не может быть назван номинативным, но не может быть назван и предикативным, поскольку его использование в речи носит чисто коммуникативный характер. Вместе с тем, такой знак не расчленяется в речи ни по части формы, ни по части содержания. Он не строится по соответствующей его синтаксической структуре модели внутренней формы языка, как другие структурно аналогичные знаки, но используется в готовом виде. Но самое главное, он не называет никакого инвариантного понятия и не эксплицирует никакого актуального опытного мыслительного состояния. Такие языковые знаки мы именуем неноминативными. Речь идет о воспроизводимых высказываниях и текстах, каковых немало в информационных базах идиолектов. К ним можно отнести клишированные (лозунги, цитаты, необразные сентенции) и фразеологические высказывания (поговорки, пословицы, загадки), а также клишированные тексты (стихотворения, тексты песен, заговоры, клятвы, присяги, анекдоты и т.д.). Несовпадение этого слоя неноминативных языковых

знаков у различных индивидов не должно вызывать смущения. Сам факт того, что один носитель языка обладает своим набором пословиц, поговорок, сентенций, крылатых выражений и воспроизводимых текстов, а другой - другим, принципиально ничего не меняет, так как нет ни одного индивида, у которого бы отсутствовал этот пласт информационных единиц. Даже маленькие дети владеют подобными единицами. Это загадки, тексты колыбельных, стихотворения, считалки, цитаты из речи родителей, из книг, мультфильмов и под. Поэтому не замечать наличия в информационной базе языка таких единиц нельзя. Сложность их изучения состоит не столько в их квалификации или классификации, сколько в определении их онтической и структурной сущности. Именно определение, что есть клишированные высказывания и тексты как разновидность смысла и какова их структура, поможет понять специфику их хранения в психике-сознании (в информационной базе языка). А то, что эти единицы хранятся в языке в готовом виде не вызывает у нас сомнения. Доказательство этому - их воспроизводимость (восстановление в памяти и в речи в одной и той же форме в связи с одной и той же семантической функцией).

Неноминативность этих единиц не означает того, что они не являются составной информационной базы языка (языковой системы знаков). Они, как и другие языковые знаки, хранятся в психике-сознании (в ИБЯ) и используются в речи как номинативные речевые единицы. При этом иногда они могут варьировать в одном или нескольких компонентах (например по времени, лицу, роду или наклонению глагола-сказуемого, числу существительного-подлежащего или даже в лексическом отношении: тот или иной компонент иногда может содержать свой синонимический вариант). Последнее чаще наблюдается в клишированных текстах, реже - в пословицах и поговорках или клишированных высказываниях. Показательно, что обычно исследователи ни теоретически, ни терминологически не разводят языковые гетерогенные знаки и их речевые презентации. Если в случае с клишированными высказы-

ваниями это в какой-то степени оправдано (если может быть оправдана теоретическая небрежность ученого), то это ни в какой мере не может быть оправдано в отношении клишированных словосочетаний или фразеологизмов, которые в речи всякий раз выступают в различных формах словоизменения. Неоправданно это и в отношении клишированных текстов, которые проявляют высокую степень вариативности в речевом использовании, что делает их различные речевые ипостаси разными речевыми знаками, но не нарушает их номинативной целостности.

Обладают эти единицы и дискретностью, поскольку ни в формальном (языковом), ни в содержательном (когнитивном) отношении они не смешиваются ни с отдельными словами, ни с клишированными словосочетаниями, ни с фразеологизмами, ни с другими такими же клишированными высказываниями и текстами. Внимательное наблюдение за функционированием таких единиц свидетельствует в пользу того, что и их содержание (смысл, который они выражают), и их форма (последовательность словоформ и словосочетаний или последовательность высказываний) прямо не могут быть сведены к когнитивной или внутриформенной семантике других языковых знаков, из которых они, якобы, состоят.

Так, пословица “Без труда не вытащишь рыбку из пруда” обладает вполне самостоятельным смыслом. И смысл этот (как, впрочем, и в случае со значением фразеологизмов) далеко не одноплановый. Говоря о семантической функции данного языкового знака, следует, как минимум, выделять заложенную в нем идею (когнитативный смысл) и изложенную в нем речевую информацию (вербальное содержание). Вербальное содержание любого воспроизводимого высказывания или текста представляет из себя ту, собственно знаковую, имеющую прямое отношение к языковой деятельности информацию, которая может быть однозначно выведена из непосредственно составляющих данный знак словоформ в их синтагматическом отношении. Таковой для знака “Без труда не вытащишь рыбку из пруда” является информация, выводимая из словоформ и синтагм: “не вы-

тащишь”, ”рыбку”, ”из пруда”, ”без труда”, ”не вытащишь рыбку”, ”не вытащишь из пруда”, ”не вытащишь без труда”. Таким образом, вербальное содержание такого знака вполне сводимо к синтагматическому взаимодействию значений непосредственно составляющих, вскрыть которое возможно только одним путем - экстраполируя данную фразу на знаковую систему языка и на систему моделей рече-производства. Первая операция позволяет привлечь в сферу внимания следующие полноценные языковые знаки: ”ВЫТАЩИТЬ”, ”РЫБКА”, ”ПРУД”, ”ТРУД”, вторая - активизировать синтаксическую модель образования простого распространенного прямым дополнением и обстоятельством условия и места односоставного неопределенно-личного высказывания с семантикой отрицания и обобщения; синтагматические модели: а) глагольного беспредложного управления существительным в винительном падеже и б) глагольного предложного управления существительным в родительном падеже с предлогами БЕЗ и ИЗ (модель исключения и модель изъятия); словоизменительные модели: а) образования формы второго лица единственного числа глагола второго склонения в простом будущем времени, б) образования формы винительного падежа единственного числа существительного первого склонения и в) образования формы родительного падежа единственного числа существительного второго склонения. Совместив оба типа информации, можно понять актуализированное значение словоформ ”вытащишь”, ”рыбку”, ”пруда”, ”труда”, а также словосочетаний ”не вытащишь рыбку”, ”не вытащишь из пруда”, ”не вытащишь рыбку из пруда” и ”не вытащишь без труда”. На следующем этапе декодирования создается целостное содержание искомого высказывания. Однако вся перечисленная грамматико-семантическая и лексико-семантическая информация вовсе не составляет смысловой сущности данного знака, но лишь является его планом выражения. Когитативный же смысл его заключен в идее: ”блага достигаются трудом”. Именно эта (или приблизительно эта) идея и является планом содержания данного языкового знака. При этом показательно то,

что данная идея, в отличие от речевого содержания, являющегося формой этого знака, обладает известной степенью инвариантности, так как данная фраза может быть произнесена с различной целью и в различном модальном ключе: как совет, как упрек, как назидание, как шутка и т.д. Она может выполнять также и различные логические функции: условия, причины, объекта, процесса и пр. Поэтому в речевом знаке (высказывании), эксплицирующем данную пословицу, ее языковое значение (“блага достигаются трудом”) предстает лишь речевым содержанием, а речевой смысл этого же высказывания всецело зависит от цели и обстоятельств использования данной пословицы. Все то же касается и необразных клишированных высказываний, вроде “Реклама - двигатель прогресса” или клишированных текстов, вроде детской считалочки “Аты-баты, шли солдаты” или текста национального гимна, смысл которых заключается в выделении доминирующего значения рекламы в производительной сфере жизни общества, определении того, кто будет водить в игре и в прославлении страны или государства.

Однако, если говорить о характере вхождения подобных единиц в единую систему языковых знаков, придется отметить громадную значимость внутриформенного значения для их хранения. Опыт показывает, что языковые гомогенные единицы (слова), а также гетерогенные понятийные единицы (фразеологизмы и клишированные словосочетания) легко обнаруживаются в системе как по референтивному, так и по категориальному признаку. На слово “рыба” можно выйти как через понятие о зверях или живых существах, так и через понятие о хобби, ловле, озере или удочке. Клишированные высказывания и тексты не столь однозначно закреплены за определенными категориями, ономаσιологическими видами, типами или отдельными лексическими понятиями, хотя такая привязка и не исключается. Так, рассматриваемая выше пословица вполне вероятно закреплена в языковой системе за лексическим понятием “труд”, хотя не исключена и ее привязанность к языковым знакам “лень”, “трудиться”, “работа” и др. Кроме этого, всем известен

эффект воспоминания через внутреннее (а то и внешнее) самопрослушивание, когда индивид пытается вспомнить необходимый клишированный элемент ИБЯ через иммитацию общения, как бы отчуждая себя от воспоминаемого элемента. В этот момент человек пытается инактивировать свою систему активного выбора знаков (модели речевой деятельности) и максимально использовать модели распознавания по форме. Этот способ весьма эффективен именно при воспоминании клишированных гетерогенных единиц, внутренняя эпидигматическая форма которых (знакообразовательное значение) частично деэтимологизировалось. Таким образом, оказывается, что гетерогенный знак можно воспроизвести либо точно квалифицировав его в системе по значению (выбрав его из других симиляров в пределах лексического понятия), что возможно сделать без затруднений только в двух случаях - если этот гетерогенный знак не имеет симиляров и сам представляет лексическое понятие или если он часто используется индивидом и четко дифференцируется от своих симиляров, либо восстановив в памяти его фонематическую форму. Так мы воспоминаем клишированные словосочетания, произнося вслух один из его формальных компонентов. Так мы воспоминаем стихотворение, произнося вслух его начало, воспроизводя его ритм или интонационный контур, попутно вспоминая обрывки фраз и наиболее запомнившиеся рифмы. Именно это побуждает нас признать референтивный, а не категориальный характер вхождения смысла данного языкового знака в систему информационной базы языка. Иначе говоря, клишированные высказывания и тексты, обладая полевым, смежностным (пропозициональным), а не иерархически категориальным (понятийным) характером структуры, входят исключительно в полевую структуру информационной базы языка. Понятийные же по смысловой структуре языковые знаки (слова, клише и фразеологизмы) входят как в полевую, так и в категориальную структуру системы знаков.

Суть пропозициональности семантической структуры клишированных высказываний и текстов состоит в том, что смысл, заключен-

ный в этих единицах, так же как и смысл предикативных речевых единиц (высказываний и текстов), линейен. Это смежностное соположение, актуализированное модальное отношение некоторых понятий, закрепившееся в памяти как императив логического, морально-этического, образно-эстетического или другого плана, выступающий в предикативной (мыслительной) деятельности в качестве общепринятой, и потому понятной собеседнику, истины и помогающий сэкономить мыслительное напряжение. Проще говоря, клишированные высказывания и тексты позволяют номинировать не просто знания об отдельных участках ментальной действительности, но именно определенные модальные отношения к этим знаниям, признаваемые данным субъектом или целым рядом субъектов особо ценными для его (их) последующей предметно-коммуникативной жизнедеятельности. Пользуясь языком Канта, можно (хотя и с огромной натяжкой) называть такие смыслы “категорическими императивами” сознания и языка. Отличие их от категорических императивов Канта состоит только в том (хотя это немаловажно), что вторые являются неукоснительными предписаниями для морального поведения индивида. Шаблонизированные же смыслы, заключенные в клишированных высказываниях и текстах, специфицируются относительно множества аспектов психики-сознания и информационной базы языка. Такой спецификацией может быть отнесенность того или иного клишированного высказывания или текста в референтивную сферу тематической подкатегории “Я” (и тогда их смысл расценивается как личный категорический императив, т.е. индивид относит этот смысл на свой счет, ориентируется на него в своей предметно-коммуникативной деятельности, оправдывает им свои поступки и мысли). Однако такие единицы могут быть отнесены и к тематической подкатегории “не-Я”. В этом случае заключенные в них смыслы также могут расцениваться как некоторый императив, но чуждый субъекту. При этом вовсе не обязательно, чтобы индивид расценивал эти смыслы как враждебные или отрицательные. Он может просто индифферентно относиться к

ним как к модальностям, символизирующим для данного индивиду чьи-то представления о мире, чьи-то категорические императивы, чьи-то теоретические положения, эстетические воззрения или образные построения.

Можно свести воедино соотношение между модусом существования смысла, типом нейропсихической реакции, с которой он генетически связан, единицей того или иного типа смысла, а также элементами языковой деятельности, вербализующими тот или иной тип смысла в виде таблицы 3 в Приложении 7.

Разграничение номинативных и собственно предикативных функций речевых знаков, хотя и касается речевой семантики, все же так или иначе заставляет пересмотреть взгляды относительно структуры информационной базы языка (в традиционной терминологии - лексической системы языка), поскольку определить, какая из речевых единиц кроме предикативной функции выполняет еще и функцию номинации некоторого участка ментальной картины мира, можно лишь соотносением этой речевой единицы с системой инвариантных языковых знаков, используя критерий дискретности и воспроизводимости. Обнаружение в языковой системе знаков гетерогенных (сверхсловных) единиц ставит перед лингвистами более сложный вопрос: как все эти языковые знаки вписываются в единую систему информационной базы и едина ли эта система. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо найти основной критерий единения системы. Эта задача может быть сформулирована так: что позволяет нам сохранять все информационные (знаковые) единицы нашей языковой памяти в единстве и извлекать их при малейшей речевой необходимости.

Очевидно, что ответ на этот вопрос следует искать в сущности самих языковых знаков, а еще точнее, в сущности их структурного устройства. Однако, как показал наш предыдущий анализ, вербальный знак (и языковой, и речевой) структурирован не каким-то одним спосо-

бом. Его структурное устройство многообразно. Все зависит от того, какой аспект структуры знака нас интересует.

Если рассматривать языковой номинативный знак как вербализованный смысл, т.е. как часть понятия, придется говорить о его семантической, информационно-когнитивной структуре. В этом случае структура языкового знака представится как трехкомпонентное иерархически-полевое образование, состоящее из категориальной, сигнификативной (десигнативно-денотативной) и референтивной частей.

Если же рассматривать знак как следствие вербализации смысла, т.е. как онтически самостоятельную форму смысла, отличную от понятия, следует говорить о семиотической структуре знака. В этом плане всякий знак (и языковой, и речевой) представится как двуструктурированная сущность, состоящая из плана содержания и плана выражения. Выражаясь образно, первую структуру можно еще иначе назвать горизонтальной, поскольку она охватывает как элементы собственно понятийного смысла (лексического значения), так и элементы чисто вербального характера (внутриформенное значение: грамматическое, эпидигматическое, фоно-графическое). Так же переносно можно назвать вторую структуру чисто вертикальной, поскольку в ней эти два аспекта принципиально разведены.

Можно, конечно, еще рассматривать знак как вербализованный гносеологически аспектализированный смысл, т.е. как производную одного из познавательных аспектов понятия (обыденно-мифологического, научно-теоретического или художественно-эстетического). Но, как показывает анализ лексических систем славянских языков, различение этих аспектов на уровне понятийного смысла далеко не всегда реализуется в одном и том же вербальном знаке. Иначе говоря, ученые избегают называть научный термин тем же словом, что и соответствующее ему обыденное понятие. Если же в их речи встречается термин-номинат, встречающийся также и в обыденной речи, то это значит лишь одно из двух: либо этот номинат терминологически означает совершенно иное понятие (и мы имеем

дело с омонимией или омонимойными отношениями), либо (если их понятийная отнесенность идентична) в языковой системе данного индивида обыденное понятие теоретизировалось (объединилось с научным или развилось в научное), а соответствующее ему слово - терминологизировалось. Это встречается крайне редко. Чаще ученые пытаются не называть научные и обыденные понятия одним и тем же словом (не путать с омонимией). Если же такое случается, то возникает очень специфический эффект, когда ученый (философ) не может говорить по поводу некоторого понятия в обыденном плане, не-теоретически и, соответственно, не может использовать некоторое слово нетерминологически. Он, спровоцированный собеседником, либо переходит с обыденного режима общения в теоретический, либо просто прекращает общение на эту тему, чтобы не утомлять собеседника и не профанировать предмет.

Следовательно, нет причины для выделения еще и гносеологического аспекта структуры знака, хотя, несомненно, необходимо выделять такую структуру в понятии. Язык насыщен случаями так называемой полной межстилевой синонимии, особенно в области профессиональной и разных типов обыденной речевой деятельности. Громадное количество предметов и многие абстрактные явления, осознаваясь как одно понятие, имеют все же различные названия в терминологических, жаргонных и сленговых системах.

Среди ученых существует множество точек зрения на то, какая из двух вышеназванных структур знака - семантическая или семиотическая - является базовой для структурирования языковой системы вообще и ее информационной базы, в частности. Наиболее распространенной является позиция, согласно которой язык структурирован уровнево и все единицы языка разверстаны по соответствующим уровням: фонетическому, морфемному, лексическому, словообразовательному, морфологическому, синтаксическому (и, может быть, стилистическому). Большинство лингвистов, отстаивающих такую позицию, прямо или косвенно мотивируют ее либо тем, что существуют

соответствующие классические разделы языкознания (что само по себе является постановкой вопроса с ног на голову), либо тем, что сама структура речи "заставляет" принять "телескопический" принцип организации языка: текст - высказывание - словосочетание - слово - морфема - звук (что является ни чем иным, как смешением принципа построения речи с принципами построения языка), либо, что нам представляется наиболее аргументированным, тем, что уровневая структура языка "подсказывается" уровневой структурой значения слова: стилистическое - синтаксическое - морфологическое - словообразовательное - лексическое - (фонетическое?), а также явно убывающей степенью обобщенности указанных значений.

Последняя позиция, хотя и создает видимость аргументированной, однако так же неверна, как и предыдущие, поскольку смешивает оба аспекта структурирования языкового знака, не делая различий ни между разными по своей сущности лексическим (понятийным) и внутрiformенным (грамматическим, словообразовательным и фонографическим) значениями, ни между категориальными (парадигматическими) и референтивными (синтагматическими) признаками знаков. Кроме того, уровневая структура языка совершенно смешивает языковые и речевые единицы, знаки и модели языка, отрывает язык от когнитивно-понятийной системы психики-сознания, чем, в итоге, феноменологизирует язык, превращая его в самосушущий феномен или чистую систему отношений.

Наша позиция также привязана к структуре языкового знака, однако с учетом всего вышесказанного об онтической сущности последнего и с учетом различных аспектов его структурирования. Так, нам представляется, что семиотическая структура знаков имеет непосредственное отношение именно ко всей системе языка. Так же, как и знак, языковая система представляет из себя двухчастное образование, одна сторона которого (одна подсистема) обращена к предметно-мыслительной деятельности и знаниям о мире, и поэтому фиксирует в языковой форме ментально-когнитивную картину мира, а

другая обращена к мыслительно-коммуникативной семиотической деятельности и потому фиксирует коммуникативно-экспрессивные способности индивида.

Первую, представляющую из себя систему языковых (инвариантных) знаков, мы именуем информационной базой языка (ИБЯ), вторую - систему моделей речевого поведения - мы называем внутренней формой языка (ВФЯ). Идею выделения в языковой системе двух равноправных, но разнофункциональных подсистем на основе их роли в процессах номинации и предикации мы находим и у Вилема Матезиуса, который в работе “Речь и стиль” писал: “Фоном для назывного акта является совокупность названий, которые в данном языке обычны и которые в совокупности составляют его словарный состав (т.е. информационную базу - О.Л.). Фоном для фразообразующего акта являются модели предложений, по которым в данном языке составляются предложения различных типов и вообще все, что касается структуры предложений (т.е. внутренняя форма языка)” (Пражский кружок, 1967:448).

Обе подсистемы языка теснейшим образом связаны между собой, но не смешиваются и не перекрываются. Связь между этими подсистемами осуществляется через соответствующие стилистические, синтаксические, морфологические, словообразовательные и фонографические значения языковых знаков. В конечном итоге, что такое стилистическое значение слова или гетеронима, как не функциональное отношение его к той или иной модели речевой ситуации? Что такое синтаксическое или синтагматическое значение знака, как не функциональное отношение его к той или иной модели построения высказывания или модели построения словосочетания? Что такое морфологическое значение, как не функциональное отношение к той или иной модели словоизменения? Что такое словообразовательное значение, как не функциональное отношение знака к той или иной модели словопроизводства? Что такое, наконец, фоно-графическая

функция знака, как не отношение его к тем или иным моделям фонетической или графической сигнализации?

Совсем иная роль семантической структуры языкового номинативного знака. Она имеет непосредственное отношение уже к структурированию только информационной базы языка. Именно на основании того, что информационная база языка - это система информационных единиц, система знаков как языковая картина мира, представляющая ту сторону языковой системы, которая прямо обращена к понятийной структуре психики-сознания, и принимая во внимание тот факт, что семантическая структура знака перешла к нему "по наследству" от структуры вербализуемого им когнитивного понятия, мы делаем вывод, что информационная база языка структурирована в прямой зависимости от семантических структур ее составляющих.

Так же, как и в семантической структуре языкового знака, мы склонны видеть в информационной системе языка две различные подструктуры: категориальную (ономасиологическую) и тематическую (полевою). В первую все языковые знаки входят благодаря иерархической информации их категориальных частей, а во вторую, благодаря полевой информации в их референтивных частях. Соответственно, в категориальном отношении языковые знаки группируются по сходству в ономасиологические категории (подкатегории), роды (подроды), виды (подвиды), типы (подтипы) и т.д. Лингвисты уже неоднократно предпринимали попытки последовательно расклассифицировать языковые знаки по иерархическому принципу. Мы уже характеризовали эти попытки в нашей предыдущей работе (См. Лещак, 1991). Здесь же нас интересует лишь методологическая сторона проблемы. Основными недостатками таких классификаций, по нашему мнению, являются смешение или непоследовательное применение классификационных признаков, чрезмерная логицизация языка, ведущая к тому, что классификация оказывается весьма пригодна для одной узкой терминосистемы, но совершенно неприменима к единицам естественного языка, и, наконец, попытка совместить категори-

альную классификацию знаков с признанием полисемии. Признание полисемии оказывается последним и непроходимым препятствием на пути категориальной классификации, поскольку приходится либо признавать плавность (недискретность) классификационных группировок, что противоречит самой логике иерархической классификации, либо признавать возможность вхождения знака одновременно в несколько категориальных групп. Так, например, приходится признавать, что "остановка" - это одновременно имя места, имя события и имя акта. Такой подход разрушает саму идею категориальной части значения и никакие лексико-семантические варианты не смогут спасти категориальную целостность языкового знака. Придется признать, что информационная база языка (или несколько уже - лексический фонд) устроена не по семантическому, а именно по семиотическому признаку. Но даже при таком решении не все становится ясным. Ведь, если отбросить семантический (понятийный) критерий хранения языковой знаковой информации, придется делать ставку на внутрiformенную часть знака, которая включает в себя не только фонематическую (или, шире - фоно-графическую) информацию, но и эпидигматическую (включая словообразовательную) и грамматическую. Но, ведь, если словообразовательное значение слова "РУЧКА" ("письменная принадлежность") отсылает нас к "РУЧКЕ" ("соматизм") и совершенно никак не ассоциируется в мотивационном отношении с "РУКОЙ" ("соматизм"), то словообразовательное значение слова "РУЧКА" ("соматизм") отсылает нас именно ко второму соматическому наименованию ("РУКА"). Очевидно, что в мотивационном плане значения этих омонимов неидентичны. Наверное излишне убеждать в том, что омонимовиды, вроде "БЛЕСТЯЩИЙ" (причастие) и "БЛЕСТЯЩИЙ" (прилагательное) или "ДЕЖУРНЫЙ" (прилагательное) и "ДЕЖУРНЫЙ" (существительное) обладают неидентичным морфологическим, синтагматическим и синтаксическим значением. Следовательно, отрицание главенствующей роли семантической структуры знака в процессе категоризации всей системы знаков неминуемо

влечет за собой и игнорирование категориальных различий между знаками в грамматическом или словопроизводственном отношении. Отсюда и распространенное особенно в рационалистически ориентированных работах мнение, что грамматические и все остальные семантические признаки приписываются знаку только в речи. В языке же знаки - это чистые фонетические (или фонематические) цепочки, унилатеральные образования, которые носитель языка волен наполнять каким угодно содержанием. Совершенно очевидно, что признание возможности полисемии ведет в конечном итоге к игнорированию инварианта, что вполне логично для референцирующих теорий (рационалистских или позитивистских). Для таких теорий вполне естественно напрашивается чисто фонетическое устройство системы знаков. Возникает только вопрос: каким образом можем мы сохранять в памяти громадное множество звукорядов, которые в речи оказываются не только предикативными знаками фактуальной мысли, но и номинативно отсылают нас к некоторому одному понятию. Отбросив инвариантность языкового знака и понятия как психологическую реальность, совершенно невозможно объяснить, почему слушатель (читатель) способен отнести ранее воспринятый звукоряд "хорошо" с актуально воспринимаемым "лучше", а звукоряд "я" со звукорядами "мне" и "мной" в плане идентификации. И совершенно необъяснимым оказывается факт упрямого постоянства закрепления за определенными звукорядами в речи некоторого стабильного постоянного значения. Так, ни у одного носителя какого-либо славянского языка не возникает никакого замешательства при необходимости назвать собственную персону в том или ином ракурсе. Он смело употребляет различные словоформы личного местоимения первого лица единственного числа и ничуть не смущается их фонетическому отличию. Никто не только не путает случаи использования того или иного звукоряда ("я", "меня", "мне", "мной"), но и не смешивает использование того же звукоряда ("дай мне"/"во мне", "дам тебе"/"в тебе", но, тем

не менее, "дам ей"//"в ней", "дам ему"//"в нем"). Причем делает это с удивительной регулярностью и безошибочно.

Нам далеко не все равно, когда использовать какой звукоряд, в чем убеждает практика лингвистического анализа текста, показывающая, что субъект не зря употребил именно ту, а не другую словоформу, употребил тот, а не иной номинат, построил именно такое словосочетание, высказывание или текст, а не другой. При всей неадекватности восприятия смысла, мы, тем не менее, находим друг с другом общий язык. И заслуга здесь не только, и не столько выпячиваемого рационалистами дискурса (как совокупности всех внешних факторов речевой ситуации: участников, речевых произведений и обстоятельств коммуникации), сколько инвариантных языковых знаний, выработанных носителями языка в опыте предметно-коммуникативной жизнедеятельности и зафиксированных в его психике-сознании в виде системы языковых знаков (информационной базы языка) и системы правил, моделей и предписаний речевого поведения (внутренней формы языка).

Впрочем, ошибочно было бы считать, что конкретные обстоятельства реального речевого акта совершенно не влияют на процессы речепорождения и речевосприятия. Речепорождение и речевосприятие можно представить в виде функционального отношения обстоятельств фактического речемышления к инвариантным знаниям психики-сознания. У Канта это положение выписано следующим образом: "...сам внутренний опыт возможен только опосредованно и только при помощи внешнего опыта" (Кант, 1964:288), что следует трактовать как невозможность никакого внутреннего знания, неопосредованного или ненаправленного на внешнюю предметно-коммуникативную деятельность, но при этом "... только в рассудке становится возможным единство опыта, в котором все восприятия должны иметь свое место" (Там же, 291), что подчеркивает доминирующую роль иерархически структурированной и категоризированной (инвариантной) системы знаний, каковой являются когнитивная кар-

тина мира (понятийная система) и информационная база языка. Таким образом, мы полагаем, что система знаков - это не хаотическая совокупность звукорядов (поскольку нет никакого реального критерия чисто фонетического единения словоформ в слова, а также критерия чисто фонетического запоминания звукорядов, который бы обеспечивал их закономерное и регулярное воспроизведение при необходимости), а именно семантически структурированная система, устройство которой изоморфно семантическому устройству номинативного языкового знака.

Наряду с собственно ономаσιологической (когнитивно-семантической) структурой в информационной базе языка могут образовываться и другие иерархически (категориально) структурированные подсистемы, основанные на сходстве внутриформенных элементов (элементов формальной семантики).

Следует отметить, что, выделяя в категориальной структуре информационной базы языка соответствующие категории, роды и виды знаков, мы совершенно не игнорируем их внутриформенное значение. Проблема функционального соотношения когнитивного (лексического) и внутриформенного значения еще далеко не решена в лингвистике. Возможно, она еще даже недостаточно четко сформулирована в качестве теоретической проблемы. Но, тем не менее, с позиций функциональной методологии крайне важно подчеркнуть наличие связи между этими семиотическими сторонами знака. Арбитrarность и мотивированность этой связи мы обсуждали выше. Нам кажется, что есть все основания полагать, что словообразовательное значение, как одна из сторон внутриформенного значения и как информация о той или иной словопроизводственной модели, по которой было образовано данное слово, в филогенетическом плане производно от лексического значения.

Так, словопроизводственные модели, по которым в славянских языках образуются имена деятеля, сложились на основе обобщения более конкретных лексических значений производителей того или

иногo действия. Во всяком случае, категориальное по своей сущности значение "деятель" (семантема), присутствующее во многих существительных на -ак, -ач, -тель, -ник, -ница, -чка и т.д. могло бы быть отнесено на счет словообразовательного, а не лексического значения только в том случае, если бы оно не наблюдалось в несuffфиксированных словах (вроде заимствованных в русском языке "доктор", "мастер", "рантье"; в чешском - "ekonom", "fotograf", "dramaturg", "garazmistr"; в болгарском - "ватман", "хирург"; поль. "agent", "neutral", "architekt", или деэтимологизированных и потому не соотносимых с моделью словопроизводства "врач", "ведьма" а также в исконно бессuffфиксных и композитах русс. "гость", "судья", "слуга", "воевода", "сторож", "дровосек", "хлебороб"; чеш. "hrdlořez", "kořeluh", "drvořtěp", "flama"; болг. "страж", "драка", "роб", "полевьд", "развей-плява"; поль. "stróż", "koniokrad", "oszust", "czarodziej", "řwiniopas"). Нет непосредственных деривационных показателей типизирующего словообразовательного значения "деятель" и у слов, вроде русс. "завгар" (заведующий гаражом), "прораб" (производитель работ), "зам" (заместитель), "дежурный"; чеш. "dozorčĩ", "kořĩ", "komorná" и под. Поэтому мы склонны разводить когнитивное значение "деятель" (как элемент в иерархии категориальной части значения целой группы слов) и словообразовательное значение "деятель" как информацию о совокупности словопроизводственных моделей. В словах, образованных по одной из таких моделей, эти два элемента значения объединяются и функционируют практически неразделимо.

То же касается и целого ряда грамматических (морфологических и синтаксических) значений, которые объединяются в категориальной части семантической структуры знака с элементами этой структуры. Так, в семантической структуре имен существительных, обозначающих особи мужского пола могут объединяться категориальный когнитивный элемент (лексическая сема) "мужской пол" или "самец" с соответствующей морфологической семой "мужской род". В этих случаях (как и в случаях с совпадением категориальных когнитивных сем

со словообразовательными типизирующими семами) мы можем говорить о мотивированности формы данного знака. В тех же случаях, когда категориальные лексические семы не объединяются с внутриформенными, мы говорим о немотивированности. В частности, процессы словообразовательной или грамматической деэтимологизации или реэтимологизации связаны именно с распадом или восстановлением такой объединенности когнитивных и внутриформенных сем.

Языковые знаки входят в информационную базу языка не только через свою когнитивно-семантическую структуру, т.е. через компоненты своего плана содержания, но и через свою внутриформенную структуру, т.е. через компоненты своего плана выражения. Так, параллельно с ономаσιологической (когнитивно-смысловой) структурой, являющейся основным способом категориального структурирования инвариантных смыслов, в категориальной структуре информационной базы языка выделяются еще частные структурные образования, в которые входят лексические понятия по принципу сходства компонентов своего внутриформенного значения. Таковыми являются: лексико-стилистические категории и разряды (сленги, жаргоны, терминосистемы), лексико-грамматические категории (части речи) и лексико-грамматические разряды (группы языковых знаков, объединенных сходством морфологического и синтаксического значения) и словопроизводственные категории и разряды (группы языковых знаков, объединенных категориально-типизирующим словообразовательным значением).

Совершенно не изучен вопрос о возможности вхождения языковых знаков в категориальные группы, объединенные сходством произношения или написания. Таковыми могут быть, например, группа собственных имен, общим графическим признаком которых в славянских системах правил графического оформления является их написание с прописной буквы, или группы специфически произносящихся или пишущихся языковых знаков, образующиеся, чаще всего искусственным путем в ходе систематического изучения языка (в школе или вузе).

Во всех перечисленных случаях мы имеем дело с частными категориальными группировками языковых знаков, наслаивающимися на базовую ономаσιологическую структуру. Мы уже говорили о том, что в пределах семантической структуры языкового знака отдельные элементы его плана содержания могут семиотически связываться с отдельными элементами его внутриформенного значения. Так же и на уровне всей структуры информационной базы языка отдельные аспектуальные сферы сознания могут семиотически соотноситься с отдельными лексико-стилистическими функциями, а отдельные ономаσιологические категории, роды, виды и типы могут образовывать семиотические единства с отдельными лексико-грамматическими и словопроизводственными категориями и разрядами.

Так, научно-теоретическая сфера когнитивного смысла семиотически тесно переплетена с терминологической лексико-стилистической функцией языка, образуя в информационной базе языка целостное образование, именуемое терминосистемой. Таким же образом объединяются в целостные аспектуальные образования обыденные или образные смыслы с теми или иными коммуникативно-специфицированными внутриформенными функциями, образуя сленговые, жаргонные, образно-поэтические и др. лексиконы, входящие в качестве составных в единую информационную базу языка.

Коррелируют между собой и когнитивные категориальные значения с категориальными частеречными значениями (хотя и не совпадают полностью): ономаσιологическое категориальное значение субстанциальности - с грамматическим категориальным значением имени существительного, значение процессуальности - с частеречным значением глагола, значение атрибутивности - с частеречным значением прилагательного, значение условия действия - с частеречным значением наречия и т.д. Ономаσιологическое подкатегориальное значение абстрактной субстанциальности может коррелировать (хотя не всегда коррелирует) с некоторыми грамматическими значениями (например, единственного числа и среднего рода, являющимися наи-

более свойственными абстрактным именам во всех славянских языках), ономасиологическое подкатегориальное значение качественной атрибутивности коррелирует с морфологической (словоизменительной) функцией образования степеней сравнения, а ономасиологические родовые значения интенциональной процессности (действия, направленного на объект) и интенциональной статальности (состояния отношения к объекту) коррелируют с морфологосинтагматическим значением переходности. Корреляцию между категориальными лексическими и словообразовательными значениями мы уже иллюстрировали выше на примере связи ономасиологического типового значения агентивности со словообразовательным типовым значением деятеля. При этом еще раз подчеркиваем ошибочность смешивания ономасиологических (лексических) и внутриформенных смыслов. Реальное наличие первых поддерживается смысловой (когнитивной) градацией языковых знаков и понятий, которые они вербализуют. Иначе говоря, значение агента или качества присуще тому или иному языковому знаку не потому, что у него есть соответствующее грамматическое, лексико-грамматическое или словообразовательное значение, а потому, что этот знак номинирует соответствующее понятие агента или качества. Внутриформенные же элементы значения качественности или агентивности у таких знаков могут присутствовать только в том случае, если во внутренней форме языка наличествует соответствующая модель словоизменения или словопроизводства, а в форме данного знака присутствуют показатели его причастности к этим моделям. На примере агентивных имен мы уже показывали, что они могут обладать и ономасиологическим, и словообразовательным значением деятеля, но могут и не обладать последним (кстати, обратного быть не может: ни один знак, обладающий словообразовательным значением лица-деятеля не может не обладать соответствующим ономасиологическим значением, что еще раз подтверждает доминирующую роль ономасиологической,

когнитивной семантики в семантической структуре знака и в структурировании всей информационной базы языка).

Проблема корреляции когнитивной и внутрiformенной информации требует специального исследования, выходящего за пределы объекта данного исследования. Нас же интересует лишь принципиальная позиция функциональной методологии относительно структурирования языкового знака и информационной базы языка целиком. Выше мы пытались доказать принципиальное с точки зрения функциональной методологии положение, согласно которому информационная база языка структурирована по принципу семантической структуры языкового знака, а эта последняя организована по принципу структуры инвариантного понятия. Однако, было бы совершенно неверным однозначно видеть в семантической структуре языкового знака и, через нее, в структуре информационной базы языка исключительно структуру понятия и когнитивной системы психики-сознания. Такой подход совершенно бы нивелировал различия, которые явственно ощущаются при сопоставлении когнитивной и языковой картины мира. Первая - более мобильна и изменчива. Она открыта для взаимодействия с другими картинами мира, в частности, через искусственные когнитивные системы - научную или образно-художественную картину мира. Показательно, что ученые (а также представители деловой сферы) и художники (а также журналисты и политики), будучи носителями разных национальных языков и представителями различных этнических культур, тем не менее находят общий язык именно за счет значительной унифицированности и интернационализированности их картин мира. Их научные или образные картины мира представляют из себя функциональное отношение между национально специфицированной обыденно-мифологической картиной мира (максимально отраженной в их языковой картине мира) и некоторой интернациональной научной или образной картиной мира, уже созданной их предшественниками. Эти национально специфицированные картины мира (научные или образные) подвергают-

ся влиянию со стороны родной национальной обыденной картины мира, а также со стороны интернационализированной традиции.

Поэтому часто именно диглоссанты выступают посредниками как изменения обыденных национальных картин мира (под влиянием т.н. “общечеловеческой”), так и проникновения национально специфицированных элементов обыденных когнитивных систем в “общечеловеческую”. Если примеры первого широко известны (изменения в традиционных культурах под “натиском” цивилизации), то второе, как правило, не замечается и игнорируется исследователями “общечеловеческих ценностей”. Последние, при пристальном рассмотрении, окажутся заимствованными из той или иной национальной культуры, а их “общечеловеческий” характер окажется весьма относительным. Так, например, большинство моральных или эстетических принципов, именуемых “общечеловеческими” и “универсальными”, чаще всего характерны лишь для какого-то национально-религиозного или социального слоя и совершенно чужды представителям другой культуры. Моральные принципы, которыми руководствуются ныне представители славянского культурного ареала специфицированы их религиозной ориентацией на ислам (муслимане Боснии) или христианство, причем в его католическо-протестантской (*Slavia Latina*) или православной (*Slavia Orthodoxa*) разновидности. “Общечеловеческий” характер этим принципам придает, во-первых, широкая распространенность христианства в современном мире, во-вторых, его генетическая смысловая близость с исламом через иудаизм, а в-третьих, политическое, экономическое, а отсюда, и культурно-идеологическое доминирование стран с христианской традицией практически во всех сферах международной жизни. Евроамериканская культура фактически узурпировала право на “общечеловеческую” картину мира и так или иначе оказывает воздействие на другие, отличные от нее культуры. Впрочем, нас интересует не столько идеологическая сторона этого вопроса, сколько сам принцип формирования национальной когни-

тивной картины мира и ее отнесенность к языковой картине мира, отображенной в информационной базе того или иного языка. Мы полагаем, что когнитивные картины мира могут отличаться друг от друга по двум параметрам: структурному и функциональному. Первый касается наличия в системе тех или иных категорий и понятий, второй - способа экспликации той или иной категории, того или иного понятия в сфере предметно-коммуникативной деятельности (в том числе, и в языковой деятельности). Что же касается различия между конкретной когнитивной и языковой картиной мира, то здесь различия могут быть только функциональными, поскольку все, что наличествует в когнитивной системе (в любой из ее гносеологических аспектуальных сфер: обыденно-мифологической, научно-теоретической или образной) при потребности так или иначе может быть выражено в языке.

Сама структура когнитивной системы (понятийной картины мира) не может принципиально отличаться от структуры информационной базы языка. Вопрос лишь состоит в том, представлено или не представлено то или иное когнитивное понятие в языке и, если представлено, то каким образом. В языке не может быть ничего, чего бы не было в соответствующей ему когнитивной системе. Но в когнитивной системе вполне может наличествовать информация, специально не репрезентированная в языковых знаках. Это невостребованная информация. Как правило, ее наличие в картине мира не осознается тем или иным индивидом. Вместе с тем, одна и та же понятийная информация вполне может быть по-разному представлена в языке, и этот способ представления касается далеко не одной фонографической стороны знака. Несомненно, возможны и такие случаи, когда одно и то же когнитивное понятие фиксируется в языке вариативными фоно-графическими средствами. Примерами вариативной графической презентации одного и того же знака могут быть случаи вариантного написания всех или какой-то одной из форм знака, если, конечно, это никак не отражено на их произношении (чеш. "jachting" //

”jachtink”, “universita” // ”univerzita”, “jak se patři” // “jaksepatri” или поль. “adadzio” // “adagio”). Искусственный характер письменной презентации речевых знаков позволяет игнорировать указанные различия при квалификации знака. Мы считаем, что различное написание никак не может повлиять на отнесение данных графических речевых презентаций к двум различным языковым знакам.

Сложнее обстоит вопрос с фонетико-фонематической вариативностью. Если вариативность чисто фонетическая и никак не затрагивает фонематическую сторону внутриформенного значения языкового знака, то такие варианты смело можно относить на счет чисто сигнальной (если это касается только специфического способа актуального произношения, который не был избран преднамеренно, что выражается в исключительно физико-физиологических характеристиках произношения) или чисто речевой презентации одного и того же языкового знака (если вариативность фонетической реализации мотивирована специфическими условиями представления этого языкового смысла, например желанием стилизовать свое произношение, эмфатизировать его и под.). К вариантам одного и того же языкового знака следует относить также случаи варьирования знака в отдельной речевой форме (например, варьирование некоторых отдельных форм славянских глаголов, типа чеш. “jasnět se” // ”jasnit se”, “řící” // “říct”; поль. “domysleć” // “domyslić” (“domysleliśmy” // “domysliliśmy”); русс. “гас” // ”гаснул”, “застичь” // “застигнуть”, “вылезть” // “вылезти”, варьирование в падежных формах существительных: чеш. “mužu” // ”mužovi”, поль. “pawęza” // “pawęzu”, “postaci” // “postacie” или укр. ”текста” // “тексту”, “чоловіку” // “чоловікові”). Лишь в некоторых случаях может быть признан внутренне вариативным языковой знак, во всех речевых формах которого наблюдается собственно фонетическое варьирование. Если варьирование касается всех форм знака, следует говорить о вариативных языковых знаках в пределах одного и того же лексического понятия.

Вариативными в фонематическом отношении можно считать языковые знаки, отличающиеся каким-то несущественным фонематическим признаком, закономерным для фонематической системы данного языка. Так, если в данном языке есть соответствующая архифонема, то вариативность на фонематическом уровне может оказаться несущественной и подобные варианты можно будет признать вариантами одного и того же знака (в украинском языке, например, таковым является варьирование [u]//[v] и [j]//[i] в ряде знаков: “ввійти”//”увійти”, “йди”//”іди”, а в чешском - варьирование в некоторых случаях долгих и кратких гласных: “donášeč” //”donašeč” или фонетическая беглость некоторых фонем “dík” // ”diky”, “jakykoli” // ”jakykoliv”). Аналогично и в других славянских языках: русс. “вовек” // “вовеки”, польс. “dzisiaj” // “dziś”. Сюда же можно отнести некоторые польские дублеты с варьирующимися носовыми, вроде “pawęż” // “pawąz”, а также с варьированием гласных [i] // [y] или [o] // [a] в корнях: “tryumfować” // “triumfować”, “uzdolniać” // “uzdalniać”, “nagietek” // “nogietek”. В славянских языках с подвижным ударением к таким вариантам можно относить разноударенные варианты: укр. “góлубці” // “голубці”, болг. “хълмест” // “хълмист” или русс. “вёсельный” // “весёльный”, “взвихриться” // “взвихриться”, “дévичий” // “девичий”. В случае же отсутствия соответствующей архифонемы речь может идти только о фонематически варьирующихся разных словах (их варьирование чаще всего носит межличностный характер, но чаще является межстилевой или междиалектной). Признаками фонематического варьирования могут быть: варьирование глухих и звонких согласных (чеш. [na zhledanou] // [na sxledanou]), гласного в корне или аффиксе, если это не морфологическое, деривационное или лексическое различие: чеш. “halěř” // ”halíř”, “iregulární” // ”iregulérní”, “kolébka” // ”kolíbka”, “jitrnice” // ”jaternice”; польс. “piosenka” // “piosnka”, “dziobek” // “dzióbek”. Показательно, что данные варианты (которые могут считаться вариантами только в пределах одной идиолектной системы) четко дифференцируются носителем языка по принципу “правильное

// неправильное”, “литературное // разговорное”, “литературное // диалектное” или “современное // устаревшее”, что разводит данные знаки по разным гносеологическим аспектуальным подсистемам информационной базы языка. Поэтому иногда очень трудно различить: является ли для данного носителя языка эта пара варьирующихся знаков совершенно равноправными речевыми репрезентациями одного и того же знака (и тогда ее следует относить к речевым дублетам) или же носитель языка четко дифференцирует данные формы в индивидуально-стилистическом отношении. Так, в украинском языке могут разводиться как межстилевые варианты - знаки с твердым и смягченным [č] // [č̣] или с вариацией [g] // [h]. В русском такими вариантами могут быть заимствованные слова с вариацией твердых и мягких согласных перед [e]: [tʰe]нт // [te]нт, фо[n̩e]ма // фо[n̩ʲe]ма.

Мы полагаем, что каждый диглоссант - носитель более одной стилистической (аспектуальной) разновидности языка - обладает “размноженной” информационной базой своего идиолекта. Извлечение той или иной единицы из необходимой аспектуальной разновидности информационной базы происходит автоматически при переходе в соответствующий режим речемыслительной деятельности. Так, базисной для любого человека является обыденная сфера информационной базы языка (общеупотребительная лексика). Научному режиму речемыслительной деятельности соответствует терминологическая сфера информационной базы, а художественному - образная сфера информационной базы. Связь между этими сферами не вызывает никакого сомнения. Любой диглоссант способен, если этому не препятствуют некоторые внелингвистические факторы, выразить наличное у него когнитивное понятие как в форме обыденного слова, так и аспектуально специфицированно (в зависимости от характера его диглоссии). Поэтому мы считаем, что связь между стилистически вариативными единицами, относящимися к различным аспектуальным сферам информационной базы, осуществляется именно через понятие. Для подобных вариативных языковых знаков вполне употре-

бимо такое терминологическое определение, заимствованное нами у А.Залевской, как “симиляры”. Симилярами мы называем такие языковые знаки, которые вербализуют одно и то же когнитивное понятие, но различаются только своим внутরিформенным значением, т.е. своим планом выражения. Самым простым видом симиляров являются рассмотренные выше фонематические симиляры.

Однако симиляры могут различаться и другим элементом внутরিформенного значения. В частности, возможно грамматическое (морфолого-синтаксическое) варьирование языковых знаков, относящихся в качестве симиляров к одному и тому же когнитивному понятию. Такими симилярами оказываются в славянских языках морфологические междоусовые или междитиповые симиляры, т.е. знаки, номинирующие одно понятие, но различающиеся только категорией рода (существительные) и/или типом словоизменения (существительные, глаголы). Таковы знаки: чеш. “klíšť” // “klíšťě”, “komponent” // “komponenta”, “klouzat” (“kloužu”, “kloužeš”, “kloužou”) // “klouzat” (“klouzám”, “klouzáš”, “klouzají”), русс. “рельс” // “рельса”, “туфель” // “туфля”, “вольер” // “вольера”; поль. “boks” // “boksа”, “сер” // “серу”. Еще более часты случаи деривационного варьирования, когда одно и то же когнитивное понятие номинируется двумя разными словами, обладающими одним и тем же лексико-словообразовательным значением, но отличающимися модельным (типизирующим) словообразовательным значением. Иначе говоря, эти слова образованы на основе того же мотивационного признака, но по различным, хотя и синонимичным моделям. При этом заметим, что образованные таким способом знаки могут быть как абсолютными, так и междитиповыми (аспектуальными) синонимами. Напр., чеш. “homerský” // “homerický”, “hlávec” // “hláoun”, “intrikán” // “intrikář”, “klubový” // “klubovní”; русс. “лгун” // “лжец”, “девичий” // “девический”, “домостроение” // “домострой-тельство”, “выкормок” // “выкормыш”, “вспоможение” // “вспомоществование”; поль. “szarpnięcie” // “szarpnienie”, “akademijny” // “akademicki”, “chlewек” // “chlewik”, “ćwiczeniowy” // “ćwiczebny”,

“działkowicz” // “działkowiec” // “działkarz”, “bezład” // “nieład”; болг. “църкало” // “църкалка”, “доносник” // “доносчик”, “закупвач” // “закупчик”, “петица” // “петорка”, “врабчи” // “врабчов” // “врабешки”, “шегобиец” // “шеговник”, “чифликчия” // “чифлигар”. Еще более сложной ступенью межзнакового варьирования в рамках одного когнитивного понятия является повторная номинация внутрикатегориального и межкатегориального типа, вроде образования стилистических вариантов уже существовавших языковых знаков путем усечения (“магнитофон” // “маг”, “абитуриенты” // “абитура”), усечением с суффиксацией (“телевизор” // “телик”, “невезение” // “невезуха”, “учительница” // “училка”), разных типов универбизации через суффиксацию, сложение, аббревиацию и т.д., а также образования имен действия или имен атрибута. Практически все без исключения случаи подобного словопроизводства касаются межстилевого варьирования, поскольку в основе их лежит мотивационная установка на переноминацию (повторную номинацию). Последней, высшей ступенью межзнакового варьирования является использование лексических симиляров или абсолютных синонимов. Появление их в системе информационной базы языка, как правило, связано также с ее аспектуальным функционированием. Чаще всего абсолютные синонимы появляются как разностилевые номинаты того же явления. Иногда они проникают в обыденный язык из терминологической или образной сферы информационной базы языка, где они функционировали как аспектуальные номинаты некоторого понятия, уже номинированного в обыденном языке. Иногда источником их появления в языке является процесс заимствования из другого языка, а субъектами такого заимствования чаще всего выступают диглоссанты-билингвы, т.е. представители художественно-публицистической или научно-деловой сферы деятельности, вступающие в межъязыковые контакты с представителями иной этнической культуры. Абсолютные синонимы (лексические симиляры) являются также и последней, крайней ступенью межзнаковой вариативности, поскольку обычные синонимы уже не являются

вербальными вариантами одного и того же когнитивного понятия, а номинируют различные, сходные и соотнесенные в парадигматическом отношении понятия. Вполне вероятно, что все симиляры некоторого одного понятия образуют в информационной базе языка целостную единицу, которая, собственно, и является вербализованным понятием или лексическим понятием. В одно лексическое понятие входят не только все слова, являющиеся лексическими, грамматическими, словообразовательными и фонематическими вариантами относительно данного понятия, но и гетерогенные информационные единицы, номинирующие это же понятие (клишированные словосочетания и фразеологизмы). Таким образом, лексическое понятие признается лишь видовым термином по отношению к родовому - когнитивному понятию, которое может быть эксплицировано не только вербальными средствами (и в этой своей части стать лексическим понятием), но и невербальными (паралингвистически), либо вообще оставаться несобственно эксплицированным (не обладать собственным знаком).

Как показывают наблюдения за фактами речевой деятельности, категориальное структурирование информационной базы языка и категориальные значения языковых знаков имеют большее значение для хранения информации, чем для ее использования. Гораздо более значима для построения речемыслительного континуума именно референтивная часть значений языковых знаков и полевая (тематическая) структура информационной базы языка.

Как мы уже отмечали выше, каждый языковой знак, обладающий понятийной семантической структурой, входит через семную иерархию своей категориальной части не только в категориальную структуру информационной базы (ономасиологическую, грамматическую (частеречную, лексико-морфологическую), словопроизводственную и, возможно, другие), но и в тематическую структуру системы знаков. Последнее оказывается возможным потому, что семантическая структура языкового знака (так же, как и структура номинируемого им

понятия) является двуаспектной, совмещающей в себе информацию о сходных знаках (парадигматическую информацию) и информацию о смежных знаках (синтагматическую информацию). Второй тип информации и организован в референтивную часть семантической структуры языкового знака. В отличие от категориальной части, организованной в гипо-гиперонимическую иерархию, референтивная часть обладает полевой структурой, т.е. представляет из себя смежностное соположение семантических признаков.

Так же, как и в случае с категориальными семантическими признаками, референтивные признаки (семы) являются следами функциональной связи с другими знаками. Однако, в отличие от категориальных сем, являющихся чисто понятийными (абстрактными, трансцендентальными), референтивные семы могут обладать различным гносеологическим и онтологическим характером. Это объясняется, прежде всего, ориентированностью первых на инвариантный смысл, заложенный в данном когнитивном понятии и языковом знаке, а вторых - на фактуальные смыслы, на основе которых сформировалось данное понятие или в сфере которых оно может быть опытно использовано. Иначе говоря, референтивное значение содержит в себе опытные условия помещения данного когнитивного понятия в пространственно-временной континуум. Именно поэтому здесь наряду с чисто понятийными (валентностными или эпидигматическими, т.е. мотивационно-генетическими) семами, смежностно связующими данное когнитивное понятие с другими понятиями, а данный языковой знак с другими знаками информационной базы языка, должны выделяться и семы непонятийной информации, связующие данное понятие и языковой знак с созерцательной и эмотивно-волевой сферой психики-сознания. В частности, к таким семантическим признакам следует отнести сенсорно-эмпирические, эмоционально-оценочные и волюнтативные элементы информации. Все эти элементы информации должны быть признаны именно смежностными, поскольку ни сенсорное восприятие объекта актуального осмысления, ни эмоциональ-

но-оценочная реакция на этот процесс, ни волевое отношение к нему никаким образом не могут быть сравнены или сопоставлены с его трансцендентальным (инвариантным, понятийным) осмыслением как такового, т.е. как элемента когнитивной картины мира. Соотношение этих двух типов осмысления объекта может быть только соположенным во времени и пространстве. Соположение уже существующего когнитивного понятия с созерцанием объекта, подводимого под это понятие, мы определяем как процесс референции, а соположение созерцаний с системой когнитивных понятий с целью трансцендентального осознания объекта как отдельного понятия - определяем как процесс генерализации. Показательно, что собственно понятийные (рациональные) элементы референтивной части (валентностные и мотивационно-эпидигматические семы) в языковом знаке выполняют роль связующего звена, опосредующего два принципиально отличных онтолого-гносеологических типа информации: трансцендентальную (инвариантную) и созерцательную (фактуальную) информацию.

В отличие от когнитивного понятия, являющегося максимально индивидуализированной формой хранения инвариантного смысла, языковой знак как семиотическая (а значит, социализированная) единица включает в себя только ту эмпирическую информацию, которая входит в денотат, т.е. в обобщенное представление об объекте познания. Так, если некоторое фактуальное сенсорное созерцание демонстрирует наличие в созерцаемом объекте некоторого признака, который обнаруживался и у других объектов, подводимых под это понятие, то, несомненно, этот признак войдет в обобщенное представление об этом объекте, а потому и в денотат данного когнитивного понятия. Если же фактуальное созерцание конкретного объекта, подводимого под данное понятие, выявляет в нем некоторые дифференциальные, специфические черты, не свойственные другим референтам этого же понятия, то, естественно, эта черта может быть запечатлена в референтивной части когнитивного понятия, однако она никогда не войдет в денотативную часть его ядра, а раз так, то и не

станет элементом референтивной части соответствующего языкового знака. Сенсорный референтивный элемент смысла обязательно присутствует у так называемых “конкретных” понятий, т.е. понятий об осязаемых предметах внешнего опыта. Всякий раз, мысля такой предмет, мы можем актуализировать в памяти воспоминание о каком-то конкретном предмете из нашего прошлого опыта, который подводится под данное понятие. Однако мы никогда не можем адекватно представить в виде ментального образа даже хорошо известный и многократно воспринимавшийся ранее предмет. Всякий раз, при актуальном восприятии мы обнаруживаем в предмете нечто отличное от нашего ментального образа. Любая сенсорная информация обречена на нестабильность. И.Кант по этому поводу замечал, что “во всех явлениях постоянное есть сам предмет, т.е. субстанция (phaenomenon), а все, что сменяется или может сменяться, относится лишь к способу существования этой субстанции или субстанций, стало быть только к их определению” (Кант, 1964:254). То, что Кант называет феноменом или субстанцией, мы именуем собственно понятием, а в более узком смысле (применительно к сути данного противопоставления) - категориальной частью когнитивного понятия. Референтивная же часть оказывается именно определением явления. Только категориальная часть понятия (его трансцендентальная часть) содержит в себе суть понятия, его стабилизирующую сущность. В той же работе Канта встречаем следующее принципиальное разведение этих двух обязательных аспектов знания: “Если из эмпирического познания устранить всякое мышление (посредством категорий), то не останется никакого знания о каком бы то ни было предмете, так как посредством одних лишь созерцаний ничто не мыслится, и то обстоятельство, что это аффицирование чувственности происходит во мне, не создает еще никакого отношения подобных представлений к какому-либо объекту. Если же я устраню [из мышления] всякое созерцание, то у меня все же останется еще форма мышления, т.е. способ определения предмета для многообразного [содер-

жания] возможного созерцания” (Там же, 309). Трансцендентализм мышления в значительной степени компенсирует отсутствие непосредственных чувственных данных (так, мы можем наглядно представить себе некий объект мысли или речи не имея никаких не только актуальных сенсорных данных, но и вообще не обладая никаким сенсорным опытом созерцания такого предмета). Все это мы можем сделать, опираясь на чисто трансцендентальные способности нашего сознания к субституции (сопоставлению и замещению) и предикации (соположению) уже наличных элементов информации. Таким образом, по аналогии к уже известному человек может выстраивать в сознании смыслы, содержащие в своем составе сенсорную информацию, почерпнутую не из созерцания объекта смысла, а из других “конкретных” понятий. Так образуются понятия “псевдоявлений”, которыми пестрят не только фольклорные и художественные произведения, но и политико-публицистические, деловые и научные тексты. По той же самой причине сенсорным элементом смысла обладают не только “конкретные” понятия (и, соответственно, языковые знаки), но и многие “абстрактные” понятия (в том числе и процессуальные, атрибутивные или обстоятельственные), которые оказываются смежностно связанными с соответствующими “конкретными” понятиями. Так, понятие “урок” непременно включает в свою референтивную часть в качестве сенсорных элементов обобщенные образы учителя (учительницы), учеников, классной комнаты, доски и парт. Понятие о зеленом цвете так или иначе ассоциируется с обобщенным образом травы и крон деревьев, а понятие о вечере - с визуальным образом луны, ощущениями темноты и, возможно, образами горящих окон в домах и под. Естественно, набор сенсорных данных в референтивной части когнитивных понятий у разных субъектов различен. Однако в референтивной части значений соответствующих языковых знаков сенсорный смысл значительно унифицируется за счет его закрепления в валентностных семах - информации о наиболее частотной сочетаемости тех или иных языковых знаков с другими знаками. Все осталь-

ные сенсорные элементы понятия (в том числе, и ситуативные, несущественные для объектов, подводимых под данное понятие) остаются невербализованными. Ввиду того, что прямо номинируемые “конкретные” понятия необходимо включают сенсорную денотативную информацию в лексическое значение языковых знаков, когнитивная сенсорная информация оказывается непосредственно коррелирующей со всей внутриформенной информацией данного знака целиком, и не привязывается к какой-то его отдельной части (словообразовательному, грамматическому или фоно-графическому значению).

Сказанное вполне применимо и к случайным фактуальным эмоциональным реакциям, ситуативным оценкам или волеизъявлениям, связанным с использованием инвариантных знаний в предметно-коммуникативной деятельности. Все они остаются за пределами денотата понятия и, соответственно, за пределами референтивной части семантической структуры языкового знака. Актуальное понятие, использование которого в мыслительной деятельности сопровождается появлением случайных эмоциональных состояний, оценок или волеизъявлений в речи может получать специфическое интонационное, эмфатическое или другое выражение, именуемое речевой коннотацией знака. В случае же, если такого рода информация постоянно присутствует при референции некоторого понятия (что случается крайне редко в силу неустойчивости эмоциональных состояний личности и изменчивости ее волюнтаривных потребностей), она становится составной семантики соответствующего языкового знака. Подобное явление может иметь место только под влиянием понятийной информации, которая единственная может приписать стабильность эмоционально-оценочной и волюнтаривной стороне мышления. Языковые знаки, номинирующие такие понятия, приобретают устойчивую коннотированность, которую ни в коем случае нельзя смешивать с фактуальным проявлением эмоций или волеизъявлений. Коннотированный характер некоторых языковых знаков трансцендентален конкретному эмоционально-волевому состоянию индивида. Чтобы убе-

даться в этом, достаточно сравнить спектр возможных фактуальных эмоциональных состояний и волевых проявлений с набором коннотативных значений, зафиксированных в языке через функциональную связь этого типа когнитивной семантики с внутриформенными значениями (морфологическими, синтаксическими, словообразовательными или фонематическими).

Языковые знаки с эмоционально или оценочно коннотированным когнитивным смыслом обычно оказываются гносеологически аспектואализированными, т.е. отнесенными к какому-то специфицированному аспекту познавательной деятельности (чаще, к художественно-публицистическому) и, поэтому, соотносятся с определенной лексико-стилистической сферой информационной базы языка. Чаще всего такие языковые знаки, будучи продуктами вторичной или, реже, повторной номинации, становятся коннотированными симилярами прямых номинатов, хотя возможны случаи и первичной коннотированной номинации. В семиотическом отношении коннотативный (эмоционально-оценочный) когнитивный смысл чаще всего вступает в корреляцию со словообразовательным значением. В этом случае оценочность или эмоционально-экспрессивная окрашенность получает свое языковое выражение в соответствующих формантах: русс. "девочка", "малюсенький", "кушатеньки", "ручища"; чеш. "babizna", "malický", "chlapeček", болг. "носище", "рекичка", "врабче", "момченце", поль. "powoluteńku", "zieleniuchny", "żeniaczka". Однако коннотацию этим знакам придает не словообразовательное значение, а именно когнитивное. Эти знаки коннотированы не потому, что содержат в своей морфемной структуре тот или иной аффикс, но содержат тот или иной аффикс вследствие того, что коннотированы. Словообразовательное значение оказывается лишь элементом плана выражения, коррелирующим с когнитивным (лексико-семантическим) эмоционально-экспрессивным или оценочным значением как элементом плана содержания. Доказательство этого - наличие в славянских языках множества коннотированных знаков, словообразовательная

структура которых никак не маркирована. Что касается корреляции эмоциональных и оценочных когнитивных элементов с морфологическими, синтаксическими или фонематическими, то эта корреляция носит чаще всего ситуативный речевой характер.

Определенной спецификой обладают оценочные элементы смысла, закрепляющиеся в языковом знаке. Обычно выделяют два оппозитивных элемента оценочного смысла - положительную и отрицательную оценку. Они противопоставляются нейтральному смыслу, по отношению к которому не выражается специально никакого отношения. Мы бы хотели предложить вариант классификации, при котором всякий смысл в плане оценки его субъектом речемыслительного акта может быть отнесен к обладающим либо определенной, либо неопределенной оценочностью. К первым следует отнести смыслы, к которым субъект относится либо определенно положительно, либо определенно отрицательно (именно они, в случае отнесения того или иного явления или смысла в культурологическом отношении к желательным или к нежелательным, получают свое стабильное формальное закрепление в языке). Вторые - это смыслы, к которым либо нет определенного оценочного отношения, либо субъект колеблется в определении этого отношения. Такое состояние не может быть устойчивым, но, тем не менее, сам факт неуверенности или сомнения является довольно частым в речемыслительной деятельности. Поэтому в системе языковых знаков наличествует целый ряд инвариантных лексических единиц, фиксирующих как определенно-оценочную, так и неопределенно-оценочную информацию. Это и глаголы модального отношения, и модальные наречия, модальные частицы и предикаты, имена существительные и прилагательные. Таким образом, чаще всего оценочность вербализуется собственно лексическим образом - через языковой знак целиком, хотя нередки и случаи чисто словопроизводственной экспликации оценочного смысла. Однако на уровне словообразовательного значения оценочный смысл обычно синкретически сливается с эмоциональным. Это вполне естественно, так как положительную оценку может получить только объект, который вы-

зывает у субъекта положительные эмоции. Точно так же, отрицательную оценку получают объекты, вызывающие неприятные эмоциональные переживания. Неопределенные же в оценочном отношении смыслы, как правило, неопределенны и в эмоциональном отношении. Поэтому мы полагаем, что одной из психологических основ оценки являются эмоции. Второй такой психологической основой являются волевые процессы.

Не только оценка объекта познавательной деятельности, но, подчас, и эмоциональное состояние субъекта зависят в значительной степени от потребностей индивида, которые задают его систему ценностных установок. Особенное значение имеют волюнтативные процессы для целенаправленной мыслительной и речевой деятельности, которая всегда является волевым актом означивания некоторой мыслительной интенции. В вербальном отношении волюнтативные смыслы обычно коррелируют именно с синтаксическими (модальность высказывания) и связанными с ними морфологическими (наклонение глагола) и фонетико-фонематическими значениями (особенно, просодическими). В языковом же отношении волюнтативный смысл, возникающий как элемент актуального понятия (и актуального созерцания) редко оформляется как элемент инвариантного понятийного смысла. Чаще он закрепляется в языке на уровне моделей оценки речевой ситуации, моделей речепроизводства и моделей фонации. В информационной же базе языка волюнтативные смыслы оформляются обычно как модальные знаки, о которых шла речь выше, совмещающаяся или не совмещающаяся с эмоциональными и оценочными элементами. Специфического словообразовательного оформления волюнтативные смыслы обычно не имеют. Волюнтативный фактор, как никакой другой из психологических механизмов созерцания, подвержен трансцендентальному влиянию системы понятийных смыслов. Желательным или нежелательным, а отсюда - положительным или отрицательным, приятным или неприятным, для субъекта часто становится не то, чего требует природа его созерцания и естество его психофи-

словопроизводственная аспектуализация (коннотативный референтивный элемент плана содержания коррелирует с мотивационным словообразовательным значением плана выражения): такие единицы выявляют свою коннотированность специфическим корневым элементом морфемной структуры - русс. “обезьянник” (в значении “доска почета”), “лабух” (“тапер”); поль. “łobuzerstwo”, “świństwo”; болг. “разхайтеност”, “бръщолевец”, “зяпач”; чеш. “žbluňknout”, “spinkat”, “courák”; в) типовая словопроизводственная аспектуализация (коннотативный референтивный элемент плана содержания коррелирует с типовым словообразовательным значением плана выражения): коннотированность значения выявляется через специфические словообразовательные средства - русс. “беленький”, чеш. “hezounký”, поль. “prostaczek”, болг. “дрипльо”; г) синтаксическая аспектуализация (как правило относится не к отдельной номинативной единице речи, а к целому высказыванию или тексту, образованным по специфическим синтаксическим моделям, которые содержат информацию о коннотированном способе общения): примером могут служить случаи нарочитого нагромождения синтаксических конструкций или использования несоответствующих стилю общения синтаксических средств для пародирования; д) морфологическая аспектуализация (касается только номинативных речевых единиц, образуемых по специфическим моделям словоизменения, которые содержат информацию о коннотированном способе общения): классическим примером такого рода аспектуализации является нарочито ошибочное или стилистически несоответствующее образование словоформ, вроде подражания речи детей, иностранцев, больных или находящихся в измененном состоянии сознания, подражания речи носителей того или иного территориального или социального диалекта и под.; е) фонетическая аспектуализация (касается как микро-, так макроединиц речи, образованных по специфическим моделям фонации, содержащим в себе информацию о коннотированном способе общения): сюда относятся словоформы с подчеркнутой неправильностью произношения, выска-

звания и тексты, специфицированные просодическими средствами так, чтобы показать свое отношение к объекту речи или ситуации общения: русс. “сол”, “дэвушка”, “тэбья” (в подражаниях русской речи грузин), “здгаствуйте”, “мине”, “ви”, “шо” (в подражаниях речи евреев), “беспрецедентный”, “константировать” “лабалатория”, “калитор”, “инцидент”, (в подражаниях неграмотной речи); укр. “каЛи то буЛо” (со смягченным альвеолярным [л]), вм. “коли то було”), “хадий” вм. “ходив” (в подражаниях речи носителей центральноукраинских и северноукраинских говоров), “вш’о” вм. “все”, “худиеЛа” вм. “ходила”, “чілувати” вм. “цілувати” (в подражаниях речи носителей западноукраинских говоров).

Нельзя считать коннотированными языковые и речевые знаки, которые оказываются аспектуализированными только со стороны слушающего, но не являются такими для говорящего. Так, субъект речи может обладать некоторыми постоянными (и нормативными для него) характерными чертами речевой деятельности или характерными знаками и моделями языка, которые несвойственны ни языковой системе, ни речи реципиента. Реципиент может принять такие знаки и модели за коннотированные, хотя говорящий никаких эмоций не испытывал и оценок не производил. Например, совершенно нет никакой коннотации в речи одного из участников следующего диалога на чешском языке, который не договаривает [к] в ряде местоимений и наречий:

- Pane,
- Сора?
- Tady Robert nechce věřit že myslivci chodí na šoulačku.
- Jara by ne.

Далее в тексте встречаем выражения того же героя “Kamra jedete?” или “Кдеpa”. Нет коннотации в нарушениях литературной речи носителей говоров или социальных диалектов, людей, слабо владеющих языком или людей больных. Точно так же нет коннотации и в нарушениях литературной речи героев литературных произведений,

которых автор характеризует как постоянных носителей ненормативной речи. Так совершенно не коннотированы фразы “Všechny jsou stejny”, “Du šmirglem na prigl”(чеш.), “Я не хочу называть эти области”, “Нашу передачу смотрят матеря” (русс.), “Бігме-м го видів”, “Скуда ви прийшли” (укр.) .

Кроме созерцательных данных в референтивной части значения содержатся, как мы уже отмечали выше, также два типа собственно понятийной (рациональной) информации - валентностная и мотивационно-генетическая.

Валентностная информация - это основная референтивная информация, поскольку именно в сочетаемостных возможностях языкового знака фиксируются предикативные соположения номинируемого данным знаком понятия, точнее его наиболее частотные актуальные состояния. Именно в валентностных семах заключен основной референтивный смысл данного знака, обеспечивающий наполнение его объемом, и именно через валентностные семы осуществляется связь данного языкового знака с другими знаками в тематической (полевой) структуре информационной базы языка, что обеспечивает выбор единиц, сопоставляемых с речевыми репрезентантами данного знака в речевом потоке. С точки зрения генезиса валентностный смысл прямо соотнесен как с категориальными семами, так и с семами созерцательного происхождения (сенсорно-эмпирическими, эмоционально-экспрессивными и оценочными). Так, каждая категориальная сема непосредственно коррелирует с некоторой валентностной семой, что, с одной стороны, является следствием апостериорно-речевого происхождения инвариантных языковых единиц, а с другой, - обеспечивает речевую реализацию категориального значения этих единиц. В методическом плане функциональная связь категориальных и валентностных сем позволяет выявить первые через вторые. Каждому иерархически определенному элементу категориального значения знака соответствует его типовая сочетаемость. Категориальная сема “субстанциальность” функционально связана с валентностными семами “субъект / объект процесса”, “носи-

тель качества / свойства” и “носитель количественной характеристики”, позволяющими каждой единице с этой категориальной семой мыслиться соположенно с единицами, обладающими категориальными семами “процесс”, “атрибут” и “количество”. Аналогичная функциональная связь существует и между подкатегориальными, родовыми, видовыми и т.д. семами и соответствующими им валентностными семами. Может сложиться впечатление, что устанавливая подобную строгую функциональную зависимость между категориальными и валентностными семами, мы, тем самым, нивелируем ранее провозглашенное принципиальное отличие между категориальной и референтивной частью понятия (и языкового знака), а также между категориальным и полевым устройством информационной базы языка и, таким образом, впадаем в противоречие с собственными теоретическими постулатами. Но это лишь кажущееся противоречие. Принципиальная разница между категориальной и референтивной семантикой заключается в том, что категориальные семы объединяют сходные знаки в иерархическую структуру (и определяют место знака в этой структуре), а референтивные (и в первую очередь, валентностные) объединяют смежные знаки в поля и тематические блоки. Корреляция между отдельными элементами (функциональная связь) не дублирует эти две структуры, но лишь обеспечивает единство и целостность когнитивных понятий и номинирующих их знаков. Категориальные семы обеспечивают исключительно внутрикатегориальные связи и отношения, а референтивные - прежде всего межкатегориальные, хотя они могут обеспечивать и смежностную связь между единицами одной и той же категории. Так понятия о столе и стуле связаны одновременно и в категориальном отношении (как неодушевленные конкретные субстанции, представители класса мебели), и в референтивном (как сопологающиеся в пространстве помещения, в процессе деятельности, в бытовой или производственной сфере жизни). В категориальном плане они могут быть соотнесены только с понятиями своего класса мебели, с другими понятиями о неодушевленных предметах, с понятиями о конкретных предметах и, наконец, со всеми поня-

тиями, подводимыми под категорию “субстанциальность”. В референтивном же плане их связи много шире. Они связаны с целым рядом понятий своей категории (например, с теми же понятиями о мебели, с которыми они могут быть соположены как составные интерьера, или с понятиями о других неодушевленных предметах или людях, соположенно с которыми они могут мыслиться), с большим множеством понятий других категорий (например, с понятиями о качественных или количественных свойствах, о связанных с ними процессах, субъектами или объектами которых они могут мыслиться), а также с непонятийными элементами информации (прежде всего с созерцательной информацией, сопровождающей референцию данных понятий).

Таким образом оказывается, что валентностные лексические смыслы дифференцируются по степени обобщения. Степень обобщенности той или иной валентностной семы зависит от тех категориальных сем, с которыми она семантически коррелирует. Такого рода сочетаемость обычно называется типовой валентностью. Так, все существительные обладают категориальной типовой сочетаемостью с глаголами (в качестве субъекта действия, т.е. коррелята в предикативном центре высказывания, а также в качестве подчиненного управляемого члена), сочетаемостью с прилагательными и атрибутивными местоимениями (в качестве согласующего члена), с числительными (в качестве согласующего или управляемого члена) и с другими существительными (в качестве управляющего или управляемого). Такого типа валентность можно назвать валентностным каналом. Естественно, каждый знак обладает несколькими валентностными каналами. В пределах этих валентностных каналов (направлений сочетаемости) каждый знак развивает свою типовую сочетаемость в зависимости от того в какую ономаσιологическую группу знаков он входит. Однако, у целого ряда знаков один из валентностных каналов может быть сужен. Как правило, это знаки, номинирующие понятия с сильно суженной референцией, т.е. с очень развитым категориальным значением. Чем развитие у понятия (и, соответственно, у

знака) категориальное значение, т.е. чем больше ступеней в его иерархии, тем понятие конкретнее, следовательно, тем уже его референция, тем меньше референтов можно подвести под это понятие. Естественно, сужение референции может привести не только к сокращению количества валентностных каналов, но и к уменьшению количества конкретных лексических валентностей. Так, сильно сужена валентность по одному из каналов у знаков: русс. “навзрыд” (“плакать”), “мигнуть” (“глазом”), “подзорная” (“труба”), “бреющий” (“полет”), “вестибулярный” (“аппарат”), “високосный” (“год”); укр. “заплющити” (“очі”), “відкопилити” (“губу”), “нашорошити” (“вуха”), “вудити” (“рибу”), “гомеричний” (“сміх”); чеш. “dokořan” (“otevřít dveře/okno”); болг. “преварена” (“вода”) и под. Иногда это приводит к образованию частотных сочетаемостей слов, которые со временем могут переосмысляться в самостоятельный языковой знак - клишированное словосочетание.

Так же, как и другие элементы когнитивного смысла, референтивные валентностные семы коррелируют в семиотическом отношении с семами внутриформенными, в первую очередь синтагматическими (информацией о возможности данного знака образовывать тот или иной тип словосочетания в функции ядерного или зависимого члена) и синтаксическими (информацией о модельной позиции данного знака в высказывании). При этом синтаксические семы могут быть связаны с когнитивными валентностными семами как опосредованно (через морфологическое значение), так и непосредственно. В первом случае синтаксическая позиция некоторого знака получает дополнительную мотивацию его морфологическим значением (например, субстанциальный знак в функции подлежащего мотивируется морфологическим частеречным значением имени существительного и значением именительного падежа, а в функции дополнения получает двойную мотивацию: морфологическую - как существительное в определенном непрямом падеже и синтагматическую - как зависимый член глагольного управления). Во втором случае - если синтаксическая семантика непосредственно коррелирует

лирует с когнитивной - мы встречаем случаи ненормативного использования тех или иных знаков в той или иной синтаксической позиции. Таково использование глаголов в функции определения, прилагательных - в функции подлежащего или дополнения (не путать со случаями субстантивации), наречия или междометия - в функции подлежащего, дополнения или определения.

Корреляцию внутриформенных значений между собой мы объясняем тем, что в филогенетическом отношении они производны друг от друга. Так, мы считаем (и исследования в области исторической грамматики славянских языков подтверждают наше предположение), что морфологические значения сложились из наиболее устойчивых функциональных связей между синтаксическими и когнитивными смыслами, с одной стороны, и между словообразовательными и когнитивными смыслами, с другой. По нашему убеждению, синтаксические значения подлежащего и дополнения предшествовали в филогенетическом плане частеречному значению существительного в целом, и значениям падежей, в частности. В то же время, мы считаем, что лексико-словообразовательное различие имен лица по полу оформилось прежде грамматического различия существительных по родам. Иначе говоря, категории словоизменения, предполагающие развитую инвариантную структуру возможных речевых репрезентаций, в славянских языках сложились на основе двух более ранних функций - субститутивной функции словопроизводства и предикативной функции словоупотребления. Не исключено, что ранние формы словоупотребления носили характер прямого употребления формы неизменяемого языкового знака (что мы наблюдаем в употреблении некоторых современных славянских наречий или служебных слов). А синтаксические нюансы смысла, скорее всего, мыслились как совершенно отличные понятия. Способом же вербализации таких знаков вполне могла быть деривация. Вполне вероятно, что многие современные речевые формы (словоформы) в филогенетическом отношении восходят к деривативным формам. И только со временем от-

дельные такие деривативно соотнесенные знаки, по аналогии с которыми было образовано большое количество типологически сходных, стягиваются в единую парадигму одного языкового знака. Конкретный исторический анализ данного предположения не является задачей данного исследования. Но, в любом случае, функциональный методологический подход, основы которого мы исследуем в данной работе, позволяет дать ответ на вопрос о соотношении различных типов значения в пределах единого языкового знака.

Внутриформенные значения также могут быть категориальными и референтивными. Категориальными являются постоянные внутриформенные значения, например, типизирующее (модельное) словообразовательное значение (информация о типе модели, по которой образован данный знак), частеречное значение, значение лексикограмматического разряда у существительных, местоимений, прилагательных или наречий, значение рода у существительного, класса и переходности/непереходности у глагола (а возможно, и вида, если рассматривать категорию вида как словообразовательную, а видовые пары - как симилярные знаки), значение лица и числа у личных местоимений и под. Вместе с тем, целый ряд внутриформенных значений является референтивным, поскольку эксплицирует референтивную когнитивную информацию, прежде всего валентностную. К таким относим значения числа и падежа существительных, рода, числа и падежа прилагательных и некоторых местоимений, наклонения, времени, лица, рода и числа глаголов, степени сравнения качественных прилагательных и наречий и др. С валентностными лексическими смыслами коррелируют также синтагматические и синтаксические значения, поскольку они касаются исключительно смежностных семантических характеристик данного знака.

Отдельным типом референтивных сем являются эпидигматические семы, т.е. информация о смежностных отношениях между знаками, связанными между собой в генетическом плане. Это всегда отношения общности мотивационного признака, положенного в основу наименова-

ния. Естественно, в понятиях подобной информации нет. Когнитивной основой такого рода информации является все та же сенсорно-эмпирическая ассоциативная информация, выделенная уже в процессе номинации (вербализации) в качестве наиболее характерной с точки зрения субъекта. Поэтому, эпидигматическая информация должна рассматриваться в ряду другой референтивной информации, но не сводиться ни к собственно сенсорной, ни к валентностной. Смежностный, референтивный характер этого типа значения хорошо объясняет введенное В.Скаличкой и развитое В.Матезиусом понятие омосемии (См. Пражский кружок, 1967:119-126, 203). К сенсорно-эмпирической эту информацию нельзя отнести потому, что мотивационный признак, лежащий в основе этого рода сем, не является следствием собственно созерцания. Зачастую он приписывается объекту чисто трансцендентально. Например, русс. “баранки” (“вид печенья”), “ножка” (“часть мебели”), “находиться” (“пребывать”), “побелка” (“покрытие стен раствором мела или извести”); болг. “воденица” (“любая мельница”), “конска муха” (“овод”), “зяпач” (“разиня”); чеш. “jednota” (“организация, общество”), “vyjasnit” (“сделать понятным”); поль. “prowincjonalizm” (“провинционализм”), “Bliski Wschód” (“Ближний Восток”). Не имеет этого рода информация и прямого отношения к использованию данного знака в процессе речепроизводства. Более того, намеренное использование в тексте слов, связанных мотивационными узлами может привести к созданию эстетического эффекта. Р.Якобсон использует для этой цели термин “этимологическая фигура”. Кроме того, генетическую информацию иногда используют в художественной речи для создания юмористического эффекта за счет т.н. “игры слов”, т.е. использования некоторого знака в таком контекстном окружении, чтобы он одновременно отсылал реципиента к двум языковым единицам: данной и эпидигматически родственной. В обыденной же, научной и деловой речи пытаются избегать использования генетической информации, заключенной в слове. Еще более важной причиной, по которой эпидигматическая или мотивационно-генетическая информация не может быть признана частью когнитив-

ной (лексической) информации, является ее полная связанность внутриформенной информацией. Мотивационно-генетическая информация - это всегда информация о языковой форме данного знака. В составе мотивационно-генетического (эпидигматического) значения следует различать непосредственно-мотивационную (лексико-словообразовательную) и корневую мотивационную информацию. Первая (менее стабильная) - это информация о знаке (знаках), который непосредственно мотивировал процесс образования данного знака. Эта информация далеко не всегда осознается носителем языка и является нефункциональной в том случае, если во внутренней форме данного языка уже нет модели, по которой образовался этот знак. Тем не менее, носитель языка легко ассоциирует такой знак с другим или целым рядом других знаков, смежных с ним по когнитивной семантике и сходных по корневой морфеме. Такого рода информация более стабильна и может широко использоваться в речевой деятельности (хотя бы с уже перечисленными выше целями).

Эпидигматическая информация может в некоторой степени коррелировать как с лексической (категориальной или референтивной), так и с другой внутриформенной информацией. В частности, в каждом из славянских языков подавляющее большинство корневых морфем имеет довольно четкую дистрибуцию как в отношении когнитивного смысла, так и в отношении частеречной принадлежности. Так, несмотря на когнитивный смысл вышеназванных знаков, их корневое мотивационное значение коррелирует со следующей когнитивной и частеречной семантикой: русс.- "баранки" - "баран (животное)", "ножка" - "нога (часть человеческого тела)", "находиться" - "ходить (передвигаться с помощью ног)", "побелка" - "белый (по цвету)"; болг.- "воденица" - "вода", "конска муха" - "конь" и "муха", "зяпач" - "зевать (совершать произвольное дыхательное действие)"; чеш.- "jednota" - "один", "vyjasnit" - "ясный (светлый)"; поль.- "prowincjonalizm" - "удаленное от культурных центров место", "Bliski Wschód" - "близкий (неотдаленный)" и "восток (сторона света)". Во всех приведенных при-

мерах корневая эпидигматическая сема вербализует чисто референтивную семантику. Заметим, что собственно-генетическое (лексико-словообразовательное) значение в этих словах отличается от корневого мотивационного значения. Так, например, у болгарского “зяпач” словообразовательное мотивационное значение - “как будто зевает”, у чешского “vyjasnit” - “как бы делает ясным, видным”, а у польского “prowincjonalizm” - “такой, как в провинции”. Такого значения нет в однокорневых словах “зяпам” (“зевать”), “jasnět”, “jasný” (“светлый”), “prowincja”, “prowincyjny”.

Целостная картина выделяемых нами в структуре языкового номинативного знака семантических компонентов и элементов - категориальных и референтивных сем (когнитивного и внутрiformенного характера) представлена нами в таблице 4 в Приложении 7.

1.3. Семантическая структура речи и речевых знаков

Так же, как и языковой знак, речевые знаки (словоформы, словосочетания, высказывания, сверхфразовые единства и тексты) обладают семантической и семиотической структурой. Однако, в отличие от языкового знака, здесь эти две структуры не представляют два различных аспекта организации знака, но изоморфно согласуются между собой. Причем, согласование это именно структурного плана, так как и семантическая, и семиотическая структуры речевого знака линейны, пропозициональны. Модальная актуализация некоторой части когнитивного понятия, сопровождающая процесс мышления, приводит к тому, что на основе функционального трехстороннего взаимодействия интенционального смысла, языкового знака и моделей внутренней формы языка образуется речевой знак, который одновременно соотносится с тремя источниками его образования: с актуальным понятием (семиотический аспект), с языковым знаком (семантический аспект) и с моделью внутренней формы языка, по которой он был образован (структурный аспект).

Как видим, свою структурную организацию речевой знак заимствует не от актуального понятия или языкового знака непосредственно, а от соответствующей модели внутренней формы языка. Соотношение речевого знака с языковым знаком приводит к оформлению объема его языкового (вербального) содержания. Функционально-семиотическая связь речевого знака с актуальным понятием, выполняющим роль коммуникативной интенции, делает знак экспликатором фактуального когнитивного смысла. А та или иная модель речеобразования только оформляет его, придает ему форму рема-тематического (пропозиционального) соположения.

Чтобы лучше была понята наша мысль, еще раз напомним, что актуализация инвариантного понятия нами понимается не как простое приведение инвариантных знаний в режим пользования (т.е. не как простое изъятие инвариантно хранящихся знаний в системе пси-

хики-сознания), но как использование части этих данных, при котором на их основе образуются фактуальные смыслы, ни структурно, ни по объему не идентичные инвариантным. Актуально мысля некоторый объект, мы воскрешаем в памяти нечто инвариантно важное, релевантное для него (как для представителя класса сходных объектов), но далеко не все. Это положение можно выразить формулой: мы помним и знаем о вещах и явлениях гораздо больше, чем мыслим о них. Иначе говоря, в отношении инвариантных знаний понятие памяти всегда будет шире и объемнее понятия мысли. Но одновременно с этим, наше актуальное знание об объекте в фактуальном отношении, т.е. в его опытном положении во время и пространство, может быть шире и объемнее соответствующего ему инвариантного понятия. Это происходит оттого, что мысля некоторое понятие, т.е. образуя фактуальный смысл, мы тем самым включаем некоторое наше знание в актуальную связь с такими понятиями, связь с которыми в памяти либо вовсе не существовала, либо была потенциально возможна и опосредована другими понятиями. Так, у Б.Пастернака в тексте стихотворения актуально связываются понятия и слова, в психике-сознании и языке непосредственно не связанные: “ДОСТАТЬ” - “ПЛАКАТЬ”, “ПИСАТЬ” - “НАВЗРЫД”, “ГРОХОТАТЬ” - “СЛЯКОТЬ”, “ВЕСНА” - “ЧЕРНЫЙ”, “СЛЯКОТЬ” - “ГОРЕТЬ”, “ГОРЕТЬ” - “ВЕСНА”. Определенная инвариантная связь может быть обнаружена между знаками “ПИСАТЬ” и “ЧЕРНИЛА”, “ФЕВРАЛЬ”, “ВЕСНА” и “СЛЯКОТЬ”, “ПЛАКАТЬ” и “НАВЗРЫД”, косвенно (потенциально) могут быть связаны в инвариантном состоянии “ДОСТАТЬ” и “ЧЕРНИЛА” (поскольку “достать” можно любой конкретный предмет) или “ПИСАТЬ” и “ФЕВРАЛЬ” (поскольку “писать” можно о чем угодно).

Ср. “Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Когда грохочущая слякоть

Весною черною горит. ”

Мы нарочно взяли крайний случай. Художественный тип речемыслительной деятельности существенно отличается от обыденного именно ориентацией первого на формальное преобразование инвариантной информации. Но даже, если мы возьмем в качестве примера речевой отрезок научной, деловой или обыденной речи, принцип речепроизводства не изменится. Разница лишь будет касаться характера вносимых в языковой инвариант изменений (преимущественно внутрiformенных в эстетической сфере и преимущественно когнитивных - в научной).

В целом же семантическое речепроизводство, а тем более актуальное смыслообразование (мышление), всегда состоит в образовании семантических соположений в пределах инвариантно заданных связей и отношений (аналитические суждения у Канта) или с выходом за эти пределы (синтетические суждения). Первые фактуальные смыслы (аналитические) должно относить к чисто коммуникативному речепроизводству (поскольку образование речевых знаков только на основе устойчивых и predetermined инвариантом связей и отношений может иметь максимальный коммуникативный эффект, но далеко не всегда может адекватно эксплицировать интенцию говорящего, особенно если это некоторая новая, нешаблонная мысль). Вторые мы называем когитативными, понимая под термином “когитация” процесс установления некоторых новых для этого понятия связей и отношений.

Естественным началом всякого речевого акта является выработка или возникновение коммуникативной интенции. Мы развели эти понятия именно потому, что не каждый акт речепроизводства является контролируемым сознанием волевым актом. Иногда человек говорит произвольно (например при измененном состоянии сознания), иногда его речь очень сильно автоматизирована, так что его сообщения (чаще это символические фразы для шаблонных речевых ситуаций или заученный механически речевой отрезок) порождаются не

осознаваемым желанием нечто понять, осмыслить, но исключительно стремлением соблюсти обязательную форму некоторого ритуала (мельком побеседовать на улице или по телефону с не очень знакомым человеком, ответить на ни к чему не обязывающие шаблонные вопросы, дать ответ преподавателю, не требующему понимания предмета и под.). Если индивид контролирует процесс своего общения и управляет им, мы можем говорить о выработке интенции, если его речь автоматизирована или бессознательна - лишь о возникновении такой интенции. Сказанное ни в коем случае нельзя понимать превратно, как утверждение, что наша речевая деятельность - может быть насквозь рационализированной, логицизированной или совершенно сознательной. Это прямо противоречит функциональному пониманию языковых процессов. Речевая деятельность (так же, как и языковая деятельность в целом) есть процесс социально-психический, а значит, здесь неразрывно связаны воедино сознательные и бессознательные процессы.

Центральным моментом нашего понимания вопроса волевого участия субъекта в речепроизводстве (или знакообразовании) является утверждение, что осознаваться может только интенциональный момент мыслительного состояния, который вследствие этого выделяется из ассоциативного “клубка” предикативных связей и отношений мыслительного состояния и преобразуется в мыслительной деятельности. Только мыслительная деятельность, т.е. деятельность мозга, контролируемая волевыми актами психики, и может считаться осознаваемой. Все же остальное поле психики - как психики-сознания (памяти), так и психики-мышления - остается бессознательным, т.е. неохваченным волевыми процессами. В психологии и психолингвистике процессы волевой актуализации некоторой информации называют обычно оперативной и непосредственной памятью. Причем, в последней информация может храниться лишь несколько секунд. Психологи даже пытались просчитать возможный объем непосредственной памяти, что привело к введению в научный обиход т.н. “числа Миллера” - 7 ± 2 . Мы не будем вдаваться в

анализ этого понятия. Единственное, что следует сказать по этому поводу с методологической точки зрения, это то, что вызывает сомнение не само число единиц, которые могут быть сохранены одновременно в непосредственной памяти, а собственно статус этих единиц: это фонемы (фоны), морфемы (морфы), слова (словоформы) или фразеологизмы и клише (словосочетания)? Как правило, психологи, а подчас и языковеды, не задаются этим вопросом, предпочитая оперировать онтологически и структурно неопределенным понятием ассоциации или ассоциативного шага. Совершенно верно в свое время Выготский предостерегал от слишком доверчивого отношения к т.н. “ассоциативным экспериментам”: “В свободной ассоциации на слово-раздражитель “гром” я произношу “змея”, но прежде еще у меня мелькает мысль: “молния”. Разве не ясно, что без учета этой мысли я получу заведомо ложное представление, будто на “гром” реакция была “змея”, а не “молния” (Выготский, 1982, I:92) (а между “гром” и “молния” мог быть еще ряд ассоциатов, равно как между “молния” и “змея”, при этом вовсе не обязательно словесных - О.Л.).

В данном случае важно лишь то, что речевые знаки являются заместителями фактуальных смыслов (коммуникативных интенций), образованными на основе вербальной информации, содержащейся в соответствующих ему языковых знаках информационной базы языка по определенной модели внутренней формы языка. Такое понимание речевого знака дает полное представление как о форме знака, так и о его содержательной стороне.

Как мы уже отмечали выше, речевые знаки могут выполнять одну или две функции: либо только предикативную (коммуникативную или когитативную), либо предикативную вместе с номинативной. Только предикативную функцию выполняют высказывания, сверхфразовые единства (текстовые блоки) и тексты, образованные по моделям внутренней формы. Сущность предикативной функции речевого знака (его основной функции, свойственной каждому такому знаку) заключается в том, что он выражает некоторое мыслительное отношение к

тому или иному элементу картины мира. Сущность номинативной функции состоит в том, что речевой знак отсылает к тому или иному элементу картины мира. Эту функцию (параллельно с предикативной) могут выполнять речевые знаки, образованные на основе соответствующих языковых знаков: словоформы - образованные на основе слов, словосочетания - на основе слов, клише и фразеологизмов, высказывания - на основе клишированных высказываний, тексты - на основе клишированных текстов.

Совершенно специфическое место в речи занимают в этом плане свободные словосочетания. С одной стороны, они образуются по моделям внутренней формы языка и выражают некоторое модальное отношение (мнение) говорящего по поводу некоторого понятия. Поэтому, естественно, они так же, как и все другие речевые знаки выполняют предикативную функцию. С другой стороны, словосочетания не содержат в себе полноценной предикации, т.е. не выражают процессуальной модальности, которая содержится только в высказывании и более крупных синтаксических единицах. Их модальность - атрибутивная или обстоятельственная (каузальная). Поэтому следует разводить чисто коммуникативную речевую номинацию, характерную для словоформ и других вышеназванных речевых знаков, образованных строго на основе семантики некоторого языкового знака и не выходящих за пределы инвариантного понятия или шаблонизированного суждения, и когитативную речевую номинацию, свойственную, в первую очередь, свободным словосочетаниям. Первый тип речевой номинации в философско-логическом отношении вполне можно отнести на счет т.н. аналитических суждений, если, конечно, учитывать, что термин "суждение" здесь употреблен чисто условно. Правильней было бы сказать, что словоформы и прочие речевые знаки, репрезентирующие в речи некоторый один языковой знак (слово, клише, фразеологизм), в смысловом отношении скорее соотносимы с аналитическими актуальными понятиями. Свободные же словосочетания могут быть соотнесены с синтетическими актуальными понятиями,

если бы таковые выделялись в логике. С суждениями и умозаключениями следовало бы в семиотическом плане соотносить высказывания, сложные синтаксические периоды и тексты. При этом высказывания коммуникативного плана соотносились бы с аналитическими суждениями, а высказывания с ярко выраженной когитацией - с суждениями синтетическими.

Таким образом, номинативная функция речевых единиц реализуется за счет их отнесенности к языковым знакам, но отнесенность эта должна быть собственно понятийной (атрибутивно-модальной). Предикативная же функция реализуется за счет отнесенности семантики речевого знака в область чистой модальности, предполагающей установление процессуально-модального отношения говорящего к предмету речемышления.

Однако специфику структурирования речевой семантики составляет не выполнение знаками той или иной семиотической функции, так как и номинативные и собственно-предикативные речевые знаки совершенно одинаково структурированы как в семантическом, так и в семиотическом отношении - это линейные рема-тематические функции. Специфика речевого знака в структурно-семантическом плане состоит в том, что он в равном отношении зависим как от актуального понятия, мысли или актуального поля знания, знаком которых является, так и от языкового знака (или языковых знаков), который (которые) он репрезентирует.

Именно такие двуплановые отношения порождают удвоение речевой семантики. С одной стороны, каждое речевое произведение обладает собственной вербальной информацией, выводимой из вербальной семантики его составляющих и производной от вербальной информации, заключенной в соответствующем языковом знаке. Такую информацию мы называем речевым содержанием. Но каждый речевой знак может эксплицировать и другой, глубинный и не столь явно эксплицированный тип информации - это собственно понятийная информация, т.е. информация выводимая из способа подачи речевого

содержания и производная от семантики коммуникативной интенции. Этот тип информации мы называем речевым смыслом. “Значение не равно мысли, выраженной в слове” (Выготский, 1982, I:161). Таким образом, мы утверждаем, что каждая речевая единица наряду с тем, что обладает содержанием, еще может эксплицировать некоторый когнитивный смысл интенции говорящего или отсылать к нему реципиента. Содержание речевой единицы - это та вербальная информация, которая была избрана субъектом речи для экспликации речевого смысла. Идентично понимание соотношения речевого содержания и смысла и у наиболее видного представителя функционализма в русском языкознании А.Бондарко: “С нашей точки зрения, в речи (как в процессах говорения и понимания, так и в результатах этих процессов - текстах) мы имеем дело со сложным соотношением речевых реализаций языковых значений, с одной стороны (речевого содержания - О.Л.), и речевого смысла, с другой (речевой смысл базируется не только на речевых реализациях языковых значений, но и на контекстуальной, ситуативной и энциклопедической информации)” (Бондарко, 1978:42).

Существенно важным нам кажется то положение, что речевое содержание и речевой смысл имеют различное онтическое отношение к речевому знаку. Речевое содержание имманентно знаку, это его неотъемлемая часть. Речевой знак является таковым, прежде всего, потому, что он есть речевое содержание ассоциированное с некоторым представлением о сигнале (представлением о звукоряде, о графическом ряде или о кинестетическом действии). “План содержания текста высказывания, - пишет А.Бондарко, - это семантическое целое, элементами которого являются взаимодействующие речевые реализации языковых лексических, лексико-грамматических (в том числе словообразовательных) и грамматических (морфологических и синтаксических) значений, выраженных языковыми средствами данного высказывания. План содержания данного текста соотнесен с планом его выражения - языковыми средствами, экспонентами кото-

рых являются звуковые или графические цепочки” (Бондарко, 1978:95). Речевой же смысл лишь внешне приписывается речевому знаку. Он в полной мере не сохраняется в языковом знаке. Его стабильность весьма относительна. “Речевой смысл ... - это та информация, которая передается говорящим и воспринимается слушающим на основе содержания, выражаемого языковыми средствами, в сочетании с контекстом и речевой ситуацией, на фоне существенных в данных условиях речи элементов опыта и знаний говорящего и слушающего” (Там же) [выделение наше - О.Л.]. Так, мы еще можем проникнуть в речевое содержание культурно и исторически чуждых нам текстов, если каким-либо образом постигнем устройство его информационной базы и правила его внутренней формы, но нам никогда не постичь их речевого смысла.

Одним из важных смыслообразующих моментов, навсегда утраченных для потомков в таких письменных памятниках является звуковая сигнализация и, что еще важнее, просодия. Именно просодия, наряду с порядком слов и эмфатическими звуковыми средствами, играет весьма важную роль в речевом смыслообразовании. Можно научить иностранца образовывать и воспринимать речевое содержание. Для этого ему необходимо усвоить систему языка. Но нельзя научить пониманию речевого смысла людей, которые в культурно-психологическом отношении совершенно чужды автору данного речевого произведения. Речевое содержание какого бы то ни было текста может быть воспринято и декодировано, если сохранено знание языка, на котором оно было создано. Речевой же смысл такого произведения, скорее всего, утрачивается вместе с изменениями в культуре, нравах, идеологии эпохи. Более того, речевой смысл одного и того же произведения может очень сильно варьировать от одного реципиента к другому, и уж конечно не будет идентичным у автора и реципиентов.

Проблема смысловой “мультипликации” при восприятии текста неоднократно дискутировалась как лингвистами и литературоведами, так и философами. Методологическая позиция исследователя в этом

вопросе играет крайне важную роль. Так, с позиции референциально ориентированных исследователей множественность смыслов может быть возведена в абсолют с той лишь разницей, что эмпирический позитивист объявит инвариантным смыслом “генетический”, первичный авторский смысл (подобное понимание находим у младограмматиков и приверженцев т.н. психологизма XIX века, вроде А.Потебни или В.Вундта), а рационалист уравнивает в правах все возможные интерпретации: от автора или критика-профессионала до ребенка или сумасшедшего. В этом смысле прав Гадамер, когда критикует солипстическое и крайнереференциальное понимание смысла художественного произведения О.Беккером: “С временной точки зрения произведение существует только мгновение (т.е. сейчас); “сейчас” оно именно это произведение и вот уже его нет!” (Цит. по: Гадамер, 1988:141) Но не все в словах Беккера должно быть отвергнуто. Он абсолютно прав, когда говорит о сиюминутности произведения как текста. Но он совершенно не прав, когда говорит о сиюминутности текста как произведения. Мы совершенно разделяем позицию Ю.Лотмана относительно дифференциации этих понятий: “Решительно следует отказаться от представления о том, что текст и художественное произведение - одно и то же. Текст - один из компонентов художественного произведения, конечно, крайне существенный компонент. без которого существование художественного произведения невозможно. Но художественный эффект в целом возникает из сопоставления текста со сложным комплексом жизненных и идейно-эстетических представлений” (Лотман, 1995:74). Текст в качестве (в функции) произведения искусства переходит в совершенно иную ипостась. Его когнитивное содержание и смысл могут быть зафиксированы в памяти в виде ментального пространства (мета- или макро-фрейма, когнитивного сценария). Фиксированность текстового пространства произведения (особенно, зафиксированного в письменной форме) позволяет поддерживать целостность такого ментального пространства в сознании реципиента и даже совершенствовать его.

Но это, тем не менее, не позволяет нам согласиться и с феноменологической трактовкой смысла как собственного смысла произведения, включающего в себя весь спектр возможных интерпретаций *in potentia*. Основы подобного понимания смысла в феноменологической филологии были заложены Шлейермахером. Именно так понимают текст представители герменевтики и философии жизни Дильтей, Гадамер, Хладениус, Хейзинга и др., которые видят свою основную цель в том, чтобы “достичь понимания самих книг в их истинном, то есть предметном значении” (Гадамер, 1988:231), понять то, что “подразумевает” само произведение (Шлейермахер), вскрыть “мыслеобразующую работу жизни” (Дильтей). При таком понимании роль автора полностью сводится на нет. Автор лишь передатчик смысла, а не его творец. Функциональный взгляд на смысл текста заключается в том, что смысл этот действительно лично мультиплицирован, но наличие социализированного кода - идиолекта и социализированного индивидуального сознания - создает предпосылки для образования инвариантной функции - произведения. Все это побуждает нас признать речевой смысл текста не составной речевого произведения, а семантико-семиотическим эффектом (состоянием), вызывающим образование речевого знака (у субъекта речи) или вызываемым его восприятием (у реципиента).

С точки зрения формы речевого смысла следует различать смысл номинативных и чисто предикативных речевых единиц. Словоформы и словосочетания в семиотическом отношении соотносятся с актуальным понятием, а высказывания, текстовые блоки и тексты - с мыслью. Вместе с тем, вряд ли можно развести речевой смысл словоформ и словосочетаний. В обоих случаях смысл по форме может квалифицироваться как актуальное понятие. Доказать это можно тем, что словосочетания могут легко заменяться в речи отдельными словоформами и наоборот. Окончательно не решен в лингвистике вопрос о смысловых интенциональных единицах, эксплицирующихся в речи предикативными знаками: высказываниями, текстовыми блоками

или текстами. Логики выделяют в качестве подобных форм смысла суждения, умозаключения и теории. Но это все формы научно-теоретических знаний. С языковой стороны они представляют из себя не смысл, но именно терминологическое содержание соответствующих речевых единиц - высказываний, СФЕ, текстов (суждения, умозаключения, теории). Поэтому данные понятия совершенно не употребимы по отношению к смыслу речевых единиц ни в семантическом, ни в семиотическом отношении. Мы употребляем для номинации смысла таких единиц термины "мысль" и "актуальное знание". В силу своего полевого характера одна и та же мысль в зависимости от степени осознанности и развития ее субъектом может быть вербализована высказыванием, текстовым блоком или целым текстом. Вместе с тем, одно и то же простое высказывание (не говоря уже о более сложных речевых единицах) может эксплицировать более одной мысли. В этом отношении нет прямой зависимости между объемом смысла и формальным характером речевой единицы. Такая прямая зависимость существует только между типом речевой единицы и ее содержанием, что еще раз доказывает то, что содержание имманентно речевому знаку, а речевой смысл - лишь внешне ассоциирован с речевым знаком.

Труднее всего определиться с элементами семантики текста. Здесь придется различать понятия речевого содержания, когнитивного смысла и собственного смысла текста. Удвоение речевого смысла текста объясняется спецификой соотношения объема речевого содержания текста к ментальным возможностям человека. Когнитивный смысл текста представляет собой функциональное отношение между его речевым содержанием, распадающимся сразу же после продуцирования или восприятия и интенциональным (собственным) смыслом, в котором содержится мыслительное обоснование причин появления данного текста целиком и его составных, в частности. Собственный смысл текста можно назвать главной мыслью или идеей текста, управляющей в качестве интенции процессом порождения текста и

являющейся конечным пунктом, к которому должен стремиться реципиент при восприятии текста. Обычно в литературоведении ограничиваются понятиями содержания и смысла (идеи) текста. Однако, как показывают наши исследования в области семантики текста (особенно художественного), дихотомии “речевое содержание” // “смысл (как основная интенциональная идея)” оказывается недостаточно для научного объяснения текстовой семантики. Смысл, как реализованная в тексте генеральная интенция (при его порождении) или как восстановленная подобная интенция (при восприятии), не выводится непосредственно из речевого содержания текста, поскольку это содержание не закрепляется ни в долговременной, ни в оперативной памяти. Речевое содержание текста, продуцируемое из содержаний его составляющих распадается сразу же после его образования. Мы не запоминаем в точности не только грамматической формы и звучания речевых единиц, но и их речевого содержания, поскольку они неотторжимы друг от друга. Нельзя запомнить актуализированное лексическое значение словоформы, не запомнив также и ее внутриформенных признаков (стилистического, синтаксического, синтагматического, морфологического и фоно-графического значения). Они не функционируют раздельно. Если человек может пересказать содержание текста (текстового блока или высказывания) используя другие речевые единицы, и не может воспроизвести услышанное (или прочитанное) дословно, это значит, что он воспринял не речевое содержание текста, но его когнитивный смысл (смысл в широком понимании). Если же он не может пересказать текст (пусть, своими словами), но знает основную мысль, которая развернута в тексте в виде актуального знания (когнитивного смысла), то значит, что реципиент усвоил лишь собственный смысл текста.

Именно интенциональный (собственный) смысл текста содержит в себе обоснование логики изложения текстовых фактов и логики внутренней структуры текста. Интенциональный смысл может и постоянно изменяется как в процессе создания текста, так и в процессе его

восприятия. Образно выражаясь, собственный смысл текста является тем ключом, которым автор закрывает семантику текста, и который ищет реципиент, чтобы эту семантику вскрыть. Как когнитивный смысл может быть целостно организован и осмыслен только на основании интенционального (собственного смысла), так и этот последний может быть выведен только из когнитивного смысла (а не из речевого содержания текста).

По форме собственный смысл текста может быть определен как мысль, которая, скорее всего, не может быть вербализована иначе, чем самим текстом. Поэтому для нас неприемлемы попытки выразить собственный смысл некоторого текста одним высказыванием. Если бы это было возможно, текст был бы совершенно не нужен. В отличие от собственного смысла, когнитивный смысл текста (актуальное знание) представляет собой полевую структуру, образующуюся на основе речевого содержания и когнитивной системы (картины мира) субъекта речи. Пересказывая содержание текста, мы пересказываем не собственно его речевое содержание, а именно когнитивный смысл. Речевое содержание может становиться частью когнитивного смысла (например когнитивного смысла поэтических текстов, которые мы запоминаем дословно), но может и не сохраняться в когнитивном смысле. С последним случаем мы встречаемся всегда, когда можем вторично пересказать ранее созданный нами или воспринятый от кого-либо текст, но делаем это в совершенно иной форме, совершенно иными речевыми средствами, а значит, строим текст с совершенно иным речевым содержанием.

Все сказанное о смысле текста нисколько не умаляет значения речевого содержания и ни в какой мере не значит, что речевое содержание - это какой-то неуловимый фантом (или, того хуже, вымысел грамматистов, чистый теоретический конструкт). Науке (и не только лингвистике) известны многие неустойчивые факты, бытие которых во времени фиксируется на протяжении долей секунды (например, электрический разряд), а в пространственном отношении и

вовсе не фиксируется современными средствами исследования (например, электрон). Но, тем не менее, ни у кого из исследователей не возникает сомнения в том, что данные факты существуют. Речевое содержание - это единственное средство экспликации некоторого невербального содержания. По нашему мнению, нет иного пути от смысловой интенции субъекта к сознанию реципиента, чем путь семантического и семиотического (в том числе, вербального) кодирования и декодирования, т.е. путь через когнитивный смысл к речевому содержанию и сигнализации, а от восприятия сигнализации через речевое содержание и когнитивный смысл к собственному смыслу текста. Именно поэтому речевое содержание должно быть признано необходимым звеном в процессе взаимопонимания.

Но нельзя и переоценивать роли речевого содержания. Оно важно не столько само по себе, сколько как передаточное звено в информационной цепи, где основное место занимает смысловая информация, образуемая в психике-мышлении человека. Правда, в художественной речи роль речевого содержания резко возрастает, поскольку здесь важно не только (а иногда и не столько) то, что желает сообщить субъект, но и то, как он сообщает когнитивный смысл своей интенции.

Важно понять неидентичность двух семантических феноменов, неизбежно сопровождающих любую речевую знаковую единицу: речевого содержания и речевого смысла. Попробуем проиллюстрировать различие между ними примерами. Ниже мы подадим список речевых единиц с указанием (насколько это возможно) различия между их содержанием и смыслом.

Чеш.: “Prší jako ve filmu” (“Дождь идет, как в кино” - т.е. очень сильно, вроде не настоящий, а специально сделанный; так в жизни не бывает); “V místnosti je zatuchlo a na třetí červenec chladno” (“В помещении затхло и как на третье июля холодно” - июль - разгар лета, должно быть тепло, повествователь указывает на недовольство героя этим фактом); “Intuice ho nezklamala” (“Интуиция его не подвела”

- т.е. сбылось все так, как он и думал, чем он очень доволен); “Po skle okna stékají kapky vody a rozmazávají krajinu” (“По оконному стеклу стекают капли воды и размазывают пейзаж” - капли дождя покрыли все окно в вагоне поезда и за ними трудно разглядеть местность, мимо которой проезжают герои; в тексте нет эксплицированной информации, что это окно вагона и что эти капли от дождя; информация о дожде была в самом начале повести, эксплицирована лишь информация о том, что события происходят в вагоне поезда, следовательно в данной фразе есть еще одна скрытая информация - дождь еще не закончился); “Dívka sáhne do kabely a vyloží balíček s vysvětlením: zapomněl si je tam jeden z cestujících, tak je znárodnila” (“Девушка лезет в сумочку и вытаскивает пачку с объяснениями: ее забыл один пассажир, и она ее национализировала” - девушка была с сумочкой, откуда она достала пачку сигарет, но, так как она не курит и чувствует, что ей необходимо объясниться, рассказывает, где она взяла сигареты; при этом она иронизирует по поводу национализации того, что “плохо лежит”), “Zapomněl se oholit a omlouval se, což mě dojalo k slzám” (“Забыл побриться и извинялся, что меня проняло до слез” - девушка иронизирует над немецким туристом, который ее подвозит на машине и пытается увлечь, но к которому она не испытывает никакой симпатии), “V kopci za Voticemi se nás snažil stopnout nějaký venkovan se hřbitovním věncem kolem krku. Něco pro Hitchcocka” (“На холме за Вотице нам голосовал какой-то крестьянин с погребальным венком на шее. Сцена для Хичкока” - т.е. если бы Хичкок мог видеть это, он бы использовал этот момент в каком-нибудь фильме ужасов; поскольку героям никаким образом ничего не угрожало и крестьянин был всего лишь человеком, пытавшимся поймать попутную машину, его вид вызвал смех, а упоминание о Хичкоке должно расцениваться как ирония).

Ярким примером расхождения языковой и неязыковой семантики в речевом знаке могут служить употребления местоимений и обоб-

щающих знаков в узко референтивной функции: “Všechny jsou takovy” (“Они все такие” - т.е. женщины).

Показательным примером расхождения речевого содержания и речевого смысла являются метафоры и метонимии, не закрепленные в соответствующих языковых знаках, а использующиеся исключительно *ad hoc* в данном контексте. Так, собственно, создаются образы в художественных и публицистических текстах, когда речевое содержание метафорически или метонимически противостоит речевому смыслу. Например: “Robert připravil si zcela jiný scénář uvítání na lodi, ale musel v něm hodně škrtat” (“Роберт подготовил совсем другой сценарий приема на яхте, но ему приходилось его очень сильно черкать” - т.е. Роберт продумал один план отдыха с девушкой на яхте, а вследствие того, что она все делала не по этому плану, ему пришлось многое изменить в своих прежних намерениях; ни о каком письменном сценарии, в котором можно было бы “черкать” нет и речи). Особенно заметно расхождение между содержанием и смыслом в поэзии. У И.Северянина читаем: “Язык богов земля изгнала, Прияла прозы диалект” (т.е. люди променяли искусство и духовность на меркантильное бездуховное существование). У О.Мандельштама: “Как женщины, жаждут предметы, Как ласки, заветных имен” (каждая вещь должна быть названа соответствующим ей словом). У А.Ахматовой: “Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда” (духовное рождается в обыденной жизни). Или у А.Тарковского: “Не я словарь по слову составлял, А он меня творил из красной глины” (человека делает человеком язык). Естественно, наши смысловые трактовки весьма примитивизированы и редуцированы. Вся специфика смысла речевого произведения состоит в том, что этот смысл невербален. Его можно выражать по-разному, через разное речевое содержание, но адекватно выразить его нельзя. Как писал об этом В.Хлебников: “Когда сердце речаря обнажено в словах, Бают: он безумен”. Показательно, что этот аспект речи очень хорошо чувствуют именно писатели, по-

скольку им приходится постоянно иметь дело со словесной экспликацией своего специфического видения мира. Особенно часто к проблеме невыразимости речевого смысла обращался в своем творчестве Б.Пастернак. В “Докторе Живаго” не раз встречаются рассуждения автора на этот предмет: “Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей”, “Мне это ясно, как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль”. А так он описывает редкий случай взаимопонимания: “Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания”.

В качестве фактуального понятийного смысла речевому знаку могут приписываться не только вещественные (денотативные), но и коннотативные смыслы. Подобные факты были описаны В.Матезиусом в его известной работе “Речь и стиль” (Mathesius, 1982:92-146), где были проанализированы вещественный, образный, эмоциональный и стилистический аспекты смысла речевого произведения, выполняющего номинативную функцию. Матезиус совершенно однозначно разделяет содержание, которое речевая единица получает от языкового знака, и смысл, приписываемый ей в конкретной ситуации общения. Показательным моментом речевой семантики в отличие от языковой, с точки зрения Матезиуса, является то, что в ней, наряду с вещественным содержанием, обязательно присутствуют еще три составные: актуализированное отношение говорящего к конкретной действительности, актуализированное отношение говорящего к партнеру по коммуникации и ситуационная перспектива, т.е. оценка говорящим коммуникативной ситуации. При этом, “необходимо хорошо помнить, что смысловая структура высказывания ... представляет собой нечто своеобразное по сравнению с выразительными возможностями языковой системы, которые в ней реализованы” (Пражский кружок, 1967:446). В речевой единице могут реализовыв-

ваться языковые денотативные и коннотативные элементы смысла, но могут и приписываться такие, которых в ней нет. Примером первого может служить использование чисто инвариантных возможностей единицы, т.е. образование речевого знака исключительно на основе семантики языкового знака. Примеры второго приводит Матезиус. К таким относятся использование знака в несвойственной ему категориальной или референтивной функции (образный аспект номинации), использование коннотативно и стилистически немаркированного знака в коннотированной или стилистически обозначенной функции (например, коннотированным становится нейтральный знак “теплое” в синтагме “теплое пиво” или в высказывании “Здесь тоже тепло” при желании выпить охлажденного пива или в ситуации поиска прохладного места). В таких случаях смысловые элементы остаются за пределами речевого знака. Они ассоциируются не с отдельным знаком как таковым, а с целой ситуацией, включающей в себя как вербальные, так и невербальные компоненты. Здесь очень удобно было бы использовать понятие дискурса, если исключить из него все постороннее психике субъекта речемыслительного акта, т.е. физические феномены, каковыми являются партнеры по коммуникации, внешние предметы и под. Их место в дискурсе занимают представления и понятия о партнере, предмете, месте, времени и других обстоятельствах коммуникации. В случае многократного возникновения ассоциации между некоторым дискурсивным смыслом и некоторыми речевыми знаками этот смысл может войти в структуру некоторого языкового знака либо привести к появлению нового знака. Чисто внешнее образное соположение речевого смысла “человек в шляпе” и речевого содержания “шляпа” может быть реализовано в обращении “Эй, шляпа!”, однако это вовсе не значит, что в структуре содержания речевого знака “шляпа” или в семантической структуре языкового знака “ШЛЯПА” присутствует в качестве компонента семантический элемент “человек в шляпе”. Но многократное приписывание лисе (лису) человеческой психологической черты - хитрости - привело к появлению

нию совершенно новой языковой единицы “ЛИС” со значением “хитрый человек”. Таким образом, следует четко различать языковую и речевую номинацию, а в данном случае - языковые и речевые семантические переносы. Первые представляют собой акт знакообразования, т.е. трансцендентального субститутивного образования нового знака, что, в первую очередь, предполагает образование новой категориальной структуры и нового семиотического соотношения когнитивного и внутриформенного значения. “ЛИС” в этом смысле представляет собой результат именно такого процесса. От него следует отличать метафоры и метонимии, которыми пестрит речь и которые, чаще всего, не приводят к пополнению языковой системы знаков. Сравним речевое содержание и смысл текста следующих отрезков:

“Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
 Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.
 Заглядає в шибу казка сивими очима,
 Материнська добра ласка в неї за плечима”
 (В.Симоненко)

Лебеди “мріють” (машут медленно и плавно) , “мріють крилами з туману” (еле видны, мерцают сквозь туман), ночи “сиплють зорі у лимани” (звезды ночью отображаются в воде лиманов), “зорі сургучеві” (блестящие как сургуч), сказка “заглядає в шибу” (ребенок засыпает и ему рассказывают сказку, сказка как бы приходит в дом из ночи), за плечами у сказки “материнська добра ласка” (сказку рассказывает ребенку его добрая ласковая мать), глаза у сказки “сиві” (можно трактовать через символику серого цвета глаз или как седину волос матери). По нашему мнению, было бы совершенно неправильно искать в семантике речевых знаков, из которых состоит данная строфа, указанные смыслы. Они внешне ассоциированы содержанию этих ре-

чевых единиц именно за счет наличия в нем соответствующих этому смыслу отправных (мотивационных) семантических элементов. Таковыми элементами речевого содержания являются: для “мріють крилами” референтивная сема “махать” языковой единицы “КРИЛО”, ассоциируемая с категориальным значением глагола “МРІЯТИ”; для “ночі сиплють зорі у лимани” референтивная сема “ночь” знака “ЗОРЯ”, позволившая актуально представить языковой знак “НІЧ” в качестве субъекта-“собственника” звезд (“ночь обладает звездами”), референтивная сема “вода” знака “ЛИМАН”, которая связывает этот знак со знаком “ВОДА”, а через его референтивные семы актуализируется смысл “зрительно отображаться”, что позволило метафорически перенести смысл “отображаться в воде, находиться в воде в виде изображения” на речевое содержание “попадать в воду, сыпаться в воду”. Совмещение этих двух переносов позволило эксплицировать интенциональный смысл “передать в образной форме идею о том, что ночью звезды отображаются в водах лиманов” путем представления его речевым содержанием “ночи роняют звезды в лиманы”. У В.Стефаника в новелле “Дорога” находим метафорическое замещение смысла “у художника возникло творческое состояние, сопровождаемое одновременно очень нежными, добрыми чувствами и очень экспрессивными, бурными эмоциями, в результате чего возникло прекрасное произведение” речевым содержанием “породилась в душі пісня, розспівалась, як буря, розколисалась, як слово мами”. По тексту понятно, что “пісня” - это плод творчества как таковой, а не собственно песня. За счет того, что смысл не является составной речевого знака, а приписывается ему извне языковой системы, и возникают проблемы взаимопонимания и смысло толкования. Одному и тому же с точки зрения языковой деятельности речевому знаку в процессе речепроизводства или речевосприятия может быть приписан различный смысл, хотя речевое содержание его одно и то же.

Проблема соотношения содержания и смысла выходит далеко за рамки чисто терминологического вопроса или даже чисто теоретиче-

ского размежевания двух форм речевой семантики - имманентной вербальной (речевое содержание) и приписаной когитативной (речевой смысл). Проблема является, собственно, методологической, ибо выделение в речевой деятельности такого семантического элемента как речевой смысл уводит нас в невербальную сферу психики и ставит перед нами вопросы о соотношении выраженного и невыраженного, выразимого и невыразимого, а, главное, - вопрос о субъекте порождения речи и субъекте ее восприятия как основных онтических носителях этого самого смысла.

Начиная от Выготского (в психолингвистике) и Хомского (в лингвистических учениях) сложилось устойчивое представление о речевой деятельности как о процессе перекодирования одного вида синтаксических структур (глубинных, внутреннеречевых, семантико-синтаксических) в структуры поверхностного характера (внешнеречевые, грамматико-синтаксические). К такому выводу заставили прийти многочисленные наблюдения за устной речью, за речью детей, больных с афазиями, речью на иностранном языке. Действительно, все факты говорят в пользу того, что мыслительный вербальный процесс как со стороны содержания, так и со стороны структуры не адекватен тому, что мы наблюдаем во внешнеречевых конструкциях. Это касается и набора языковых знаков, и характера типа высказывания, и грамматической актуализации знаков в словоформах.

При всем различии концепций внутреннего речепроизводства у Выготского и его последователей и глубинного синтаксирования Н.Хомского между ними есть существенное сходство. В основе одной и второй лежит теория принципиальной вербальности мышления. Вполне можно согласиться с С.Кацнельсоном, что "сама идея "семантической интерпретации", ставящая семантическую структуру в зависимость от его формальной структуры, представляется необоснованной. Скорее наоборот, формальная структура, как ее вскрывает грамматический анализ, является производной, своего рода "синтаксической интерпретацией глубинной семантической структуры" (Кац-

нельсон,1973:104-105). Впрочем, теория Выготского представляется нам гораздо более интересной и перспективной для последующего развития и интерпретирования, чем генеративистские построения, которые принципиально так и не сумели преодолеть априоризма традиционной структурной лингвистики. Модели, основанные на концепции внутренней речи, динамичнее, они не абстрагированы от реальных психологических и нейрофизиологических процессов, открыты для аффективных, эмотивных, волюнтативных процессов, процессов, связанных с обработкой и хранением информации, поступающей по сенсорным каналам.

В связи с этим возникают определенные замечания, касающиеся одного из основополагающих, концептуальных положений Л.Выготского о том, что "мысль осуществляется в слове". Многочисленные работы, особенно связанные со способами невербальной коммуникации, труды по знаковым системам и данные афазиологов, увидевшие свет в последние десятилетия, убеждают в том, что лишь небольшая часть работы человеческого мозга проходит в вербальной форме (Дубровский,1983, Дубровский, 1980, Сабошук,1990, Горелов,1980). Особенно интересны работы по тифлосурдопедагогике и психологии школы А.Мещерякова. Особенно ценными, как нам кажется, в этом плане являются исследования полных афазий с потерей способности говорить и понимать чужую письменную и устную речь но с сохранением способности к мышлению и невербальной коммуникации, описанные А.Лурией. Очень часто мы встречаемся со случаями понимания сущности вещи или явления, находящихся в центре внимания и, тем не менее, невозможности выразить свои знания вербально. Мы не говорим уже о принципиальной невозможности выразить чувства, эмоции, волеизъявления или сенсорную информацию адекватно. Уже одно то, что носитель языка осознает неадекватность своих слов своим мыслям заставляет усомниться в том, что "мысль осуществляется в слове". Понятие "осуществления" многими последователями Выготского воспринимается как "возникновение". С этим

трудно согласиться. Трудно, в первую очередь, потому, что невозможно поверить, что осознание содержания потребности к общению не опережает самого процесса синтаксирования, т.е. буквально "осуществления" мысли в слове. Именно понимание того, что должно стать предметом обсуждения или сообщения, заставляет избрать ту или иную стратегию речевой деятельности, отобрать необходимые средства языка. Именно это понимание лежит в основе механизмов контроля за выполнением намеченной стратегии и внесения необходимых корректив в случае отхода от нее. Если бы говорящий не знал того, о чем он хочет говорить, он не смог бы варьировать в процессе речепроизводства и знакообразования, не корректировал бы свои речевые действия. С другой стороны, если бы "мысль осуществлялась в слове", не было бы никакой потребности прибегать к целому ряду невербальных способов передачи информации - жестам, мимике, телодвижениям, манипулированию предметами и под. Очевидно, что язык - это лишь одно из множества средств оформления мысли, хотя возможно, что и наиболее удобное, но не всегда наиболее эффективное.

То, что речевая деятельность является частью речемыслительной деятельности человека, а эта, в свою очередь, - составной общей семиотической деятельности, прекрасно иллюстрируют слова П.Флоренского: "Слово подается всем организмом, хотя и с преимущественной акцентацией на той или другой стороне самопроявления субъекта познания; в каждом роде языка зачаточно обнаруживаются и все прочие роды. Так, говоря, мы и жестикулируем, т.е. пользуемся языком движений тела, и меняем выражение лица - язык мимики, - и склонны чертить идеограммы, если не карандашом на бумаге или мелом на доске, то хотя бы пальцем в воздухе - язык знаков, и вводить в речь момент вокальный - язык музыкальных сигналов, - и посылаем оккультные импульсы - симпатическое сообщение, телепатия, - и т.д. Даже поверхностный психофизический анализ наших реакций обнаруживает наличность этих и многих других произвольных деятельностей,

сопровождающих одну из них, любую, производимую сознательно... Иначе говоря, есть собственно только один язык - язык активного самопроявления целостным организмом и единый только род слов - артикулируемых всем телом" (Флоренский, 1990:290). Это же подтверждают и исследования Н.Горелова (Горелов, Енгальчев, 1991).

Сказанное заставляет нас несколько нетрадиционно интерпретировать высказывание Выготского. Стоит несколько шире посмотреть на понятие "мысль". Нельзя сужать его до примитивной пропозициональной функции линейного характера (типа соположения "топик-коммент"). Мысль как продукт мышления не может быть оторвана от сенсорных или аффективных механизмов сознания. Вместе с тем, мысль практически никогда не ограничена строгим набором составляющих. Мы позволим себе предположить, что под "мыслью" следовало бы понимать базирующийся на предикативных нейропсихологических реакциях сгусток ассоциаций с четкой динамикой соотношений между ядерными и периферийными элементами.

Здесь уместно привести высказывания К.Горалка: "В том случае, когда мы говорим о понятийной или интеллектуальной обусловленности грамматических категорий, необходимо понимать акт мышления достаточно широко. Тут идет речь не только об акте мышления, заключающемся в сознательной рассудочной деятельности, но также и о различных полусознательных или даже бессознательных процессах... Здесь действуют также факторы, связанные с чувством и волеизъявлением. Поэтому, зачастую именно психология, а не логика приобретают здесь решающее значение" (Цит. по: Вахек, 1964:85). Следует согласиться с А.А.Леонтьевым, который полагал, что внутреннее программирование речи "не зависит от языка, по крайней мере в плане самих "смыслов", а не кода, который используется для их закрепления" (Леонтьев, 1967:12). Поэтому мысль практически невыразима ни средствами языка, ни какими-то другими средствами.

Мысль принципиально не осуществляется.

Одной из наиболее существенных причин принципиальной "невыразимости" и "неосуществимости" мысли является, по нашему мнению, сам характер языка как строго фиксированного, традиционного, консервативного и социально ориентированного (а значит, усредняющего, шаблонизирующего) кода с одной стороны, и линейный, однообразный характер речи с другой. Совершенно прав был Карл Фосслер, когда в свойственной ему образной манере писал: "Грамматические формы всегда коренятся в языковом навыке всего коллектива и не могут поэтому приспособляться ко всем импульсам, настроениям и потребностям отдельной личности. Везде, где в языке выработался твердый навык, т.е. грамматическое правило, скрывается для личности возможность конфликта, и возвышается стена, за которой томится все то, чего в данное время на данном языке нельзя сказать: - словно сказочный лес, полный зачарованных принцесс, ожидающих избавления от волшебного сна. Поэтому каждый человек, возвышающийся над средним уровнем, чувствует, в зависимости от особого направления своих психологических устремлений, нечто стеснительное в языке своего народа или в языке вообще" (Фосслер, 1928:169-170).

Нам кажется, что не следует терминологически смешивать "мысль" и "содержание" или "смысл" речевого произведения, будь то текст или высказывание. Понятие "мысль" может использоваться в лингвистических работах весьма приблизительно и условно.

Под "мыслью" мы понимаем содержание довербальной интенции коммуникативного акта. Говорящий может пытаться выразить мысль в форме высказывания, СФЕ или текста. Причем, во всех трех случаях это может быть попытка выразить (сообщить) одну и ту же мысль. Вместе с тем никогда нельзя быть уверенным, что в содержании произнесенного или написанного высказывания содержится какая-то одна мысль. Одно, даже самое короткое высказывание может оказаться продуктом синтаксирования нескольких мыслей (интенциональных содержаний).

Нет никакого противоречия в том, что речепроизводство представляет собой одновременно свертывание и развертывание. С онтологической точки зрения мысль - как сложное ассоциативное состояние, превращаясь в линейную речевую цепочку, неминуемо должна испытывать на себе операции свертывания, упрощения. Но с точки зрения оперативно-функциональной сам процесс синтаксирования является линейным развертыванием речи во времени и пространстве. Мысль в своей когнитивно-когитативной ипостаси сворачивается. Мысль в своей денотативно-интенциональной ипостаси - развертывается. Наконец, не следует сбрасывать со счетов возможности изменения самой интенции в ходе синтаксирования, что может внести коррективы, но не изменить принципиально стратегии высказывания. Внешне может создаваться впечатление, что говорящий хотел в данном высказывании выразить определенную мысль, но на проверку окажется, что содержание высказывания соотносится говорящим совершенно с другой мыслью или совокупностью мыслей.

Весь комплекс проблем, связанных с соотношением продуктов речевой деятельности и тем невербальным содержанием, которое они выражают, напрямую связаны с выяснением семиотической функции речевых единиц. Существенным здесь нам представляется собственно вопрос о замещаемом объекте. В продолжение общих структурно-функциональных семиотических посылок, рассмотренных ранее, мы постулируем функционально-информационный статус объекта семиотического замещения в ходе речепроизводства. Таким образом, равно как и в случае с языковыми знаками, речевые знаки обозначают не объективную реальность, как это декларирует большинство позитивистских или феноменологических теорий, а мыслительное представление о ней в совокупности с аффективными, волевыми, эмоционально-экспрессивными, сенсорными и другими индивидуальными психонейрофизиологическими наслоениями. И если для словоформы или словосочетания таким объектом является когнитивное понятие, то для высказывания это некоторое мыслительное со-

держание - когитативное представление. Принципиальная разница между когнитивным понятием и когитативным представлением (мыслью) состоит в том, что понятие - единица ментальная, относящаяся к области долговременной памяти, мысль (когитация) - процесс, относящийся к оперативной (или кратковременной) памяти. Когитативные представления формируются на базе понятийной информации непосредственно перед или во время общения. Разумеется, характер актуализации в памяти понятия, вызывающий использование словоформы некоторого знака или использования словосочетания, - может быть неодинаков. Если используется словоформа без синтагматического распространения (чистое подлежащее или сказуемое без распространителей), это может свидетельствовать о том, что в знаке были актуализированы некоторые сигнификативные (точнее, десигнативные) свойства. И вызвано это было актуализацией внутренних категориальных свойств понятия. Так, например, высказывания "собака лает", "дерево растет", "человек ходит" и т.п. содержат именно такие словоформы. Актуализация в подобных речевых знаках информации сигнификативного характера выражается в подчеркнутости их самости, т.е. "собака как таковая", "дерево как таковое", "человек как таковой" производят соответственное действие - "лает", "растет", "идет" (не на кого-либо, не по поводу чего-либо, а проявляя самость действия). И только в контексте более широком, да еще усугубленном симпрактическими контекстуальными обстоятельствами, может оказаться, что эти же высказывания имеют совершенно иное, референтивное содержание. Так, произнесенные в определенных обстоятельствах, эти высказывания могут означать конкретный лай (по определенному поводу) вполне конкретной собаки, рост вполне конкретного дерева или конкретные, вполне осязаемые действия определенного человека. Показателями референтивной (предметной) актуализации знака могут быть жесты, мимика, поза и другие паралингвистические средства. При этом жесты и др. элементы невербальной коммуникации не всегда эксплицируют рематический компонент

(как об этом пишут А.Шахнарович и Н.Юрьева [Шахнарович,Юрьева,1990:48}). Могут быть и указания на тему с экспликацией сказуемого. Однако здесь речь о том, что различие в содержании омонимичных высказываний, значении омонимичных словосочетаний и словоформ, проявляющееся в контексте (речевом или симпрактическом), не случайно. Причины подобной омонимии лежат в области объекта означивания, т.е. того мыслительного состояния, о котором человек пытается сигнализировать партнеру по коммуникации. Поэтому, нельзя однозначно утверждать, что использование словоформы или словосочетания несомненно свидетельствуют о различиях в мыслительной актуализации когнитивного понятия. Вполне возможна импликация подобного акта. Хотя, чаще всего речь можно вести о недостаточной (неявной) экспликации.

Очень интересной нам представляется идея А.Лосева о том, что за суждением стоит не мысль как совершенно особая онтическая сущность, но все то же когнитивное понятие (эйдос - в терминах Лосева). Своеобразие лосевской идеи состоит не столько в нивелировании функциональных и структурных различий между понятием и мыслью (несомненно наличествующих), сколько в главном обосновывающем факторе такого нивелирования. Это предположение о том, что когнитивное понятие, используемое в речемыслемильном процессе, пребывает в состоянии "подвижного покоя" (Лосев,1990б:108). Данная идея позволяет несколько иначе интерпретировать все теоретические постулаты, связанные со структурой и функционированием сознания. И прежде всего это касается смещения акцента квалификации мышления с действия на состояние. Мысль, таким образом, это то же когнитивное знание памяти, но в состоянии возбуждения, в состоянии взаимодействия понятий, актуализации их связей и отношений или установления новых. Но процесс этот - не целенаправленный, не подконтрольный (во всяком случае в значительной степени), вневольной, произвольный. Нельзя себя заставить думать. Равно, как нельзя себя заставить не думать. Мы можем лишь выхва-

тивать из мышления определенные элементы и переводить их в вербальную сферу. В свое время И.Сеченов отмечал, что "сочетание элементов впечатлений в группы и ряды, равно как различение сходств и различий между предметами, делается само собой" (Сеченов, 1953:314). А.Залевская в развитие этой мысли пишет: "Процесс построения образа результата деятельности (интенции, мысли - О.Л.), по всей видимости, протекает как неосознаваемая психическая деятельность (точнее, все же было бы сказать "состояние" - О.Л.) и осуществляется в универсальном коде (т.е. невербально - О.Л.)" (Залевская, 1990:61). И то, что некоторым людям "как-бы" удастся думать целенаправленно, свидетельствует скорее об их умственной цельности, общей целенаправленности, опыте, либо о том, что ученые зачастую изучают не мышление, а речь, которая, в отличие от мышления, представляет из себя собственно деятельность. Несвязанность мыслительных состояний с речью (их неизоморфность) подтверждаются множеством фактов невладения речью (культурой речи) при неординарном, творческом мышлении или, наоборот, блестящего владения словом в сочетании с абсолютной шаблонностью и непродуктивностью мышления. Одним из аспектов рассматриваемой проблемы является вопрос о соотношении смысла, содержания высказывания и смысла, значения составляющих его словоформ. "Даже самое поверхностное рассмотрение соотношения смысла высказывания и значения составляющих их слов показывает, что информация, передаваемая высказыванием, как правило, намного шире, чем информация, передаваемая каждым элементом высказывания по отдельности, и, кроме того, не всегда соответствует сумме информативных значимостей составляющих высказывание слов" (Беляевская, 1987: 55). Сказанное требует некоторых замечаний методологического плана. Интерпретация данного положения всецело зависит от методологической установки. Судя по всему, Е.Беляевская не делает разницы между словом и словоформой, поскольку предполагает факт наличия слов в высказывании в качестве составных. В таком

смысле всплывает противоречие. Объем значения слов, из которых "состоит" высказывание, конечно же значительно шире, объема содержания и смысла высказывания, так как в высказывании выражен лишь некоторый аспект знания об объекте речи, а не весь комплекс знаний о нем. В противном случае нам хватало бы просто называть слова и не было бы необходимости долго и многословно разъяснять свою просьбу, желание в виде целых текстовых блоков, монологов. Последнее обстоятельство как раз и свидетельствует в пользу видения высказывания не как совокупности слов, но как совокупности словоформ и словосочетаний (по структуре). По смыслу же, высказывание - не сумма значений слов или словоформ (и здесь Е.Беляевская абсолютно права), но реализация речевого кодирования интенционального содержания, в ходе которого были образованы словосочетания и словоформы. Примеры, приведенные автором там же только подтверждают эти методологические выкладки: "Вы придете завтра" (приказ) или "У вас есть ручка?" (просьба одолжить).

И здесь возникает еще одна, ранее сокрытая проблема: что представляет собой процесс восприятия содержания речевого произведения, т.е. процесс понимания мысли говорящего слушающим.

Какой бы простой и очевидной не казалась бы на первый взгляд мысль говорящего, заключенная в содержании его высказывания, практически нет никаких шансов понять ее совершенно адекватно. Для этого необходимо не только иметь адекватную языковую систему в сознании (что уже само по себе невозможно), но и обладать адекватной когнитивной системой сознания (адекватными понятиями, эмотивными, волевыми и сенсорными механизмами). Нереальность этого очевидна. Поэтому мы склонны считать процесс восприятия речи не механическим декодированием чужого речевого произведения, но построением своего речевого произведения на базе внешних речевых сигналов, поступающих по сенсорным каналам (слух, зрение, осязание). У слушающего весьма ограничены возможности идентификации чужой речи из-за ее линейности во времени и пространстве

(особенно трудно воспринимать устную литературную речь). Поэтому слушающий пытается компенсировать эти ограничения нахождением ключевых моментов чужой речи. Причем это касается не только ключевых слов, но и ключевых элементов синтаксирования, что позволяет слушающему параллельно разворачивать свою версию стратегии синтаксирования говорящего. Отсюда столь частые случаи "угадывания", "забегания", "прогнозирования" еще не произнесенного говорящим, что можно в духе Канта определить как трансцендентальную апперцепцию. Н.Жинкин для этого использует термин "упреждающий синтез" (Жинкин,1958), П.Анохин (Анохин,1978) - "предупредительное приспособление" или "опережающее отражение", а И.Зимняя (Зимняя,1991:86) - "механизм вероятного прогнозирования". Н.Трубецкой по этому поводу писал: "Возможность недоразумений, как правило, крайне незначительно, главным образом потому, что при восприятии любого языкового элемента мы обычно уже заранее настраиваемся на определенную, ограниченную сферу понятий и принимаем во внимание только такие лексические элементы, которые принадлежат этой сфере" (Трубецкой,1960:300). Столь же часты случаи непонимания из-за неверного прогнозирования речи говорящего со стороны слушающего, т.е. из-за неверно избранной стратегии синтаксирования. Важная и очень частая причина непонимания лежит в самой онтологической сущности мысли, языка и речи.

Порождение высказывания - это сложный переход из сферы невербальных знаний, чувствований, аффектов и эмоций в сферу кода коммуникации. Язык далеко не покрывает собой код коммуникации человека. Это лишь одно из средств общения. Само онтологическое различие сгустка ассоциаций, которыми являются процессы невербального мышления как состояния, и кодифицированной линейной структуры, каковой мы представляем себе речь, создает непреодолимые преграды для адекватного перенесения информации с невербального сознания в языковой (или какой-либо иной) код.

Речь не является передачей мысли или самой мыслью. Путь от интенции и интенционального содержания к содержанию высказывания или текста долог и сложен. Чисто гипотетически можно предположить, что у говорящего появилось одно ясно осознаваемое желание по поводу необходимости передать кому-либо некоторую одну информацию. Уже сама постановка проблемы показывает иллюзорность и натянутость всех выводов относительно адекватности выражения интенционального содержания. В ходе оценки ситуации общения (места, времени, условий, состояния говорящего или адресата) вполне мог произойти сдвиг как в плане выбора средств (моделей и знаков), так и в самом интенциональном содержании. Мог измениться и характер интенции. При этом интенция-1 и интенциональное содержание-1 могли быть сняты, а могли и остаться в "поле зрения" речевых механизмов. Во втором случае мы получаем весьма усложненную картину содержания будущего высказывания (текста), что может вызываться сложностью эмоций, аффектов, чувств, двойственностью ситуации или оценки этой ситуации, особенностями характера говорящего и под. Следующее явное смещение в характере интенции или в ее содержании может произойти во время выбора кода коммуникации и типа речевой деятельности (если избран языковой код). Не следует сбрасывать со счетов фактора паралингвистических средств коммуникации, которые также могут влиять на стратегию синтаксирования в ходе экспликации интенционального содержания. Специфика языкового или другого кода может поставить перед говорящим ряд препятствий для выражения мысли. Это и становится причиной внесения корректив в интенциональное содержание. Может измениться и сама интенция. Оценка знаковых и модельных возможностей языка относительно данной мысли и есть внутреннее речепроизводство, вернее его начальная стадия. С этого момента мы можем говорить уже о речевой интенции, а не когитативном невербально-мыслительном смысле. Далее, в ходе выбора модели дискурса, модели высказывания, моделей синтаксического развертывания (особенно на этом этапе), а

также выбора моделей словоформ могут происходить очередные изменения интенционального содержания. Кроме всего прочего, интенция и ее содержание могут изменяться в ходе коммуникации и в зависимости от реакции воспринимающего. Слушающий активно участвует не только в собственном со-порождении речи, но и в порождении речи говорящим, т.к. активно реагируя на речь собеседника, оказывает влияние на процессы речепроизводства у говорящего. Если бы мысль осуществлялась в слове или хотя бы выражалась в нем, не было бы высказываний, вроде "я не то имел в виду", "я неудачно выразился", "я хотел сказать...", "вы меня не так (неправильно) поняли", "я не знаю, как это сказать", "у меня нет слов", "я не могу этого выразить словами", "я сказал, не подумав", "думать нужно, когда говоришь", "сначала подумай, потом скажи", "ляпнул, не думая", "учитесь выражать свои мысли". Именно несоответствие начальной и последующих интенциональных содержаний и содержания поверхностного речевого произведения приводят к необходимости вносить поправки в сказанное ранее, уточнять, пояснять, толковать сказанное, разъяснять свою позицию. Мысль не только не осуществляется в слове, но искажается в нем, огрубляется, становится ложной (вспомним классическое суждение А.Потебни). Следовательно, речь - не мысль, но лишь сообщение о мысли.

С другой стороны, нельзя нарекать на то, что является онтологическим свойством мысли и речи. Ведь если бы мысль совпадала с высказыванием, не было бы потребности создавать целые тексты, зачастую раскрывающие некоторую главную мысль, которую кто-то другой сумел бы выразить в слове или афоризме.

Наконец, следует иметь в виду, что мы нарочно сильно упростили процесс. Не может существовать одно интенциональное содержание, одна мысль. Ничего ОДНОГО, оторванного от целого ряда сходного и смежного, не бывает, тем более в предикативной сфере, т.е. в сфере построения речемыслительного континуума. Отдельность, единичность - свойство субституции (а, значит, памяти и языка). Ес-

тественно, различные интенции и их содержания взаимовлияют друг на друга в ходе речепроизводства, что также вносит коррективы в процесс экспликации некоторой мысли.

Сказанное об изменяющихся интенциональных содержаниях не ново. Можно встретить подобные размышления и у других ученых. Так Т.Ахутина, например, четко различает мотив и коммуникативное намерение, то "О ЧЕМ" будет говорить говорящий и то, "ЧТО" он будет об этом говорить (См.Ахутина,1989:60). Т.Ахутина приводит пример афазии, при которой больной в силу нарушений оперативной памяти неверно стыкует в грамматическом отношении части усложненного каузального высказывания: "Полное и широкое признание научных заслуг Ломоносова получили только в советское время" (См.там же,187). По этому поводу хотелось бы заметить, что подобного рода ошибки сплошь и рядом встречаются в обыденной, а также в устной литературной речи. И причина здесь не только, и не столько в функциональных нарушениях оперативной памяти. Причины кроются в самой природе речепроизводства. Истолковать этот пример можно трояко: либо во время поверхностного синтаксирования были внесены коррективы в интенциональное содержание (вместо первичного топика "признания", топиком были избраны "заслуги"), либо при топике "заслуги" (который в результате и оказался психологическим подлежащим) при поверхностном синтаксировании был допущен сбой перевода топика в агенс (и в агенс был переведен пациенс), либо, что вероятнее всего, при переводе топика "заслуги" в агенс произошел сбой из-за того, что в роли сказуемого выступило клише "получить признание" и при дистантном произнесении, да еще в препозиции к агенсу "заслуги", часть сказуемого ("мнимый пациенс" - "признания") ошибочно был квалифицирован как агенс. Это очень распространенный сбой, связанный, во-первых, со слабым владением нормами литературной речи (где чаще всего используются такие сложные построения), а во-вторых, - с нарушениями в моделях высказывания и моделях синтагм.

Аналогичные процессы происходят и при попытке со-породить слушающим содержание речи говорящего. Содержание его текста (высказывания) также постоянно подвергается коррекции и изменяется. Очень часто слушающий, неверно построивший стратегию со-порождения, оказывается в семантическом тупике именно из-за того, что сам, лично для себя построил речевое сообщение говорящего и не может соотнести его со своей оценкой ситуации, либо, наоборот, построил его "под" свою оценку ситуации, которая неадекватна оценке ситуации говорящим.

Приведем еще один пример из наблюдений Т.Ахутиной, который также попытаемся интерпретировать в структурно-функциональном ключе: "Иван обещал Виктору, чтоб он ушел". Фраза, при всей ее нормативно-литературной безграмотности, по модели довольно частотна в обыденной речи и вполне может быть правильно считана воспринимающим. Предположим, говорящий имел в виду чье-то (Иваново) обещание уйти, но в силу ли функциональных нарушений или каких-либо других причин была неверно избрана модель каузальности (вместо изъяснительности - желательность). Второй вариант - некто (Иван) просил Виктора, чтобы тот (Виктор) ушел. В этом случае неверно был избран знак уже в ходе перевода с коммента - в предикат. Причины такой замены при желании могут быть найдены. Их источник в семантике категорий и полей глаголов в информационной базе языка. Однако речь не о том. В случае, если слушающий из предшествующего речевого или симпрактического контекста знает, что уходить должен Иван, он вполне может проигнорировать всю вторую часть высказывания (во всяком случае, не заметить ошибки). Если же он знал, что уходить должен Виктор, он мог не заметить ошибки в выборе глагола. Аналогичные случаи можно услышать в повседневной речи, но лишь внимательное (научное) речевое восприятие обнаруживает нарушение. Вот пример из интервью по телевизору: "Не все хотели забастовки. Подземники первыми взяли реванш в этом деле" (вместо "инициативу"). Сходны, хотя и не анало-

гичны примеры из телепередач на украинском языке: “Це футбол. Ми любимо його за непередбачливість” (вм. “непередбачуваність”), “за сприйняттям франко-італійської фірми” (вм. “сприянням”), “уряд здібний вирішувати найскладніші проблеми” (вм. “здатний”). В этих примерах сбой происходил также на уровне выбора знака. При этом на выбор единицы (явно паронимичной) повлияло слабое знание некоторыми украинскими телекомментаторами украинского языка, в результате чего в их идиолекте значительно большей функциональностью обладают чисто фонетические значения. Такое же наблюдается и у детей, чей интерес к фонетической стороне языка гораздо выше, чем у взрослых. Показательно, что многие зрители, особенно из числа моногlossантов (носителей исключительно обыденно-мифологической формы языка) ошибок не замечали и прекрасно понимали, о чем речь. В другом случае, нам пришлось наблюдать ситуацию, когда многие вполне грамотные люди, читая лозунг на территории полевого стана в Казахстане: “Уборку урожая - высокие темпы и качества”, поначалу, при беглом прочтении, не замечали ошибки. А причина все в том же. Слушающий (читающий) не воспринимает именно тот текст, который ему пытается передать говорящий (пишущий). Он порождает свой, согласно самостоятельно выработанной при оценке коммуникативной ситуации стратегии речепроизводства, а также согласно своих моделей и своей системы знаков. Однако большой ошибкой было бы утверждать, что конкретные формы и конструкции, образованные говорящим, не имеют никакого значения для говорящего. Механизмы выбора моделей ориентируются не только на собственную стратегию, но и на информацию, поступающую по сенсорным каналам (слуховым и зрительным), т.е. этот выбор постоянно находится под контролем механизмов коррекции (если ситуация общения нормальная). И все же, зачастую именно механизмы коррекции могут привести к отрицательному снятию информации со слов говорящего. Так, украинская фраза: “Точне визначення, яке відповідає, з точки зору мовця, критеріям науковості” из-за неверного

расположения вводных слов может быть интерпретирована, т.е. порождена слушающим как "точно визначення, яке відповідає точці зору мовця...", что делает дальнейшую коррекцию затруднительной. А ведь именно коррекция слов говорящего привела к интерпретации вводных слов как дополнения. Подобная интерпретация была вызвана тем, что, сориентировавшись на появление клише "точка зору" после глагола "відповідає", механизмы коррекции повлияли на выбор модели развертывания "процесс - дополнение" (глагол - имя в Д.п., поскольку глагол "відповідати" ориентирован на управление именем в Д.п.). Верно же фраза должна быть интерпретирована: "Точно визначення, яке, з точки зору мовця, відповідає критеріям науковості". Отсутствие глагола после союза ориентирует слушающего на вводность конструкции "з точки зору". Специфика структурно-функционального подхода к проблеме понимания речи состоит в учете двух, казалось бы, взаимоисключающих факторов:

а) содержание высказывания (СФЕ, текста) не равно сумме значений их составных (иногда даже с учетом речевых актуализаций), и, вместе с тем,

б) нет ничего лишнего в высказывании (дискурсе, тексте), так как каждый элемент в силу своей языковой семантики влияет на содержание интерпретируемой единицы.

Здесь необходимо продемонстрировать различия между функциональной и феноменологической методологией интерпретации речевого произведения. Для этого мы рассмотрим пример, приведенный А.Лосевым в "Философии имени" - суждение (в нашей терминологии - высказывание) "Все люди смертны" (кстати, анализируемое также Кантом в "Критике чистого разума" и Б.Расселом в "Человеческом познании"). С точки зрения А.Лосева это суждение отражает "полагание" эйдоса "люди" в сфере "смертности" (См.Лосев, 1990б:111). Чтобы понять, что для Лосева представляет из себя подобное "полагание", достаточно обратить внимание на его рассуждения о выделении эйдоса в меоне (в нашей трактовке - ког-

нитивного понятия в системе понятий). Так, эйдос "живое существо" выделяется в меоне "бытие", а эйдос "человек" в меоне "живое существо". Само по себе это имеет прямое отношение не столько к рече-производству, сколько к устройству языковой системы знаков либо когнитивной понятийной системы информации, о чем мы говорили в предыдущих главах. Полагание "людей" в сферу "смертности" предполагает некоторое необычное, ненормативное соположение эйдосов (понятий), не связанных узами включения. Признание единичности смысла высказывания, уравнивания высказывания содержания и глубинного смысла - мысли (эйдоса в состоянии подвижного покоя), неразличение понятийного смысла (эйдетического, когнитивного) и языковых значений ("смерть", "смертный", "смертность") - явные признаки феноменологического, структуралистского понимания речи как языка в действии, линейной формы языка. Вербальные знаки в феноменологической методологии представляются некоторыми самостоятельными, самоценными когнитивными явлениями (а в лосевской трактовке приобретают онтологическую бытийность в имени как единстве явления и его названия). С функциональных же позиций трактовка предложенного суждения может быть несколько иной. Прежде всего, знак в этой системе координат представляет собой не объективную реальность, а функцию психики-сознания носителя знаковой системы. И функция эта состоит в ее направленности на:

- а) роль коммуникативного передатчика информации и
- б) роль экспликатора интенции.

Поэтому, одно использование знаков в речевой форме еще не является достаточным условием, чтобы толковать содержание речевого произведения, не выходя за пределы предполагаемого языкового значения данных знаков. В этом смысле высказывание "Все люди смертны" может обладать гораздо более широким спектром трактовки, чем мысль о смертности людей, появившаяся из простого соположения эйдоса (когнитивного понятия) "люди" и эйдоса (когнитивного понятия) "смертность".

Прежде чем произнести эту фразу, говорящий актуализирует в памяти образы и знания об умерших, что уже само по себе вызывает целый ряд ассоциаций рационального, эмотивного, волюнтативного и сенсорного свойства - от воспоминаний о характере, внешности, имени, поведения умершего до появления чувства страха, обиды или грусти по поводу неминуемой смерти собственной или других людей. Только все вместе это может считаться мыслью, вызвавшей к жизни высказывание "Все люди смертны". Уже одно это не позволяет нам однозначно полагать, что за данным высказыванием скрывается элементарное положение двух эйдосов (когнитивных понятий). Кроме того, не следует упускать из виду, что такая фраза (как и любая другая) появляется не сама по себе, но инспирируется внешними факторами (смертью человека, посещением кладбища, чтением книги, общением на подобную тему, исследованием в области философии жизни и т.д.). Следовательно, в содержании (а, тем более, в смысле) речевого высказывания будет отражена и специфика коммуникативной интенции. Подобная фраза, наконец, может быть омонимичной и соотноситься как с мыслью о том, что рано или поздно все люди умрут, так и с мыслью о том, что люди тем и отличаются от богов, что они умирают, или с мыслью о том, что смерть какого-то конкретного человека закономерна, следовательно не стоит сильно огорчаться. Это может быть философское рассуждение, научное положение, ироничное замечание. В конце концов, это высказывание вообще может быть формальной формулой выражения соболезнования. Следовательно, с точки зрения функциональной лингвистики, при интерпретации чьего-либо высказывания необходимо ориентироваться не только на языковое значение составных, но и учитывать все психолингвистические и социолингвистические особенности коммуникативного акта. Очень часто основная мысль (основное желание) может так и не эксплицироваться.

Так, фраза, произнесенная в адрес грязного ребенка "Пойди, посмотри на себя в зеркало", вполне вероятно была порождена желанием

обратить внимание ребенка на то, что ему необходимо умыться. Аналогичны фразы: "Извините, здесь свободно?" (подразумевается "можно ли здесь сесть"); "Какие у тебя планы на вечер?" (может подразумеваться "Пойдешь ли ты со мной?" или "Будешь ли ты дома?"); "Ты еще здесь?" (в смысле "Уходи побыстрее"), "Не бей посуду" (говорят, услышав звук удара тарелки или чашки друг о друга, в смысле "Аккуратнее мой посуду, а то разобьешь") и множество подобных. Пожалуй, только феноменологи с их холизмом остались на сегодняшний день верны идее абсолютного единства смысла и возможности полного взаимопонимания. В свое время А.Лосев выразил это следующим образом: "Мы же должны найти такой момент в слове, который бы исключал не только индивидуальную, но и всякую другую (социальную? этническую? половую? возрастную? культурологическую? - О.Л.) инаковость понимания и который бы говорил о полной адекватности понимания и понимаемого" (Лосев, 1990б:41). Гадамер идет еще дальше в сторону мистификации феномена взаимопонимания: "Взаимопонимание по какому-либо поводу, которое должно быть достигнуто в разговоре, необходимо означает ..., что в разговоре вырабатывается общий язык. Это не просто внешний процесс подгонки инструментов; неверно будет даже сказать, что собеседники приспособляются друг к другу, скорее в получающемся разговоре они оказываются во власти самой истины обсуждаемого ими дела, которая и объединяет их в новую общность" (Гадамер, 1988:445). И далее: "Все это означает, что у разговора своя собственная воля, и что язык, на котором мы говорим, несет в себе свою собственную истину" (Там же, 446) [выделения наши - О.Л.].

Примеры свидетельствуют о том, что нельзя полностью уравнивать понятия содержания речевого произведения и его когитативного смысла, а также его интенционального содержания или мысли, его породившей. Однако, с другой стороны, такое отрицание феноменалистско-структуралистского понимания содержания речевых единиц ни в коем случае не делает структурно-функциональную лингвистику в методологическом отношении более позитивистской или рационали-

стской. Разведение понятий вербального и невербального содержания вовсе не значит, что содержание речевой единицы определяется полностью только ситуацией общения и языковое значение к нему не имеет никакого отношения. Как мы уже отмечали выше, содержание (а не смысл) высказывания как раз лежит в плоскости актуализации языковых знаков. Поэтому при лингвоанализе речи необходимо, в первую очередь, идентифицировать знаки языка, лежащие в основе речевых знаков, а затем квалифицировать характер их актуализации. И лишь только после этого нужно интерпретировать содержание высказывания с позиции его смысла (когнитативного содержания).

Отношения между информационными блоками в области сознания (понятиями, представлениями, эмоциями и т.д.) и между единицами языка в ходе речемыслительного процесса неизоморфны. Нельзя однозначно переносить характеристики языковых единиц на понятия, равно как и характеристики высказываний (СФЕ или текстов) на мышление. Мы считаем, что, в отличие от линейных форм речи, мышление не представляет из себя соположение отдельных единиц. Только речевые единицы, производные от языковых, обладают характеристикой парадигматической дискретизации. Достаточно посмотреть на любое речевое произведение, чтобы убедиться, что оно парадигматически отстранено, выделено из своей языковой парадигмы. Говоря "я читаю книгу", мы употребляем знаки изолированно от их парадигматических классов. Более того, мы употребляем словоформы отстраненно от других словоформ, репрезентирующих этот же языковой знак. Именно физиологическое свойство внешней речи - последовательная линейность - влияет на семантику речевых единиц. В сознании такого препятствия нет. Мы можем мыслить знаки целиком, в совокупности их линейных связей в мыслительном континууме. Таким образом мы полагаем, что линейность мыслительного континуума и линейность речевого континуума не идентичны. Последовательная (прямая) линейность речевого континуума - это лишь одно из проявлений полевой линейности мышления. Производя мыс-

лительные операции (или, что точнее с функциональной методологической точки зрения, пребывая в состоянии мышления), мы не вычленим когнитивные понятия из системы понятий (ибо их некуда отторгать), но лишь инактивируем их парадигматические отношения в системе, актуализируя, напротив, их референтивные связи с другими понятиями. Так мы подвергаем понятия когнитивной активизации, переводим их из состояния ментального покоя в состояние подвижного покоя. Именно так мы преобразуем инвариантный смысл в фактуальный. При этом когнитивная рациональная информация в мышлении не специфицируется в стилистическом отношении и не отстраняется от сенсорно-эмпирической, аффективно-эмотивной и образной информации.

Последние положения представляются нам очень важными, так как имеют непосредственное отношение к проблеме механизмов речевой деятельности. Следует обратить внимание на тот факт, что исследователи феномена внутренней речи практически никогда не говорят о внутренней речи в отношении слушающего. Неужели процесс восприятия зеркально обратен процессу порождения? Неужели слушающий переводит внешнеречевые синтаксические конструкции в конструкции смыслового синтаксиса, а затем в структуры внутренней речи (топик-коммент структуры)? А что же тогда такое понимание? Подобная картина кажется нам невероятной. Скорее всего и в случае порождения, и в случае восприятия речи мы имеем дело с работой одних и тех же механизмов - механизмов системы моделей речевой деятельности, описанной выше. Слушающий производит точно такой же выбор модели ситуации и модели текста, поскольку наравне с говорящим является активным участником коммуникативного процесса (даже иногда не желая этого). П.Флоренский писал: "... слушая - мы тем самым говорим, своею внутреннюю активность не отвечая на речь, но прежде всего ее в себе воспроизводя, всем существом своим отзываясь вместе с говорящим на зримые впечатления, ему данные, ему открываемые..."(Флоренский,1990: 35). Цицерон говорил:

"Cum tacent - clamant", т.е. "когда молчат - кричат". Флоренский очень четко и вместе с тем наглядно объяснил принципиальное различие между феноменалистской и менталистской методологиями в лингвистике, т.е. между описательными и объяснительными подходами: "Там где наиболее возвышенным считается внешнее, где предметом религиозных переживаний признается данность мира, пред нашим духом расстилающаяся, основным в религиозной жизни провозглашается зрение. Там же, где, наоборот, наиболее оцениваются волнения человеческого духа, и они именно почитаются наиболее внятными свидетельствами о Безусловном, - там верховенство утверждается за слухом, - слухом и речью, ибо слух и речь - это одно, а не два, - по сказанному" (Флоренский, 1990:37).

С первых же услышанных слов слушающий устанавливает или пытается установить стратегию синтаксирования и семантическое поле ИБЯ, в рамках которого будут черпаться единицы (знаки) для заполнения синтаксических конструкций. Далее все происходит точно так же, как и в случае порождения речи. Здесь уместно вспомнить слова В.Одоевского из "Русских ночей": "... убежден, что говорить есть не иное что, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово" (Одоевский, 1913:43). Слушающий со-порождает речь. Он как бы проверяет на себе слова говорящего в смысле того, как бы это сказал он сам. Что же касается генерального отличия - незнания содержания интенции говорящего, которая направляет процесс речепроизводства, то это компенсируется механизмами коррекции избранной стратегии, опирающегося на дальнейшие высказывания говорящего. Т.е. опять мы встречаем все те же механизмы коррекции, но только работающие в другом ключе. И.Зимняя приводит пример упреждения фразы "Женщина закричала от...", на основе которого пытается провести классификацию гипотез (прогнозов) на модельные и знаковые (Зимняя, 1991:87). Речь во всех случаях следует вести о модельном прогнозировании, так как семантика речевого знака определяется всегда синтаксической стратегией, а понимание становится возможным после идентификации рече-

вого знака с соответствующим ему языковым знаком. Если синтаксическая стратегия избрана (спрогнозирована) верно, то из системы информационной базы языка будет избран языковой знак, аналогичный знаку, употребленному говорящим. Достаточно изменить приведенную фразу, например, "Женщина закричала...", как сразу же снижается степень семантического прогнозирования, поскольку вариативность дальнейшего модельного развертывания подобной фразы увеличилась. Большое значение для вероятностного прогнозирования в речевой деятельности имеет частотность использования модели или знака индивидом. Кроме этого существенно влияет на процессы со-порождения речевого высказывания воспринимающим ситуативный симпрактический контекст. Нельзя себе представить речевую деятельность и речепроизводство, в частности, вне такого контекста. Даже чтение или писание предполагают некоторые внешние факторы воздействия. Мы не можем согласиться с М.Салминой, что язык образует систему кодов "которые можно понимать, даже не зная ситуации" (Салмина, 1988:20). Если некто, принимается "понимать" некоторое речевое высказывание (поскольку язык понимать нельзя, он непосредственно неосязаем), то он неминуемо попадает в "ситуацию общения". Другое дело, какова эта ситуация. Но, в любом случае, понимание, равно как и выражение, может происходить только в некоторой коммуникативной ситуации. Всякое речепроизводство собственно и начинается с оценки ситуации, в зависимости от которой избирается модель построения текста. Мысль, высказанная Салминой, весьма показательна для феноменологически ориентированных лингвистов, которые пытаются все богатство содержания и смысла речи вывести из пред-данной системы, откуда они просто изымаются. Противоположны, но столь же неприемлемы для функционализма, и взгляды рационалистов, пытающихся все свести к контекстуальной уникальности (референциализм). Так, один из апологетов рациональной методологии лингвистики Джон Остин писал: "смысл, в котором слово или фраза "имеют значение", произведен от смысла, в котором "имеют значения" предложения... Знать значение, которое имеют слово или фраза, значит знать значения предложений, в

фраза, значит знать значения предложений, в которых они содержатся" (Остин, 1993:106). При этом Остин забывает сказать, что речь идет не о словах как языковых знаках, а о словоформах (или не желает этого говорить, поскольку в его построениях нет места инвариантной системе), и "знать значение предложения" мы, в свою очередь, можем лишь в том случае, если обладаем языком (в т.ч. системой воспроизводимых информационных единиц - языковых знаков).

Вместе с тем, нужно учитывать, что т.н. "симпрактический" контекст не определяет собой тип речепроизводства и не гарантирует адекватности со-порождаемого содержания исходному. Причина этого кроется в уже упоминавшейся выше субъективности восприятия. Человек воспринимает не то, что видит, слышит и осязает, но то, что хочет и может видеть, слышать и осязать. Особенно это касается детей и людей, слабо владеющих языком коммуникации. И.Сеченов писал, что "для того, чтобы символическая передача фактов из внешнего мира усваивалась учеником, необходимо, чтобы символичность передаваемого и по содержанию, и по степени соответствовала происходящей внутри ребенка, помимо всякого обучения, символизации впечатлений" [выделение наше - О.Л.] (Сеченов, 1953:290) (вспомним аналогичную мысль Л.Толстого, которую мы приводили выше). Поэтому, зачастую симпрактический контекст игнорируется воспринимающим в пользу собственного тезауруса. Иногда же паралингвистические средства речевой деятельности говорящего просто неверно интерпретируются слушающим. Поэтому термин "симпрактический контекст" имеет смысл лишь как социально-психологическое построение в связи с внешнепредметными факторами коммуникации.

Говоря о механизмах порождения и репродуктивного со-порождения речи, нельзя оставить без внимания такую характеристику, как функциональная ориентированность. Речь идет о двух основных функциях языка - коммуникативной и экспрессивной (согласно Пражской школе). Соответственно этим двум функциям речевая деятельность может быть коммуникативно или экспрессивно ориентиро-

ванной. В первом случае - главная цель говорящего быть понятым, во втором - выразить собственные мысли. Э.Сепир выделял два типа искусства по реализации той или иной семиотической функции: “обобщающее, внеязыковое искусство, доступное передаче без ущерба средствами чужого языка” и “специфически языковое искусство, по существу не переводимое”, причем “оба типа литературного выражения (если применять эту оппозицию к художественной литературе - О.Л.) могут быть и значительны, и заурядны” (Сепир, 1993:196-197). Владимир Заика применительно к автору художественной речевой деятельности (как специфическую черту идиостиля) для различения этих двух ориентаций использует термины интралингв и экстралингв (См. Заика, 1993а). Эти термины вполне применимы и к ученым (и философам), а, возможно, и вообще ко всем языковым субъектам. Обычно эти императивы речевой деятельности соразмерны. Однако, встречаются и сдвиги в одну или другую сторону, особенно в искусственном (художественно-эстетическом или научно-теоретическом) режиме функционирования моделей речевой деятельности. В обыденно-мифологической речевой деятельности обычно преобладает коммуникативный императив, так как чаще всего человек говорит не то, что мыслит и даже не то, что желает сказать, но то, что хотят от него услышать партнеры по коммуникации. В “слове”, возвращаясь к формуле Л.Выготского, таким образом, “совершается” не мысль, а лишь ее отдаленные отголоски. Экспрессивная и коммуникативная функции языка обратно пропорциональны. Чем более стремится человек к самовыражению, тем менее его понимают окружающие. Чем более он стремится быть понятым, тем менее его мысли согласуются с его словами.

Актуальное членение предложения, о котором писал В.Матезиус, имеет отношение не столько к содержанию предложения, сколько к его смыслу. Но плодотворная идея Матезиуса может быть развита как в отношении смысла предложения, так и в отношении его содержания. Более того, она может и должна быть применена ко всему

процессу речевой деятельности, а не только к образованию предложений. Однако, в первую очередь, следует остановиться на том, как сам В.Матезиус применял идею о рема-тематическом устройстве высказывания. Разделяя грамматическую и актуальную структуру предложения, Матезиус подчеркивал, что грамматическая структура имеет прямое отношение к системе языка (а, точнее, к системе моделей построения предложений), в то время как функциональная перспектива или актуальная структура касается только данного речевого знака, взятого в условиях своего конкретного существования. А это не что иное, как разведение содержания и смысла речевого знака. Содержание придают предложению языковые знаки и модель внутренней формы, на основе которых оно было создано. Смысл же предложению придают модальные мыслительные состояния, эксплицировать которые и призвано данное предложение. Было бы большим заблуждением считать, что содержание предложения - это его эксплицированная языковыми средствами семантика, а смысл - имплицитная. Если некоторая мысль никак не эксплицирована в речевой единице, значит ее там и не следует искать. Даже внешняя ассоциированность смысла с речевой единицей оставляет след в ее (единицы) структуре. Поэтому смыслом следует считать не имплицированную, а неявно эксплицированную информацию, экспликация которой не осуществляется по строгой языковой модели, но подчиняется актуальным потребностям ее выражения (мысль эта была нам подсказана новгородским лингвистом В.Заикой). Средствами экспликации речевого смысла могут быть порядок слов в высказывании в сочетании с интонацией и другими просодическими средствами, порядок высказываний в текстовом блоке, порядок текстовых блоков в тексте. Для словоформ таким средством установления функциональной перспективы может быть эмфатическое произношение или намеренное искажение плана выражения - акустического образа, для словосочетания - интонационные средства и все тот же порядок слов. В некоторых случаях приемы экспликации смысла могут закрепляться

за одними и теми же речевыми средствами. Тогда можно говорить о появлении нового внутриформенного значения (морфологического или синтаксического) и о возникновении новой модели речепроизводства во внутренней форме языка. Такие случаи (например, когда интонация или порядок слов выражают не индивидуальный смысл, а служат закономерным языковым средством) нельзя смешивать с собственно смыслообразующей функцией тех или иных средств. Так, прямой порядок слов, как правило, не выполняет никакой дополнительной смыслообразующей функции. Зато обратный порядок уже несет определенную смысловую нагрузку. Впрочем, нельзя упускать из вида тот факт, что для разных моделей речепроизводства может в языке быть определен различный порядок сорасположения составных и различные правила интонирования. Вилем Матезиус совершенно верно подмечал в своей статье “О так называемом актуальном членении предложения”, что далеко не всегда порядок расположения подлежащего перед сказуемым может считаться прямым. Для некоторых глаголов (он их называет “экзистенциальными”, т.е. глаголами с семантикой бытийности) прямым порядком следования в высказывании является предшествование подлежащему: “Был (жил-был) один человек” (фраза “Один человек жил (был)” по меньшей мере странная). Поэтому, рассматривая семантику речевых знаков, следует четко различать в знаках экспликатory их смысла и экспликатory их речевого содержания, но не забывать при этом, что смыслообразующая функция всегда вторична. В первую очередь этот знак (или этот элемент знака) выполняет собственно функцию экспликации речевого содержания. Проще эту мысль можно выразить так: в форме речевого знака не может быть ничего, что так или иначе не было бы почерпнуто из совокупности языковых средств. Именно поэтому столь важен для лингвистики анализ содержательной структуры речевого знака.

Как мы уже отмечали выше, языковой знак в семантическом отношении двуаспектен (в нем наличествуют парадигматический и син-

тагматический аспекты) и трехчастен (состоит из категориальной, референтивной и сигнификативной частей). В семиотическом же отношении языковой знак двусторонен: в нем выделяются план содержания - лексическое значение и план выражения - внутрiformенное значение. Речевой знак также двучленен, но его двучленность не имеет прямого отношения к семиотическому устройству языкового знака. Рема-тематическая структура речевого знака не может быть прямо спроецирована на семиотическую двусторонность языкового знака, так как и в тематической, и в рематической его части могут присутствовать одновременно и элементы плана содержания, и элементы плана выражения, причем они не разобщены в семиотическом отношении. Существенным признаком, отличающим языковой знак от речевого в онтическом плане, является то, что языковой знак - это вербализованная часть инвариантного понятия, а речевой знак - это онтическая сущность, совершенно отличная как от актуального понятия или мысли, так и от языкового знака. Мы согласны с трактовкой М.Никитина языковых знаков как принципиально той же ступени познания, что и когнитивные понятия: "Языковые значения не представляют собой что-то содержательно отличное от понятий, не образуют особый концептуальный уровень сознания. По своей мыслительной природе они не специфичны. Отличие их от понятий происходит из ... отнесенности к знаку" (Никитин, 1988:46).

Структура когнитивного понятия и семантическая структура языкового знака явления изоморфны. Иначе и быть не может. Если языковой знак образуется на основе когнитивного понятия как его вербализованная часть, служащая для экспликации понятия в коммуникативном процессе, его семантическая структура неминуемо должна быть изоморфной структуре когнитивного понятия.

Речевой же знак эксплицирует актуальное понятие или мысль опосредованно, и этими посредниками являются языковой знак и языковая речепроизводная модель. Актуальное понятие или мысль, как мы отмечали ранее, содержат в себе как элементы, указующие на

когнитивную картину мира, так и элементы чисто когитативные (новую фактуальную информацию). Информация из актуального понятия или мысли, закреплённая в психике-сознании индивида в форме соответствующего когнитивного понятия и вербализованная в языке в форме языкового знака, частично реализуется в содержании речевого знака. Новая же фактуальная информация (дискурсивная, когитативная, ситуативная) лишь ассоциируется с речевым знаком, но не входит в его состав до акта знакообразования. Такого рода информацию мы определили выше как речевой смысл. Следовательно, речевой знак сам не является актуальным понятием или мыслью (или их частью), но лишь смежен им. Таким же образом речевой знак смежен и языковому знаку. Речевой знак - это экспликация некоторого актуального понятия или модального мыслительного состояния в коммуникативном потоке по правилам языка. Значит, он неминуемо должен совместить в себе как признаки языкового знака, на основе которого он создан и языковой модели, по которой он образован, так и признаки актуального понятия или мысли, которые он призван семиотически заместить.

Отсюда вывод: в коммуникативно-мыслительном процессе следует выделять три информационные онтические сущности: инвариантное когнитивное понятие (+ совокупность симилярных языковых знаков в качестве его составных) как единицу хранения ментально-коммуникативной информации, актуальное понятие (или мысль) и речевой знак как единицу речемышления. Кроме этого в данном процессе участвуют и алгоритмические единицы - мыслительные и семиотические модели деятельности (в т.ч. и модели внутренней формы языка).

Каково же семантическое устройство речевого знака, как соединены в линейную функцию все элементы его семантической и семиотической структуры?

Поскольку речевой смысл как невербальное состояние не входит в структуру речевого знака, составными структуры речевого знака

являются только речевое содержание и образ сигнала (акустический образ). В противовес языку, где все элементы знака иерархически соотнесены в системно-инвариантном семантическом отношении и вступают друг с другом в различные коррелятивные семиотические связи, линейные элементы речевого знака образуют самостоятельные двусторонние функциональные образования, совмещающие в себе семантический и семиотический принцип организации.

Мельчайшей функциональной семантической единицей речи является морф. Это чисто структурная единица, поскольку ни со стороны плана выражения, ни со стороны плана содержания не выступает в качестве самостоятельного элемента речи. Морфы (и морфные блоки) функционируют только в составе словоформы и содержат исключительно вербальную информацию о языковом знаке, на основе которого была образована данная словоформа (корневой морф, основа), или о моделях внутренней формы языка, по которым она была образована (форманты, флексии, формообразующие аффиксы). Таким образом, морф или морфный блок не является ни самостоятельной предикативной единицей речи, ни ее самостоятельной номинативной единицей. Номинативную или предикативную функцию в речи могут выполнять только самостоятельные знаковые речевые единицы, каковыми морфы не являются.

Мельчайшей номинативной единицей речи является словоформа, эксплицирующая в речи некоторое актуальное понятие, вербализованное в языковой системе некоторым словом. И в семантическом, и в семиотическом отношении словоформа как линейное образование состоит из морфов. Корневой морф, эксплицирующий часть значения языкового знака, может в составе основы выступать в качестве темы по отношению к флексии или формообразующим аффиксам как реме, эксплицирующей другую часть значения языкового знака, актуализируемую субъектом речи. При этом, как тематическая часть словоформы, так и ее рематическая части никак не специфицированы в семиотическом отношении. Роль ремы в пределах семантической

структуры словоформы выполняют чаще флективные и формообразующие морфы, тогда как основа словоформы чаще выступает в качестве темы. Ведь именно во флексии или формообразующем аффиксе содержится актуализированный (рематический) элемент морфологического значения (значение падежа, числа, наклонения, времени, лица). А это значит, что актуализированный элемент когнитивной семантики (лексического значения) находит свое выражение именно в том или ином грамматическом значении, в то время как в основе эксплицируется тематическая часть содержания словоформы. Наряду с внутренней структурной функцией, словоформа реализует в речи и ряд внешних структурных функций: в составе синтагмы (словосочетания), в составе высказывания или СФЕ, а также в составе текста. В этом смысле словосочетание как знак актуального понятия по своему смысловому составу членится на словоформы. Ядерная часть словосочетания (согласующий, управляющий элемент или ядро примыкания) обычно выполняет функцию темы, а подчиненный элемент (согласующийся, управляемый или примыкающий член) - функцию ремы.

Как словоформы в структурно-содержательном отношении членимы на морфы, а словосочетания - на словоформы, так и высказывания могут в структурном отношении разлагаться на словоформы и синтагмы. Здесь следует отдельно рассматривать структурно-содержательные отношения в грамматическом центре высказывания и отношения между грамматическим центром и другими членами высказывания, распространяющими его. В грамматическом центре роль темы обычно выполняет подлежащее, а роль ремы сказуемое. Остальные словоформы включаются в процесс распространения (синтаксического развертывания) грамматического центра в функции ремы, тогда как сам грамматический центр (или отдельный его компонент) выступает в качестве темы. Так же и в сложных речевых высказываниях (сложных предложениях), где функцию темы выполняет ядерный элемент сложноподчиненного предложения или один из

элементов сложносочиненного. Все остальные элементы модально характеризуют его либо в подчинительном плане (как придаточная часть), либо сочинительно (как распространяющий, развивающий элемент). Аналогичен принцип содержательного членения и предикативных речевых макроединиц - СФЕ и текстов, состоящих из последовательно сорасположенных высказываний. Это касается как внешнего (выразительного), так и внутреннего (содержательного) их структурирования, поскольку, как мы уже отмечали выше, речевые знаки совмещают свою семантическую и семиотическую структуру. Элементы плана содержания речевых знаков полностью коррелированы с элементами плана выражения. Поэтому содержание текста в структурном отношении вполне разложимо на соположенные элементы, являющиеся содержанием текстовых блоков (сверхфразовых единств), из которых состоит данный текст. Точно так же содержание текстовых блоков разложимо на линейно сорасположенные содержания высказываний и речевых периодов (сложных предложений), а эти последние вполне выводимы из содержаний входящих в их состав полупредикативных конструкций (в понимании В.Матезиуса), словосочетаний и словоформ. Но следует помнить, что все это касается только содержательной структуры речевых единиц и совершенно нерелевантно для их смысловой семантики.

Структура же смысла, возникающего в связи с порождением или восприятием речи, принципиально отличается от собственно содержательной структуры речи. Мы уже приводили примеры возможных расхождений объема речевого содержания и речевого смысла. Это различие не просто количественное. Смысл высказывания, текстового блока или текста тоже линейен, как и его содержание, но это качественно иная линейность. Эта линейность сродни полевой структуре психики-сознания, в которой семантические элементы линейно соположены одновременно огромному множеству таких же элементов. Принципиально так же оценивает различия в структуре речевого содержания и речевого смысла А.Бондарко: "Структура смысла не ко-

пирует структуру плана содержания текста, она не связана с определенной последовательностью элементов плана выражения” (Бондарко, 1978:103).

Наиболее интересна в этом отношении структура когнитивного смысла текста, поскольку она содержит в себе огромное количество мыслей, одновременная актуализация которых в оперативной памяти невозможна, а для долговременного хранения их в установленном текстом порядке и последовательности необходимо подключение специальных механизмов памяти. Для того, чтобы сохранить хотя бы ненадолго в памяти фактуальную информацию, мало просто закрепить текстуальные знания о предметах и явлениях, их свойствах и качествах так, как это происходит в категориальной структуре психики-сознания (ментальной картине мира). Следует помнить не только отдельные когнитивные понятия, пусть даже и в синтагматических отношениях друг с другом (как в тематической структуре психики-сознания). Прежде всего необходимо зафиксировать в памяти последовательность подачи информации в тексте, т.е. логику и динамическую структуру изложения. Поэтому в когнитивном смысле текста следует выделять вещественную и динамическую сторону. Первую можно вслед за В.Петренко называть ментальным пространством смысла текста, а вторую - когнитивным (или ментальным) сценарием смысла текста. Отдельные же текстовые блоки и высказывания в смысловом отношении призваны эксплицировать определенные участки этого ментального пространства и некоторые элементы такого когнитивного сценария.

В работах по когнитивной лингвистике, ставшей особенно популярной в последнее десятилетие, часто рассматривается гораздо большее количество слоев речевой семантики, чем это представлено у нас. Однако, при подобном членении и дроблении объекта никогда не следует забывать т.н. правило ”бритвы Оккама”. Введение всякого нового концептуального объекта следует тщательно обосновать как теоретически, так и методологически. Исходя из методологического функционализма,

мы полагаем, что имеет смысл в качестве критерия наивысшего уровня значимости учитывать именно семиотическую роль, которую выполняет данная речевая единица, т.е. выделять в семантике речи прежде всего информацию, содержащуюся в самой единице, в ее речевом оформлении (в ее лексико-эпидигматической, лексико-грамматической и фонетико-графической форме) - речевое содержание, а также информацию, которая дополнительно привлекается субъектом из сферы языка или из сферы актуального психомыслительного состояния - речевой смысл. И только последовательно произведя эту процедуру, можно проводить дальнейший анализ как содержания, так и смысла. При этом окажется, что далеко не всякая собственно вербальная информация, присутствующая в речевой семантике, непременно должна квалифицироваться как содержательный элемент, но может и должна быть отнесена на счет речевого смысла. В значительной степени это зависит от процедуры означивания некоторой интенции средствами языка в ходе речевой деятельности.

§ 2. Методологические проблемы речевой деятельности и структура внутренней формы языка

2.1. Составные речевой деятельности и их отражение в структуре внутренней формы языка. Режимы речевой деятельности и модели внутренней формы языка

Еще со времени постановки Фердинандом де Соссюром вопроса о разделении лингвистики на лингвистику языка и лингвистику речи этот тезис неоднократно подвергался критике, однако, как показало время, Соссюр видел дальше и глубже, чем его критики и его ученики. В этом парадокс феномена соссюрианства.

Вскрыв сущность различий между языком и речью и выдвинув на первый план феномен их единства в языковой деятельности, Соссюр, тем самым, поставил перед лингвистами одновременно две задачи: тактическую - последовательно размежевав факты языка и речи, создать строгие теории языка и речи как различных явлений и стратегическую - осознать язык и речь составными единой языковой деятельности человека и создать адекватную теорию осуществления человеком этой деятельности.

Парадокс спора вокруг лингвистик языка и речи заключается в том, что Соссюр, понимая, что язык и речь суть составные единой языковой деятельности, все же призывал сначала их последовательно размежевать, чтобы понять их сущность, вскрыть их структурные и функциональные особенности, его же оппоненты, теоретически отстаивая необходимость комплексного изучения языка и речи, тем не менее вот уже почти столетие фактически занимаются исследованием некоторого аморфного объекта, в котором причудливо переплетаются единицы языка, речевой деятельности (речи-процесса) и речевых произведений (речи-результата) попеременно с чисто физическими феноменами (звуками и начертаниями). Самое поразительное то, что, идя по этому пути, многие современные лингвисты все же достигают определенных результатов.

В предыдущем параграфе мы, дифференцировав составные языковой деятельности, рассмотрели с позиций функциональной методологии специфические черты языковой системы, в частности системы языковых знаков, которую мы определили как информационную базу языка. Следовательно, в центре нашего внимания была собственно информационная сторона языковой деятельности и связанные с нею семантические процессы хранения информации в языковой системе, ее переработки в речевой деятельности и презентации в речевом континууме (речи). Здесь же мы рассмотрим, в чем особенность структурно-функционального взгляда на операциональную сторону языка и, в частности, на речевую деятельность и ее языковые механизмы.

Говоря о речевой деятельности, мы имеем в виду те действия и операции, которые лежат в основе самого процесса общения, а именно: речепроизводство и знакообразование. Эти две составляющие речевой деятельности существуют не сами по себе, но в единстве с другими мыслительными операциями невербального характера и в совокупности образуют речемыслительный процесс. Именно через эти два процесса осуществляются две основные функции языка: коммуникативная (свойство языка служить средством общения) и экспрессивная (свойство языка быть средством выражения мыслей). Все остальные функции языка, обычно выделяемые в литературе, - вторичны и вполне вписываются в качестве разновидностей в предложенную схему.

Выделение речепроизводства и знакообразования в качестве двух сторон (двух типов) речевой деятельности зиждется на многочисленных данных психо- и нейролингвистики и, в первую очередь, на признании наличия двух основополагающих механизмов человеческого мышления, двух типов нейропсихологических реакций - субституции и предикации. Иными словами, наше понимание сути речевой деятельности, или шире - речемыслительного процесса - состоит в том, что в своей психике-мышлении человек либо строит некий речемыслительный континуум, сопоставляя ранее выделенную и зафиксированную в памяти (психике-сознании) информацию, либо разрушает этот континуум, извлекая из него новые информативные блоки, которые могут

при необходимости фиксироваться в памяти для последующего использования в построении новых речемыслительных континуумов. Таким образом, если механизмы предикации нацелены на речепроизводство (к ним восходят всевозможные процессы ассоциирования информативных блоков по принципу смежности), то механизмы субституции лежат в основе знакообразования (и в частности, словопроизводства), основную нагрузку в котором несут процессы ассоциирования по сходству. У Вилема Матезиуса, соответственно, выделяются две функции речевой деятельности: ономаσιологическая и взаимосоматическая (Mathesius, 1982:50-59). Именно такое размежевание механизмов речевой деятельности подтверждают все сколько-нибудь серьезные труды по нейропсихологии и нейролингвистике.

Впрочем, дистрибуция субститутивных и предикативных процессов относительно типов речевой деятельности не столь однозначна и прямолинейна. Как мы уже отмечали выше, в семантическом речепроизводстве (в процессах вербализации фактуальных смыслов) имеют место как предикативные, так и субститутивные процессы. Субституция в речепроизводстве обретает формы речевой номинации и реализуется через номинативные речевые единицы (в первую очередь, словоформы и словосочетания). Однако, основная функция субститутивных реакций - участвовать в языковом знакообразовании. Но и здесь субституция не представляет собой всего процесса, а является лишь доминирующей нейропсихологической реакцией. Так же, как субституция неизменно сопровождает в качестве сателита предикативные акты в речепроизводстве, в знакообразовании предикация неизменно "ассистирует" субституции.

Предикативное соположение необходимо не только в ходе построения речевого континуума, но и в ходе реализации знакообразовательного процесса: в ходе мотивировки, мотивации и материализации (подробнее об этом мы писали в диссертационном исследовании; см. Лещак, 1991).

Следовательно, субститутивные процессы превалируют в языковом знакообразовании и сопровождают речепроизводство при речевой

номинации, а предикативные процессы превалируют в речепроизводстве и сопровождают процессы языкового знакообразования. Иначе говоря, обе эти реакция необходимо сосуществуют во всех актах речевой деятельности, хотя и выполняют в разных типах речевой деятельности различную функцию. Правда, далеко не во всех методологических направлениях последовательно разводят эти процессы. О взглядах рационалистов на проблему номинации и предикации см. Приложение 6.

Проблема разведения номинации и предикации имеет и гносеологический аспект. Здесь имеет смысл привести очень показательное высказывание Л.Альбертацци: "Правда с идеалистической точки зрения не то же самое, что правда с логической точки зрения. Для идеалиста правда значит соразмерность с нормой или согласованность с аксиомами или дедуктивными правилами: т.е. касается лишь ценностей теорем системы. В семантическом же смысле правда касается отношений между областью действительности или универсума дискурса и предложениями определенных языков: здесь, следовательно, правда касается корреляции между предложением и чем-то другим" (Albertazzi, 1993:21). Как видно из цитаты под логической (семантической) точкой зрения понимается рационалистское видение речи как отображения действительности, эмпирии мира, универсума. Под идеализмом же понимаются взгляды феноменологические (структуралистские) и функциональные, поскольку и в тех, и в других господствует примат системы над речевыми проявлениями с той лишь разницей, что в структурализме система выведена за пределы личности, а в функционализме зависит от носителя языка. Налицо классическое для рационализма смешивание чисто гносеологических философских проблем и проблем лингвистики, подмена лингвистическими понятиями философских, сведение последних на уровень т.н. "позитивного" знания, т.е. на уровень речевых единиц.

Несомненно, наблюдение за речью может помочь в понимании гносеологических и онтологических проблем, но лишь при осознании не прямой, опосредованной связи речи и языка с действительностью.

Выводить же познание из речи или языка напрямую, по меньшей мере, наивно. С позиций структурно-функциональной методологии процессы познания и речь напрямую не связаны. Речь в какой-то степени проявляет знание конкретного индивидуума, но все же преследует иную цель - установить коммуникативные отношения в социуме для обеспечения жизнедеятельности. Язык также не является прямым хранилищем знаний о мире, тем более не является зеркальным отображением универсума. И предикация как процесс порождения речи, и номинация как процесс образования и употребления знаков языка - не более, чем составные речевой деятельности индивидуума, одной из множества его деятельностей, среди которых, несомненно, есть и познавательная. Все сказанное определяет одну из главных методологических установок структурно-функциональной лингвистики - необходимость четкого видения своего объекта, т.е. языковой деятельности обобществившегося в ходе эволюции индивидуума, не смешивая его с другими явлениями, т.е. физиологической, физической, познавательной и др. деятельностью. Сказанное вовсе не предполагает искусственного изъятия языковой деятельности из системы жизнедеятельности человека, но лишь четкое понимание существенной разницы между разными видами жизнедеятельности и видения иерархических отношений. Так, языковая деятельность по определению может рассматриваться вместе с эстетической как составная более широкого процесса семиотической, знаковой деятельности, а вместе с познавательной - как составная нейропсихофизиологической деятельности человека. Но это не делает ее менее дискретным и автономным объектом исследования. Поэтому мы рассматриваем языковую деятельность именно как языковую (т.е. вербальную) в совокупности ее составных - языка, речевой деятельности и речи-результата. Речевая же деятельность четко дифференцируется по цели на акты предикации и акты номинации.

Показательно, что рационалисты, сводящие речевую деятельность напрямую к процессам познания некоторой логической действительности, стоят на тех же позициях, что и их предшественники - по-

зитивисты. Последние также пытались напрямую свести речевую деятельность к процессам познания, но не логической, рациональной действительности, а действительности физико-биологической или психофизиологической. Вилем Матезиус в своей работе "Несколько слов о сущности предложения", проанализировав дефиниции предложения, выдвинутые Вундтом, Паулем, Забранским и другими позитивистами, пришел к выводу, что все они ориентированы на признание языка единственно средством непосредственного выражения некоторого внутреннего психофизиологического состояния, т.е. чисто психическим явлением. В противовес этой концепции Матезиус выдвинул собственно функциональное понимание высказывания (а также речи и речевой деятельности в целом) как семиотического (социально-психологического), а не чисто психофизиологического (т.е. биологического) явления (См. Mathesius, 1982: 169-173).

С функционально-методологической точки зрения (которая характеризуется онтологическим и гносеологическим дуализмом), необходимо четко различать продукты знакообразования (языковые знаки) и продукты речепроизводства (речевые знаки и вспомогательные незнаковые речевые единицы), а уже в пределах последнего также следует видеть разницу между продуктами речевой номинации (номинативными речевыми знаками) и собственно предикации (предикативными речевыми знаками). Схематически это изображено на Табл.5 в Приложении 7.

Несмотря на принципиальную противоположность процессов языковой номинации (знакообразования) и речепроизводства, тем не менее, они не могут осуществляться друг без друга и представляют собой две стороны одного и того же процесса, именуемого речевой деятельностью. Несомненно был прав И.Торопцев, когда говорил, что ономазиологический процесс (языковая номинация, знакообразование) совершается для и во время речепроизводства (предикирования, синтаксирования), однако не сливается с ним, а, четко обособляясь, разрывает речепроизводство, которое затем продолжается уже с включением в себя результатов номинации (См. Торопцев, 1980).

Выше мы выделили в рамках единой речевой деятельности два разноплановых, обратно пропорциональных процесса: речепроизводство и знакообразование (включающее словопроизводство и идиоматизацию). В связи с этим расчленением возникает вопрос: насколько коррелируют с этими понятиями выделяемые в современной лингвистике понятия о внутренней и внешней речи. Может ли знакообразование протекать во внешнеречевом режиме? Мы полагаем, что это принципиально невозможно. Новые языковые знаки образуются до их появления во внешнеречевых конструкциях. Более того, в поверхностные структуры новые языковые знаки проецируются уже в виде речевых знаков, образованных по моделям речепроизводства. Таким образом, мы полагаем, что понятия внутренней и внешней речи прямо не соотносимы с понятиями речепроизводства и знакообразования. Знакообразование полностью "внутренне", чего нельзя сказать о речепроизводстве. Множество психолингвистических и нейролингвистических исследований в этой области убедительно доказывают наличие существенной разницы между тем, как мы продуцируем синтаксические единицы и тем, в каком виде они поступают в звучащую речь. Мы считаем, что понятия внутренней и внешней речи применимы только к процессу синтаксирования, т.е. речепроизводства, а не к речевой деятельности целиком. Мы квалифицируем внутреннее речепроизводство исключительно как процесс, т.е. как первый этап единого процесса речевого синтаксирования. Термин же "внешняя речь" должен быть ревизирован. В первую очередь, следует разделять внешнее речепроизводство, т.е. процесс построения вербального фактуального смысла и его фоно-графического оформления в виде внешней речи, т.е. речевых единиц: словоформ, словосочетаний, высказываний, текстовых блоков (СФЕ) и текстов. При этом не следует забывать, что под окончательным оформлением мы понимаем нейрорепсихофизиологическое фоно-графическое оформление, а не физико-физиологическую работу акустико-артикуляционных органов или физическое нанесение начертаний на какую-либо поверхность, направленные на образование физических сигналов. Эта деятельность

должна рассматриваться не столько в лингвистическом отношении, сколько в медицинском (логопедическом), техническом (моделирование органов речепроизнесения) или каком-либо ином прикладном естественнонаучном плане. Экстраполируя данное расслоение речепроизводства на внутреннее и внешнее на предлагаемую модель внутренней формы языка, можно предположить, что внутренняя речевой процесс непосредственно связана с работой моделей речевой деятельности ВФЯ, т.е. моделей выбора, а внешнее речепроизводство сопряжено с самим построением речевых единиц, и, прежде всего, с работой моделей речепроизводства и моделей фонации и графического оформления. Именно это обстоятельство побуждает нас признать внутреннее речепроизводство парадигматико-синтагматическим процессом, а внешнее речепроизводство - чисто синтагматическим. Хотя некоторые лингвисты и исследователи сознания распределяют свойства парадигматичности и синтагматичности синтаксирования между внутренней и внешней речью только оппозитивно (См.Цветкова,Глозман,1978; Спивак,1986).

А.Лурия, вслед за Л.Выготским, писал, что внутреннюю речь следует понимать не как речь минус звук, но именно как особый уровень синтаксирования. В связи с этим появляются два онтологических вопроса: вопрос структуры и статуса составных речепроизводства. Фр.Данеш выделял три подобных уровня: функциональную перспективу предложения, семантическую структуру и грамматическую структуру (Daneš,1964). Это довольно распространенная модель синтаксирования (См. работы: Лурия,1979, Леонтьев,1967, 1969, Ахутина,1989, Залевская,1990), в которой противопоставляются смысловой, семантический и грамматический синтаксис. Мы же полагаем, что в предложенной схеме есть несколько собственно методологических и теоретических изъянов.

Прежде всего, сомнения вызывает расчленение функциональной перспективы и семантики, поскольку, если под функциональной перспективой понимается до- или постсемантическое (смысловое) синтаксирование, т.е. невербальное, то такой процесс вряд ли может

считаться речевым синтаксированием и вряд ли его можно одномерно включать в качестве первого этапа построения линейных речевых структур. Если функциональная перспектива - досемантический этап речепроизводства, - это интенция. Но интенция не остается неизменной на протяжении речепроизводства. И кроме того, интенция говорящего активно влияет на весь ход речепроизводства. Выше мы уже говорили о том, что смысл речи не должен включаться в качестве составного элемента в речевые структуры, поскольку он лишь внешне им ассоциирован. Поэтому, если и говорить о функциональной перспективе синтаксической единицы (речевого предикативного знака) как об элементе или имманентном ее свойстве, то следует включать функциональную перспективу в состав семантики речевой единицы, т.е. в состав ее содержания. Термин "функциональная перспектива" восходит к теории актуального членения предложения и по отношению к речевому содержанию должен употребляться с оглядкой, т.е. только в тех случаях, когда речевой единице приписаны субъектом речи дополнительные семантические свойства на основе модельных средств языка (например, если в данном языке существует специфическая модель просодической актуализации содержания речевого знака).

Аналогичную модель речепроизводства предлагает И.Зимняя. По ее мнению, речевая деятельность (а именно этот термин использует И.Зимняя в отношении речепроизводства) состоит из мотивации, ориентационно-исследовательских процессов и исполнения (реализации) (См.Зимняя,1991:75-77). Принципиально эта схема не отличается от модели Ф.Данеша. Однако, в отличие от предшествующей модели, из схемы И.Зимней нельзя полностью исключить мотивацию. Л.Выготский в "Мышление и речь" писал, что "сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция" (Выготский,1982,II:357). Поэтому, единственное замечание, которое может и должно быть по этому поводу сделано, это то,

что мотивационные процессы, относящиеся к речепроизводству и входящие в речепроизводство как составная часть, - это вербальные, а не доязыковые процессы. Следовательно, они вполне могут быть включены во внутреннее речевое синтаксирование. В остальном же можно согласиться, что в ходе внутреннего речепроизводства наряду с мотивацией выбора моделей и языковых знаков осуществляется исследовательско-поисковая, ориентировочная оценка языковой системы и коммуникативной ситуации. Внешнее же речепроизводство вполне может быть соотнесено с исполнительско-реализационным этапом в модели И.Зимней.

Единство речемыслительного процесса весьма относительно. Этот процесс един лишь со стороны языка. Со стороны же психики процесс построения интенций ("процесс построения образа результата действия" в терминологии А.Залевской) представляет из себя всего лишь незначительную часть сложнейшего когитативного (мыслительного) процесса. Языковое мышление, как называл процессы внутренней речи Я.Бодуэн де Куртенэ, - лишь составная когитативного процесса. Поэтому мы склонны к тому, чтобы вынести процесс образования интенции за пределы речепроизводства в доязыковую (довербальную) сферу сознания.

Второе замечание, которое нужно сделать по поводу указанных психолингвистических моделей речепроизводства, касается того, что нелогично расчленять семантическое и грамматическое синтаксирование, поскольку всякое синтаксирование - это соположение в речевую цепочку элементов с фиксированными функциями, что само по себе уже предполагает наличие актантных (модельных) отношений между членами. А это уже ни что иное, как грамматические отношения. Аграмматический семантический синтаксис существовать просто не может. Это смысловой терминологический нонсенс. К тому же, грамматический синтаксис столь же семантичен, как и всякий другой. Все, что имеет отношение к языку и речи грамматично и семантично одновременно. Смысл разграничения семантического и грамматического синтаксирования у большинства лингвистов, очевидно, заключа-

ется не в терминологии, а в противопоставлении внутреннего (глубинного) и внешнего (поверхностного) синтаксирования. Если исключить из предложенной схемы довербальный (смысловой, интенциональный) момент речепроизводства, а дихотомию “семантическое синтаксирование // грамматическое синтаксирование” интерпретировать как “глубинноречевое (внутреннеречевое) // поверхностноречевое (внешнеречевое)”, структура речепроизводственного процесса приобретет двухуровневый характер, т.е. внутренне- и внешнеречевого синтаксирования.

Проблема структуры речепроизводства - это лишь часть вопроса о его онтическом статусе. Второй онтологический аспект проблемы структуры речепроизводства, - вопрос онтического статуса внутренней и внешней речи: является ли внутренняя речь самостоятельным структурным этапом синтаксирования, изоморфным внешней речи, или же это неотделимые части единого процесса речепроизводства.

Если внутренняя речь как процесс автономна, она должна порождать собственные результаты, продукты, некоторый "языковой материал" в терминах Л.Щербы. Так, Т.Ахутина в своей схеме речепорождения выделяет как этап "создание внутреннеречевой схемы высказывания" (См.Ахутина,1989:72), что уже само по себе предполагает образование некоторой схемы внутренней речи как автономного от грамматической структуры феномена, т.е. образование некоторых продуктов внутреннего речепроизводства. Можно предположить, что, либо эти продукты существуют, но не были пока обнаружены, либо их нет вообще. Однако ничего о таких продуктах неизвестно. Нигде, ни в лингвистических описаниях, ни в описаниях психо- или нейролингвистических экспериментов нет информации сколько-нибудь достоверной о продуктах внутренней речи.

Что-либо существующее должно иметь смысл и предназначение. Какой смысл могут иметь продукты внутренней речи, задача которой как внутреннего психолингвистического процесса - перекодировать интенциональное содержание в речевые знаки, используя языковую информацию? И что могут представлять из себя эти единицы? Синтаг-

матически организованные цепочки языковых единиц как инвариантных образований? Или же языковые знаки все же как-то специфицируются во внутренней речи? Как? И что может быть доказательством того, что подобные единицы стабильны, производимы по более или менее строгим законам, которые бы позволили выделить во внутренней форме языка отдельный ряд моделей внутреннего речепроизводства наряду с моделями внешнеречевого синтаксирования?

Точно так же, как нельзя найти прямых ответов на эти вопросы, нельзя и однозначно определить функцию предполагаемых результатов внутренней речи. Если предположить, что их главная функция - быть переходным звеном от невербального интенционального содержания к внешнеречевой синтаксической структуре, необходимо будет обосновать, почему такое переходное звено единственное, либо предположить, что таких звеньев громадное множество. Тогда внутренняя речь не уникальна в своем роде. Придется выделять бесконечное количество переходных уровней от внеязыкового интенционального содержания до внешнесинтаксических конструкций, а во внутренней форме языка предполагать наличие бесконечного количества моделей постепенного (поуровневого) преобразования невербальной смысловой интенции во внешнеречевые структуры. Единственно разумный и поддающийся обоснованию ответ заключается в том, что внутренняя речь не обладает автономностью со стороны структуры и онтического статуса. Это просто необходимый элемент единого процесса речепроизводства, нацеленного на образование единственного реального результата - внешней речи (внешнеречевого континуума). Выготский считал, что мы "вправе рассматривать [внутреннюю речь] как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом... Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами ... речевого мышления; между словом и мыслью" (Выготский, 1982, II:353) [выделение наше - О.Л.]. А раз так, то использование по отношению к этому процессуальному психическому феномену тер-

мина “речь” оказывается в нашей терминосистеме не совсем корректным. Напомним, что выше мы обосновали теоретическое и терминологическое разведение понятий “речевая деятельность” (как процесс) и “речь” (как результат, смысловая структура). Поэтому в дальнейшем мы вместо традиционного термина “внутренняя речь” будем использовать более точно выражающий сущность нашего понимания этого явления термин “внутреннее речепроизводство” (или “внутреннее синтаксирование”).

Однако, как этапы (уровни) речепроизводства внутреннее и внешнее синтаксирование не гомоморфны и не изоморфны. Вряд ли можно представить себе внутреннее речепроизводство как прямой аналог внешнего синтаксирования со всеми его атрибутами - линейностью и алломорфизмом составных. Если учесть, что мы выводим речепроизводство одновременно из двух источников - с одной стороны, из невербального мыслительного состояния (фактуального смысла), которое в структурном отношении представляет из себя полевое образование (сгусток ассоциаций), а с другой, - из сферы категориально структурированных инвариантных смыслов (когнитивная структура психики-сознания и язык), то становится понятным, что процесс построения простой линейной структуры с последовательно соположенными во времени и пространстве элементами (каковой является речь) процесс довольно сложный и уж никак не элементарно синтагматический. Внутреннее речепроизводство, в отличие от внешнего, может постоянно преобразовываться, работа его механизмов может перемешиваться в последовательности в зависимости от изменений интенционального характера. Образно говоря, слово во внутреннем речепроизводстве - "воробей", который потому может быть пойман, что еще не вылетел или даже не успел взмахнуть крыльями. Совсем иная картина во внешнем синтаксировании. Стратегия фонации и письма (особенно фонации) весьма строгая. Очень трудно нарушить линейность внешнеречевых конструкций. Практически невозможно. Модели речепроизводства задают строгую последовательность СФЕ в тексте, высказываний в СФЕ, словосочетаний и словоформ в высказывании,

морфов в словоформе и фонов в морфах. Они не могут быть произнесены вслух или "про себя" одновременно друг с другом или одновременно со своими вариантами, оставшимися не востребуемыми в языковой системе. Во внутреннем же речепроизводстве, напротив, вполне допустимо одновременное использование нескольких знаков (целых полей или типов) или нескольких моделей в качестве "претендентов" на роль того или иного элемента речевого конструирования. А.Залевская на основе проведенных психолингвистических экспериментов пришла к выводу, что "поиск слов в памяти шел параллельно по ряду смысловых признаков, перекрещивающихся между собой и служащих своего рода "мостиками" для объединения слов в более крупные группы"(Залевская,1990:89). Это свидетельствует в пользу собственно (или частично) языкового статуса знаков, использующихся во внутреннем синтаксировании. В отличие от слов, словоформы одномерны в семантическом отношении. В них отражена лишь незначительная часть семантических (и лексико-семантических, и грамматико-семантических) признаков языкового знака. Л.Выготский определял внутреннюю речь как "мысленный черновик" устной и письменной речи. Во внутреннем речепроизводстве "нам никогда нет надобности произносить слово до конца. Мы понимаем уже по самому намерению, [выделение наше - О.Л.] какое слово мы должны произнести" (Выготский,1982,II:345). Как мы уже сказали, знаки во внутреннем речепроизводстве функционируют в своей языковой форме или же в некотором полуактуализированном состоянии. По нашему мнению, мы не только их не договариваем до конца, но вовсе их не выговариваем, даже мысленно. Средствами внутреннего синтаксирования могут быть не только отдельные языковые знаки, но и их категориальные или тематические комплексы (группы, классы, поля), в нем могут быть задействованы не какие-то конкретные модели, но целые парадигматические классы моделей внутренней формы. Поэтому в устной речи, наименее подверженной контролю со стороны моделей речевой деятельности, зачастую выбор модели не согласуется со свойствами избранного знака. Например, могут быть неверно согласованы пары

синтагмы по роду или числу, неверно избран падеж управляемого существительного или предлог при управлении, глагол-сказуемое может не коррелировать с подлежащим в роде или числе и под. Просто в диспозиции индивидуума во внутрнеречевом процессе был целый класс знаков, а выбор конкретного знака из класса был произведен уже после выбора модели синтаксического развертывания. А в силу того, что спонтанность и быстрый темп речи не дали возможности проконтролировать за согласованностью грамматических свойств знака и грамматических свойств модели, произошел сбой во внешнеречевом высказывании. Таковы, например, внешнеречевые конструкции: укр. “не контролює за собою ” (вм. “не слідкує за собою” или “не контролює себе”, возникшее оттого, что в диспозиции говорящего наличествовали две парадигматические возможности - “контролювати” и “слідкувати”), “стали серйозніше відноситись на різні теми” (вм. “відноситись до різних тем”*, “ставитись до різних тем” или “дивитись на різні теми” - звездочкой обозначен вариант с русизмом “відноситись” в значении “ставитись”, использующимся в просторечии), “валюта відіграє фактор якоїсь стабілізації” (вм. “є фактором” или “відіграє роль”), “хто зацікавлений в історії Америки” (вм. “цікавиться”); русс. “Что вы имеете под видом... под душой” (вм. “Что вы имеете в виду под душой”), “которые имеют причастие к морскому пароходству” (вм. “имеют отношение” или “причастны”).

Здесь нелишне подчеркнуть, что участие языковых знаков во внутреннем речепроизводстве не должно восприниматься буквально, как составление из языковых знаков каких-то четко организованных структур, вроде внешнеречевых. Когда мы говорим о статусе языковых знаков во внутреннем синтаксировании, то это не локальная, а процессуально-временная характеристика. Языковые единицы используются не во внутренней речи (не в ее структурах, ибо таковых нет), а во время и в процессе внутреннего речепроизводства в качестве материала-образца для построения речевых (внешнеречевых) знаков. Внутреннее синтаксирование нужно не само по себе, но лишь в связи с необходимостью образовывать внешнеречевые конструкции.

Иначе говоря, внутреннее речепроизводство - это процесс, предшествующий и подготавливающий внешнее синтаксирование. Именно поэтому мы и не выделяем никаких единиц внутренней речи. Онтологизация внутренней речи (не как процесса, а как результата), а, тем более, приписывание таким онтически самостоятельным внутреннеречевым структурам и процессам генетической первичности по отношению к внешней речи - яркий пример рационалистской методологической позиции.

Такова, в частности, позиция Н.Хомского. Его ядерные предложения не могут быть взяты в расчет в качестве внутреннеречевых единиц из-за их полной априорности и бездоказуемости. Правильнее было бы интерпретировать глубинные внутреннеречевые структуры как процесс а не как реальные структурные речевые цепочки, так, как это делает В.Звегинцев: "Глубинная структура - не лингвистическая и не психическая реальность. Это - операционный прием [выделение наше - О.Л.], которому в теории приписывается выполнение определенных функций" (Звегинцев, 1973:197).

Конечно, В.Звегинцев абсолютно прав в том смысле, что основанная на логическом неопозитивизме генеративистика действительно не столько исследует процессы языковой деятельности человека, сколько конструирует идеальные научные схемы. И все же можно увидеть в глубинных структурах Хомского и Ингве некоторый аналог внутреннего речепроизводства, если, конечно, отвлечься от идеи готовых ядерных предложений. Понимание глубинных структур в качестве некоторого речемыслительного состояния перехода от хаотичности и неуправляемости ассоциативных процессов к строгим линейным структурам поверхностной (внешней) речи могло бы оказаться весьма плодотворным для генеративистики.

В этом смысле мы полагаем, что представление А.Лурии о внутренней речи как о реальной структуре результативного характера (См.Лурия, 1979) - это остатки позитивистских психологических представлений. Внимательное прочтение положений лекций А.Лурии касательно внутренней речи убеждает в том, что здесь смешаны модели

текстов, ментальные пространства и сценарии событий, не различаются собственно языковые и речевые единицы, вербальные и невербальные смыслы, единицы информационной базы и единицы внутренней формы языка, т.е. наблюдается аналогичное Н.Хомскому перенесение свойств внешней речи на внутреннюю, а свойств языковой деятельности на мышление.

Таким образом, представив структуру речепроизводства как двухуровневый (или двухэтапный) процесс образования линейных речевых единиц, мы попытались обосновать выше предложенное размежевание понятий речевой деятельности и речепроизводства. Понятие речевой деятельности, как это видно из представленного выше, несколько шире понятия речепроизводства, поскольку включает в себя еще и знакообразовательные процессы. Речевая деятельность - составная часть языковой деятельности человека, психонейрофизиологическая деятельность, направленная на образование речевых и языковых знаков по моделям внутренней формы языка и на основе единиц информационной базы языка в ходе экспликации мыслительных интенций, связанных с необходимостью передачи или получения коммуникативного сообщения.

В значительной степени организация речевой деятельности зависит от выбора типа общения, который в значительной степени коррелирует с режимом познавательной деятельности и гносеологической аспектуализацией смысла. О гносеологической аспектуализации смысла мы уже писали выше. Тогда мы говорили лишь об отражении ее в информационных единицах (в когнитивных понятиях и вербальных знаках). Более отчетливо воздействие разных гносеологических аспектов речевой деятельности на языковую систему и речевые единицы просматривается во внутренней форме языка на уровне моделей оценки ситуации общения и выбора типа текста, а также на самом разнообразии типов текста. Прежде всего это касается глобального типа синтаксирования - устного и письменного. Очень многие лингвисты, психо- и нейролингвисты (об этом см. Ахутина, 1989:45-46) проводят грань между типами синтаксирования именно по линии размеже-

вания устной и письменной речи, совершенно правомочно связывая с устной - обыденный тип речевой деятельности, а с письменной - два других (научно-теоретический и художественный). Модели построения устных и письменных текстов существенно отличаются. Впрочем следует отметить, что такой раздел моделей текста не может быть признан абсолютным. Скорее в нем просматривается филогенез типов речевой деятельности и становления различных форм социального языка (в частности, языка литературного).

Действительно, литературный язык даже в моделях устного рече-производства, которые все же отличаются от моделей рече-производства письменного (ср. доклад и статью или пьесу для постановки и пьесу для чтения), представляют собой определенное варьирование от письменных моделей. Достаточно вспомнить выражения, вроде "говорит, как по-писанному". Устный текст на базе литературного языка явно вторичен по отношению к письменному. Эта вторичность не функциональная, но филогенетическая. Не зря ведь даже название "литературный язык" отражает его изначальную отнесенность к сфере письменной речевой деятельности. Устная же речь обыденного рече-производства практически не может быть адекватно отображена в письменном виде, поскольку в обиходном синтаксировании очень большое значение имеет вера в то, что слушающий и так понимает, о чем идет речь. Это объясняется тем, что обыденная речевая деятельность, во-первых, в подавляющем большинстве случаев (за исключением разве что записок или бытовых писем) проходит в устной форме, а во-вторых, - касается в основном конкретно-предметной деятельности человека, сопровождающейся активным участием органов чувств применительно к предмету коммуникации. Поэтому устная коммуникация насыщена невербальными средствами общения (жестами, мимикой, хезитациями и пр.).

Все сказанное позволяет разделить модели внутренней формы языка на устно-разговорные и письменно-литературные с дальнейшим подразделением последних в зависимости от типа речевой деятельности и типа коммуникативной ситуации. При этом в рамках моделей

обыденного синтаксирования могут у некоторых носителей языка (писателей, журналистов, филологов и др.) находиться и модели письменной фиксации обыденной речи, а среди моделей литературного речепроизводства могут находиться как модели письменных текстов, так и модели устного литературного синтаксирования (последнее есть практически у каждого носителя литературного языка, хотя и в разной степени).

Принципиально отличное понимание сущности речи в феноменологических и позитивистских теориях, с одной стороны, и функциональных - с другой, приводит к существенно различному видению самой механики порождения речи. В этом смысле функциональные теории некоторым образом сближаются с теориями порождающей грамматики, так как в основе одних и других лежит менталистская идея. Следовательно, проблема замысла, интенции выдвигается на первый план, в то время как проблема средств и формальных экспликаторов интенционального содержания становится подчиненной.

Менталистский подход диктует принципиально иную механику речепроизводства, чем в дескриптивных моделях. Прежде всего это касается направления речепроизводственной деятельности. В генеративистских и функциональных моделях это направление имеет ярко выраженный дедуктивный характер: от определения типа речевой ситуации до определения типа фонации и графического оформления. Впервые наиболее последовательно такое понимание механики речепроизводства было представлено именно в трудах по трансформационной грамматике и генеративистике, хотя почву для него подготовили еще русские функционалисты и "пращцы". У А.Шахматова читаем: "... начало коммуникация получает за пределами внутренней речи, откуда уже переходит во внешнюю речь" (Шахматов, 1941:20). Однако, множество причин методологического и теоретического характера, в первую очередь логистические пристрастия, не позволили генеративистам последовательно проанализировать наиболее ранние, прямо неманифестированные, непосредственно неэксплицированные этапы

речепроизводства - процессы оценки ситуации общения и выбора модели общения ("сценария речевого поведения").

Правильная оценка ситуации обеспечивает успех речевого поведения, содействует пониманию со стороны слушающего. Точно так же и при восприятии речи. Выбор аналогичного типа общения в качестве модели со-порождения речи в какой-то степени приближает реципиента к смыслу и содержанию речи говорящего. Т.А. ван Дейк называет этот процесс выбором или знанием "мета-фрейма": "...для правильного понимания речевых актов требуется знание мета-фреймов, то есть знание общих условий совершения успешных действий" (ван Дейк, 1989:18). В другой своей работе он использует более точный, с нашей точки зрения, термин для определения языковой единицы, лежащей в основе порождения речевого общения определенного типа - "ситуационная модель" или "эпизодическая модель" (Там же, 68-69).

В процессе приобретения речевого опыта человек запоминает наиболее существенные моменты типичных ситуаций общения (равно как и поведения в принципе) и сохраняет их в памяти в виде алгоритма речевого поведения. Именно оценка речевой ситуации напрямую связана с аспектуальными типами речемыслительной деятельности: обыденно-мифологическим, научно-теоретическим и художественно-эстетическим.

Нормальное, обыденное использование языка нацелено на достижение определенных утилитарных, практических целей, которые далеки от самого языка и сознания в целом. Такого рода общение никак не специализирует языковые знания человека. Человек просто не замечает языка. Он принимает язык "на веру" таким как он есть в совокупности когнитивной и собственно языковой информации. "Бытовое жизнеописание, - по мнению П.Флоренского, - бессвязно и непоследовательно, аметодично" (Флоренский, 1990:126). Поэтому такое общение (и такой речемыслительный процесс) носят всегда мифологический характер. В обыденной жизни человек имеет свойство полагаться на свои знания (в том числе и на языковые) "на веру", не проверяя их истинности ни по части смысла, ни по части формы. "Смешивая все

предметы и все возможные точки зрения, - продолжает П.Флоренский, - по произволу меняя один на другой и переходя с одной на другую, не отдавая себе отчета в своей подвижности и неопределенности, житейская мысль владеет полнотою всесторонности... Житейскою мыслью все объяснено, уже объяснено и она ни в чем более не нуждается" [выделения наши - О.Л.] (Там же, 1990:126). Это и порождает мифологию обыденной жизни. Все наши обыденные представления далеки от истины, они приблизительны, условны. Однако, в отличие от научных знаний, которые также в большой мере приблизительны и условны ("наука решительно всегда не только сопровождается мифологией, но и реально питается ею, почерпая из нее свои исходные интуиции"[Лосев, 1990а:403]), обыденные знания практически не вызывают и тени сомнения у носителя этих знаний. Мифы всегда носят практический характер. Это опыт, знания, которые передаются из поколения в поколение для того, чтобы ими пользоваться в повседневной жизни. Со временем они становятся достоянием истории, обрабатываются писателями и становятся фактами художественного характера. Однако на смену им приходят новые, современные мифы, в том числе и сейчас, в эпоху сплошного мифотворчества в средствах массовой информации. Многие ученые полагают, что мифологическое сознание присуще лишь примитивному, первобытному мышлению. В свое время Б.Малиновский положил начало функциональной школе в этнологии, приписав мифу в первую очередь практические функции поддержания традиции и непрерывности племенной культуры (См. ФЭС, 1983:378). Мы также смотрим на миф не как на особую, исторически ушедшую, но как на современную обыденно-практическую форму мышления. Впрочем, это вовсе не значит, что следует полностью исключить предположение, что современный тип мышления - это и есть продолжение первобытного мышления, но в его продвинутом состоянии. Даже в научном творчестве миф занимает весьма важное место. Без мифа, веры или "уверенности" наука не могла бы зафиксировать свои достижения и обеспечить преемственность знания. Наконец, без веры в свою правоту ни один ученый не написал бы ни слова,

как бы он не старался доказать свой скептицизм. Впрочем, это прекрасно доказал Декарт, рассуждая по поводу высказывания “я сомневаюсь”. Джордж Э.Мур, один из основателей рационалистской методологии, отмечал, что “есть вещи .., которые я безусловно знаю, даже если не умею их доказать” (Мур,1993:84). При этом нельзя забывать, что здесь речь идет о гносеологическом “мифологизме” как типологической черте человеческого сознания, а не о функциональном “мифологизме”, свойственном именно обыденному сознанию. Любой ученый или философ “берется за перо” с единственной целью - разрушить миф.

А.Лосев, в теоретической концепции которого миф занимает весьма значительное место, полагал, что "...миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности, а не наименее реальное, или фантастическое, и не наименее полное, или пустое" (Лосев,1990б: 164). Более того, вполне можно согласиться с Лосевым, что обыденно-мифологическое мышление не только нормативно для человека, но это и базовая форма для всех остальных форм мышления: "Всякая разумная человеческая личность, независимо от философских систем и культурного уровня, имеет какое-то общение с каким-то реальным для нее миром... Если я религиозен и верю в иные миры, они для меня - живая, мифологическая действительность. Если я материалист и позитивист, мертвая и механическая материя для меня - живая, мифологическая действительность, и я обязан, поскольку материалист, любить ее и приносить ей в жертву свою жизнь... Мифология - основа и опора всякого знания" (Там же,162-163).

Отличие научного и художественного типов речевой деятельности состоит именно в их сдвиге в одну из сторон языковой информации - смысловую или формальную. Используя термины П.Флоренского, можно сказать, что наука и искусство - методичны. В случае пересмотра смысла обыденных знаний, т.е. когда говорящий задумывается о том что он говорит и то ли он говорит, нужно вести речь о научном стиле (типе) речевой деятельности. Если же центр внимания смещен

на то, как говорит человек, - это явный признак художественно-эстетического типа речевой деятельности. Все остальные типы речи носят промежуточный характер в рамках данного спектра. Конечно, в обоих случаях (и при научной, и при художественной речевой деятельности) возможны выходы за пределы данного состояния и возможностей языка. В случае полного переосмысления говоримого ученым возможно его непонимание со стороны современников либо полное неприятие и в будущем, что может привести к потере полученного ученым знания для общества. То же происходит и в случае полного пересмотра художником формы выражения своих мыслей и чувств с аналогичными последствиями.

На данном уровне классификации коммуникативно-мыслительных ситуаций мы принципиально не различаем научного и официально-делового общения, поскольку они едины в плане семиотической деятельности. И в одном, и во втором случае средства выражения отведены на второй план. Единственная разница в том, что в научном общении план выражения элиминируется в силу желания создать некоторый рациональный смысл (т.е. добиться когнитативной, экспрессивной адекватности речи мыслительной интенции), а в официально-деловом - план выражения элиминируется в силу желания добиться однозначности декларируемого смысла (т.е. добиться максимальной коммуникативной адекватности). В первом случае это приводит к загроможденности текста однообразными конструкциями, насыщенности текста повторяющимися речевыми знаками, во втором - к шаблонности текста, что, в конечном итоге, одно и то же. И в первом, и во втором случае явное стремление к унификации средств и максимальная ориентация на содержание речи. Однако, официальное и деловое общение в семиотическом плане все же ближе к обыденному, чем научное. Его можно рассматривать как переход от научного (осмысленного) типа речемышлительной деятельности к обыденному (мифологическому) типу. Наиболее ярко это проявляется в устном деловом общении, которое часто может переходить в обыденное общение на профессиональные темы. В последнем случае семиотический разрыв ме-

жду планом содержания (понятийной стороной знака) и планом выражения (фоно-грамматической стороной) исчезает. Термины перестают использоваться как условности исследования или делопроизводства, но приобретают свойства обыденных знаков, т.е. используются как целостные заместители некоторых "реальных" феноменов действительности. По отношению к научному и деловому подязыку это имеет идентичные последствия. Так, используя терминологически знаки "язык", "суффикс", "категория", "препарат", "вещество", "отношение", "частица" и т.д., ученый в бытовом общении использует их совершенно нестрого. Часто это может приводить к возникновению омонимов межстилевого характера. То же происходит и при вовлечении в обыденную речь деловых клише и шаблонов.

Точно так же не разводятся на уровне глобальных типов речемыслительной деятельности политико-публицистические и художественные ситуации общения. Их объединяет также сходство семиотической установки на форму выражения. К тому же, в обоих случаях речь идет о смещении речемыслительной деятельности в эмотивную сферу, контролируемую правым полушарием. Роман Якобсон очень четко подметил непосредственную связь между механизмами эмоций, контролируемые правым полушарием мозга, и языковыми средствами, свойственными художественным и политико-публицистическим текстам. "Инактивация правого полушария делает речь больного монотонной, неэмоциональной, и он теряет способность регулировать свой голос в соответствии с эмоциональными ситуациями" (Якобсон, 1985:276), "...правое полушарие ведает музыкой" (Там же, 279). Поэтому не следует упускать из виду явную привязанность публицистических и художественно-эстетических ситуаций общения к выразительной стороне языка. При этом можно наблюдать в обыденной речи явления переходного характера. Так, переходя с бытовых тем общения на общественные или политические, человек начинает незаметно для себя отчуждать смысл говоримого от формы. Функция убеждения, агитации диктует поиск новых, более ярких форм убеждения. В этих случаях смысл говоримого, как правило, элиминируется, отодвигается

на задний план. Такие метаморфозы очень заметны: практически не следя за своей речью при общении на бытовые темы, человек вдруг начинает подбирать яркие, образные, эмоциональные слова и усложненные синтаксические конструкции, в обычной речи им не используемые. Точно так же, когда говорящий начинает использовать знаки не для бытового общения, а для подчеркнутого выражения некоторого состояния, а тем более в случаях, когда сама речь становится целью высказывания, возникает ситуация, близкая к художественной. Текст такого типа очень сильно напоминает художественное произведение.

При анализе типов ситуаций общения нельзя игнорировать те явные отличия, которые обнаруживаются между научно-деловым общением и художественно-публицистическим. Однако это различия уже иного уровня. Они функциональны именно по отношению к типам моделей ситуаций, в то время как на уровне оценки ситуации общения и выбора типа речемыслительной деятельности этих различий нет.

Карел Горалек, развивая положения "Тезисов..." пражской школы и идей В.Матезиуса, писал, что одним из основных требований функционального изучения языка является "последовательное различие поэтического и "информационного" языка" (Горалек, 1988: 27) и, что "поэтическая речь направлена на само выражение" (Там же, 28). Информационная речь (в нашей терминологии - научно-теоретический тип речемыслительной деятельности), по мнению К.Горалка, стремится к автоматизации средств выражения (т.е. пренебрегает ими), поэтическая же (художественная) - стремится к их актуализации. При этом не следует смешивать "доминирование" плана выражения в поэтической речи и "формальность" поэтической речи, что часто встречается в работах классических структуралистов, в т.ч. и формальной русской школы. Элиминация содержания из знака в художественной речи - также феноменологическая черта, поскольку структуралисты приписывали знаку свойство самости. В художественном же использовании, как полагали формалисты, эта самость искусственно нарушалась, что и создавало специфику поэтической речи.

Прекрасный анализ этого явления с позиций функционализма был произведен Л.Выготским (Выготский, 1986:69-90). Для структурно-функциональной методологии важным является как признание "формальности" искусства, так и признание его "содержательности". Однако, эти свойства разнокатегориальные, разноуровневые. Искусство, в т.ч. художественная литература, содержательно по признаку более высокого категориального свойства. Оно содержательно в силу того, что в его основе лежит семиотическая деятельность индивида, т.е. мозговая деятельность, направленная на экспликацию некоторой смысловой интенции для установления коммуникативного контакта. И все в искусстве, в конечном итоге, подчинено содержанию, равно как и в научной или обыденно-мифологической деятельности. Все типы речевой деятельности смысловые. Однако, на уровне дифференциации типов семиотического мышления следует различать типы, довлеющие к преодолению знака (научный и художественный) и идущие за знаком (обыденный). В свою очередь типы, "преодолевающие" знак (искусственные типы речевой деятельности), делятся на довлеющие к содержанию (деловой, научный) и довлеющие к форме (публицистический, художественный). Но даже в этом последнем случае двусторонность знака не снимается полностью никогда, даже в "заумях" и абстракционизме. И при художественном творчестве, и при сотворчестве реципиента, воспринимающего художественное произведение, базисно доминирует установка на семиотическую (а значит, смысловую) деятельность. Каким бы ни был продукт художественного творчества, он всегда воплощение замысла, а воспринимающий всегда будет видеть в нем "произведение искусства", т.е. нечто выражающее замысел.

В этом смысле понятны возражения Л.Выготского в "Психологии искусства" против формализма и структурализма, представляющих искусство как чистую форму, прием, а также против позитивистского объективизма, выходящего за пределы художественного произведения в его социально-психологическом единстве. Выготский ни в коей мере не феноменологизирует текст в герменевтическом духе, но и не

психологизирует его. Под психологией произведения понимается психология, заложенная в текст автором и воплощенная в социальной психологии повествователя, т.е. смысл и содержание текста (в данном случае - художественного) следует, по мнению Выготского, искать в психологии повествователя текста. Однако это больше касается проблемы восприятия художественного текста. Оценка смысла и содержания текста, а значит и сам акт квалификации текста как такового через понятие повествователя имеют крайне важное методологическое значение для функциональной лингвистики, поскольку принципиально отмежевывают ее от рационалистского ментализма, оперирующего понятием единой и абсолютно индивидуальной картезианской личности.

Функциональный ментализм предполагает наличие многоместного субъекта языковой деятельности, чье присутствие в каждом конкретном речевом акте опосредуется его социальной ролью. Применительно к тексту (а равно и ко всем остальным речевым единицам) такая трактовка ведет к пониманию разницы между субъектом языковой деятельности в целом (носителем идиолекта), субъектом какого-либо типа речевой деятельности (носителем идиостиля), субъектом конкретного речевого процесса (повествователем), а также (что особо важно в художественных типах речевой деятельности и при цитировании в научных текстах) субъектом конкретного речевого акта (анунциатором, в терминологии Э.Бенвениста; о разграничении понятий говорящего и субъекта высказывания см. Серио, 1993:49). При этом все три субъекта могут соотноситься друг с другом как гомоморфные (в обыденной речевой деятельности), либо как разнородные функции (в научной, еще больше - в художественной речевой деятельности). Подобное схождение или расхождение объясняется тем, что в обыденной речевой деятельности субъект конкретного акта речи в силу установки на практическое общение просто реализует свои идиостилевые и идиолектные языковые способности. В актах искусственной речемыследеятельности, напротив, очень заметна разница между языковыми способностями субъекта речи как личности (носителя индивидуального языка) и как ученого или писателя

(носителя идиостиля), между языковыми способностями писателя или ученого (как носителя идиостиля) и их реализации данным писателем или ученым в качестве повествователя (того, от чьего имени ведется повествование в данном тексте), и, наконец, между языковой способностью повествователя и автора цитируемых речевых произведений (для художественной речи, насыщенной речевыми проявлениями персонажей, это особо актуально).

Особенно важен учет режима речемышления при восприятии речи. Степень понимания чужой речевой деятельности различна в разных типах такой деятельности - обыденно-мифологической, научно-теоретической и художественно-эстетической. Вероятность понимания в обыденной жизни довольно высока, если сравнить ее с художественной и гуманитарно-научной речевой деятельностью. Еще более высока она в коммуникативных актах точных наук (в силу высокой степени конвенциональности и формализации метаязыка). Наименьшая вероятность понимания - в художественной речевой деятельности. Следует помимо таких характеристик коммуникативного акта, как индивидуальные психофизиологические и социальные свойства участников коммуникации, которые неминуемо влияют на степень понимания речи, назвать еще одну, имеющую непосредственное отношение к рассматриваемым здесь механизмам речевой деятельности. Это режим функционирования моделей внутренней формы языка. Выбор режима речевой деятельности происходит, как мы отмечали, во время оценки ситуации общения как говорящим, так и слушающим. В случае неверного избрания функционального режима слушающим появляется опасность неверного определения стратегии синтаксирования, т.е. неверного выбора модели текста, текстового блока, высказывания и т.д. Впрочем, некоторая несогласованность режима речепроизводства и режима речевосприятия наблюдается столь часто, что можно попытаться классифицировать случаи такой несогласованности.

Наиболее частое расхождение режима передачи и режима репродукции касается обыденно-мифологического восприятия художественной и научной речи. Подобное восприятие носит, как правило, утили-

тарный характер. В связи с массовостью этого явления появляются даже специфические переходные режимы речевой деятельности. Такова речевая деятельность в области массовой культуры. Как правило, при обыденном восприятии собственно художественного речевого сообщения снимается только денотативно-фабульная и, частично, коннотативно-эмоциональная информация.

Еще ниже степень вероятностного прогнозирования как на уровне моделей, так и на уровне знаков при обыденно-мифологическом восприятии научной речи. В этом случае происходит упрощение содержания, вульгаризация научных положений, неадекватное восприятие знаков-терминов, вступающих в омонимичные отношения с обыденными знаками. Большая же часть информации не считывается именно из-за отсутствия во внутренней форме индивидуального языка носителя единственно обыденно-мифологического режима речевой деятельности (монологссанта) моделей научных текстов в ВФЯ и соответственной терминосистемы в ИБЯ.

Аналогичные сдвиги возможны и при восприятии художественного речевого произведения в режиме научной речевой деятельности. При этом, как правило, не считывается коннотативно-эмоциональный и коннотативно-образный элементы содержания. Кроме того, может быть неверно выработана синтаксическая стратегия со-порождения художественного текста при его научном восприятии. Это сопряжено, прежде всего, с отсутствием моделей художественного текста либо с их временной инактивацией. При восприятии в режиме научной деятельности сильно затрудняется достижение главной цели художественной речевой деятельности - испытания эмоционально-эстетических переживаний.

Не менее проблематично и художественное восприятие продуктов научной речевой деятельности. В этом случае часты нападки на "птичий язык", сухость и шаблонизированность научных текстов со стороны художественной интеллигенции. Что касается продуцирования текстов в смежных режимах речевой деятельности, то именно это стало причиной возникновения всевозможных переходных типов коммуника-

ции - эссеистики и популяризации в науке, публицистики, деловой коммуникации, документальной и мемуарной художественной литературы, массовой культуры и под. Большая или меньшая ориентированность внутренней формы индивидуального языка на один из режимов речевой деятельности прямо отражается на характере речепорождения и речевосприятия. Ярким примером художественности в научной речи являются работы А.Лосева. Вот только некоторые примеры из его "Философии имени": "мысль достигает своего высокого напряжения", "магия слова", "могущество и власть слова", "слово - могучий деятель мысли и жизни", "поднимает умы и сердца" (Лосев, 1990б:24).

Столь же мало можно надеяться на коммуникативный и смысловой успех при неадекватном режимном восприятии обыденной речи в научном (особенно, логистическом) или художественном (особенно, эстетском) ключе. Первое широко наблюдается как в науке, особенно в рационалистских исследованиях, где факты обыденного сознания и речи либо игнорируются, либо ложно истолковываются, так и в обыденной жизни ученых, которые склонны переносить в жизнь идеальные логические схемы своих научных построений. Как известно, направление "критики естественного языка", с которого начинал рационализм, привело к появлению новых, более умеренных, прагматически ориентированных версий рационалистской методологии. К представителям такого направления можно отнести, в частности, Нормана Малкольма, который вынужден был согласиться с тем, что "... ни одно обыденное выражение не является противоречивым, если существует обыденное его употребление, всякий раз, когда философ объявляет, что обыденное выражение противоречиво, он неправильно интерпретирует его значение" (Малкольм, 1993:94).

Наиболее весомые результаты в понимании, по нашему мнению, могут быть достигнуты при совпадении коммуникативной ситуации и режима речевой деятельности, т.е. при обыденно-мифологическом восприятии и порождении сообщения в обыденно-бытовой коммуникации, научно-теоретическом режиме в научном и деловом общении или художественно-эстетическом в искусстве и политике.

Л.Выготский отмечал как одно из важнейших условий восприятия художественного текста наличие художественного чутья или таланта у читателя: "Восприятие искусства требует творчества, потому что и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения - необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна"(Выготский,1986:313). Единственное, что мы считаем необходимым добавить к сказанному, это то, что, скорее всего, процесс творчества как при порождении, так и при со-порождении воспринимающим, не простирается на все речепроизводство, но лишь на определенные ключевые точки его. Инсайт лишь раскрывает путь, способ художественного или научного открытия, т.е. порождает ядро содержательной интенции творчества, но не само произведение. Показательно, что в одной из работ более раннего периода Л.Выготский критиковал мысль Ю.Айхенвальда: "Если читатель сам в душе не художник, он в своем авторе ничего не поймет. Поэзия для поэтов. Слово для глухих немо. К счастью, потенциально - мы все поэты. И только поэтому возможна литература" (Цит.по: Выготский,1986:341), к которой сам позже приходит. Ю.Лотман об этом же пишет так: "... в момент восприятия слушатель, полностью понимающий произведение (представить себе такого слушателя, видимо, можно только теоретически), конгениален автору" (Лотман,1994:217). На идее со-порождения или со-проживания эстетического чувства построены многие теории искусства, в том числе теория "вчувствования". "Согласно этой теории чувства не пробуждаются в нас произведением искусства, как звуки клавишами на рояле, каждый элемент искусства не вносит в нас своего эмоционального тона, а дело происходит как раз наоборот. Мы изнутри себя вносим в произведение искусства, вчувствуем в него те или иные чувства, которые поднимаются из самой глубины нашего существа и которые, конечно же, не лежат на поверхности у самых наших рецепторов, а связаны с самой сложной деятельностью нашего организма" (Выготский,1986:257-258). На бо-

лее современном уровне, в частности, на основе структурно-функциональной методологии, можно интерпретировать взгляды представителей теории "вчувствования" в смысле привнесения смысла и содержания в текст не произвольно (что более свойственно рационалистской, солипсической методологии), но на основе общности когнитивной и языковой структур автора и читателя, т.е. через установление функционального отношения между сознанием читателя и сигнальной презентацией текста произведения.

Здесь как нельзя к месту был бы пример восприятия ребенком сказки. Стоит задаться вопросом: как ребенок впервые воспринимает сказку, где действуют персонажи, о которых ребенок ранее никогда не слышал (колобок, баба-Яга, ведьма, черт, колдун), фигурируют предметы, которых ребенок никогда не видел и о которых ничего не знает (сусеки, помело, ступа, волшебная палочка), происходят события, о которых ребенок ранее не слышал и участником которых никогда не был (а зачастую, и никогда не будет). Несложно убедиться, что ребенок любит слушать одну и ту же сказку (и не только сказку, но и любой рассказ взрослого) многократно. Это объясняется именно тем, что у ребенка отсутствует необходимый тезаурус, нет соответствующих данных в информационной базе языка и нет соответствующих когнитивных сценариев, ментальных пространств в памяти, моделей текстов и других речевых единиц во внутренней форме языка и т.д. Поэтому ребенок со-порождает всякий раз не весь текст, но лишь его элементы, только то, что он способен создать в своем сознании в силу той базы данных, которой он уже обладает и в силу своей активной позиции в познании. Каждый раз, прослушивая сказку, ребенок проникает в ментальное пространство искусства, которым обладают взрослые носители культуры. Аналогично человек действует и позже. Некоторые тексты мы со-порождаем всю жизнь, прочитывая их для себя всякий раз по-новому. При этом вполне возможно, что читатель глубже проникает в социальную психологию повествователя текста. Однако, вполне возможно, что читатель, ошибочно определив для себя

общую текстовую стратегию, порождает совсем иной текст, т.е. домысливает то, чего не было в авторской версии текста.

Суть собственно мифологической речевой деятельности состоит именно в ее обыденности, в ее бытовой, практической направленности. Ни говорящий, ни слушающий не обращают внимания на речевые знаки как таковые. Для них важна не форма, и даже не собственно содержание речевого произведения, но тот когитативный смысл, который стоит за ними. А в некоторых случаях и те практические действия, которые предшествовали, сопровождают или последуют за производимой или интерпретируемой речью. Именно это обстоятельство является выражением мифологичности обыденного общения, так как в основе использования знаков лежит вера в их целостность, нерасчлененность, в их семиотическую функцию. В этом смысле любое нормальное использование знака как такового представляет из себя мифологическую речевую деятельность. Однако это вовсе не дает права уравнивать обыденное, научное и художественное общение. Поэтому А.Лосев одновременно прав и неправ, утверждая, что "когда "наука" разрушает "миф", то это значит только то, что одна мифология борется с другой мифологией" (Лосев, 1990а:407). Неправ Лосев именно потому, что если бы в искусстве и науке использование знаков было бы нерасчлененным, если бы явно не наблюдалась тенденция к их разрушению, художественная и теоретическая речевая деятельность уравнилась бы с обыденной, а ее результаты были бы шаблонными и практически, утилитарно значимыми. Но научная и художественная речь никаким образом не ориентированы на повседневную жизнедеятельность. Они ориентированы в определенной степени на самих себя. Разрушение знака ученым (мыслителем) и художником не одинаково. Ученого не устраивает содержание знаков, художника - их выражение. Обыденный режим речевой деятельности в науке или искусстве привносит в результаты такой деятельности мифологический элемент. Это выражается в порождении научных мифов (устойчивых заблуждений, наукообразных шаблонов) или мифов художественных (расхожих приемов, литературных шаблонов, штампов). Использо-

ние штампа в научной или художественной речи делает речь менее информативной, менее предиктивной, более номинативной. Предикативность речи тем выше, чем больше в ней рема-тематических соположенностей (предикативных или полупредикативных отношений). Естественно, шаблон, будучи номинативной единицей, в собственной структуре не содержит живых рема-тематических отношений. Он вступает в подобные отношения нерасчлененно, как целостная единица. Следовательно, чем выше шаблонизация речи, тем ниже уровень ее предикативности, а значит и функциональной информативности.

Разрушение мифологичности языкового знака со стороны ученого порождает классификационные, систематизационные, аналитические действия, попытки дать все более точное определение уже известному (и названному), обнаружить новые разновидности и составные уже известного (и названного), обобщить, найдя сходные черты в уже известных (и названных) явлениях. Именно в этом анифологизм, борьба с мифом-знаком (известным и названным) с позиции содержания. Более интересен, как нам кажется, спектр речемыслительных действий писателя. Его стремления связаны с поиском новой формы выражения познанного (и уже ранее называвшегося). Взяв во внимание структурно-функциональную теорию знака, рассмотрим возможные привнесения (разрушения знака) со стороны плана выражения. Как мы уже отмечали, к плану выражения знака относится вся собственно языковая системная информация о данном знаке, т.е. информация о его месте в языковой системе, отношениях к моделям знако- и речепроизводства и, соответственно, его потенциях в плане употребления в речепроизводстве (продуктивном или репродуктивном). Таковой является информация о стилистических возможностях языкового знака, его синтаксических потенциях, синтагматической роли, формообразовании и фоно-графическом оформлении в речевом отрезке. В зависимости от того, какой именно элемент плана выражения пытается разрушить художник, можно составить типологию способов художественной речевой деятельности.

Первый подобный прием связан с попыткой разрушить устоявшуюся привязанность языкового знака к той или иной стилистической среде. Художественный эффект достигается за счет ненормального стилистического использования знаков, путем смешения стилей. В этом же ключе действуют и те писатели, которые пытаются сделать более разнообразными формы, найти новые жанровые формы, пытаются сломать привычные формы текста. При этом сам строй речи ничем особенным может не отличаться. Это и появление сонета или новеллы, стихотворений в прозе, оригинальные видоизменения жанровой формы художественного текста и под. С введением новшеств на уровне текста связаны и преодоления шаблонов во внутренней организации текста, скажем широкое использование микротекстов в тексте (притчи в “Новом Завете”, сказки в “Тысяче и одной ночи”, новеллы в “Декамероне”, швейковские байки “по поводу” у Я.Гашека), ликвидация разбивки текста на части, главы, СФЕ и другие текстовые блоки, смешение текстовых блоков, использование специфической последовательности текстовых блоков в тексте или специфической внутренней организации текстовых блоков на синтаксическом или фонетическом уровне (булгаковское раздвоение повествования в “Мастере и Маргарите”, кортасаровское переплетение глав в “Игре в классики”, онегинская строфа, ритмическая реорганизация стиха В.Маяковским, разнобой в строфике А.Вознесенского). К текстовым факторам художественной демифологизации речи следует отнести и эксперименты в области категории повествователя (повествование одновременно от нескольких лиц, резкая смена повествователя, подчеркнутая неопределенность или загадочность личности повествователя и под.).

Второй тип художественной демифологизации знака состоит в нарушении синтаксического строя речи, поиске новых или переосмыслении старых типов высказываний, нагромождении сверх обычного высказываний какого-то одного типа. Это может быть и нагромождение сложных синтаксических конструкций, подчеркнутый диалогизм в прозе, нагромождения риторических вопросов, восклицательных предложений, построение текста в виде одного предложения либо разбивка предложений

на части и т.п. К этому типу можно отнести прозаические произведения А.Белого, орнаментальную прозу, сказовые прозаические произведения, т.н. роман “потока сознания”, “сухую”, “телеграфную” новеллистику и под.

К третьему типу приемов следовало бы отнести операции, связанные с переосмыслением синтагматики в высказываниях, синтаксического развертывания и синтагматической валентности (например, создание необычных типов словосочетаний). Здесь и склонность писателя широко использовать синонимические ряды, антонимические и сравнительные конструкции, полупредикативные обороты (причастные и деепричастные), вводные модальные конструкции, обращения и уточнения, и склонность заменять один тип словосочетаний другим и под.

Следующий прием - нарушение обычного формообразования знака, изменение не по правилам или против обычных норм культуры речи, изменение неизменяемых слов или, наоборот, устранение изменяемости у слов изменяемых. Таким способом часто создают эффект стилизации под диалект или просторечие.

Наконец, наиболее распространенный прием - нарушение фонографического оформления. Такое нарушение может приобретать характер вполне нормативный (рифма, ритм, размер), но может быть и единичным (случаи эвфонии - ассонансы, аллитерации, гомеоптотоны и этимологические фигуры или случаи разрушения обычных ритмов, рифм, создание новых). Сюда же следует отнести довольно частое использование в художественной литературе нарочитое смешение фонетической (или морфемно-фонетической) структуры нескольких языковых знаков (контаминация, игра слов, каламбур): укр. “мавпет-шоу” (“мавпа” + “Маппет-шоу”), русс. “Битие определяет сознание” (“бить” + “Бытие определяет сознание”), “Бронетемкин Поносец”, “Париж Соборской Богоматери” или же нарочитое извращение фонетической структуры одного знака: русс “хрюндик” (вм. “Грундиг”), “лабалатория” (вм. “лаборатория”), “спинжнак” (вм. “пиджак”).

Кроме всего прочего, к чисто художественным относятся и попытки демифологизации в системе знакообразования. Так, писатели очень часто прибегают к образованию новых знаков для обозначения уже называвшегося, причем как деривативными способами (В.Маяковский, А.Вознесенский), так и путем трансформации (А.Платонов). В случае открытия писателем некоторого совершенно нового смысла на уровне знака и номинации его новой формой, может произойти существенный сдвиг в восприятии данного произведения. Таковы стихотворения В.Хлебникова, где за новыми формами кроется новый смысл, что делает эти произведения недоступными более менее адекватному восприятию. Поэзия в силу своей архитектоники вообще весьма специфична как в плане порождения, так и в плане восприятия. Очень часто использование форм слов в поэзии (в отличие от художественной и нехудожественной прозы) мотивируется не содержанием, а формой стихотворного текста, т.е. требованиями ритма, рифмы, эвфонии. Часто план выражения поэтических строк предшествует их осмыслению. Механизмы поэтического творчества, как нам кажется, отличаются от механизмов создания прозы. Хотя, наверное, было бы ошибкой полагать, что это отличие носит принципиально онтологический характер. Выбор единиц все же ограничен моделью ситуации общения (художественным творчеством) и моделями текста (стихотворного). Определение модели ситуации и модели текста влечет за собой актуализацию определенного слоя информационной базы языка, определенного тематического поля. Поэтому, при построении конкретного высказывания по заданной модели текста ритмической и рифмовой схеме, выбор отдельных знаков все же производится не совершенно оторванно от интенционального содержания, а все же задается актуализированной сферой ИБЯ. Поэтому удачные находки поэтов в использовании знаков часто квалифицируют как творческий инсайт, божественное откровение. Мы же склонны относить это на счет опыта, отлаженности и гармонизированности информационной базы и внутренней формы индивидуального языка поэта, а также на счет гармонии вербального и невербального сознания автора. Все это

обычно называется поэтическим талантом. Языковой знак в разных типах речевой деятельности обладает различными характеристиками и выступает в различных ипостасях - в виде обыденного знака, в виде термина и в виде эстетического образа. У А.Лосева находим подобную триаду: символ - схема - аллегория (См.Лосев, 1990а:428-430). В отличие от Лосева, считавшего, что символ в противовес схеме и аллегории обладает способностью вещественно-реального бытования, мы считаем, что все это три формы одного и того же - семиотической функции социализированной психики-сознания индивидуума. В любом случае это функции знаков, а не вещей, и уж тем более не вещи. Сам Лосев отмечает это свойство: "поэтичен не самый предмет, к которому направляла поэзия, но способ его изображения, т.е. в конце концов, способ его понимания... Мифичен способ изображения вещи, а не сама вещь по себе" (Лосев,1990а:445), впадая тем самым в противоречие, так как мифологизм наименования и амифологизм вещи несовместимы в едином феноменологически взятом имени.

Мифологизм обыденного общения состоит в том, что участники бытового коммуникативного акта безукоснительно принимают "правила игры" не относясь к общению как к игре, в то время, как ученый или писатель отдает себе отчет в том, что его речепроизводство совершается собственно по "правилам игры" и само представляет из себя "игру". Очень верно этот момент подмечен Гадамером: "Игру делает игрой в полном смысле слова не вытекающая из нее соотнесенность с серьезным вовне, а только серьезность при самой игре. Тот, кто не принимает игру всерьез, портит ее. Способ бытия игры не допускает отношения играющего к ней как к предмету. Играющий знает достаточно хорошо, что такое игра и что то, что он делает, - это "только игра", но он не знает того, что именно он при этом знает" (Гадамер,1988:148) [выделение наше - О.Л.]. Это же отмечает и Иоган Хейзинга в "Homo Ludens": "... игра это не "обычная" или "настоящая" жизнь. Это скорее выход из пределов "настоящей" жизни во временную сферу деятельности, где господствуют ее собственные законы. Каждый ребенок прекрасно знает, что это "не по-настоящему", что он

“только прикидывается” кем-то” (Гейзінга, 1994:15). Но, добавим мы, вслед за Гадамером, ни ребенок, ни взрослый не желают в ходе игры выходить за пределы этих законов. И еще неизвестно, кто из них более погружен в игру, кто более подвластен ее законам. З.Фрейд сравнивал поэта с ребенком: “Поэт делает то же, что и играющее дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения, в то же время отделяя его от действительности” (Цит.по:Выготский, 1986: 94). Лишь в крайних случаях научное и художественное мышление могут отрешаться от этого осознания условности. Это делает определенную теорию или творчество мифологическим, сближая их в значительной степени с религией, верованиями. Религиозное общение в чистом виде представляет собой высшую теоретическую степень обыденно-мифологического общения. Однако только в чистом виде. Зачастую религия становится лишь темой, сферой речевой деятельности в различных режимах. Так, религиозное общение может приобретать форму научно-теоретического рассуждения, либо художественно-эстетического переживания, священнодействия, культового ритуального общения. Лосев абсолютно прав, когда отмечает, что “...миф возможен без религии. Но возможна ли религия без мифа? Строго говоря, невозможна” (Лосев:1990а:488). Теоретическая форма обыденно-мифологического общения не исчерпывается религиозным общением. Сюда можно отнести все виды эзотерической обыденности, в том числе общения в ходе празднований, традиционных ритуалов вполне светского и полусветского свойства. Всякое знание, базирующееся на убеждении, вере, интуиции - есть мифологическое знание. При этом правила познания, а равно аффекта, перцепции, эмоционального переживания не предлагаются, но предполагаются, не определяются, но задаются самим фило- и онтогенезом человеческого сознания.

Совсем иного рода познание научное или художественное. Здесь наличествует собственно предложение и определение правил познавательной деятельности. Это искусственные формы познания и общения. Поэтому, при построении модели речепорождения и речевос-

приятия следует учитывать это обстоятельство и не смещать акцент с собственно обыденно-мифологической сущности языка на его логическую (как это делают рационалисты) или художественную (как у представителей герменевтики) сторону. Только обыденно-мифологическое речепроизводство и речевосприятие включают в себя как логику, так и аффект, как рациональное, так и интуитивное. В научном же познании аффект может быть сведен до минимума или же отсутствовать вообще. Точно так же, в художественной речевой деятельности может отсутствовать формальная логика. В обыденной речи и логика, и аффект - интуитивны. При создании научного текста или его восприятии ученый должен отдавать себе отчет в методологии исследования. В противном случае текст будет воспринят мифологически либо не будет создан как научный текст вообще. Так же и писатель отдает себе отчет в том, что он создает именно художественное произведение и придерживаться при этом определенных условностей творчества. Читатель, в свою очередь, должен для восприятия художественного произведения, принять систему художественно-эстетических ценностей и творческих условностей автора. Обыденное же речепроизводство и речевосприятие не предполагает какого-то специального методологического акта принятия на себя некоторых условностей общения. Такой подготовки и такого измененного состояния вовсе не требуется для повседневного обыденного общения. И дело тут не в том, что его не может быть, но в том, что его может и не быть.

Следовательно, в основе разграничения типов (режимов) речевой деятельности лежат следующие характеристики: логичность, аффективность и интуитивность. Научная речь логична по необходимости, художественная - аффективна, обыденно-мифологическая - интуитивна. Попытки "преодолеть" знак в художественной и научной речи сходны в какой-то степени результатами. Конечно, если оценивать эти результаты с позиций формальной логики, сущность сходства - в появлении единиц, в которых когнитивное содержание и грамматическая форма (в широком смысле - как внутриформенная информация) не синхронизированы с точки зрения большинства (или всех, кроме авто-

ра) носителей языка. Однако разница есть. В.Шкловский писал: "Язык помогает человеку в отвлеченном мышлении, он помогает мыслить общим, не возвращаясь к частному, мыслить языковыми формулами. Литература словесна, но в ней существует и борьба со словом, для восстановления действительности, для полного ее ощущения, а не только для осмысливания и перевода в понятие" (Шкловский, 1974:154). Мысль о преодолении формой содержания в художественной речи неоднократно высказывалась различными исследователями и самими писателями. Очень последовательно писал об этом Л.Выготский: "Разве не то же самое разумел Шиллер, когда говорил о трагедии, что настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание? И разве поэт в басне не уничтожает художественной формой построением своего материала того чувства, которое вызывает самим содержанием своей басни" (Выготский, 1986: 182).

Писатель изменением формы пытается вызвать со-порождение мысли, созвучной его видению мира. "Писатель создает не словарь понятий, а способ новых раскрытий явлений" (Шкловский, 1974:154). Добавить можно лишь то, что раскрывает писатель не явления, но явленное ему, т.е. свое миропонимание и свои переживания. Ученый же, напротив, именно создает словарь понятий. Его задача не раскрыть собственное видение, но проникнуть в явления (в вещи). Здесь необходимо отметить, что "проникновение в явление" представляет собой лишь методологическую декларацию ученого, его творческую нацеленность, реально же он всегда раскрывает только свое понимание явления, ибо такова основная установка языковой деятельности вообще. В данном случае важна именно нацеленность ученого на предмет исследования, а не на себя, не на свои переживания. Всякий раз в ходе научного творческого поиска ученый пребывает в уверенности (наивной?!), что он открывает в предмете исследования нечто новое, что до него еще не было обнаружено и названо. В какой-то мере он обманывается, если полагает, что, описывая местность, животное, предмет, текст или поведение людей, он описывает именно их, а не

свое видение, свое понимание указанных объектов. Поэтому, с одной стороны, вполне вероятно, что кто-то до него или параллельно с ним и независимо от него пришел к аналогичному видению и пониманию (все зависит от степени конвенциональности терминосистем в данной отрасли знаний), но, с другой, - вполне вероятно и то, что подобный способ видения и понимания объекта окажется уникальным (мы опускаем вопрос об истинности или ложности этого видения и понимания). Нацеленность на план содержания текста заставляет ученого вводить в текст новые понятия, а значит - новые знаки. При этом происходит переустройство терминосистемы. В результате такого пересмотра понятий высвобождается целый ряд терминов, ранее использовавшихся в "старой" терминосистеме. Именно это обстоятельство позволяет ученому использовать форму подобного термина для собственного терминотворчества, что в итоге порождает омонимию терминов. Поэтому зачастую (особенно в гуманитарной сфере, где в силу онтологических свойств предмета исследования и методологических привязанностей ученого нет единого метаязыка) научные тексты трудно воспринимаемы. Но эта усложненность в восприятии принципиально отличается от сложности восприятия художественного текста. Текст научный, в т.ч. и гуманитарный (при условии, конечно, что это научный текст), обладает свойством "прочитываемости" при условии знания авторской системы терминов (системы понятий). Текст художественный принципиально не "прочитываем", даже если удастся вскрыть авторские приемы и некоторые авторские смыслы. Смыслы ученого фиксируемы и воспроизводимы. Ученый культивирует смыслы, оттачивает их, стремится к их стабилизации и следит за собой при создании текста. Писатель спонтанен в смыслопроизводстве. Он избегает постоянства выражения смысла, пытается всякий раз по-иному называть одно и то же, пытается проверить свое знание или чувство иной стороной, для чего ищет выражение во всех возможных сферах языковой системы. Однако, во всех случаях знак остается функциональной, т.е. двусторонней семантической сущностью. Мы не можем согласиться с Ю.Лотманом, что "понятие знака в искусстве (в отличие от

понятия знака в языке - О.Л.) оказывается строго функциональным, определяемым не как некая материальная данность, а как пучок функций" (Лотман, 1994:64). Таков знак всегда. Поразительно, что в концепции Лотмана совмещались одновременно два методологических подхода - функциональный (когда он рассматривал произведения искусства, в частности, художественной литературы) и феноменологический (в языкознании и общей семиотике; вспомним, в частности, его идею семиосферы). Это наталкивает на мысль, что та или иная конкретная методология далеко не всегда является общей эвристикой человеческой психомыслительной деятельности, но может быть лишь эвристикой какого-то одного режима речемышления (например, некий индивид в качестве писателя, философа, ученого и просто в качестве частного лица может руководствоваться совершенно разными методологическими установками), а может касаться только какой-то отдельной сферы деятельности данного субъекта в одном и том же режиме речемышления (например, быть различной в прозе и поэзии того же писателя или в философских и конкретнонаучных изысканиях того же исследователя; так, например, Декарт и Рассел были позитивистами в физике, но менталистами в эпистемологии).

Л.Выготский прекрасно выразил сущность художественного смысла, художественной "действительности": "Это есть особая, чисто условная, так сказать, действительность добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель" (Выготский, 1986:149). И писатель также, добавим мы. Суть художественного состояния сознания именно в ино-состоянии, ино-переживании, ино-прочувствовании. Чем необычнее, нелогичнее, нереальнее - тем лучше. Референтивность знака в искусстве (эмотивность, образность, оценочность, сенсорика) в противовес категориальности знака в науке, является следствием именно установки на прочувствование, переживание самим, на собственном опыте. Но при этом громадной ошибкой было бы смешивать референтивность знака в художественном режиме сознания и собственно саму психическую наглядную образность (представление). Эстетический образ - семиотичен (это знак), наглядный образ - собственно психичен

(это представление). Эстетический образ не просто прочувствуется, переживается, но со-чувствуется, со-переживается. Его сущность в его знаковости. Художником не рождаются. Язык искусства, в том числе и художественной литературы, изучается, познается. Художник не творит для себя. Он входит в роль художника, читатель же (слушатель, зритель) входит в роль читателя (слушателя, зрителя). Л.Выготский совершенно прав, когда пишет о "словесном" переживании в художественной литературе и "ненаглядности" самой художественной литературы (См. Выготский, 1986:64).

По нашему глубокому убеждению, только обыденно-мифологический знак непосредственно и прямо выполняет свою семиотическую функцию, т.е. обозначает когнитивное понятие целиком, а не частично, как научный термин или художественный знак-образ. Как нам кажется, научное и художественное видение мира носит ирреальный характер: первое - императивно (предписывающее: "так должно быть", т.е. в его основе осознание того, что мир воспринимается в обыденной жизни неверно и должен быть воспринят верно в науке или философии), второе - сослагательно (предполагающее: "так могло бы быть"; в основе - осознание возможности и иного состояния вещей, такого, которого нет в действительности). Кстати, В.Шкловский также подмечает эту "сослагательность" искусства: "Человек не предназначен только для обыденной жизни, и он переживает то, что могло бы быть, а для него должно было бы быть, в искусстве" (Шкловский, 1959:133). Обыденно-мифологическая же картина мира - изъявительна: мир таков, каков он есть, таким он был и таким будет; в основе - полная вера в истинность своего видения мира. Как писал Б.Рассел: "... всеобщее доверие к воспоминанию является предпосылкой человеческого познания" (Рассел, 1957:245).

Оценивая ситуацию общения, человек, тем самым, избирает режим (характер и способ) речемыслительной деятельности и только после этого определяет собственно сценарий или стратегию общения в данном режиме, т.е. производит выбор модели речевой ситуации. В несколько упрощенном виде подобное видение проблемы представ-

лено и у ван Дейка. В частности, он полагает, что "...существуют типизированные последовательности речевых актов, структура которых имеет относительно конвенциональный или "ритуальный" характер - такие, как чтение лекций, проповедей, ведение повседневных разговоров, любовная переписка" (Там же, 18). Упрощенность видения проблемы состоит, прежде всего, в смешении типа речевого общения ("повседневные разговоры") и модели текста ("лекция", "проповедь", "письмо"). По нашему мнению, следует различать типы ситуаций общения и их сигнальные разновидности (обыденное устное или письменное общение, научное письменное или устное общение, эстетическое письменное или устное общение) и собственно типы текстов в рамках того или иного типа речи (напр., статья, конспект, доклад, лекция, диспут, отчет, справка, проект - в рамках научно-теоретического типа; спор, перебранка, беседа, письмо, признание в любви - в рамках обыденно-мифологического типа; репортаж, статья, рассказ, повесть и под. - в рамках художественно-эстетического типа).

Понятие ситуации общения, к которому мы выше обращались, восходит к рационалистским прагмалингвистическим исследованиям. И все же между прагмалингвистическим пониманием ситуационных (эпизодических) моделей и пониманием модели ситуации в функциональной теории есть существенная разница, хотя прагмалингвистика и функциональная лингвистика в значительной мере перекликаются. Несмотря на то, что прагмалингвисты при исследовании текстов и отдельных коммуникативных актов учитывают реальные условия и обстоятельства коммуникации, все же их работы носят чисто референциальный характер. В этом отношении прагмалингвистика, с одной стороны, остается в сфере референцирующих представлений о реальности исключительно единичных речевых актов, совершаемых в индивидуальных эмпирических обстоятельствах, экстраполируя на которые текст, можно верифицировать его смысл как истинный или неистинный. Именно к этому сводится прагмалингвистические исследования дискурса как "текста, взятого в событийном аспекте" (ЛЭС, 1990:136). Эта ветвь прагмалингвистики не выходит за пределы гене-

ративистики. Выведение на передний план проблемы модели как лингвистического конструкта, построенного на основе философской логики для верификации истинности текста, объединяет прагмалингвистические и генеративистские исследования. Модель, по ван Дейку, должна мыслиться как база сценария речевого поведения, должна иметь сходную с ним структуру, должна быть подвижной и подвластной корректировке (См. ван Дейк, 1989:165). Однако это не характеристика языковой модели ситуации, с которой можно было бы полностью согласиться, а требования, выдвигаемые к построению модели как некоего конструкта. Хотя у того же ван Дейка встречаем вполне согласующееся с функциональной теорией положение о том, что "семантическая связанность (текста - О.Л.) зависит от наших знаний и суждений о том, что возможно в этом мире" (Там же, 123). Высказанное суждение можно дополнить лишь предложением расширить понимание "мира" субъективным "миром" говорящего и не сужать его до т.н. "объективной действительности", поскольку критерий оценки связности или осмысленности текста зависит не от ситуации общения самой по себе, а от того, как ее понимает участник коммуникации. Таким образом, функциональное понимание модели речевого поведения заключается в том, что такая модель признается реальной (естественной) психологической функцией, а не искусственным логическим конструктом. Задача лингвиста - не строить эти модели, а обнаруживать их и исследовать механизмы их действия.

Вместе с тем, в прагмалингвистических исследованиях можно обнаружить и чисто структуралистские, объективистские черты. В частности, это понимание дискурса как некоторого единого феномена, единства языковой формы, значения и события, в которое входят действующие, обстоятельства их действий и т.д. В этом отражено стремление многих прагмалингвистов объединить язык и действительность, что, в первую очередь, свойственно именно феноменологическим теориям вроде герменевтики или философии имени П.Флоренского и А.Лосева. Именно эти две тенденции: к получению чисто позитивных знаний о языке через оценку текста сквозь призму

эмпирически наблюдаемого события и построению феномена дискурса, в котором языковая деятельность индивида элиминируется - не позволяют выделить прагмалингвистику в отдельный методологический тип лингвистического исследования наряду со сравнительно-исторической, структурной, генеративной и функциональной лингвистиками.

Чтобы подробно проанализировать речевую деятельность, нам необходимо произвести ряд классификационных шагов. Они, естественно, должны учитывать отношение речевой деятельности к мыслительно-семиотической деятельности в целом, к различным ее онтологическим и гносеологическим аспектам, а также к другим составным языковой деятельности.

По цели и способу вербализации различных сущностных аспектов смысла, речевая деятельность подразделяется на два онтических типа: речепроизводство и знакообразование. Первое имеет прямое отношение к языковой системе знаков (ИБЯ), а второе - к речевому континууму (речи). Связь эта реализуется через внутреннюю форму языка. Последнее обусловило выделение в системе внутренней формы языка соответственно моделей речепроизводства и знакообразования, а также моделей организации речевой деятельности в целом.

По характеру гносеологической аспектуализации выделяем три основных типа речевой деятельности: обыденно-мифологический, научно-теоретический и художественно-эстетический. Так же как в информационной базе языка мы выделяли различные аспектуальные подсистемы (сленговые, жаргонные, терминологические, образные), во внутренней форме языка также выделяем модели гносеологической аспектуализации, связанные с оценкой речемыслительной ситуации и выбором типа речевой деятельности.

По характеру оформления и способу материализации коммуникативных продуктов речевая деятельность может быть устной или письменной. Поэтому, наряду с моделями фонации речевых продуктов мы склонны выделять во внутренней форме языка также модели графического оформления речевых единиц.

Таким образом во внутренней форме языка мы выделяем следующие четыре группы моделей:

- а) модели речепроизводства (образования речевых единиц),
- б) модели фонации и графического оформления речевых единиц,
- в) модели знакообразования и
- г) модели речевой деятельности (выбора необходимых для речевой деятельности моделей, знаков из системы информационной базы, и контроля речевой деятельности).

В основе функционирования моделей речевой деятельности и всех остальных моделей внутренней формы языка лежат различные нейropsychологические механизмы. Модели выбора (а также модели знакообразования), по нашему мнению, управляются механизмами субституции (парадигматического соотнесения), все же остальные - механизмами предикации. Модели образования языковых знаков, как нам кажется, редко бывают напрямую связаны с моделями графического и звукового оформления. Образование знаков не может быть отстраненным от речепроизводства. Трудно и, пожалуй, невозможно себе представить акт словопроизводства, не вызванный коммуникативными или экспрессивными речевыми потребностями, не мотивированный никакой речевой ситуацией, не спровоцированный какой-либо конкретной моделью образования речевой единицы. Поэтому связь между моделями фоно-графического оформления и моделями знакообразования чаще всего осуществляется через соответствующие модели речепроизводства или через модели речевой деятельности (при различных типах речевой сигнализации - устной или письменной - могут избираться различные модели словопроизводства). Прямо могут быть связаны с фоно-графическими моделями, пожалуй, только модели усечения и аббревиации. Каждая из подсистем внутренней формы языка (речепроизводственная, фоно-графическая или знакообразовательная) связана с информационной базой языка как напрямую, так и через подсистему моделей речевой деятельности. Первое обеспечивает пассивное владение единицами ИБЯ, а второе - возможность активного выбора необходимой модели ВФЯ. Отношения между подсистемами

темами моделей во внутренней форме языка (ВФЯ) смоделированы нами в виде рисунка 5 в Приложении 8. Связь того или иного типа моделей ВФЯ с единицами ИБЯ (языковыми знаками) осуществляется через стилистические, грамматические, эпидигматические, фоно-графические элементы семантики знака (См. Таб.6 Приложения 7)

Поскольку понятие речевой деятельности является одним из центральных понятий структурно-функциональной лингвистики, возникает необходимость подробнее рассмотреть методологические основы функционального понимания организации внутренней формы языка и ее проявления в ходе речевой деятельности. Для этого следует раздельно проанализировать акты речепроизводства (внутреннего и внешнего), акты фоно-графического оформления внешних речевых структур и акты знакообразования, а также рассмотреть роль моделей речевой деятельности в координации всех трех названных групп.

2.2. Структура и функционирование моделей речепроизводства

Модель речевой единицы и модель выбора такой модели в функциональной методологии не выводятся за пределы языка и понимаются как единицы внутренней формы языка. В связи с этим встает вопрос, являются ли такими же языковыми единицами модель оценки ситуации общения и модель самой ситуации. Возникают большие сомнения, что оценка ситуации общения, включающая в себя информацию о собеседнике, месте и времени предстоящей коммуникации, обстоятельствах и условиях общения имеет прямое отношение к вербальному коду. Далеко не всегда подобная оценка завершается включением механизмов языка. Более того, чаще всего язык играет вспомогательную роль в актах коммуникации по отношению к другим, невербальным средствам общения, особенно при непосредственной устной коммуникации. Мы думаем, что включение механизмов языка начинается уже после того, как участник коммуникации оценил ситуацию, актуализировал конкретную, имеющуюся в его памяти модель ситуации общения и счел необходимым привлечь к коммуникации языковые знания. Поэтому наивысшими модельными единицами рчеобразования мы считаем модель построения текста (как модель речепроизводства) и модель выбора модели текста (как модель речевой деятельности). Модели же оценки ситуации и самих ситуаций общения следует вывести за пределы языка в сферу общей семиотической способности человека.

Чтобы понять, как используется в ходе речевой деятельности (в частности, в ходе речепроизводства) модели построения текста, следует задаться вопросом: что собой представляют такие модели и как они организованы в структуре внутренней формы языка.

Наиболее существенным условием функционального подхода к проблеме образования текста и организации соответствующей модели речепроизводства во внутренней форме языка является признание того, что сам текст, как речевое произведение, как продукт речепо-

изводства или шире - речевой деятельности - не является единицей языка. Прежде всего потому, что, обладая одним из свойств языкового знака - дискретностью (особенно письменный текст), он, тем не менее, не является воспроизводимой единицей как по части формы (особенно устный текст), так и по части содержания и смысла. Вряд ли кто-нибудь может вторично создать тот же текст или воссоздать его, если отсутствуют возможности его фиксации (запись) или запоминания (при достаточно большой длине). Случаи специального заучивания текста или феноменальные способности к запоминанию в расчет не берутся, так как не являются существенными для текста как речевого произведения, но характеризуют специфику ментальных процессов у конкретной языковой личности. Не исключена, правда, возможность превращения текста в языковую единицу. Это касается текстов, которые в силу своей символической значимости в культурном процессе становятся воспроизводимыми языковыми единицами - номинативными языковыми знаками. Субститутивная дискретизация текста часто приводит к частичной утрате его внутренних предикативных отношений. Такие тексты, превращаются, прежде всего, в единицы идиолекта, а при большей распространенности - становятся единицами диалекта, сленга, литературного языка или всего национального языка. Таковыми, как мы уже отмечали, могут быть тексты колыбельных, гимнов, обрядовых песен, частушек, анекдотов, притч, побасенок, клятв, заговоров и под.

Однако, это отдельные случаи. В большинстве же случаев тексты распадаются сразу же после их создания или восприятия. А иногда и в процессе их порождения (особенно это относится к устным текстам). Можно возразить, что текст может быть зафиксирован графически или в виде аудиозаписи. В связи с этими явлениями возникает целый ряд проблем методологического и философского характера. Что представляет собой как лингвистический факт звучащий или написанный текст? Несомненно, собственно лингвистическим фактом

является текст как синтаксическая речевая единица (включая психофонетическую и психографическую ее реализацию).

Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется опять заняться уточнением методологических позиций. Что понимать под текстом (и речевым произведением вообще): некоторые физические сигналы или некоторую информацию? Наверное, все-таки, второе. Является ли информацией звук? Или типографская краска, определенным образом нанесенная на бумагу? И может ли вообще существовать феномен информации за пределами осознающего информацию субъекта? Информация - это знание. А знания предполагают знающего. Поэтому говорить о речевом произведении можно только применительно к его порождению или восприятию. Только в момент говорения / слушания (или написания / прочтения) речь является речью, т.е. обладает содержанием (лексико-семантическим, грамматико-семантическим и фонографическим) и выражает некоторый смысл. Осмысленное говорение как внешнеречевой акт должен, таким образом, интересовать лингвиста не как акустико-артикуляционное действие, но как "внутреннее проговаривание". Термин этот ввел А.А.Леонтьев, четко различая проговаривание и внутреннюю речь (Леонтьев, 1967:7). Подробнее понятие внутреннего проговаривания как значимой ипостаси внешней речи охарактеризовал в книге "Язык и речь" И.Торопцев. В.Нишанов очень верно подметил, что "смысл ... так же как мысль, вне головы человека не существует" (Нишанов, 1988:13). Применительно к тексту это следует понимать так, что любой текст обязан своим существованием своему содержанию и смыслу (поскольку "слова, которые ничего не значат, представляют собою только шум. Психическая ценность языка заключается в его значении" [Фосслер, 1928:148]). То же касается и таких, казалось бы, собственно звуковых феноменов, как музыкальные произведения: "Абсолютно случайное, не структурное ни для создателя, ни для слушателя скопление звуков не может нести информации, но оно не будет иметь и никакой "музыкальности". Красота есть информация" (Лотман, 1994:132). А существованием содержания и смысла текст (в т.ч. и музыкальный) обя-

зан субъекту речевой деятельности. Следовательно, текст существует как таковой лишь в процессе порождения или восприятия. В остальных случаях это либо еще не текст (т.е. смысловое или языковое ментальное пространство, которое можно частично эксплицировать текстом, либо модель текста, при помощи которой это можно сделать), либо это уже не текст (физический сигнал о тексте). Естественно, это со стороны говорящего (пишущего). Со стороны воспринимающего все наоборот: звуковой или графический комплекс - это еще не текст, а модель текста или некоторое ментальное пространство в ИБЯ или в когнитивной картине мира - это уже не текст.

Это положение структурно-функциональной методологии лингвистики прямо противоречит феноменологическому (в первую очередь, герменевтическому и классически структуралистскому) пониманию сущности текста. Имеет смысл обратиться к наследию А.Лосева, который, по мнению Р.Якобсона, был предвестником структурализма. В "Диалектике мифа" встречаем такое положение: "Всякий миф, если не указывает на автора, то он сам есть всегда некий субъект. Миф всегда есть живая и действующая личность" (Лосев, 1990а:413). Идея единства внешнего (зримого, осязаемого) и внутреннего (смысла, переживания, знания) в имени, понимаемом не как функция сознания, но как реальная действительность, сближает Лосева с герменевтикой. Между мыслью о том, что жизнь - это текст и лосевской идеей имени нет принципиальной разницы. Суть обоих положений состоит в том, что вещам, явлениям приписывается объективное свойство осмысленности, а абстракции, смыслы приобретают свойство объективной реальности. Текст, таким образом, становится самоценным феноменом со своим собственным смыслом и содержанием.

Следовательно, отбрасывая позитивистское понимание текста как совокупности физических звуков или надписей, следует остерегаться и собственно феноменологического понимания текста как смыслового феномена, независимого от индивидуума. Возможен еще и третий подход - генеративистский, основанный на неопозитивистских при-

страстях к речевому контексту, к коммуникативной ситуации, в которой видят базу для позитивной научной информации. Отсюда, собственно, и попытки подменить исследование языка исследованием речи, но с поправкой на ментализм врожденной языковой компетенции. Именно это последнее сделало генеративистику новым шагом в языкознании. Поскольку в порождающей грамматике практически нет достойного места тексту, речь приходится вести о методологии понимания высказывания как объекта лингвистического исследования.

Несомненная заслуга генеративистики состоит в смещении акцента с реальных свойств высказывания (что отличало компаративистику и структурализм) на синтаксическую семантику, т.е. смещение центра исследований с продуктов речи на механизмы внутренней формы языка. В этом смысле рассмотрение глубинных и поверхностных структур в качестве смысловых, а не звуковых построений создало предпосылки для полноценного функционального понимания речевой деятельности. Однако ни Хомский, ни Ингве, ни их последователи и продолжатели так и не смогли выйти за пределы речевых единиц как объекта исследования. Ядерные предложения или их аналоги в глубинных структурах вряд ли можно полноценно трактовать как модели, механизмы продуцирования поверхностных высказываний. Скорее, это попытка представить глубинную структуру в лучшем случае как некоторый продукт внутреннеречевого процесса, т.е. не как модель, но как результат. Этот момент генеративистских (и прежде всего трансформационной) теорий достался им по наследству от структуралистского феноменализма (дескриптивизма).

Применительно к тексту можно было бы интерпретировать основные методологические посылки рационализма следующим образом. Текст как продукт ряда глубинных предикаций предстает в виде синтаксической макроструктуры, состоящей из отдельных высказываний, сорасположенность которых между собой порождает некоторый смысл. Разница в понимании объекта исследования у рационалистов и позитивистски ориентированных исследователей (младограмма-

тизм, дескриптивная лингвистика) состоит лишь в том, что вторые исследуют текст как звук (графику) за которым стоит некоторый обязательный, стандартный смысл, а первые - как звук (графику) которому этот смысл приписывается ситуацией общения. И то, и другое принципиально не выходит за методологические рамки референциализма (свойственного и позитивизму, и рационализму). Но все же рационалистское понимание текста является шагом вперед по сравнению с феноменологией. Если в классическом структурализме (вроде глоссематики Ельмслева, антропологии Леви-Стросса или тартуско-московского структурализма) еще не было понимания сугубо речевого характера текста (в силу объективистского понимания языка), у генеративистов сделан существенный шаг в сторону выведения текста за пределы языка. Но при этом совершенно не ясны механизмы порождения текста как целостного образования, обладающего не только содержанием (информацией, заложенной в его составляющих), но и смыслом (информацией, извлекаемой из способа представления составляющих). Наличие у текста речевого содержания, эксплицируемого его составляющими делает структуру текста неслучайной, преднамеренной, интенциональной и заставляет видеть за текстом и до текста некоторые модели его порождения, т.е. то, что некоторые генеративисты называют процедурными значениями.

Ряд сложностей собственно методологического характера возникает при рассмотрении таких свойств текста, как его содержание и смысл. В отличие от генеративистов, для которых смысл порождается контекстом, функционалисты считают, что "читатель реконструирует, воссоздает смысл, а не конструирует, создает, и в силу субъективности всякого восприятия смысл относителен" (Заика, 1993б:13). Проблема состоит в том, что одновременное отнесение текста в область функций мозга и признание наличия у текста некоторого "собственного" речевого содержания и смысла, приводят функционализм к тупиковой ситуации. Однако в этом и заключается сущность функционального понимания коммуникации, что оно, с одной стороны, должно

быть начисто лишено феноменализма (как феноменологического, признающего текст объективной смысловой сущностью, так и позитивистского, видящего в тексте простое отражение действительности), а с другой - не должно сводиться к солипсической индивидуализации каждого речевого акта. Признавая текст единицей речи, образованной по языковой модели, мы, тем самым, признаем, что текст обладает определенной целостностью, завершенностью, упорядоченностью, а следовательно, обладает определенными стабильными свойствами. Во-первых это его способность (наравне с другими результатами речи) быть зафиксированным в материальных сигналах (изобразительных, звуковых, кинестетических, тактильных). Во-вторых - наличие у него определенной структуры, поскольку он состоит из ряда текстовых блоков (групп высказываний, объединенных единым содержанием, иногда их называют сверхфразовыми единствами или дискурсами - см. Bobrow, 1968:146), высказываний, словосочетаний и словоформ. И, в-третьих, что самое главное, - наличие у него содержания и смысла, которые могут быть восстановлены при восприятии, хотя и неадекватно, но, все же, аналогично его создателю. Как же согласовать такое, на первый взгляд феноменологическое понимание текста с признанием его нейропсихологической функцией?

Очевидно следует обратить внимание на механику порождения текста и на то, что является общим у его создателя и у воспринимающего, что позволяет второму со-породить смысл и содержание в аналогичной форме и структуре. Очевидно, таких факторов, как минимум, три:

а) наличие предметно-коммуникативной мыслительной интенции порождения и восприятия текста у говорящего и слушающего;

б) наличие у обоих аналогичной когнитивной картины мира и, самое основное,

в) наличие у обоих аналогичной этнической языковой способности, что предполагает наличие аналогичной знаковой системы, т.е.

системы информационных единиц и аналогичных моделей, в первую очередь, моделей порождения текста определенного типа.

Очевидно, что интенция порождения текста и интенция его восприятия неидентичны изначально. Однако уже одно то, что говорящий не удовлетворился произнесением высказывания, но продолжает говорить, заставляет слушающего настроиться на поиск интенции говорящего (т.е. конструирование ее аналога в своем сознании). Нет принципиальной разницы в том, выражает ли говорящий свою мысль двумя высказываниями или в виде романа, воспринимающий ставит перед собой идентичную задачу: найти оправдание такого многословия, объяснить для себя, почему после первого высказывания следует второе, а после первого текстового блока следует второй. Воспринимающий пытается свести к единому знаменателю все высказывания и текстовые блоки, иногда "забегая вперед", прогнозируя последующие. Именно этот семантический результат, который для слушающего является оправданием речепроизводства говорящего и следует считать смыслом текста, в отличие от содержания, как собственно семантической речевой информации, заключенной в тексте. Наше понимание сущности содержания и смысла речевого произведения (каковым является текст) принципиально совпадает с точкой зрения на этот предмет А.Бондарко (См.Бондарко,1978:36-55;95-113). Наличие в языке слушающего знаковой системы и модели подобного текста (а также этнокультурной модели сознания), в какой-то степени совпадающих со знаковой системой и моделью порождения текста (и этно-сознанием) создателя, позволяют читателю со-породить аналогичный текст с аналогичной структурой, аналогичным содержанием и смыслом. Ю.Лотман писал: "... восприятие отдельного отрезка текста как стиха априорно, оно должно предшествовать выделению конкретных признаков стиха. В сознании автора и аудитории должно уже существовать, во-первых, представление о поэзии (соответствующий макрофрейм - О.Л.) и, во-вторых, взаимосогласованная система сигналов, заставляющих и передающего, и воспринимающих настроиться

на ту форму связи, которая называется поэзией (т.е. на художественный режим речевой деятельности и модели стихотворных текстов - О.Л.)” (Лотман, 1994:175).

Сказанное можно подытожить выводом, имеющим методологическое значение: смысл и содержание текста не существуют вне текста (в отрыве от текста) в той же степени, в какой сам текст не существует вне речевой деятельности конкретного индивида. Мы ничуть не противоречим себе, когда утверждаем, что смысл текста не является его имманентной составной, но и не существует вне текста. Когнитивный смысл текста, отвлеченный от текста и сохраненный в памяти, превращается в поле знания, в ментальное пространство когнитивной структуры психики-сознания. А следовательно, он перестает быть когнитивным смыслом этого текста. Теперь это уже индивидуально-личностное знание о тексте или о содержании текста, а возможно, и о некоторой субъективной действительности, никак не ассоциируемой с данным текстом. Есть тому множество примеров, когда люди забывают, что то или иное их знание было ими почерпнуто из некоторого текста. Оно для них немаркировано в текстуальном отношении.

Данный вывод неминуемо ведет к другому, не менее важному тезису функциональной методологии: инвариантом содержания текста является языковая компетенция индивида (идиолект), а инвариантом смысла текста - его социально-психологический опыт (когнитивная система психики-сознания).

Вынеся текст в сферу речи, мы, тем не менее, оставляем в языке два типа единиц, имеющие непосредственное отношение к тексту - клишированный текст (как единицу информационной базы языка) и модель образования текста (как единицу внутренней формы языка).

Одной из наиболее сложных проблем, связанных с моделированием и репродукцией (со-продуцированием) текстов, является проблема запоминания текстов, не являющихся собственно воспроизводимыми. Возникает вопрос: является ли эта проблема лингвистической, и если да, то до какой степени.

В первую очередь, следует отметить, что в долговременной памяти человека может храниться информация о некоторых событиях в виде более или менее упорядоченной последовательности данных, фактов, запомнившихся ситуаций, поступков, картин. При этом подчас неважно, по какому каналу данная информация поступила в память: сенсорному, вербальному или же она в принципе была порождена воображением индивида. Среди подобных "фабул" и "сюжетов" не последнее место занимают когнитивные отпечатки текстов, в т.ч. художественных. В.Петренко для наиболее общих когнитивных сюжетов (сценариев) использует термин "ментальное пространство" (См.Петренко,1988:20-23). В отличие от широких ментальных пространств (вроде "Вторая мировая война" или "Царствование Петра I"), слагающихся на основе множества источников информации, могут существовать и довольно ограниченные ментальные поля, представляющие собой когнитивный сценарий конкретного текста. Текст этот не может быть воспроизведен по этому сценарию (в силу принципиальной невозпроизводимости его как речевой единицы). Однако, то, что может быть воссоздано согласно этого сценария, в определенной степени может коррелировать с тем, что образуется в сознании в момент восприятия данного текста. Во всяком случае, многие элементы текста узнаются или прогнозируются с большей или меньшей степенью вероятности при его вторичном прочтении. Прочитанный или прослушанный текст можно с большей или меньшей точностью воспроизвести (пересказать тезисно или близко к оригиналу). Чаще всего запоминаются собственно фабульные элементы содержания текста, реже абстрактные рассуждения или лирические отступления художественных текстов (наиболее удовлетворительную характеристику элементов художественного текста с позиций структурно-функциональной лингвистики дал В.Заика; см.Заика,1993б). Практически никогда (за исключением стихотворных текстов) не запоминаются внутриформенные (а особенно, фонетико-графические) особенности текста. Как правило, лишь некоторые наиболее яркие в содер-

жательном и выразительном отношении элементы и единицы текста могут переходить в информационную базу языка в виде сентенций, цитат, крылатых выражений. Среди них не последнее место занимают заглавия, имена персонажей, специфические наименования места событий, деталей сюжета. Эти единицы пополняют лексикон индивида, образуя в его информационной базе лексико-семантическое поле данного произведения. И, как нам представляется, именно через единицы этого поля актуализируется в памяти индивида ментальный сценарий текста. Существует множество способов репродукции текста через языковую систему, хотя сам сценарий текста не является составной частью языка.

Ментальный сценарий текста может усложняться всевозможными неязыковыми элементами. Таким фактором осложнения ментального сценария может стать экранизация или инсценизация произведения, его сценическое (декламация) или педагогическое (школьный анализ) прочтение. В этих случаях собственно текстовая информация дополняется информацией об актерах, авторах фильма или пьесы, учебниках, уроках, театре или школе, критических статьях и под. Таким образом, в отличие от воспроизводимых текстов и моделей образования текста, являющихся языковыми единицами, ментальные сценарии текстов - это собственно когнитивные, неязыковые функции, лишь частично, в виде отдельных словных или сверхсловных знаков, входящие в языковую систему. Кроме этого, в определенных случаях (при достаточной типичности структуры текста) ментальный сценарий данного текста может непосредственно повлиять на формирование модели образования текста во внутренней форме языка. Очевидно, модель текста представляет собой определенный алгоритм построения текста из текстовых блоков, что уже само по себе носит чисто синтагматический характер, т.е. специфика построения текста из блоков предвидит операцию смежностного сорасположения этих блоков во времени и пространстве. Не все тексты жестко регламентированы в этом отношении (хотя есть и достаточно сильно шаблонизирован-

ные модели, особенно в официально-деловой сфере речевой деятельности). Наличие возможных вариантов сорасположения текстовых блоков в рамках модели текста делает структуру модели текста парадигматически организованной, так как предвидит выбор одного из вариантов модели. Следовательно, модель образования текста - это совокупность вариантов модели как синтагматических предписаний, касающихся сорасположения текстовых блоков. Парадигма вариантов одной и той же модели очень сильно варьируется от одного идиолекта к другому. Да и само наличие моделей зависит от интеллектуального уровня индивидуума, его жизненного опыта (и прежде всего опыта коммуникации). В отличие от модели, сам текст не обладает возможностью парадигматического варьирования. В нем уже завершен процесс выбора. В тексте наличествует только последовательность конкретных тематических блоков. А значит, и парадигматических отношений в тексте нет. А.Бондарко отмечал, что "В реализации плана содержания текста есть и нелинейные элементы [речь идет о совмещении лексико-семантических и грамматико-семантических элементов содержания в речевых единицах - О.Л.]... Однако указанные нелинейные элементы в реализации плана содержания текста выступают все же в рамках линейной последовательности словоформ" [выделение наше - О.Л.] (Бондарко, 1978:103). Совмещение разных элементов грамматического значения в рамках речевой единицы (например, значений рода числа и падежа у имен, морфологических и синтаксических характеристик составных высказывания), а также совмещение лексических и грамматических компонентов значения (например, грамматической семы предметности и лексической семы субстанциональности у существительных) не может рассматриваться как парадигматическое отношение, поскольку эти элементы в силу своей категориальной разнотипности не могут быть сопоставлены в группу, в класс. это скорее всего именно синтагматический тип отношений, но не в плане внешней, формальной соположенности, но именно в плане смыслового соположения, совместного присутствия в

значении без возможности заменить собой какой-то другой элемент совмещения, что обязательно для парадигматических отношений. Как мы уже отмечали выше, парадигматические отношения могут быть только семантическими (т.е., например, в пределах плана содержания языкового знака или в пределах его плана выражения). Отношения же между элементами плана содержания и элементами плана выражения (семиотические отношения) могут быть только смежностными, синтагматическими. То же касается и соотношения разноуровневых единиц плана выражения (например морфологических, синтаксических, морфологических и словообразовательных сем). Выше мы определяли этот тип отношений как функциональную корреляцию разноплановых элементов семантики знака.

Парадигматика - прерогатива языка как системного явления. Что касается моделей текста (или их вариантов) следует отметить, что построение текста по модели (по ее варианту) становится возможным только в случае, если эта модель (этот вариант) уже избран из парадигматического набора. Следовательно, необходимо предположить наличие в системе ВФЯ еще одного типа моделей - моделей выбора моделей речевых единиц. Впервые об этом однозначно заявил И.Торопцев в книге "Язык и речь", хотя попытки введения такого рода моделей в систему описания языковой системы предпринимались и раньше. Мы определили этот тип моделей как модели речевой деятельности, в отличие от моделей образования речевых единиц как моделей речепроизводства.

Данные нейролингвистических исследований подтверждают наличие в системе ВФЯ моделей выбора, нарушение которых парализовало процесс порождения речи, но при этом сами модели построения речевых конструкций страдали несущественно и подобный больной при помощи врача мог построить свою речь по аналогии к услышанному. В этом случае он освобождался от проблемы выбора, зато предикативные реакции оставались в норме.

Дальнейшее рассмотрение структуры модели текста (варианта) требует короткого замечания по поводу тех гипотез порождения речи, которые существуют в психо- и нейролингвистике. Замечание это касается тех моделей, в которых отстаивается так называемая "фрейм-слот" теория (См.Ахутина,1989:119). Суть теории состоит в том, что механизм порождения речи предполагает наличие некоторой модели построения речевого произведения ("фрейма"), которая в ходе рече-производства заполняется конкретными знаковыми единицами ("сло-тами") согласно функциональных позиций (актантных значений). Мы бы хотели несколько иначе интерпретировать саму идею "фрейм-слот" теории. Вплоть до уровня модели построения словоформы сле-дует вести речь о слоте как модели построения единицы низшего уровня структурной сложности и функциональной значимости. Так, модель ситуации общения может выступать фреймом по отношению к модели текста как слоту. В свою очередь, модель текста соотносится с моделью образования текстового блока как фрейм к слоту. Ведь в языке нет готовых текстовых блоков (сверхфразовых единств, слож-ных синтаксических целых), варьируя и манипулируя которыми, мы могли бы образовывать тексты. Текстовый блок - такая же речевая единица как текст. Это его составная. На уровне ВФЯ ей соответству-ет модель текстового блока. Модель текстового блока, равно как и модель текста, представляет собой предписание алгоритмического характера о том, как следует сорасполагать в речевом времени и пространстве высказывания в пределах текстового блока. И так же, как и в случае с моделями текста, во внутренней форме языка пред-видится наличие вариантов модели текстового блока, а значит пред-полагается наличие парадигмы таких моделей. Поэтому при построе-нии того или иного текстового блока необходим акт выбора одного из вариантов из такой парадигмы. Признание системно-парадигматического характера хранения моделей текстового блока необходимо предполагает наличие соответствующей модели выбора. Аналогично соотношениям модели текста и модели текстового блока

строятся отношения модели текстового блока в качестве фрейма и модели высказывания в качестве слота.

Мы подошли к довольно сложному вопросу о сущности модели высказывания. Проблема в том, признавать ли модель построения высказывания целостной, нерасчлененной моделью, или же предположить возможность расчлененного образования высказывания (уровневого, ступенчатого образования). Здесь могут помочь данные нейролингвистических исследований. Очень часто в практике афазииологии встречаются случаи нарушения механизмов синтаксического развертывания высказывания, при котором больные составляли высказывания из двух, максимум трех элементов: либо подлежащее - сказуемое (агнс - процесс) либо подлежащее - сказуемое - дополнение (как правило агнс - процесс - пациенс). Ни о каких сложных синтаксических конструкциях не могло быть и речи. Мы склоняемся к тому, что модель высказывания предполагает определение основной схемы типа предложения (простое - сложное) и типа рематематической связи в грамматическом центре. Все остальное - функция моделей развертывания высказывания, т.е. моделей синтагм. Следовательно, мы склонны относить собственно к функциям моделей высказывания лишь функцию глобальной синтаксической стратегии высказывания и функцию порождения грамматического центра. Совокупность данных моделей составляет синтаксический уровень внутренней формы языка. Модели же синтаксического развертывания высказывания (модели образования синтагматических сочетаний словоформ) образуют синтагматический уровень ВФЯ. Обычно лингвисты сводят модели словосочетаний и предложений в один грамматический уровень. Мы же полагаем, что продуцирование высказываний и продуцирование синтагм в основе своей различные рематематические предикативные акты, хотя бы уже в силу того, что предложения (высказывания) - единицы чисто предикативные, а словосочетания - номинативные речевые знаки. В ходе предикирования высказывания эксплицируется некоторое когитативное содержание

(мысль, предикат). В синтагматическом же предикции эксплицируются актуальные понятия.

В.Адмони в статье "Типология предложения" пишет, что "различие между переходными глаголами с точки зрения обязательности или факультативности их сочетаемости с прямым дополнением непосредственно связаны с лексической семантикой глаголов. Но из этого отнюдь не следует, что тем самым их свойства остаются лишь в пределах лексической системы языка. Именно тот факт, что они создают разный набор реально необходимых членов предложения и тем самым ведет к образованию особых логико-грамматических типов предложения, делает их и явлением грамматической структуры языка" (Адмони,1968:242). Это положение говорит о смешивании автором причин и следствий. То, что переходность как грамматическое свойство знака (глагола) влияет на синтаксическое развертывание предложения, вовсе не значит, что именно оно определяет тип (модель) высказывания. Наоборот, избранный тип высказывания заставил изъять из системы информационной базы именно такой знак. Приводимые В.Адмони примеры, касаются глаголов "nehmen" ("взять", "брать") и "geben" ("давать"), которые в немецком языке, как и в славянских, являются, во-первых, семантически неполными (со значением "предпринимать некоторое действие" или "создавать предпосылки для чего-либо"), а, во-вторых, омонимичны, так как есть и семантически полные глаголы со значением "физически овладевать чем-либо" или "физически вручить что-либо кому-либо". Зачастую эти последние омонимичны даже не словам "дать" или "брать", а клишированным словосочетаниям, неразложимым на составные ("дать слово", "брать пример", "взять слово" и под.). С точки зрения типа (модели) высказывания построения "он взял слово" и "он выступил" ничем не отличаются, т.к. налицо двучленная рема-тематическая структура, с ремой, выраженной в первом случае клишированным сочетанием, а во втором - глаголом. Мы настаиваем на том, что именно мо-

дель построения высказывания определяет выбор тех или иных знаков из ИБЯ и тех или иных моделей развертывания, а не наоборот.

Высказанное положение можно проиллюстрировать на примере симиляров "ходить", "ходьба" и "хождение". Выбор симиляра всецело зависит от синтаксической позиции (от актантной функции), поскольку только необходимость подчеркнуть то или иное свойство действия может заставить использовать в качестве подлежащего отглагольное существительное. Кроме того, именно перемена точки зрения (аспекта модальности) порождает возникновение отглагольных процессуальных имен, типа "хождение" или отадъективных качественных имен, типа "белизна" (подробнее об этом см. Лещак, 1991). Очевидно, что именно актантная позиция подлежащего или дополнения была одним из мотивов возникновения подобных знаков. То же касается появления слов вроде "красиво" или "золотой", мотив образования которых также лежит в сфере синтаксических актантных функций. Конечно, нельзя однозначно приписывать синтаксическим моделям функций порождения знаков. Они всего лишь мотивируют выбор знаков для главных актантных позиций в грамматическом центре и частично мотивируют выбор моделей синтаксического развертывания (моделей построения словосочетаний).

Прямая связь модели высказывания (модели образования грамматического центра высказывания) с моделями словоформ в обход моделей синтаксического развертывания (моделей словосочетаний) доказывается данными афазий. В большинстве случаев переднего аграмматизма при нарушении моделей построения словоформ и соответственных моделей выбора больные все же верно грамматически оформляют подлежащее и сказуемое, чего нельзя обнаружить в словоформах знаков, замещающих остальные актантные функции в высказывании. Эти словоформы либо неуместны, либо случайно угаданы. Чаще всего для существительного это форма именительного падежа единственного числа, являющаяся наиболее употребимой. Следовательно, ее модель доминирует в парадигме моделей словоформ.

То, что модели построения высказывания и модели словоформ взаимосвязаны, вовсе не значит, что модели более высокого уровня не могут непосредственно, минуя модели высказывания, влиять на модели построения словоформ. Так, в выступлении Е.Звягильского на сессии украинского Верховного Совета прозвучало: "Я, как исполняющий обязанности премьер-министра, видим эти трудности и стремимся к их преодолению". Налицо воздействие модели оценки ситуации и порождения официально-делового текста, исключающей персонификацию субъекта на выбор словоформ однородных сказуемых. Дистантность подлежащего и сказуемого, а также приложение "исполняющий обязанности премьер-министра" актуализировали установку на имперсонифицированное официально-письменное множественное число, вроде "мы рассмотрели вашу просьбу", "мы будем иметь в виду", "мы рады приветствовать" и т.д. Все это внесло коррективы в построение словоформ глаголов-сказуемых. Нечто подобное, но на уровне модели развертывания высказывания, наблюдается в следующем примере из телепередачи: "Мы живем в тяжелое период, когда...". Так же, как в предыдущем случае при развертывании в качестве обстоятельства времени было избрано клише "в тяжелое время", но установка на официальность ситуации, ложно понимаемая официозность интервью заставили выступающую по телевидению вообще заменить знак "время" на "период", который был включен уже в процессе коррекции высказывания. Прилагательное ко времени описанной замены уже было произнесено.

Все это говорит о сравнительной свободе механизмов образования речевых единиц друг от друга и о возможности воздействия моделей одного уровня на другие минуя непосредственно соседствующие в иерархии внутренней формы. Алгоритмизм построения речевого произведения, при этом, ни в коем случае не должен пониматься буквально. Говоря о модельной заданности речепроизводства, мы имеем в виду механику процесса, а не сам процесс. Основная роль при конкретной речевой деятельности все равно остается за интен-

цией. Очевидно, следование интенции осуществляется посредством механизмов контроля за соблюдением избранной синтаксической стратегии. Ни одна из моделей не включает в себя обязательных установок на использование моделей следующего (низшего) уровня. Модель текста жестко не регламентирует выбора модели дискурса, а эта последняя не вынуждает сама по себе избирать именно такую, а не какую-либо иную модель высказывания. Модель высказывания же не включает обязательных установок на развертывание. В противном случае мы столкнулись бы с двумя непреодолимыми сложностями парадоксального характера. Во-первых, количество синтаксических моделей языка исчислялось бы бесконечностью, ибо каждый новый случай синтаксического развертывания означал бы появление новой модели, что уже само по себе дискредитирует понятие модели. Во-вторых, знания синтаксических возможностей того или иного языка необходимо предполагало бы знание всех возможных высказываний (во всех их ответвлениях, распространениях, осложнениях и модификациях). Это приведет нас к хомскианскому списку (но в более причудливой форме, поскольку речь пойдет о списке поверхностных структур) и мы будем вынуждены признать воспроизводимость высказываний. Подобный парадокс вполне характерен для описательно-феноменалистских теорий, которые видят свою задачу в том, чтобы дать тщательное описание фактов, а не объяснить причины и механизмы их появления. Способность к варьированию в пределах одной и той же модели порождения высказывания практически не вызывает сомнений и у Адмони (См. Адмони, 1968:252). Но и в этом случае второстепенные члены предложения делятся на "необходимые" и "свободные". Мы же полагаем, что все члены предложения кроме главных, заданных моделью высказывания, свободны в том смысле, что их появление всецело зависит от выбора говорящим стратегии развертывания высказывания согласно своей интенции. К тому же выводу приходит и В. Адмони: "Нет ни одного аспекта предложения, в котором выбор форм и типов не зависел бы так или иначе от вмеша-

тельства говорящего. В этом смысле весь строй предложения субъективен" (Там же:270).

Необходимо отметить, что модели высказывания, соотносясь между собой в парадигматическом отношении (модели простых/сложных высказываний, модели сложных высказываний с сочинительной / подчинительной связью, модели дву- / односоставных высказываний и т.д.), вместе с тем структурно дистрибуируются по признаку отнесенности к той или иной модели текста и модели речевой ситуации. Так, устно-обиходные модели - это, в основном, модели простых неполных высказываний, а модели письменно-литературной речи - модели сложных и простых двусоставных высказываний. Следовательно, и модели высказываний, и модели синтаксического развертывания образуют упорядоченную парадигматическую структуру во внутренней форме языка. Естественно, для определения конкретной модели высказывания или модели его развертывания, которые будут использованы в данном речевом акте, необходимо наличие соответствующих моделей выбора (моделей речевой деятельности) .

Нам представляются весьма плодотворными попытки некоторых исследователей соотнести в филогенетическом отношении модели развертывания простого высказывания и модели развертывания сложного (особенно, сложноподчиненного высказывания). При всем отличии синтаксических отношений между актантными функциями в простом высказывании и функциями частей высказывания в сложной конструкции, трудно отрицать принципиальный параллелизм между изъяснительной связью и отношением между единицами с функциями процесса и объекта или инструмента, между определительной связью и отношением функций субъекта/объекта и определения, а также между обстоятельственной связью и отношением между функциями процесса и его характеристики. Точно так же явный параллелизм просматривается между актантными функциями развертывания высказывания и типами отношений в синтагме: дополнение - связь управления, определение - связь согласования и обстоятельство -

связь примыкания. Конечно, нельзя абсолютизировать эти параллели в функциональном отношении, однако нельзя их и не учитывать, говоря о формировании моделей развертывания высказывания на базе моделей синтагмы или моделей развертывания сложного высказывания на базе моделей развертывания простого высказывания. Подобное видение схемы синтаксирования находим у целого ряда исследователей. В первую очередь следует назвать Херберта и Ив Кларков (Clark, 1977). Кроме того, что у Кларков явно разделены модели высказывания и синтаксического развертывания, у них же встречаем признание первичности моделей построения текстовых блоков в отношении моделей высказывания.

Несомненный методологический интерес представляет и отношение между главными функциями в грамматическом центре. Роли подлежащего и сказуемого в грамматическом центре неравноценны. Имя-подлежащее (в том числе инфинитив - семантически наиболее близкая к имени форма глагола) выполняет роль формальной темы в грамматическом центре, тем не менее эта актантная функция не является обязательной. И дело здесь не в том, что подлежащее часто опускается в моделях устного синтаксирования. Показательно то, что, во-первых, сказуемое является обязательным элементом грамматического центра, а подлежащее может принципиально отсутствовать, а во-вторых - именно сказуемое выражает предикативность, основную синтаксическую характеристику высказывания, отличающую его от синтагмы. Кроме этого, именно вокруг сказуемого группируются все остальные функциональные составные высказывания. Эти положения требуют обоснования.

Первое положение может быть оспорено лишь фактом наличия так называемых "номинативных" высказываний. Однако, достаточно взглянуть на эту модель высказывания с функциональной стороны и обнаружится, что временные разновидности модели обязательно включают в себя глагол "быть": "И был вечер, и было утро". Так что наименование "номинативное высказывание" или "назывное высказы-

вание" вполне употребимо в функциональном смысле, а не в смысле отсутствия сказуемого, которое в одном из вариантов модели может опускаться. Семантическая ядерность сказуемого не является сугубо индо-европейским свойством (См. Лыскова, 1990:46).

Что касается второго положения, то оно самым непосредственным образом связано с первым. Обязательность присутствия сказуемого и факультативность (в плане функциональной экспликации) подлежащего естественно наводят на мысль, что в основе такого состояния лежат далеко не количественные факторы. Достаточно сравнить функционально-семантическую нагруженность синтагм и высказываний, чтобы убедиться, что самое элементарное высказывание, в отличие от самого усложненного словосочетания, все же не номинирует предмет или явление, но дает ему модально-предикативную оценку, т.е., выражает определенную мысль. Здесь имеет смысл вспомнить мнение Уоллеса Чейфа, который совершенно верно полагал, что в процессе предикации "центральным является глагол, а сопровождающие существительные или существительное находятся на его периферии" (Чейф, 1975:115-116). В то же время, в языковой системе центральное место занимает существительное, вокруг которого группируются все остальные части речи. В информационной базе языка все слова (как знаки) в силу субстанциональности, предметности нашего мышления так или иначе характеризуют имена существительные. Опредечение понятий любого типа делает существительные всеобъемлющей знаковой единицей. В речевой же деятельности такую глобальную функцию центра структуры выполняет глагол. Достаточно сравнить возможности синтаксического развертывания от подлежащего и от сказуемого. В первом случае возможна только одна актантная функция (причем, однотипная) - функция определения. При этом она распространяется в основном на имена существительные в роли подлежащего. Что же касается сказуемого (причем и в ипостаси глагола, и в ипостаси категории состояния), то у этой функции гораздо более широкие возможности распространения грамматического

центра. Это и распространение по линии дополнения, и по линии целого набора обстоятельств. Но нельзя утверждать, что высказывание на глубинном уровне формируется исключительно одним предикатом (глаголом, категорией состояния) без участия подлежащего. Наиболее сложный случай - глагольные односоставные высказывания. Совершенно можно согласиться с Н.Лысковой, что "в односоставном предложении главный член предложения вызывает представление и о предикате, и о субъекте" (Лыскова,1990:45). В таких предложениях сказуемое оформляется с учетом присутствия "мнимого" субъекта. Так или иначе главный член односоставного предложения восходит к некоторому лицу, числу или роду (как правило среднему, что подчеркивает имперсональность, абстрактность "мнимого" субъекта, носителя процессуального свойства, выраженного глаголом).

Однако, разграничение функций имени и глагола - результат длительного эволюционного пути. И ошибочно было бы приписывать древним языкам (или предшествующим состояниям языков) свойства чисто современные. Так, совершенно неверным представляется предположение о первичности имен, что ведет к "возможности рассматривать первые суждения и первые высказывания как именные предложения" (Кубрякова,1978:38). Равно как ошибочно само теоретическое положение, из которого проистекает подобный вывод: "Легшие в основу формирующихся частей речи общие категории были близки самой "физике мира" и совпадали с категориями натуральной логики познания мира" (Там же,26). Элементарное наблюдение за историческими изменениями в системе славянских языков показывают, что славянские языки на праславянском и праиндоевропейском этапе обладали несколько иной системой частей речи, нежели в настоящем. Любой историк языка знает, что семантика (как когнитивная, так и грамматическая) имен и глаголов на раннем этапе практически не дифференцировалась, что прилагательные, числительные и наречия появились гораздо позже имен существительных и глаголов (в их современном смысле). Это свидетельствует в пользу развития и мути-

рования "натуральной логики познания мира", т.е. обыденно-мифологического мышления. Поэтому, современное состояние грамматики несомненно может считаться продуктом развития этого типа мышления, но ни в коем случае не может напрямую соотноситься с "самой физикой мира", которая находит свое отображение в сознании человека, но в преломлении его сенсорных, эмотивно-волевых и собственно мыслительных потенций. Эта "физика" по разному отображалась в психике людей на разных этапах эволюции и не однажды еще претерпит изменение в сознании человека в будущем, что несомненно найдет свое выражение в языке. Что же касается первичных высказываний, то, скорее всего, они не были ни собственно именными, ни собственно глагольными. Это были некоторые "слова-предложения". Эта мысль не нова. Аналогичные мысли встречаем и у А.Потебни, и у других ученых, в частности, у Вилема Матезиуса: "На самых ранних стадиях развития, которые мы можем воссоздать лишь в своем воображении, отдельные высказывания были, по-видимому, нерасчлененными образованиями, где название совпадало с предложением" (Mathesius, 1982:95). Об этом же, но в отношении ранних стадий онтогенеза писал А. Лурия (См. Лурия, 1979:32-33).

Развертывание высказываний не ограничивается синтагматическим распространением подлежащего и сказуемого или главного члена односоставного высказывания, но включает в себя и распространение всех компонентов высказывания, которые требуют такого развертывания. Мы принципиально не различаем модели синтаксического развертывания высказывания и модели построения синтагм, так как это единые по своей функции содержательные алгоритмы. Их задача - образовать полупредикативные (синтагматические) конструкции. Сами по себе, вне высказываний, словосочетания не существуют. Так называемый "словарный вариант" является аномальным и представляет собой скорее лингвистический конструкт, чем реальную речевую единицу. С другой стороны, выделяемые в высказывании второстепенные члены также не существуют изолированно от грам-

матического центра и друг от друга. Стратегия синтаксического развертывания, как нам кажется, находится в прямой зависимости от близости синтаксической актантной функции к грамматическому ядру высказывания. Иначе говоря, прежде всего подвергаются развертыванию сказуемое и подлежащее, а уже затем второстепенные члены. Последовательность развертывания зависит одновременно от обоих факторов: знакового и модельного.

Показателен следующий пример речевого сбоя синтаксического развертывания высказывания в устной украинской речи: “Треба нагріти кастрюлю великої води” (вм. “велику кастрюлю води”). Синтагма “кастрюля води” была образована в режиме замещения знаковой функции, где знак “кастрюля” использован в качестве квантификатора (количественного понятия). Естественно, что такая синтагма носит максимально номинативный характер, поскольку обозначает единое понятие “вода в объеме одной кастрюли”. Словосочетание “кастрюлю води” было образовано одновременно вследствие реализации вышеуказанной знаковой функции и вследствие синтаксического развертывания грамматического центра “треба нагріти”. Поэтому его словоформенное оформление осуществилось прежде, чем произошло синтаксическое развертывание дополнения “кастрюлю воды”(в функционально-семантическом отношении данное словосочетание реализует единую синтаксическую функцию). В условиях ослабленного контроля со стороны моделей речевой деятельности, каким вообще характеризуется устное обыденно-мифологическое речепроизводство, оказалось, что синтаксическое развертывание этого дополнения согласованным определением, призванным эксплицировать модальную атрибутивную характеристику понятия “вода в объеме кастрюли” признаком “большое количество, много”, заставило избрать языковой знак “ВЕЛИКИЙ”, но опережающее построение словосочетания “кастрюлю води” обусловило неверную стратегию реализации указанного синтаксического развертывания. Поэтому, при образовании словоформы на основе знака “ВЕЛИКИЙ” была избрана модель

согласования со словоформой “води”, а не со словоформой “кастрюлю”, как это должно было бы произойти. Отсюда и форма родительного падежа “великої” вместо ожидаемой “велику”. То же подтверждает и препозитивное использование прилагательного при форме “води”, хотя ожидалось его препозитивное использование при форме “кастрюлю”.

Выводов из рассмотренного примера можно сделать сразу несколько. Во-первых, процесс речепроизводства действительно проходит стадию внутреннего синтаксирования, где одновременно могут быть задействованы несколько однофункциональных (синонимичных, “омосемичных” в терминах В.Скалички и В.Матезиуса) моделей и несколько синонимичных или симильных знаков языка. Во-вторых, процесс внутреннего речепроизводства протекает не однонаправленно, но допускает “забегание” в реализации одних синтаксических функций и “отставание” других. В третьих, выбор знаков из ИБЯ для реализации слотовых функций и выбор моделей низшего уровня синтаксирования хотя и не вынуждается моделью высшего уровня, но все же задается и управляется ею. Так, модель построения высказывания задает выбор как знаков ИБЯ, так и выбор моделей словосочетания или моделей словоформы. И, наконец, в-четвертых, все операции выбора языкового знака и выбора всех моделей речепроизводства осуществляется непосредственно моделями речевой деятельности (моделями выбора знаков и выбора моделей). На этом уровне уже включаются механизмы актуализации валентностной семантики знака, непосредственно связанной с теми или иными моделями синтагматики (моделями развертывания высказывания), с одной стороны, и с морфологическими моделями (моделями словоизменения), с другой.

В связи с вопросом о механике синтагматической связи может возникнуть чисто теоретическая проблема: как согласуется идея о наличии той или иной семы в семном наборе знака с использованием данного знака в синтагматической связи с другим знаком, номини-

рующим понятие, соответствующее данной семе для построения словосочетания. Так, признавая наличие в семантике знака "кольцо" семы "золотой, из золота" затрудняет понимание семантических отношений, возникающих между частями синтагмы "золотое кольцо" или "кольцо из золота", если оставаться при этом на феноменологических позициях. Пребыванием "на феноменологических позициях" мы называем признание слова некоторым феноменом, обладающим независимым от мозга субъекта бытованием в качестве двусторонней единицы. В таком случае любая синтагма оказывается в большей или меньшей степени плеонастичной. Так, например, совершенно плеонастичными оказываются словосочетания "перо птицы", "ветка дерева", "тонкая игла" и под. Однако, если рассматривать знак как функциональное образование, часть когнитивного понятия, а семы - как следы наиболее устойчивых ассоциативных связей между знаками в системе, эта проблема практически снимается. Актуализация знака предполагает, наряду со всем остальным, актуализацию валентностных сем. Что собой представляет актуализация? С точки зрения функциональной методологии это воспроизведение связи между данным знаком и тем знаком, следом связи с которым является актуализируемая сема. Экспликация этой связи ведет к появлению в речи синтагматически взаимосвязанных между собой речевых знаков. При этом актуализированная валентностная сема просто исключается из семантического набора словоформы (из значения словоформы). Поэтому, анализируя семантику словоформы в составе синтагмы, можно с позиции функциональной методологии элиминировать из моделируемого значения валентностные семы. Они присутствуют в сопряженных с данной словоформой речевых знаках. Семантика словоформы, таким образом, оказывается неравной и неизоморфной семантике языкового знака

Совсем иного рода информация содержится в моделях построения словосочетаний (моделях синтаксического развертывания высказывания). Это информация о типовых синтагмах, о грамматических

условиях объединения словоформ в речевом отрезке. Как правило, именно потребности в развертывании высказывания диктуют выбор модели словоформы, а зачастую и выбор самого знака, если данное понятие (содержащееся в мыслительной интенции) может выражаться рядом симиляров. Так, в зависимости от модели развертывания высказывания из информационной базы может быть избран глагол, причастие, деепричастие или процессуальное имя, соотносимые между собой в симилярном отношении.

Ряд исследователей (Fodor, 1974; Лурия, 1979) выделяют наряду с конкретно-лексической валентностной семантикой в значении слова еще и грамматическую валентностную семантику. А. Лурия пишет об ограниченном количестве "лексических связей" ("валентностей"), которые вводят слова в целое высказывание (См. Лурия, 1979: 48-49). Это не что иное, как синтагматическая грамматическая информация в языковом знаке, т.е. информация о типе валентностных отношений словоформ данного знака со словоформами других знаков в высказывании. Речь идет об информации о тех моделях образования синтагм, с которыми связан данный знак, и которые используются при введении словоформы данного знака в высказывание. Таким образом, мы предполагаем наличие непосредственной коррелятивной связи между валентностной когнитивной семантикой знака и грамматической синтагматической семантикой. И именно через грамматическую синтагматическую информацию осуществляется связь знака с соответствующими синтагматическими моделями внутренней формы языка. Скорее всего, с грамматической (внутриформенной) синтагматической семантикой коррелируют не любые валентностные семы, а именно те, которые несут информацию о валентностных каналах.

Т. Ахутина приводит примеры афазий с передним аграмматизмом, которые, по нашему мнению, доказывают необходимость разделения моделей высказывания (примеры с отсутствием глаголов, свидетельствующие о невозможности построить грамматический центр по модели высказывания) и моделей синтаксического развертывания (при-

мер с нераспространенными конструкциями) (Ахутина, 1989:127-156). При этом заместители основных актантных функций (подлежащего и сказуемого) стоят в наиболее употребимых формах (имя - в именительном падеже, глагол - в личных формах настоящего времени).

Очень интересен для нас вывод Ахутиной о трех видах аграмматизма (См. Ахутина, 1989:155): тяжелый (нарушение моделирования грамматического центра), средний (нарушение синтаксического развертывания) и легкий (нарушение синтаксирования на уровне словоформ). Он напрямую подтверждает наше вычленение моделей построения высказывания, моделей словосочетания и моделей словоформ. При этом во всех случаях наблюдается строгая зависимость: не работает более высокий по уровню тип модели - не работает низший, что подтверждает функционально-уровневый и дедуктивно направленный характер работы внутренней формы языка.

Что касается реализации связи моделей речепроизводства со знаками информационной базы языка, то она осуществляется моделями речевой деятельности, которые функционально связывают два типа языковой информации. Во-первых, это синтагматическая (валентностная) информация в языковом знаке, и во-вторых, - модельная информация во внутренней форме языка (содержащаяся в соответствующей модели синтаксического развертывания грамматического центра высказывания). Характер этих двух типов информации различен. Информация, содержащаяся в знаке касается характера отношений между знаками в связи с их семным набором. Так, семный набор (семантическая структура) знаков "кольцо" и "золотой" предвидит характеризующую подчиненность знака "золотой" знаку "кольцо" в тематической структуре информационной базы языка. Иными словами уже в самой языковой системе заложены предпосылки выбора прилагательного "золотой" в качестве определения для синтаксического развертывания подлежащего или дополнения "кольцо". Естественно, сема "золотой", "из золота" не единственная в референтивном наборе знака "кольцо". Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что появ-

ление именно знака "золотой" или знака "золото" в качестве синтаксического распространителя знака "кольцо" неизбежно. Причина актуализации именно этой семы лежит во внелингвистической сфере, в области интенционального содержания. Именно интенция вынуждает к актуализации той или иной семы, а следовательно к выбору будущего партнера в синтагме - некоторой словоформы.

Последним этапом синтаксического развития речепроизводства является замещение позиций в синтагмах словоформами, образуемыми по моделям словоформ. Такое понимание проблемы использования словесного знака в речи не согласуется с предлагаемыми иногда схемами, где этот процесс представлен как "выбор слов по форме" (См. Ахутина, 1989; Залевская, 1990), которому предшествовал "выбор слов по значению". Теория "выбора по форме" оставляет нерешенными целый ряд сложных вопросов чисто методологического характера. Прежде всего это специфика хранения и использования знака, его структуры. В частности, хранятся ли формы слова как отдельные единицы или же как одна единая единица, и что собой представляют отношения содержания и формы слова? Как уже выше говорилось, структурно-функциональная методология семиотики трактует языковой знак как информацию, т.е. как всецело семантическую единицу нелинейного характера. Таким образом в этой гипотезе знака нет места линейным формам (словоформам), которые выносятся в область речевых произведений. При этом процесс употребления словесного знака в качестве речевой единицы (словоформы) приобретает характер перекодирования единого системного образования (языкового знака) в линейную рема-тематическую соположенную цепочку морфов, сопряженную с актуализированным словесным значением. Поэтому столь важное место в теории структурно-функциональной лингвистики отводится наряду с системой знаков (ИБЯ) системе функциональных моделей речепроизводства и знакообразования (ВФЯ). Поэтому же мы представляем себе в качестве нейропсихологического механизма словоупотребления не "выбор слов по

форме", но образование речевого знака по модели образования словоформы на основе языкового знака. Грамматическая (морфологическая) семантика языкового знака, т.е. информация о речепроизводственных возможностях знака - есть не что иное, как информация о соответствующих моделях образования словоформ, с которыми данный знак ассоциативно связан. Потеря такой функциональной связи чревата утратой языковым знаком того или иного морфологического значения, в том числе и категориального (как это, например, произошло со славянским инфинитивом, утратившим свои именные морфологические свойства или с I-овым причастием в восточнославянских языках, утратившим свои причастные характеристики; сюда же можно отнести потерю ряда морфологических свойств формами языковых знаков, использовавшихся в словопроизводстве способом трансформации, транспозиции или сложения, например, утрату причастных свойств адъективированными причастиями, утрату части морфологических адъективных характеристик субстантивированными прилагательными и конверсированными в наречия качественными прилагательными, утрату именных морфологических свойств адвербиализованными или слившимися в наречия, а также конверсированными в прилагательные именами существительными).

Судя по данным афазий и схемам сопоставления типов афазий и первичных дефектов (См.Ахутина,1989:68), поиск слов по форме, который многие авторы предлагают в качестве основного акта формообразования, должен представлять собой поиск по внешнему звучанию. Опыт обыденного использования языка показывает, что говорящий не отдает себе отчет в том, как звучит то или иное слово. Единственный случай, где мы допускаем выбор по форме (точнее по фонетическим ассоциациям сходства) - это художественная поэтическая или приближенная к ней лингвистически рефлексированная обыденная речь, встречающаяся в практике. Во всех остальных случаях (в т.ч. и при научно-теоретической речевой деятельности) звуковая форма вторична и не автономна. Ряд наблюдений за спонтанной ре-

чью позволяет нам утверждать, что говорящий не только не замечает, как он произносит слова и фразы в устной речи, но и не замечает даже того, какие именно слова и фразы он произносит. То же касается и реципиента. Поскольку в большинстве случаев вся коммуникативная нагрузка ложится на смысл (в научной речи) или на прагматику практической обыденной жизнедеятельности (в обыденно-мифологической речи). Кроме всего прочего, сомнения вызывает уже одно сведение проблемы формы слова к звучанию его речевых заместителей - словоформ.

Ошибки при построении словоформ, которых нет в норме, но которые могут быть образованы в принципе (по аналогии, т.е. по модели) свидетельствуют в пользу теории построения словоформ, а не выбора готовых. Об этом же свидетельствуют данные некоторых психолингвистических исследований. Так, А.Шахнарович и Н.Юрьева отмечают: "Именно генерализация языковых явлений, а не имитация и речевая практика является главной закономерностью речевого развития, и это убедительно подтверждается фактами сверхгенерализаций в детской речи" (Шахнарович, Юрьева, 1990:20). В качестве примера приводятся образования регулярных форм нерегулярных глаголов в английском языке и аналогичные образования родовых форм в русском.

Поэтому мы не можем согласиться с Ж.Глозман и Л.Цветковой, которые в качестве одного из этапов процесса грамматического структурирования выделяют "определения места элемента (выбранного по значению слова) в синтаксической структуре и приписывание ему грамматических характеристик" [выделение наше - О.Л.]. Практически об этом же пишет В.Ярцева: "В языках любого морфологического строя прослеживается связь лексического значения члена того или иного лексико-грамматического разряда с его синтаксическими потенциями, и вместе с тем зависимость лексического значения слова от его синтаксического использования" (Ярцева, 1968:36). Сомнения вызывают как попытки приписать знаку его грамматические

свойства, так и попытки приписать ему в ходе речепроизводства свойства чисто лексические. Слово не может быть использовано, например, в качестве сказуемого, если эта возможность не заложена в его потенциальном (виртуальном) значении. Использование прилагательного в качестве подлежащего или дополнения не причина, а следствие субстантивации как психолингвистического знакообразовательного, а не речепроизводственного процесса. Просто в аналитических языках иногда этот этап знакообразования остается незамеченным в силу отсутствия явных формальных показателей субстантивации прилагательных или адъективации существительных.

Однако даже в таких случаях могут присутствовать неявные форманты - ограничение парадигмы числа, степени сравнения (морфологические), изменение сочетаемости и функции в словосочетании (синтагматические) или роли в высказывании (синтаксические). В.Ярцева далее абсолютно верно замечает, что "...если нельзя вследствие омонимичности определить, к какому разряду относится слово по изолированной форме, то его синтаксические связи в контексте сразу помещают его в определенный класс" (Там же, 37). Но сказанное ни в коем случае нельзя интерпретировать буквально как "помещают", а только как "помогают слушающему поместить", в противном случае мы приходим к выводу, что "получая грамматическую, а иногда и лексическую определенность только в языковом контексте, слово в английском языке весьма зависимо от своих сочленов в синтаксических группах" (Там же, 49), т.е. к классическому позитивистскому решению, отрицающему системность языка как таковую. Напрашивается вывод, что в английском языке слово и в грамматическом, и в семантическом отношении неопределенно, т.е. определяется только в речи. А значит, в английском языке нет системы слов. Значит английского языка как системы знаков нет, а есть только одна внутренняя форма, т.е. система речевых предписаний, способная образовать на основе одного и того же аморфного в категориальном плане понятия словоформу любой части речи. Морфологические характеристики (не гово-

ря уже о характеристиках словопроизводственных) превращаются в фикцию. Там, где нет стабильной в категориальном значении системы знаков, нет и быть не может стабильных морфологических и словообразовательных категорий. В таком языке нет и не может быть различия между словопроизводством и речепроизводством, но зато каждая лексическая единица может и должна образовывать весь спектр морфологических и синтаксических форм, возможных в этом языке. В таком языке не может существовать лексического (когнитивно-семантического) различия между предметом и действием, между предметом и его свойством или качеством, между процессуальным и непроцессуальным свойством предмета и т.д. Насколько нам известно, такими свойствами не обладают даже американские языки, в которых основную языковую знаковую функцию выполняют морфемы. Представленный в цитируемых выше работах ход рассуждений очень гармонично вписывается в генеративистскую традицию, основанную на рационалистской методологии. Лишенное постоянных грамматических (морфологических, синтаксических, стилистических) свойств, слово в таких концепциях перестает быть целостной языковой единицей и, практически, уравнивается по своему статусу с когнитивным понятием или даже с общим представлением, поскольку понятие все-таки обладает довольно определенными категориальными свойствами. С другой стороны, грамматические свойства, которые приписываются слову в ходе синтаксирования, также не могут представлять из себя целостной воспроизводимой единицы. Это всего лишь отдельные свойства, поскольку в конкретной синтаксической позиции в слове присутствуют лишь некоторые из них. Такой подход практически разрушает не только слово-знак как целостную единицу языка, но и собственно язык. Это типичный генеративистский прием со всеми методологическими признаками рационалистского отрицания языка как системы знаков и выведения на первый план контекста и самих актов предсказания. Если в языке нет устойчивых воспроизводимых единиц со стабильными грамматическими свойствами (изменяемостью

или неизменяемостью, сочетаемостью или несочетаемостью с другими единицами, с жестко регламентированным набором синтаксических и стилистических функций), нет места и для категорий, групп форм по функции и смыслу, нет места и для грамматических значений. Следовательно не может быть и самой грамматики. Во всяком случае, грамматика как комплекс предписанный, совершенно автономных по отношению к системе семантических единиц, скорее напоминает перенесенную на естественный язык модель искусственного интеллекта в своей примитивной форме. Но даже в компьютере не с любым знаком можно производить любой набор операций, связанных с синтаксированием. Знаки искусственной семиотической системы априорно (по отношению к акту синтаксирования) должны обладать некоторыми синтаксическими свойствами. Так, единица обладает свойствами сочетаться с другой единицей в синтаксических операциях прибавления, вычитания, умножения и деления.

Следовательно, мы полагаем, что грамматическая семантика не приписывается языковому знаку в речепроизводственном акте, но содержится в нем до речепроизводства и лишь актуализируется в процессе синтаксирования. Так, например, слово "СТОЛ", избранное в ходе выбора знака по смыслу (значению) в качестве подлежащего уже содержит в себе информацию о том, что оно может выступать в качестве опорного слова сочетаний согласования, может влиять на грамматические характеристики прилагательного, местоимения и глагола (падеж, число, род, лицо). Все эти характеристики не были приписаны слову "стол" в ходе синтаксирования, но содержались в структуре его значения в языковой системе знаков.

Сказанное позволяет предположить, что в основе речепроизводства, связанного с построением словоформ, лежат два типа языковой информации - информация о грамматических (словоизменятельных) способностях знака, заложенная в самой структуре знака, и информация о грамматических способностях данного языка, заложенная в системе моделей образования словоформ внутренней формы языка.

При этом, как показывают наблюдения за речью детей и за ошибками, допускаемыми в речи вследствие недостаточной грамотности или недостаточного знания языка, модельная информация усваивается быстрее и прочнее, чем информация знаковая. Свидетельство этому - построение собственных словоформ по моделям языка для тех знаков, которые подобных словоформ в силу исторических обстоятельств не образуют. В основе подобных отклонений от нормативного формообразования могут лежать самые разнообразные причины. Это и незнание норм культуры литературной речи, и отсутствие достаточного речевого опыта, и элементарные временные сбои при усложнении обстоятельств коммуникации, а иногда и функциональные нарушения. Вот некоторые примеры таких ошибок: русс. "наши воины обеспечивают" (вм. "обеспечивают"), "нашу передачу смотрят матеря" (вм. "матери"), "всех четырех гвоздов" (вм. "гвоздей"); укр. "загибли два депутати" (вм. "загинули").

Наблюдение за детской речью, а также за характером ошибок в спонтанной взрослой речи доказывает наличие моделей формообразования, а следовательно отрицает предположения некоторых генеративистов о якобы самостоятельном статусе словоформы в языковой системе. С.Шаумян и П.Соболева отмечали, что "понимание слова как синтаксического атома языка требует рассмотрения словоформ, различающихся синтаксическими функциями не как форм одного и того же слова, а как различные слова, различающиеся по количеству и характеру аффиксов-реляторов" (Шаумян, Соболева, 1968:18). Сведение функции слова только к синтаксической, т.е. операциональной - весьма существенная черта всех генеративистских теорий. Однако упускается из виду фактор семиотический. Функция языка (и слова, соответственно) сужается до коммуникативного средства, в то время как вторая, неотрывная сторона речевой деятельности - номинация - опускается. Именно это является причиной нивелирования семантических проблем и целого ряда проблем системности языка в порождающих теориях. В отличие от новых слов,

познание которых в онтогенезе должно пройти через речевой опыт, словоформы познаются независимо от того, встречались они в речевом опыте субъекта или нет. Главной причиной и достаточным резонансом их усвоения является их модельность, т.е. алгоритмичность их образования. Каждый, кто изучал иностранный язык, знает, что новые языковые знаки необходимо изучать, а формы слова в подавляющем большинстве случаев образуются достаточно легко уже на раннем этапе обучения. Причина этому - наличие алгоритмизированных моделей образования словоформ в системе внутренней формы языка.

Одним из наиболее сложных в методологическом отношении вопросов в лингвистике языка как системы является вопрос единства языкового знака. Мы подчеркнули привязанность данной проблемы к лингвистикам структурного (категоризирующего) типа, потому, что в референцирующих теориях языковой номинативный знак принципиально исключается из рассмотрения вследствие того, что он напрямую не воспринимается, а теории эти методологически ориентированы на получение только позитивных знаний, основанных на эмпирическом восприятии следов речи или фиксирования отдельных речевых актов.

Проблема единства языкового знака представляет из себя целый комплекс вопросов. С одной стороны, это ряд вопросов, связанных с единством знака по линии "план содержания - план выражения", касающейся единства когнитивной и собственно вербальной информации в знаке. С другой стороны, - это вопросы единства речевых репрезентаций языкового знака, т.е. вопросы идентификации словоформ как речевых представителей знака. В данном случае нас интересует именно второй аспект, поскольку он напрямую касается функционирования знака в речи, а следовательно, имеет прямое отношение к моделям образования словоформ.

Указанная проблема не является обычным практически нерешенным вопросом, который можно было бы решить экспериментальными или дескриптивными методами. Решение ее целиком зависит от об-

раза видения сути языка, языкового знака, речепроизводства и речевых единиц, т.е. от методологической установки.

В рационалистски ориентированных лингвистических теориях (генеративистика, трансформационная грамматика, прагмалингвистика, логическая семантика) этот аспект проблемы (единство языкового знака в речевых репрезентациях) практически не решается, поскольку значение приписывается знаку (речевому) в зависимости от ситуации, от контекста. Поэтому, зачастую здесь словоформы одного слова определяются как различные языковые единицы.

Лингвистические теории дескриптивного характера также не дают удовлетворительного ответа на вопрос: что есть слово как языковая единица и как соотносятся словоформы и слова между собой. В частности, положение "словоформа - слово (лексема) в некоторой грамматической форме" (ЛЭС, 1990:470), а также признание того, что "совокупность всех словоформ слова (лексемы) образует парадигму данного слова" (Там же), вызывают большие сомнения. Определение словоформы как слова (хотя и в грамматической форме) предполагает признание принципиального единства языка и речи как некоторого феномена метафизического характера. Иными словами, это значит, что словоформы, взятые в своей парадигматической совокупности, образуют слово как некоторую абстракцию. При этом, естественно, возникают проблемы критериев объединения словоформ в парадигматическую языковую систему, в слово. В первую очередь возникает потребность четко размежевать результаты словопроизводства и формообразования. Ни один из предлагаемых в рамках структурализма или дескриптивной лингвистики критериев такого размежевания нас не удовлетворяет. Если следовать только от фонетико-морфологической формы, неминуемо смешение омонимов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Появляются многочисленные теории т.н. полисемии, ведущие к разрушению единства знака как двусторонней единицы. Рано или поздно придется признать разобщенность плана выражения и плана содержания, а значит, и отвергнуть единство языкового знака. Вместе с тем,

признание слова механической совокупностью словоформ вынужденно ведет к выведению его значения из значений его словоформ. Не сложно убедиться, что одна и та же словоформа (например, именительного падежа единственного числа имени существительного) может проявлять различные элементы семантики слова ("машина едет", "машина разбилась", "машина была продана", "машина была вместительной" и под.). Кроме всего прочего, подход от формы к содержанию не позволяет четко размежевать слова в речи (например, при образовании вида славянских глаголов префиксальным или суффиксальным способом, образовании падежных и числовых форм существительного с историческими усложнителями, в образовании словоформ от супплетивных основ и под.). Поэтому многие теории феноменологического плана вынуждены в той или иной степени привлекать семантическую информацию для идентификации языкового знака.

Особенно большие сложности при этом возникают с определением единства славянского глагола. Так, в область словоформ глагола вовлекаются в формально-грамматических построения причастия и деепричастия только на основании того, что их образование носит регулярный характер. В таком случае нужно относить в область существительных деминутивы и аугментативы, а в область прилагательных - гипокористические образования. Что касается значительности ограничений, налагаемых на образование деминутивов и аугментативов, а также различие в средствах образования (-к-, -ок-, -ик-, -ек-, -чик- и т.д. для деминутивов, например), то в основе их лежат, во-первых, морфонологические причины (те же, кстати, что и у причастий, особенно страдательных). Во-вторых, образование указанных существительных сильно ограничено признаком абстрактности/конкретности, хотя это ограничение не столь строгое, как ограничение образования причастий страдательного залога только от переходных глаголов, причастий настоящего времени только от глаголов несовершенного вида. Так же нерегулярно и образование во всех славянских языках форм времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. От

первых не образуются вовсе формы настоящего времени и формы сложного будущего, а от вторых - формы простого будущего времени. Вместе с тем, совершенно непонятно, почему в формально ориентированных грамматиках существительные на -ние (-ение, -тие), а также процессуальные имена-конверсивы (вход, пролет, подрыв) или имена на -ка (проводка, переделка, зашивка) не вводятся наряду с причастиями и деепричастиями в парадигму глагола, хотя регулярность их образования подчас на порядок выше, чем у традиционно выделяемых особых форм глагола.

Один из наиболее сложных вопросов, связанных с проблемой соотношения слова и словоформы, является вопрос вида славянского глагола. Вопрос о виде как одной из основных грамматических категорий славянского глагола считается бесспорным и не подлежащим сомнению. Тем не менее, мы полагаем, что в этом вопросе есть много нерешенного именно с методологической точки зрения. Суть проблемы в том, что видовой корреляцией не завершается образование словоформ глагола. Формы времени и причастные формы от видовых коррелятов образуются несимметрично. Так, глаголы по линии несовершенного вида не образуют форм простого будущего времени, а по линии совершенного вида - форм настоящего времени, сложного будущего и причастий настоящего времени. Даже элиминировав причастия из системы форм глагола, проблема не закрывается. Можно элиминировать и различия в образовании форм будущего времени, поскольку принципиально сохраняется семантическая функция, а различие касается лишь способа формирования словоформы, т.е. модели словоформы. Однако невозможно элиминировать различий в образовании/не образовании форм настоящего времени, т.к. речь идет о специфической семантической функции. Вместе с тем, в связи с видовой корреляцией возникают различия в классе и типе спряжения, напр., русс.- "получать // получить", "выбрать // выбирать" или чеш.- "vybrat // vybírat", "donést // donosit".

Кроме этого, очень трудно определить модели образования видовых форм так, чтобы к семантике вида не прибавлялись иные, явно когнитивные элементы. Зачастую приставки, использующиеся в образовании форм совершенного вида, индивидуальны для разных групп глаголов по смыслу. А это уже показатель словопроизводства.

Признав вид формообразовательной (морфологической) категорией, придется каким-то образом устанавливать иерархию моделирования глагольной словоформы. Можно было бы предположить, что вид - основная классификационная категория формообразования глагола, т.е., что все модели образования словоформ славянского глагола объединены в две подсистемы моделей - перфективную и имперфективную. Далее каждая из них делится на три группы моделей по признаку наклонения. Однако, возможно и другое решение проблемы - признать видовые корреляты грамматическими внутрикатегориальными симилярами единого процессуального понятия. В этом случае видовые пары - это пары различных слов, номинирующих в различном аспекте одно и то же когнитивное понятие. Второй способ решения проблемы позволил бы четче объяснить формальную нерегулярность образования видовых коррелятов (суффиксация, префиксация, различие приставок). Кроме этого такой способ позволил бы найти место инфинитиву, который наряду с собственно глаголами-коррелятами по виду, процессуальными именами, причастиям и деепричастиям в качестве симиляров являлся бы номинатом единого понятия, оставаясь при этом отдельным словом со своим собственным набором стилистических, синтаксических, синтагматических и словоизменительных сем. В этом смысле стоит прислушаться к рассуждениям венгерского лингвиста Ласло Ясаи (Ясаи, 1993) о когнитивно-семантическом характере категории вида, что позволяет обнаружить видовую корреляцию в самых различных по своему типологическому статусу языках. В определенном смысле вид представляет собой в области глагола примерно то же, что и категория рода в области существительного. Впрочем, такое сравнение носит чисто поверхност-

ный характер, поскольку категория рода существительного так же, как и категория вида (в случае признания видовой отнесенности постоянным морфологическим свойством глагола) является немодельной (на уровне моделирования словоформ). Определенным образом эта информация в знаке относит знак к системе как моделей синтагматики (т.е. к моделям построения словосочетаний), так и моделей словоизменения (поскольку в зависимости от рода существительное соотносится с теми или иными моделями склонения). Однако, в отличие от категории вида, явно характеризующей когнитивные свойства глагола, категория рода практически никаким образом не связана с когнитивными свойствами существительного (за исключением, разве что, имен лиц и живых существ, где родовая принадлежность целиком зависит от словопроизводственных моделей и когнитивной информации словопроизводственного характера). Видовая информация в глаголе определенным образом связана с синтагматическими моделями. Нетрудно убедиться, что глаголы несовершенного вида очень легко входят в самые разнообразные синтаксические и синтагматические конструкции, в то время как глаголы совершенного вида весьма синтагматически ограничены ("я делал это вчера, сегодня, в мгновение ока, всегда, целый день, ежедневно": "я сделал это вчера, сегодня, в мгновение ока"). Что касается морфологического статуса категории вида, то и здесь оказывается, что глаголы совершенного вида гораздо ограниченнее в словоизменительных способностях (настоящее время, причастия настоящего времени). Впрочем, значение настоящего времени никогда не было бы выделено, если бы не глаголы несовершенного вида. Поскольку временная парадигма у глаголов совершенного вида отличается от временной парадигмы глаголов несовершенного вида, а кроме того, существуют и явные валентностные различия, напрашивается вывод, что это различные типы глаголов, т.е., что все глаголы делятся на глаголы совершенного и несовершенного вида со своими морфологическими особенностями. А значит, имеет смысл отдельно изучать грамматические свойства глаголов

совершенного вида и грамматические свойства глаголов несовершенного вида. Определенная (хотя и несколько отдаленная) аналогия нам видится и в системе категорий прилагательного. Так одни прилагательные обладают словоизменительными потенциями в плане степеней сравнения, а другие нет. При этом основное свойство, различающее эти группы прилагательных мы не относим в область грамматики. Это информация не модельного типа, но когнитивного характера.

Из сказанного можно сделать лишь один вывод: регулярность образования не является достаточным критерием размежевания слово- и формообразования. Причина подобных неувязок в описательных теориях, по нашему мнению, кроется в их феноменологизме, в признании языка самоценным, самодействующим, "в себе и для себя" бытующим явлением действительности. Именно отсюда попытки каким-то образом объективировать язык. А это влечет за собой поиски критериев единства языкового знака в области зримой формы. В случае же, когда форма не дает прямого ответа на вопрос: словоформа или другое слово, в основу квалификации полагаются произвольные, методологически необоснованные семантические критерии (например, вовлечение причастий и деепричастий в парадигму глагола на основе априорного суждения, что глагол есть все, что обладает грамматическим признаком времени, а также все, что называет процесс). Именно феноменологическое выведение языка за пределы человеческого сознания не позволяет в рамках структуралистского или формально-грамматического построения понять сущность языкового знака, в частности слова. Методологическое определение знака как нейропсихологической сущности дает возможность увидеть в нем нечто гораздо большее, чем простую сумму словоформ. Язык и речь с позиции функциональной методологии, как мы уже выше показали, неизоморфны. Они пребывают в отношениях ассиметрии. Далеко не всегда слово выражается гомогенной словоформой. Его выражение может происходить и в виде гетерогенного речевого знака. Ср., на-

пример, "буду писать", "умнее всех", "без умолку" (русс.), "chodil jsem", "modlit se" (чеш.), "gdzie indziej", "paczenie się" (поль.), "без зупину", "написав би" (укр.), "ще каже", "щях да ходя" (болг.). Вместе с тем, довольно часты случаи гомогенного произнесения (фонетическое слово) и гомогенного написания как одной речевой единицы словоформы данного знака и неморфологических (несловоизменяемых) единиц: "nechodil", "chodil-li", "напиши-ка", "он-то ходил". Естественно, слитность произношения зачастую оказывает существенное влияние на орфографическую транскрипцию. Поэтому никогда нельзя при определении границ слова или словоформы обращать внимание на написание. Русское "не ходил" и чешское "nechodil" аналогичны. И в одном, и во втором случае речь идет о словоформе, репрезентирующей знак-глагол "ходить // chodit" в синтаксической структуре отрицания. Частица НЕ не является знаком, поскольку нет такого понятия как "не". Нельзя мыслить отрицание само по себе. Можно мыслить отрицание чего-либо: действия (не ходить), предмета (не человек), признака предмета (не деревянный), признака или условия действия (не сегодня, не долго). Можно знать о том, что можно отрицать (глагол "отрицать", существительное "отрицание"), но само отрицание в славянских языках является операциональным приемом, а не самостоятельным участком действительности, т.е. не номинируется языковым знаком "НЕ". Единственная возможность мыслить отрицание субститутивно, как некую данность - мыслить его в виде воспроизводимого высказывания "нет", которое исторически представляет из себя словоформу глагола "быть" - "есть" в синтаксической конструкции отрицания. Таким образом, мы полагаем, что НЕ - языковым знаком не является. Это элемент либо синтаксической (или синтагматической) либо словопроизводственной модели отрицания. Модельность данного элемента речи доказывается его свободным передвижением в пределах высказывания, при котором происходит функционально одно и то же речевое событие - отрицание, но каждый раз это отрицание иного речевого знака. Например, "Мы с Сергеем вчера ходили

в кино" - "Не мы с Сергеем вчера ходили в кино" - "Мы не с Сергеем вчера ходили в кино" - "Мы с Сергеем не вчера ходили в кино" - "Мы с Сергеем вчера не ходили в кино" - "Мы с Сергеем вчера ходили не в кино". Следовательно, НЕ не является языковым знаком, однако это речевая единица, входящая в словосочетание отрицания вместе с тем знаком, который вовлечен в синтактику отрицания. Отсюда напрашивается вывод, что русское "не ходили", польское "nie chodziliśmy" и даже чешское "nechodili" представляет собой отдельную синтагму, а не словоформу некоторого одного языкового знака "НЕ ХОДИТЬ", поскольку семантика отрицания действия, выраженная в ней, не номинирует некоторое противоположное понятию "ходить" когнитивное понятие (ибо само по себе отрицание некоторого действия не влечет за собой номинации некоторого противоположного участка картины мира: "не ходили" не значит "стояли", "сидели", "лежали" или "находились в том же месте") и не является, поэтому, знакообразовательным. Вместе с тем, подобное отрицание не является и морфологическим, поскольку, как показала приведенная выше серия примеров, отрицание не является и исключительно формальным проявлением некоторой имманентной понятию "ходить" семантики. Кроме того, акт отрицания абсолютно идентичен как в случае отрицания действия, так и в случае отрицания понятия предмета, явления, качества, свойства, количества или обстоятельства. Ни в языковом знаке "ХОДИТЬ", ни в языковом знаке "КИНО", ни в языковом знаке "СЕРГЕЙ" не содержится в качестве имманентного свойства признак отрицания, как присутствуют в них семантические признаки времени, лица, числа ("ХОДИТЬ"), рода, числа или падежа ("КИНО", "СЕРГЕЙ"). Это свойство извне приписывается данным знакам (и соответствующим им понятиям) в процессе актуализации соответствующих понятий. Поэтому, употребляя терминологию Канта, синтагму отрицания можно считать не аналитическим, а именно синтетическим понятием (суждением). Тем не менее, ничего не мешает выражать подобное синтетическое суждение одной словоформой "nechodil", как это на-

блюдается в чешском языке. Этот пример очень ярко иллюстрирует положение функциональной методологии о том, что слово и словоформа неизоморфны.

Словоформа может включать в себя не только собственно знаковую информацию (информацию, почерпнутую из языкового знака, который репрезентирует данная словоформа), но и модельную информацию (информацию о моделях ВФЯ, по которым она была образована). В этом состоит еще один аспект функционального онтического характера словоформы как самостоятельного смыслового феномена. Выразаться эта информация может как синтетически (через синтетическую морфную структуру), так и аналитически (через совокупность морфных структур). Об этом мы уже писали выше. Но здесь следует добавить, что аналитические морфные структуры могут включать в себя как морфы, так и служебные слова. Термин “служебное слово” или “служебная часть речи” теоретически и методологически крайне неудачен. Ни предлоги, ни союзы, ни частицы словами, т.е. языковыми знаками не являются, поскольку не номинируют некоторого понятийного участка поля знания. Тем не менее, они обладают рядом свойств, которые их отделяют от морфем и сближают со знаками. Это дискретность, воспроизводимость и инвариантность (правда, весьма редуцированная). Это позволяет включить их в структуру языка. Но не в систему знаков - ИБЯ, а в систему моделей - ВФЯ. Мы рассматриваем т.н. служебные слова как мета-морфемы или как словесные морфемы и в качестве таковых определяем их как элементы моделей образования словоформ (некоторые частицы и предлоги) или же моделей синтаксического развертывания (предлоги - в системе моделей управления, союзы - в системе моделей образования конструкций однородности, сравнительных конструкций или развертывания сложного высказывания, некоторые частицы - в системе моделей вопросительных или восклицательных высказываний). В речи же такие единицы языка репрезентируются в виде речевых незнаковых единиц и входят в состав речевых знаков - словоформ, словосочетаний, высказы-

ний. Сами по себе такие речевые единицы не выполняют какой-либо семиотической или даже конструктивной функции. Их функция чисто вспомогательная. Они призваны оформлять речевые знаки согласно правил данного языка. Конструкции с такими единицами обычно рассматривают как целостную функциональную единицу. М.Гухман пишет: "... сочетание "частичное слово + полнозначное слово" отличается от сочетания двух полнозначных слов тем, что они занимают разную позицию в пределах синтаксического уровня: в терминах традиционной грамматики второе сочетание представляет собой комплекс двух членов предложения, т.е. является синтагмой, тогда как первое всегда оказывается одним членом предложения и не может быть тем самым рассмотрено как синтагма. Если считать, что словосочетания являются элементарной единицей синтаксического уровня, то фактически первый тип словосочетания занимает особое положение, не являясь "полноправной" единицей синтаксического уровня, но и не оставаясь на уровне морфологии, поскольку он не обладает цельнооформленностью" (Гухман, 1968:144). Столь пространная цитата нам потребовалась для того, чтобы показать, что традиционная феноменалистическая лингвистика не могла (и не может) дать удовлетворительного ответа на вопрос о речевых единицах, поскольку последовательно не различает языковые и речевые единицы не только как разнотипизированные и разнофункциональные (что в отличие от позитивистов все же видят феноменологи), но именно как различные онтические сущности. Слово не существует в речи в виде словоформ, оно вообще не существует в речи. Словоформа ни сама по себе, ни в совокупности с другими словоформами ни в каком смысле не является словом. Это речевой знак, она отсылает к слову, но не является им. Она образуется по модели языка на основе информации, заложенной в слове, но не совпадает ни с самим языковым знаком, ни с моделью, по которой она была образована. Это принципиально иная единица как со стороны формы, так и со стороны содержания. Именно поэтому словоформа может быть как синтетической, так и

аналитической, не превращаясь при этом в словосочетание и не переставая быть словоформой - номинативной речевой единицей, репрезентирующей в речи языковой знак.

В смысловом отношении знак языка (слово) не совпадает с суммой значений словоформ, поскольку количество словоформ ограничено (для существительного, например, это количество в славянских языках колеблется от одного до четырнадцати), а возможностей проявить весь объем своего значения у знака гораздо больше. При этом речь идет не о чисто индивидуальных, но, именно о социализированных знаках. Однако именно ментально-субъективный (по онтологическому признаку) характер языковых знаков обеспечивает, с одной стороны, существенные различия между словом и словоформой, а с другой - обеспечивает единство словесного знака как языковой единицы, репрезентированной в речи целым рядом словоформ. Словоформа в таком понимании выступает не в качестве слова в речи, но в качестве речевого представителя слова в его отношении к актуальному понятию. Словоформа строится на основе использования: актуального понятия, языковой знаковой информации и информации в модели образования словоформы.

Актуальное понятие не может быть вербально эксплицировано, минуя языковой знак. Любое употребленное целенаправленно (осмысленно) сочетание звуков так или иначе квалифицируется реципиентом (и, естественно, говорящим) как речевая единица, а значит, идентифицируется с другими знаками как в когнитивном (лексикосемантическом), так и во внутриформенном отношении. Что касается обязательности использования при речепроизводстве той или иной модели ВФЯ или того или иного семантического элемента знака, то здесь возможны различные варианты. Параллельное выделение нами внутриформенной информации в знаке ИБЯ и в модели ВФЯ обусловлено тем, что, с одной стороны знак может содержать особенные, немодельные условия образования словоформ (так называемые "исключения", вызванные в том числе и историческими причинами), ко-

торых нет в моделях ВФЯ, а с другой, - если бы не было моделей ВФЯ, а вся морфологическая информация хранилась бы только в уже существующих знаках, то как было бы возможно образование словоформ совершенно новых знаков или как могли бы появляться неверные, но потенциально возможные формы. Именно модели образования словоформ во внутренней форме языка и являются функциональной основой морфологической потенциальности. Поэтому, мы полагаем, что возможны как случаи построения словоформ минуя модель словоформы (если эта словоформа уникальна) так и, наоборот, только по модели без учета грамматической информации в слове (в этом случае возможно расхождение между грамматически правильной словоформой и социализированной нормой речевой репрезентации данного знака).

Еще один аспект этой же проблемы - явление так называемой "игры" слов, т.е. намеренного использования в речевом отрезке словоформы как знака одновременно двух слов или других лексических единиц (например, слов и фразеологизма или клишированной синтагмы). Это очень частый прием создания образности и юмористического эффекта в художественных и публицистических текстах. Вот несколько примеров такого использования словоформы: "В каждом возрасте - свои прелести, но в молодости - еще и чужие" (свои прелести - свои); "Мужчины, берегите женщин - это окружающая вас среда" (окружающая среда - окружать); "Меняю 1/6 часть суши на другую" (одна шестая - один); "перевожу с немецкого и армянского на Ваганьковское" (переводить - перевозить); "Как бы вы не пытались провести время, его не проведешь" (провести "прожить" - провести "обмануть"); "В семье В.С.Ермакова появилась традиция: день рождения мужской половины отмечать в ресторане, а женской - красным карандашом в календаре" (отмечать "праздновать" - отмечать "обозначать"); "Россия - это одна шестая часть света и пять шестых тьмы" (свет "мир" - свет "освещение"); "Мы так долго стояли на краю пропасти, что стали считать этот край родным" (край "конец" - край "страна"); "Стоит только

один раз подать повод - и вас обязательно попросят подать кнут" (подать повод - подать "передавать" и повод "ремень, узда"). Таким образом, мы еще более удостоверяемся в том, что словоформа и слово неизоморфны и представляют из себя принципиально различные единицы.

Второй важный момент проблемы единства знака, в который, как нам кажется, вносит ясность функциональная методология, - это дискретизация симилиярных знаков в пределах когнитивного понятия. По нашему мнению, все сложности в разграничении слов сводятся к неразграничению вербальной и невербальной информации. Если бы структуралисты признавали реальность когнитивных понятий и отличали значение слова от понятия, которое слово выражает, они бы без особого труда смогли различать глаголы, имена действия, причастия и деепричастия как слова-симилиары, объединенные своим семиозисом, т.е. своим отношением к одному и тому же понятию. Для этого достаточно осознавать, что язык не идентичен когнитивной системе, а слово выражает понятие не прямо, но в преломлении через специфику внутренней формы данного языка. Когнитивная информация, находящаяся в понятии, и когнитивная информация, находящаяся в слове, могут быть неидентичны. Поэтому критерием семантического единства словесного знака должна выступать не его знаковая отнесенность к тому или иному предмету или явлению, и даже не его знаковая отнесенность к тому или иному понятию, но именно характер знаковой отнесенности, воплощенный, прежде всего, в его лексическом значении и его грамматической категориальности, т.е. частеречной принадлежности. Частеречная же принадлежность целиком подчинена именно характеру вербальной спецификации понятия данным знаком, и сама воплощается в способе образования словоформ, способе включения в синтагму и высказывание, а также в особенностях включения данного знака в текст того или иного типа. Принципиальное отличие функционального понимания проблемы единства знака состоит в том, что в функциональной лингвистике этот вопрос реша-

ется на собственно лингвистической (в отличие от феноменологии) и на собственно языковой (а не речевой, как в позитивистских и рационалистских теориях) основе. Бесспорно, что такое понимание сущности словоформы сильно усложняет научную модель языковой деятельности, однако, как нам кажется, даже такое "усложнение" далеко не полностью отражает всю сложность структуры языка и механизмов порождения речи. Простота в данном случае ведет к извращению объекта и переводу научного исследования из познавательно-теоретической области в обыденно-мифологическую. Кстати, именно стремление к простоте отличает мифологическое сознание от научного или художественного.

Особой методологической и онтологической проблемой является вопрос о структуре модели формообразования и, в частности, о морфеме как составной этой модели. Лингвистический энциклопедический словарь определяет морфему следующим образом: "Морфема - одна из основных единиц языка, часто определяемая как минимальный знак, т.е. такая единица, в которой за определенной фонетической формой (означающим) закреплено определенное содержание (означаемое) и которая не членится на более простые единицы того же рода" (ЛЭС, 1990:312). Ниже встречаем примечание, что "будучи, наряду со словом, основной единицей морфологии, морфема замысливается, подобно фонеме, как абстрактный инвариант, реализующийся в виде конкретных вариантов - морфов (алломорфов)..." (Там же) [выделение наше - О.Л.]. Это типично позитивистское (или шире - референцирующее) решение проблемы. В отличие от него, функционализм рассматривает морфему как реальную языковую функцию.

Не ставя перед собой задачу решить окончательно проблему морфемы, мы, тем не менее, попытаемся поставить эту проблему в свете структурно-функциональной методологии. Прежде всего, приведенное определение морфемы сразу же с позиций структурно-функциональной лингвистики кажется противоречивым. Не может

один и тот же феномен быть материально выраженным (обладать фонетической формой) и быть абстрактным инвариантом. Конечно, проблема усугубляется разночтением терминов. Предположим, что под "фонетической формой" понимается физическая сигнальная форма, так как, если бы речь шла о нейропсихофизиологической языковой форме, следовало бы употреблять "фонематическая форма". Однако, ниже в ЛЭС есть упоминание, что очень многие лингвисты видят структурной единицей морфемы именно фонему. Следовательно, необходимо рассмотреть оба варианта употребления термина "фонетическая форма" - и как собственно "звуковая" и как "абстрактно-фонематическая". В первом случае мы приходим к уже описанному парадоксу. Придется отказаться от морфемы как языковой единицы и рассматривать каждое новое формальное проявление в однотипных словоформах, как новую морфему. В таком случае утрачивает смысл выделение морфемы, например, как словообразовательной единицы вообще, поскольку даже в пределах одного слова морфема, которую традиционно полагали словообразовательной, будет варьировать - "дружок - дружка". Это очевидно. А значит, выделение морфемы не нужно. Но это типично позитивистское понимание проблемы. Если же понимать под планом выражения морфемы некоторый фонематический набор, то проблема не упрощается, но еще более усложняется. Ведь мы встанем перед вопросом дефиниции единства такого набора. Ведь в один, единый, по сказанному, фонематический ряд войдут и морфонологические варианты типа русс. [drug - druĥ - druz'] или укр. [k - ok - s'] (от щічка - щічок - щічці), или чеш. [ves - vod - vád] (от provesti - provoditi - prováděti), или болг. [зв - зов - зив] (от зва - отзыва - отзыва) или, что еще более проблематично, - супплетивные варианты: хорошо - лучше, плохо - хуже, я - меня, мы - нас и под. Если в первом случае еще можно попытаться построить гипотезу некоторых гипер- или суперфонем, объединяющих в себе морфонематические варианты: [g]/[h]: [ħ]: [z']/[z], то во втором случае это будет и практически, и теоретически невозможно. Следовательно, нет ника-

ких шансов представить себе языковой словесный знак в виде некоторого содержания, соединенного с некоторым линейным фонематическим универсальным звукорядом. В этом случае, кроме приведенной выше проблемы, нам придется столкнуться еще и с проблемой структуры содержания самого знака. Ведь если признать традиционный постулат о том, что слово состоит из морфем, нам придется признать и то, что семантика слова также линейна, как цепочка морфем, т.е. некоторое содержание корня + некоторое содержание суффикса + некоторое содержание всех возможных окончаний и даст содержание слова. Картина просто-таки фантасмагорическая. Даже самые ярые поклонники идеи "морфема - мельчайший знак" не настаивают на том, чтобы выводить значение слова из суммы значений морфем. Достаточно привести пример трансформативного образования знака, чтобы убедиться в том, что "значение" морфем вообще нерелевантно для значения слова. Иначе нам пришлось бы признать, что в слове "дежурный" -н- обладает значением качества и свойства, а в однозвучном существительном этот же -н- обладает значением лица по роду деятельности, и суффикс -ник- одновременно обладает значением лица по роду деятельности (такелажник, работник), конкретного физического предмета (воротник), орудия действия (плавник, чайник), места (цветник, кедровник), книги (учебник, справочник, дневник), лица по состоянию (узник), растения (репейник, щетинник), птицы (рябинник, веретенник), лица по интересу (малинник, кошатник) и т.д. Еще больший спектр окажется у суффиксов -ик-, -к-. Не меньший разброс "значений" окажется у префиксов. Однако в данный момент нас более интересуют не словообразовательные, а формообразовательные морфемы.

Рассмотрим морфему -I-, как известно, во всех славянских языках идентифицируемую как один из показателей прошедшего времени. Действительно ли морфема -I- обладает значением прошедшего времени? Достаточно попытаться образовать от ряда глаголов форму прошедшего времени с суффиксом -I-, как тут же окажется, что все не

так просто: делај- л, копај-л, тјан-л. Оказывается, что суть формы прошедшего времени заключается не в суффиксе, а в сочетании суффикса с основой инфинитива: дела-л, копа-л, тјану-л. В чешском и словацком языках обязательным атрибутом формы прошедшего времени оказывается еще и вспомогательный глагол "být" в настоящем времени: chodil jsem, nesl jsem или chodil som, nesol som. Отсутствие же вспомогательного глагола несет дополнительную информацию о 3-м лице. Следовательно, проблематично не только определение свойств плана выражения морфемы, но и ее плана содержания.

Еще более сложным окажется на поверку содержание флективных морфем. Флексии вообще дискредитируют любую теорию морфемы как знака, поскольку не обладают никакой заместительной семиотической функцией. Флексия -а в жена, отца, окна (Р.п., ед.ч.), окна (И.п., мн.ч.), окна (В.п., мн.ч.), судья явно не одна и та же флексия. Следовательно, подходить к проблеме флексии с фонетической стороны абсурдно. Придется исходить из ее функции, т.е. принимать во внимание роль, которую она выполняет в словоформе. Значит придется говорить о флективной морфеме либо: а) как о морфеме, выражающей конкретную речевую (словоизменительную) семантику (например, о морфеме Р.п., мн.ч. имен существительных 2-го склонения мужского рода), либо б) как о морфеме, выражающей весь потенциал словоизменения данного словесного знака (например, о флективной морфеме имен существительных мужского рода 2-го склонения). В первом случае мы столкнемся с целым рядом обстоятельств, нивелирующих само понятие морфемы. Если мы признаем, что флексия выражает семантику словоформы (или, скорее, какой-то элемент этой семантики), мы тем самым сведем флексию до уровня речевой единицы, до категории морфа, а не морфемы. Поскольку "огней", "сапог" и "столов" являются формами Р.п., мн.ч. слов с начальной формой "огонь", "сапог" и "стол", флексии "ей", "ов" и нулевая принципиально не попадают под квалификацию инварианта, каковым является морфема. Некоторые лингвисты остроумно сводят эти три флексии в

единую морфему, чем окончательно разрушают представление о морфеме как некоторой фонетической (или фонематической) цепочке, выражающей некоторое значение. Кроме всего прочего, ни -ей ни -ов, ни нулевая флексия не выражают никакого знания о действительности, которое было бы фиксированным, обязательным и независимым от всей остальной части фонетической формы слова. Классический пример Л.Щербы о "глокой куздре" только подтверждает эту точку зрения, поскольку окончания -ая и -а в "глокая куздра" идентифицируются носителями русского языка как таковые только за счет того, что у носителей языка есть стереотип вычленения окончаний из словоформ, а не стереотип составления словоформ из морфем. Именно потому, что "куздра глокая", а не "куздро", "куздр", "куздры" или как-либо еще, что "куздра глокая", а не "глоко", "глокт" или "глокин" и под., мы воспринимаем "куздра" как имя существительное женского рода ед.ч., И.п., а "глокая" как согласованное с ним имя прилагательное. Однако, если бы глок- и куздр- отсутствовали, сами по себе -а и -ая ничего бы не могли значить. Только за счет того, что -а и -ая воспринимаются как окончания словоформ, они и возбуждают в нас некоторую информационную реакцию. Немаловажное значение имеет и ударение. К тому же, не следует упускать из виду, что только за счет синтактики и синтагматики, т.е. за счет того, что мы идентифицировали всю фразу как высказывание, а ее составные как синтагмы, а составные синтагм как словоформы, мы идентифицировали -ая, -а, -о, -ну-л-а, -а ("глокая куздра штеко будланула бокра...") как морфы. Следовательно, морфы или морфемы не самостоятельны. Они не дискретны в синтаксическом отношении. Они не номинируют какой-либо свой участок когнитивного сознания. И, наконец, они не могут существовать вне конкретной фонетической цепочки. То есть, вряд ли можно признать одной морфемой всю парадигму флексий того или иного существительного, всю парадигму флексий, префиксов и суффиксов того или иного глагола. Следовательно, приходится признать, что с точки зрения структурно-функциональной методологии морфема

не является знаком, более того, морфема не является значимой единицей системы языка, она не более чем функциональный элемент модели. В случае со словообразовательными морфемами, это элементы словопроизводственных моделей, в случае с формообразовательными - элементы моделей образования словоформ. При таком подходе морфема как элемент модели является некоторой информацией о фонетическом устройстве словоформы (или основы знака). При этом морф - это собственно речевая единица, построенная и включенная в рема-тематическую цепочку речи согласно информации, заложенной в морфеме. Морфема и морф в таком случае не изоморфны, как не изоморфны слово и словоформа. Морфема - единица языковая, а морф - речевая. Морф - это линейная функция, морфема - системная. Что касается значения, то оно принципиально отсутствует как в морфеме, так и в морфе. Значение - атрибут знака. Здесь уместно рассмотреть пример грамматической семантики рода у русских имен существительных 1-го склонения. Так, обычно, не вызывает сомнения, что именно флексия -а несет информацию о роде имен "стена", "земля", "весна", а значит и слов "жена", "супруга", "княгиня". В этом случае следует признать, что эта же флексия несет информацию о мужском роде имен "дядя", "судья" или "мужчина". Отнюдь. Здесь эта роль оказывается у основы. Вывод напрашивается сам собой. Ни в первом, ни во втором случае флексия не является носителем значения рода. Значение грамматического рода как элемент общей семантики существительного вообще не является словоизменяемым, т.е. морфологическим значением. Это синтагматическое значение существительного и должно рассматриваться на уровне моделей образования синтагм. Таким же синтагматическим является для глагола значение переходности. Ошибочно приписывать морфеме какое-либо самостоятельное значение, будь то значение лексическое, или грамматическое. Так, информация о Р.п., ед.ч. для целого ряда имен мужского рода в русском и украинском языках может выражаться морфами -а или -у, информация о Д.п., ед.ч. в укра-

инском, польском, чешском и словацком может для имен мужского рода выражаться морфами -у (-u) или -ові (-owí, -oví) и т.д. Аналогичная ситуация и в системе моделей словоформ в других славянских языках. Так, в системе словоизменения некоторых глаголов можно встретить совпадение форм числа в одном и том же лице в настоящем времени: učí se (3 л., ед.ч. и 3 л.,мн.ч.), а в системе ряда чешских имен существительных встречаем одинаковые окончания в единственном и множественном числе именительного падежа: pole, růže. В парадигме же существительного "stavení" вообще совпадают все числовые и падежные формы кроме местного и творительного падежа. Как при этом трактовать совпадающие флективные модели? Как различные омонимичные морфемы или как одну полифункциональную? Как, например, трактовать парадигму склонения чешских прилагательных мягкой группы в женском роде, если там присутствует только одна словоформа с "í".

Еще одну сложность в проблеме квалификации и дефиниции морфемы создают так называемые нулевые морфемы. Если внимательно рассмотреть все случаи, в которых лингвисты обнаруживают значимое отсутствие морфемы, все эти случаи могут быть при первом поверхностном взгляде расклассифицированы в две группы - скрытые морфы и собственно нулевые морфемы. К первым можно отнести значимое отсутствие суффиксального морфа в формах "нес", "грыз" (рус.) или "ліз", "віз" (укр.), который легко восстанавливается во всех остальных формах кроме мужского рода единственного числа. К тому же глаголы этого же типа с конечными корневыми [d] и [t] этот суффиксальный морф сохраняют: "мел", "вел" (рус.) или "плів", "брів" (укр.). Следовательно его отсутствие носит чисто морфонологический характер, и это естественный элемент модели образования соответствующих словоформ.

Более сложный случай - выделение нулевой флексии в именительном падеже единственного числа имен существительных мужского или женского рода в славянских языках. При объяснении здесь

срабатывает все тот же историко-генетический морфологический принцип. Правда, в этом случае нет списка согласных, на которые должна оканчиваться основа, чтобы это удовлетворяло требованию нулевой флексии. Причина чисто историческая - падение редуцированных в абсолютном конце словоформы. Но в силу присутствия флективного морфа в других словоформах того же слова, считается возможным выделять в именительном падеже нулевую флексию. Возникает вопрос: какой смысл практический или теоретический в определении некоторого отсутствия морфемой или морфом. Ведь начинают все исследователи морфем с того, что определяют их как двусторонние единицы, выражающие в звуках (или условных знаках) некоторое содержание. В одном и втором случае это явное невыражение некоторого содержания ни явными, ни условными звуками. Звуков нет никаких. Но есть, как утверждают, некоторый смысл. В первом случае это грамматическое значение прошедшего времени, во втором - грамматическое значение именительного падежа единственного числа имени существительного мужского или женского рода. Как мы уже показали выше, сам по себе суффикс -l- не является показателем прошедшего времени. Это значение присутствует не в отдельном фрагменте звукоряда, а в словоформе, которая представляет собой нечто большее, чем просто звукоряд (пусть даже психофизиологический). Словоформа, как минимум, обладает планом выражения - протяженным представлением о звучании (звукорядом, состоящим из фонов) и планом содержания - рема-тематической информационной цепочкой, пропозициональной функцией. Следовательно, информация о том, что данный знак используется с актуализированным грамматическим значением прошедшего времени, возникла не в ходе формирования звукоряда, но до него. Звукоряд был сформирован уже после того, как носитель языка определился с использованием знака в форме прошедшего времени. То же касается и второго случая. Информация о роде, числе и падеже заложена не в звукоряде, а в плане содержания данного речевого знака. Если какая-то часть носителей

языка перестанет произносить окончания имен существительных в родительном или каком-нибудь другом падеже, и это станет нормой в их среде, это будет значить не то, что словоформа в этом падеже обладает нулевой флексией, но лишь то, что в данной словоформе нет специального явного показателя данного падежа. Эту роль выполняют порядок слов, синтаксическая позиция, синтаксическая функция, предлог или что-нибудь еще. Именно так выглядит общение на русском языке в среде слабо знающих язык в некоторых среднеазиатских странах, а также некоторых республиках России. Другие славянские языки, в силу социолингвистических причин, таких феноменов не знают.

Вторая группа так называемых нулевых морфем представляет собой словообразовательные единицы и должна специально рассматриваться в связи с изучением процессов словопроизводства. Здесь же достаточно отметить, что, если в случаях с грамматическими нулевыми морфемами есть хотя бы какие-то формальные основания их импликации - парадигматика форм и исторические причины, то в случаях с нулевыми суффиксами словообразовательного характера нет ни того, ни другого. Если в случае с суффиксом *-l-* мы можем говорить о его импликации в форме "рос", то в словах "вход", "выброс" (рус.), "напис", "розбір" (укр.), "wywiad", "przewod" (пол.), "chod", "let" (чеш.) и под. такого суффикса нет. Некоторые лингвисты (например, Д.Уорт; См.Уорт,1972) утверждают, что здесь и есть собственно значимое отсутствие. Но, в таком случае, достаточно обнаружить некоторую значимость, чтобы тут же, не найдя ее звукового проявления, провозгласить наличие нулевого суффикса. Так, найдя нечто общее в словах "слепой", "простой", "глухой", "тугой", "хромой", "пустой" (например их историческое отглагольное происхождение (См. Šaur,1981) или в словах "лихой", "косой", "голубой" (их историческое отыменное происхождение), можно было бы заявить о наличии у них нулевого суффикса, который выражает семантику адъективации. Могут возникнуть критические замечания относительно уместности этимологиче-

ских примеров, однако можно опротестовать нулевую суффиксацию в именах и не выходя за пределы языковой синхронии. Так, выделяя нулевой суффикс (как условность) в отглагольных существительных со значением действия, обычно определяют значение этого суффикса именно как "субстантивированное действие"; однако есть целый ряд слов, которые образованы по аналогичным моделям, но тем не менее не обладают таким значением: "погреб" (место), "ушиб" (последствие), "надолб" (сооружение), "состав" (продукт), "устав" (документ), "клев" (состояние) и под. Придется во всех случаях выделять омонимичные нулевые суффиксы. Сама по себе идея нулевого суффикса весьма продуктивна. Она отходит от позитивистской ориентации на конкретные звуки физической речи. Вместе с тем, она несколько отходит и от феноменологической привязанности к морфеме как языковому знаку. Однако этот отход от феноменологии не окончателен, поскольку, правильно определив часть семантики словоформы или слова, сторонники нулевых морфем проводят квалификацию этих частей через феноменологическое представление о том, что слово состоит из морфем, словоформа из морфов. Структурно-функциональная лингвистика в этом смысле пытается найти несколько неординарное решение через определение морфемы как части модели или как элемента внутрiformенной семантики языкового знака, т.е. через онтологию функции. В этом смысле совершенно прав Ян Горецки, отмечая, что нулевым может быть морф, но никак не морфема (См. Horecký, 1964:185). Это снимает проблему нулевых суффиксов, окончаний или корней (например, "вынуть"), поскольку относит это явление в сферу речи, в область продуктов речи, подверженных значительным влияниям, часто сугубо физиологических факторов: например, приспособление звуков друг к другу, влекущее за собой исчезновение заложенных в ходе речевого продуцирования (и находящихся в силу номинативных причин в знаковой информации) элементов плана выражения в конкретных словоформах. В случае же, если такие изменения происходят во всех словоформах данного языка, следует го-

ворить об исчезновении морфемы как информации из языкового знака. Таких случаев очень много. Это и следствие гаплогий, наложений, усечений, диффузий, опрощений и под. Иногда морфемы могут подвергаться изменениям и чисто семантическим, т.е. качественным, например, в случае декорреляции, когда слово начинает соотноситься с иной моделью словоизменения или словопроизводства, нежели та, по которой они реально были образованы или по которой реально изменялись в речепроизводстве. Это еще раз подчеркивает функциональный (а не феноменалистический) характер морфемы, т.е. ее онтическое свойство быть функцией, информацией.

Термин "морфема" мы используем одновременно в значении элемента модели словоизменения и в значении информационного элемента в составе означающего (плана выражения) языкового знака. Впрочем, одно не исключает другого, ведь граммы (морфологические семы), синтаксемы (синтаксические семы) и стилемы (семы ситуативно-аспектуального использования знака) - это не что иное, как следы функциональных отношений знака с соответствующими моделями внутренней формы языка. Все они - составные означающего в знаке. В их ряду вполне могут оказаться и морфемы (как функциональные единицы, связующие определенные грамматические или эпидигматические семы с фонетической семантикой знака). Таким образом, мы допускаем существование в языковом знаке наряду с отдельными внутриформенными элементами семантики и сложных семантических конструкций, совмещающих в себе два типа внутриформенной информации - морфологической и фонематической или словопроизводственной и фонематической.

Сказанное приводит нас к очень важному методологическому выводу: слово и словоформа, морфема и морф, а также фонема и фон (о которых речь пойдет ниже) неизоморфны. Слово, морфема и фонема - языковая информация. Словоформа, морф и фон - речевые продукты, созданные согласно этой информации и информации, заключенной в моделях внутренней формы языка, в ходе речепроиз-

водства. К тому же, в отличие от феноменологического понимания примата инварианта, функционализм рассматривает слово, морфему и фонему как единицы обобщения соответственно словоформ, морфов и фонов.

Кроме этого, слово, с одной стороны, морфема и фонема, с другой, также не представляют изоморфной и гомоморфной информации. Слово как знак двусторонне. Морфема и фонема - элементы одной из сторон слова как языкового знака. Они односторонни в смысловом и семиотическом отношении и не представляют из себя знаков. Морфема, хотя и двусторонняя единица, но обе ее стороны обращены к форме языкового знака. Даже корневые морфемы не содержат в себе собственно лексического значения, но эксплицируют эпидигматическую информацию о знаке. Поэтому, как мы уже отмечали выше, морфема языковым знаком не является. В отличие от морфемы, двусторонней функциональной единицы плана выражения, фонема односторонняя и в этом отношении.

То же касается и понятий "словоформа" - "морф" - "фон". Словоформа - речевой знак, она билатеральна в семиотическом отношении. Морф и фон - односторонни в семиотическом, а фон - и в структурно-функциональном отношении. Фоны - составные плана выражения словоформы - акустического образа, звукоряда. Будучи семантически связанными в рамках словоформы, морф и, тем более, фон не создают некоторой самостоятельной речевой информации, поскольку не функционируют отдельно от словоформы и не обладают отдельной от целостной словоформы функцией. Отсюда еще один важный методологический вывод - словоформа - мельчайший речевой знак.

Следовательно, морфема - это алгоритмическая, функциональная информация о корреляции того или иного элемента внутрiformенного (морфологического или эпидигматического) значения языкового знака с внешнефонетическими возможностями построения словоформы как представителя данного знака в речи. Эта информация всецело зависит от той модели, частью которой она является (либо с которой

она связана как элемент внутрiformенного значения языкового знака). Если это модель склонения существительных мужского рода по типу на твердый согласный, морфема -а будет использована как элемент подмодели производства словоформы Р.п. ед.ч. Не следует упускать из виду, что в обычном речепроизводстве и речевосприятии мы никогда не замечаем отдельных составных слова. Только при каком-то сбое, при внимательном вслушивании или при намеренном использовании сходства морфов (этимологическая фигура или гомеоптотон - см.Якобсон,1987:29) мы можем обнаружить, что словоформа состоит из созвучных частей, поскольку фонетическая идентичность морфов вовсе не обязательна (это могут быть просто близкие по значению или родственные в историческом отношении морфы, но не относящиеся к одной словопроизводственной цепочке моделирования или одной модели словоформы).

Однако, даже такое понимание морфемы не делает модель образования словоформ исключительно состоящей из морфемной информации, поскольку словоформа может быть и гетерогенной (аналитические формы) и супплетивной (т.е. несводимой к варьированию от инвариантной морфемы).

О гетерогенности словоформ мы уже говорили. Что касается супплетивности, то здесь вполне можно согласиться с Н.Арутюновой, которая, рассмотрев понятие морфемного строения слова применительно к супплетивным морфам в составе его словоформы, приходит к выводу: "Оказывается, таким образом, что одно и то же слово состоит из разных морфем, т.е. разные слагаемые дают одну сумму" (Арутюнова,1968:84). А это станет возможным лишь в случае, если будет пересмотрен сам онтический статус морфемы как некоторого реального феномена, как некоторой самостоятельной самодействующей единицы языка, обладающей собственной формой и собственным содержанием. Иначе нам не удастся свести воедино случаи с супплетивизмом, нулевыми морфемами, фонетически различными морфами, омонимией или полисемией морфем, вариативностью морфов и под.

Все указанное разнообразие отношений между планом выражения и планом содержания отдельных составных словоформы славянского слова вряд ли можно адекватно объяснить через понятие морфемы как знаковой языковой единицы, обладающей самостоятельной значимостью. Поэтому мы предлагаем употреблять этот термин в значении функциональной информации об определенной части формы слова модельного словоизменительного или словопроизводственного характера. В этом смысле морфема не будет смешана ни с фонемой, ни со слогом, так как они не являются словоизменительно или словопроизводственно значимыми.

Такой подход нам кажется весьма логичным продолжением идеи Н.Карцевского об асимметрии знака, т.е. (в нашей интерпретации) о несводимости сущности знака к простой сумме плана содержания и плана выражения (целиком или на уровне составляющих). Попытки ограничить сущность морфемы до функционального показателя словоформы или же функциональной информации о плане выражения знака предпринимались и ранее. Так, например, очень верно И.Полдауф писал о морфемах как единицах, которые обладают функцией структурного сигнализатора, относя их в область плана выражения (Poldauf, 1958:146-148). Кроме того, у него же встречаем попытку определить сущность морфемы через модель словообразования, когда он призывал исследовать функции морфем лишь в случае использования их в типичных образованиях целых разрядов слов (См. там же, 151).

Все эти случаи, вызывающие столько разночтений и споров именно из-за позитивистской привязанности к звуковой стороне слова или феноменологической привязанности к объективно-сущностному пониманию морфемы, вполне укладываются в функциональное методологическое решение этой проблемы. Достаточно определить слово как основную и минимальную информационную единицу языка, как минимальный языковой знак, вербализующий некоторое внеязыковое когнитивное знание, состоящий из информации об этом знании и ин-

формации о языковых средствах его экспликации через речь, как тут же снимается вопрос о каких-либо других, более мелких единицах, изоморфных слову. В терминологии Пражской школы для этого используется термин “наименование” (В.Матезиус, В.Скаличка).

Парадигматическая система всех моделей образования словоформ может быть определена как морфологическая система языка. Наличие парадигмы моделей формообразования конечно же предполагает существование модели выбора нужной словоизменительной модели (или ее варианта). Организация системы моделей словоформ находится в прямой корреляции с информационной базой языка, в частности, с морфологическими значениями языковых знаков. Поэтому мы предполагаем, что модели образования словоформ соответствующей группе моделей ВФЯ организованы в зависимости от частеречного признака, т.е. модели словоизменения глагола образуют свою подгруппу моделей, а модели именных словоформ - свою. Отсюда, естественно, напрашивается вывод, что иерархия моделей словоформ должна коррелировать с иерархией морфологического значения в языковом знаке, относящемся к той или иной части речи. Иерархическое структурирование грамматических (или лексических) значений языковых знаков или морфологических моделей в славянских языках является предметом совсем иной работы. Задача этой части нашей работы - лишь определить методологические принципы функционального исследования славянской морфологии, каковыми являются:

1) признание морфологической системы реальной функциональной подсистемой внутренней формы языка, охватывающей все функционально релевантные для данного языка модели образования словоформ;

2) признание структурной согласованности такой системы моделей с иерархией морфологической семантики языковых знаков;

3) признание модели словоформы функциональным алгоритмическим предписанием по образованию словоформы;

4) признание формообразующей морфемы одновременно элементом такой модели и элементом формы языкового знака, представляющим собой в смысловом плане обобщение всех функционально идентичных морфов, а в структурно-функциональном отношении - отношение некоторого морфологического семантического комплекса и некоторой фонематической информации;

5) признание словоформы мельчайшим речевым знаком, репрезентирующим в речевом потоке языковой знак и вербализующим некоторое актуальное понятие;

6) признание морфа мельчайшим структурно-функциональным элементом словоформы, репрезентирующим в речевом потоке соответствующую морфему.

2.3. Фонация и графическое оформление речи и их отображение во внутренней форме языка

Образованием словоформы завершается процесс речевого синтаксирования, т.е. речепроизводство в строгом смысле слова. как процесс образования семантически и семиотически самостоятельных речевых единиц. Однако, завершение процесса синтаксирования во все не означает завершение речевой деятельности. Модели речепроизводства (и модели их выбора) не исчерпывают собой не только всей системы внутренней формы языка, но и системы моделей, прямо относящихся к процессу речевой коммуникации. Специфика функционального понимания речи состоит в том, что речь (как семантический поток фактуальной вербализованной информации) не идентична ни внешней физической сигнализации (как потоку физических звуков), ни даже фонации (как психофизиологическому потоку звуковых представлений). Напомним, что функциональная методология предполагает рассматривать даже фонетические (и фонематические) элементы только как информационные (т.е. смысловые) единицы, обладающие функциональным значением (См. Mathesius, 1982:33). Следовательно, мы предлагаем отличать речевой континуум от звукового потока, а в речевом континууме различать собственно семантическую сторону речи от ее фонетической стороны. Данная пара терминов не совсем удачно избрана, поскольку семантическое речестроение принципиально неотделимо от фонетических функций. Под семантической стороной речи мы понимаем линейную структуру речевых единиц, реализующих ту содержательную информацию, которую субъект речи конструирует на основе языковой знаковой информации и информации, содержащейся в моделях речепроизводства. А для этого субъект должен:

а) оценить ситуацию общения и определиться с моделью собственного речевого поведения;

б) избрать режим речевой деятельности и определиться с аспектуальной областью информационной базы языка;

в) избрать модель построения текста и соответственных текстовых блоков (СФЕ) и определиться с тематической (фреймовой) областью информационной базы языка;

г) избрать необходимые модели построения высказываний, синтаксического развертывания и образования словоформ, актуализировать необходимые знаки информационной базы языка и осуществить синтаксирование.

Следовательно, в ходе синтаксирования ему так или иначе придется актуализировать и фонематическую информацию, содержащуюся в языковом знаке (например, фонематическую информацию основы словоформы) и фонематическую информацию, содержащуюся в морфемах словоизменительной модели, по которым образуется та или иная словоформа. А это значит, что фонематическая информация проходит первую стадию актуализации (т.е. превращается в фонетическую) уже на этом, смысловом этапе речепроизводства. Это касается не только выбора необходимых моделей сегментной фонации (актуализации фонем), но и выбора моделей фонации словоформ (акцентуации, например), фонации словосочетаний и высказываний (интонационных моделей, например) и фонации текстов (например, архитектурных моделей), т.е. это касается и выбора моделей суперсегментной фонации. Сбои в фонационных процессах происходят гораздо чаще, чем сбои в собственно речепроизводстве. Они касаются и интонирования целых периодов или реплик в диалоге, и акцентуирования в речевых фразах, тактах (синтагмах) и фонетических словах, и сорасположения слогов в фонетических словах и фонов в слоге, и, наконец, произнесения самих фонов. Такие сбои наблюдаются практически постоянно (и не только в обыденной устной речи). Возможность различного произнесения одного и того же речевого произведения. Лингвисты, настроенные позитивистски или рационалистски могут возразить, что не может быть одного и того же речево-

го произведения, поскольку дважды произнесенная словоформа или фраза - это две словоформы или две фразы. Но так может быть только в том случае, если они произнесены различными субъектами (тогда они отличны онтически) или произносящий их индивид вкладывает в них различное функциональное содержание (тогда они отличны гносеологически). Если же индивид повторяет одну и ту же речевую единицу именно как одну и ту же, т.е. идентифицируя ситуации их произнесения (это может происходить в тех случаях, если первая фонеция данного речевого знака по какой-либо причине была признана субъектом речи неудовлетворительной и повторные фонации преследуют единственную цель - повторить попытку фонации знака). В этом случае речевой знак, как репрезентант языкового знака и экспликатор определенного актуального смысла, образованный по определенной модели речепроизводства, оказывается именно одним и тем же речевым знаком, состоящим из тех же составных. Одинаковы даже фонетические единицы, входящие в план выражения его морфов. Различен только способ их фонации.

Речь как совокупность информационных единиц не может быть прямо эксплицирована, но она может быть переведена в плоскость звуковых (графических или кинестетических) сигналов. Для этого должен быть осуществлен акт фонации, под которым мы понимаем перевод речевого информационного потока в поток психофизиологических представлений - в фонетическую речь и только после этого становится возможным акт физико-физиологической сигнализации. А значит, необходим и промежуточный психофизиологический этап между речевым семантическим потоком и потоком сигналов, каковым и является фонационно-графический поток. У Роберты Клацки читаем: "Информация, хранящаяся в кратковременной памяти, возможно, закодирована в слуховой форме, а информация, хранящаяся в долговременной памяти - в "смысловой", семантической форме" (Клацки, 1978:31). Разделение единого по своей сущности речевого процесса на уровни не является чисто конструктивным аналитическим

процессом, необходимым для лучшего его описания, но подсказывается множеством речевых данных. в первую очередь, многочисленными примерами речевых сбоев и функциональных нарушений, указывающих на раздельность синтактико-речевого и фонетического оформления речи. Не исключено, что именно такое расслоение речепроизводства, связанное, прежде всего, с невозможностью прямой физической экспликации речевого информационного потока, было принято многими исследователями за различие между внутренней и внешней речью и позволило им говорить о глубинных и поверхностных структурах (в генеративистике) или о семантическом и грамматическом синтаксировании (в психолингвистике). Мы считаем, что указанные процессы в равной степени относятся к поверхностному уровню речепроизводства, так как обнаруживают себя в виде речевых знаков.

Процессы фонации и графического оформления (или кинестетического означивания) следует принципиально отличать от собственно речепроизводного синтаксирования. А значит, и в речи как в результативном вербальном образовании следует выделять два уровня - информационно-содержательный (смысловой) и фонетический, единицы которых также различны. Единицами первого являются собственно речевые знаки - тексты, текстовые блоки, высказывания (предложения), словосочетания и словоформы, структурными составными которых являются морфы, что, в свою очередь, предполагает наличие ряда фонетических единиц в качестве единиц плана выражения указанных знаков. Таковыми могут быть фоны, слоги, фонетические слова, синтагмы, фразы и другие суперсегментные фонетические элементы. На уровне фонации эти единицы становятся основными и единственными речевыми единицами. Одним из наиболее ярких доказательств раздельного оформления синтаксического (семантического) и фонетического уровней речи является наличие в некоторых славянских языках чисто фонетических правил организации синтаксических макроединиц, в частности, правил т.н. порядка слов (на-

пример правила употребления чешских энклитиков, требующие фонетического отрыва возвратных частиц от форм глагола и помещения их в качестве энклитика в первое фонетическое слово высказывания, содержащее самостоятельный речевой знак). Последнее обстоятельство (то, что чешское se должно следовать не просто за первой речевой единицей высказывания, а именно за первым речевым знаком) несомненно свидетельствует в пользу нашего предположения, что речевое синтаксирование (или определение стратегии синтаксирования) предшествует актам фонации. Ведь только после того, как избраны языковые знаки и образованы на их основе соответствующие словоформы, а также после того, как осуществлен выбор модели высказывания, можно определиться с порядком слов и правильно осуществить фонетические требования языковой системы относительно использования энклитиков или проклитиков.

Фонетическое членение речи может соответствовать ее синтактико-семантическому членению, особенно на макроуровне. Так, высказывания (предложения) и текстовые блоки очень четко оформляются просодическими средствами. Фонетическое вычленение текстовых блоков в тексте и высказываний в текстовом блоке практически всегда совпадает с их смысловым вычленением. Нарушения (рассогласование) пропорции между фонетическим и смысловым членением речи начинается на уровне ниже высказывания, т.е. границы словосочетания могут совпадать с границами синтагмы, но могут и не совпадать (хотя такие случаи встречаются и нечасто), границы же фонетического слова очень часто не совпадают с границами словоформы: в одних случаях они шире границ словоформы (когда включают в себя план выражения более одной словоформы), либо уже этих границ (когда элементы аналитической словоформы разнесены по разным фонетическим словам). Точно так же несинхронизированы между собой слоги (как структурные компоненты фонетического слова) и морфы (как структурные компоненты словоформ), поскольку в славянских языках план выражения морфа может состоять как из од-

ного, двух, трех и более слогов (корневые морфы), но может и входить в состав одного слога вместе с другими морфами (например, морфы, план выражения которых включает только неслогообразующие согласные). В этом смысле фоны (звуки речи) представляют собой уникальные речевые единицы, поскольку, в отличие от всех остальных (суперсегментных фонетических единиц), они, с одной стороны, никаким образом не коррелируют со смысловыми единицами (знаками) речи, поэтому являются производимыми по моделям реализации фонем, а с другой, как сегментные единицы, - обладают определенной степенью воспроизводимости, в силу стабильности набора инвариантных (фонематических) признаков, которыми обладает соответствующий языковой знак на уровне своего фонематического значения. Именно поэтому наряду с фонетическими моделями - моделями фонации речепроизводства (как единицами ВФЯ) следует выделять фонетические единицы (как речевые продукты) и фонематические единицы (как информационные элементы языковых знаков).

В этом плане крайне важным нам представляется четкое определение методологических основ функционального понимания всех трех типов единиц.

Особого рассмотрения и пристального внимания требуют к себе модели фонации. Традиционно считается, что фонетический или фонематический уровень языка является самым "низшим" в уровневой иерархии. Однако такой взгляд весьма примитивен. Ведь в системе моделей фонации наличествуют не только модели артикуляции и акустической идентификации звуков, но и многочисленные модели, связанные с самыми высокими уровнями речепроизводства - моделями текстов, моделями высказываний, моделями словосочетаний и моделями словоформ. Это, в первую очередь, модели фонетического оформления текста и текстового блока. Ведь разные типы текстов имеют свои правила фонации. Одни эти правила у модели диалога, другие - у модели письма, третьи - у модели стихотворения. Модели такого типа содержат информацию относительно возможной фонети-

ческой архитектоники текста или текстового блока: информацию о ритмическом рисунке текста (текстового блока), о его звуковой спецификации (например, модель рифмы того или иного типа поэтического текста). О необходимости более широкого взгляда на фонематику, в частности, в области просодии Н.Арутюнова писала еще в 1968 году: “Ведь даже сами фонологические признаки достаточно явно распределены по уровням. Так, ударение не служит различению морфем, а интонация не выражает оппозиций ни между морфемами, ни между словами. Суперсегментные явления (мы называем эти явления супрасегментными в отличие от суперсегментных единиц - О.Л.) в принципе обслуживают значения синтаксические, а инвентарь фонем связан скорее с понятием единиц” (Арутюнова, 1968:112)

Следующий уровень - модели фонации высказывания, модели фонации словосочетания и модели фонации словоформы. При этом, по отношению к словоформе как речевому репрезентанту языкового знака процесс фонации представляет собой считывание и спецификацию информации о фонематических потенциях знака (о фонематическом значении знака). При этом для реализации фонематики слова оказывается явно недостаточным наличие одной лишь модели фонации словоформы как целостного номинативного речевого знака. Поэтому мы считаем возможным выделять в системе фонационных моделей еще одну группу моделей, а именно, собственно моделей звукопроизводства (модели реализации фонематических единиц), к которым, как правило, и сводятся традиционные фонетические теории.

При всей развитости фонетики и фонологии (в сравнении с другими разделами языкознания) на сегодняшний день остается еще много пробелов в знаниях о механизмах фонации речевых единиц. Несомненным для нас остается только то, что фонемы, так же, как и морфемы, не являются знаковыми единицами. Это элементы моделей ВФЯ: моделей сегментной фонации, а также части знаковой информации. Хотя фонемы обычно и не относят к знаковым единицам, тем не менее, их рассматривают как структурные единицы, состав-

ные знака (слова) или морфемы. Мы не относим морфему к разряду знаков, а планом выражения языкового знака считаем весь комплекс внутриформенного значения, а не только его фонемный состав, поэтому для нас не столь релевантны споры вокруг этой проблемы. Можно отметить здесь позицию Н.Арутюновой, которая полагает, что морфема не состоит из фонем, потому что "морфема, как единица двусторонняя, не может члениться на элементы лишенные знаковой функции..." (Арутюнова, 1968:87). Наши резоны несколько отличны. Фонема не является напрямую составной единицей морфемы не потому, что морфема двусторонняя, а фонема - нет, а потому, что она в принципе не является собственно единицей, имеющей прямое отношение к знаку. Слово не состоит ни из морфем, ни из фонем. Из фонем состоит план выражения словоформы как речевого продукта. В языковом знаке содержится лишь информация о том, по каким моделям данный знак включается в речь, в том числе, по каким фонетическим моделям. Поэтому мы склонны видеть в фонеме некоторую собирательную информацию предписательного (алгоритмического) характера о всех возможных случаях произнесения некоторых элементов плана выражения словоформы, которые можно идентифицировать в рамках той же морфемы.

Таким образом, и фонема, и морфема оказываются составными моделей внутренней формы языка, синхронизированными между собой, а также составными формы языкового знака, связывающими знак с той или иной моделью ВФЯ. Такой подход исключает феноменологическое понимание фонемы как некоторого объективного явления и переводит это понятие в онтологическую плоскость функциональной информации. У Н.Жинкина это называется "сигнальным значением слова" (См.Жинкин, 1958:21).

Одним из наиболее серьезных и нерешенных до сих пор в лингвистике вопросов является вопрос онтического статуса как основных фонематических единиц языка (фонем), так и основных фонетических единиц речи - звуков речи (фонов). Решение этого вопроса, как и

всех остальных вопросов языкознания, возможно только на основе какой-то определенной методологии, поскольку, с нашей точки зрения, которую мы именуем функциональной, ни фонемы (что признано уже практически всеми фонетистами и фонологами), ни даже фоны (что может вызвать резкие возражения) не даны нам в непосредственном чувственном восприятии. Чувственно воспринимаем мы в актах говорения или слушания лишь звуковые физические сигналы, лингвистическими фактами не являющиеся.

Сомнения вызывает такое постулируемое И.Зимней свойство говорения как разновидности внешнеречевого продуцирования, как его выраженность (См.Зимняя,1991:77). Учитывая, что говорению противопоставляется слушание, следует полагать, что речь идет о физической выраженности. Несостоятельность такого утверждения доказывается уже тем, что, говоря о звуках речи и рассматривая их как внешнефизические феномены, все лингвисты (за исключением разве что позитивистски ориентированных фонетистов) почти ничего не говорят об их собственно физических свойствах: высоте, частоте, тембре и темпе произнесения, громкости и под. В то же время, речь идет о месте и способе образования, глухости или звонкости, твердости или мягкости, вокализме или консонантизме, ударности или безударности, т.е. о психофизиологических и лингвистических характеристиках. Определение звуков "собственными" именами [а], [о], [v] или [р], уже свидетельствует о субъективно-психологических и семантических характеристиках феномена, именуемого "звуком". Вывод напрашивается сам собой: говоря о "звуках", лингвисты имеют в виду психофизиологические функции, а не реальные физические явления. Речь идет о фонах - образуемых по моделям ВФЯ звуках человеческой речи - а не о физических звуках как таковых. В отличие от фонов как психофизиологических единиц, акустических образов, представлений о звуке фонемы (звуки языка) являются нейropsychологическими функциями, т.е. составными моделями фонации внутренней формы языка и составными знаковой фонематической информации.

То же касается и букв или любых других графем. Сами по себе, в отвлечении от пишущей или читающей личности, они ничего из себя не представляют. Их сущность в их функции информатора о зрительно-материальном заместителе звука, морфемы или слова. Аналогично фонеме и фону можно было бы выделять графемы (как модели графического оформления во внутренней форме языка и элементы графемной информации в знаке) и графы (как представления о начертаниях, зрительные образы начертаний, представители графем в реальном психофизиологическом акте, сопровождающем физическое написание или прочтение). Если бы под графемой понимался материальный (физический) сигнал, лингвистическое исследование графем сводилось бы к изучению шрифтов или почерков (об этом же см. Saloni, 1996).

Об этом же, но применительно к звукам художественной речи, говорил Л.Выготский в "Психологии искусства", когда писал о трактовке звукового плана стихотворения русскими формалистами. Феноменологически приписывая звукам самостоятельную значимость чувственно-эмоционального характера, формалисты пытались представить поэтические произведения как самоценные в своем плане выражения. Л.Выготский, опираясь на структурно-функциональную методологию, приходит к совершенно верному выводу, что "звуки становятся выразительными, если этому способствует смысл слова. Звуки могут сделаться выразительными, если этому содействует стих ... ценность звуков в стихе оказывается вовсе не самоцелью воспринимающего процесса, ... а есть сложный психологический эффект художественного построения" (Выготский, 1986:88-89) [выделение наше - О.Л.]. Следовательно, говоря о звуках языка или речи, мы должны иметь в виду не собственно сенсорное или эмотивно-сенсорное чувствование, но семиотически и вербально обработанное чувствование, т.е. некоторую модель семиозиса.

В принципе, проблема статуса фонемы и "звуковой стороны слова" является методологической и зависит от подхода и системы тео-

ретики-методологических посылок того или иного направления лингвистики. Как известно, Я.Бодуэн де Куртенэ и Ф. де Соссюр независимо друг от друга практически одинаково определили собственно языковой звук как психофизиологическое явление или отношение (функцию), "акустический образ", "представление о звучании". Мы уже отмечали, что, стоя у истоков функциональной методологии, де Соссюр и Бодуэн де Куртенэ все же еще не различали понятий слова и словоформы как языкового и речевого знаков и, соответственно, не анализировали проблем "звука" языка и "звука" речи, понимаемой не как физический поток звуковой волны, но как психофизиологическое проговаривание цепочки акустических образов (практически об этом же писал и В.Матезиус в статье "Задачи сравнительной фонологии": Пражский кружок, 1967:70-71). Прогрессивное для конца XIX века и периода засилья младограмматического позитивизма разведение звуков физических и звуков вербальных, сейчас уже не может удовлетворить. В то время и Бодуэн де Куртенэ, и де Соссюр считали, что им удалось развести именно звуки речи и звуки языка. Под первыми они имели в виду физические звуковые сигналы, а во вторую категорию смешивали и собственно языковые фонемные функции, и чисто речевые фактуальные акустические образы. В этом смысле, заявленная де Соссюром структура знака частично соответствует в нашем понимании структурно-функциональной методологии лингвистики структуре словоформы, поскольку именно словоформа, а не собственно слово в качестве плана выражения обладает реальной цепочкой представлений о звучании (фонов) - акустическим образом.

Для слова же такой план выражения принципиально существовать не может. Это невозможно из-за множественности речевых замещений языкового знака в силу морфологических причин (обилие флексий, грамматических форм), что делает акустические образы словоформ несводимыми к единому фонематическому знаменателю. Так, например, очень трудно себе представить акустический образ глагола, учитывая многообразие его словоформ: инфинитив, формы

лиц, чисел и родов в трех временах (да еще с учетом наличия разновидностей прошедших времен в сербо-хорватском и болгарском), причастия во всех своих разновидностях и формах склонения, деепричастия в разновидностях. Если сузить понятие акустического образа слова до так называемой основы слова, что делает вопрос единства знака несколько проблематичным, то это могло бы дать какие-то надежды на дефиницию фонематического ряда как плана выражения языкового знака. Однако и здесь появляются препятствия. Во-первых, они связаны с проблемой анализизма некоторых словоформ, во-вторых, - с проблемой супплетивизма. Мы уже рассматривали эти случаи выше. Все это делает с позиций структурно-функциональной методологии абсурдной саму идею некоторой фонематической формы языкового знака. Планом выражения (эксплицирующим) знака языка является не цепочка звуков (физических), и не цепочка их психофизиологических отражений (фонов), и тем более не цепочка нейропсихических обобщений этих последних (цепочка фонем), а, собственно, информация о фонетических речепроизводных потенциях данного знака. Следовательно, частью такой информации и является информация о возможных акустико-артикуляционных проявлениях данного слова в ходе построения словоформы. Эта фонематическая информация - не что иное как функция, отношение знака к некоторой (или некоторым) модели фонации, обслуживающей модели построения словоформ на основе данного знака.

Одним из наиболее сложных и противоречивых вопросов фонологии является вопрос об онтическом статусе фонемы. Вместе с тем, это методологически ключевой вопрос фонологии, поскольку однозначный ответ на него четко демонстрирует методологическую позицию ученого. Фонология как нельзя лучше подтверждает наше предположение о тетрихотомии лингвистической методологии, поскольку здесь обнаруживаются именно четыре принципиально отличные методологические позиции относительно понимания сущности фонемы.

Наиболее старой и традиционной точкой зрения является позитивистская (психофизиологическая) точка зрения, согласно которой фонема является не более, чем акустическим образом реально произносимого или слышимого звука. Такое понимание фонемы можно с онтологической стороны охарактеризовать как феноменалистское (поскольку фонема признается реальным биологическим феноменом) и детерминированное (поскольку ее существование поставлено в прямую зависимость от физиологических и физических условий актов говорения и слушания). При такой трактовке определение фонемы целиком зависит от акустико-артикуляционных особенностей ее реализации в речи, т.е. от фонов. Поэтому фонема зависит от позиции в фонетическом слове или слоге. Отсюда идея дополнительной и контрастной дистрибуции фонем. Отсюда и идея наличия сильных и слабых фонем. Фонема не может отрешиться от акустико-артикуляционных характеристик, характерных для данного позиционного типа фонемы. Единственные акустико-артикуляционные отклонения, которые допускаются при такой трактовке, это отклонения комбинаторного (смежностного плана) Инвариантность фонемы в позитивистской фонологии трактуется либо как психологическое внутреннее в противовес физическому внешнему (Р.Якобсон и М.Халле называли такой подход менталистским, хотя мы и не разделяем этого терминологического определения; См. Jakobson, Halle, 1971:23) или как сумма сходных звуков в противовес частности отдельного звука (генетический подход - по Якобсону-Халле). Яркими представителями этого направления являются дескриптивная школа фонологии и ленинградская фонологическая школа, опирающиеся на некоторые аспекты ранних фонологических взглядов Соссюра и Бодуэна де Куртене. Однако, у них обоих уже были заложены основы категоризационного понимания фонемы. Эта сторона их фонологических взглядов получила развитие в ряде школ, определяемых нами как феноменологическая фонология.

Яркими отличительными чертами феноменологической методологии в фонологии являются социологизм и свобода инварианта. Одной из наиболее представительных школ, разрабатывающих феноменологию фонемы является московская фонологическая школа, рассматривающая фонему как инвариантный языковой феномен, социальный код, служащий для дифференциации морфем. Феноменологический характер понимания фонемы в московской школе подчеркивается ее философской трактовкой как “сущности” определяющей “явления” отдельных звуков (См.ЛЭС,1990:553). Фонема в трактовке московской школы (равно как и в глоссематике Л.Ельмслева или в поздней структуралистской трактовке Р.Якобсона) свободна от акустико-артикуляционных частных особенностей реального опыта произношения. Поэтому не фонема зависит от позиции в речевом фонетическом отрезке, а данное звуковое явление некоторой фонемы в некоторой позиции (перцептивно или сигнификативно слабой) может радикально отличаться от другого явления той же фонемы в другой позиции (перцептивно или сигнификативно сильной). Таким образом, центральное противоречие между позитивистской и феноменологической позицией - это признание феноменологами первичности сущностных свойств фонемы относительно ее реализации в различных позициях, а отсюда - признание возможности невыполнения фонемой своей основной (с точки зрения позитивистов) функции - сигнификативной (в сигнификативно слабых позициях). Феноменологическая точка не может обойти стороной тот факт, что в ряде случаев нет никакой возможности проверить сущностные характеристики данной фонемы, если некоторая морфема не предоставляет возможности обнаружения наличествующей в ней фонемы в перцептивно сильной позиции. Однако феноменология требует нахождения такой инвариантной единицы. Выход из такого положения можно найти только в том случае, если подобный инвариант может быть совершенно сущностно абстрагирован от свойств своих реализаций. Именно так и трактуется

фонема в феноменологии. Поэтому в феноменологической теории фонологии и появляется понятие “гиперфонемы”.

Радикально решают вопрос о фонеме в рационалистских теориях, где реальность фонемы как инварианта принципиально фальсифицируется. Такова, например, позиция Уильяма Тводелла, названная в работе Якобсона-Халле фикционалистской позицией (См. Jakobson, Halle, 1971:24-25). Инвариант звуковой единицы (как это и принято относительно всякого инварианта в рационализме и логическом позитивизме, в частности) объявляется чисто логическим конструктом, продуктом познавательной деятельности лингвиста. Принципиально идентична в методологическом плане и позиция Морриса Халле, изложенная им в указанной выше работе. Генеративистская трактовка фонологии сводится к отрицанию феномена фонемы и выведению оппозитивных фонематических отношений, изначально применявшихся Р.Якобсоном в отношении фонемы, на уровень отдельных дистинктивных, конфигуративных и дополнительных фонологических признаков, трактуемых в чисто логическом или алгебраическом плане.

Четвертой методологической позицией является функциональная позиция, так же как и предыдущие уходящая истоками к работам Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Нам кажется, что эта позиция, как никакая другая, наиболее последовательно и адекватно развила идеи этих ученых. Такой вывод нам позволяет сделать то, что в этой фонологической теории совмещены обе центральные позиции как фонологии Соссюра, так и фонологии Бодуэна де Куртенэ, а именно - идея о детерминированности фонемы речью и идея о системной инвариантности и принципиальной онтической самостоятельности фонемы как совокупности отличительных коррелятивных и дизъюнктивных признаков, релевантных для фонематической системы данного языка. Именно так понимали фонему основатель фонологии Н.Трубецкой и глава Пражской школы В.Матезиус. Детерминизм функциональной позиции заключается в том, что фонема не может

быть признана совершенно абстрагированной от фонов единиц. Она является функцией обобщения наиболее устойчивых и релевантных (в перцептивном или сигнификативном отношении) признаков, свойственных фонам, как элементам плана выражения конкретного морфа. Инвариантность фонемы вторична по отношению к вариативности фонов, а не наоборот (как в феноменологии). Кроме всего прочего, в функционализме нет никакой потребности искать какую-то иную форму реальности фонемы, кроме ее естественной формы - нейропсихофизиологической (одно из самых распространенных предубеждений в лингвистике, наверное, это унаследованная от структурализма боязнь признать язык психической, точнее социально-психической функцией коммуникативной деятельности конкретного индивида). Поэтому вполне естественно, что именно функциональная фонология может позволить себе не держаться за заранее предустановленные логические схемы и не подгонять под них фонетические единицы речи или фонематические единицы языка, а выделять те единицы, которые подсказывает конкретная речевая деятельность. Поэтому здесь нет специальной необходимости “плодить” огромное количество сильных и слабых фонем, всякий раз делая поправку на пестроту конкретного речевого фонетического многообразия (как это происходит в позитивизме), а равно нет необходимости вводить в теорию искусственные конструкты (как в рационализме) или искать какие-то абстрактные сущности, вроде гиперфонем. Избежать всего этого можно путем дифференциации фонематических единиц разной степени функциональной сложности (функциональной нагруженности). Так, совокупность фонологически релевантных признаков, извлекаемых из функционирования одного и того же (позиционно идентичного) элемента плана выражения морфов одной и той же морфемы, может трактоваться как фонема. В случае позиционной утраты релевантности того или иного фонологического признака в речи может использоваться фон, в равной степени могущий быть отнесенным к одной из двух оппозитивно соотнесенных фонем, хотя по

акустико-артикуляционным свойствам он и сигнализирует о фонеме, у которой данный фонологический признак отсутствует. Такой процесс получил в функциональной фонологии название “нейтрализации фонологического признака”. Нейтрализация как системное явление свидетельствует в пользу того, что данный признак был у данного языкового фонематического элемента ранее (и вследствие определенных системных причин был им утрачен), или же то, что он может фиксироваться у этого же языкового элемента при его реализации в других речевых позициях. А значит, нельзя данное речевое образование отнести на счет немаркированного элемента оппозитивной пары. С другой стороны, акустико-артикуляционные свойства данного фона не позволяют его однозначно отнести и на счет маркированного элемента оппозиции. Если некоторое слово может системно варьировать элементами плана выражения морфов в ходе образования словоформ (например, может происходить оглушение звонких в позиции перед глухими или редукция гласного в безударной позиции), это может свидетельствовать только об одном - нейтрализуемый фонологический признак не является релевантным для данной фонемы. Исходя из определения фонемы как совокупности релевантных фонологических признаков, следует признать, что в таком случае мы имеем дело ни с одним из членов оппозитивной фонологической пары, а с совершенно иным типом фонемной информации - с архифонемой. Понятие архифонемы (введенное Н.Трубецким) вполне логично выводится из функциональной методологии фонологии. В онтологическом отношении архифонему можно определить, как нейропсихологическое обобщение информации, заложенной в оппозитивной фонологической паре, т.е. как инвариант фонологической оппозиции. Однако это не последняя единица фонематического плана в языковой системе. В процессе исторического развития многие морфы претерпели фонетические изменения и их современная идентификация в качестве морфов одной и той же морфемы должна преодолеть акустико-артикуляционный контраст, который в современной фонемати-

ческой системе данного языка не может быть подведен ни под один тип фонологической оппозиции. Эти случаи относят на счет исторических чередований (при этом не всегда речь идет о чередовании фонем, иногда чередование представляет из себя т.н. “беглость”). Практически никто (даже феноменологи) не решается определить чередующиеся в морфах одной и той же морфемы [k:[č]:[c’]; [s]:[s’]:[š]; [a]:[o]:[e], а также [o] или [e] и их отсутствие при “беглости” одной и той же фонемой. Тем не менее их функциональная (в первую очередь, сигнификативная) идентичность в процессе словоупотребления или словообразования не вызывает сомнений. Функциональная фонология трактует такого рода фонемные образования как одну морфону. Триада языковых фонемных единиц: фонема - архифонема - морфонема вполне объясняет процесс сегментной фонации словоформы, если только члены этой триады не толковать как реальные самостоятельные феномены, объективно существующие в каком-то “социальном” языке или как реальные физические феномены, но понимать функционально, как языковую функциональную информацию о плане выражения морфемы и связях данной морфемы с функционально идентичными морфемами в системе языка (причем, как в системе внутрiformенных значений языковых знаков, так и в системе моделей образования словоформ или моделей словопроизводства ВФЯ).

Мельчайшей суперсегментной единицей фонетической речи является слог. В лингвистике существует несколько теорий слога. С точки зрения методологии следует противопоставить позитивистски ориентированные физиологические теории слога (как экспираторного акта) и структурные, разделяемые феноменологией и функционализмом (как языковой модели комбинирования фонов). Однако функциональная теория исходит не только из имманентных свойств фонем, суммируя которые можно образовывать слоги, но и из общих закономерностей слогообразования, заложенных в моделях слогообразования внутренней формы языка. Сами по себе характеристики звучно-

сти фонем не являются основанием для организации слога. Эти характеристики могут варьировать в зависимости от комбинаторных отношений. Гораздо более важной для слогообразования оказывается та функциональная ценность, которую приписывает данному фону модель слогообразования. Именно правила слогообразования детерминируют выбор тех или иных моделей сегментной фонации. Причем это касается как синхронных процессов, так и диахронной динамики. Достаточно вспомнить, какие последствия для славянских фонетических систем имели изменения в системе слогообразования, известные под названиями “закон восходящей звучности” и “закон сингармонизма”. Интересным фонетическим явлением, свойственным из всех славянских языков только украинскому и сербскому, является сохранение звонкости ряда согласных фонов в позиции перед глухими. Как нам кажется, немаловажную роль в этом играют именно модели слогообразования. Так, при произнесении украинских префиксальных форм “розплести”, “безсовісний”, “відправити”, “підтерти” конечные согласные префикса не нейтрализуются по звонкости/глухости именно за счет отнесения префиксального морфа в отдельный слог. Однако в формах, где подобное разведение невозможно, вроде “сходити” (но “зійшов”), “спитати” (но поэт. “іспитати”), “стикатись” (но “зіткнутись”), нейтрализация не только происходит в процессе фонации, но и проникает на уровень графического оформления. Примеры в скобках доказывают морфемно-словопроизводственную идентичность префикса с- и префикса з- (зі-, із-) и чисто коррелятивные отношения между соответствующими фонемами [z]:[s]. Следовательно, неоглушение звонких на морфемном шве в украинском языке не является чисто фонематическим свойством самих фонем, но во многом задается правилами слогообразования и образования фонетического слова.

Следует отметить, что в различных режимах речевой деятельности могут использоваться различные фонационные модели или их варианты. Варианты фонации, например, могут сильно варьировать-

ся в социальном языке, но это редко встречается в индивидуальной языковой системе. Так, индивидуум чаще всего избирает и использует какой-то один из территориальных или социальных вариантов сегментной фонации (это касается ударения при возможности варьирования, произнесения отдельных звуков - оканье или аканье, варьирование велярного [g] или ларигнального [h], што/что, степень редуцирования безударных, произнесение смычных [t] и [d] как аффрикат - в русском языке; произнесение твердого или мягкого [č], твердого, мягкого или среднеевропейского [l], мягкого [š'] на месте [s'] и [ž'] на месте [z'] - в украинском; сокращение долгих гласных, дифтонгизация долгого [i:] в [ej], произнесение долгого [i:] на месте долгого [e:], произнесение сочетания тѣ с призвук [n'] или йотированно - в чешском языке; непроизношение носовых, произнесение твердого [l] как бокового латерального или как билабиального щелевого [w] - в польском). Тем не менее, практически все носители языка обладают в пассиве моделями фонации и иного типа, чем тот, который используется активно. Так, любой русский, использующий формы аканья, может образовывать и окающее звучание, любой украинец, произносящий звук [s'], может нарочито подчеркивать его диалектную шепелявость, любой поляк, произносящий литературные полумягкие шипящие может подражать жителю Восточной Польши, произнося мягкие свистящие в этих же словоформах. Существуют и межстилевые (в зависимости от типа речевой деятельности) варианты моделей фонации. В обыденной речи используются обычно специфические фонационные модели, характеризующиеся редукцией фонетической информации. Так, произнося обычно [gr'u], [ček], любой русский диглоссант (носитель разных вариантов национального языка) в литературном произнесении скажет [gʲvʌg'u], [čɣʌv'ek]. Все сказанное вполне можно отнести и к другим фонационным моделям.

Сегментная фонация хотя и является базовым моментом фонационных процессов, тем не менее, не исчерпывает всего многообразия актов перевода речи в звуковой код. Уже сам акт выбора необхо-

димой фонемы из морфонемы или архифонемы, а также необходимого варианта самой фонемы учитывает не только их субститутивные характеристики (коррелятивные и дизъюнктивные), но и их предикативные свойства, т.е. условия позиционного и комбинаторного вхождения той или иной фонемы, того или иного ее варианта в суперсегментные фонетические единицы - слог или фонетическое слово. Поэтому мы полагаем, что выбор модели сегментной фонации происходит в значительной степени под влиянием моделей суперсегментной фонации, в первую очередь, моделей слоогообразования и моделей образования фонетического слова. Но не меньшее значение для процесса выбора моделей сегментной фонации имеют и модели супрасегментного оформления суперсегментных единиц. Речь идет о моделях просодии, неизменно сопутствующих моделям образования суперсегментных единиц. Мало образовать фонетическое слово, необходимо еще его оформить надлежащим образом, а именно - рематически выделить один из слогов словесным ударением. Правильней было бы, наверное, определить модели супрасегментного оформления не как модели вторичной обработки, но как модели параллельной обработки суперсегментных единиц, поскольку уже само образование фонетического слова происходит в прямой зависимости от ударности некоторого слога той или иной словоформы, к плану выражения которой затем прикрепляются энклитики и проклитики. Раздельность функционирования моделей сегментной и суперсегментной фонации и моделей их супрасегментного оформления доказывается возможностью эмфатического выделения отдельных фонов (по моделям эмфатического выделения), произвольного ударения любого из слогов фонетического слова (по моделям ударения), любых изменений в тактовом и фразовом ударении (по моделям тактового и фразового интонирования), варьирования архитектурных свойств сверхфразового единства (по моделям ритмизации и интонирования СФЕ) и т.д. Доказывают это и нейропсихологические исследования Е.Винарской, Н.Лепской, В.Кожевникова, Л.Чистович и др. (См. Аху-

тина, 1989:115-118). Вместе с тем, приведенные в качестве доказательства приемы являются произвольным вмешательством в нормальный ход фонации. Можно найти и “естественные” доводы в пользу автономности функционирования моделей супraseгментного оформления. Таковыми являются закономерности ударения, заложенные в моделях ударения, которые вынуждают носителя языка подчас отбрасывать информацию об ударности того или иного слога в той или иной словоформе, заложенную во внутриформенном значении языкового знака. Так, в чешском языке, как известно, ударение фиксировано на первом слоге словоформы, но в фонетическом слове с проклитиком ударение смещается на проклитический слог. Следовательно, нужно различать информацию об ударности в языковом знаке (как элемент фонематического значения языкового знака) и информацию об ударении в фонетическом слове (как элемент модели ударения - одной из моделей супraseгментного оформления).

В языках с т.н. “свободным” ударением также могут не совпадать информация об ударении в слове и модельная информация о тенденциях ударения в данном языке. В таких случаях встречаются акцентные варианты, один из которых реализует устоявшуюся и зафиксированную знаком информацию об ударении в этом слове, а другой реализует тенденцию к установлению ударения, например, на среднем слоге в многосложных словах, на первом или на последнем - в двусложных. Нельзя исключать и функциональную связь моделей фонации, в т.ч. и моделей супraseгментного оформления с моделями речепроизводства и моделями знакообразования. Поэтому иногда специфика ударности тех или иных словоформ может зависеть как от словообразовательных характеристик того или иного знака, так и от его морфологических свойств (например, значения рода или числа).

Модель образования фонетического слова может быть определена, как модель слогоделения или как модель комбинирования слогов. Подобное комбинирование предполагает наличие:

а) информации о слоговом составе и ударении данной словоформы, заключенной во внутрiformенном значении языкового знака (в морфемной структуре языкового знака);

б) информации о словоформе данного знака и грамматических средствах ее вхождения в синтагму, заключенной в модели образования словоформы и в модели образования словосочетания, по которым была образована данная словоформа и введена в семантический речевой континуум;

в) информации о месте данного фонетического слова в синтагме или фразе, заключенной в моделях образования синтагмы или фразы и

г) информации об ударении в фонетическом слове, заключенной в модели словесного ударения.

Вследствие обобщения этой информации вырабатывается слоговой ритмический рисунок фонетического слова. То, что подобный алгоритм произнесения некоторой словоформы (или алгоритм произнесения некоторого слога) действительно имеет место в качестве информации, обособленной от информации о порядке сорасположения слогов в словоформе и фонов в слоге, доказывают многочисленные примеры слоговых и межслоговых метатез, встречающиеся при быстром и неконтролируемом произнесении фонетического слова, особенно в детской речи, напр., русс. “талерка” (вм. “тарелка”), пикиток (вм. “кипяток”), чепараха (вм. “черепаха”), “пасаги” (вм. “сапоги”); укр. “винидимка” (вм. “невидимка”), “баралина” (вм. “балерина”), “хлібобулочні вибори” (вм. “вироби”). Иногда такое метатезирование закрепляется в социальной норме (как правило, диалектной): укр. “колопеньки” (лит. “конопельки”), ганавиці (вм. “ногавиці”), чепериця (лит. “печериця”), “вогорити” (вм. “говорити”). Показательно, что при подобных метатезах сохраняется порядок ударного слога, а метатезе подвергаются чаще всего только согласные соседних слогов с сингармоничными гласными. Если же гласные не сингармоничны, то безударный гласный метатезируемого слога подвергается сингармони-

зации либо с гласным второго метатезируемого слога, либо с гласным соседнего слога. Факты метатезы доказывают совершенную автономность фонетической структуры словоформы (в составе фонетического слова) от ее морфной структуры, поскольку процессы перестановки фонов в слоге или слогов в фонетическом слове совершенно игнорируют морфную структуру словоформы. А раз так, то это еще одно доказательство двухфазового характера речепроизводства, при котором процессы семантического речепроизводства (синтаксирования) и процессы фонации осуществляются раздельно. Нечто подобное наблюдаем при слогообразовании в фонетических словах с проклитиками или на основе префиксированных словоформ в чешском языке. Иногда при построении фонетического слова проклитический член может чисто фонетически включаться в процесс слогообразования. В таких случаях морфная структура проклитического члена игнорируется и слоговоеделение осуществляется по моделям слогообразования без учета морфологической информации: “po-dok-nem”, “be-zu-těš-ný”. Если же учитывается грамматический или словообразовательный момент семантики и морф или проклитический член выделяется фонетически в отдельный слог, может появиться специфическое придыхание, которое некоторые богемисты даже склонны определять в качестве глухого фона. В этом случае слоговоеделение фонетического слова прямо влияет на сегментную фонацию (в частности, на процессы нейтрализации фонологического признака): “poť-’ok-nem”, “be-’u-těš-ný” и под. Кстати, это может иметь место и в пределах одного слога, если в него входят фоны различных морфем: “za-me-ri-ky” (при игнорировании внутриформенной информации словоформы “z Ameriky”) и “s’a-me-ri-ky” (при учете этой информации). Аналогично: “vok-ně” // “f’ok-ně” (“v okně”). То же наблюдается и при фонации словосочетания. При игнорировании морфологической информации словосочетание (или приравненный к нему элемент синтаксического развертывания, например ряд однородных членов предложения) может быть фонетически оформлено как одно фонетическое слово со

всеми вытекающими отсюда силлабическими последствиями: чеш. "sou-duz-nal" или русс. "са-ды-дом". Но при учете подобной информации этот же речевой знак может быть фонетически оформлен как синтагма. При этом вполне возможны и изменения на уровне сегментной фонации: чеш. [sout 'uznal] или русс. [сат идом] ("сад и дом").

И все же, в основном фонация словосочетания осуществляется по моделям образования синтагмы с учетом данных о словосочетании, о языковых знаках, актуализированных в данном словосочетании, о логическом синтагматическом (тактовом) ударении, а также об интонационном оформлении (паузации, тонировании и под.). Так же образуются и фонетические суперсегментные макроединицы - фраза, период и фонетический текст. В дополнение к уже называвшимся моделям суперсегментной фонации (моделям образования фразы, периода, фонетического текста) в их образовании принимает участие также ряд моделей супрасегментного оформления. Прежде всего это модели интонирования (модели интонационных контуров, модели паузации, модели фразового ударения, модели ритмизации, модели рифмовки стихотворного текста, модели эвфонии и др.).

Последнее, что необходимо рассмотреть в системе моделей внешнеречевого сигнального оформления, обслуживающих речепроизводство, - это модели графического оформления речи. Как и модели фонации, модели графического оформления представляют из себя разветвленную уровневую систему, восходящую от моделей написания отдельного графического знака до моделей графического оформления словоформ, словосочетаний, высказываний, СФЕ (текстовых блоков) и текстов. Проблема языковых механизмов графического оформления речи остается одной из наименее изученных в лингвистике, поскольку письмо до сих пор воспринимают как нечто второстепенное, чисто утилитарное, не имеющее прямого отношения к сложной проблематике лингвистической методологии. Тем не менее, исследования в области психолингвистики, да и чисто лингвистические исследования синтаксиса устной и письменной речи дока-

зывают, что письмо - это не просто механическая фиксация поверхностных речевых конструкций в виде зрительно осязаемых физических сигналов, но сложный нейропсихофизиологический процесс, функционально связанный со всеми подсистемами языка и оказывающий на них активное влияние. Появление возможности письменной фиксации речевых произведений было величайшим переворотом не только в плане переустройства всей языковой деятельности человека, но и преобразило саму мыслительно-семиотическую его деятельность, перестроило его мышление. Кроме всего прочего, письменный текст имеет огромное психологическое воздействие на людей, особенно на моногlossантов и представителей традиционной формы культуры. Этот эффект известен под названием “магии печатного (писаного) слова”. Прав Гадамер, когда замечает: “... простой факт письменной фиксации заключает в себе исключительно сильный момент авторитета. Не так-то просто допустить, что написанное неверно. В написанном есть наглядная осязательность; оно кажется самодоказательным. Требуется особое критическое усилие, чтобы освободиться от предрассудка, говорящего в пользу написанного, и научиться различать здесь между мнением и истиной...” (Гадамер, 1988:324).

Первым и, наверное, самым большим достоянием пишущего человека явилась монологическая форма речи, недоступная фонации непосредственно (генетически). Ввиду небольших возможностей оперативной и кратковременной памяти, а также ввиду онтической неидентичности инвариантного и фактуального смысла, с одной стороны, и языковых и речевых единиц, с другой, устная речь (фонетическая речь) распадается почти моментально. Очень немногие люди могут повторно абсолютно идентично воспроизвести свое же высказывание (не утратив при этом ни семантики, ни фонетики), тем более, если это было совершенно спонтанное (ранее не заготовленное, не замысленное) высказывание и обладало достаточной степенью сложности и большим объемом. Естественно, что в таких условиях не

может быть и речи ни о какой развитой системе достаточно крупных фонетических или собственно речевых единиц (периодов, фонетических текстов, текстовых блоков или текстов), которая могла бы филогенетически или онтогенетически развиваться на основе одной лишь способности к фонации. Те синтаксические макроединицы, которые возникали, относились исключительно к сфере культовых ритуалов или к сфере эстетического сознания (тексты песен, сказок, легенды). В их структуре очень много воспроизводимых единиц (фразеологизмов, клише, пословиц, поговорок, клишированных текстовых блоков), помогающих запомнить данные тексты. Кроме того, огромную роль в их образовании играл и фонационный фактор функциональной спецификации, т.е. дополнительные средства связности текста на основе фонетического сходства: ритм, рифма, эвфония, гомеоптотоны, этимологические фигуры. Устная форма налагала и ограничения, связанные со смысловой нагруженностью таких макроединиц. С точки зрения смысла и содержания тексты такого рода не отличались большим разнообразием, что позволяет исследователям находить в них т.н. “бродячие” фабулы и типичные сюжеты, типажи персонажей и довольно жесткие условия их введения в текст - постоянная атрибутика, внешность, обороты речи, черты характера, тип отношений с другими героями, тип поведения и набор совершаемых поступков. неширокий выбор временных, пространственных, каузальных и прочих обстоятельств происходящих событий. Все было подчинено необходимости запомнить речевое произведение, обладающее исключительно устной формой сигнальной реализации.

Только с появлением письменности появилась возможность последовательно развивать свои высказывания, мысленно (и визуально) возвращаясь к прежде высказанному, тщательно корректировать свои высказывания как по линии смысла. так и по линии речевого содержания без необходимости держать весь предыдущий текст в памяти. Мы предполагаем, что появление письменности стало существенным фактором развития абстрактного мышления (в частности, по-

полнения информационной базы языка абстрактной лексикой, а внутренней формы - сложными синтаксическими моделями). Письменная форма речевой сигнализации выдвинула требование “договаривать” фразы и “выговаривать” слова, которые в устном непосредственном контакте могли оставаться неэксплицированными, так как это компенсировалось паралингвистическими средствами коммуникации. Не исключено, что значительное количество понятий до появления письменности вообще не было вербализовано. В этом не было никакой необходимости, поскольку о них можно было сообщить взглядом, жестом или как-либо еще. Нам кажется, что именно письмо как искусственная форма экспликации речи стало основой полноценного развития искусственных форм речемыслительной деятельности - научно-теоретической (в т.ч. деловой) и художественно-эстетической (в т.ч. политико-публицистической). Говоря о письме как основе развития этих режимов речевой деятельности, мы, конечно же, понимаем, что генезис этих форм начался еще в сфере устной коммуникации. Но та форма, в которой мы сегодня наблюдаем эти типы речемыслительной деятельности, могла сформироваться только на основе письменной коммуникации. Более того, современные устные тексты или текстовые блоки, особенно созданные в режиме одного из искусственных типов речевой деятельности, в значительной степени “письменные” по своему синтаксическому (и даже фонетическому) оформлению.

Именно поэтому, при изучении моделей графического оформления речи следует учитывать режим речевой деятельности. Именно письменная форма сигнализации в комплексе с процессами оценки речевой ситуации выбора режима речемыслительной деятельности вынуждает говорящего или пишущего избрать ту или иную стратегию речевого синтаксирования, а следовательно, косвенно оказывает воздействие не только на модели речепроизводства или знакообразования (например при аббревиации или усечении), но и на модели речевой деятельности (модели выбора моделей).

Открытым остается вопрос о функциональной зависимости или автономности моделей графического оформления от процесса и моделей фонации. Роберта Л. Клацки в книге "Память человека. Структуры и процессы" пишет: "Часто отмечают еще одну особенность кратковременной памяти - то, что образы слов удерживаются здесь в слуховой форме, а не в зрительной. Так бывает даже в том случае, если данное слово было введено в систему через зрительный образ" (Клацки, 1978:27). И то, что речь идет о кратковременной памяти нас несколько не смущает, поскольку, если уже на самом первом этапе восприятия буквенные графемы перекодируются в звуки, это свидетельствует в пользу привязанности моделей графического оформления в славянских и ряде других языков с буквенным письмом к моделям озвучивания в долговременной памяти (во внутренней форме языка). Э.Сепир считал, что "письменные формы суть вторичные символы произносимых; они - символы символов, но вместе с тем их соотносимость с произносимыми символами так велика, что они могут не только теоретически, но и в реальной практике чтения и, возможно, при определенных типах мышления полностью замещать произносимые. И все же слухо-моторные ассоциации, вероятно, всегда наличествуют хотя бы в скрытой форме, - иначе говоря, играют роль подсознательную. Даже те, кто читает и думает безо всякого использования звуковых образов, в конечном счете находятся от них в зависимости" (Сепир, 1993:40).

Однако уже одно то, что в других письменных системах возможно и независимое функционирование моделей фонации и моделей графического оформления (например, в языках с иероглифическим типом письма), должно нас насторожить, чтобы не принимать поспешных решений. Прежде всего следует задаться вопросом: с какого рода графическими знаками мы встречаемся в системах письма славянских языков. Все славянские языки пользуются буквенными знаками, основное предназначение которых - зрительно сигнализировать о фонетических речевых единицах. В одних случаях они сигнализируют о фонах: русс. "знал", "стол"; бел. "хадзіў", "ціха"; укр. "книга",

”дубок”; чеш. “odejdu”, “nesl”; поль. “potem”, “obecný”; болг. “съм”, “България”; серб. “мајка”, “српски”. В других - о фонемах или о прежнем, этимологическом фонемном составе некоторой морфемы: русс. “человек”, “считающего”, “сердце”; укр. “село”, “взяв”, “контрастный”; чеш. “chodily”, “odchod”, “lecko”; поль. “pułkownik”, “współprace”, “się”; болг. “това”, “град”. Как известно, графемы далеко не всегда однозначно прямо коррелируют с фонетическими единицами речи (фонами) или языка (фонемами). Ряд графем всегда или в определенных позициях обозначают несколько фонов или фонем: щ, я, ю, е (в русском и белорусском), ё, є, ї, ѐ, ц, или не обозначать вне сочетания с другими графемами никакой сегментной единицы фонации: ь, ъ. Во многих случаях в славянских системах письма для обозначения одного фона или одной фонемы используется или комбинация графем, которые в отдельности обозначают совсем иные фонетические единицы: rz, sz, cz, ch, dz, dź или специфическая дистантная модификация некоторой графемы (контактные модификации в расчет не берутся, так как очень многие графемы в плане генезиса представляют собой производные друг от друга, вроде сербских и хорватских Ђ, љ, њ, ћ, ђ или польских ę, ą, ł): ŷ, ǰ, Ǳ, й, š, ś, ź, ż, ȝ, č, ć, á, ä, é, í, ó, ů, ú, ý, ř, ě, ě, đ, ǵ, Ƕ. Сюда же следует отнести и случаи специфической аналитической передачи определенных фонов и фонем на письме через комбинирование графемами: сочетание графем, обозначающих согласные, с графемами, обозначающие гласные переднего ряда в русском и белорусском, с і, є - в украинском, с і - в польском, графем d, t, n с і - в чешском, а также и с е - в словацком, с я и ю - в восточнославянских и болгарском и т.п. Все это говорит в пользу того, что графические системы славянских языков так или иначе (в большей или меньшей степени) ориентированы не столько на речевые единицы как таковые, сколько на их фонацию. Более того, об этом же свидетельствуют и вспомогательные графические средства, главное предназначение которых - отражать те или иные нюансы произношения: это и апостроф, и т.н. знаки препинания (хотя они могут корре-

лизовать как с моделями фонации, так и с моделями речепроизводства: с моделями образования высказывания и с моделями фразообразования - точка, восклицательный или вопросительный знак, многоточие, тире; с моделями синтаксического развертывания и моделями образования синтагмы - запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, кавычки, скобки; с моделью образования словоформы и моделью образования фонетического слова и с моделью слогообразования - запятая, дефис, кавычки, скобки). Такая двойственная функциональная позиция моделей графического оформления позволяет сделать единственно приемлемый вывод: модели графического оформления представляют собой сравнительно автономную подгруппу в рамках единой группы моделей фонации и графического оформления. Это объясняет, с одной стороны, преимущественно фонетический (или фонематический) характер славянских систем письма, а с другой, - те многочисленные отклонения от фонетико-фонематических значений, которые наблюдаются в процессе графического оформления речи на славянских языках. В частности, показательна сигнификативная функция некоторых графем (графов) при абсолютной омоформии и омофонии. Например, в чешской системе письма графемы y и i, а также ý и í используются для графического оформления одной и той же фонемы и того же фона - соответственно, [i] и [i:]. При этом они часто используются для графического различения словоформ (корневых или формообразующих морфов): “chodili” (м.р. одушевл.) // “chodily” (ж.р. и м.р. неодушевл.), “byt” (“квартира”) // “bit” (“битый”), být (быть) // bít (бить). То же наблюдается в использовании польской пары графем rz и ź, оформляющих фонему (и фон) [ž]: “morze” (море) // “może” (“может”), “wierz” (“верь”) // “wieź” (“башен”). Можно вспомнить и сигнификативную роль графем в случаях с архифонемами, особенно, если в языке не сохранился ее маркированный вариант (в терминах московской школы - в случаях с гиперфонемами). Так, в сознании даже акающих грамотных русских психологически поддерживается в первом слоге формы “собака”

гласная /o/, хотя все лингвисты единогласно исключают /o/ из этой позиции.

Данные афазий подтверждают определенную автономность моделей фонации (артикулирования и акустической идентификации) от остальных моделей речепроизводства, в том числе и от моделей графического оформления речи. Так, многие больные сохраняли способность понимать письменный текст (т.е. идентифицировать смысловую структуру речи) после длительного и многократного прочтения, но не могли идентифицировать звуки устной речи и с трудом сами сообщали устную информацию. У нас, правда, есть сомнения относительно чистоты подобных экспериментов, так как совершенно непонятно, как мог афатик идентифицировать буквосочетания и пунктуационно оформленные их сочетания с речевыми единицами (особенно знаковыми) и далее - выйти на языковые знаки и невербальный смысл текста, минуя фонетическую информацию. Скорее всего у него были повреждены не все фонетические механизмы речи как таковые, а только модели выбора фонационных моделей. Следовательно модели графического оформления могут, в какой-то степени, восполнять подобное нарушение, что подтверждает их относительную автономность от моделей фонации. Связь графических моделей с моделями речепроизводства (даже минуя фонационные модели) обеспечивается фоно-графической информацией в речевом знаке. О том, что фонационная информация присутствует в семантической речи еще до осуществления фонации, мы писали выше.

В любом случае модели письма не образуют особой подсистемы моделей во внутренней форме языков славянского типа. Они, будучи отдельными от фонетических моделей, тем не менее, неразрывно связаны с ними в одну подсистему моделей внутренней формы.

Так же, как и в моделях фонации, в моделях графического оформления следует выделять модели сегментного графического оформления (модели написания графов - речевых репрезентантов графемы) и модели суперсегментного графического оформления

(модели написания графической цепочки, включающей правила слитного или дефисного написания и правила ее послогового переноса, модели написания фразы, включающие правила ее пунктуационной разбивки, модели написания абзаца, включающие правила “красной строки” и, наконец, модели графического оформления текстов, включающие правила графического оформления диалога, стихотворной строфы, прозаического текста и под.). Следует отметить, что наибольшей вариативностью как межличностной (онтологической), так и внутрисистемной (гносеологической) обладают модели сегментного графического оформления. Каждый носитель языка обладает моделями вариативного написания графем - печатного (разных типов), рукописного - беглого и аккуратного, сокращенного. У арабов, например, существует четыре различных ипостаси каждой графемы - отдельное, начальное, срединное и конечное написание. В славянских языках хотя и нет такой выраженной и однозначной модельной вариативности, тем не менее также встречаются в рукописном варианте графического оформления начальные, срединные и конечные варианты написания графов. Не учитывая всего функционального (а не сигнально-физического) разнообразия презентации одной и той же графемы в виде различных графов, нельзя понять сущности онтологического различия между графемой как инвариантной языковой единицей, обобщенной информацией о графах, графом как речевой единицей, зрительным психическим образом начертания и, собственно, начертанием как зрительно осязаемым физическим сигналом. А без этого нельзя понять и лингвистической сущности самого процесса графического оформления речи.

Схематически соотношение между единицами языка, речи и внешними физическими сигналами отображено в табл. 7, а соотношение между этапами речепроизводства, моделями внутренней формы языка и единицами речи схематически изображено в табл. 8 Приложения 7.

2.4. Знакообразование и словопроизводственные модели внутренней формы языка

Выше мы рассмотрели процесс семантического и фонетико-графического речевого производства. В основе этой стороны речевой деятельности лежат акты предикации, сопровождаемые субститутивными процессами выбора необходимых языковых знаков и моделей ВФЯ. Но речевая деятельность не сводится только лишь к речепопроизводству. Для того, чтобы могло осуществляться предикативное (рема-тематическое) соположение речевых единиц, необходимо иметь в системе знаков (в ИБЯ) и в системе моделей (в ВФЯ) достаточное количество инвариантных единиц знакового и модельного характера. Таким образом, мы склонны видеть словопроизводство (или шире, знакообразование) в качестве второй стороны речевой деятельности, в основе которой лежат субститутивные нейropsychические процессы, сопровождаемые подготовительными предикативными актами.

Теория актуального членения, выдвинутая Вилемом Матезиусом (Mathesius, 1961), имеет непосредственное отношение не только к проблеме коммуникативной предикации высказываний, но и к проблеме соотношения субститутивных и предикативных познавательных актов. Согласно представлений Матезиуса каждое речевое произведение представляет собой пропозициональную функцию, разложимую на два компонента - тему (заданное, уровень исходного знания) и рему (новое, модальное воздействие на тему с интенциональной установкой на познание). Развивая эту идею, мы попытались распространить ее на все речемышлительные процессы или, вернее, на весь речемышлительный процесс, а не только на предикацию мысли высказыванием. Как мы уже отмечали выше, мы считаем, что любая гетерогенная (в той или иной степени) речевая единица есть не что иное как пропозициональная функция, разложимая на тему и рему. Попытки распространить идею о рема-тематических отношениях на

единицы иного уровня, чем высказывание уже не раз предпринимались различными исследователями. Это и работы по полупредикативным единицам (словосочетаниям) (Kuchař, 1963; Topolińska, 1983; Oravcová, 1980; Machač, 1967; естественно в первую очередь здесь необходимо назвать самого Матезиуса; Mathesius, 1966), и исследования внутренней валентности морфем в слове (гипосинтаксис Владимира Скалички; Skalička, 1970), и попытки применить теорию актуального членения к словообразованию (Marchand, 1972:30, 176-177, 183, 245).

Суть рема-тематических отношений в словосочетании состоит в том, что в ходе речемыслительного акта говорящий определяет предмет синтаксической номинации и полагает его в центр синтагмы, а затем эксплицирует характеризующим членом свою интенциональную модальность, отношение к предмету мысли. Некоторые исследователи основывают классификации частей речи именно на базе выполняемой роли в ходе подобного полупредикативного акта (Тополинська классифицирует имена прилагательные по их рематической функции по отношению к существительному в синтагме; Topolińska, 1983; то же делает Г.Марчанд; Marchand, 1972:349-351; Н.Штепан же предлагает расчленить все части речи на предикативные и непредикативные; Štěpán, 1986). Сходные отношения можно обнаружить и в пределах морфемной структуры слова (корень - тема, аффикс - рема) или в пределах его словообразовательного значения (типизирующее словообразовательное значение - тема, индивидуальное словообразовательное значение - рема).

Правда, далеко не все исследователи пытаются обнаружить глубинно-смысловой уровень рема-тематических отношений. Очень часто функции темы или ремы устанавливаются произвольно, а скорее не устанавливаются, а априорно приписываются тем или иным частям слова (его ономотологической или ономасиологической структуры; см. Horecký, 1983:50). За формантом, например, априорно закрепляется функция ремы по отношению к базе, как теме. Собственно на

таком понимании строится вся теория словообразовательных категорий Милоша Докулила (Dokulil, 1962; 1978).

Со структурно-функциональной точки зрения нужно говорить в таких случаях о рема-тематических (предикативных, полупредикативных и под.) отношениях прежде всего между определенными элементами смысла, семантическими блоками, комплексами, которые уже после эксплицируются на поверхностном уровне. Поэтому, в первую очередь, мы обнаруживаем словопроизводственные рема-тематические отношения в языковых знаках, не утративших свою внутреннюю форму (т.е. таких, у которых присутствует информация о мотиваторе - лексическое словообразовательное значение и информация о модели, по которой они были образованы - типизирующее словообразовательное значение).

Словопроизводственный процесс, как разновидность ономаσιологического номинативного процесса - знакообразования - начинается задолго до того, как возникнут словообразовательные элементы семантики слова. В основе его лежит волевая установка на номинативный акт, которую впредь будем называть мотивировкой словопроизводственного процесса (См. Лещак, 1990; 1991: 144-163). Мотивировка словопроизводственного процесса представляет собой комплекс причин и условий, детерминирующих и регламентирующих акт номинации. Она включает в себя две основные характеристики: а) коммуникативные условия номинации (ситуативные или личностные) и б) характер гносеологической потребности в номинации (первичная, вторичная и повторная номинации). Мотивировка оказывает непосредственное влияние на ход и характер всего ономаσιологического (номинативного) процесса в целом и на характер его отдельных этапов. В общем, под мотивировкой можно понимать обусловленный рядом факторов выбор стратегии номинации. Это первый этап номинативного процесса, задача которого - определить способ и характер знакообразования. Поскольку все возможные акты знакообразования вполне сводимы к ряду типов по мотивировочному характеру, мы по-

лагаем возможным выделить среди моделей знакообразования группу моделей мотивировки.

В процессе мотивировки понятие, требующее номинации, осмысливается в вербальном отношении в плане:

а) коммуникативной актуальности (для говорящего - личностная мотивировка или для его собеседника - ситуативная мотивировка) и

б) коммуникативной специфичности его вербальной реализации - впервые номинируется понятие (первичная номинация) или же оно пере- (повторная) или ино-номинируется (вторичная). В ходе мотивировки выкристаллизовывается сигнификативное ядро, которое должно лечь в основу номинативного значения (значения номината). Именно эта генетическая связь значения с понятием позволяет считать значение вариантом инвариантного понятия. Вместе с тем, такая трактовка значения позволяет унифицировать значения разных типов номинатов: первичных, вторичных и повторных. Все они пребывают в принципиально одинаковом отношении к соответствующему лексическому понятию, являясь его вариантами.

Одним из наиболее существенных компонентов мотивировки является оценка коммуникативных условий номинации, т.е. локализация возникшей интенции. Крайне важно, где, на каком уровне оборота информации (коммуникации) возникает потребность в номинации - на уровне речи или на уровне доречевой интенции. От этой характеристики, как правило, прямо зависит выбор способа знакообразования и типа словопроизводственной модели. Так, при собственно-речевой (ситуативной) мотивировке во всех славянских языках чаще всего избираются трансформативные (т.н. "семантический" способ), транспозиционные (т.н. "перевод из одной части речи в другую"), конъюнктивные (слияние, сращение или клиширование) модели, в определенных случаях - модели заимствования, вполне возможны конверсивные модели, модели усечения и словосложения, возможны аббревиационные модели. Префиксальные, суффиксальные, модели основосложения, слитно- и сложносуффиксальные модели, конфи-

сальные и контаминационные модели более свойственны личностной (доречевой) мотивировке (См.Лещак,Ткачев,1989).

В этом случае (при личностной мотивировке номинации) происходит обычный номинативный процесс (типовая мотивация, выбор мотиваторов, выбор способа материализации, материализация). При этом субъект номинации может избирать уже готовую модель, которая напрямую зависит от характера мотивировки, либо образовывать свою модель, модифицируя или комбинируя существующие. Номинация по модели протекает быстрее, чем окказиональная (если это не образование по аналогии к конкретному образцу). Ономаσιологический процесс представляет собой гетерогенное явление. Конечно, при образовании номината по модели не проводится такой анализ лексической системы, как при формировании модели. Этот процесс приобретает характер выбора и отсева. При первичном же (немодельном) номинативном процессе проводится поиск и обоснование отбора, которые, естественно, требуют дополнительных умственных усилий.

В случае ситуативной мотивировки номинативный процесс может несколько отличаться от обычного. Здесь следует особо выделить поверхностные номинации, протекающие целиком во внешнеречевых фонетических условиях. Подобный процесс очень условно можно считать номинацией. Скорее всего это обычное звукоассоциативное образование с последующим наполнением его содержанием. Появление такой формы знака (еще не наделенного содержанием) для данного субъекта может произойти как в процессе говорения (случайная артикуляционная сбивка, или случайная звуковая ассоциация), так и при восприятии (произвольное вычленение из речевого потока звуко-ряда, которому приписываются свойства номината: это и реальное, но незнакомое слово родного или неродного языка, и неверно вычлененный отрезок устной речи или произвольно скомпонованный звуко-ряд на основе неадекватного восприятия речевого потока, а также результаты всевозможных сбояв в графическом восприятии). Такую

единицу можно назвать ономасиологическим казусом. Это всевозможные случаи, вроде “поручика Кижэ” или встречавшихся в нашей школьной практике “монология осудикто” (монолог “А судьи кто?”) или “Горе о туман” (“Горе от ума”), “Ревета стогне, Дніпр - широкий” (“Реве та стогне Дніпр широкий”), “річка сполита” (“Річ Посполита”). После появления такого звукоряда начинается глубинное осмысление (на уровне внутренней речи и невербального мышления). Это значит, что, в отличие от обычного ономасиологического процесса, когда интенция в ходе поиска мотивов номинации воплощается в языковую форму, здесь имеет место поиск мотивов “оправдания” созданного (или вычлененного) звукоряда. При этом ономасиологический процесс приобретает обратный характер: сначала совершается осмысление материальной структуры по звуковому сходству с существующими в языке морфемами, затем осмысление внутренней формы и лексической словообразовательной мотивированности, затем поиск места данного значения в системе и поиск или (при отсутствии) формирование соответствующего понятия. Т.е. процесс в принципе сходен с процессом восприятия и усвоения новой единицы в семасиологическом плане. Ярким примером подобной вторичной семантизации могут быть случаи, когда дети семантизируют по своему непонятные им “слова” взрослых. Так, “мальчик с пальчик” превращается в “мальчика-спальчика” - потому что, по словам ребенка, “он спит”, а “пулемет” превращается в “палимет” из-за того, что из него “палят”. Характерно, что Ю.Лотман, говоря о вычленении критерия “музыкальности” бессмысленного текста, предостерегал от того, чтобы экспериментаторы не брали в качестве примера бессмысленного текста набор звуков человеческой речи, т.к. “мы неизбежно будем их наделять значениями. Нам надо знать, что воспринимаемый поток звуков не речь” (Лотман, 1994:132).

Если же звукоряд возникает как следствие номинации доречевой интенции даже во время внешней речи, то чаще всего можно говорить об образовании номинатов по аналогии к конкретным эталонам.

Образование по конкретному образцу (См. Михайлов, 1976) в определенной мере отличается от обычного. В первую очередь, автоматизируется этап типовой мотивации и выбора способа материализации (а следовательно, форманта). В данном случае процесс подготовки к номинации носит частично-поисковый характер. Подыскивается лишь лексический мотиватор. Этот процесс может еще более упрощаться, если мотиватор уже появлялся в коммуникативном отрезке, в котором происходит номинация.

Во всех остальных случаях (когда знак номината возникает не случайно и нет реального единичного эталона номинации) о ситуативной мотивировке следует говорить только как о такой детерминации знакообразования, при которой побуждением к акту номинации являются не столько экспрессивные, сколько коммуникативные побуждения. Собственно же номинативный процесс всегда внутреннеречевой по характеру (и при личностной, и при ситуативной мотивировке).

Чаще потребность в номинации возникает уже в процессе коммуникации. Хотя номинация может произойти и в подготовительный период глубинной предикации, когда субъект предчувствует близость коммуникативного акта, либо желает его. Это значит, что подготовительный этап словопроизводства можно весьма условно дифференцировать на ситуативную (речевую) и личностную (доречевую) мотивировки. Условно потому, что даже при речевом характере установки на номинацию подготовка к знакообразованию осуществляется на глубинном, внутреннеречевом уровне. Если номинативная интенция возникла у субъекта речи в силу его предикативной интенции, т.е. как логическое следствие его коммуникативного замысла, возникшего до начала коммуникации, то во внутренней речи всегда будет иметь место корректировка номинативного акта. Коммуникативная интенция и ее глубинная предикация, пусть даже в очень аккумулятивной форме, опережает внешнюю речь, если субъект речи не сталкивается с какими-либо коммуникативными помехами, как то: прерывание его речи реципиентом или

третьим лицом, получение дополнительной информации, которая в недообработанном виде включается в коммуникативный процесс, взволнованность или рассеянность говорящего и под. Во всех случаях, когда говорящий имеет возможность обдумать ход своей речи, начинает оформлять ответ до окончания речи партнером, - следует говорить о личностной мотивировке словопроизводства. В случае же вышеозначенных и подобных им коммуникативных сбоев можно говорить о ситуативной мотивировке. При ситуативной мотивировке номинативная интенция возникает, как правило, в момент передачи информации либо, что происходит чаще всего, передается субъекту номинации извне (от партнера по коммуникации или из третьего источника). Чаще всего ситуативно мотивированный процесс идет по пути повторной или вторичной номинации, когда уже есть наименование для данного понятия, но оно, либо ситуативно не устраивает субъекта, либо забыто в момент речи. Тогда, как показывают экспериментальные данные (См. Лещак,Ткачев,1989), субъект номинации образует трансформативную (чаще всего паронимическую в рамках данного языка, межъязыковую - при диглоссии или неполном билингвизме) замену уже существующему наименованию либо прибегает к усеченному или аббревиационному переоформлению старого наименования.

В отличие от И.Торопцева и его последователей, мы не задаемся целью анализировать все возможные случаи словопроизводства вплоть до окказиональных, хотя вполне отдаем себе отчет, что именно окказиональные образования максимально приближают исследователя к самому процессу словопроизводства. Об этом же пишет и И.Мельчук (См.Мельчук,1972). И.Торопцев убедительно доказал, что окказиональное словопроизводство никоим образом не выпадает из дефиниции словопроизводственного процесса. Мы подвергли анализу самые обычные, наиболее регулярные модели образования имен со значением действия, так как для данного исследования важен сам факт постепенного, поэтапного формирования значения слова (каж-

дого из его компонентов) и материального знака, репрезентирующего данное слово в речи.

Всякая номинация (вербализация всякого понятия) начинается в сфере фактуальных смыслов в ходе коммуникативного процесса (См.Торопцев,1980:85), причем вне зависимости от того, на уровне внешней или внутренней речи происходит этот процесс. Это принципиальная позиция функционального понимания знакообразования, поскольку включает в себе опытные (апостериорные) основания этого процесса.

Абсолютно справедливым следует признать разграничение И.Торопцевым коммуникативного и ономасиологического контекстов (наверное, следовало бы говорить не столько о "контекстах", сколько об "актах" или "моментах"). "С позиций ономасиологического направления мы утверждаем, что лексические единицы возникают не в обычном, коммуникативном контексте, а в особом, специальном ономасиологическом контексте, до коммуникативного контекста, для него. Если новое слово возникает, создается после того, как процесс речеобразования (коммуникативный контекст) уже начался (а это происходит всегда - О.Л.), то и в этом случае ономасиологический и коммуникативный контексты не объединяются, не образуют целого. Коммуникативный контекст прерывается и заканчивается только после завершения ономасиологического контекста... Результат последнего включается в прерванный коммуникативный контекст" (Торопцев,1980:29).

Первичная номинативная дискретизация - синтаксическая номинация - существенно отличается от лексической номинации. Разница состоит, конечно, не в количестве единиц номинирования. Лексические номинаты могут быть как гомогенными (слова), так и гетерогенными (фразеологизмы или клишированные словосочетания). Собственно синтаксическая номинация, как ее понимал И.Торопцев, в чистом виде номинацией не является, поскольку возникает она как составная предикации высказывания или СФЕ - полупредикация. Ре-

зультаты номинации синтаксической отличаются от гетерогенных лексических номинатов: а) широкой вариативностью компонентов (неимманентностью признаков, легших в основу номинации) и б) производимостью. В свою очередь лексические номинаты воспроизводимы и обладают очень низкой степенью вариативности компонентов (их нельзя заменять парадигматически близкими по значению). Так, клишированное словосочетание "Демократическая Россия" - гетерогенный лексический номинат, а словосочетание "представитель (член, депутат от) "Демократической России" - синтаксический. Ср.: болг.- "скъпоценни камъни" // "големи камъни", "Социалдемократическата партия" // "нова партия", "произведение на изкуството" // "купя си произведение на изкуството", "физическото упражнение" // "сложното физическо упражнение"; чеш. - "vnitřní trh" // "velký trh", "zvyšení výroby" // "začali zvyšování výroby", "vypočetní technika" // "prodávat vypočetní techniku"; польск. - "piłka ręczna" // "zgubił piłkę", "starsze pokolenie" // "szanować starsze pokolenie", "strajk okupacyjny" // "zaczął strajk okupacyjny"; бел.- "мапское узбярэжжа" // "паехаць на узбярэжжа", "поўночны ўсход" // "жыць на паўночным ўсходзе", "нацыянальная мова" // "развіццё нацыянальнай мовы".

Вне зависимости от того, существовало ли понятие изначально в виде синтаксического номината или клише, можно сказать с уверенностью, что подавляющее большинство понятий, номинированных гомогенным знаком (словом), прошло стадию именно таких номинатов.

Второй стороной мотивировочных процессов является определение характера потребности в номинате. Мотивировка предопределяет гносеологическую сущность номинативного процесса: будет ли называться объект впервые, будет ли он называться вновь, или же он будет называться несколько иначе. Таким образом можно выделить три типа ономаσιологической деятельности по мотивировочному признаку: первичную, повторную и вторичную номинацию.

Первичная лексическая номинация - это номинация лексическими средствами (словом, лексикализированным сочетанием) когнитивного понятия, которое еще не было номинированным. Первичная лексическая номинация всегда прямая, т.е. избранный признак (признаки) первичной номинации считается характеризующим, приписывается ли он объекту чисто трансцендентально или подтверждается созерцательно. Этот признак становится самым важным в наборе атрибутов данного объекта.

Повторная лексическая номинация - это переименование когнитивного понятия по тому же признаку, который лежал в основе первичной, в силу неприемлемости первичного номината в данном контексте или при данном типе коммуникации. Повторные номинаты являются взаимозаменяющими (иногда разнокатегориальными, иногда однокатегориальными) номинатами одного и того же понятия (симилярами). Но значения их не идентичны. Их значения могут являться стилистическими, синтаксическими или социолектными (территориально или социально диалектными) вариантами инвариантного понятия. Например: вести - ведение, хороший - хорошо, красивый - красота (русс.); симетричен - симетрично, подобрявам - подобряване (болг.); нечаканы - нечаканасць, паслабіць - паслабленне (бел.); ukazać się - ukazanie się, pięć - pięty (польск.); splniti - splnění, široký - široko (чешск.); zbližavati - zbližavanje, orati - oranje (хорв.). Часто повторная номинация является чисто речевым средством, обладающим исключительно коммуникативной функцией - функцией представления этого же понятия в ином коммуникативном аспекте, в отличие от первичной номинации, чья функция, прежде всего, экспрессивная - выразить понятие.

Вторичная лексическая номинация - это инонаименование когнитивного понятия уже бывшего лексически номинированным, на основе дополнительного признака в силу необходимости коннотативно развить первичную номинацию (прямая) или на основе другого признака с целью представить понятие в совершенно ином аспекте (кос-

венная). В отличие от повторных номинатов, вторичные соотносятся друг с другом как взаимодополняющие. Вторичные номинаты представляют собой всегда однокатегориальные семантические лексические варианты одного инвариантного понятия.

Характер номинации оказывает влияние на выбор словопроизводственной модели, отличающейся тем или иным способом материализации. Так, при повторной номинации чаще всего используются аббревиационные, усеченно-суффиксальные, конъюнктивные (неморфологические) модели. При вторичной же номинации чаще избираются конверсивные, суффиксальные, конъюнктивные (морфологические), транспозитивные, префиксальные, трансформативные, усеченные модели. Например: русс.- "маленький", "домище", "мостик", "вертеп" (в значении "притон"), "раздуть" (штаты); укр.- "хмаронька", "дзвіночок", "щебетати" (в значении "говорить"), "чарівна" (в значении "красивая"); бел.- "невялічка", "дзяўчынка", "тоўсценькі", "шапацела" (лісце); русин.- "кошулька", "писнючка", "шніг фурка"; болг.- "хубавелка", "голеничък"; чеш.- "lehoučký", "babizna", (cyklista) "vystřelil", "sluničko"; польск.- "pięknisia", "malutki", "glina" ("milicjant"), "mamusia"; хорв.- "konzerva" ("automobil"), "prozor" ("oko"), "slinavac" ("dječak"); слц.- "klobúček", "chvil'ka", "ľahúčko", "červiačik", "Oravienka"; мак. - "братче", "Стојанка".

Что до первичной номинации, то при ней используются все существующие в славянских языках типы моделей, за исключением конверсивных, конъюнктивных (неморфологических), усеченных и аббревиационных (См. Лещак, 1989).

Подавляющее большинство первичных номинатов проходит предварительную стадию речевой синтаксической номинации (См. Торопцев, 1969:212; Marchand, 1972:277-279), когда номинируемое понятие первоначально номинируется гетерогенным синтаксическим номинатом. По отношению к такому номинату В.Мурдаров употребляет термин "синапсий" (Мурдаров, 1983:48-72). Чтобы не смешивать впредь синтаксические (словосочетания) и лексические (клише) гете-

рогенные номинаты, мы будем называть речевые (синтаксические) номинаты полупредикатами, т.к. синтагма представляет собой не столько указание на точку в категориальной структуре мышления и далее в системе представлений о действительности (реальной или ирреальной), сколько подает ее (эту точку) в определенном аспекте: выделяет в ней отдельные стороны или признаки, приписывает ей какие-то, может быть даже несвойственные ей признаки и т.д. Например: чеш. - "nový dům" - полупредикат, т.к. не столько номинирует "dům" , сколько релятивно характеризует его; в то же время "evropský dům" - гетерогенный номинат, поскольку "evropský" не является переменной (оппозитивной) характеристикой "domu".

Первичный речевой номинат (полупредикат) уже обладает сигнификативной частью (переданной ему понятием), что позволяет выделять его в ряду других номинатов. Указание на сигнификат при этом содержится во всей синтагме, а не в какой-либо ее части. Так, "человек, ловящий рыбу" - это не просто "человек" и не просто "производящий какие-то действия с рыбой", и не просто "который ловит". Это "человек, который ловит рыбу". Естественно, эта синтагма не исчерпывает ни понятия целиком (его исчерпать на вербальном уровне практически невозможно), ни даже его сигнификата, поскольку "человек, ловящий рыбу" - это и "человек, у которого есть удочка" , и "человек, едущий на лодке с удочкой", и "человек, забрасывающий (выбирающий) сети" и т.п. Синтагма лишь указывает на денотат и отправляет реципиента к понятию. Естественно, речевые единицы, в отличие от единиц языковых, - не воспроизводимы, а производимы (См. Торопцев, 1985; Рубинштейн, 1957). Поэтому конкретная речевая ситуация допускает широкую вариативность речевых номинатов, как частичную "человек, ловящий рыбу" // "мужчина, ловящий рыбу" // "старик, ловящий рыбу" // "старик, ловящий окуней" и под., так и полную "человек, ловящий рыбу" // "старик, выбирающий сети". Вовсе необязательно, чтобы первичная полупредикация становилась исходной для первичной лексической номинации. Таким исходным

пунктом возникновения номинативной интенции может стать любой вариант полупредикации. В принципе, все варианты полупредикации равноправны между собой. Первичным один из этих вариантов может стать по отношению к остальным только в пределах текста. При первичной мотивировке категориальная часть целиком переносится из значения ядерной единицы полупредиката в новообразуемое значение. Референтивная валентностная часть складывается в ходе речевого функционирования синтагмы из внешней валентности. Эмпирическая семантика нового значения формируется на базе данных номинируемого понятия, а также на базе эмпирических элементов значения лексических единиц, входящих в номинируемый полупредикат. Так, при формировании значения номината, выражаемого первично вышеописанными синтагмами, его референтивно-эмпирическая часть складывается из референций слов "мужчина", "удочка", "старик", "река", "вода", "рыба", "окунь", "крючок", "ловить", "закидывать", "сети", "наживлять" и т.д. в зависимости от частоты функционирования в речи тех или иных вариантов синтагм, функционирования данного понятия в речи на уровне синтагмы и эмпирических знаний о денотате самого субъекта номинации.

Таким образом, на первом этапе первичного словопроизводственного процесса происходит формирование ядра значения будущего слова, которое принципиально не отличается от значения слова в целом. У него есть категориальная часть (ядерное слово синтагмы всегда указывает на категориальную принадлежность значения будущего слова), сигнификат (к моменту номинации субъект четко осознает что именно он будет номинировать) и референтивная часть (данные о внешней валентности синтагмы, часть эмпирической информации). Следует отметить, что при первичной номинации отсутствует ярко выраженная эмоциональность и экспрессивность в референтивной части значений номинатов. Отсутствует на этом этапе также генетическая референтивная и типовая словообразовательная

информация. Несколько иначе обстоит подготовка идеального содержания для повторного или вторичного номинирования.

Повторный номинат предназначен заменить собой уже существующий с определенной прагматической целью. Такими прагматическими установками могут быть:

- необходимость номинировать понятие короче с целью экономии языковых средств и для удобства употребления в речи (так возникают аббревиационные, суффиксально-компрессивные и др. номинаты), например: русс.- "зам", "завмаг", "помреж", "колхоз", "управделами", "АСУ", "вуз", "замминистра", "помкомвзвода", "МХАТ", "зарплата"; болг.- "САЩ", "Винпром", "СДУ", "Профиздат"; укр.- "політв'язень", "УРП", "госпрозрахунок"; чеш.- "ČSAV", "ROH", "VB", "SNP".

- необходимость номинировать понятие с учетом законов данной социолектной языковой подсистемы; в таких случаях возникают явно коннотированные номинаты. Что же касается подготовки содержания для повторной номинации, то на уровне мотивировки происходит автоматическое перенесение ядра значения из значения старого номината. Например: русс.- "читалка", "маг" ("магнитофон"), "училка", "шпора", "абитура", "столовка" ("столовая"), "псих", "препод", "телик", "велик"; болг.- "джипка", "паралелка", "старшия", "махла", "нощеска", "пелинаш"; чеш.- "kamoš", "narodák", "Václavák", "meziměsto", "fotka", "Vášek"; хорв.- "diskač" ("disko-klub"), "faks" ("fakultet"), "košuljijanovič".

При вторичной номинации формирование содержания несколько иное. Отличие состоит в том, что при вторичной номинации уже номинированного когнитивного понятия происходит функциональное или семантическое переосмысление понятия. Так, например, понятие о воре семантически переосмысляется в плане референтивной характеристики "количество сворованного/воруемого". Вор, своровавший (ворующий) мало ("воришка"), не перестает быть вором и, вместе с тем, не становится чем-то иным, "не-вором" или "разновидностью вора" (ср. первичные номинаты "карманник", "медвежатник", "взломщик", "грабитель" и под.). Например: русс.- "хитрюга", "дура-

чок", "котик", "тачка" ("автомобиль"), "хвост" ("задолженность"), "спатеньки"; болг.- "изчуквам" ("печеля"), "разтрупам" ("намеря", "открыя"); бел.- "пакаціў" ("паехаў"), "немчык"; хорв.- "nogač" ("bicikl"), "skvadra" ("društvo"), "flora" ("kosa").

Элементарное сравнение наиболее развитых языков показывает, что везде существуют отглагольные существительные со значением действия и отадективные существительные со значением свойства или качества. Есть они во всех славянских языках, см.: русс.- "свежесть", "хождение", "красота", "нытье"; бел.- "даследаванне", "утварэнне", "магчымасць", "важнасць"; болг.- "изпъване", "махане", "радушност", "кротост"; поль.- "przeciwstawienie", "rozwodnienie", "błękit", "chłód"; чеш.- "překrvení", "příjem", "rafinovanost", "vášnivost"; серб.- "припреманје", "капитулација", "препреденост", "нечасност".

Регулярность, с какой образуются имена действия на базе глаголов в славянских языках, а также их понятийная идентичность позволяют считать появление современных имен действия результатом повторной номинации понятия действия, которое первично уже номинировалось глаголом. Осознание действия как отвлеченного от времени, лица, наклонения, дало возможность использовать исконные имена-глаголы в несвойственной глаголу функции подлежащего или дополнения. В последующем регулярность использования несобственно глагольных функций привела к распаду глагольной парадигмы, из которой различными путями выделились имена действия (возможно в некоторых случаях через ступень признака по действию). Действие, воспринимаемое как наименование действия, онтологически не перестает быть действием.

Имена действия, ввиду вышесказанного, во всех славянских языках представляют собой своеобразные парадоксы. С одной стороны, они отражают достаточно высокий уровень абстрагизации (отвлечение действия от его основных референтивных параметров: времени, места, образа действия и представление его постоянной темой для предикативных актов требует от носителя языка развитого абстракт-

ного мышления), а с другой - структура их свидетельствует об очень глубокой архаичности. Причем это последнее отмечается не только в славянских языках, где имена действия восходят этимологически к фактитивным глаголам и кратким страдательным причастиям прошедшего времени, но и в германских языках, например, в немецком, где имена действия восходят к причастиям и претериту или инфинитиву (См. Степанова, 1953:96-104). То, что имена действия и глаголы означают одно и то же понятие, еще не свидетельствует об их соотнесенности, как форм одного слова.

Не следует упускать из вида того, что система языковых информативных единиц и система когнитивных единиц сознания не идентичны. Языковое значение - это прежде всего система (совокупность) функций единицы в коммуникативно-семиотическом процессе. Именно поэтому мы считаем разными словами:

а) слова, совпадающие в фонетико-фонематическом отношении, но принадлежащие к разным частям речи. Например, "блестящий на солнце предмет - блестящие знания", "он был одет в хаки - на нем была рубашка цвета хаки" (русс) ; "мина на машина - каменовъглена мина", "кръгла сума - сума народ" (болг.).

б) слова, совпадающие во внутриформенном отношении, обладающие различной типовой валентностью, а значит различающиеся в лексико-семантическом отношении. Например, "план перабудовы вёскі - прапаганда ідэй перабудовы" (бел.); "divadelní soubor - soubor poznatků", "pouhá voda - pouhá pravda" (чеш.) ; "głos brzmi - dawać głos", "płytką rzeka - płytką głową" (польск.).

в) слова, сходные или даже идентичные в лексико-семантическом отношении, но неидентичные в фонетико-фонематическом (а значит, и во внутриформенном) плане. Например, "схваиц - похопиц", "домочинство - газдовство", "крофна - бухта", "модры - белави" (русин.) ; "привиђенје - утвара", "алат - прибор", "посао - рад", "руководилац - шеф" (серб.) .

В некоторых работах по структурно-семантическому или формально-грамматическому словообразованию встречается противопоставление деривации (как "нормального" словообразования) семантическому (трансформации) и синтаксическому (транспозиции и конверсии) словообразованию (См. Пассек, 1957:144; Ярцева, 1952:194; Grzegorzczukowa, 1981:19,35; Никитевич, 1971:108; Szymański, 1968:72 и др.). Предложенная Торопцевым универсальная словопроизводственная модель покрывает все типы деривации, трансформации, транспозиции и других способов материализации, которые, как правило, не выделяют или выделяют редко и бессистемно (заимствование, контаминация, преобразование лексем и др.).

Механизм номинации и все последующие ономазиологические шаги задаются именно процессом мотивировки. Продемонстрируем это на примере повторной номинации процессуальных понятий. В ходе мотивировки когнитивных понятий типа "действие" и подготовки их к повторной номинации именами происходит:

а) заданное обстоятельствами коммуникативного акта смещение предикативного акцента с атрибутивных свойств этих понятий ("быть атрибутом субстанции") на собственно субъектные свойства понятия "действие", на его субстанциальные свойства и

б) одновременное ослабление категориальных связей данного понятия с другими сходными понятиями.

Этот процесс можно определить как существенное отвлечение от реального субъекта, объекта, места, времени и др. денотативных признаков реального действия как активного процессуального свойства предмета или явления. Налицо явное повышение уровня абстрагизации при сохранении денотата. Денотат "представление о действии" никаким образом не предвидит при этом большего охвата референтов или изменения границ обозначаемого пространства в системе представлений о мире. Аналогичные процессы имеют место при переосмыслении качеств в субстантивированные качества и количеств в субствнтивированные количества. Поэтому нельзя согласить-

ся с Р.Гжегорчиковой, которая, говоря об именах качества, отмечает сохранение у них "того же уровня конкретности качества" (Grzegorzczukowa, 1981:35). Таким образом, причиной возникновения имен действия является новое субстанциальное категориальное осмысление (рема) процессуального сигнификата (тема). Например, русс.- "полететь - полет", "прослушивать - прослушивание", "раскрыть - раскрытие"; бел.- "ужываць - ужыванне", "вызваліць - вызваленне"; чеш.- "retušovati - retušování", "saturovati - saturování", "šít - šití"; польск.- "kręcić - kręcenie", "pobierać - pobieranie", "myć - mycie"; хорв.- "zapisivati - zapisivanje", "razbijati - razbijanje".

Вследствие подобной абстрагизации принципиально новое когнитивное понятие не возникает. Новое осознание понятия "действие" не отрывается от старого. Оно просто призвано обслужить иной уровень мышления - научно-абстрактный. Изучение текстов, где функционируют имена действия, показало, что часто наряду с ними в этих же текстах используются глаголы со значением соответствующего действия. Но использование глаголов в этих текстах носит второстепенный характер и служит конкретизации, разъяснению имен действия, которые чаще всего выполняют терминологическую функцию.

Вторым этапом знакообразования является процесс выбора категориального и лексического мотива, руководствуясь которым, в дальнейшем будут избраны конкретные средства вербализации номинируемого понятия. Процесс этот вслед за И.Торопцевым мы называем мотивацией. Соответственно двум основным целям этого процесса - включить номинируемое понятие соответственно в систему связей с моделями внутренней формы языка и системой знаков информационной базы (для последующего включения номината в категориальную структуру ИБЯ и использования его в речепроизводстве) и со смежными в смысловом отношении единицами ИБЯ (для выбора корневой морфемы в качестве базового элемента внутриформенного значения, обеспечивающего образование системы словоформ данного языкового знака в речи) соответствует два этапа (или две состав-

ные) процесса мотивации: типовая (парадигматическая) и индивидуально-лексическая (синтагматическая) мотивация знакообразования

Милош Докулил выделил три основных типа номинации по характеру мотивационных отношений между сигнификатами номинируемого понятия и понятия, вербализованного мотивирующим номинатом (языковым или речевым): мутацию, модификацию и транспозицию (См. Dokulil, 1962). Суть этих процессов состоит в том, что, во-первых, устанавливается место номинируемого понятия в системе языковых знаков в качестве лексического значения, а во вторых, определяется его принципиальное отношение к знаку того понятия, через которое данное понятие вводится в процессы вербализации. Правда, у Докулила понятия мутации, модификации и транспозиции, по нашему мнению, не продуманы до конца, поскольку он говорит об отношении между значениями уже существующих номинатов, а не о процессе становления номината. Мы же рассматриваем их именно как процессуальный этап знакообразования, осуществляющийся по специфическим знакообразовательным моделям внутренней формы языка - моделям мотивации.

Мотивационные модели напрямую связаны с рассмотренными выше моделями мотивировки, поскольку при разных мотивировочных условиях номинации избираются иные мотивационные принципы знакообразования. Так, первичная и косвенная вторичная номинации обычно сопровождается мутационными мотивационными процессами, при которых основной сигнификативный признак мотивирующего понятия подвергает мутации сигнификат номинируемого понятия и включается в референтивную часть значения образуемого номината в качестве вспомогательного элемента. Так, сигнификативный признак слова "красный", будучи ядерным компонентом соответствующего понятия, в ходе мутационной мотивации преобразуется во вспомогательный референтивный признак в номинатах "краснуха", "красноперка" или "красный" ("коммунист, человек со взглядами левой политической ориентации"). Предикативное соположение, предшествовавшее словопроизводству в каждом из этих случаев представляет

из себя рема-тематическое соположение, при котором мотивирующий признак мутационно характеризует сигнификат номинируемого понятия: “краснуха” - “болезнь, при которой кожа покрывается красными пятнами”, “красноперка” - “рыба, плавники которой окрашены частично в красный цвет”, “красный” - “представитель левых политических сил, символом которых является красный цвет” Аналогичны отношения в следующих парах: русс.- “первый класс” - первоклассник, “дипломат” (человек) - “дипломат” (сумка); чеш.- “pachat” - “pachatel”, “kohoutek” (петушок) - “kohoutek” (кран); слц.- “roditi” - “rodisko”, “pan” - “panstvo”; бел.- “праўда” - “праўдзівы”, “нумар” (номер) - “нумар” (комната в гостинице); болг.- “градина” - “градинар”, “кълва” - “кълвач”; хорв.- “selo” - “seljak”, “proizvoditi” - “proizvodnja”; поль.- “łapówka” - “łapówkarz”, “sąd” - “sądowy”.

Типовая мотивация, при которой мотивирующий признак (сигнификат мотивирующего знака) в предикативном мотивационном соположении лишь несущественно видоизменяет исходное понятие, количественно (гиперонимически) сужая его в денотативном (онтическом) или коннотативном (гносеологическом) плане, называется модификационной. Соответственно, модификация может быть либо гиперонимической, либо маркирующей. При первой мотивационный признак классификационно сужает исходное понятие (так образуются глаголы, модифицирующие понятие некоторого действия в пространственном, интенсификационном, квантитативном и др. отношении, именные деминутивы, адъективные интенсификаты и под.): поль.- “biały” - “białawy”, “chodzić” - “przechodzić”; чеш.- “něst” - “odněst”, “stůl” - “stolek”; укр.- “їхати” - “виїхати”, “сірий” - “сіруватий” и под. При второй, основной акцент падает на экспрессивно-оценочную характеристику существующего понятия: русс.- “малый” - “малехонький”, “мама” - “мамочка”, “человек” - “человечишко” и под.

Третий тип мотивации - транспозиция - представляет из себя такой мотивационный процесс, при котором исходное понятие категориально переосмысливается, сигнификат же его остается неизмен-

ным: серб.- “лињати се” - “лињање”, “потврдан” - “потврдно”, “седам” - “седми”, “сличан” - “сличност”; бел.- “шчыры” - “шчырасць”, “безмоўмы” - “безмоўна”, “развіць” - “развіццё”; болг.- “двадесет” - “двадесети”, “дотеглив” - “дотегливост”, “надстроявам” - “надстрояване”, русин.- “активни” - “активносц”, “високи” - “високо”, “обезпечиц” - “обезпечене”, “преширйовац” - “преширйоване”.

Транспозиция может быть как прямой, так и обратной, когда уже категориально аспектуализированный сигнификат реаспектуализируется, т.е. образуется номинат, который обычно в системе данного языка вербализует данное понятие. Такого типа мотивационные процессы могут иметь место в тех случаях, когда исходный повторный номинат, мотивирующий данный знакообразовательный процесс, появляется в языке раньше, чем первичный номинат, который в категориальном отношении прямо номинирует некоторое понятие, например, имя действия - раньше глагола, имя качества - раньше прилагательного и под. Это становится возможным в случае иноязычного происхождения указанных повторных номинатов, т.е. при заимствовании. Примерами обратной транспозиции, названной И.Улухановым “непрямой” (Улуханов, 1979:105), могут служить: русс.- “атака” - “атаковать”, “дискриминация” - “дискриминировать”, “монтаж” - “монтировать”; бел.- “класіфікацыя” - “класіфікаваць”, “уніфікацыя” - “уніфікаваць”; болг.- “експорт” - “экспортирам”, “инструктаж” - “инструктирам”; серб.- “авиза” - “авизирати”, “дресура” - “дресирати”; поль.- “kontrowerzja” - “kontrowertować”, “balotaż” - “balotować”; чеш.- “rekvizice” - “rekvirovat”, “amnestie” - “amnestovat”.

Одной из слабых сторон классификации М.Докулила, которую мы здесь приняли за основу, является ее несколько формальный характер. В частности, Докулил приписывает функцию мутации, модификации и транспозиции не семантическим признакам в составе мотивационного рема-тематического соположения, а непосредственно формантам. По нашему же мнению, мотивационные отношения предшествуют и прямо детерминируют выбор базы и форманта словопроиз-

водственного процесса. Формант в ходе последнего этапа словопроизводства - материализации - может выполнять по отношению к базе как функцию ремы, так и функцию темы. Это зависит, прежде всего, от того, каков тип мотивации данного знакообразовательного процесса и каково соотношение между типовой и индивидуально-лексической мотивацией. А это последнее означает, что при одном типе мотивации мотивационный признак может вербализоваться базой номината (производящей основой), а при другом - формантом. Так, при мутации мотивационный признак всегда реализуется в базе номината, а формант осуществляет вербализацию ядра мотивационного рема-тематического соположения: при образовании номината “сова” (человек, любящий бодрствовать допоздна) тема мотивационной предикации - сигнификат “человек ...” (см. выше) реализуется в категориальном лексическом и морфологическом значении слова, а мотивационный признак - “как сова” - в морфемной структуре слова целиком (т.к. это трансформационный способ словопроизводства). При модификации же, наоборот, база реализует исходный, модифицируемый сигнификат, а формант - мотивационный, модифицирующий признак: в чеш. гиперонимическом модификате “vynosit” сигнификат “носить”, модифицируемый мотивационным признаком “изнутри наружу” реализуется в базе “-nosit”, а модифицирующий признак - в форманте-префиксе “vy-”. При маркирующей модификации происходит то же самое: укр. “біленький” - тема модификации сигнификат “белый” реализован в базе “біл-”, а модифицирующий мотивационный признак - рема “ласкательная экспрессия и эмоциональность” - в форманте “-енький”. При транспозиции происходит то же самое, что и при модификации, но в модификации мотивационный признак либо входит в сигнификат (как в гиперонимической модификации), либо относится к референтивной части значения (в маркированной модификации), а мотивационный транспозитивный признак всегда относится к категориальной части понятия (значения): поль. “wykorzystanie” - тематический транспонируемый в ходе мотивации

сигнификат “использовать” был реализован в базе “wykorzysta-”, а транспонирующий мотивационный признак “в качестве субстанциального объекта” - в форманте “-nie”.

Центральными моментами материализации являются два процесса - выбор способа материализации и выбор конкретной материализационной модели. Мы полагаем, что все материализационные модели организованы во внутренней форме языка в зависимости от типа мотивации (1), категориального словообразовательного значения (2) и способа материализации (3). Зависимость выбора той или иной модели (точнее, того или иного способа материализации) от типа мотивации мы охарактеризовали выше. Это синтагматическая характеристика, регулирующая включение моделей материализации в процесс знакообразования. Два других критерия - собственно парадигматические и касаются внутренней организации моделей в единую систему. Наличие двух парадигматических критериев, объясняется гносеологической спецификой знакообразования, его нацеленностью одновременно на удовлетворение потребностей в языковых знаках (ориентация на структуры ИБЯ) и на обеспечение коммуникативно-речевой их реализации (ориентация на структуры речепроизводства и фонации). Поэтому, естественно, структура системы моделей материализации, с одной стороны коррелирует с ономаσιологической и тематической структурами информационной базы, т.е. организована в зависимости от категориального словообразовательного значения, а с другой, - коррелирует с моделями внутренней формы языка, что означает ориентацию на морфемную структуру знака.

Комплексную информацию о категориальном, типизирующем словообразовательном значении и способе образования морфемной структуры и внутриформенного значения иногда называют словообразовательным типом. Нас этот термин не устраивает из-за того, что в лингвистической литературе понятие словообразовательного типа сильно феноменологизировано. Под словообразовательным типом обычно понимают не модель или алгоритм образования гомогенного

языкового знака, а совокупность языковых знаков, образованных по одной и той же модели. Такое понимание свойственно феноменологической методологии, в которой акцент смещается с процесса номинации на его результаты, хотя опыт словообразовательного анализа свидетельствует о том, что далеко не все слова, образованные по одной и той же модели сохраняют между собой функциональные связи сходства в системе языка (и, соответственно образуют некую подсистему в категориальной структуре ИБЯ), и, вместе с тем, далеко не все слова, которые могут быть сведены лингвистом в единый словообразовательный тип или даже парадигматически ассоциируются носителем языка как однотипные в словообразовательном отношении, действительно образованы по одной и той же модели. Так, огромное большинство имен действия, которые в современных славянских языках трактуются как отглагольные образования с формантом -ние (-ение, -тие), было образовано на основе страдательных причастий прошедшего времени с формантом *-ъје(-јье). Приписывать же современным словам новое словообразовательное значение можно только в том случае, если это значение каким-либо образом релевантно для функционирования данного слова. А это можно сказать далеко не о всех вышеуказанных именах действия, а лишь о тех, которые соответствуют реально функционирующей словопроизводственной модели внутренней формы языка, например модели с материализационными схемами “V(-а-) + -nie” или “V (-ова-) + -nie”, где V - это отглагольная база, (-а-) или (-ова-) - деривационный тип глагольной производящей основы, а -nie - суффиксальный формант. Таким образом, с точки зрения функциональной методологии релевантными для теории словопроизводства являются только те словообразовательные значения, которые информируют о “живых”, актуальных моделях ВФЯ.

Как видно по приведенной выше в качестве примера модели образования имени действия, всякая модель содержит в себе информацию о том, каким образом (способом) формируется морфемная

структура (в данном случае суффиксацией) и, в связи с этим, какого грамматического типа должна быть производящая основа (связь с моделью образования словоформы - в данном случае с моделью образования основы инфинитива глаголов на -а- или -ова-/-ыва-/ -ува-), а также каким должен быть формант (связь с моделью образования словоформы на базе данного знака - в данном случае с моделью склонения существительных среднего рода на -е). Понятие форманта у нас значительно шире, чем традиционное. Обычно формант понимают лишь как суффикс с формальными морфологическими показателями (флексивной парадигмой). Мы же полагаем, что формантом может быть и префикс, и циркумфикс (конфикс), и сама парадигма флексий (или формообразующих аффиксов), например, при конверсии или транспозиции. Внутриформенное значение новообразуемого знака окончательно формируется именно при материализации, когда знак обретает морфологическое (словоизменительное) и фонематическое значение. При этом, в различных по способу материализации моделях по-разному осуществляется образование внутриформенного значения и окончательное семиотическое структурирование знака. Так, в моделях суффиксации и конфиксации морфологические характеристики приписываются знаку через формант. Это значит, что в процессе выбора форманта осуществляется функциональная привязка данного знака к определенным морфологическим моделям речепроизводства (например, моделям склонения существительного или прилагательного, моделям спряжения глагола, моделям образования степеней сравнения качественного прилагательного или наречия и под). В моделях транспозиции, конверсии (т.н. “нулевой” суффиксации или “обратной” деривации), усечения или аббревиации, как мы уже отмечали, эту функцию выполняют модели словоизменения в роли словопроизводственного форманта. Через формант осуществляется связь системы моделей знакообразования с моделями речепроизводства. В этом смысле формант оказывается еще более сложной единицей внутриформенного значения знака (и модели знакообразо-

вания), чем морфема, поскольку включает в себя морфему (или ряд морфем), осложненную словообразовательным значением. Иначе говоря, если мы рассматривали выше морфему как функциональное единство грамматического и фонематического (фоно-графического) значения, то формант может объединять уже три вида внутриформенной семантики - морфологическую, фоно-графическую и словообразовательную. Однако не всегда морфологическая информация приписывается языковому знаку через формант. В моделях префиксации, трансформации, конъюнкции (слияния, сращения, шаблонизации), композиции (сложение) часть морфологической информации может проникать в знак через формант (например, значение совершенного вида через префикс глагола - “писать” - “приписать”, “записать”, “выписать”), а другая часть (или все морфологическое значение целиком) приписывается знаку через базу (производящую основу), заимствуемую из мотивирующего знака (например, часть информации о типе и характере спряжения, о специфике образования форм наклонения, о переходности/непереходности и под.). Так, несмотря на префикс, глагол может сохранять несовершенный вид мотивирующего: “ходить” - “приходить”, “выходить”, “уходить” именно за счет того, что эта информация приписывается новообразованному глаголу через основу, а не через формант. Поэтому префиксальные модели образования одновидовых (с сохранением вида) и разновидовых (с изменением вида) глаголов следует квалифицировать как различные модели.

Наличие в составе моделей знакообразования таких функционально-структурных элементов как форманты (особенно аффиксальные) свидетельствует о том, что модели знакообразования имеют прямую функциональную связь с моделями фонации и графического оформления. Прежде всего это касается тех моделей, образование по которым не предполагает прямого использования морфологической информации. Таковы, например, модели усечения и аббревиации. Чаще всего усечение производящих основ осуществляется не по

морфологическим или другим семантическим мотивам, а лишь руководствуясь фонетическим (например, слогообразовательным, эвфоническим, акцентуальным и под.) или чисто графическим (что случается крайне редко) принципом.

Функциональный подход позволяет унифицировать анализ всех видов знакообразования, как словопроизводства, так и идиоматизации. Если внимательно проанализировать номинативный процесс, завершающийся образованием формально гомогенного языкового знака (слова), и номинативный процесс, завершающийся образованием формально гетерогенного языкового знака (например, фразеологизма или клишированного словосочетания), легко обнаружится принципиальная адекватность этих процессов. Кроме этого, неизбирательность (фактуальность) функциональной методики, позволяет включить в анализ не только традиционно изучаемые результаты т.н. “морфологических” способов словообразования, но и результаты слияний и сращений, которые иногда определяются как “синтаксические” способы. Эти последние демонстрируют принципиальное сходство с идиоматизацией (шаблонизацией), как способом образования фразеологизмов и клише. Может сложиться впечатление, что наиболее существенное различие - сохранение при шаблонизации грамматической (прежде всего, морфологической) информации всех мотиваторов, в то время как при слиянии или сращении (а тем более при композиции или сложносuffixальном способе) либо формируется совершенно новая внутриформенная информация, в основном отличная от внутриформенной информации мотиваторов, либо утрачивается значительная часть внутриформенной информации одного или всех мотиваторов - например, способность склоняться. Это же можно наблюдать и у значительной части компонентов клишированных словосочетаний и фразеологизмов (например, прилагательные в составе клише утрачивают изменяемость по роду, а существительные в качестве управляемого члена клишированного словосочетания или фразеологизма обычно сохраняют значение только одного падежа). Вме-

сте с тем, целый ряд композитов (например, образованных так называемым сложением слов) сохраняет морфологические характеристики обоих мотиваторов: русс. "кресло-качалка" ("креслу-качалке", "креслом-качалкой"), правда, может утрачивать синтагматическое значение одного из мотиваторов ("мое кресло-качалка", а не "моя кресло-качалка"). Так же и в случае со слиянием числительных (русс. "двести", "двухсот", "двумстам", или чеш. "dvě stě", "dvou set", "dvěma stům").

Столь же неубедительно размежевание сложных слов и клише по чисто фонационному принципу: слитность произношения одних и паузация при произношении вторых. Как сложные слова, так и клише могут быть оформлены в звучащей речи в виде фонетического слова или в виде синтагмы. И те, и другие могут иметь два ударения (основное и побочное, могут быть использованы в речи как сугубо контактно со строгой последовательностью членов, так и дистантно. Поэтому мы считаем, что словесные композиты и сращения могут рассматриваться как промежуточный этап между собственно словопроизводством и идиоматизацией, а фразеологизмы и клише - как продукты знакообразования в одном ряду со словами.

2.5. Обобщение: структура внутренней формы языка

Так же, как и в случае с образованием семантической и фонетико-графической структуры речи (речепроизводством), определяющее значение для знакообразования имеют модели речевой деятельности, и в частности, модели выбора стратегии знакообразования: модель выбора характера мотивировки, типа мотивации, способа и модели материализации. В этом, как и в предыдущих случаях, модели выбора выполняют одновременно роль обеспечения активного участия в речевой деятельности (причем, как в процессах передачи, так и получения информации) и роль контроля и коррекции осуществляемой речевой деятельности. Ведущая роль моделей речевой деятельности внутренней формы языка заключается еще и в том, что они согласуют между собой систему языковых знаков (информационную базу языка) и систему языковых моделей (внутреннюю форму языка), частью которой они сами являются, а наряду с этим, и языковую систему в целом с невербальной психомыслительной деятельностью.

Следовательно, все изменения в интенциональном содержании, вызванные изменениями коммуникативной ситуации, прежде всего, отражаются на моделях выбора, а уже через них влияют на модели (или, собственно, на выбор моделей) речепроизводства, фонографического оформления и знакообразования. В случае функциональных нарушений в системе моделей речевой деятельности речь субъекта оказывается неадекватной требованиям ситуации (избирается не тот режим речевой деятельности, не те модели и не те языковые знаки, которые требуются ситуацией). Нарушение моделей выбора может сказаться и на способности активно (произвольно) использовать систему языка. Это можно наблюдать всякий раз, когда человек обладает достаточным лексическим запасом и необходимым набором моделей ВФЯ, но не может их использовать в речевой деятельности.

Модели речевой деятельности лежат в центре всех речевых процессов: как продуктивных, так и репродуктивных. И речепорождение, и речевосприятие начинаются с определения режима речевой деятельности, в ходе которого происходит: а) определение режима функционирования моделей речепроизводства, б) определение способа внешнеречевой сигнализации (устной или письменной) и в) определение аспектной подсистемы информационной базы языка (как, впрочем, и самой этноязыковой основы коммуникации).

Относительно последнего следует отметить, что при многоязычии или полиглоссии часто наблюдается четкая дистрибуция между различными аспектными сферами и режимами функционирования моделей ВФЯ различных этноязыковых структурных основ данного идиолекта. Проще эту мысль можно выразить так: человек, владеющий несколькими языками в условиях коллективного или индивидуального двуязычия привыкает использовать один из этноязыков в бытовом общении, другой - на работе или в официальной сфере. Очень часто можно встретить артистов или ученых, политиков и бизнесменов, привыкших профессионально использовать один язык, но не могущих применить его в бытовом (обыденном) общении. Поэтому мы склонны полагать, что в функциональном отношении выбор режима коммуникации у полиглотов и двуязычных индивидов иногда опережает выбор этноязыка.

Следующий этап организации коммуникативного процесса включает в себя выбор типа текста (с надлежащим его сигнальным оформлением) и выбор тематической категории, в пределах которой (или на основе которой) будет производиться коммуникация, т.е. определяется тема и жанр общения. В дальнейшем осуществляется выбор моделей синтаксирования и сигнального оформления единиц низшего уровня (СФЕ, высказываний, словосочетаний и словоформ), для чего необходимо актуализировать ряд фреймов (тематических полей ИБЯ) и конкретных языковых знаков, что, в свою очередь, требует обращения к ономаσιологической структуре

информационной базы. Все процессы выбора согласованы между собой и взаимно влияют друг на друга таким образом, что выбор той или иной модели синтаксирования или сигнализации может оказывать влияние на выбор языковых знаков, а выбор знаков, соответственно, может откорректировать выбор модели. Окончательное оформление речи производится, судя по всему, параллельно с процессом выбора моделей и знаков. Поэтому и субъект речепорождения, и субъект речевосприятия имеют возможность прогнозировать ход коммуникации и надлежащим образом его корректировать. (Таким образом, работу моделей речевой деятельности (РД) можно представить в виде схемы, представленной на рис.6 Приложения 8.)

ВЫВОДЫ

Подводя итог нашим размышлениям об основополагающих положениях функциональной методологии лингвистического исследования, прежде всего, отметим, что функциональная методология понимается нами как одно из четырех глобальных направлений в современной лингвистике наряду с феноменологией (эссенциализмом), позитивизмом (физикализмом) и рационализмом (сайентологией). Функционализм сближается с указанными течениями в одних принципиальных методологических моментах и расходится в других. Так, в вопросах локализации объекта лингвистического исследования, каковым мы считаем индивидуальную языковую деятельность, в вопросах квалификации генезиса познавательных и вербализационных актов, которые нами определяются как смыслопорождение, а также в вопросах сущностного характера методики лингвоанализа, квалифицируемой нами как дедуктивная, функциональная методология значительно сближается с рационализмом и столь же существенно расходится с позитивизмом и феноменологией. Зато в вопросах темпорально-атрибутивного плана функциональная методология наиболее близка именно позитивизму, поскольку предполагает наличие у своего объекта такого имманентного свойства как детерминированность опытом (действительным и возможным), признает апостериорный характер познавательной деятельности и фактуализм методических исследовательских приемов. По этим же позициям функционализм резко противостоит как априорному логицизму рационализма, так и априорному интуитивизму феноменологии. Вместе с тем, признавая инвариантно-фактуальную структурную сущность объекта, чувственно-рациональный дуализм познавательных актов и трансцендентально-созерцательную двойственность методических приемов, функционализм, тем самым, существенно перекликается с феноменологией и решительно отмежевывается от узкого эмпирического фактуализма позитивистов и узкого логического фактуализма и солипсизма рацио-

налистов. Несложно заметить, что классификацию методологических направлений, а равно квалификацию на их фоне функциональной методологии мы совершаем на базе трех основных критериев: онтологического статуса объекта лингвистического исследования (включая его структурные свойства), функционально-гносеологического статуса исследования языковой деятельности (в том числе и генезиса вербального смысла) и, наконец, принципиальных положений методики лингвистического исследования. Таким образом, в работе мы предлагаем тетрихотомическую трактовку современной лингвистической методологии, которая не отбрасывает предшествовавшую ей трихотомическую, но включает ее в себя в качестве частности. При этом, мы пытаемся, насколько это возможно, не смешивать логическую триаду становления смысла, предложенную Гегелем: тезис - антитезис - синтез методологическим оппозициям, включающим кроме собственно методического и гносеологического факторов, еще и основной метафизический аспект всякой теории - онтологию объекта. Игнорирование онтологии (наблюдавшееся долгие годы в разработках рационалистов) неминуемо ведет к упрощенному пониманию объекта исследования и одновременно сильно сужает и чисто эпистемологическую проблематику, поскольку из перечня гносеологических вопросов уходят вопросы о сущности (онтологии) самих познавательных процессов, подменяясь вопросами методики. Понятие же метода в трактовке Декарта и других ранних менталистов было именно онтологическим и эпистемологическим, а не просто логико-методическим или операциональным. Поэтому, говоря о методологии, мы говорим о сложном иерархическом комплексе онтологических, гносеологических и собственно методических оснований всякой научной или философской теории.

Именно из этих трех слагающих и создается то, что обычно называют подходом или направлением. В этом смысле ни аналитическая философия, ни философия языка, ни логическая семантика, ни прагматический анализ, ни структурализм сами по себе не являются

методологическими направлениями. Другое дело, что большинство представителей той или иной школы, того или иного модного течения в лингвистике или философии языка могут стоять на позициях какой-то одной методологии, что впоследствии становится причиной метонимического переноса этих методологических принципов на тот или иной прием (каковым является аналитический или структурный метод), а то и на целую отрасль (каковыми являются философия или прагматика языка или логическая семантика). Следует просто помнить о том, когда, где, почему и при каких условиях возникло в лингвистике то или иное новое веяние, а затем задаться вопросом, который мы считаем основным в любом научно-философском исследовании - “что это?” Ответ на него предохранит от множества ошибок. Отвечая на этот вопрос, мы обнаружим, что основная идея структурного анализа лишь поверхностно оказалась связанной с феноменологией, а идеи исследования логической семантики или прагматики языковой коммуникации лишь в силу определенных обстоятельств оказались изначально вовлечены в область рациональной методологии. История языкознания постепенно опровергает эти мифы. Так современной лингвистике известны все четыре методологически отличные ответвления структурализма - бихевиористский структурализм дескриптивистов (позитивизм), классический структурализм чистых сущностей, форм и отношений (феноменология), логико-аналитический структурализм генеративистов (рационализм) и социально-психологический структурализм функционального толка, представленный в Пражской школе. Точно так же и с функционализмом. Иногда функционализмом называют исследования коммуникативного аспекта языковой деятельности (т.е., опять-таки, один из разделов языкознания). Иногда под функционализмом понимают только методику квалификации языковых единиц через их функционирование в речи. Мы же видим в функционализме специфическую методологию, в которой весь комплекс лингвистических вопросов последовательно выводится из понятия функции. В онтологическом отношении языковая деятельность

и все ее составные - язык, речь и речевая деятельность - определяются как деятельностные психо-социальные функции человеческой психики. В гносеологическом аспекте языковая деятельность также выводится из понятия функции - как коммуникативно-семиотическая функция вербализации продуктов сознания. В методическом же отношении функционализм также сопряжен с понятием функции: единицы языковой деятельности рассматриваются в их функциональном отношении к интенциональным смыслам, речевым сигналам и друг к другу.

Отличительной чертой функционального понимания структурной сущности смысла как объекта исследования во всех гуманитарных дисциплинах является онтологический дуализм. Объект функциональной лингвистики в онтическом отношении двойственен: с одной стороны это инвариантный смысл в модусе покоя (языковая система), а с другой - фактуальный смысл в модусе движения (речевой континуум). Вместе с тем, смысл является также только одним из аспектов лингвистического объекта в функциональной методологии - субстанциальным его аспектом. Так, языковая система и речевой континуум объединяются по линии субстанциальности. В этом отношении язык и речь как субстанциальные сущности противостоят речевой деятельности как процессуальной сущности. Отсюда, обоснование трехчастной структуры языковой деятельности: язык + речевая деятельность + речь.

Исходя из двухаспектного характера вербального смысла и из функциональной направленности языковой деятельности одновременно на закрепление информации в знаковой форме (экспрессивная функция) и обеспечение информационного обмена (коммуникативная функция), в функциональной семиотике предполагается выделение двух типов вербальных знаков: языковых (инвариантных) и речевых (фактуальных).

Язык в функциональной методологии рассматривается как системная, принципиально отличная от речи сущность, состоящая из

подсистемы языковых знаков - информационной базы и подсистемы алгоритмических моделей - внутренней формы. Информационная база включает в себя весь комплекс информационных воспроизводимых единиц как гомогенных по форме (слов), так и гетерогенных (фразеологизмов, клишированных словосочетаний, клишированных высказываний и текстов). В данной работе мы предприняли попытку обосновать двуструктурированный характер устройства системы информационной базы языка, детерминированный двойственной структурой языкового знака. Структура языкового знака находится согласно этой теории в прямой связи со структурой всей системы ИБЯ. Категориальная часть языкового знака (парадигматическая), основанная на функциональных связях сходства с другими знаками в системе, отражает в знаке иерархические свойства всей системы. В то же время, референтивная часть (синтагматическая), основанная на функциональных связях смежности с другими знаками, отражает тематическое (полевое) устройство системы ИБЯ. Собственно, структурные элементы знака - семы (как когнитивно-лексические, так и внутриформенные) - рассматриваются нами как следы наиболее устойчивых функциональных связей с другими знаками (рациональные семы) и другими психологическими единицами (сенсорно-эмпирические, эмотивно-экспрессивные, волюнтативные семы). Наличие в знаке (и в понятии, которое это знак вербализует) нерациональной информации позволяет объяснить семиотическое единство познавательного акта, его функциональную онтическую сущность как эмпирически ориентированного процесса. “Действия рассудка без схем чувственности неопределенны”, - писал И.Кант, которого мы считаем основоположником функциональной методологии в философии (Кант, 1964:567). Референтивный компонент когнитивного понятия (а через него - и языкового знака) может включать в себя как отдельные наиболее сильные ментальные ощущения и восприятия, так и комплексные единицы эмпирического созерцания - ментальные представления, выступающие в познавательном процессе в качестве

референта, и комплексные единицы чистого созерцания - обобщенные представления (наглядные образы), которые в процессе познания выступают в роли денотата. И все же, не созерцательная, а именно рациональная информация (“категории и понятия чистого рассудка” в терминах Канта) составляет сущность понятия (и вербального знака), поскольку процесс познания нами определяется в сущностном отношении как функциональный акт, представляющий из себя трансцендентальный акт рефлексии (в понятийной форме) на основе созерцания (в форме обобщенных представлений). И.Кант писал: “Так как о возможности динамической связи мы не можем составить а priori никакого понятия и категории чистого рассудка служат не для того, чтобы выдумывать ее, а только для того, чтобы понимать ее там, где она встречается в опыте, то мы не можем придумать сначала ни одного предмета с новыми и эмпирически недоступными наблюдениям свойствами сообразно этим категориям и позволить себе полагать его в основу гипотезы, так как это значило бы подсовывать разуму пустые фикции вместо понятий вещей” (Кант, 1964:638) [выделение наше - О.Л.]. Точно так же, как когнитивное понятие формируется на основе обобщенного представления, так и научное (философское) понятие является рефлексией над когнитивным понятием. “Рассудок служит предметом для разума точно так же, как чувственность служит предметом для рассудка. Задача разума - сделать систематическим единство всех возможных эмпирических действий рассудка; подобно тому как рассудок связывает посредством понятий многообразное [содержание] явлений и подводит его под эмпирические законы” (Там же, 566-567). Таким образом, кроме информации созерцательного характера в объеме понятия следует видеть и более существенный пласт трансцендентальной (рассудочно-разумной, рациональной) информации парадигматического (категориального) или синтагматического (валентностного) характера. Эта информация, особенно обобщающая категориальная информация о денотате как классе и члене класса, хотя и выполняет регулятивную (а не консти-

тутивную) функцию, т.е. служит “только для того, чтобы получить наибольшее систематическое единство в эмпирическом применении нашего разума” (Кант, 1964: 571), но, тем не менее, является определяющей для понятия как такового, поскольку “разум может мыслить это систематическое единство не иначе, как давая своей идее предмет, который, однако, не может быть дан ни в каком опыте, ведь опыт никогда не дает примера совершенного систематического единства” (Там же, 577). Разновидностью рациональных валентностных сем могут быть т.н. эпидигматические (т.е. знакообразовательные или словообразовательные) семы, а разновидностью последних - образные (символические) семы. Разница лишь в том, что первые обнаруживаются прежде всего в производных знаках, в то время как вторые - в знаках-мотиваторах.

Наиболее активные и определяющие в квалификационном отношении семы образуют сигнификат (ядро) языкового знака, состоящий из десигната (ядерных категориальных сем, интенционала) и денотата (ядерных референтивных сем, экстенционала), соотнесенных друг с другом в обратно пропорциональном отношении. Семы являются элементами знака и хранят только информацию, вовлеченную в семиотический процесс. Однако далеко не вся информация, заключенная в когнитивном понятии подвергается вербализации (языковой или речевой). Языковой знак в структурном отношении относится к когнитивному понятию так же, как сигнификат - ко всему языковому знаку, т.е. по части когнитивной информации языковой знак является сигнификатом понятия. Такая трактовка соотношения понятия и знака как его сигнификата позволяет объяснить понятийную согласованность между индивидами-носителями того же языка, а наличие более широких семантических структур - категориальной и референтивной части понятия, не входящих в знак, объясняет понятийные различия между носителями того же языка. Данное структурное расслоение знака представляет его семантическую структуру. Семантическая структура языкового знака является определяющей в устройстве ин-

формационной базы языка и во вхождении в нее знака. Вместе с тем, языковой знак обладает еще одной структурой - семиотической. В этом отношении языковой знак распадается на план содержания (когнитивный элемент) - лексическое значение и план выражения (вербализующий элемент) - внутриформенное значение. Первое, собственно, и составляет сигнификат понятия, тогда как второе содержит информацию о семиотических функциях, определяющих связь данного знака с моделями внутренней формы языка: стилистическими, синтаксическими, синтагматическими, морфологическими, знакообразовательными и фоно-графическими. Соответственно, во внутриформенной семантике выделяются различные типы значений. Структура внутриформенного значения, с одной стороны, функционально обуславливает состав внутренней формы языка, а с другой, - функционально определяется внутренней формой. Связь информационной базы языка с его внутренней формой осуществляется именно через план выражения знаков. Поэтому есть два пути к т.н. “грамматическим” элементам языка - от грамматических значений (каждое функционально релевантное внутриформенное значение свидетельствует о наличии в языке - в его внутренней форме - соответствующей модели) и от внутриформенных моделей (всякая “живая”, реально функционирующая в языке модель должна так или иначе проявляться в виде элемента внутриформенного значения знака).

Во внутренней форме языка мы выделили четыре типа разнофункциональных моделей: модели речепроизводства (модели семантического синтаксирования, образования речевых знаков), модели фоно-графического оформления речевых единиц (модели сигнализации), модели знакообразования (модели словопроизводства и идиоматизации, модели образования языковых знаков) и модели речевой деятельности (модели выбора режима речевой деятельности, необходимых языковых знаков и моделей ВФЯ, а также контроля за ходом речевой деятельности). Модели речепроизводства включают в себя модели образования текстов, модели построения сверхфразовых

единств и различного типа текстовых блоков, модели образования высказываний и их синтаксического развертывания словосочетаниями, моделей образования словоформ. Модели фонации и графического оформления охватывают все без исключения речевые единицы и включают как модели фоно-графического оформления текстов, высказываний, словосочетаний и словоформ в виде фонотекста (графического текста), фоноабзаца (абзаца), фразы (графического предложения), синтагмы (графического словосочетания) и фонетического слова (графической цепочки), так и модели слогообразования (графического разбиения на слоги) и сегментной фонации (сегментного графического оформления). Модели знакообразования, к которым мы относим модели образования всех типов языковых знаков: от слов и фразеологизмов до клишированных сочетаний, высказываний и текстов, включают в себя модели мотивировки знакообразования (как по цели, так и по ситуативной направленности), модели мотивации (т.е. выбора семантического мотива номинации) и модели материализации (организованные в классы в зависимости от типового словообразовательного значения, способа и средств образования морфемной формы знака). Последние из выделенных моделей - модели речевой деятельности - регулируют выбор режима речемышления, каковых мы выделили три: обыденно-мифологический (практически-утилитарный), научно-теоретический (в т.ч. официальный и деловой) и художественно-эстетический (в т.ч. публицистический и политический), а также контролируют выбор из системы информационной базы необходимых языковых знаков, а из системы моделей ВФЯ необходимых (и свойственных данному режиму речевой деятельности) моделей. Все модели внутренней формы в одинаковой степени участвуют как в процессах речепорождения, так и в процессах речевосприятия, которые в функциональной методологии следует рассматривать как со-порождение речи реципиентом на основе механизмов вероятностного прогнозирования.

Процесс речевой деятельности в функциональной методологии не смешивается с языковой деятельностью как более общим явлением, которое помимо только коммуникативных актов включает в себя также систему языка и речевые произведения (речь, речевой континуум). В основе речевой деятельности лежат два обратно отнесенных нейропсихологических процесса: субституция (симультанные связи совмещения) и предикация (сукцессивные связи модального соположения). Как не бывает чистой предикации (всякое соположение требует выбора из системы уже наработанной ранее информации), так не бывает и чистой субституции (всякое вычленение из континуума предполагает наличие такого континуума). Поэтому в ряду процессов речевой деятельности мы выделяем два вида процессов: субституцию с элементами предикации (лежащую в основе выбора уже готовых знаков и моделей из языковой системы и образование новых языковых знаков) и предикацию с элементами субституции (лежащую в основе порождения и со-порождения речевых произведений на основе языковой информации). Первый процесс обычно называют номинацией, второй - собственно предикацией. Как видно из сказанного, номинация может быть в большей или меньшей мере предикативной, т.е. ориентированной на речевую коммуникацию (в этом случае мы говорим о речевой номинации или полупредикации), но может быть и максимально ориентированной на субституцию, т.е. собственно наименованием объекта мысли как такового (в таких случаях следует говорить о языковой номинации или знакообразовании). Точно так же и речевые знаки могут быть максимально ориентированы на реализацию коммуникативной функции языка (такая речь всегда шаблонизирована и наполнена речевыми номинатами в их буквальной функции обозначения), но могут быть и ориентированы на экспрессивную (т.е. выразительную) функцию, призванную максимально эксплицировать мысли говорящего (это максимально предикативная речь, речь творческая, наполненная новообразованиями и переосмыслениями старого). Таким образом, предикативизация суб-

ститутивных актов и субституизация предикативных сопровождают реализацию коммуникативной функции языка, а максимально чистая субституция и предикации сопровождают всегда процессы, связанные с реализацией экспрессивной языковой функции.

С точки зрения структурной организации процесс речепроизводства (семантического синтаксирования) представляет собой довольно сложную совокупность повторяющихся, взаимно переплетающихся и взаимно детерминированных нейропсихологических актов сопоставления и соположения невербальных элементов психики-сознания и элементов языковой системы имеющих целью выразить некоторую коммуникативную интенцию. Понятие коммуникативной интенции совмещает в себе обе функции языка - коммуникативную и экспрессивную, так как невозможно никакое желание самовыражения без хотя бы слабого желания быть понятым, как невозможно желание быть понятым без хотя бы элементарного желания выразить некоторую мысль. Вместе с тем, нельзя и смешивать эти интенции. А иногда они могут расходиться довольно-таки значительно. В любом случае все названные процессы рассматриваются с точки зрения функциональной методологии как внутреннее речепроизводство, которое следует отличать как от процессов невербального предикирования мыслей (полевого ассоциативного мыслительного состояния), так и от линейного процесса поверхностного синтаксирования (внешней речи). В отличие от внешнего речепроизводства, обладающего собственными нормативно закрепленными в моделях внутренней формы языка и в языковых знаках закономерностями, отражающимися в структуре речевого континуума (речи), внутреннее речепроизводство лишь сложный многоаспектный процесс выбора знаков и моделей, их компоновки, замены, коррекции образованных структур и под. Поэтому мы категорически отрицаем возможность существования каких-то особенных, способных быть дискретно вычлененными структур или единиц т.н. "внутренней речи". В то же время, и внешнее речепроизводство ни в коем случае нельзя смешивать с процессами физической сигнализации - говорения (экспираторного издания звуков) и слушания

(физиологического восприятия звуковых волн). Его следует понимать также как смысловой, социально-психологический процесс, в онтологически наиболее чистом виде проявляющийся в процессах т.н. внутреннего проговаривания. Поэтому даже наименее семантически нагруженные речевые единицы - фоны - нами рассматриваются не как физические звуки, а как ментальные и обобщенные представления о звуковом сигнале, использующиеся для идентификации морфов и словоформ (а через них - морфем и слов). Фоны в синтагматических комплексах выполняют функцию плана выражения морфа.

Речевой знак в функциональной методологии следует рассматривать как онтически самостоятельную сущность, отличную как от инвариантного понятия (и языкового знака как его части) или фактуального понятия (как невербального мыслительного состояния, смысла), так и от речевых сигналов - физических сущностей, не представляющих из себя информации в онтическом отношении. Такое видение речевых знаков восходит к их пониманию как продуктов функционального соотношения фактуального понятия и языкового знака, с одной стороны, и комплекса моделей внутренней формы языка, с другой. Это позволяет объяснить множество речевых сбоев и ошибок, нарушений в т.н. нормативном использовании языковых знаков, и моделей внутренней формы языка. Все речевые знаки и не-знаковые речевые единицы (вспомогательные грамматические показатели) образуют линейный континуум, более крупные единицы которого состоят из единиц меньшего уровня сложности и функциональной нагруженности. Самой крупной единицей речи (и, соответственно, самым крупным речевым знаком) является текст, состоящий из текстовых блоков разной степени сложности (СФЕ), текстовые блоки состоят из высказываний, высказывания - из словосочетаний и словоформ, пребывающих в предикативном отношении друг к другу. Словоформы являются мельчайшими речевыми знаками, репрезентирующими в речи гомогенный языковой знак - слово. В структурном отношении словоформы состоят из морфов и морфных блоков (ос-

нов, формантов), речевыми знаками не являющихся. Морфы, хотя и представляют собой двустороннюю сущность, тем не менее, сами по себе (вне словоформы) не осуществляют собственно знаковых функций, поскольку ни в качестве частного представителя морфемы, ни в совокупности с другими морфемами-репрезентантами данной морфемы прямо не эксплицируют никакого понятия - ни инвариантного, ни актуального.

Одним из наиболее сложных вопросов речевой деятельности и речевых произведений является вопрос семантики речевых единиц. Двойственное - вербально-невербальное - происхождение речевого знака (из области невербальной интенции актуального понятия и из области вербальных смыслов - языковых знаков и моделей ВФЯ) диктует признание двойственного характера речевой семантики. Здесь следует различать собственно имманентную речевую семантику - речевое содержание знаков и ассоциированную речевую семантику - речевой смысл знаков. Первые являются составной частью речевого знака. Вторые же сравнительно независимы от знака и лишь ассоциируются с ним в ходе речевой коммуникации (интенционально задают процесс речепорождения или приписываются речевым знакам в процессе речевосприятия). Принципиальное различие между отношениями в парах “когнитивное понятие - номинативный языковой знак” и “актуальное понятие (мысль) - речевой знак” состоит, по нашему мнению, в том, что в долговременной памяти, в области которой функционируют члены первой пары, не может существовать некоторой стабильной и дискретной (и воспроизводимой) информационной единицы, которая бы постоянно выполняла функцию замещения другой информационной единицы в семиотическом процессе и при этом не была бы онтически идентичной с этой второй единицей. Поэтому мы считаем, что когнитивное понятие и языковой номинативный знак (слово, фразеологизм или клишированное словосочетание) представляют собой одну и ту же онтическую сущность, распадающуюся на две функционально различные сущности: познавательно-

когнитивную - понятие и семиотическую - языковой знак. Сказанное совершенно не значит, что языковой знак в пределах вербализуемого им понятия не представляет дискретной и строго идентифицируемой единицы. Когнитивное понятие может включать в свой состав более одного языкового знака, которые его вербализуют. По отношению друг к другу такие языковые знаки выступают в качестве симиляров. Совокупность симиляров в пределах одного когнитивного понятия представляет одно лексическое понятие. Симиляры могут быть как однокатегориальными (одной части речи), так и разнокатегориальными (например, глагол, причастие, деепричастие, имя действия, инфинитив в пределах процессуального понятия). Совсем иначе нам представляются отношения в паре “актуальное понятие (мысль) - речевой знак”. Ввиду двойственного происхождения речевого знака мы полагаем, что нет и быть не может некоторой дискретной информационной единицы, которая совмещала бы в себе свойства инвариантного языкового знака и фактуального мыслительного смысла, т.е. была бы одновременно воспроизводимой и производимой - замещала бы в коммуникативном акте конкретный фактуальный (единичный, ситуативный) смысл и стабильно отсылала бы к одному и тому же языковому знаку, и при этом была бы онтически идентичной одной из двух вышеуказанных принципиально отличных в онтическом отношении смысловых единиц. Значит, такая единица - речевой знак - должна обязательно представлять сущность, совершенно онтически отличную как от актуального понятия (мысли), так и от языкового знака.

Речевое содержание как в процессе речепорождения, так и в процессе речевосприятия может быть выведено из функционального отношения языковых знаков, задействованных в образовании данного речевого знака, к модели внутренней формы языка, по которой он был образован. Смысл же речевого произведения может быть выведен лишь из способа представления речевого содержания через соотношение данного знака к другим знакам в данном речевом континууме. В случае

восприятия речевого смысла инвариантным эталоном может служить только социализированная когнитивная система индивидуальной психики-сознания реципиента, а в случае восприятия речевого содержания - система его индивидуального языка. Оговаривание социального характера любой идиолектной системы просто излишне, поскольку по своему функциональному предназначению язык может и должен быть определен как семиотическая система, т.е. система коммуникативно-выразительных средств (знаков и моделей коммуникации), а обе его функции - выражения и коммуникации - неминуемо предполагает наличие прямого или опосредованного собеседника. А учитывая функциональную трактовку речевой деятельности как семантического процесса, легко понять, что таким опосредующим "собеседником" может быть сам субъект речепорождения, который в рассмотренном методологическом направлении понимается как субъект-микросоциум. Индивидуальная языковая деятельность, таким образом, оказывается онтологически реальным проявлением всех остальных возможных социальных образований: от семьи до человечества в целом. Иначе говоря, человеческая личность в ее апперцепции (самосознании) - это единственная конкретная форма социума, если понимать социум функционально как семантическую систему, а не как механическую совокупность физических тел (позитивизм) или некий мистический Дух феноменологов или не менее мистическое общественное сознание марксистов. Все остальные формы существования социума, кроме социализированной личности, онтически вторичны, т.е. это не более чем идеи, понятия нашего сознания. Следовательно, и индивидуальный язык (или, лучше сказать, индивидуальная языковая деятельность) - это единственная онтологически первичная сущность, включающая в себя в виде форм и аспектов функционирования все остальные лингвистические феномены - социальные и территориальные диалекты, литературные языки, национальные языки и т.д.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что предложенная схема исследования языковой деятельности не должна расценивать-

ся ни как методическое предписание (алгоритм) по лингвистическому анализу, ни как единственно верное теоретическое построение, поскольку это противоречит самому духу функционализма, в основе которого лежит признание плюрализма методологических подходов и установка на принципиальную непознаваемость языка и речи как вещей-в-себе. Все рассмотренные в данной работе лингвистические сущности и факты рассматриваются как прагматически и праксеологически ориентированные психо-социальные функции, а не как самоценные феномены (или ноумены) и не как физические (“позитивные”) факты. Поэтому их познание ограничивается возможным опытом социализированной личности в той степени, в какой данная личность как представитель человеческого рода определенной этно- и социокультурной ориентации, определенного пола, возраста, темперамента, с определенными физико- и нейрофизиологическими, психологическими и логическими способностями и т.д. в состоянии познать самое себя через свою предметно-коммуникативную психическую деятельность в мире и обществе. Функциональная методология, предложенная нами, представляет собой одну из возможных версий лингвистического исследования. Мы не ставили перед собой цели решить назревшие к концу XX века в лингвистике проблемы и противоречия, но лишь предложили квалифицировать принципиальное направление, которое появилось в виде философской концепции Иммануила Канта и различным образом было модифицировано в прагматизме Вильяма Джемса и в критическом дуализме Карла Поппера, но, тем не менее, не было в достаточной мере развито ни в философии, ни в гуманитарных науках. По нашему глубокому убеждению, это направление, названное нами функциональной методологией, содержит в себе огромный потенциал и огромные возможности. Мы не исключаем возможность пересмотра некоторых предложенных в данной работе методологических посылок. Но утверждаем, что, осознавая принципиальное отличие данного подхода от других, уже получивших свое развитие в лингвистике - феноменологии, позитивизма и рацио-

нализма - и последовательно реализуя функциональные методологические установки в теории и практике исследования языковой деятельности, можно выйти на качественно новый уровень не только языкознания, но и других, смежных дисциплин, которые в той или иной степени нацелены на исследование языковой коммуникации и вербального сознания.

ЛИТЕРАТУРА

- Адмони В. Типология предложения // Исследования по общей теории грамматики. - М.: Наука, 1968. - С. 232-291.
- Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы: Избранные труды. - М.: Наука, 1978. - 400 с.
- Антонов А.В. Знак, значення, смисл. Психологічне дослідження. - К.: Наукова думка, 1984. - 38 с.
- Антонов А.В. Проблема розуміння (Філософський та психологічний аспекти). - К.: Знання, 1975. - 40 с.
- Аппель К. Несколько слов о новейшем психологическом направлении языкознания // Русский филологический вестник. - Варшава, 1881. - Т.VI. - С.93-142, 292-302.
- Апресян Ю.Д. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики // Проблемы структурной лингвистики. - М.: Наука, 1963. - С.102-150.
- Арсеньев А.С., Библер В.С., Кедров В.М. Анализ развивающегося понятия. - М.:Наука, 1967. - 439 с.
- Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики. - М.: Наука, 1968. - С. 58-116.
- Аткинсон Р.Ч. Человеческая память и процесс обучения. - М.:Прогресс, 1980. - 528 с.
- Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 215 с.
- Баевский В.С. Комментарий // Ю.М.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - С. 248-257.
- Бархударов Л.С. Истоки, принципы и методология порождающей грамматики // Проблемы порождающей грамматики и семантики. - М.: Изд-во АН СССР, 1976. - С.5-32.
- Бацевич Ф.С. Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты (на материале русского глагола). - Львов: Изд-во ЛГУ, 1993. - 170 с.

- Беличова Е. О теории функциональной грамматики // Вопросы языкознания. - 1990. - № 2. - С.64-74.
- Беляевская Е.Г. Семантика слова. - М.: Высшая школа, 1987. - 128с.
- Библер В.С. Мышление как творчество (введение в логику мысленного диалога). - М.: Политиздат, 1975. - 399 с.
- Блумфилд Л. Язык. - М.: Прогресс, 1966. - 507 с.
- Богданов В.В. Деятельностный аспект семантики // Прагматика и семантика синтаксических единиц. - Калинин: КГУ, 1984. - С.12-23.
- Бодуэн де Куртенэ.И. А Избранные труды по общему языкознанию. - М., 1963. - Т. I-II.
- Бондарко А.А. Грамматическое значение и смысл. - Л., 1978.
- Боно де Э. Рождение новой идеи. - М., 1976.
- Брунер Дж. Психология познания. - М.: Прогресс, 1977. - 412 с.
- Булатов М.А. Логические категории и понятия. - К.: Наукова думка, 1981. - 235 с.
- Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження. - К.: Основи, 1995. - 311 с.
- Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. - С.43-110.
- Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. - М.: Высшая школа, 1990. - 176 с.
- Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. - М.: Прогресс, 1964. - 350 с.
- Ведин Ю.П. Роль ощущений и восприятий в процессе познания. - Рига: Изд-во ЛитГУ, 1964. - 160 с.
- Вейнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1970. - Вып.V. - С.163-249.
- Вейнрейх У. Опыт семантической теории // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1981. - Вып.X. - С.50-175.
- Верещагин Е.М. К психолингвистической теории слова. - М.: Изд-во УДН им. П.Лумумбы, 1979. - 71 с.

- Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. - М.: Политиздат, 1968. - 283 с.
- Войшвилло Е.К. Понятие. - М.: Изд-во МГУ, 1967. - 286 с.
- Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1986. - 573 с.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений в шести томах. - М.: Педагогика, 1982-1984.
- Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. - М.: Прогресс, 1988. - 700 с.
- Гайдаржи Г.А., Мотузенко Е.М. Еще раз о правомерности противопоставления лексического и грамматического значений // Языковая семантика и речевая деятельность. - Кишинев: Штиинца, 1985. - С.60-67.
- Гак В.Г. К проблеме соотношения языка и действительности // Вопросы языкознания. - N5. - 1972. - С.12-22.
- Гак В.Г. К типологии лексических номинаций // Языковая номинация. Общие вопросы. - М.: Наука, 1977. - С.230-293.
- Гамкрелидзе Т.В. Р.О.Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. - 1988. - №3. - С.5-8.
- Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч.I. Феноменология духа. - С.-Петербург: Наука, 1992. - 443 с.
- Гейзінга Й. Homo Ludens. - К.: Основы, 1994. - 250 с.
- Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. - М.: Знание, 1984. - 256 с.
- Горалек К. О теории литературного языка // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1988. - Вып. XX. - С. 21-37.
- Горелов И.Н. Вопросы теории речевой реальности. - Таллин: Валгус, 1987. - 196 с.
- Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. - М.: Наука, 1980. - 104 с.
- Горелов И.Н. Разговор с компьютером. Психолингвистический аспект проблемы. - М.: Наука, 1987. - 255 с.

- Горелов И., Енгальчев В. Безмолвный мысли знак. - М.: Молодая гвардия, 1991. - 240 с.
- Горский Д.П. Вопросы абстракции и образование понятий. - М.: Учпедгиз, 1961. - 351 с.
- Готт В.С., Землянский Ф.М. Диалектика развития понятийной формы мышления. - М.: Высшая школа, 1981. - 319 с.
- Грегори Р.Л. Глаз и мозг. - М., 1970.
- Гудавичюс А.И. Сопоставительная семасиология литовского и русского языков. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. - 175 с.
- фон Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - 451 с.
- Гухман М.М. Грамматическая категория и структура парадигм // Исследования по общей теории грамматики. - М.: Наука, 1968. - С. 117-174.
- Даммит М. Что такое теория значения // Философия. Логика. Язык. - М.: Прогресс, 1987. - С. 127-212.
- Даниленко В.П. Лингвистическая характеристика в концепции В. Матезиуса // Вопросы языкознания. - 1986. - № 4. - С. 120-128.
- Даниленко В.П. Методологическая структура грамматики // Филологические науки. - 1993. - № 3. - С. 57-66.
- Даниленко В.П. Ономасиологическая сущность концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса // Филологические науки. - 1986. - № 1. - С. 62-66.
- Дегутис А. Язык, мышление и действительность. - Вильнюс: Минтис, 1984. - 184 с.
- ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.
- Джемс В. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления // Джемс В. Прагматизм. - К.: Україна, 1995. - С. 3-154.
- Диброва К.Ю., Ступин Л.П. О теоретических взглядах Л. Блумфилда // Вопросы языкознания. - 1990. - № 1. - С. 138-148.

- Дресслер В.У. Против неоднозначности термина “функция” в “функциональных” грамматиках // Вопросы языкознания. - 1990. - № 2. - С.57-64.
- Дубровский Д.И. Информация. Сознание. Мозг. - М.: Высшая школа, 1980. - 286 с.
- Дубровский Д.И. Проблема идеального. - М.: Мысль, 1983. - 228 с.
- Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. - М.: Мысль, 1971.
- Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С. 144-159.
- Дэже Л. Функциональная грамматика и типологическая характеристика русского языка // Вопросы языкознания. - 1990. - №2. - С.42-57.
- Жаналина Л.К. Язык и речь: оппозиции // Филологические науки. - 1996. - № 5. - С.55-64.
- Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М., 1958. - 370 с.
- Заика В.И. К проблеме типологии идиостилей // Методологія наукового пізнання. - Тернопіль, 1993а. - С.80-84.
- Заика В.И. Поэтика рассказа. - Новгород: Изд-во НГПИ, 1993б.
- Залевская А.А. Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических исследованиях. - Калинин: Изд-во КГУ, 1978. - 88 с.
- Залевская А.А. Проблемы организации внутреннего лексикона человека. - Калинин: Изд-во КГУ, 1977. - 82 с.
- Залевская А.А. Психолингвистические проблемы семантики слова. - Калинин: Изд-во КГУ, 1982. - 80 с.
- Залевская А.А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. - 206 с.
- Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. - М., 1973. - 247 с.
- Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 1991. - 221 с.
- Зубкова Л.Г. Соотношение звуковых единиц со значащими в типологическом аспекте (Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии) // Вопросы языкознания. - 1988. - №3. - С.69-83.

- Иванов Вяч.Вс. Из следующего века // Ю.М.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис,1994. - С.486-490.
- Иельмслев Л. Метод структурного анализа в лингвистике // Acta Linguistica. - Copenhagen,1950-51. - Vol.VI. - Fas.2-3., pp. 57-67.
- Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. - М.: Искусство,1984. - 349 с.
- Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. - М.: Прогресс,1993. - 237 с.
- Кант И. Сочинения в шести томах.- М.: Мысль,1964. - Т.3. - 799 с.
- Караулов Ю.Н. “4 кита” современной лингвистики, или о предпосылках включения “языковой личности” в объект науки о языке // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологических науках. - М.,1986. - С.33-52.
- Катц Дж. Семантическая теория // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс,1981. - Вып.Х. - С.33-49.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. - Л.: Изд-во ЛГУ,1973. - 141 с.
- Кертж Н. Интертеоретическая критика и развитие науки // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс,1978. - С. 302-321.
- Кибрик А.Е. Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая // Вопросы языкознания.- 1989.- №1. - С.5-15.
- Клацки Р. Л. Память человека. Структуры и процессы. - М.: Прогресс,1978. - 319 с.
- Колеватов В.А. Социальная память и познание. - М.: Мысль,1984. - 190 с.
- Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. - М.: Наука,1969. - 192 с.
- Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. - М.: Прогресс,1977. - 261 с.

- Кривоносов А.Т. К интеграции языкознания и логики (на материале причинно-следственных конструкций русского языка) // Вопросы языкознания. - 1990. - №2. - С.26-41.
- Крушевский Н. Очеркъ науки о языке. - Казань, 1883.
- Крушевский Н. Предмет, деление и метод науки о языке // Русский филологический вестник. - Варшава, 1894. - № 1-2. - С.84-90.
- Кубрякова Е.С. Актуальные проблемы современной семантики. - М.: Наука, 1984. - 130 с.
- Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. - М.: Наука, 1978. - 114 с.
- Кун Т. Замечания на статью И.Лакатоса // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. - С. 270-272.
- Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1977. - 300с.
- Лакатос И. История науки и ее реконструкция // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. - С. 203-269.
- Левицкий В.А., Стернин И.А. Экспериментальные методы в семаσιологии. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1989. - 193 с.
- Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах. - М.: Мысль, 1989.
- Ленин В.И. Философские тетради. - М.: Политиздат, 1978. - 752 с.
- Леонтьев А.А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучению языку. - М., 1967. - С.3-20.
- Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 1969. - 214 с.
- Лещак О.В. Влияние мотивационного значения на выбор форманта и способа материализации словопроизводства в славянских языках // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. - Гродно, 1989. - Ч.1. - С.122-124.
- Лещак О.В. Мотивировка словопроизводственного процесса имен действия в чешском языке // Проблеми взаємодії української та російської філології. - Тернопіль, 1990. - С.78-88.

Лещак О.В. Опыт структурно-функционального исследования имен действия в славянских языках; Дисс. ...канд.филол. наук. - Львов, 1991. - 289 с.

Лещак О.В. Прагматизм и функционализм: соотношение положений, преемственность и расхождения // *Studia Methodologica*. - Тернопіль, 1996а. - Вип.2. - С.28-35.

Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики.- Тернополь: "Підручники і посібники", 1996б. - 445с.

Лещак О.В., Ткачев С.В. Психолингвистический аспект словопроизводства при близкородственном двуязычии // *Методика преподавания русского языка и литературы*. - К., 1989. - Вып.19.-С.71-78.

Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 685 с.

Линдсей П.Х., Норман Д.А. Переработка информации у человека (Введение в психологию). - М.: Мир, 1974. - 550 с.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. - М.: Правда, 1990а. - С.391-599.

Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. - М.: Правда, 1990б. - С.10-192.

Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Ю.М.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - С. 17-263.

Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. - М.: Изд-во МГУ, 1975. - 253 с.

Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. - М.: Изд-во МГУ, 1975. - 112 с.

Лурия А.Р. Язык и сознание. - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 319 с.

Лучинский Ю. Эйдос "прошлого" в поэтической картине мира (Чарльз Олсон: в поисках языка сущности) // *Философия языка: в границах и вне границ*. - Харьков: Око, 1994.- Вып.2.- С.111-118.

Лыскова Н.А. Главные члены обско-угорского предложения // *Вопросы финно-угорской филологии*. - Л., 1990. - Вып.5. - С. 44-59.

Малкольм Н. Мур и обыденный язык // *Аналитическая философия. Избранные тексты*.- М.: Изд-во МГУ, 1993. - С. 84-99.

- Мартинovich Г.А. К проблеме онтологии языка // Вестник Ленинградского университета. Сер.2. История, языкознание, литературоведение. - 1989. - Вып.3. - С.54-60.
- Мегентесов С. В пространстве субъектно-предметных форм // Философия языка: в границах и вне границ. - Харьков: Око,1994. - Вып.2. - С.85-110.
- Мегентесов С.А. Семантический перенос в когнитивно-функциональной парадигме. - Краснодар: Изд-во КубГУ,1993.- 90с.
- Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл \Leftrightarrow Текст". - М.: Наука,1974. - 314 с.
- Мельчук И.А. Словообразование и конверсия // Предварительные публикации ПГЭПЛ ИРЯ АН СССР. - М.,1972. - Вып. 30. - С.38-45.
- Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. - М.: Педагогика,1974. - 327 с.
- Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения, М.: Прогресс,1965. - 238 с.
- Миллер Е.Н. К определению языка // Вопросы языкознания. - 1987. - №2. - С.33-45.
- Михайлов М. Вопросы морфонологического анализа (проявление выделяемости морфем в деривационных процессах). - Warszawa-Wrocław, 1976, 118 s.
- Мур Дж.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М.: Изд-во МГУ,1993. - С. 66-84.
- Мурдаров В. Съвремени словообразователни процеси. Очерк върху българското словообразуване. - София,1983. - 173 с.
- Наливайко Н.В. Гносеологические и методологические основы научной деятельности. - Новосибирск: Наука,1990. - 118 с.
- Нарумов Б.Н. Социальная концепция языка Ф.де Соссюра (на материале перевода "Записок по общей лингвистике") // Известия Российской Академии Наук. Серия литературы и языка. - 1992. - Т.51. - № 2. - С.90-100.
- Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. - М.: Наука,1981. - 111 с.

- Никитевич В.Н. Переход, конверсия и транспозиция // Русское языкознание. - Алма-Ата, 1971. - Вып.1. - С.102- 108.
- Никитин Н.В. Основы лингвистической теории значения. - М.: Высшая школа, 1988. - 168 с.
- Нишанов В.К. О смысле смысла // Экспериментальный анализ смысла. - Фрунзе, 1988.
- Новиков Л.А. Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология. - М.: Русский язык, 1987. - 160 с.
- Ньюмейер Ф.Дж. Спор о формализме и функционализме в лингвистике и его разрешение // Вопросы языкознания. - 1996. - № 2. - С.43-54.
- Одоевский В.Ф. Русские ночи, М., 1913.
- Ойзерман Т. Главный труд Канта // Кант И. Сочинения в шести томах. - М, 1964. - Т.3. - С. 5-67.
- Ортега-и-Гасет Х. Вибрані твори. - Київ: Основи, 1994. - 420 с.
- Основы, 1992: Методологические основы новых направлений в мировом языкознании. - К.: Наукова думка, 1992. - 380 с.
- Остин Дж. Значение слова // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С. 105-121.
- Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. - М.: Мысль, 1983. - 286 с.
- Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. - М.: Знание, 1983. - 246 с.
- Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления. - М.: Наука, 1971. - 230 с.
- Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопросы языкознания. - 1996. - № 2. - С.19-42.
- Пассек В.В. Некоторые вопросы конверсии // Вопросы языкознания. - 1957. - №1. - С.144-148.
- Пернишка Е. Към въпроса за лексикалното и словообразователното значение на сложната дума // Slavia, 1980, гоџ. XLIX, сеџ. 1-2. - С. 15-18.
- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 208 с.

Петров В.В. Структура значения. Логический анализ. - Новосибирск: Наука, 1979. - 142 с.

Петров В.В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы // Вопросы языкознания. - 1988. - № 2. - С.39-48.

Полевые структуры в системе языка. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1989.-198 с.

Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. - М.: Наука, 1991. - 623 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.І. У полоні Платонових чарів. Т.ІІ. Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники. - К.:Основи, 1994.

Пражский лингвистический кружок. - М.: Прогресс, 1967. - 559 с.

Прибрам К. Языки мозга. - М.: Прогресс, 1975. - 463 с.

Прокопенко В. Метафизика и метакритика // Философия языка: в границах и вне границ. - Харьков: Око, 1994.- Вып.2.- С. 19-36.

Прокопенко В., Руденко Д. Логос путі, ейдос простору // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Т.2. - Харків: Око, 1994. - С.33-40.

Пятигорский А.М. Заметки из 90-х о семиотике 60-х // Ю.М.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа.- М.:Гнозис, 1994.- С.324-329.

Рассел Б. Мое философское развитие // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1993 - С. 11-27.

Рассел Б. Человеческое познание. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1957.- 555 с.

Ревзин И.И. Структура языка как моделирующей системы. - М.: Наука, 1978. - 287 с.

Резников Л.О. Понятие и слово. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. - 124 с.

Рузавин Г.И. Вероятность и детерминизм // Философия в современном мире. Философия и логика. - М.: "Наука", 1974. - С.188-219.

Сабощук А.П. Гносеологический анализ психофизиологических механизмов генезиса мышления. - Кишинев: Штиинца, 1990. - 188с.

Салмина М.Г. Знак и символ в обучении.-М.:Изд-во МГУ, 1988.-287с.

- Сватко Ю. "Текст - мир человека - культура": в пространстве современного эйдети́зма // Философия языка: в границах и вне границ. - Харьков: Око, 1994.- Вып.2.- С. 37-60.
- Селларс У. Научный реализм или "миролюбивый" инструментализм? // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. - С. 353-395.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М.: Прогресс, 1993. - 655 с.
- Серио П. В поисках четвертой парадигмы // Философия языка в границах и вне границ. - Харьков: Око, 1993. - Вып.1. - С.37-52.
- Сеченов И.А. Избранные философские и психологические произведения. - М., 1947.
- Сеченов И.М. Избранные произведения. - М., 1953.
- Слобин Д.М. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика. - М.: Прогресс, 1984. - С.143-207.
- Слобин Д. Психолингвистика // Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. - М.: Прогресс, 1976. - С.17-215.
- Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. - М.: Наука, 1975. - 112 с.
- Слюсарева Н.А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию // де Соссюр Ф. Записки по общей лингвистике. - М.: Прогресс, 1990. - С. 7-28.
- Смирницкий А.И. Значение слова // Вопросы языкознания, 1955. - №4. - С.79-89.
- Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. - М.: Просвещение, 1968. - 248 с.
- Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики. - К.: Наукова думка, 1990. - 183 с.
- Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике. - К.: Наукова думка, 1979. - 189 с.
- де Соссюр Ф. Записки по общей лингвистике. - М.: Прогресс, 1990.- 275 с.
- де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977. - 695 с.
- Спивак Д.И. Лингвистика измененных состояний сознания. - Л.: Наука, 1986.

- Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка.- М.: Наука,1985.- 328с.
- Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. - М.: Наука,1981.- 360 с.
- Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. - М.: Просвещение, 1975. - 275 с.
- Степанов Ю. Пространства и миры - "новый", "воображаемый", "ментальный" и прочие // Философия языка: в границах и вне границ. - Харьков: Око,1994. - Вып.2. - С.3-18.
- Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Смена "культурных парадигм" и ее внутренние механизмы // Философия языка в границах и вне границ. - Харьков: Око,1993. - Вып.1. - С.13-36.
- Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. - М.: Иностраниздат,1953. - 375 с.
- Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. - - Воронеж: Изд-во ВГУ,1985. - 171 с.
- Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия. Избранные тексты.- М.:Изд-во МГУ,1993.-С.159-174.
- Супрун А.Е. Лекции по языковедению. - Минск: Изд-во БГУ,1978. - 143 с.
- Тихомиров О.К. Структура мыслительной деятельности человека (опыт теоретического и экспериментального исследования). - М.: Изд-во МГУ,1969. - 304 с.
- Торопцев И.С. Очерк русской ономазиологии: Дис. ... доктора филол.наук. - Л.,1969. - 701 с.
- Торопцев И.С. Словопроизводственная модель. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. - 148 с.
- Торопцев И.С. Язык и речь. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. - 199 с.
- Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. - М.: Прогресс,1987. - 560 с.
- Трубецкой Н.С. Основы фонологии. - М.,1960.
- Тулмин С. Концептуальные революции в науке // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс,1978. - С.170-189.

- Улуханов И.С. Словообразовательные отношения между частями речи // Вопросы языкознания. - 1979. - №4. - С.101-110.
- Уорт Д. Морфонология нулевой аффиксации в русском словообразовании // Вопросы языкознания. - 1972. - № 6. - С. 76-84.
- Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1960. - Вып.1. - С.169-182.
- Успенский Б.А. К проблеме генезиса Тартуско-московской школы // Ю.М.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - С.265-278.
- Успенский П.Д. *Tertium organum*. Ключ к загадкам мира. - С.-Петербург: Андреев и сыновья, 1992. - 241 с.
- Уфимцева А.А. Лексическая номинация. Виды наименований. - М.: Наука, 1986. - 240 с.
- Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка). - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 287 с.
- Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. - М.: Наука, 1974. - 205 с.
- Философский энциклопедический словарь. - М: Советская энциклопедия, 1983. - 839 с.
- Флоренский П.А. У водоразделов мысли. - М.: Правда, 1990.- 447с.
- Фосслер К. Грамматические и психологические формы в языке // Проблемы литературной формы. - Л.: Academia, 1928. - С.148-190.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 367 с.
- Фрумкина Р.М. "Теории среднего уровня" в современной лингвистике // Вопросы языкознания. - 1996. - № 2. - С.55-67.
- Хайдеггер М. Время и бытие. - М.: Республика, 1993. - 447 с.
- Харитонов Т.А. Джерела філософської термінології. - Київ: Наукова думка, 1992. - 111 с.
- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - М.: Педагогика, 1986. - Т.1. - 406 с.
- Хилл Т.И. Современные теории познания.-М.:Прогресс,1965.-533с.
- Холодович А.А. Опыт теории подклассов слов // Вопросы языкознания. - 1960. - № 1. - С.32-43.

- Хомский Н. Язык и мышление. - М.: Изд-во МГУ, 1972. - 121 с.
- Хофман И. Активная память. Экспериментальные исследования и теории человеческой памяти. - М.: Прогресс, 1986. - 308 с.
- Хюбшер А. Мыслители нашего времени (62 портрета). - М.: Изд-во ЦТР МГП ВОО, 1994. - 312 с.
- Цветкова Л.С., Глозман Ж.М. Аграмматизм при афазии. - М.: Педагогика, 1978.
- Чейф У.Л. Значение и структура языка. - М.: Прогресс, 1975. - 432 с.
- Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. - 1996. - № 2. - С.68-78.
- Шаумян С.К., Соболева П.А. Основания порождающей грамматики русского языка. Введение в генотипические структуры. - М.: Наука, 1968. - 372 с.
- Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. - Л.: Учпедгиз, 1941. - 620с.
- Шахнарович А., Юрьева Н. Психолингвистический анализ семантики и грамматики. - М.: Наука, 1990. - 167 с.
- Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Собрание сочинений в 3-х томах. - М.: Художественная литература, 1974. - Т.3. - С.7-145.
- Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. - М.: Советский писатель, 1959. - 628 с.
- Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.33-50.
- Эбер М. Прагматизм, исследование его различных форм // Джемс В. Прагматизм. - К.: Україна, 1995. - С.155-240.
- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - М., 1978. - 391 с.
- Юм Д. Сочинения в двух томах. - М.: Мысль, 1965. - Т.1. - 847 с.
- Юшкевич П. О прагматизме // Джемс В. Прагматизм. - К.: Україна, 1995. - С.241-282.
- Якобсон Р. Избранные работы. - М.: Прогресс, 1985. - 455 с.

- Якобсон Р. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 1987. - 461 с.
- Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование. - М.: Наука, 1986. - 207 с.
- Ярошевский М.Г. Послесловие // Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. VI. Научное наследство. - М.: Педагогика, 1984. - С. 329-347.
- Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. - М.: Наука, 1968. - С. 5-57.
- Ярцева В.Н. О внутренних законах развития языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию // Известия АН СССР, ОЛЯ. - М., 1952. - Т. XI. - Вып. 3. - С. 193-205.
- Ясаи Л. Существует ли вид и в неславянских языках? (заметки по типологии вида) // *Studia Slavica Savariensia*. - 1993. - N2. - 98-105.
- Яцкевич Л.Г. Вопросы русского формообразования: функционально-типологический подход в морфологии (на примере имен существительных). - Минск, 1987. - 128 с.
- Ajdukiewicz K. O znaczeniu wyrażeń // Ajdukiewicz K. *Język i poznanie*. - Warszawa: PWN, 1985. - T. 1, s. 102-136.
- Albertazzi L. Some elements of transcendentalism in Ajdukiewicz // *Ruch filozoficzny*, 1993. - Tom L, s. 20-22.
- Anderson J.R. *Language, Memory and Thought*. - Hillsdale, New Jersey, 1976. - 546 p.
- Anderson J.R., Bower G.H. *Human Associative Memory*. - Washington, 1973. - 524 p.
- Arochová O. Vzťahy medzi jazykovými a kognitívnymi štruktúrami v ontogeneze // *Jazykovedný časopis*. - 1984, s. 178-186.
- Baley S. *Psychologia wychowawcza w zarysie*. - Warszawa: PWN, 1958, 415 s.
- Blanár V. Lexikálny význam a princípy jeho poznávania // *Jazykovedné štúdiá*. - 1980. - XVI, s. 169-170.
- Blanár V. Od myšlenkového odrazu k lexikálnemu významu // *Jazykovedný časopis*, 1976. - č. 2, s. 99-116.

- Blanár V. Organizacia slovnej zásoby // Jazykovedný časopis, 1985. - č.1, s.23-31.
- Bobrow D.G. Natural Language Input for a Computer Problem-Solving System // Semantic Information Processing. - Cambridge, Massachusetts, London, 1968, pp.135-213.
- Bojar B. Prawda i fałsz w języku naturalnym // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.257-266.
- Bonfantini M.A. Czym jest semiotyka i do czego służy // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.43-51.
- Bruner J. Child's talk: Learning To Use Language. - New York-London, 1983, 144 p.
- Brykczyński P. Ens et falsum // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.119-125.
- Buczyńska-Garewicz H. Derrida a Peirce // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.211-215.
- Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Massachusetts, 1965.
- Chomsky N. Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, New York, 1986.
- Clark H.H., Clark E.V. Psychology And Language : An Introduction To Psycholinguistics, New York, 1977.
- D'Agostino F. Mentalizm i racjonalizm w ujęciu Chomskiego // Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy. - Warszawa: PTS, 1991, s.27-57.
- Daneš F. A three-level approach to syntax // Travaux linguistiques de Prague, 1964, vol.1.
- Daneš Fr. Pokus o strukturní analýzu slovesných významů // Slovo a slovesnost. - 1972. - č.3, s.193-207.
- Dembińska-Siury D. Retora Gorgiasza pochwała i obalenie retoryki // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.217-221.
- Diankow B. W sprawie adekwatnej interpretacji logiczno-semantycznej języków naturalnych // W świecie znaków.-Warszawa, PTF, 1996, s.53-57.

- Dokulil M. K otázce predikability lexikálního významu slovo tvorně motivovaného slova // Slovo a slovesnost, 1978. - č.3-4, s.244-251.
- Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Teorie odvozování slov. D.1. - Praha,1962, 263 s.
- Fife J. Funkcjonalizm jako szkoła językoznawcza // Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy. - Warszawa: PTS,1991, s.183-188.
- Fodor J.A., Beuer T.G., Garret M.F. The Psychology of Language. An Introduction to Psycholinguistics and Generative Grammar, NY,1974.- 537 p.
- Fodor J.D. Semantics. Theories of Meaning in Generative Grammar, Cambridge,Massachussets,1980, 225 p.
- Gizbert-Studnicki T. Przekład tekstów prawnych jako problem semiotyczny // W świecie znaków. - Warszawa,PTF,1996, s.127-134.
- Gonet W. Status poznawczy klasycznej fonologii generatywnej// Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy. - Warszawa: PTS,1991,s.157-168.
- Grzegorzczkova R. Zarys słowotwórstwa polskiego. - Warszawa: PWN,1981, 96 s.
- Gumański L. Garść uwag o definicjach // W świecie znaków. - Warszawa,PTF,1996, s.135-144.
- Halliday M.A.K. System and Function In Language.- London,1976,250 p.
- Heinz A. Dzieje językoznawstwa w zarysie.-Warszawa:PWN,1978,517 s.
- Helman A. Z dziejów pojęcia znaczenia w filmie // W świecie znaków. - Warszawa,PTF,1996, s.223-230.
- Hlavsa Zd. Denotace objektu a její prostředky v současné češtině. - Praha,1975, 111 s.
- Horecký J. Morfematická štruktúra slovenčiny.- Bratislava,1964,194 s.
- Horecký J. Vývin a teoria jazyka. - Bratislava,1983, 112 s.

- Jadacki J.J. Horyzont filozoficzny pra-polaków w świetle studiów etymologicznych Aleksandra Brücknera // *Методологія культурного процесу*. - Тернопіль, 1991. - С. 129-134.
- Jadacki J.J. O pojęciu istnienia // *W świecie znaków*. - Warszawa, PTF, 1996, s.59-69.
- Jakobson R., Halle M. *Fundamentals Of Language*. - The Hague - Paris, 1971.
- Kleparski G. Leksykalna zmiana znaczeniowa w świetle gramatyki N.Chomskiego i gramatyki kognitywnej // *Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy*. - Warszawa: PTS, 1991, s.169-181.
- Kmita J. O kulturze symbolicznej. - Warszawa: Centralny ośrodek metodyki upowszechniania kultury, 1982, 162 s.
- Kmita J. Społeczny dyskurs naukowy // *W świecie znaków*. - Warszawa, PTF, 1996, s.145-154.
- Kotarbiński T. *Hasło dobrej roboty*. - Warszawa: Wiedza powszechna, 1968, 368 s.
- Kotarbiński T. *Sprawność i błąd*. - Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 1970, 307s.
- Koj L. Metodologiczne własności pozanaukowych tworów poznawczych // *W świecie znaków*. - Warszawa, PTF, 1996, s.155-162.
- Kuchař J. Základní rysy struktur pojmenování // *Slovo a slovesnost*, 1963. - č.2, s.105-114.
- Machač J. K lexikologické problematice slovních spojení // *Slovo a slovesnost*, 1967. - č.2, s.137-149.
- Magala S. *Modne kierunki filozoficzne*. - Warszawa: Warszawska krajowa agencja wydawnicza, 1984, 147 s.
- Marchand H. *Studies In Syntax And Word-Formation*. - München, 1972, 439 p.
- Mathesius V. *Řeč a sloh*. - Praha:SPN, 1966, 103 s.
- Mathesius V. *Jazyk, kultura a slovesnost*. - Praha: Odeon, 1982, 701 s.

- Mathesius V. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistického. - Praha: SPN, 1961, 279 s..
- Morawski S. O niektórych dzisiejszych potyczkach z filozofią // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s. 173-181.
- Muszyński Z. Noam Chomsky: gramatyka, gramatyczność i twórczość, czyli między gramatyką i polityką // Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy. - Warszawa: PTS, 1991, s. 11-5.
- Nowak L. O supozycjach i sądach // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s. 81-88.
- Ogden C.K., Richards L.A. The meaning of meaning. A study of influence of language upon thought and of the science of symbolism. - London, 1936. - 363 p.
- Omyła M. W poszukiwaniu formalnych zasad interpretacji znaków // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s. 89-94.
- Oravcová A. Obsah a forma v polovetných konštrukciách // Jazykovedný časopis, 1980. - č. 1, s. 35-39.
- Piaget J. Strukturalizm. - Warszawa: Wiedza powszechna, 1971, 176s.
- Poldauf I. Tvoření slov // O vědeckém poznání soudobých jazyků . - Praha, 1958, s. 143-153.
- Przełęcki M. Nieokreśloność jako problem semantyczny // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s. 95-108.
- Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems / Charles E. Osgood, Thomas A. Sebeok. - Baltimore, 1954, 203 p.
- Quillian M.R. Semantic Memory // Semantic Information Processing. - Cambridge, Massachusetts, London, 1968. - pp. 216-270.
- Rudniański J. Efektywność myślenia. - Warszawa: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 1969, 224 s.
- Russell B. Descriptions // Semantics and the Philosophy of Language, Urbana, Illinois, 1952., pp. 95-108.
- Rzepa T. Lwowskie propozycje psychosemiotyczne // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s. 247-255

- Saloni Z. Unilateralne s bilateralne podejście do znaków języka // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.287-294.
- Saporta S. Psycholinguistic Theories and Generative Grammars, Eugene, Oregon, 1967, 32 p.
- Schaff A. Teoria poznania. - Warszawa: PWN, 1965, 145 s.
- Schaff A. Język a poznanie. - Warszawa: PWN, 1964, 277 s.
- Semantics and Philosophy, New York, 1974, 291 p.
- Semantics and the Philosophy of Language, Urbana, Illinois, 1952, 289p.
- Semantics of natural language, Dordrecht, Holland, 1972, 769 p.
- Simons P. Ajdukiewicz's early theory of meaning and its predecessors // Ruch filozoficzny, 1993. - Tom L. - №1, s.6-8.
- Skalička V. Hyposyntax // Slovo a slovesnost, 1970. - č.1, s.1-6.
- Szymański T. Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach XVII-XVIII wieku. - Wrocław: Wydawnictwo PAN, 1968, 199 s.
- Šaur VI. O deverbativním původu některých adjektiv (gluchъ, slěpъ, prostъ i jiných) // Slavia, 1981, roč. XLX, seš. 1., s.52-60.
- Štěpan J. K základním sémantickým pojmům // Jazykovedný časopis, 1986. - č.2, s.133-148.
- Tischner J. Myślenie według wartości. - Kraków: Znak, 1993, 523 s.
- Tokarski R. Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). - Warszawa - Wrocław, 1984, 159 s.
- Tokarz M. Komunikacja poza gramatyką // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.109-115.
- Topolińska Z. O implikacji semantycznej: przymiotnik → rzeczownik // Македонски јазик. - Скопје, 1983. - Год XXXIV. - С.51-87.
- Topolski J. O strukturze narracji historycznej // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.191-197.
- Wójcicki R. Logika paraimplikacyjna // W świecie znaków. - Warszawa, PTF, 1996, s.199-208.

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

На правах рукописи

ЛЕЩАК Олег Владимирович

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕРНОПОЛЬ – 1997

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приложение 1. История возникновения феноменализма и ментализма как онтологических позиций.....	3
Приложение 2. Тетрихотомия в истории методологических классификаций.....	32
Приложение 3. Проблема инварианта в различных философских концепциях.....	36
Приложение 4. Развитие функциональных методологических идей Канта в философии XX века. Функционализм и марксизм.....	68
Приложение 5. Проблема генезиса смысла и философские истоки функциональной гносеологии.....	75
Приложение 6. Предикация и номинация в свете рационалистической методологии.....	111
Приложение 7. Таблицы.....	115
Приложение 8. Рисунки.....	118

Приложение 1

История возникновения феноменализма и ментализма как онтологических позиций

В основе феноменалистской методологии, как позитивистской, так и феноменологической, лежит предложенное еще стоиками понятие логоса как единства вещи, смысла и наименования, а также теория естественной связи между вещью и смыслом вещи. Уже в античную эпоху возникли первые разногласия относительно характера человеческого смысла. Практически все соглашались с тем, что человеческие знания носят вторичный, отражательный естественный характер по отношению к миру. Однако, одни вслед за Гераклитом полагали, что мир состоит из отдельных фактов и событий (отсюда, истинный смысл - наличный), другие же вслед за Платоном считали, что истинный мир - это мир абсолютных идей (следовательно, истинный смысл - сущностный). Естественным продолжением взглядов стоиков была средневековая схоластика. При этом напрашивается связь идей феноменалистской методологии с реализмом, а менталистской - с номинализмом. Однако такая дистрибуция была бы весьма натянутой. Дело в том, что номиналисты, как и их античные предшественники, отстаивавшие теорию происхождения имен по установлению, хотя и стали предшественниками ментализма, сами были еще далеки от радикального рационализма и субъективизма, впервые четко обоснованных Рене Декартом. Это очень убедительно доказал М.Хайдеггер в статье "Европейский нигилизм" (См.Хайдеггер,1993). Принципиальным и функционально важным во взглядах номиналистов (в отличие от их противников) было признание связи смысла с конкретными предметами, т.е. опытный, эмпирический характер познания, первичность и реальность конкретного феномена и вторичность общей идеи. Именно эта мысль стала впоследствии стержне-

вой в позитивистских дескрипциях речи. Связь номиналистского мышления с позитивизмом увидел и Х.-Г.Гадамер: "...вместе с номиналистским преодолением классической логики сущностей вступает в новую стадию также и проблема языка. То, что сходства и различия между вещами могут быть выражены по-разному (хотя и не как угодно), получает вдруг позитивное значение. Если отношения рода и вида могут быть легитимированы не только "природой вещей" - по образцу "подлинных" видов в само-построении живой природы, - но также и иным способом, соотносящим их с человеком и его высокой способностью давать имена, то тогда исторически сложившиеся языки, историю их значений, а также их грамматику и синтаксис можно рассматривать как варианты некоей логики естественного, то есть исторического опыта (который включает в себя также и опыт сверхъестественного)" (Гадамер, 1988:504) [выделения наши - О.Л.]. Именно эти два мотива - историзм и естественнонаучная направленность затем максимально реализуются в позитивистски ориентированных теориях языка.

Значительным толчком к развитию феноменалистских методологий (и позитивистской, и феноменологической) стали идеи Реформации и, в частности, необходимость правильного толкования Библии, что породило интерес к древним языкам и заставило лингвистов отбросить априорные суждения и приступить к тщательному описанию и толкованию конкретных текстов. Так родилась протестантская герменевтика, подготовившая в значительной степени появление исторического описательного языкознания. Феноменализм XIX века, максимально выразившийся в лингвистике в сравнительно-историческом методе, как это ни странно, был подготовлен двумя казалось бы взаимоисключающими течениями теоретической мысли XVII-XVIII веков - механицизмом, обосновавшим принципы индукции и дескрипций, и противостоящим ему историческим гуманизмом (И.Гердер, Ф.Шлейермахер, В. фон Гумбольдт), обосновавшим исторический

подход в языкознании. Конечно было бы сильной натяжкой относить Гумбольдта однозначно к представителям какой-либо одной ветви феноменализма - позитивистской или феноменологической, поскольку его работы весьма пестры в методологическом отношении. Однако, как нам кажется, весьма далеки от истины те, кто полагает, что В.фон Гумбольдт стоял на субъективистских или менталистских позициях. Личность в построениях Гумбольдта подчинена "духу народа", выраженному в его языке. Более того, язык у Гумбольдта становится самостоятельной сущностью, третьим миром. Скорее всего его методологическая позиция может быть охарактеризована как общепеноменистская с большим тяготением в сторону феноменологии духа, продолжающей традиции монадологии Лейбница и восходящей к методологическому эссенциализму Платона и неоплатоников. "Его интерес к индивидуальному, как и вообще интерес к индивидуальному в эпоху Гумбольдта, не следует понимать как отход от всеобщности понятия. Скорее для него существует неразрывная связь между индивидуальностью и всеобщей природой" (Гадамер, 1988:508).

Успехи описательных естественных наук и появление новой исторической герменевтики в начале XIX века инспирировали появление и утверждение первого полноценного лингвистического метода - сравнительно-исторического описания. Огромное влияние на А.Шлейхера и других приверженцев теории языка как естественного организма, в частности, оказала теория Ч.Дарвина. Не удивительно, что в это время, находясь под воздействием естественнонаучных открытий, лингвисты начинают рассматривать язык как реальный живой организм, развивающийся во времени и пространстве, как самостоятельный и действующий (гумбольдтовское понимание языка как деятельности) субъект. Человек же по отношению к этому субъекту занимал несколько отстраненное положение. Его задача была в том, чтобы познать язык, описать, отразить его объективный смысл. В определенной степени натяжкой было бы также и однозначное отнесе-

ние методологии А.Шлейхера к какому-либо одному направлению методологической мысли. Взгляды Шлейхера, как и Гумбольдта, скорее колебались между феноменологией (здесь уместно вспомнить то огромное влияние, которое оказали на Шлейхера идеи Гегеля) и позитивизмом. Именно за феноменологическую объективизацию языка и критиковал в свое время Шлейхера Ян Бодуэн де Куртенэ: "Кто считает язык организмом, тот олицетворяет его, рассматривая его в совершенном отвлечении от его носителя, от человека, и должен признать вероятным рассказ одного француза, что в 1912 году слова не долетали до уха слушателя и мерзли на половине пути. Ведь если язык есть организм, то, должно быть, это организм очень нежный, и словам, как частям этого организма, не выдержать сильного русского мороза" (Бодуэн де Куртенэ, 1963, I:75-76). Как феноменалистов (объективистов) характеризовал филологов-историков XIX века - Гримма, Гумбольдта, Штейнталя, Вундта - и Вилем Матезиус. Они отвлекали речь от говорящего индивида и рассматривали язык "как нечто объективное, константное в определенном времени и месте" (Mathesius, 1982:25).

Серьезное научно-теоретическое и методологическое расхождение внутри феноменализма - между феноменологией и позитивизмом - наметилось к середине XIX в.

Определение нами некоторой методологической позиции как позитивистской является в определенной степени условностью, вызванной потребностями данного исследования, поскольку позитивизм как философское течение является более узким во временном и теоретическом отношении, в то время как позитивистская методология, а иначе говоря, методология физикалистского феноменализма (натурализма) существовала задолго до появления первых младограмматических описательных работ и существует до сих пор. Кроме того сам термин "позитивизм" подчас используют редуцированно - вместо

термина “логический позитивизм”, что уже само по себе вносит определенную терминологическую путаницу.

Как уже упоминалось выше, в основе собственно позитивистских методологических воззрений лежат некоторые взгляды Гераклита, средневековых номиналистов и эмпириков XVII-XVIII веков. Непосредственными предшественниками современного физикалистского позитивизма были Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Дж.Локк и Д.Юм. Новым толчком к естественнонаучному восприятию языка и смысла стали работы в области психологии (в частности биологический психологизм З.Фрейда), хотя психологическое обоснование позитивистская лингвистика получила еще до появления психоанализа в работах Х.Штейнталя. Именно в это время в позитивистской методологии окончательно побеждают тенденции к описанию конкретных речевых проявлений, конкретных осязаемых речевых фактов, наблюдение за которыми только и может дать истинное “позитивное” знание о смысле. Так возникло младограмматическое течение в позитивистской методологии.

В связи с определением методологических позиций младограмматиков необходимо сделать одно существенное замечание. Оно касается популярного в лингвистической литературе противопоставления “объективизма” компаративистов старой школы и “субъективизма” младограмматиков. Происходит такое противопоставление от смешения методического и методологического критериев квалификации теории. Субъект понадобился младограмматикам в чисто методических целях, поскольку этого требовали критерии позитивных, осязаемых и проверяемых эмпирическим путем знаний. Отсюда положение в основу наблюдения материала индивидуальных речевых актов. Методологическая же позиция младограмматиков осталась такой же, как и у компаративистов старой школы - феноменалистской по своей сути. В отличие от подчеркнутого субъективизма в выборе материала исследования, объектом их изучения оставались этноязы-

ки в их истории, а не идиолекты в их ментальной бытийности, как в субъективистских методологических построениях. Таким образом, субъективизм младограмматиков был не методологическим, а чисто методическим. Собственно, это был не субъективизм, но лишь номинализм и атонизм применительно к языку. Хотя было бы несправедливым не отметить, что между феноменологически ориентированными историками языка первой половины - середины XIX века и позитивистски настроенными младограмматиками все же была существенная методологическая разница. Состояла она, собственно, в преимущественно фактуалистском понимании младограмматиками языковых смыслов и тяготении их к абсолютизации выразительных средств манифестации смысла в конкретных текстах или отдельных речевых произведениях в ущерб менее доступной позитивному описанию семантике.

Своего высшего развития и максимального воплощения позитивистская методология достигла в описательной лингвистике XX века, в первую очередь в работах американских дескриптивистов, которые практически свели все лингвистические исследования к наблюдению за внешнеречевыми формами в их синтагматическом распределении (дистрибуции). Уход американских дескриптивистов от "психологизма" младограмматиков выразился, в первую очередь, в отвержении историзма (а через него и от социальной детерминированности языка). Однако это не повлекло за собой отказа от принципа детерминированности вообще. Справедливости ради надлежит отметить, что далеко не все младограмматические теории были именно социально детерминированными, т.е. характеризовались социальным апостериоризмом. Чаще всего их апостериоризм был естественно-физическим, т.е. биологическим или физиологическим. Как отмечал У.Селларс, яркими показательными чертами позитивизма (в его терминологии - классического эмпиризма) являются идеи о том, что "во-первых, эмпирическое познание опирается на абсолютный фунда-

мент, состоящий из чувственно данного, и что, во-вторых, содержание подлинных дескриптивных понятий выволится из чувственно данного” (Селларс, 1978:373).

Впрочем, далеко не все компаративисты перешли в стан описательно-дистрибутивной лингвистики. Сравнительно-исторические исследования речи продолжают по сей день как в собственно позитивистском методологическом плане, так и на основе других методологий (например, феноменологической или функциональной). В частности, сравнительно-исторический позитивизм долгое время оставался главенствующим течением в советском языкознании, особенно в рамках всевозможных социологических школ. Некоторые американские дескриптивисты также впоследствии перешли на социологические позиции, отличавшиеся большой умеренностью и определенным тяготением к феноменологии.

Успешная деятельность дескриптивистов подготовила базу для последующего перехода значительной части представителей этой школы на менталистские методологические позиции, впрочем, с сохранением сущностного подхода к объекту - индивидуальному коммуникативному проявлению, т.е. речевому акту, чему, собственно, предшествовало появление новой методологии - рационализма (логического позитивизма). В лингвистике это выразилось в зарождении в недрах дескриптивной лингвистики трансформационной грамматики и генеративистики. На феноменалистских позициях в онтологии стоял, например, Бертран Рассел - один из основоположников рационалистской методологии. Его позитивистские наклонности сохранялись в его теории и тогда, когда он уже перешел на новые методологические позиции. Показательно его следующее высказывание, которое можно было бы назвать манифестом одновременно рационалистской и позитивистской онтологии - онтологии объективности единичного фактуального смысла: “Я по-прежнему считаю, что отдельно взятая истина вполне может быть истинной; что анализ не есть фальсифи-

кация; что любое, не являющееся тавтологией суждение, если оно истинно, истинно в силу своего отношения к факту; и что факты в общем и целом независимы от опыта. Я не вижу ничего невозможного в существовании Вселенной, лишенной опыта. Больше того, я думаю, что опыт является весьма ограниченным и с космической точки зрения тривиальным фактом крошечной части Вселенной” (Рассел, 1993:13) [выделение наше - О.Л.]. Блестящий логик, Рассел в пылу методологически определяющих рассуждений допускает смешение фактов (явлений как они представляются нам в опыте - конкретных предметов, осознаваемых нами как части Вселенной), вещей-в-себе (сущностей как они бытийствуют вне нашего опыта - собственно самой по себе Вселенной) и, наконец, смыслов (наших опытных знаний о первых и вторых - понятий и чувственных представлений о Вселенной и ее отдельных составляющих). Смешение фактов и сущностей с единичными смыслами весьма показательна для физикалистского позитивизма. Перешло оно “по наследству” и к рационалистам. В лингвистике роль “предтечи” рационализма невольно досталась Эдварду Сепиру, хотя сам он склонялся более к позитивизму и функционализму, т.е. детерминистским течениям. Своими работами в области речевой коммуникации и теории науки (“Грамматист и его язык”, “Символизм”, “Коммуникация”, “Целостность”), в которых он существенно отошел от позитивистско-функционального апостериоризма в сторону рационального логицизма, Сепир фактически предварил появление как трансформационной грамматики, так и “критики науки” (См. Сепир, 1993).

Что касается советского языкознания, то здесь нормальное развитие методологической мысли было сильно ограничено идеологическими мотивами. Но это вовсе не значит, что “советское языкознание опирается (опиралось - О.Л.) на единую методологию” (ЛЭС, 1990:474). Именно в силу идеологических ограничений советским лингвистам не удалось развить на основе диалектического ма-

териализма лингвистическую методологию. Поэтому им приходилось зачастую притягивать положения диамата к своим лингвистическим изысканиям, хотя в действительности (как нам кажется) эти работы выполнялись либо в позитивистском, либо в феноменологическом, либо в функциональном ключе. В 60-70-х годах в советском языкознании были предприняты попытки также построения теорий на неопозитивистской методологической основе (И.Мельчук, И.Ревзин, А.Жолковский и др.).

Одна из основных черт современного позитивизма в языкознании - это отождествление понятий "объективное" и "социальное". Об этом же писал в свое время и К.Поппер: "Большинство из нас, похоже, склонно принимать особенности социальной среды так, будто они "естественны" (Поппер, 1994, I:72). Язык представляется в таких построениях как явление культурно-историческое, социальное по своей онтологической локализации. Человеческому субъекту как носителю языка отводится роль второстепенного лица, собственно "носителя" языка и не более. Таким образом современный методологический позитивизм, с одной стороны, характеризуется историческим детерминизмом, а с другой, - социологическим реализмом. Носителем смысла в таких теоретических построениях могут становиться "одухотворенные", "осмысленные" коллективной деятельностью людей феномены - артефакты, каковыми считаются и речевые единицы.

Так же, как и в случае с позитивизмом как методологическим направлением, термин "феноменологическая" методология следует понимать в ключе поставленной проблемы и с учетом того, что феноменология, восходящая к философским идеям Г.Гегеля, Э.Гуссерля, М.Хайдеггера и А.Лосева, является далеко не единственной школой, чьи теоретические постулаты базируются на методологических посылах, именуемых нами феноменологическими. Просто эти методологические посылки в наибольшей мере и в наиболее чистом виде

реализовались именно феноменологами, что и побудило нас прибегнуть к такому названию направления.

Как и истоки позитивистской методологии, корни феноменологического подхода следует искать в античной языковедческой традиции, прежде всего в теории "фюсеи", но в значительно большей степени в платонизме. Именно Платон впервые выдвинул и обосновал центральное понятие современной феноменологии - имя как форму единения объективно существующей идеи (образа, эйдоса) и соответствующей ей вещи. Таким образом, именно в традиции платонизма впервые в центр внимания попадает ноумен, сущность, проявляющая себя в феномене, т.е. явлении. В связи с этим, С.Мегентесов предлагает различать феноменологический и ноуменологический подход (См.Мегентесов,1994:95-98). Вероятно, это имело бы смысл при различении течений, ориентированных преимущественно на содержание (ноуменологических) и ориентированных преимущественно на форму выражения (феноменологических), однако, как нам представляется, ориентация на форму выражения в отрешении от смысла настолько редкое явление в лингвистике (или шире - в филологии), что такое размежевание просто создало бы очередной научный миф или поддержало бы уже существующие, например о том, что структурализм или русский формализм начала XX века - это феноменологические (в терминах С.Мегентесова), а стало быть, ориентированные на форму, а не на смысл, теории. Нам кажется, что более семантических по своей сути теорий, чем русский формализм или классический структурализм, трудно сыскать. Однако все зависит от методологической установки. К тому же для того, чтобы размежевать теории, идущие от лексико-когнитивного смысла к фоно-грамматическому или наоборот, уже существует дихотомия терминов "ономасиологический // семасиологический подход".

В пользу выбора термина "феноменологическая методология" свидетельствует и укрепившееся в сознании лингвистов и философов

языка устойчивое понимание того, что такое феноменология. Несмотря на то, что сущностные свойства смысла в самой феноменологии связаны все же с ноуменом, а не феноменом, Гегель и Гуссерль, тем не менее, избрали для своих теорий именно это название. Последнее замечание терминологического характера, которое необходимо сделать в связи с нашим использованием термина "феноменологическая методология", связано с размежеванием понятий "феноменологического" и "феноменалистского". Термин "феноменализм", как нам кажется, несколько шире термина "феноменология", поскольку охватывает все философско-теоретические построения, признающие объективную бытийность смысла, т.е. признающие за смыслом свойство быть независимым от человеческого сознания. Поэтому термином "феноменалистские методологии" мы именуем и позитивистский, и феноменологический подходы.

Так же, как и в случае с позитивистской методологией, на становление феноменологии влияние оказал средневековый реализм (в первую очередь учение о Троице) и идеи протестантизма, вызвавшие к жизни немецкую лютеранскую герменевтику, которая в свою очередь подготовила почву для появления классической немецкой идеалистической философии. Однако было бы ошибочным считать, что к становлению феноменологической методологии имел прямое отношение И.Кант .

Кант стал предтечей собственно менталистских методологий. Но некоторые идеи Канта, а именно идеи трансцендентального априоризма, возможности наличия скрытого от непосредственного опыта смысла были наиболее полно использованы в феноменологии духа Г.Гегеля и очень плодотворно развиты в герменевтике Л.Ранке и В.Дильтея. В лингвистике значительную роль в становлении феноменологического подхода сыграли идеи языка как духа народа и языка как третьего мира В.фон Гумбольдта, позже развившиеся в теории лингвистической относительности Б.Уорфа. Х.-Г.Гадамер выразил

эту идею следующим образом: "Человек, живущий в мире, не просто снабжен языком как некоей оснасткой - но на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир" (Гадамер, 1988:512).

Следует иметь в виду, что с методических позиций феноменологическая методология реализовывалась в двух совершенно разных планах. С одной стороны, под воздействием интуитивизма в феноменологии формируются школы, использовавшие методики эйдетического схватывания или семантико-понятийного анализа (герменевтика, философия имени, протестантский экзистенциализм), но с другой, - под влиянием рационализма и позитивистских методик здесь же формируется метод структурного анализа языка (глоссематика, структурная антропология, структурное литературоведение и языкознание 50-60 гг). Показательно для феноменологических теорий последовательное размежевание сущности (системы, виртуального) и явления (реализации, актуального). Вместе с тем, все теории, подводимые нами под понятие феноменологических, объединяла в методологическом отношении полнейшая произвольность и избирательность в подходе к материалу и предмету исследования. Так, именно в рамках этих теорий получили наибольшее развитие идеи изучения языка "в себе и для себя" в качестве "замкнутой", абстрагированной от психологии, социальных факторов, конкретных субъективных свойств лица системы. Фактически эта формула взята структуралистами из феноменологии Гегеля, где подчеркивается глобальная антисубъективистская установка: "... нам нет необходимости прибегать к критерию и применять при исследовании наши выдумки и мысли; отбрасывая их, мы достигаем того, что рассматриваем суть дела так, как она есть в себе самой и для себя самой" (Гегель, 1992:47). Феноменологические теории, зачастую, антиисторичны. При этом уход от историзма может осуществляться как в сторону универсализации смысла (герменевтика М.Хайдеггера и Х.Гадамера, философия имени А.Лосева), так и сторону ограничения лингвистиче-

ского описания синхронным состоянием системы (классический структурализм, ориентированный на "Курс общей лингвистики" Ф. де Соссюра, французская антропологическая школа структурализма, часть Тартуско-московской школы). (О феноменологизме Тартуско-московской школы и продолжении ею традиций, заложенных Фортунатовым, Флоренским, Ельмслевом см. Успенский, 1994: 265-278, Пятигорский, 1994: 325-327, Иванов, 1994: 486-488). В вопросе о языковом субъекте представители феноменологической методологической традиции занимают крайне объективистские (реалистские) позиции. Язык либо провозглашается системой чистых отношений, не зависящих от произвола человека, либо в качестве "дома истины бытия" (Хайдеггер, 1993: 195) возводится в ранг "кровя" для человека, где бы человек "обитал в истине бытия" (Там же). Х. Гадамер более четко определяет сущность языка и текста, как собственно самостоятельных субъектов смысла (См. Гадамер, 1988: 149-150). "Язык есть язык бытия, как облака - облака в небе" (Хайдеггер, 1993: 220), поэтому человеку отводится функция лишь постигать, проникать в язык, в лучшем случае (как в экзистенциалистских теориях переживания) - вживаться в язык и через него трансцендентно постигать некий истинный смысл, который один из основоположников феноменологии Эдмунд Гуссерль охарактеризовал следующим образом: "То, что истинно, то абсолютно истинно, истинно само по себе; истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги" (Цит. по: Лучинский, 1994: 114). В сущности соглашаясь с идеями Н. Кузанского, Гадамер пишет: "...то, что слова одного языка в конечном счете согласуются с отдельными словами другого языка поскольку все языки суть развертывания единого единства духа, можно считать в методологическом смысле правильным" (Гадамер, 1988: 506). В любом случае феноменологи, в противоположность позитивистам, пытаются выйти за пределы конкретно-фактуального, событийного смысла, преодолеть односторонность сиюминутного опытного знания. По их мнению (как и по мнению

Платона), "восприятие и опыт не могут быть точными и достоверными, так как их объектами являются не чистые "формы" или "идеи", а мир тленных вещей" (Поппер, 1994, I: 99).

Системность в феноменологии - одно из центральных понятий: "Надо одну категорию объяснять другой так, чтобы видно было, как одна категория порождает другую и все вместе - друг друга, не натуралистически, конечно, порождает, но - эйдетически, категориально, оставаясь в сфере смысла" (Лосев, 1990б:13). При этом системность чаще понимается не как совокупность и взаимосвязанность, но как холистическое единство (вспомним еще раз идею Троицы). Кроме этого, центральным отличием феноменологии от позитивизма является ее индетерминистский, а подчас и телеологический характер. Читаем у Гегеля: "Таким образом, мы видим, что под внутренним приблизительно подразумевается понятие цели, а под внешним - действительность; и их соотношением порождается закон, гласящий, что внешнее есть выражение внутреннего" (Гегель, 1992:142). Именно познать это истинное, сокрытое фактами и явлениями внутреннее и желают феноменологи. А.Лосев видел задачу феноменологии в том, чтобы "дать смысловую картину самого предмета, описывая его таким методом, как этого требует сам предмет (как ? - О.Л.). Феноменология - там, где предмет осмысливается независимо от своих частичных проявлений, где смысл предмета - самотождественен во всех своих проявлениях" (Лосев, 1990б:159). Погруженность феноменологии в область сущностей и онтологическое отождествление феномена (явления) и сущности, которая признается первичной по отношению к явлению, часто приводят ее последователей к априорному игнорированию фактов. Работы многих феноменологов грешат либо полным отсутствием примеров, либо слишком вольным обращением с ними, основанном на интуиции. У того же А.Лосева находим рефлексию на засилие позитивистского фактуализма: "Наши наивные языковеды обычно думают, что конкретность науки, понимаемая в смысле

заваливания бессмысленными “фактами языка”, может заменить ту подлинную конкретность науки, которая получается в результате ясности и логического чекана определений и выводов. Давайте сначала поймем логику и феноменологию без примеров, без случайности и пестроты реально протекающих процессов в языке. И тогда тверже и яснее удастся понять нам и самые эти “факты” (Там же:33).

В российском языкознании феноменологические методологические идеи в наибольшей мере реализовались в работах последователей Ф.Фортунатова (Московская формальная школа), хотя в значительной степени представители этой школы находились под влиянием позитивизма. Наиболее ярко проявились феноменологические идеи Платона, Аристотеля и стоиков в трактовке представителями московской школы материальности знака. Интерес к феноменологической методологии значительно усилился в постсоветской лингвистике в связи с возвратом к идеям платонизма и возрастанием популярности герменевтики и философии имени (См. работы Ю.Степанова, Д.Руденко, Ю.Сватко, В.Прокопенко, Ю.Лучинского)

Появление полноценной субъективистской методологии связано прежде всего с именами двух выдающихся философов - Р.Декарта и И.Канта, которые впервые поставили вопрос о субъективном онтологическом статусе смысла и, соответственно, разработали философские основы ментализма в языкознании. Можно сказать, что до Декарта методологическое мышление можно было бы охарактеризовать как дихотомическое (т.е. такое, где принципиальное противостояние проходило по линии "реалистический натурализм//номиналистический натурализм"). Именно Декарт подготовил переход его в трихотомическое состояние, утвердившееся после введения в теоретическую традицию Кантом идеи трансцендентального априоризма. Определенный вклад в становление менталистской онтологии внесли также Беркли и Юм, философы, которых можно отнести к менталистам лишь условно. Однако вплоть до конца XIX века

ментализм оставался в зародышевом состоянии, поскольку последователи Канта и Декарта постоянно либо колебались на грани ментализма и феноменологии (под воздействием идей Гегеля), либо продолжали юмовскую позитивистскую традицию (О.Конт). Собственно полноценное развитие ментализма началось с конца прошлого века в русле критики позитивистского физикализма (эмпиризма). Однако наш краткий обзор становления менталистской методологии погрешил бы против истины, если бы мы не вспомнили того, кто прямо или косвенно, но самым радикальным образом повернул науку XX века в русло ментализма. Это был Альберт Эйнштейн с его теорией относительности.

Наиболее существенным пунктом субъективной (менталистской) методологии является утверждение, что ментальная (человеческая, находящаяся в человеческом сознании) картина мира либо вовсе не имеет ничего общего с миром как таковым, либо имеет к миру весьма опосредованное отношение, либо является однозначно первичной по отношению к миру и идентифицируется с миром исключительно на телеологических основаниях. Но в любом случае сам факт так называемой "объективности" мира уходит из поля зрения в той мере, в какой он мог бы быть включен в оперативную концептуальную систему научных и философских рассуждений. "Объективность" мира в субъективистских теориях трактуется как более или менее детерминированная опытом логическая фигура в мышлении. Какие же основания для такой преимущественно агностической (по отношению к "объективному миру") позиции?

Принимаясь рассуждать о соответствии мира понятий (и научных в теории, и мифологических, когнитивных в обыденном сознании) "действительности", следует в целях чистоты научных рассуждений помнить, что второй компонент нашего сравнения (действительность) может либо вовсе не существовать, либо может существовать, но характер и формы этого существования далеко не соответствуют на-

шему понятию об этой "действительности". Иными словами, вполне возможно, что человек видит (чувственно воспринимает) и понимает (квалифицирует и классифицирует) мир не так, как он есть, а совершенно иначе, по-своему, по-человечески. Поэтому, подыскивая в своем сознании объекты подобного сравнения, нужно помнить, что в эмпирическом отношении это должны быть понятия о конкретных, осязаемых предметах, реальность которых может быть хотя бы как-то верифицирована не только самим исследователем, но любым человеком вне его социальной, расовой, культурно-цивилизационной или языковой принадлежности. Уже на этом этапе исследователь столкнется с рядом трудностей, поскольку окажется, что человек, находящийся на иной ступени культурного развития, видит и понимает мир в иных категориях, чем представитель технической цивилизации европейского типа. Но, даже если отбросить этот факт, отнеся его на счет количественных, а не качественных различий между первобытным и современным сознанием (например, представители первобытного или традиционного сознания не могут определить целый ряд явлений и предметов, но оперируя ими в деятельности, или иной пример: носитель этих же типов сознания не может в буквальном смысле увидеть того, что может видеть цивилизованный человек - изображения людей и предметов на фотографии, - но со временем научается этому), даже в этом случае легко заметить, что человеческое определение конкретно-физических предметов происходит не по их материальной, физической сущности, а по их функциональному предназначению. Получается, что собственно бытийные свойства осязаемых предметов (молекулярная и атомная структура) игнорируются нашим сознанием в пользу прагматически-функциональных потребностей. Зеркало для нас не стекло, а предмет, в котором можно увидеть свое отражение; стекло для нас не расплавленный песок, а предмет, которым можно закрыться от ветра, но сквозь который может проникать свет; ветер - не поток молекул, а воздух, гнувший ветки

деревьев, несущий листья и песчинки, развевающий нашу одежду, охлаждающий либо освежающий наше тело. Что касается артефактов, то для нас оказываются совершенно безразличными их собственно физические (эмпирические, материальные) свойства. Чаша для нас является таковой не потому, что это в одном случае осязаемый металл, в другом - запеченная глина, в третьих - кусок обработанного камня, и не потому, что у нее есть ручка (или нет), подставка, ножка (или нет), и даже не потому, что в ней пустота, которая, по мнению Мартина Хайдеггера, есть вещественная сущность чаши (См.Хайдеггер,1993:318), а потому, что в нее можно налить жидкость и выпить ее в торжественной обстановке. Иначе говоря, сущность чаши для нас не в ее материально-бытийных свойствах, а в ее функционально-гносеологическом предназначении. Именно по этой причине артефакты, как плоды нашей гносеологической функциональной деятельности не могут быть взяты в качестве объектов сравнения смысла в сознании и некоего "объективного" смысла вещей самих по себе. Остаются натурфакты.

Внимательное рассмотрение известных нам предметов органического и неорганического мира, не являющихся плодом человеческой деятельности, свидетельствует о том, что способ нашего видения этих предметов подчинен все тому же принципу функциональной включенности в нашу предметную прагматическую деятельность. Поэтому бамбук для нас оказывается деревом, кит - рыбой, солнце - раскаленным кругом, встающим на востоке и садящимся на западе, янтарь - камнем, а отражение солнечных лучей от Луны - лунным светом. Мы делим местность на горы, холмы, бугры, овраги, равнины, взгорья, подножья, спуски, площадки, возвышенности, уступы, низины и т.д., хотя мыслим таковыми совершенно различные осязаемые участки в зависимости от места, на котором находимся, вида деятельности, направления движения и т.п. Никто толком не может указать на границы единиц рельефа. Никто не скажет где лес пере-

ходит в редколесье, рощу, чащу или бор, гора - в овраг, река - в берег. Мы затрудняемся зафиксировать момент, когда пес становится псом и перестает быть щенком, веточка становится веткой, ручей - рекой, не говоря уже о таких уже непредметных естественных явлениях как день и вечер, как весна и лето. Мы противопоставляем животных человеку, виды животных друг другу, животных - растениям, кусты - деревьям и злакам, руководствуясь, в первую очередь, тем, какова роль, функция этих объектов познания в нашей жизни. Поэтому везде, где мы сталкиваемся с переходными или гибридными феноменами и оказываемся не готовыми четко квалифицировать их согласно существующей в нашем сознании системе координат, мы впадаем в раздражение или уныние. Но подобный "сбой" может произойти только тогда, когда внезапно расширяется сфера нашего функционирования и в нее попадают объекты, ранее бывшие нерелевантными для нашей деятельности. Таким образом, в своем сознании мы выделяем не элементы мира как таковые (поскольку у мира самого по себе нет элементов - во всяком случае, мы о них ничего не знаем как о вещах-в-себе), а элементы своей предметной или мыслительной деятельности, т.е. элементы реального и возможного опыта; мы не обнаруживаем смысл в мире, а осмысливаем мир, делаем мир осмысленным для нас. Сам по себе мир может быть вполне закономерен и детерминирован причинно-следственными связями и отношениями. Но называть это смыслом - означает приписывать миру собственные заблуждения и собственное ограниченное понимание. Поэтому с точки зрения ментализма смыслом можно именовать лишь собственно человеческое видение мира, человеческий способ членения мира на элементы и приписывание им тех или иных по-человечески понятых связей и отношений. "То, что мы все время слышим - это наше собственное эхо" (Франкл, 1990:110) и далее "...смысл - это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны"(Там же, 291).

Привязанность же этого видения к самому миру является проблемой следующего, более низкого порядка, касающейся размежевания методологических направлений внутри менталистского течения.

Говоря о менталистском понимании смысла, нельзя не затронуть вопроса об отношении ментализма к проблеме реальности. А.Лосев в чисто феноменологическом духе критиковал ментализм за чрезмерную оторванность от мира как мира-в-себе: “Отказывая сущности в ... для-себя-бытия, мы постулируем необходимым образом субъективизм и заранее чисто догматически предполагаем, что субъект все формирует и сущность сама по себе вне субъекта не существует. Это ничем не оправдываемая догматическая метафизика. Понятие субъекта гораздо менее ясно, чем понятие сущности, да если и становится ясным в результате анализа, то тут же неоспоримым делается и тот факт, что субъект - сам нечто происшедшее и образовавшееся из другого, более универсального источника и никак не может являться абсолютной инстанцией и критерием” (Лосев, 1990б:84). А.Лосев в запале критики не заметил, что все его доводы против субъекта как критерия бытия сущности в пользу ее для-себя-бытия - не более чем мысли и суждения собственно субъекта - самого Лосева, ничем, кроме запала и желания убедить не подтвержденные. Вопрос не в том, есть или нет сущностей вне человеческой психики-сознания, а в том, что является объектом нашего познания и что мы об этом объекте можем знать. Если сущности существуют “an sich”, то почему оппоненты ментализма не могут привести в доказательство их существования ничего, кроме веры в трансцендентное схватывание или непосредственное созерцание такой сущности. Любой акт социализации подобного “схватывания” или “непосредственного” восприятия свидетельствует о том, что субъект такого трансцендентного акта не может “передать” эту информацию другим субъектам и не может указать им пути для адекватного “схватывания”. В результате оказывается, что познание и обучение (как его разновидность) становятся возможными

либо через познание явлений (конкретно созерцаемых и подвергаемых предметно-мыслительным манипуляциям предметов) или же через трансцендентальное, методическое, понятийное познание (т.е. через познание в виде понятий, суждений и умозаключений, основанное на деятельности рассудка и разума). А это последнее, являющееся функцией познавательной деятельности индивида (субъекта), и содержит в себе в качестве основного элемента искомую сущность. Таким образом, в менталистском представлении не субъект является сущностью, но сущность является функцией деятельности субъекта. Справедливости ради, следует отметить, что в современной науке и философии только одно методологическое течение серьезно относится к реальности существования сущности в качестве вещи-в-себе - это феноменология. Все остальные в большей или меньшей степени признают реальное существование только мира вещей как явлений, как мира нашего возможного опыта. Иной вопрос: до какой степени то или иное методологическое течение ориентируется в построении своих теорий на этот мир вещей.

Рене Декарт был первым, кто последовательно провозгласил менталистскую методологию. Но было бы ошибкой считать, что до Декарта никто не предпринимал попыток увидеть в человеке не просто "носителя", но реального производителя смысла.

Элементы методологического онтологического субъективизма - ментализма - проглядываются у некоторых стоиков и у номиналистов. Однако до Декарта никто не поставил так категорично вопрос о человеке как подлинном субъекте языка и смысла. М.Хайдеггер, предпринявший весьма удачную попытку анализа понятия субъекта у Декарта и до него, пришел к выводу: "И до Декарта уже видели, что представление и его представленное отнесены к представляющему Я. Решающе ново то, что эта отнесенность к представляющему, а тем самым этот последний как таковой берет на себя сущностную роль

масштаба для того, что выступает и должно выступать в представлении как предоставление сущего" (Хайдеггер, 1993:125).

В этом смысле исследуемый Хайдеггером тезис Протагора "Человек - мера всех вещей, сущих - что они существуют, не сущих - что они не существуют", хотя и был первым собственно менталистским методологическим положением, однако его можно было бы соотнести скорее с кантовским пониманием протагоровского "сущего" в качестве природы как возможного опыта (См. Кант, 1993). Об этой формуле Протагора Мартин Хайдеггер пишет: "Человек каждый раз оказывается мерой присутствия и непотаенности сущего через соразмерение и ограничение тем, что ему ближайшим образом открыто, без отрицания отдаленнейшего закрытого и без самонадеянного решения о его присутствии и отсутствии. Нигде здесь нет и следа мысли, будто сущее как таковое обязано равняться на Я, стоящего на самом себе в качестве субъекта, и будто этот субъект - судья всего сущего и его бытия, добивающийся в силу этого своего судейства абсолютной достоверности и выносящий приговор об объективности объекта (как у Декарта - О.Л.)" (Хайдеггер, 1993:117). Точно так же оценен "субъективизм" Протагора и К.Поппером (См. Поппер, 1994, I:82). Если верить Попперу, субъективизм как индивидуализм сначала возник в виде политической идеологии во взглядах античных демократов (Ликофрон, Сократ, Протагор, Перикл) и выражался в форме идеи эгалитаризма и протекционизма государства (См. Поппер, 1994, I:133-139) и только в новейшее время стал онтологической и гносеологической доктриной. Античные "субъективисты" были гораздо ближе к апостериоризму, чем к априоризму. Таким образом, Протагор скорее может считаться предтечей взглядов Канта, чем Декарта. Аналогично оценил идеи Протагора и Ф.К.С.Шиллер, считавший его первым прагматистом.

Именно в вопросе детерминирования познавательной воли человеческого субъекта проходит водораздел между представителями

двух менталистских (субъективистских) методологических концепций - рационалистами и функционалистами. Взгляды функционалистов будут рассмотрены несколько ниже, пока же остановимся на основных положениях рационалистической методологии в вопросе о языковом субъекте.

Человек как субъект смысла и языка в рационалистической методологии - это конечная инстанция, отдельный индивидуум, собою, своим сознанием, своим личным опытом, своей личной экзистенцией определяющий истинный смысл, который для него есть "обеспеченное, достоверное" (Хайдеггер, 1993:132). Поэтому центральным в теориях смысла, ориентированных на рационалистическую методологию, оказывается не столько сам смысл, сколько процесс его постижения субъектом и методика этого процесса. Сам же процесс смыслопостижения в силу абсолютной субъективности человека оказывается не только моментом познания (как у Канта), но и моментом порождения бытия сущего. Каждый акт речи оказывается актом абсолютного смыслопорождения, проявлением абсолютной воли языкового субъекта. Отсюда интерес к речевым актам, коммуникативным ситуациям, прагматике речевого поведения.

Обсуждая в свое время проблему соотношения вкуса и гения, Иммануил Кант определял гения через понятие вкуса. И.Г.Фихте же поменял эти понятия местами, выдвинув на первое место гения. Эта идея была активно поддержана Ф.Шиллером, Ф.Шеллингом, А.Шопенгауэром, Ф.Ницше. Последний обосновал идею воли как центрального онтологического понятия. Следует полностью согласиться с Х.-Г.Гадамером, что неокантианцы именно вопреки Канту пытались "вывести всякую предметную значимость из трансцендентальной субъективности" (Гадамер, 1988:104), поэтому не следует смешивать идеи Канта и идеи неокантианцев. Неокантианцы (Коген, Наторп, Кассирер) в значительной степени подготовили индивидуально-рационалистически ориентированную лингвистическую методологию.

Однако, собственно рационалистическими в методологическом отношении стали лингвистические воззрения философов, вышедших из недр эмпирического позитивизма. Речь идет о двух логико-позитивистских школах - Венском кружке и Львовско-Варшавской школе, хотя последняя отличалась значительным методологическим разнообразием (от феноменологии Р.Ингардена, позитивистского реализма и функциональной праксеологии Т.Котарбиньского до умеренного рационализма К.Айдукевича и радикального логицизма А.Тарского и Я.Лукасевича).

Прежде чем продолжить обзор мы вынуждены опять оговорить терминологию. Термин "рационализм" в качестве определения рассматриваемого нами здесь методологического направления может вызвать значительные возражения, поскольку его употребление довольно расплывчато. В ряде работ встречается привязка понятия "рационализм" к теоретическим выкладкам Лейбница, Декарта, Спинозы, Гегеля в противовес "эмпиризму". Еще чаще термин "рационализм" используется как глобальная антитеза "интуитивизму" или "иррационализму". По нашему мнению, история философии и науки знала и знает множество теорий, которые, будучи идентичными в методологическом отношении, тем не менее расходились по линии "рационализм / иррационализм" или по линии "рационализм / эмпиризм". Таковы, например, младограмматизм и дескриптивизм в рамках позитивизма, или герменевтика и структурализм в рамках феноменологии. Поэтому, очевидно, придется различать рационализм методический (как способ анализа или прием познания) и рационализм методологический (как способ видения объекта и познавательной проблемы). Мы отдаем себе отчет в неудобствах, вызываемых такой омонимией терминов, тем более учитывая традицию употребления данного термина. Однако это неминуемо, поскольку термины "субъективизм", "индивидуализм", "персонализм" или "солипсизм" столь же двусмысленны и неточны. Термин "субъективизм" мы используем как

определение гносеологической позиции в противовес "объективизму", термин "индивидуализм" обладает явной этической коннотацией, термин "персонализм" исторически закреплен за одним из собственно реалистических, феноменологических направлений, а "солипсизм" представляет собой лишь частное и наиболее радикальное проявление того методологического свойства теории, которое мы здесь именуем рационализмом. По той же причине не совсем удобными являются и термины "логический позитивизм" или "неопозитивизм", поскольку всякое упоминание о позитивизме может сбивать читателя. Неопозитивизм мы относим к рационализму в качестве его частного проявления, а собственно позитивистскими считаем именно физикалистские теории, признающие реальность и истинность существования отдельных физических феноменов (фактов) как они есть "в-себе". Что же касается интуитивистских теорий в рамках рассматриваемого рационалистического методологического течения (вроде какого-нибудь субъективного интуитивизма или экзистенциализма), то такие теории пока не выдвинули какое-либо серьезное лингвистическое предложение (возможно, в силу явной привязанности языка к рациональной сфере познания). При всем разнообразии взглядов на язык, большинство исследователей понимает, что в человеческом языке только мизерная часть единиц носит иррациональный (эмотивный, собственно-волевой или сенсорный) характер. Впрочем, в значительной степени интуитивистски строят свою лингвистическую теорию представители когнитивной лингвистики, хотя и остаются при этом на принципиально тех же онтологических позициях, что и генеративисты. Поэтому, за неимением лучшего, остановимся на термине "рационализм", которым будем именовать всех представителей индивидуалистической менталистской методологии.

Основной теоретической проблемой рационализма является доказательство истинности смысла, поскольку последний априорно-субъективен и требует определенности. В этом смысле показателен

лозунг Л.Витгенштейна “все, что вообще можно выразить, можно выразить ясно; а о том, о чем нельзя говорить, следует молчать” (Витгенштайн, 1995:22). Проблема критерия правды неминуемо влечет за собой обоснование все новых и новых систем логических операций и новых методик доказательства истинности собственного или чужого суждения.. Непосредственные философско-методологические основания подобные теории находят у эмпириокритицистов Э.Маха, П.Юшкевича и неопозитивистов Л.Витгенштейна (периода “Логико-философского трактата”), Р.Карнапа, Б.Рассела, А.Тарского, Я.Лукасевича. Появляются лингвистические теории, построенные на логических рациональных основаниях. Мориц Шлик так выразил принципиальное расхождение позитивистского и нового, рационалистского понимания истины как смысла: “... согласно традиционному взгляду, истинность предложения состоит в том, что оно согласуется с фактами; по новому взгляду - теории когеренции - истинность предложения состоит в его согласии с системой других предложений” (Шлик, 1993:38). Практически все известные неопозитивисты начинали как позитивисты физикалистского толка. В критическом разборе истоков и основных течений аналитической философии, с которой связывают чаще всего рационалистические методологические изыскания, Барри Страуд отмечал: “Концепция онтологии Куайна является прямым продолжением расселовского метафизического проекта, но перед ним не встает вопрос: что же “действительно” включается в то, что мы говорим и думаем о мире? Не существует также проблемы обнаружения логическим анализом скрытых, но уже определенных “значений” вещей, которые мы знаем. Философ, подобно другим ученым, скорее творец, чем первооткрыватель” (Страуд, 1993:171) [выделение наше - О.Л.]. Так утверждается чистый ментализм рационалистской онтологии и удаляются из ранних логикопозитивистских концепций остатки феноменализма (“скрытые, но уже определенные “значения” вещей”). Если для позитивистов истинно

то, что действительно и эмпирически созерцаемо, то для рационалиста действительно то, что истинно, т.е. логически доказано. Так у П.Юшкевича читаем: “Повторяю, здесь не может быть речи о копиях и отражениях, ни о соответствии или согласии с действительностью. Даже более того: здесь “истина” и “действительность” совпадают между собой. Здесь нет отличной от истины действительности, относительно которой первая и оказывается истинной. Совокупность истин и составляет всю действительность. Действительность, в свою очередь, постольку действительна. поскольку она истинна” (Юшкевич,1995:258) [выделения наши - О.Л.]. Витгенштейн однозначно выводит истину мира из истины суждений и психических образов: “То, что элементы образа определенным способом соединяются друг с другом, демонстрирует, что точно так же соединяются друг с другом вещи” (Витгенштайн,1995:27) и, далее, “Если элементарное предложение истинно, то положение вещей существует, а если оно ложно, то положения вещей не существует” (Там же,47).

В основу рационалистских теорий практически всегда полагаются логические операции. Логицизм для рационалистической методологии это не просто методика, а именно онтологическое и гносеологическое основание. Л.Витгенштейн в “Логико-Философском трактате” писал, что “Логика - не теория, а зеркальное отражение мира” (Витгенштайн,1995:78). Опыт в рационализме либо отрицается полностью, либо отрицается как чувственный опыт, превращаясь в опыт логического познания, “Никакой опыт, - писал Витгенштейн, - не только не может отрицать ни одного закона логики, но и не может его подтвердить” (Там же,76). А это широко раскрывает дверь для любого априоризма. Непосредственная привязка смысла к речевым формам (высказываниям, суждениям) неминуемо ведет к признанию его единичности, фактуальности.

Лингвистическую и собственно методическую базу для рационалистической лингвистики подготовили бихевиористы и дескриптив-

сты (хотя их собственные методологические основания - чисто позитивистские). Многие из них стали основателями нового направления - генеративной лингвистики. Преимуществом и открытием новой методологии стал ее универсалистский, дедуктивный характер. Идеи универсализма, пришедшие из рационализма XVII-XVIII века вполне согласовались с асоциальным характером т.н. картезианской языковой личности, культивируемой в генеративистике, а позже - в лингвистической прагматике. Отличительная черта такого языкового субъекта - индивидуальность, противопоставленная социальности общества. Поэтому у Н.Хомского соотношение "индивидуальный // социальный язык" (интериализированный // экстериализированный) получает характер полного противопоставления по линии "натурфакт // артефакт": "Не существует какого-либо характерного критерия верности, относящегося к рассмотрению экстериализированных языков, так как такие языки являются обычными артефактами" (Chomsky, 1986:26). (О ментализме и априоризме теоретических построений Хомского и других генеративистов см. Gonet, 1991:167, Muszyński, 1991:16, D'Agostino, 1991:31)

Открытым, как правило, остается в рационалистически ориентированных концепциях языкового субъекта вопрос о темпоральных свойствах смысла. Наиболее четко в этом отношении определился сам основатель трансформационной лингвистики Ноэм Хомский, который отстаивает картезианскую идею о врожденных смыслах. У Хомского эта идея обретает лингвистические очертания: он говорит о врожденной языковой компетенции и именно ее, как натурфакт, противопоставляет артефактуальному социальному языку. Корни картезианства Хомского, по мнению польского историка науки С.Магалы, лежат в его (Хомского) политических убеждениях. Хомский, как анархист, выступил с резкой критикой бихевиористской идеи "табула раза", предоставляющей обществу возможность навязывать индивидууму через обучение и воспитание все, что угодно

(См. Magala, 1984). Поэтому его языковой субъект не только этнически универсален (вненационален), но и внесоциален. Задачей лингвиста Н.Хомский считает "описание внутренней компетенции идеального носителя языка" (Chomsky, 1965:4) [выделение наше - О.Л.], что свидетельствует о явно априористической, индетерминированной темпоральной позиции ученого.

Приложение 2.

Тетрихотомия в истории методологических классификаций

Четырехмерную, тетрихотомическую модель методологических подходов мы находим у Карла Поппера применительно к социологии и политологии: "биологический натурализм", "психологический или спиритуалистический натурализм", "этический или юридический позитивизм" и "критический дуализм". При этом Поппер сводит первые два течения к понятию историзма, которое трактует как принципиально внеличностный, внесубъектный подход. Иначе говоря, попперовское понимание историзма вполне согласуется с нашим понятием феноменализма, а его классификация исторических (натуралистических) теорий на биологические и спиритуалистические вполне соответствует нашей классификации феноменализма на позитивизм и феноменологию. Подобное наблюдается и в классификации противостоящих индивидуалистических течений. Попперовский критический дуализм, в рамках которого разделяется естественно-биологическое и социально-человеческое, очень напоминает наше понимание функционализма, хотя здесь параллель не столь очевидна. Скорее всего Поппер во время создания этой методологической модели еще не видел принципиальной разницы между логическим позитивизмом и функционализмом. То же касается и классификации методологий, предпринятой Имре Лакатосом (Лакатос, 1978). Он также выделил четыре типа методологических подходов в науке: индуктивизм, конвенционализм, фальсификационизм и методологию научно-исследовательских программ. Показательно, что все эти четыре методологии (за частичным исключением, разве что, индуктивизма) не выходят за рамки того, что мы в этой работе называем рационализмом. Индуктивизмом Лакатос называет одновременно физикалистский пози-

тивизм и определенные ответвления неопозитивизма. Очевидно, в силу пренебрежения онтологией он не сумел увидеть принципиальной разницы между позитивизмом и неопозитивизмом. Однако, если принять эту условность, можно без труда обнаружить то разительное сходство, которое наличествует в классификации Поппера, Лакатоса и в нашей классификации. Выделение Лакатосом тех же принципиальных направлений в методологии в рамках одного - рационалистского - только подтверждает нашу глобальную посылку о методологической тетрихотомии в современной науке, а также о функциональном, т.е. предметно-коммуникативном характере формирования методологического течения. То, что Лакатос выделил в рамках рационализма четыре методологических ответвления, принципиально дублирующих общую методологическую картину, говорит лишь о том, что методологические течения складываются в ходе дискуссионного противостояния между отдельными учеными, которые ищут себе союзников в таком противостоянии и невольно группируются в школы и направления. И это вполне естественно, что в каждой из методологий будут свои “ортодоксы” и свои “ренегаты”, “оппортунисты”, пытающиеся найти нечто среднее между “своим” течением и “смежным”. Поэтому то в рамках рационализма и можно обнаружить своих индуктивистов (позитивистов, т.е. тех, кто пытается совместить положения рационализма и позитивизма), своих функционалистов (Лакатос их называет “фальсификационистами”), своих феноменологов (у Лакатоса это его методология научно-исследовательских программ, очень перекликающаяся с теорией “парадигм” Т.Куна) и своих “ортодоксов”, или собственно рационалистов (в терминах Лакатоса - “конвенционалистов”). То же, что Лакатос выделяет все названные течения в рамках одной - рационалистской - методологии не вызывает никакого сомнения. Его анализ методологий - это не анализ подходов к познавательной деятельности, и даже не анализ научных подходов, а анализ логико-рациональных основ науки. Эту же особенность подметил и Т.Кун в “Замечаниях на статью И.Лакатоса” (Кун, 1978:272). Таким образом, фальсификация Лакатосом методологической классификации

Поппера только подтвердила научную ценность второй. Не менее интересна и классификация методологических направлений, правда, в эпистемологии, предпринятая в свое время Томасом Инглишем Хиллом в книге “Современные теории познания” (См. Хилл, 1965). Он принципиально размежевывает объективистские (“реализм” и “идеализм”) и субъективистские (“прагматизм” и “аналитическая философия”) направления. Правда, как и все рационалисты, Хилл в силу пренебрежения вопросами онтологии несколько смешал феноменологические и позитивистские теории. Его размежевание “отражательных” теорий на “реалистские” и “идеалистские” весьма зыбко, так как нет никакой явной разницы между “реальной действительностью” первых и “Абсолютной истиной” вторых, являющихся объектом познания. Во многих случаях сам Хилл противопоставляет т.н. “абсолютных” идеалистов и “абсолютных” реалистов, с одной стороны, т.н. “критическим” реалистам, с другой, осознавая, очевидно, феноменологическое родство первых в противовес позитивистскому физикализму вторых. Кроме того, Хилл отмечает и явную противопоставленность т.н. “критического идеализма” (П.Наторп, Г.Коген, Г.Риккер, Э.Кассирер) другим видам идеализма как явного субъективизма явному объективизму. Показательно, что при внимательном анализе классификации Т.И.Хилла можно обнаружить все ту же тетрихотомию как в общеметодологическом отношении, так и применительно к частным методологическим направлениям. Так, в пределах “идеализма / реализма” находим и собственно феноменологические теории (“абсолютный идеализм”), и отходы в сторону физикалистского позитивизма (“абсолютный реализм”), рационализма (“персонализм”) или в сторону функционализма (“критический идеализм”). То же наблюдаем и в его классификации теорий аналитической (рационалистской) направленности: феноменалистский анализ (на стыке позитивизма и рационализма), физикалистский анализ (на стыке рационализма и феноменологии), прагматический анализ (на стыке рационализма и функционализма) и собственно рационалистский анализ обыденного языка. В пределах же “прагматизма” Хилл выделяет как теории, тяготеющие к

физикалистскому позитивизму (эмпирический прагматизм В.Джемса), логическому позитивизму (инструментализм Д.Дьюи, операционализм П.Бриджмена или концептуальный прагматизм К.И.Льюиса) или к феноменологии (некоторые социологические ответвления в инструментализме, напр. построения Карла Маннгейма или Джорджа Г.Мида), так и теории, более менее последовательно противостоящие всем другим методологическим направлениям (например, гуманизм Ф.К.С.Шиллера). Нашу гипотезу о методологической тетрихотомии подтверждают также исследования Ю.Степанова, охарактеризовавшего существующие подходы к пониманию лингвистической структуры в различных школах лингвистики XX века. Он выделяет 4 принципиально различных ее понимания: дистрибутивное (в дескриптивизме), оппозитивное (в Пражской школе), функтивное (в глоссематике и московской школе) и генеративное (в порождающей грамматике) (Степанов 1975:230-248)

Приложение 3

Проблема инварианта в различных философских
концепциях

В иерархии методологически релевантных вопросов лингвистики проблема имманентных формальных характеристик смысла стоит, по нашему мнению, сразу же за рассмотренными выше проблемами локальных и темпоральных его свойств. Действительно, однозначно определившись в вопросе локализации смысла и его детерминированности или индетерминированности социально-историческими, физическими, биологическими или другими эмпирическими условиями, исследователь неминуемо приходит к проблеме: каков же смысл как объект изучения по своим формальным характеристикам, т.е. по имманентным атрибутивным свойствам содержащейся в нем информации и связанной с ними формой бытийствования смысла. Речь идет о том, как существует или как может быть смысл, в каких формах может он быть. Термин "быть", при этом, приходится использовать в самом обобщенном виде без принятого в онтологии разделения на "бытие" и "небытие".

Было бы ошибкой утверждать, что ответ на этот вопрос может быть дан независимо от ответа на основные методологические вопросы о локально-темпоральных свойствах смысла. Более того, если быть абсолютно точным, то ответ на данный вопрос является одной из составных основной методологической проблемы. Уже в античные времена вопрос о форме бытия смысла неразрывно сопрягался с вопросом об атрибутивных его свойствах. Уже тогда возникли идеи конкретности и обобщенности форм бытия и, соответственно о единичности и категориальности (вариантности и инвариантности) смысла как форм знания о бытии. Вспомним хотя бы Гераклитово положение

об изменчивости всего сущего (мир состоит из фактов и событий, а не из вещей) и Платоново видение сущностного мира форм и идей за изменчивым осязаемым миром.

Однако, прежде чем рассматривать то, как отразились споры об атрибутивных свойствах смысла на формировании основных лингвистических теорий, необходимо убедиться в корректности и правомочности постановки вопроса именно так, как мы его здесь ставим.

Необходимо уяснить: возможна ли и релевантна ли для науки (или шире - для познания) постановка вопроса о существовании инварианта как обобщенного, целостного и единого в своей категориально-парадигматической множественности смысла вообще. Вряд ли найдется хотя бы один контраргумент положению, что обобщенный смысл как форма существования единиц человеческого сознания реально присутствует в мозгу каждого человека. Достаточно попытаться определить нечто как единственное в своем роде вне его репрезентированности в классе. Точнее, оторвать любое единичное от класса. Поэтому ставить вопрос о том, есть ли инвариант вообще - некорректно. Вопрос следует сузить: есть ли инвариант вне сознания человека, есть ли он "объективно"? Проблема сразу же становится дискуссионной.

Казалось бы, проведя предыдущие разграничения и уточнения, мы прояснили проблему, подвели ее под необратимость однозначного ответа, однако на деле все прямо противоположно. Проблема еще более усложнилась, ибо, вместо того, чтобы просто ответить на довольно привычно и элементарно звучащий вопрос: есть ли инвариант в действительности и что это такое, нужно отвечать на вопрос, что такое действительность и что значит для нас факт утвердительного или отрицательного ответа на этот вопрос. Мы опять возвратимся к проблеме определения смысла как такового. Это еще раз доказывает высказанное ранее предположение, что ответ на вопрос о формах существования может быть решен (или, скорее, решаем) только в

процессе решения основного методологического вопроса о локально-темпоральных свойствах смысла как объекта исследования. Различные ответы на этот главный вопрос повлекут за собой и различное видение форм существования смысла.

Для исследователя, стоящего на менталистских позициях, проблема реальности или ирреальности той или иной формы существования смысла не смешивается с проблемой реальности или ирреальности той или иной формы существования мира вне сознания. Сущность проблемы здесь целиком сдвигается в плоскость субъекта познания. Любые высказывания по поводу т.н. "объективного" существования сами по себе становятся нерелевантными, если они никак не экстраполируются на познающего субъекта. Что бы ни говорили мы об "объективном" мире, это будем говорить мы, а значит будем судить не о мире, а о нашем чувственном или рациональном видении, состоянии, возникающем в процессе нашей совместной или индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, проблема единичности или инвариантности (обобщенности) в менталистской теории однозначно приобретает очертания смысловой проблемы: существует ли смысл в одной форме (актуальной) или в двух (актуальной и виртуальной)? В этом случае представители индивидуализма (рационалистской методологии) находят однозначно отрицательный ответ на вопрос об инварианте. Смысл персонален (глобальный индивидуализм) и единичен, фактуален (частный индивидуализм). Язык и сознание в таких теориях становятся лишь операциональным механизмом порождения индивидуальных смыслов, заданным биологическими факторами (врожденная языковая компетенция). Для функционалиста же наличие инварианта как формы бытия смысла (или, вернее, наличия смысла в форме небытия) - не подлежит сомнению. Здесь признается социальная детерминированность инвариантной формы смысла наравне с персональной детерминированностью его вариантной формы. Признание смысла функцией (переменной) общения и предметной деятельности неминуемо влечет за собой

признание реальности фиксации информации в виде единого множества частных функций. Мы совершенно согласны с В.Франклом, который сумел на примере понятия “смысла жизни” очень точно уловить функциональное видение инвариантно-общего смысла через онтологию частно-фактуального и общественно-инвариантного - через онтологию смысла личностного: “Нет такой вещи, как универсальный смысл жизни, есть лишь уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Однако мы не должны забывать, что среди них есть и такие, которые имеют нечто общее, и, следовательно, есть смыслы, которые присущи людям определенного общества, и даже более того, - смыслы, которые разделяются множеством людей на протяжении истории. Эти смыслы относятся скорее к человеческому положению вообще, чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями” (Франкл, 1990:288) [выделения наши - О.Л.].

Сходное понимание атрибутивных свойств смысла наблюдается и у представителей феноменологической методологии. Однако их инвариантный смысл - это объективный феномен (ноумен, сущность, закон, дух), явленный во множестве частных проявлений. В глазах эссенциалиста (феноменолога) вариативный, индивидуально-частный смысл (равно как и отдельные феномены) столь же вторичны и поверхностно ложны, сколь вторичны, ложны и надуманы “сущности” для позитивиста. Позитивистское отрицание реальности сознания так или иначе заставляет видеть локализацию смысла в отдельных материальных (эмпирически осязаемых) предметах или явлениях, отражение и обобщение которых - следствие теоретических познавательных актов. В феноменалистских теориях проблема форм бытия смысла сильно усложняется удвоением проблематики, поскольку влечет за собой проблему форм бытия в мире. Подчас трудно в высказываниях феноменологов или позитивистов отличить: где речь идет о мире, а где о смысле, выработанном сознанием человека. Однако, беря во внимание функциональный характер нашего ви-

дения проблемы, мы можем отметить, что при всем желании феноменологов и позитивистов говорить о мире, им приходилось говорить о человеческом понимании мира, т.е. о смыслах. Поэтому их теоретические находки и открытия вполне могут быть учтены в разработке функциональной методологии, особенно (если учитывать специфику поставленной проблемы) это касается разработки теории инвариантного смысла (понятия сущности) в феноменологических исследованиях.

Жан Пиаже, которого очень сильно волновала проблема инвариантности смысла и который стоял на однозначно апостериорных позициях в эпистемологии, полагал (со свойственным естествоведам стремлением к отражению объективной истины), что инвариант это не только специфичная форма человеческого познания, но и собственно закон природы. Как замечает сам Пиаже, идея инвариантности (системного единства и целостности) возрастает по мере удаления от сенсорной эмпирики к сознанию человека. Так, понятие инварианта трудно применимо к объектам физического неорганического мира, зато его уже нельзя обойти в биологии, поскольку здесь речь идет о самоизменяющихся (во времени и пространстве) организмах, одновременно остающихся самими собой (идея гомеостаза). Он писал: "Органические структуры проявляют - и это, заметим, в непосредственной связи с их функциональным характером - один аспект, неизвестный в физических структурах (если исключить самого физика), а именно то, что они соотнесены со значениями" (Piaget, 1971:75). Еще большая степень проникновения смысла (а, следовательно, и идеи инвариантности) в исследования психических и семиотических структур. Очевидно Пиаже чувствовал эту закономерность, но не смог интерпретировать ее как закономерность человеческого типа познания, а попытался объективировать, онтологизировать свои выводы, найти инварианту место в мире.

Мы же видим данную проблему следующим образом: нам не столь важно узнать, есть инвариант в мире или его там нет, сколько разобраться в том, что из себя представляет человеческий способ познания мира, каковы его механизмы и составляющие, каков характер смысловой информации, на основании которой человек судит о мире и, практически используя которую, планирует и регулирует свою жизнедеятельность. Поэтому нам просто необходимо, учитывая опыт личного и межличностного существования, разделить всю подобную информацию на коммуникативно-мыслительную и предметно-фактуальную. Первая непосредственно сопряжена с внутренними церебральными процессами переработки информации в мозге, вторая - с процессами чувственного восприятия и предметной деятельностью, направленной на внешнюю среду. Науки, изучающие вторую сторону человеческого познания (или, как кажется многим представителям этих наук, сами предметы внешней предметной деятельности), обычно именуются естественными. Они максимально ориентированы на данные органов чувств и видят свою основную задачу в наибольшей объективации этих данных (хотя само это стремление не может не вызвать удивления, поскольку самые "объективные" и "чистые" от субъекта познания данные все равно остаются данными и не становятся фактами внешнего мира). Тем не менее, данные этих наук чрезвычайно важны для решения поставленной здесь проблемы, так как они неоспоримо свидетельствуют в пользу принципиальной единичности и изменчивости мира нашего возможного опыта. Даже такая, казалось бы, стабильная и неоспоримая в своей самотождественности сущность, как человеческое сознание, с точки зрения естественных наук представляет собой всякий раз нечто новое, т.е. физически, химически и т.д. нестабильное явление. С другой стороны, данные сознания, наоборот, могут быть только инвариантными, статичными и стабильными. Нет ничего более инертного, чем человеческое сознание, если, конечно, под сознанием мы понимаем не про-

цессы познания, а совокупную картину мира, комплекс представлений о прошлом опыте и предписаний касательно опыта будущего. Отсюда и центральная проблема функционального понимания смысла: соотношение инвариантной информации сознания и вариативной информации коммуникативно-предметной деятельности. Несколько в иных терминах эта проблема выдвинута на первый план Жаном Пиаже: центральными понятиями функционализма являются понятия функции (динамического отношения, преобразования, изменения) и понятия тождества (инвариантной стабильности системы) (См. Piaget, 1971:93).

Существенным моментом, сближающим позиции функциональной и феноменологической методологий, является признание возможности наличия инвариантного смысла наряду со смыслом вариативным. Эту проблему нельзя ни в коем случае смешивать с проблемой локализации смысла, а также с проблемой темпоральной детерминированности смысла, поскольку в классически позитивистских и рационалистских теориях инвариантность смысла относится только на счет неких факторов, выходящих за пределы бытийности смысла как объекта исследования. В одних случаях инвариантность может приписываться естественным уложениям человеческого сознания, исходящим из несовершенства человеческого сознания по природе. В других - инвариант является неким конструктом, произвольно созданным и конвенционально принятым. Обе эти установки отличны как от феноменологических, так и от функциональных уже в силу того, что смысл понимается либо как конкретно-единичное субъективное понимание (логический или речевой факт), либо как факт отдельного наличного существования. В этом случае реальными оказываются только единичные смыслы, а инвариантные смыслы выводятся в сферу научно-логического конструирования. Именно поэтому язык в таких теориях оказывается конструктом на базе речевой деятельности. Практически никто из генеративистов или прагмалингвистов не скрывает, что

главный объект их исследования - речь, в то время как их модели языка не попытка смоделировать объект, а чисто конструктивное средство описания речевых актов (об этом см. Fodor, 1980, Saporta, 1967:20-22; Semantics, 1952; Semantics, 1972; Semantics, 1974;).

Одной из разновидностей конструктивистского понимания инварианта является подведение понятия инварианта под математическое понятие множества в т.н. “аналитической философии”. Б.Рассел так обосновывал свой “анализм”: “Положим, перед вами n объектов и вы желаете знать, сколько путей имеется чтобы ничего не выбрать, или что-то выбрать, или же выбрать все n . Вы обнаружите, что число путей 2^n . Если выразить это в логическом языке: класс из n -ого количества элементов имеет 2^n подклассов... Применяя это, как сделал я, ко всем вещам во вселенной, мы приходим к заключению, что классов вещей больше, чем вещей. Отсюда следует, что классы не являются вещами... классы - это просто подсобное средство в рассуждении” (Рассел, 1993:24). Мы же хотим обратить внимание на очень знаменательное замечание, которым Рассел сопровождает этот пассаж: “Но поскольку никто не знает точно, что означает слово “вещь” в этом утверждении, не очень-то легко точно сформулировать, что именно удалось доказать” (Там же). Оно весьма симптоматично, поскольку речь у Рассела идет не о “вещах” самих по себе (“в-себе”), а о фактах как смысловых функциях, т.е. о наших представлениях и понятиях о конкретных объектах нашего созерцания и размышления. А их количество не менее велико, чем количество способов их когнитивного представления в виде класса. В этом смысле “вещь” - тоже “подсобное средство в рассуждении”. Другое дело, что теория Кантора, на которую ссылается Рассел, помогает понять, что специфической чертой нашего - человеческого - мышления является именно инвариантность, а не фактуализм. И “вещи”, и “классы”, будучи смыслами, говорят нам не о мире, а о нашей методологической позиции.

Понятию инварианта чужда идея простого математического множества. Идея стола не сводится к элементарной совокупности представлений о конкретных встреченных в опыте столах. Это интегральная информация, в которой в равной степени присутствуют сведения о каждом из известных столов или о столах, могущих быть известными. Именно наличие подобной информации и позволяет идентифицировать встречающиеся в предметной деятельности эмпирически осязаемые предметы в качестве столов, независимо от их формы, размера, цвета, материала и под. Вместе с тем, любой из известных по опыту предметов в силу определенных условий предметной деятельности и в силу определенной прагматики коммуникативной деятельности может быть подведен под некоторое общее понятие (например, стола) или же, наоборот, выведен из этого класса. Каждый носитель языка и каждый, кто имел хотя бы небольшой опыт неконформистской коммуникации (дискуссия, спор, диспут, ссора), встречался с ситуацией, когда по поводу того или иного предмета, явления, свойства или действия высказываются самые различные квалифицирующие высказывания. Самым частым и весомообразным аргументом в подобных спорах является высказывание, что ЭТО нельзя назвать ТАК-ТО, поскольку "в действительности" ЭТО нечто совершенно иное, а ТО, что "следует" называть ТАК-ТО, с ЭТИМ не имеет ничего общего. Иногда, правда, используется и более изощренный "лингвистический" аргумент, вроде того, что собеседник просто недостаточно компетентен и грамотен, поскольку не знает, что "на самом деле" значит такое-то слово. Создается впечатление, что один из собеседников либо сам является демиургом единого общепринятого или, скорее, общепредписанного смысла, или непосредственно у такого демиурга консультируется (поскольку условный и искусственный характер так называемых норм и законов в этом случае не принимается, а социальное понимается как объективное). Речь вовсе не идет об окказиональных номинациях, резко отличных от общепринятых, но об обыч-

ной референции уже существующих наименований применительно к отдельным объектам предметной деятельности. В таких случаях говорящий прекрасно понимает, что дело вовсе не в чисто механическом прибавлении или вычитании некоего объекта из простого математического множества ("вариативного класса"), а в сущностном подведении некоего единичного смысла под единый и целостный инвариант, выступающий в качестве классификационного эталона картины мира в сознании данного индивида. Следовательно, инвариант - не научный конструкт, не фикция, а вполне психологически реальное и функциональное явление. "Говоря об общем значении как об одном из типов структуры категориального значения, мы имеем в виду не абстрактную форму лингвистической теории (конструкт - О.Л.), а явление языковой и речевой онтологии" (Бондарко, 1978:164) [выделение наше - О.Л.].

Реальность инвариантного смысла признают и феноменологические, и функциональные теории, но по-разному трактуют его пространственную бытийность и временную детерминированность. Рассмотрим весьма знаменательное в этом отношении положение Х.-Г.Гадамера: "Есть, однако, еще и другая диалектика слова, надеждающая всякое слово внутренним, как бы умножающим его измерением: всякое слово вырывается словно бы из некоего средоточия и связано с целым, благодаря которому оно вообще является словом. Во всяком слове звучит язык в целом, которому оно принадлежит, и проявляется целостное мировидение, лежащее в его основе. Поэтому всякое слово позволяет присутствовать в настоящий момент его сказывания также и всему несказанному, с которым оно соотносится, отвечая или указывая. Оказиональность человеческой речи не есть какая-то случайная слабость ее способности к высказыванию, скорее она является логическим выражением жизненной виртуальности речевого процесса, который вводит в игру всю целостность смысла, хотя и не способен высказать его полностью. Человеческая речь ко-

нечна таким образом, что в ней заложена бесконечность подлежащего развертыванию и истолкованию смысла (Гадамер, 1988:529-530) [выделение наше - О.Л.].

Как видим, основные посылки Гадамера, касающиеся самого факта признания наличия инвариантного смысла наряду с вариантным (вариативным), совпадают с аналогичной посылкой функционализма. Однако разногласия проявляются уже в развитии положения: все многообразие речевых проявлений сводится к "жизненной виртуальности речевого процесса", в котором "заложена бесконечность подлежащего развертыванию и истолкованию смысла". Последняя фраза делает (трактует) язык свободным от речи, доречевым по онтологической темпоральности. В терминах Соссюра это положение можно было бы выразить следующим образом: в речи нет и быть не может ничего, чего бы не было в языке. Функциональная же методология трактует язык в прямо противоположном смысле: в языке нет ничего, чего не было в речи (как у Соссюра). Именно в этом состоит суть апостериорности функционализма. Вместе с тем, речь в функциональной лингвистике не сводится к простому использованию языка. Это не язык в действии, не линейное или процессуальное проявление или форма языка, но вербальное (языковое) выражение мышления, мысль, выраженная языковыми средствами. В таком случае не только возможно, но и необходимо деятельное присутствие языкового субъекта, использующего язык для установления функционального контакта с другими языковыми личностями и для выражения собственных мыслей. Только верифицировав путем использования в речи те или иные единицы, субъект запоминает их в качестве языковых инвариантов для будущего использования. Следовательно языковой инвариант в функциональной методологии темпорально вторичен по отношению к своему речевому варианту в генетическом плане, но функционально он всегда виртуален, наличествует до и вне своего использования в речевых нуждах. По логике феноменологической

методологии все новое появляется из бесконечного многообразия объективного языка, по логике же функционализма - все новое появляется из отношения активно действующего сознания в ходе предметной деятельности и только затем фиксируется в качестве инварианта в индивидуальном субъективном языке, откуда может распространиться в такие же идиолектные системы других индивидов, включенных в совместную предметно-коммуникативную деятельность. Отсюда еще один важный вывод, разводящий феноменологический и функциональный подход: индивидуальный язык конкретного субъекта в качестве варианта общего (диалектного, социолектного, национально-этнического и под.) языка первичен в онтологическом плане по отношению к своему инварианту, а не наоборот, как в феноменологии. Иначе говоря, не идиолект является формой социального языка, а именно та или иная социальная форма (литературный язык или территориальный диалект) являются формой, атрибутивной характеристикой идиолекта. Аналогичные рассуждения находим и у некоторых прагматистов (Аддисона У. Мура, включающего общество в структуру личности, или Льюиса Э. Хана; см. Хилл, 1965:321).

Несомненно, наибольшая заслуга в постановке и разработке проблемы соотношения варианта и инварианта принадлежит апологетам феноменологической методологии. Именно у Платона, Аристотеля и их последователей мы находим наиболее существенное положение методологии эссенциализма, согласно которому варианты суть конкретные представители некоторого единого инварианта, реализации некоторого замысла, в процессе воплощения которого инвариант (сущность) остается неизменным, сохраняя свою целостность, самоидентичность, единство всех имманентных свойств своего "в-себе-бытия". Именно эта идея впоследствии мифологизируется в христианских понятиях Троицы (триединства) и эманации Духа (смысла), при котором целое, эманлирующее в частность, не изменяется, а частность (единичное, конкретное) является одновременно

отдельным феноменом и составной целого. Именно эта идея стала ключевой в феноменологии духа Г.Гегеля, феноменологии имени А.Лосева и герменевтических эссенциалистских построениях М.Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. Первое серьезное целостное теоретическое решение проблемы инвариантного смысла предпринял Г.В.Ф.Гегель. В его представлении отношения инварианта и варианта должны рассматриваться в плане соотношения общего и единичного, внутреннего и внешнего, цели и действительности, сущности и явления, "в-себе-бытия" и "для-себя-бытия". Последовательно продолжил идеи своего учителя и К.Маркс, возведший понятие сознания в ранг общественного реального феномена. Эссенциализм Маркса в противопоставлении более позитивистским взглядам его последователей прекрасно раскрыт К.Поппером во второй части его "Открытого общества...". Сущность эссенциалистского (феноменологического) понимания соотношения индивидуальных языковых способностей и национального социолекта, а также отдельных этноязыков и человеческого языка как такового Гадамер выразил следующим образом: "Но то, что отдельные слова одного языка в конечном счете согласуются с отдельными словами другого языка " объясняется тем, что "все языки суть развертывания единого единства духа" (Гадамер, 1988:500).

Нельзя не согласиться с Гегелем, когда он в свойственной ему манере диалектического объединения реалий и идей, писал: "Если о чем-нибудь ничего больше не высказывается, кроме того, что оно есть некоторая действительная вещь, некоторый внешний предмет, то его высказывают только как самое всеобщее, и тем самым выражено скорее его равенство со всем, нежели отличие от другого. Если я говорю: "единичная вещь", то я равным образом говорю о ней скорее как о совершенно всеобщем, ибо "все" суть единичная вещь; и равным образом "эта вещь" есть все, что угодно. Если я точнее обозначаю "этот клочок бумаги", то всякая и каждая бумага есть некото-

рый "этот" клочок бумаги, и я во всех случаях высказал только всеобщее. Если же я захочу прийти на помощь речи, которая по своей божественной природе способна непосредственно претворять мнение в нечто обратное, превращать в нечто иное, и таким образом даже не давать ему слова, - если я захочу прийти ей на помощь тем, что укажу на этот клочок бумаги, то я узнаю на опыте, что такое на деле истина чувственной достоверности; я указываю на него как на некоторое "здесь", которое есть "здесь" других "здесь", или само по себе есть простая совокупность многих "здесь", т.е. нечто всеобщее" (Гегель, 1992:58-59).

Данный пассаж в качестве радикальной категоризирующей методологической позиции как нельзя лучше демонстрирует взгляд Гегеля на проблему инварианта и варианта. Для Гегеля, таким образом, вариант оказывается тем, что для позитивистов инвариант - не более, чем плод научного вымысла. Реален (у Гегеля) только инвариант - всеобщее, обладающее разными модусами (ипостасями) бытия. Однако, в приведенной цитате есть нечто смущающее. А именно: аргументы в пользу невозможности чувственного осязания единичного в противовес мышлению всеобщего. Гегель прав, когда утверждает, что всякое чувственное осязание у человека всегда сопряжено с мышлением, а поскольку человеческое мышление - это категориальное мышление, то в каждом акте чувственного восприятия не только присутствует, но доминантно, детерминационно присутствует момент всеобщности, инвариантности. Это же подтверждают и работы других философов (См. Копнин, 1973:132, Сабошук, 1990:61-80). В пользу этого свидетельствуют и факты языкознания (нельзя назвать единичную вещь, чтобы это же название не было бы одновременно и названием других вещей; нет такого языкового значения, которое бы не было категориальным значением), и факты психологии (нельзя воспринять нечто, никак не определившись в том, что именно воспринимаешь, т.е. не отнеся объект восприятия к некоторому классу из со-

вокупности известных классов; нельзя ощутить, чувственно воспринять некоторое свойство, не восприняв его одновременно как свойство чего-то определенного, как некоторое свойство, отличное от других свойств, как разновидность некоторого класса свойств). И.Кант писал: "... рассудок может предварять даже ощущения, составляющие собственно качество эмпирических представлений (явлений)" (Кант,1993:87).

Однако наша жизнедеятельность не сводится только к мыслительной или чисто психической деятельности, тем более она не сводится к семиотической или, конкретнее, к языковой деятельности. Значительную часть нашей жизнедеятельности занимает чисто предметная деятельность, которая вступает в постоянное противоречие с мыслительно-семиотической, поскольку постоянно в ходе предметной деятельности возникают трудности и сбои процессов узнавания и квалификации некоторых объектов как "действительных" представителей некоторого класса. Именно практика возможного опыта предметной деятельности не позволяет уравнивать понятия мыслительного всеобщего и чувственного всеобщего. Мыслить стол как класс (вернее, знать, помнить о столе как классе) и мыслить некоторый в данный момент осязаемый предмет как стол - не одно и то же. Различие представлено нами выше в дихотомии "генерализация // референция". В первом случае наши понятия заставляют наши чувственные органы находить в мире предметы, которые могут быть подведены под идею стола, а во втором - наши чувства заставляют наше мышление решать загадку предметной деятельности, а именно - что это, которое мы сейчас чувственно воспринимаем.

Есть еще один аспект соотношения варианта и инварианта. Это динамический аспект, т.е. собственно аспект бытия смысла в противовес его возможностному существованию, т.е. аспекту его небытия. Нельзя себе представить ситуации мышления, когда, мысля некоторый предмет, явление, процесс, признак или свойство, мы могли бы

одновременно мыслить свой объект во всех возможных (или, хотя бы, во всех известных нам) связях и отношениях, во всех его структурных и функциональных деталях и подробностях, во всех ипостасях и модусах проявления. Мысля стол в конкретной ситуации предметной деятельности, мы знаем о столах больше, чем осознаем это в данный момент. Каждый лингвист, имеющий отношение к иностранным языкам, знает, что существуют понятия активного и пассивного владения языком. Мы гораздо больше знаем, чем умеем употребить. Мы гораздо больше можем понять, осознать, "принять", "получить" в виде послания от кого-либо, чем образовать самостоятельно. То, что подавляющее большинство людей - читатели, зрители, слушатели, и только очень немногие (и то в ограниченной области деятельности и в определенный период жизни) способны создать нечто принципиально новое, является очень поверхностным, грубым и очевидным доказательством того, что смысл, наличествующий в нашем сознании в модусе системной инвариантной потенции (модусе покоя, или, как писал А.Лосев, "подвижного покоя"), гораздо более сложное явление, чем актуальный смысл конкретного мыслительного акта, т.е. смысл в модусе движения.

Все сказанное позволяет несколько по-иному взглянуть на сущность различий между инвариантным и вариантным смыслом, поскольку оппозиция "общее//единичное" оказывается недостаточной для их различения. Это только один из аспектов проблемы, который можно охарактеризовать как структурный аспект, поскольку он касается внутренней структуры смысла. Не менее, а может быть и более важен второй, функциональный аспект. Здесь, наверное, более приемлема оппозиция "покой // движение" (в онтологическом отношении, возможно, была бы удачной попытка использовать здесь пару "небытие // бытие") или более часто используемую (с подачи все тех же феноменологов) пару "потенция // акт". При всей кажущейся идентичности пар "покой // движение" и "потенция // акт", между ними, все

же, очень большая разница. В понятии потенции так или иначе просматривается идея телеологической необходимости, а также, что еще менее приемлемо для нас, идея онтической первичности по отношению к акту, как неминуемой реализации и продукту, отпечатку инвариантной модели. Потенциальность - это свойство инварианта предшествовать варианту в процессе использования, а не предшествовать ему онтически. Поэтому функциональной методологии ближе понятие "покоя". К сожалению, функциональное понимание покоя теоретически разработано слабо. Современная философия предпочитает говорить о формах мышления, под которым однозначно понимается модус актуального бытия, понятие же сознания практически не отделяется от мышления в аспектуальном отношении. В "Философском энциклопедическом словаре" читаем, что сознание - это "высший уровень психической активности" (ФЭС, 1983:622). Модус же временной невостребованности смысла, как правило, не затрагивается. Создается впечатление, что одновременно в актах мышления или в других динамических состояниях сознания задействованы все наличествующие в сознании смыслы. Такой способностью может обладать либо непосредственно демиург, либо объективно существующее коллективное сознание (общественное сознание в его марксистской трактовке), но не личностное человеческое сознание. Если взглянуть на смысл как на личностный смысл, сразу же встанет вопрос: что происходит с теми знаниями индивида (даже касающимися объекта данного акта коммуникации или предметной деятельности), которые оказываются непосредственно незадействованными в этом акте? А как оценивать ту информацию, которая остается невостребованной на протяжении всей жизни человека и наличие которой в сознании индивида обнаруживается только в экстремальных случаях? Многим людям приходилось иногда удивляться собственной осведомленности, о которой они даже не догадывались. Потенциальные знания - это такая же реальность, как и явленные, актуализирован-

ные. Небытие как модус существования инвариантного смысла вовсе не означает отсутствие этого смысла в психике-сознании человека.

Говоря о собственно функциональном понимании инварианта в противовес феноменологическому (чисто структурному или эйдети-ческому), следует четко размежевать два различных аспекта проблемы обобщения: макрообобщение смысла (категориальный аспект) и микрообобщение смысла (понятийный аспект). Первый касается сведения когнитивных понятий в категории (классы понятий) и выведения когнитивного понятия из категории, а второй - собственно образования когнитивных понятий на основе частнофактуальных смыслов (актуальных понятий). Если подходить к проблеме с логико-позитивистских позиций, то, вероятно, не найдется достаточно убедительных аргументов для подобного размежевания, поскольку всякое обобщение, с точки зрения позитивистов, это не более чем логический конструкт, следовательно, любое такое обобщение может трактоваться как класс или как понятие. С точки зрения феноменологии, категория - это наиболее общее понятие (хотя критерии такой степени обобщения не совсем ясны). Нам кажется, что проблема должна быть поставлена в функциональном ключе, т.е. рассмотрена с точки зрения прагматической ценности или функциональной релевантности для процесса смыслообразования и состояния смыслосохранения.

Релевантность, значимость или ценность (value) единиц и критериев является одним из центральных понятий функциональной методологии. Его можно встретить в качестве базисного понятия и в семиотике Соссюра, и в прагматизме Джемса и Шиллера, рассматривавших понятие истины через понятие "ценности", и в социально-психологической доктрине Выготского. Нас интересует не столько нахождение определенного количества фактов или теоретических и методологических принципов, сколько их значимость, функциональная ценность, их онтологическая и гносеологическая сущность.

Когнитивным понятием можно считать такой обобщенный смысл, который виртуально включает в себя парадигматический класс частных актуальных смыслов, т.е. относится к ним как инвариант к вариантам. Категория же - это то же когнитивное понятие, но включающее в себя парадигматический класс других, более частных когнитивных понятий. Категория относится к входящему в ее состав когнитивному понятию как общее к частному. Поэтому можно определить отношение "категория - когнитивное понятие" как структурное отношение в системе (в состоянии смыслохранения), а "когнитивное понятие - актуальное понятие" как функциональное отношение в мыслительном процессе. Мыслительный процесс при этом можно трактовать и как процесс смыслообразования, и как процесс смыслопользования, хотя чистого пользования ранее образованными смыслами практически никогда не бывает. Поэтому, как нам кажется, более важным для проблемы соотношения между инвариантным и частными (фактуальными) смыслами является именно процесс смыслообразования.

В ходе образования когнитивного понятия (единицы инвариантного смысла) происходит: а) поиск места создающемуся понятию в категориальной структуре психики-сознания и б) обобщение частных фактуальных смыслов в единое понятие. Эти два процесса неразрывны, но не тождественны. Как нельзя вывести когнитивное понятие чисто априорно из системы понятий простым умозрительным способом, так нельзя его образовать, основываясь на чисто фактуальной информации, не опираясь на хотя бы самую примитивную систему когнитивных понятий, поскольку совершенно непонятным будет то, что же познается. Именно в этом методологическом дуализме и состоит функциональное понимание эпистемологии смысла, о которой мы поговорим ниже.

Как соотносятся частный, фактуальный смысл (или, скорее, смыслы) и смысл инвариантный? Чтоб ответить на этот вопрос следует выяснить понятие факта. Что же именовать фактом в функцио-

нальной онтологии? Можно пойти за ранним Витгенштейном и назвать фактом все сущее, т.е. находящееся в модусе актуального бытия. Но в этом случае останется весьма загадочным (если не мистическим) принцип сведения в одно целое чувственно осязаемых предметов и приписываемых им атрибутов. Этот путь нас рано или поздно приведет к феноменологии (что верно отметил К.Поппер в своих критических замечаниях относительно ранних взглядов Л.Витгенштейна). Можно было бы пойти вслед за самим Поппером и определить факт как осязаемую вещь в процессе ее осязания, противопоставив его тем самым смыслу, приписываемому фактам в динамических когнитивных актах или виртуальных когнитивных состояниях. В этом случае придется признать, что "факты, как таковые, лишены смысла; они могут его получить только через наши решения" (Поппер, 1994, II:302). Такое понимание могло бы быть вполне приемлемым, если бы не трудности с определением факта как объективного феномена. В лучшем случае мы, вслед за Кантом, сможем охарактеризовать факт как нечто совершенно неопределенное, вещь (но как тогда быть с положением вещей?), при восприятии которой мы образуем (у нас образуются?) фактуальные смыслы. Эти смыслы являются наиболее конкретным осознанием факта как такового. Иначе говоря, только в этот момент мы можем говорить о наличии фактов. В остальное время (вне конкретного восприятия) мы можем говорить о фактах как моментах реставрации в памяти прежних состояний конкретного восприятия на основе инвариантного смысла. Показательно, что об инвариантном смысле факта говорить (в смысле "мыслить") вообще невозможно. Именно в этом заключается феномен небытия инвариантного смысла. Инвариантный смысл - обобщенное знание о факте - незримо присутствует в каждом акте осознания факта, но мыслить факт инвариантно нельзя. Поэтому бытийствует только фактуальное знание, инвариантное же знание наличествует только в модусе небытия.

Экстраполируя сказанное на языковую деятельность, мы склонны рассматривать язык как инвариантное знание о возможном опыте коммуникации, речевую деятельность - как актуальный опыт языковой коммуникации, речевое произведение - как фактуальный смысл конкретного коммуникативного акта, а сами осязаемые предметы и физико-физиологические средства коммуникации - звуковые, зрительные или кинестетические сигналы - собственно лишенными смысла фактами.

Таким образом, теоретически необходимым оказывается выделение в сфере смысла двух принципиально различных типов единиц - инвариантных (языковых, когнитивных) и фактуальных (речевых, когнитивных). Последние при этом явно распадаются на непосредственно-когнитативные и опосредованно-когнитативные. Разница между ними может проявляться только в функциональном гносеологическом отношении и совершенно нерелевантна в онтологическом плане. Так, мы можем мыслить некоторый предмет, его свойство или положение вещей касательно некоторого предмета в процессе непосредственного восприятия предмета (факта) или непосредственно участвуя в ситуации проявления некоторого положения вещей (состояния фактов), но можем мыслить факты и их состояния вне непосредственной фактуальной ситуации. В первом случае речь следует вести о непосредственно-когнитативных фактуальных смыслах, а во втором - об опосредованно-когнитативных. В любом случае, оба типа смыслов являются строго фактуальными и должны быть противопоставлены инвариантному смыслу. Показательно, что при всей своей близости к функционализму, Д.Юм, тем не менее, не смог выйти за пределы названных двух типов фактуальной информации ("впечатления как сильные перцепции" и "идеи как слабые перцепции или копии более сильных перцепций"; см. Юм, 1965:601), хотя несомненной его заслугой является обоснование их строгого размежевания.

Иммануил Кант пошел значительно дальше Юма в этом вопросе. Он различал суждения восприятия ("в сознании моего состояния") и опытные суждения ("в сознании вообще"). Речь идет о том, что каждое из понятий нашего сознания, независимо от степени их структурно-категориальной сложности, может выступать в сознании либо в качестве целостного знания как интегрированного эталона (вне какого-то конкретного состояния сознания, "в сознании вообще") - когнитивное понятие, либо в качестве модального отнесения в пространственно-временном плане (в определенном состоянии сознания) - актуальное понятие. Мы рассматриваем процесс чувственного восприятия, по отношению к которому, собственно, Кант и применял термин "суждения восприятия", как один из процессов референции, т.е. отнесения понятия к факту или генерализации (категоризации), т.е. отнесения факта к понятию.

Для мыслительного процесса не столь важно, воспринимается ли предмет мысли в момент мышления или нет. Чувственное восприятие - всего лишь один из частных случаев возникновения фактуальной информации. Поэтому мы рассматриваем суждения восприятия Канта в несколько расширенном плане: как актуализированные, варианты смыслов в противоположность опытным суждениям как виртуальным, инвариантным смыслам. Именно поэтому мы объединяем юмовские впечатления и идеи в понятии актуализированного смысла. В онтологическом отношении совершенно все равно, мыслим ли мы понятие "жидкость" как нечто, противопоставленное телам и газам, как нечто, способное литься или наполнять собой сосуд, как нечто, что можно пить, что может испаряться при нагревании или замерзать при охлаждении, или же представляем (или чувственно воспринимаем) себе "жидкость" в виде молока, воды, вина, масла и под. Во всех случаях мы конкретизируем некоторое инвариантное знание собственного сознания, выделяя в нем определенную черту и противопоставляя ее в модальном отношении всем остальным чертам и частным свойствам.

Неважно, выделяем ли мы в понятии "молоко" то, что это жидкость или то, что это продукт, выделяемый молочными железами самок животных, или то, что это некоторая субстанция (категориальные, генерализирующие признаки) или же мы выделяем в нем референтивные свойства: "продукт питания", "бывает кислое, свежее, коровье, козье", "белого цвета", "продается в бутылках или пакетах в определенных магазинах", "полезно пить детям" и под. - всегда мы образуем некоторый фактуальный смысл, который обслуживает нашу конкретную коммуникативно-предметную деятельность, нацеленную на факт, и лишь частично раскрывает наше целостное знание о факте как представителе класса, как элементе нашей картины мира. В этом целостном инвариантном смысле все частные моменты, из которых он складывается, сосуществуют нерасчлененно, они равноценны в функциональном плане. Мы не можем хранить информацию о ели как дереве, не подразумевая при этом, что это хвойное дерево, вечнозеленое, не садовое, растущее чаще вне домашнего хозяйства, символ Нового года (культурологические аспекты), имеющее наклоненные ветви, расширяющееся от верхушки до низу, но мы можем обо всем этом в отдельности сказать (подумать): "Ель выросла", "Ель пожелтела и осыпалась", "Дрозд сел на ель", "Ель спилили", "Ель - хвойное дерево", "Вдали увидели ель", "Ель шаталась от ветра и трещала" и т.п. В каждом случае, передаваемое разными формами (или одной и той же формой) слова "ЕЛЬ" актуальное понятие о ели чем-то отличается от нашего общего, целостного знания о ели, содержащегося в виртуальном, инвариантном понятии. Следовательно, инвариантное понятие (обобщенное знание) есть, его можно помнить, но мыслить его нельзя. Последнее обстоятельство заставляет нас задаться вопросом - представляют ли виртуальный и фактуальный смыслы разные ипостаси одного и того же явления, или же это две различные сущности?

Определение смысла в структурно-функциональном плане неминуемо влечет за собой помещение его в сферу динамического соотношения психики-сознания (как единой инвариантной системы знаний и предписаний, находящейся в состоянии подвижного покоя) и предметно-коммуникативной деятельности (в частности, реактивного, сенсорного, волевого и эмотивного взаимодействия с окружающей средой). Такой акт сразу же приводит к размежеванию инвариантной и фактуальной информации.

Инвариантная информация - это не только целостная, единая и совокупная информация о факте (его свойстве или отношении к другим фактам), но и стабильная, потенциальная, виртуальная информация о всех известных актах взаимодействия личности с данным фактом (актах категоризации или референции). Поэтому всякое выведение инвариантной системы из состояния равновесия должно неминуемо вести к ее разрушению как таковой. В категоризирующих теориях нет единства относительно того, почему и каким образом происходят разрушения прежних и становления новых инвариантных структур психики-сознания. Наиболее важным типологическим критерием размежевания теорий здесь, как нам кажется, является критерий источника изменений. В предисловии к польскому изданию "Структурализма" Ж.Пиаже Чеслав Новиньский в рамках марксистской критики швейцарского психолога отмечал: "... согласно марксистской диалектике, "оппозиция противоположностей" является основной характеристикой естественных и общественных систем и представляет собой "источник", "движущую силу" их саморазвития. В то время как в понимании Пиаже основной является тенденция к равновесию сил, а противоположность возникает на фоне столкновений, исходящих из-за пределов системы" (Piaget, 1971:30). Понятие саморазвития системы, очевидно, восходит к гегелевской феноменологии духа. Эта позиция ограничивает инвариантную систему собственной, изолированной от других систем самостью и предполагает ее инде-

терминированное, телеологическое саморазвитие. По мнению Новиньского, система изменяется сама собой, по внутренней необходимости, по заложенному в ней априорно алгоритму (платоновская "форма"?). Позиция Пиаже чисто детерминистская. В его трактовке понятийные системы - это системы отношений, т.е. целостности, образующиеся из инвариантной интеграции множества отношений с другими системами. Поэтому, изменение в системе может произойти только из-за внешнего воздействия. Что же это за воздействие и откуда оно появляется? Ответ для функционалиста может быть только один: источником изменения инвариантных смыслов является предметно-коммуникативная деятельность индивида. А раз так, то встает вопрос о "передаточном звене", объединяющем систему инвариантных смыслов и предметную деятельность. Таковым, очевидно, является психическая деятельность организма, включающая в себя и мыслительно-семиотическую деятельность мозга. Именно в результате этой деятельности и появляется то, что мы выше охарактеризовали как фактуальный смысл.

Следовательно, фактуальный смысл, с одной стороны, порожден уже наличествующей в психике-сознании (находящейся на определенной стадии онтогенеза) инвариантной информацией а, с другой, данными органов чувств. Поэтому в нем можно найти как уже наличествующую информацию, так и нечто новое, возникшее в психике-мышлении как реакция на меняющиеся условия предметной деятельности. И уже по этой причине фактуальный смысл онтически не может быть сведен к инварианту. Это не ипостась инварианта, как представляли его феноменологи и христианские эссенциалисты, а функциональный продукт его взаимодействия с данными предметной деятельности. Таким образом, онтологически вернее было бы охарактеризовать отношения инвариантного и фактуального смысла не в терминах "целое // частное" (феноменологическая трактовка), или "целое // часть" (позитивистская, логико-математическая трактовка),

а именно как "общее // частное". При этом общее не поглощает частного, а частное не является составной частью общего. Они сосуществуют. Сферы их сосуществования различны: для инвариантного смысла это сфера состояния покоя (небытия) психики-сознания, для фактуального смысла - сфера психической предметной деятельности (психики-мышления). Именно в этом и состоит онтологический дуализм функциональной методологии.

Проецируя данное методологическое положение на теорию языковой деятельности, можно вполне логически объяснить, почему Соссюр настаивал на принципиальном онтологическом разведении понятий "язык" и "речь", почему следует различать языковые (инвариантные) и речевые (фактуальные) единицы (ср. "Предложения существуют только в речи, в дискурсивном языке, в то время как слово есть единица, пребывающая вне всякого дискурса, в сокровищнице разума" (Соссюр, 1990:146), почему слово в языке принципиально не сводимо к сумме словоформ данного слова в речи, а фонема или морфема - к совокупности фонем или морфов, почему речевые единицы (словосочетания, высказывания, тексты) онтологически неидентичны языковым моделям, по которым они были образованы, почему понятие значения речевого произведения не сводимо к сумме некоторых языковых значений, соотносимых с его составляющими, что и заставляет наряду с понятием значения (содержания) речевого произведения вводить понятие его смысла.

Применительно к познавательно-ментальным процессам, происходящим в психике человека, указанный методологический дуализм выражается в признании двух принципиально отличных модусов психики - статичного (системно-инвариантного), высшей формой которого является психика-сознание и динамического (фактуально-вариативного), высшим проявлением которого является предметно-мыслительная деятельность. Сознание представляет из себя целостную совокупность когнитивно-понятийной и операциональной инфор-

мации. Наши знания о мире - это не только знания о предметной деятельности (когнитивно-понятийная информация), но и знания о мыслительно-коммуникативной деятельности (операциональная информация). Первые организованы в инвариантную систему структурно-функциональных отношений, среди которых следует выделять категориальные отношения (между элементами системы) и собственно понятийные (внутри элемента). Операциональная информация представляет из себя систему предписаний, касающихся мыслительной и коммуникативной деятельности. Ее не следует понимать как конвенциональную систему чисто научно-логических предписаний, равно как и систему когнитивных знаний о предметной деятельности не следует путать с научной картиной мира. В обоих случаях речь идет о базисном уровне сознания - обыденном сознании. Если мы говорим здесь о когнитивной системе сознания, то мы имеем в виду обыденную картину мира, если говорим об операциональной системе знаний, имеем в виду логику обыденного мышления. Применительно к лингвистической проблематике указанные понятия в дальнейшем мы будем соотносить следующим образом: жизнедеятельность человека будем соотносить с семиотической деятельностью и ее составляющей - языковой деятельностью, психику и сознание - с языком как системой инвариантных знаков и коммуникативных предписаний, предметно-мыслительную психическую деятельность и ее результаты (фактуальные смыслы) - с речью, в которой будем выделять собственно речевую деятельность и ее результаты (тексты, речевые произведения). Заметим, что ни собственно предметным фактам (фактам, на которые направлена предметная деятельность), ни коммуникативным фактам (физическим сигналам) как таковым нет места в лингвистическом исследовании функционального плана, поскольку они выходят за пределы собственно смысла и не являются объектом исследования гуманитарных наук.

Неоднократно проводившиеся нами опыты по идентификации или описанию конкретных предметов или предметных ситуаций позволяют нам утверждать, что специфической чертой человеческого восприятия является его активно-творческий, со-порождающий характер. Применительно к объекту идентификации или описания, использовавшемуся в опытах, это выглядело следующим образом: испытываемые описывают не то, что им было предложено описать, а то, что они желают и способны описать, домысливая целый ряд свойств и признаков объекта или ситуации и характеризуя его с позиций инвариантного смысла, уже наличествующего в их сознании. Способность абстрагироваться от любых (даже, казалось бы, самых существенных) свойств конкретных единичных объектов деятельности является наиболее специфической, типологической чертой человеческого сознания. Именно эта способность позволяет детям превращать самые немыслимые предметы в объекты своих игр, именно она позволила людям увидеть в изображении реальный предмет, а в речевом знаке найти заменитель своим мыслям. Все это в итоге породило человеческую цивилизацию с ее наукой, искусством и обыденной коммуникативно-предметной деятельностью.

Что касается языка, то именно возможность хранить информацию в обобщенно-инвариантном виде позволяет человеку использовать и понимать совершенно новые для него слова и формы, руководствуясь не только прошлым опытом, но и вероятностным прогнозированием на основе сформировавшегося и постоянно совершенствующегося в ходе межличностной коммуникации интегративного алгоритма-инварианта. В качестве гипотетического предположения можно было бы выдвинуть версию, что человек в своем онтогенетическом развитии не только и не столько движется от частного, единичного, вариантного к общему, категориальному, сколько, наоборот, все более углубляет, специфицирует свои общие представления о мире, посто-

янно верифицируя свои дедуктивные гипотезы в конкретной предметной деятельности.

Впрочем, было бы совершенно неверно отрицать ту положительную роль, которую играет в человеческой жизни период (периоды) накопления данных, на основе которых и разворачиваются механизмы вероятностного прогнозирования в виде инвариантных алгоритмов поведения и мышления, в том числе и языкового. Термин "период" не следует понимать буквально, поскольку нет и быть не может чисто "накопительских" и чисто "творческих" периодов жизнедеятельности. Однако можно предположить, что некоторая новая (совершенно новая, качественно отличная от наличествующей) информация не может прямо проникнуть в сознание индивида (если, конечно, не стоять на позициях феноменологического, эйдетического божественного озарения), но постепенно, отдельными деталями и аспектами, более или менее знакомыми индивиду, "расшатывает" систему его знаний и "образует" для себя место в этой системе. Процесс этот не осознается индивидом. Проходит достаточно много времени (если соизмерять относительно скорости мыслительных актов), пока в сознании индивида появится качественно новая информация. Новые знания не усваиваются, а порождаются и обнаруживаются в собственном сознании. В этом смысле в пословице "Повторение - мать учения" есть определенная доля истины, если воспринимать "повторение" не чисто дидактически, как сознательный методический прием, а методологически, как естественное условие обыденной коммуникативно-предметной жизнедеятельности человека, один из главных (если не самый главный) принципов человеческого познания, базирующийся на физико-физиологических обстоятельствах нашего возможного опыта (смена сезонов, суток, повторяемость физиологических циклов организма). Однако любое накопление новых фактов, в том числе и бессознательное, у современного человека влечет за собой выработку механизмов узнавания и прогнозирования. В филогенетическом

отношении, возможно, прошло не одно тысячелетие, прежде чем человек перешел от узнавания одного объекта (повторного узнавания) к узнаванию других объектов как "идентичных", "аналогичных" познанному. Для этого было просто необходимо возникновение в сознании алгоритма инвариантного обобщения: классификационной когнитивно-понятийной сетки, а также моделей референции (узнавания частного как общего, подведения под класс) и генерализации (сведения множества в класс). Понятия референции и генерализации требуют дополнительных разъяснений, ввиду их неоднозначного употребления и важности для нашей трактовки апостериорного ментализма функциональной методологии. Именно через процессы генерализации и референции осуществляется связь понятийно-категориальной системы сознания с предметно-коммуникативной деятельностью, а следовательно, смысловая связь человеческой личности с миром. Генерализируя данные органов чувств и частные смыслы, возникающие в конкретной предметно-мыслительной деятельности, индивид образует понятийный аппарат своего сознания (вернее было бы сказать: у него образуются инвариантные обобщенные смыслы). Референция же является процессом обратным. В ходе референции происходит идентификация данных, полученных в ходе предметной деятельности, с уже наличными в сознании инвариантными смыслами. Иначе говоря, референция - это акт верификации/фальсификации наших гипотез относительно мира. Она может быть положительной (если приводит к успешным практическим действиям в предметной деятельности и, тем самым, подтверждает соответствие данного актуального фактуального смысла инвариантному смыслу в сознании) или отрицательной (если ее результаты не согласуются с результатами предметной деятельности, что ведет к неудаче и требует пересмотра инвариантного смысла). Именно отрицательная референция мотивирует процессы генерализации. Несоответствие актуального опыта предметной деятельности картине мира,

наличествующей в сознании, приводит в действие механизмы ревизии этой системы знаний. Результатом такой ревизии, как правило, является образование новых инвариантных смыслов на основе наличных. При этом, как правило, изменяются структурно-функциональные отношения в том участке системы, где находился данный инвариантный смысл. Об изменениях во всей системе знаний говорить нельзя. Опыт исследования онтогенеза смысла у человека (См. работы Л.Выготского, Ж.Пиаже, А.Лурии) показывает, что всякое новое знание, образовавшееся в сознании развивающегося индивида, встречает жесткое сопротивление со стороны системы знаний и не ведет, как правило, к полному ее изменению. Выражаясь образно, можно было бы сравнить появление новых функционально-структурных отношений в каком-либо участке системы человеческого сознания с импульсом, сила которого "гасится" по мере удаления от центра к периферии. И хотя именно отрицательная референция ведет к генерализации и развитию системы, именно такая инертность системы инвариантных смыслов позволяет устранять нежелательные (для системы) результаты отрицательной референции, что дает возможность автоматизировать последующий опыт предметной деятельности, шаблонизировать его и создать необходимые поведенческо-мыслительные стереотипы и механизмы.

Как только такие механизмы возникают в сознании, исчезает необходимость запоминания всех частных знаний, всех вариативных признаков и свойств. С этого времени такое запоминание должно иметь дополнительные резоны, например, данный объект или данная частная характеристика объекта должна быть особенно значимой для жизнедеятельности человека. Но и в этом случае частность может быть сохранена в памяти только при условии, если она выделена в качестве некоторого самостоятельного класса как признак, свойство, характеристика целого ряда объектов. Поэтому нет необходимости запоминать все детали предшествующего опыта касательно некото-

рых функционально равнозначимых объектов на уровне предметной деятельности, так же, как на уровне коммуникативной деятельности нет необходимости сохранять все функционально нерелевантные обстоятельства использования того или иного слова, той или иной языковой модели, а равно и всех форм той или иной языковой единицы, которые могут быть подведены под единую модель. Достаточно усвоить модель использования тех или иных единиц, их комбинирования в различных коммуникативных ситуациях, и это позволит в будущем образовывать бесконечное множество речевых конструкций.

Приложение 4

Развитие функциональных методологических идей Канта в философии XX века. Функционализм и марксизм

Следуя в русле кантовских критик, Поппер называет свою позицию критическим дуализмом (“дуализм фактов и решений ... является основополагающим. Факты как таковые лишены смысла, но они могут его приобрести лишь через наши решения”; Поппер, 1994, II: 302). Джемс же называл свою методологическую позицию прагматизмом, что также было продолжением прагматического верификационизма Канта. М.Вартофский, анализируя эволюцию ментализма в философии, совершенно верно выводил этот тип методологии из кантовского прагматизма: “Трансцендентальные убеждения, которые мы склонны принимать, являются в лучшем случае регулятивными идеями, оправдание которых лежит скорее в их эвристической полезности, чем в какой-то недостижимой “истине”, которую они стремятся утверждать” (Вартофский, 1978:57) [выделение наше - О.Л.]. Кантовские идеи относительности человеческого знания, его практической зависимости от приложимости к возможному опыту и регулятивного (а не конститутивного) характера понятий разума у Джемса обретают характер прагматизма истины: “Истина ... означает в наших мыслях и убеждениях то же самое, что она значит в науке. Это слово означает только то, что мысли (составляющие сами лишь часть нашего опыта) становятся истинными ровно постольку, поскольку они помогают нам приходить в удовлетворительное отношение к другим частям нашего опыта, суммировать их и резюмировать с помощью логических сокращений вместо того, чтобы следовать за нескончаемой сменой отдельных явлений. Мысль, которая может, так

сказать, везти нас на себе, мысль, которая успешно ведет нас от какой-нибудь одной части опыта к любой другой, которая целесообразно связывает между собой вещи, работает надежно, упрощает, экономизирует труд, - такая мысль истинна ровно постольку, поскольку она все это делает” (Джемс, 1995:32) [выделения наши - О.Л.]. В этом же русле развивали идеи Канта Д.Дьюи, называвший свою теорию инструментализмом, и Ф.Шиллер, давший своему построению название “гуманизм”: “Гуманизм состоит просто в понимании того, что проблема философии ставится перед человеческими существами, которые стремятся постигнуть своим человеческим умом форму человеческого опыта” (Цит. по: Эбер, 1995:177). Иногда критики этого ответвления функционализма ошибочно принимают прагматизм за утилитаризм или волюнтаризм. Ошибочность подобной трактовки заключается в том, что и утилитаризм, и волюнтаризм основываются на волевом произволе, на сознательном или подсознательном стремлении к выгоде, в то время как прагматизм говорит лишь о естественной ориентации индивида в ходе предметно-мыслительной практики на элементарную пользу. Выгода и польза - не одно и то же. Выгода - есть осознанная польза. К выгоде можно стремиться, на пользу же мы, как правило, только неосознанно ориентируемся. Кроме всего прочего, одним из центральных положений прагматизма является социальность пользы и истины, в то время как утилитаризм и волюнтаризм насквозь индивидуалистичны. “В нашем реальном мире, - читаем у В.Джемса, - желания индивида являются только одним из условий. Ведь имеются еще другие индивиды со своими другими желаниями, и прежде всего надо снискать их благорасположение” (Джемс, 1995:143). Аналогична трактовка индивида как прагматически социально ориентированной личности и в гуманизме Шиллера: “... человек как родовое понятие является носителем истины... каждый отдельный человек является мерой своей особой истины. Конечно, не все эти конкретные истины отдельных индивидов одинаково цен-

ны, полезны, пригодны: суждение мудреца и суждение сумасшедшего далеко не эквивалентны между собой. Как результат социального взаимодействия из отдельных индивидуальных истин вырабатывается в процессе приспособления коллективная общечеловеческая истина, - которая опять-таки не абсолютна, а связана с обстоятельствами времени и пространства и непрерывно изменяется” (См. Юшкевич, 1995:214). Эта мысль также перешла в систему прагматизма из гуманистической концепции свободы Канта. Достаточно вспомнить его широко известную формулу эгалитарной свободы: “Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека”. Ко всему прочему, и утилитаризм, и волюнтаризм подразумевают телеологическую методологическую установку (индетерминизм), в то время как позиция Джемса и Шиллера явно каузативная (См. также Выготский, 1984, VI: 342).

В значительной степени лингвофилософские взгляды позднего Витгенштейна (“Философские исследования”) могут расцениваться как тяготеющие к функционализму. Прежде всего, это отразилось в признании инвариантных состояний сознания (инвариантных смыслов), допущении в теорию аффектов и бессознательного, признании функционального характера значения, невербальности мышления и преимущества семиотически-коммуникативной функции языка (против доминирования познавательной его функции в рационализме). В этой работе Витгенштейн существенно меняет именно темпоральную ориентацию своей методологии. в сторону детерминизма и апостериоризма, в частности, принимает социальную детерминированность языка. При этом показательно, что во всей своей работе Витгенштейн не посылается практически ни на кого, кроме В.Джемса (Витгенштайн, 1995:197,212,245,300).

В какой-то степени близки были к кантовскому решению проблемы смысла основатели диалектического материализма, однако их позиции существенно страдали объективизмом. Это и не удивительно,

поскольку К.Маркс, хотя и пытался вырваться из замкнутого круга феноменологии Г.Гегеля и позитивизма естествознания XIX века, однако так и не сумел этого сделать. Очевидно, следует согласиться с М.Хайдеггером, что "Маркс и Кьеркегор - величайшие из гегельянцев. Они гегельянцы против воли" (Хайдеггер, 1983: 384). К феноменологам (в их герменевтическом ответвлении) относит Маркса, наряду с Ницше, Фрейдом, Дильтеем, Хайдеггером, структуралистами, Риккром и Элиаде и польский феноменолог Юзеф Тишнер (См. Tischner, 1993: 92-100). К.Поппер же совершенно верно определил, что Маркс, будучи гегельянцем и феноменологом, тем не менее, пребывал под весьма существенным влиянием Милля, который, как известно, стоял у истоков функциональной семиотики и прагматизма (См. Поппер, 1994, II: 95-99). Позже именно позитивистские черты марксизма были последовательно развиты в советской версии диалектического материализма.

Здесь имеет смысл остановиться на признанной уже в качестве традиционной формуле диалектико-материалистического познания мира: "От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике - таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности" (Ленин, 1978: 152-153). Ущербность этой фразы с точки зрения функциональной теории смысла прежде всего в том, что три составляющие процесса познания выстроены в синтагматический функционально-временной причинно-следственный ряд, в то время, как неправомерно говорить о познании до тех пор, пока нет классификационной сетки, в которой каждый познанный смысл нашел бы свое место. В противном случае, как показывают психо- и нейролингвистические эксперименты, никакое запоминание невозможно. Такое понимание познавательного процесса прямо восходит к позитивистским построениям Дэвида Юма, правда в выхолощенной форме. "Выхолощенностью" мы называем чисто гегельянское лишение теории Юма ее лучшей черты - скептического агностицизма. По вер-

сии Ленина у нас ровно столько органов чувств, чтобы утверждать, что наше чувственное созерцание приносит нам объективные знания о мире. Следует согласиться с Ю.Вединым, пишущим, что "...ощущения и восприятия, рассматриваемые лишь как формы чувственного отображения мира, т.е. взятые сами по себе, вне связи с мышлением, до и независимо от него, не несут познавательную функцию и не являются познанием" (Ведин, 1964:16). Практически об этом же пишет и А.Антонов: "Характерно то, что в процессе познания интимно переплетены процессы понимания; первое достигает своей цели, так сказать, идя ступенями понятного, и каждый следующий акт познавательной активности возможен не иначе, чем тогда, когда он исходит из большей или меньшей сферы познанного и в той или иной мере понятного" (Антонов, 1975:43). В духе Канта рассматривается роль ощущений и в работе Р.Грегори "Глаз и мозг": "... ощущения не дают нам картину мира непосредственным образом, скорее они снабжают нас данными для проверки гипотез о том, что находится перед нами. Действительно, мы можем сказать, что воспринимаемый объект - это возникающая у нас гипотеза, проверенная с помощью сенсорных данных" (Грегори, 1970:98). Практика же не только не является третьим, заключительным актом познания, но есть, собственно, необходимое условие его начала. Именно практическая потребность в знании и понимании одновременно приводит в движение обе составные познавательной деятельности - мыслительную и практически-предметную, отношением между которыми и является смысл. Таким образом, т.н. марксистско-ленинская теория отражения и познания не только не развила функциональную по своей сути кантовскую трансцендентальную теорию, но стала существенным шагом назад к эмпирическому (биологическому, физикалистскому) позитивизму. Показательно, что в рамках т.н. "диалектического материализма" неявно противостояли как минимум три различные методологические линии: ортодоксальная позитивистская (вульгарно-

материалистическая, уходящая корнями в эпоху эмпиризма 30-50-х гг.), ортодоксальная марксистская (неогегельянская, феноменологическая, представленная, прежде всего, работами Э.Ильенкова) и менталистская (деятельностно-субъективистская, представленная в теоретических построениях Д.Дубровского, А.Сабощука, Е.Кмиты, В.Тугаринова и др.). В частности, А.Сабощук так оценивает противостояние в марксизме 70-90-х гг. по вопросу онтологии смысла: "... все составляющие психику феномены, начиная от элементарных сенсорных образов и кончая понятиями разума, являются продуктами (функциями) центральной нервной системы, локализирующимися в головном мозге, выступая его внутренними состояниями. Раньше отстаивание этого положения было обусловлено исключительно борьбой с идеологическими течениями, отрывающими мысль от мозга, выносящими ее за пределы последнего. Сейчас его приходится защищать также от нападков некоторых представителей диалектического материализма (Э.Ильенков, Ф.Михайлов, В.Толстых и др.), которые считают, что высшие проявления психики - сознание, воля и мышление - находятся не в человеческой голове, а вне ее, в экстериоризированных формах культуры и в создающих их формах внешней деятельности" (Сабощук, 1990:31). Э.Ильенков однозначно и не без оснований выводил основные постулаты марксизма из платонизма и гегельянства: "Объективность "идеальной формы" - это увы, не горячечный бред Платона и Гегеля, а совершенно бесспорный, очевидный и даже каждому обывателю знакомый упрямый факт ... Идеализм - это совершенно трезвая констатация объективности идеальной формы, то есть факта ее независимого от воли и сознания индивидов существования в пространстве человеческой культуры..." (Ильенков, 1984:57). В это же время другой "марксист" Д.Дубровский пишет: "Сознание (идеальное) неотчуждаемо от психического, не существует вне и помимо психики реальных социальных индивидов" (Дубровский, 1983:54). Весьма показательны, что Л.Выготский, буду-

чи, с одной стороны, увлеченным марксизмом (как и многие критически настроенные ученые в 20-е гг.), а с другой, осознавая усиливающуюся догматизацию учения (См.Выготский,1982, I:398), пытался буквально “втиснуть” свою насквозь менталистскую методологическую программу в границы марксистского реализма. В результате ему пришлось просто “уравнять” марксистскую психологию и научную психологию вообще, чем он фактически устранил из методологии понятие “марксизма”, ибо марксистская - это всякая научная психология (!) (Там же,435). Такой шаг можно было бы расценить как типично марксистский феноменологический монизм, как попытку провозгласить “единственно верное” течение единственно возможным. Но Выготский не был монистом, и тому есть множество доказательств даже в нашей работе. Поэтому такой методологический вывод следует расценить как попытку Выготского найти место господствующему термину в своем методологическом построении. А поскольку марксизм 20-30-х гг. в СССР был господствующей (во всех смыслах) догмой, каждый легально (а иногда и нелегально) работавший ученый или философ почитал своим долгом назвать свои взгляды марксизмом и, наряду с этим, хоть как-то включить элементы ортодоксальной теории Маркса и Энгельса в свои теоретические рассуждения. Все это породило весьма необычную методологическую ситуацию, при которой марксизмом называлось все, что угодно, лишь бы оно хоть каким-то образом перекликалось с положениями работ классиков течения. Эта ситуация принципиально не изменилась и в последующие годы. Поэтому вполне логично, что Выготский вывел понятие “марксистская” за скобки методологической классификации.

Приложение 5

Проблема генезиса смысла и философские истоки функциональной гносеологии

Одним из наибольших недостатков теории трансцендентального априоризма Иммануила Канта, чаще всего вменявшихся ему в вину, был антигенетический характер априорных категорий времени и пространства. Критики Канта в этом смысле и правы, и неправы. Дело в том, что, говоря о доопытности категорий времени и пространства, Кант решал совсем иную проблему, а именно, проблему сущностного характера человеческого познания мира и природы как возможного опыта. По мнению Канта, специфика любой возможной метафизики (философии) в области гносеологии состоит в том, что она является собственно человеческой формой познания мира и никогда, ни при каких условиях не сможет стать нечеловеческой, т.е. "объективной". Наиболее важным в такой постановке вопроса, по нашему мнению, является четкое размежевание собственно человеческой формы познания от всех других теоретически возможных. Это уже не раз отмечалось неокантианцами. Единственное, чего не сделал Кант, это то, что он не оговорил возможности генезиса форм познания и, тем самым, абсолютизировал и догматизировал современные ему формы научно-теоретического познания. Появление квантовой механики, неевклидовых геометрий и теории относительности, по мнению критиков Канта (особенно в среде марксистов: см., например, Ойзерман, 1964), полностью опровергли кантовский априоризм времени и пространства, поскольку продемонстрировали иные возможности понимания времени и пространства. Однако эти критики закрывают глаза на гораздо большее значение кантовской мысли и впадают в алогизм.

Возможность иного характера времени и пространства была заложена в идее трансцендентального априоризма, поскольку Кант неоднократно подчеркивал, что его понятие априоризма - это не сверх- или вне-опытное знание, но лишь доопытное, нацеленное на опыт и реализующееся в опыте (См. Ойзерман, 1964:16-17). Если это экстраполировать на субъективистский характер кантовской гносеологии и ментализм его онтологических воззрений, без труда можно понять, что под опытом Кант понимает конкретный опыт конкретного человека, но в качестве представителя человеческого рода. Отсюда и априорность категорий времени и пространства по отношению к этому опыту. Действительно, современному человеку не оставлен выбор. С первых минут своего биосоциального существования он вынужден включаться в предметно-коммуникативную деятельность своих предшественников, а значит, приспосабливаться к их форме познавательной деятельности, точнее сказать, в нем вырабатываются формы познавательной деятельности по образу и подобию уже существующих. Поэтому мы вынуждены членить мир на протяженные в пространстве субстанции (даже если объект нашей мысли не дан нам в ощущениях - абстрактное понятие, мы мыслим его как нечто, что "есть", "наличествует", "находится" где-то в условном пространстве) и на протяженные во времени процессы, изменения, отношения и состояния этих субстанций. Бертран Рассел назвал такую интуитивную априорно-прогнозирующую деятельность человеческого сознания привычкой к ожиданию: "Фактически обобщение в форме привычки к ожиданию совершается на более низком по сравнению с сознательным мышлением уровне, так что, когда мы начинаем мыслить сознательно, оказывается, что мы уже верим в обобщение, но не явно на основе очевидности, а на основе того, что в невыраженном состоянии находится в нашей привычке к ожиданию. Это история веры, а не подтверждение ее" (Рассел, 1957:201). Понимаемая так интуиция вовсе не ведет к интуитивизму и иррационализму, поскольку признается либо начальным

моментом человеческого познания, на который затем наслаиваются приобретаемые в опыте рационально-логические приемы, либо всего лишь экономным средством редукции рационально-понятийного анализа. Это не интуиция А.Бергсона. Мы совершенно согласны с Т.Хиллом, что недооценка Бергсоном понятий как основы человеческого мышления неразумна, потому что "отношение между интуицией и понятийным мышлением в познании вовсе не является отношением соперничества или конфликта. Оно скорее является отношением различных сторон одного процесса... Хотя перцептивная интуиция и требуется для окончательной проверки гипотез, а высшие формы интуиции - для выдвижения научных гипотез и контроля за метафизическими спекуляциями, однако невозможно даже получить представление об интуитивном фактическом знании, которое было бы полностью свободно от понятий. Самое большее, на что может рассчитывать такая интуиция - это неопределенное усмотрение факта без формы и содержания, что едва ли можно вообще назвать знанием. В лучшем случае это может быть исходным моментом или стадией знания - не больше" (Хилл, 1965:256). Именно таким исходным интуитивным моментом нашего созерцания по Канту и являются представления о времени и пространстве, сопряженное с понятиями процесса и субстанции.

Говоря языком лингвистики, наше вербальное мышление замкнуто в круге существительных и глаголов, подлежащих и сказуемых, субъектов и процессов. Э.Сепир на основании своих этнолингвистических исследований утверждал: "Какой бы неуловимый характер не носило в отдельных случаях различие имени и глагола, нет такого языка, который бы пренебрегал этим различием" (Сепир, 1993:116). Об этом же говорил и Кант: "... явления должны быть подведены, во-первых, под понятие субстанции, которое, как понятие самой вещи, служит основанием всякому определению существования; во-вторых, под понятие действия относительно причины, поскольку в явлениях

находится временная последовательность или происхождение...” (Кант, 1993:88).

Поэтому появление новых пониманий времени и пространства в макро- и микрофизике, в теории относительности принципиально ничего не изменяет в теории Канта. Ведь не удалось же пока никому представить объект своего познания вообще вне категорий времени и пространства и неразрывно связанных с ними категорий процесса и субстанции. Ошибка Канта детерминирована историей философии и науки. Последовательное понимание генезиса смысла пришло в самом конце XVIII- первой половине XIX века с появлением историзма в гуманитарных науках. В языкознании появление идеи развития связано с именами И.Гердера, В.Гумбольдта, Р.Раска, Я.Гримма, Й.Добровского и др. Однако и здесь Кант просчитался лишь частично, поскольку общеметодологический эмпиризм его теории, признание объективной действительности как пассивной детерминирующей человеческий опыт среды и, что самое главное, принципиальная непознаваемость (неисчерпаемость) этой действительности как "вещи-в-себе", предполагающей множественность форм ее познания, закладывают основы каузативной, детерминистской гносеологии, а следовательно не исключают не только возможность иного, нечеловеческого видения мира, но и возможность различных исторически сменяющих друг друга форм собственно человеческого познания. Пафос кантовского агностицизма при этом касается не отрицания развития человеческих познавательных способностей, а самой невозможности познания "вещи-в-себе" одновременно во всех возможных эпистемологических формах. Так, например, мы уже никогда не сможем понимать мир так, как понимали его наши предки. И никогда (в пределах своего жизненного опыта) не поймем его так, как его будут понимать наши потомки. В каждый конкретный момент познания мы ограничены данными нам непосредственно предшествовавшим социумом форма-

ми мыслительной деятельности и, прежде всего, априорными категориями времени и пространства.

Кантовский априоризм как доопытность форм времени и пространства не имеет непосредственного отношения к методологическому априоризму как ведущей гносеологической позиции. Кантовский априоризм как гносеологический принцип следует интерпретировать скорее в локальном отношении, чем в темпоральном. Кант, выдвинув идею априорности формы познания, подчеркивал именно специфически человеческий характер категорий времени и пространства, как обязательных и необходимых факторов оформления смысла. Его волновала не проблема темпоральных условий возникновения содержания смысла, которую он решал однозначно апостериорно (он отрицал как идею врожденности смысла, так и идею сверхъестественного, чудесного исхождения смысла из запредельной сферы), а проблема порождения смысла человеком, что следует отнести на счет локальных факторов познания.

Кантовская идея доопытности человеческих понятийных смыслов может и должна рассматриваться именно как идея категориальности, понятийности мышления современного человека, при которой не чувственность диктует разуму смыслы, но разум продуцирует смыслы в пределах возможного опыта и верифицирует их опытом (в том числе, и чувственным). Л.Выготский выразил эту мысль так: "...восприятие современного человека, в сущности говоря, стало частью наглядного мышления, потому что одновременно с тем, как я воспринимаю, я вижу, какой предмет воспринимаю" (Выготский, 1982, I:113). Об этом же писал и И.Сеченов: "... в мысли есть начало рефлекса, продолжение его, и только нет, по-видимому, конца движения. Мысль есть первые две трети психического рефлекса" (Сеченов, 1947:398). Именно в такой главенствующей роли мышления мы склонны видеть сущность кантовского априоризма.

Одной из наиболее важных философско-гносеологических проблем генезиса смысла является вопрос о соотношении фило- и онтогенеза смысла. Филогенез языка (языковой деятельности), предполагающий его развитие во времени, превышающем срок биологической жизни человека, и пространстве (применительно к целой совокупности субъектов, реально или предположительно вступавших в полноценные коммуникативные отношения, т.е. общавшихся на одном и том же языке на протяжении этого времени), в функциональной методологии может быть наполнен реальным содержанием только в том случае, если его интерпретировать через понятие совокупности целого ряда сообщенных между собой и синхронизированных онтогенетических процессов. Вместе с тем, онтогенез языковой деятельности (во избежание индивидуалистической, рационалистской трактовки) должен рассматриваться как филогенетическая функция, сообщающая между собой во времени и пространстве части единого филогенетического процесса. Таким образом, развитие индивидуальной языковой деятельности конкретного человека, с одной стороны, становится передаточным звеном в развитии некоторого диалекта, наречия, национального языка или человеческого языка вообще, а, с другой, является единственно реальным феноменом развития смысла. Филогенез же в отрыве от онтогенеза становится не более, чем абстрактной формулой.

Последовательно функционально (т.е. через призму онтогенетического развития) представляли идею филогенеза Ф.де Соссюр и Н.Трубецкой. Первый в своих "Записках..." иллюстрирует свое понимание понятия филогенеза этноязыка примером из жизни некоего Богуславского, собиравшего на протяжении десятилетий свои фотографии в одной и той же позе и выставившего их затем на выставке в хронологическом порядке. Каждая следующая фотография походила на предыдущую и могла быть с легкостью идентифицирована; удаленные в хронологии фотоснимки воспринимались как изображения

одного и того же человека с трудом, а первые и последние практически не идентифицировались. Таким образом Соссюр обосновывал идею постепенности и неизбежности генезиса в языке, как поступательного процесса незаметных изменений, поначалу выступающих в роли вариантов а затем вытесняющих друг друга и замещающих позицию вытесненного варианта. Н.Трубецкой же последовательно развил функциональную по своей сути идею скрещивания языковых систем и волнообразного продвижения языковых новшеств от индивида к индивиду и от одного социолекта к другому в пределах коммуникативного ареала. Так Соссюр и Трубецкой обосновали соответственно темпоральный (развитие языка во времени) и локальный (развитие языка в пространстве) аспекты функционального понимания филогенеза

Функциональное понимание филогенеза языка через понятие онтогенеза социализированного смысла можно трактовать как гуманизацию проблемы, поскольку понимаемый таким образом филогенез приобретает черты живой человеческой личности. Именно в решении методологических проблем онтогенетического развития смысла вообще и вербализованного смысла, в частности, мы видим источник разрешения проблем филогенетического характера.

Функциональная методология онтогенеза занимает промежуточную позицию между онтогенетическим априоризмом картезианцев или феноменологических поклонников идеи "национального духа", присущего человеку от рождения, и абсолютным апостериоризмом бихевиористов и позитивистов, сводящих идею онтогенетического развития к простому научению, заполнению чистой доски сознания.

Можно полностью согласиться с А.Лурией, что "первые слова ребенка часто отличаются фонематической структурой от "гуления" младенца. Более того, нужно даже затормозить биологические звуки, возникающие при "гулении", чтобы ребенок мог выработать те звуки, которые входят в систему языка" (Лурия, 1979:34). Далее Лурия пишет, что

"первые слова рождаются не из звуков "гуления", а из тех звуков языка, которые ребенок усваивает из слышимой им речи взрослого... Начало настоящего языка ребенка и возникновение первого слова, которое является элементом этого языка, всегда связано с действием ребенка и с его общением со взрослыми" (Там же, 35). Если не принимать во внимание некоторые позитивистские тенденции данных положений, связанные с нестрогим обращением с терминами "звуки языка" и "звуки речи", можно полностью согласиться с высказанной идеей социальной детерминированности языковой деятельности в противоположность априорным теориям врожденной языковой компетенции. Врожденными являются не языковая компетенция или отдельные смыслы, а нейрофизиологические способности, механизмы порождения смыслов и их вербализации (это доказывают хотя бы факты научения примитивным формам языка и человеческого способа мышления людей, в силу жизненных обстоятельств выпавших из социально-коммуникативной деятельности в человеческом обществе и выросших в среде животных, в сравнении с фактами невозможности достичь даже такого "примитивного" результата при научении животных человеческой речи).

Проблема формирования языкового смысла в онтогенезе требует к себе особенного внимания со стороны методологии. При неверной или, точнее, нечеткой и неосознанной методологической позиции ценные, на первый взгляд, данные наблюдения за речью детей могут привести к совершенно ошибочным выводам и сведению на нет многолетней экспериментальной деятельности. Наблюдения за детьми, в отличие от исследований в области языковой деятельности взрослых, усложняются тем, что каждый день жизни ребенка вносит изменения в его сознание, что делает объект наблюдения очень неустойчивым, ускользающим от фиксации и систематизации. С другой стороны, в отличие от взрослого, ребенок с большим трудом поддается экспериментальным действиям. Это положение может показаться странным, поскольку обычно считают, что ребенок более открыт, раскован и

коммуникабелен, чем взрослый, в общем нерасположенный к служению "подопытным кроликом". Но именно эта податливость, эта открытость психики ребенка и представляет трудность для экспериментатора. Ребенок не только с легкостью открывает свое сознание, но и с легкостью идет навстречу пожеланиям экспериментатора и при благоприятных условиях выполняет все, что пожелает доказать экспериментатор. Именно поэтому в работе с детьми очень трудно добиться чистоты эксперимента.

Ребенок практически никогда не может дать рефлексивный комментарий к собственным движениям, действиям, словам и мыслям. Экспериментатор может судить о детских смыслах только по речевым сигналам и фактам поведения. Поэтому исследования в области онтогенеза, как никакие другие, сопряжены с интерпретативной работой исследователя, а эта последняя целиком зависит от его методологической позиции.

Одной из существенных ошибок исследования онтогенеза является перенесение на языковую деятельность детей научных категорий и понятий, применимых к языковой деятельности взрослого (например, таких как "слово", "морфема", "фонема" и др.). Прежде всего это касается понятий, характеризующих системность языка взрослого, которая у ребенка находится в стадии становления. Соотношение между языком и речью, словом и словоформой, номинативной и предикативной единицей, словоформой и высказыванием, релевантное для описания языковой деятельности взрослого, может оказаться совершенно иным для языковой деятельности ребенка.

Методологический анализ интересных наблюдений за детьми, приводимых в качестве примеров Л.Выготским (Выготский, 1982, II: 154-158) и А.Лурией (Лурия, 1979), свидетельствует о том, что выводы многих исследователей предвзяты. Очень часто они приписывают детям смыслы, которые желает видеть у детей экспериментатор. Так, можно прочесть в отчетах об экспериментах фразы, вроде "он однаж-

ды видит на монете изображение орла", "ребенок первоначально называет словом "ква" утку", "словом "вау-вау" ребенок обозначает множество предметов" или сообщения о том, что слово "кха" означает у ребенка все, что связано с кошкой, а слово "га-га" - все, что связано с птицами. Подобные пассажи слишком упрощенно понимают генезис языковой деятельности у ребенка. Мы не можем быть уверены в том, что произнесенные в качестве реакции на внешний раздражитель те или иные звуковые комплексы являются словами, словоформами, высказываниями или еще какими-то определенными единицами языковой деятельности, поскольку не можем быть уверены в том, применимы ли термины "взрослого" языкознания (тем более, языкознания, ориентированного на норму и литературную правильность речи) к феноменам детской речи.

Сложность исследования онтогенетического становления смысла заключается еще и в том, что, пытаясь всякий раз уловить развивающийся смысл, мы сталкиваемся с тем, что наш объект изменился до такой степени, что не может быть прямо идентифицирован с объектом наших предыдущих исследований. Отсюда проблема: смысл в онтогенезе развивается лишь количественно, оставаясь собой на каждом последующем этапе (и тогда мы смело можем говорить об изменившихся "слове", "смысле", "значении", "модели"), или же его изменение носит качественный характер (и тогда следует говорить о сменяющих друг друга формах смысла, о превращении одного типа смысла в другой или другие). Именно в этом методологическом моменте лежит одно из наиболее существенных расхождений в исследованиях онтогенеза смысла.

Формирование смысла в психике-сознании ребенка, т.е. его "картины мира" или субъективной реальности может видаться по-разному в зависимости от методологической позиции. Функциональное понимание онтогенеза смысла как смыслопорождения следует отличать от рационалистического смыслопроявления, где смысл не создается созна-

нием в ходе столкновения предметно-мыслительной и коммуникативно-мыслительной практики, а проявляется, возникает у индивида вследствие интуитивной или чисто мыслительной интеллектуальной деятельности. В этом смысле в разряд рационалистских можно вполне отнести психологические исследования К.Бюллера и представителей вюрцбургской школы психологии в области "чистых" (свободных от чувственности) интеллектуальных форм смысла или идеи раннего Ж.Пиаже о неожиданном и совершенно априорном, внеопытном по своей причинности появлении языка у ребенка двух лет (идея онтогенетического "скачка"). Функциональная методология онтогенеза трактует возникновение смысла именно как рационально-чувственное, двустороннее отношение зависимости, при котором чувственное познание не может осуществляться вне рационально-понятийных форм бытия смысла, а рациональное познание не может ни при каких условиях быть вневещным по линии своей отнесенности к опыту. А если при этом учесть принципиально апостериорный характер функциональной методологии, то становится очевидным, что возможность внеопытного и сверхопытного генезиса смысла просто исключается. Отсюда то громадное значение, которое в функциональной методологии онтогенеза смысла придается психологическим механизмам ассоциирования по сходству и смежности. Именно эти механизмы (в терминологии Р.Якобсона - субституции и предикации) представляют из себя апостериорную основу онтогенеза смысла. Новый смысл может быть порожден и порождает бесконечно, как только у ребенка сформируются эти механизмы и свойственные им модели. Иначе говоря, именно в механизмах субститутивного сопоставления и предикативного соположения лежит основа ограниченности познавательных способностей возможным опытом и неограниченности этих способностей в бесконечных пределах этого возможного опыта. Эта идея может быть выражена в виде формулы: можно породить любой смысл, являющийся сходным или смежным уже существующему, но

нельзя мыслить того, что ни с чем уже мыслимым не сходно и ничему уже мыслимому не смежно.

В той же степени различно и понимание возникновения смысла в функциональной и феноменологической методологии. Здесь различие проходит как по линии локализации генезиса смысла, так и по линии зависимости этого процесса от практики предметно-коммуникативной деятельности. Проблема онтогенеза в феноменологии практически утрачивает свой смысл, так как истинным субъектом познания здесь является либо абстрактный Дух (обожествленный или нет), либо общественное сознание, но никак не конкретный индивид. Отсюда и отвлечение от всех "несущественных" частных, присущих реальному человеку, и не свойственных общественному сознанию (чистой системе) в целом. С другой стороны, феноменологический смысл не создается его субъектом, а открывается, вскрывается. Он снисходит на индивида, на народ, на природу (в зависимости от разновидности феноменологической теории), они (субъекты) познают его, постигая, научаясь, проникая в его сущность. Иногда это происходит интуитивным путем, иногда требует рационального обоснования, правда, при соблюдении множества оговорок и условий, при отвлечении от множества частных, при игнорировании множества исключений. Специфику феноменологического подхода к решению проблемы онтогенеза можно охарактеризовать как принципиальное поглощение онтогенеза филогенезом.

Одним из аспектов такого поглощения можно считать представление смысла изначально структурированным, а не образующимся в ходе онтогенетического становления. В психологии идея цельности и пред-данности инвариантного структурированного смысла развивалась гештальтпсихологами. "Она (структурная психология - О.Л.) сделала своим основным допущением мысль о том, что психические процессы изначально представляют собой замкнутые, организованные, целостные образования, имеющие внутренний смысл и определяю-

щие значение и удельный вес входящих в их состав частей" (Выготский, 1982, I:241).

Функциональный подход к онтогенетическому становлению смысла предполагает наличие двух источников, на пересечении взаимодействия которых и порождается смысл. Это предметно-мыслительная (чувственно-операциональная) практика, в ходе которой ребенок осваивает собственное тело через действия с чувственно осязаемыми предметами, и коммуникативно-мыслительная практика, максимально социализирующая информацию, возникающую в формирующейся психике-сознании. Все составные онтогенеза смысла самым тесным образом связаны между собой. Их разведение в виде "чистых" понятий возможно только на теоретическом уровне.

Любое предметное (чувственно-эмпирическое) действие с внешними предметами с первых же минут жизни ребенка корректируется взрослыми, направляется и оформляется в согласии с уже выработанными во взрослом мире стереотипами и понятиями. Генетически врожденные механизмы психики-сознания целенаправленно развиваются взрослыми в русле их культуры. Идея апостериорного трансцендентализма функциональной гносеологии смысла прекрасно выражена Львом Выготским: "Речь окружающих с ее устойчивыми, постоянными значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обобщений у ребенка. Она связывает собственную активность ребенка, направляя ее по определенному, строго очерченному руслу. Но, идя по этому определенному, предначертанному пути, ребенок мыслит так, как это свойственно на той ступени развития интеллекта, на которой он находится. Взрослые, общаясь с ребенком при помощи речи, могут определить путь, по которому идет развитие обобщений, и конечную точку этого пути, т.е. обобщение, получаемое в его результате. Но взрослые не могут передать ребенку своего способа мышления" (Выготский, 1982, II:150).

Данное положение вполне применимо ко всему онтогенезу смысла, а не только к его становлению у ребенка. Общество, множество объединенных традицией и условиями жизни индивидов, может пре-
допределять, направлять развитие смысла у конкретного индивида, но не может собственно "передать" ему этот обобщенный и традици-
онный смысл. Именно в этом моменте и состоит функциональный апостериоризм свободы воли. Человек волен творить смыслы, но этот процесс имеет социально-культурные границы, которые, впро-
чем, могут раздвигаться за пределы традиций семьи, класса, нации. Интересно, что разные типы деятельности по разному могут быть де-
терминированы со стороны общества. Так, психологические опыты В.Меде, Г.Мюнстерберга, Л.Кларк и др. свидетельствуют в пользу то-
го, что коллективное выполнение физической работы приносит, как правило, положительные результаты, а умственной - может, в одних случаях, способствовать решению проблемы, а в других - препятст-
вовать (См., напр., Baley, 1958; 253-255). Но во всех случаях влияние на личность со стороны общества остается неизменно доминирую-
щим. На сегодняшний день в гуманитарной сфере, пожалуй, только солипсисты и крайние волюнтаристы могут отрицать это влияние. Впрочем, признание такого влияния феноменологами совсем не зна-
чит, что они стоят на апостериорных позициях. В их концепции чело-
век является частью общества *a priori*, и он, и общество в целом те-
леологически, а не каузально взаимообуславливают друг друга. Тако-
ва же, в принципе, трактовка опыта и в структурной лингвистике, и в гештальтпсихологии.

Следовательно, в силу отсутствия врожденных реальных смыслов в формирующейся психике младенца их формирование происходит хотя и по "взрослому сценарию", но в "детском исполнении". Мы принципиально отказываемся признать генетическую "информацию" о росте, весе, цвете кожи родителей, поле ребенка, его темпераменте, особенностях его внешности, заимствованных у родителей, особен-

ностях устройства механизмов чувственно-эмоционального восприятия и рационального мышления (обостренность или заторможенность чувств и эмоций, развитость того или иного участка головного мозга и т.д.) собственно смыслом. Все эти врожденные задатки являются элементами именно внешнего, физического мира, предшествующими смыслу и детерминирующими его появление, т.е. такими же составными природы, как и все остальные внешние по отношению к человеческому сознанию предметы. Без них и вне их смысл появиться не может, но признание их смыслом (или информацией в полном смысле этого понятия) равноценно признанию индетерминированности смысла опытом реальной жизнедеятельности. Именно поэтому наличие чувственно осязаемой природы (в том числе и человеческого мозга) в качестве детерминантов смысла является одним из центральных положений функциональной методологии онтогенеза. Однако, сами по себе, вне коммуникативно-мыслительного воздействия со стороны взрослых, эти механизмы и задатки, сообщаясь через органы чувственного взаимодействия с внешней природой, могут порождать только фактуальные смыслы, т.е. порождать информацию об актуальном бытии, о наличном состоянии и взаимосоположении организма относительно внешних предметов. А черты собственно человеческого сознанию придает способность не столько соплагать смыслы (смежно ассоциировать ощущения и эмотивные реакции), сколько их сопоставлять и противопоставлять, вычленять, сводить в классы и категории по принципу сходства, идентифицировать актуальные состояния и реакции с прежними; иначе говоря, устойчивая психика в полном смысле этого слова (с базой воспроизводимой информации) и сознание человеческого типа может появиться (и, очевидно, появляется) только после возникновения механизмов субституции (т.е. дискретизации элементов смысла из предикативных континуумов и ассоциирования их по сходству).

Как показывают исследования речи детей, детские когнитивные понятия и значения в детском языке не обладают той степенью дискретности, иерархической структурированности, отвлеченности от фактуальных, контекстных, дискурсивных, ситуативных факторов, какой обладают когнитивные понятия взрослых.

Анализируя единицы детской речи, можно прийти к выводу, что их смыслы структурированы принципиально иначе, чем смыслы взрослых, и сущность этих различий состоит, в первую очередь, в преимущественно полевом, референтивном структурировании детских форм смысла (затруднительно назвать их понятиями) и в преимущественно иерархическом, категориальном структурировании понятийных смыслов взрослого. Категориальная разнесенность детских смыслов по гипогиперонимическим группам и классам наступает гораздо позже, и не последнее место в этом процессе занимает обучение в школе, хотя переоценивать роль школьного обучения не стоит. Л.Выготский совместно с А.Лурией провели в свое время ценные исследования языка посещающих и не посещающих школу детей. Выводы говорят сами за себя. Посещающие школу дети с большей легкостью владеют способностью к дефиниции и классификации, чем дети, которые развивались в чисто "традиционной" коммуникативной среде. Принципиально сходны с этими выводами и результаты исследований американских этнологов (См.Коул,Скрибнер,1977) способностей к категоризации смысла представителями "цивилизационной" и "традиционной" культур. В современном цивилизованном мире функцию социальной коррекции смыслов, заключающейся в априорном подведении всех возникающих у ребенка фактуальных смыслов под категориально-классификационную сетку свойственных этому типу культуры инвариантных понятий, кроме семьи и школы, в значительной степени выполняют средства массовой информации. Поэтому сейчас провести исследования вроде тех, которые провели в 20-30-х гг. советские психологи, очень затруднительно, поскольку сравнивать желательно детей одного возраста и примерно рав-

ных по природным способностям. Впрочем, элементы традиционной культуры в виде обыденно-мифологического сознания широко наличествуют в современном обществе, как бы ни был высок уровень его цивилизационного развития. Сравнения понятий обыденного сознания (когнитивных понятий) с научными понятиями может показать все ту же картину: научные понятия максимально категориальны и минимально референтивны, а когнитивные понятия обладают очень высокой степенью референтивности и очень низкой степенью категоризованности.

Под "категиориальностью" или "категоризованностью" инвариантного смысла мы понимаем включенность данного смысла в гипогиперонимическую иерархию смыслов и наличие в структуре смысла соответствующей информации о месте его в этой иерархической системе. "Слово всегда относится не к одному какому-нибудь отдельно-му предмету, но к целой группе или к целому классу предметов. В силу этого каждое слово представляет собой скрытое обобщение. Но обобщение ... есть чрезвычайный акт мысли, отражающий действительность совершенно иначе, чем она отражается в непосредственных ощущениях и восприятиях" (Выготский, 1982, II: 17). "Референтивностью" инвариантного смысла мы называем отнесенность смысла к множеству конкретных референтов познания, включенность его в актуальные предметно-познавательные ситуации, наполненность данного инвариантного смысла фактуально-смысловой информацией. Несложно догадаться, что категориальный компонент инвариантного смысла формируется на основе механизмов субституции и представляет из себя иерархически структурированную систему, а референтивный компонент формируется на основе механизмов предикации и представляет собой семантическое поле. Нет ни одного дискретного человеческого смысла, который бы не обладал обеими этими сторонами и не был бы одновременно структурирован в категориально-иерархическом (по принципу сходства) и референтивно-полевым (по принципу смежности) отношении. Именно за счет этого двустороннего

характера (отнесенность категориальной информации в область коммуникативно-мыслительной деятельности и отнесенность референтивной информации в область предметно-мыслительной деятельности) понятийные смыслы и могут быть представлены в форме функции, отношения этих двух типов деятельности. Понятие деятельности является одним из центральных понятий функциональной методологии. Оно легло в основу такого ответвления функционализма, как праксеология (Т.Котарбиньски, Г.Томашевски, Я.Рудняньски).

Наличие двух функционально связанных сторон в понятийно-инвариантном смысле вовсе не значит, что эти стороны равноценны, равновелики и равноправны по своей роли в деятельности человеческого сознания. Их ценность может варьировать в зависимости от категориального уровня понятия, референтивного охвата фактуальных смыслов, уровня образованности их носителя, его возраста и т.д. Однако даже в самых ситуативно ориентированных смыслах детей всегда наличествуют хотя бы начала категориального обобщения и отвлечения. В противном случае как объяснить повторное возвращение ребенка к этому же смыслу в совершенно иной фактуальной ситуации. Объяснение может быть только одно: ребенок дискретизировал смысл и сформировал классификационное ядро, позволяющее ему абстрагироваться от специфических обстоятельств деятельности и применить данное знание в совершенно иной ситуации предметно-коммуникативной практики. Другое дело, что степень такой категоризации может быть различной. А.Лурия писал: "... за операцией различения объектов стоит наглядно-действенное мышление (в нашей терминологии - механизмы референции - О.Л.)... За указанием же на общее кроется ... операция введения в отвлеченную категорию... Если на ранних ступенях развития преобладает умение выявлять различие, а не сходство, то это является лишь внешним признаком того, что на этих ступенях развития еще не созрел сложный процесс выде-

ления общего признака обоих предметов в общую отвлеченную категорию" (Лурия, 1979:74).

Активная роль индивида, его психики (сознания) в познавательном процессе сохраняется на протяжении всей его жизни, поэтому по сути своей (по онтическому типу) познание и в детском, и во взрослом возрасте остается процессом смыслопорождения. Иногда может показаться, что детей это касается в меньшей степени, чем взрослых, что они более походят на заполняемую нами пустую доску. Однако это не так. "Учитель, - писал Л.Выготский, - только организатор социальной воспитательной среды... (он) ... вовсе лишен непосредственного влияния на учеников, непосредственного воспитательного воздействия до тех пор, пока он сам не выступает как часть среды" (Выготский, 1982, I:192). А причина этого, по мнению Л.Выготского, в том, что "... ученик сам воспитывает себя. В конечном итоге воспитывает учеников то, что они сами делают, а не то, что делает учитель; важно не то, что мы даем, а то, что мы получаем; только через свою самостоятельность они изменяются" (Там же, 194-195). Изменяется с возрастом не сущностный характер познавательного процесса, а только соотношение между его составными - чувственным созерцанием и мышлением. Так, в познавательной деятельности ребенка чувственность занимает более значительное место, чем у взрослого, но нельзя назвать познавательной деятельностью или смыслопорождением исключительно один процесс чувственного созерцания.

Отсутствие у ребенка врожденных смыслов и одновременность формирования у него всех составных языковой деятельности - языка, речи и речевой деятельности - в качестве методологических посылок позволяют экстраполировать онтогенетический процесс оформления первичных смыслов на ранние этапы филогенеза, когда гипотетически не существовало еще ни человеческого языка, ни речи, ни речевой деятельности в их современном смысле. Данные истории языка, наши собственные наблюдения за языком детей и функционально-

методологическая интерпретация данных других исследователей склоняют нас к тому, чтобы признать правоту тех ученых (например, А.Потебни или В.Матезиуса), которые считали, что понятия и мысли в их современной форме возникли из первобытного аморфного мыслительного состояния, в котором еще не различались процесс и субстанция (а, возможно, еще не были разведены время и пространство). Первичные предпонятия были понятиями-мыслями, как первичные слова (словоформы) были словами-предложениями. Слова языка (существительные и глаголы), возможно, развились из диффузных синтаксических единиц, бывших в предвысказывании одновременно и подлежащим, и сказуемым. Подобные диффузные явления, впрочем, не редкость в целом ряде современных языков, особенно тех, которые сохранили древнюю структуру внутренней формы (например, некоторые американские языки). Отсюда и наше предположение относительно развития смысла в онтогенезе. Опираясь на собственные наблюдения за детской речью, мы склонны полагать, что ранние детские смыслы являются в той же степени названиями предметов, в какой и мыслью, выражающей некоторую фактуальную модальность по поводу этого предмета. Учитывая нестабильность детского сознания и отсутствие ядерных форм смысла, на которые могли бы наслаиваться новые, производные смыслы, следует предположить, что закрепление в памяти какой-то первичной информации должно происходить в форме именно процессуального функционального отношения. Сходное понимание находим у Выготского (“... смысловая сторона первого детского слова не имя существительное, а однословное предложение”; Выготский, 1982, II:409) и у Е.Салминой (Салмина, 1988:115).

Принято считать, что предметность (субстанциальность) - самая простая для осознания форма понятийности. Но это заблуждение. Для того, чтобы понять некое постоянно меняющееся в пространстве и времени явление как предмет, необходимо многократно вклю-

чить его в процесс предметной деятельности. Выделение из природного континуума отдельных предметов, как, собственно говоря, и усмотрение в нем отдельных процессов, свойств и качеств, отношений и обстоятельств, является весьма сложным актом абстрагизации. В работе П.Линдсея и Д.Норман "Переработка информации у человека" встречаем интересный вывод, сделанный на основе многолетних наблюдений за детьми: "... действие - основа первоначальных знаний, приобретаемых ребенком. Через действия у него создаются общие понятия о предметах, с которыми он сталкивается" (Линдсей, Норман, 1974:420). Именно поэтому, прежде чем осознать нечто как предмет (субстанцию), не говоря уже об освоении его в виде представителя класса предметов, ребенок в своей предметно-коммуникативной деятельности подвергает предмет многократным и разнообразным манипуляциям, роняет его, расчленяет, инстинктивно сует в рот, хватая рукой и т.д. Коммуникативность этого процесса состоит именно в том, что взрослые содействуют и направляют эти манипуляции, подавая или, наоборот, отбирая у ребенка этот предмет. Так, сами над тем не замисливаясь, взрослые помогают сформировать у ребенка понятие дискретности предмета, которое впоследствии ляжет в основу субстанциальности его сознания. В этом смысле показательны рассуждения И.Канта над сущностью понятия "быть" и суждений, в которых оно выступает в качестве предиката при субстанциальном субъекте. Кант пришел к выводу, что "быть" - не реальный предикат, поскольку не прибавляет ничего нового к понятию субстанции, поскольку в этом понятии имманентно содержится. Именно поэтому все суждения с предикатом "быть" Кант определял как аналитические. Следовательно, понятие субстанции обязательно содержит в себе в виде тематического фона понятие процесса (См. Кант, 1964:521).

Поскольку онтогенетическое познание апостериорно, то вполне естественно, что у истоков формирования смысла лежат сенсорно-

эмотивные механизмы, при помощи которых и возникает тот эмпирический, чувственный фон, на основе которого впоследствии и возникнут первые синкретические представления о повторяющихся предметно-коммуникативных ситуациях. Несложно предположить, что первичные смыслы - это фактуальные смыслы. Поэтому, именно ситуация, а не физический предмет является первичным референтом познания смысла. Вполне логично, что первичный смысл будет недискретным, процессуально-субстанциальным. При ассоциировании первых смысловых представлений с некоторыми звуковыми представлениями окажется, что ребенок совершенно нелогично "называет" различные предметы одним и тем же "словом". А объяснение, возможно, кроется в том, что ребенок, у которого еще не стабилизировалась система когнитивных понятий (отсутствует дискретная инвариантная информация), эмотивно реагирует или выражает желание по поводу некоторого своего аморфного представления и поскольку его акустико-артикуляционные способности еще невелики, всякий раз эксплицирует свою интенцию одним и тем же способом. Однажды закрепившееся в виде рефлекторной связи отношение между некоторым звуковым представлением и некоторым эмоциональным состоянием, возникшим в ходе предметно-коммуникативной деятельности, затем может автоматически перенестись на другое эмоциональное состояние, смежное предыдущему. Именно поэтому ребенок, с точки зрения экспериментатора, сначала "назвал" кошку словом "кха", а затем "перенес" это название на шапку (такая же по фактуре, теплая и мягкая), а в другой раз на камень (такой же острый и царапается). В действительности же ребенок не называет предметов, но, скорее всего выражает свое отношение к ситуации. А.Лурия представляет онтогенетический путь смысла именно как развитие от аффективного значения к конкретному образу, а лишь от него к понятию (См. Лурия, 1979:63). Установление подобной связи уже можно считать первым субститутивным актом детского сознания, поскольку ребенок сумел увидеть в

настоящем опытным состоянии результаты своего предыдущего опыта. А это значит только одно: у ребенка возникла память, т.е. основания для образования инвариантного смысла. И только с возникновением первого инвариантного дискретного представления о предмете или действии, отвлеченного от конкретной ситуации чувственного созерцания, мы можем говорить о появлении полноценного собственно человеческого типа сознания.

Впрочем, референтивный, тематический, ориентированный на предметно-коммуникативную ситуацию характер сознания еще долго будет присущ ребенку. Полностью не освобождается от его доминирования и человек традиционной культуры. Присущ он (хотя и в другом функциональном свойстве) и обыденному режиму речемышления и обыденным понятиям представителя цивилизационного типа культуры. Л.Выготский отмечал, что "в мышлении взрослого человека мы на каждом шагу наблюдаем переход от мышления в понятиях к мышлению конкретному, комплексному, к мышлению переходному... Псевдопонятия составляют не только исключительное достояние ребенка. В псевдопонятиях чрезвычайно часто происходит мышление в нашей обыденной жизни" (Выготский, 1982, II:168). Именно поэтому мы во всех типах понятий предлагаем наряду с категориальной (обобщающей, собственно концептуальной) частью выделять и референтивную (ситуативную) часть. Разница между различными типами понятий состоит не в их структуре, а в функциональной дистрибуции смысла между частями. Обыденные (когнитивные) понятия обладают более развитой референтивной частью, в то время как научные понятия весьма бедны именно в референтивном отношении. Вместе с тем, мы не можем согласиться с мнением Выготского, что "понятия, встречающиеся в нашей житейской речи, не являются понятиями в собственном смысле" (Там же), поскольку ни со стороны качества содержания или объема понятийного смысла, ни со стороны качества понятийной формы или структуры когнитивное понятие ничем не отлича-

ется от понятия научного или философского. Разница между ними чисто количественная. Возникает она тогда, когда когнитивные понятия подвергаются рефлексивному осмыслению в процессе научно-теоретической мыслительной деятельности. Такое же понимание находим и у самого Выготского: "Наличие понятия и сознание этого понятия не совпадает ни в моменте появления, ни в функционировании. Первое может появиться раньше и действовать независимо от второго. Анализ действительности с помощью понятий возникает значительно раньше, чем анализ самих понятий" (Там же, 177).

Смыслы детей гораздо более референтивны, чем смыслы взрослых. Их система понятий отличается тем, что здесь полевая (семантико-тематическая, смежностная) структура более функциональна, чем категориальная. Дети зачастую смешивают понятия только потому, что они входят в одну тематическую группу и категориально не дискретизированы. На уровне языка это выглядит так, как будто ребенок путает значения слов или употребляет одно слово вместо другого. Так может думать только взрослый. С точки зрения ребенка это абсолютные синонимы. Они называют одно и то же понятие. Просто это понятие нетождественно ни одному из понятий, которые взрослый выражает данными словами. Такая ситуация очень характерна не только языку и сознанию детей. Аналогично положение и в обыденном сознании и обыденном языке. Даже лингвисты, которые в режиме научной деятельности вполне четко различают понятия "язык" и "речь", тем не менее, в обыденной языковой деятельности именуют "языком" весь комплекс явлений языковой деятельности, причем как индивидуальной (конкретно-онтологической), так и социальной (абстрактной). То же происходит и с целым рядом других терминов, которые, будучи произведены из обыденных слов, обречены на постоянную мифологизацию в обыденном сознании. Аморфность (плавность), в принципе, весьма показательная черта обыденного сознания, особенно традиционного. Не исключено, что сама метафоризация как

главенствующий принцип формирования понятий в филогенетическом отношении произошла от подобных синкретичных состояний совмещения. Наши предки, в отличие от нас, не просто “переносили” наименование с одного когнитивного понятия на другое, но именно мыслили неодушевленное как одушевленное, абстрактное как конкретное, животных как людей и под. Исследования в области этимологической семантики свидетельствуют в пользу того, что все абстрактные понятия происходят от конкретных (ср. “очевидный” - видеть, “послушный” - слушать, “утверждение” - твердый, “связный” - вязать, “ненавидеть” - видеть, “повод” - водить, “удивление” - *дивиться, т.е. смотреть). Польский философ Яцек Ядацки приводит следующие примеры подобных исторических переносов “zawiść” - видеть, “dowodzić” - водить, “posłuszeństwo” - слушать, “dusza” - дышать, “przebieg” - бежать, “skutek” - ковать, “łaska” - гладить, “teraz” - разить, бить, “znaczenie” - значить, оставлять знак и под. (См. Jadacki, 1991). Сами того не подозревая, мы все являемся заложниками нашего мифологического прошлого. Развивая идею общепринятых смыслов (ценностей), В.Франкл отмечал: “Таким образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристаллизирующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все человечество. Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, так как, по крайней мере, в типичных ситуациях он избавлен от принятия решений. Но, к сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что в отличие от уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две ценности входят в противоречие друг с другом. А противоречия ценностей отражаются в душе человека в форме ценностных конфликтов, играя важную роль в формировании ноогенных неврозов” (Франкл, 1990:288-289).

Референтивный характер детской понятийной системы позволяет ребенку без труда производить операции переноса наименований,

что может быть представлено экспериментатором как отсутствие понятия вообще или неверно интерпретировано. А.Лурия приводит в качестве примера исследования детской понятийности опыты Г.Розенгарт-Пупко (См.Лурия,1979:59) по референции понятий, обычный референт которых отсутствует в экспериментальных условиях. Ребенок должен подать исследователю предмет, который экспериментатор ему называет, но данный предмет в комнате отсутствует. Экспериментатор совершенно не учитывает, что далеко не каждый ребенок проявит достаточный уровень нонконформизма или критического отношения к словам взрослого и усомнится в его (взрослого) правоте. Поэтому, вполне естественно, что большинство детей исполняли желание экспериментатора и приносили ему нечто напоминающее объект его просьбы. Очевидно, что чистота эксперимента, нацеленного на исследование именно характера детских когнитивных понятий, соблюдена не была. Это довольно распространенное явление в области экспериментального исследования детского сознания, когда эксперимент не отвечает задачам, на него возлагающимся, но, тем не менее, дает материал для обобщений и выводов, самим экспериментатором не осознаваемых, поскольку они не предвиделись при постановке эксперимента.

Важным фактором, который следует учитывать при изучении речи детей, является семасиологический характер детского языкотворчества по сравнению с ономасиологическим характером аналогичного процесса у взрослого. Взрослый сначала осмысливает свою интенцию и лишь затем номинирует ее языковыми средствами. Ребенок, чье сознание постоянно зажато в тиски собственной предметно-мыслительной деятельности и напорающей на него со всех сторон массы выработанных взрослыми смыслов (через коммуникативную деятельность), просто вынужден совмещать собственное языкотворчество (ономасиологическую, номинативную деятельность) с толкованием предлагаемых ему взрослыми знаков. А поскольку смысл пе-

редать невозможно, процесс усвоения слов "взрослого" языка приобретает для ребенка черты толкования.

Здесь уместно рассмотреть один пример из собственно практики наблюдения за языком ребенка в стадии формирования первых редуцированных знаков, вроде "ма-ма", "ба-ба", "ля-ля" и под. Речь пойдет о "смешении" ребенком "взрослых" когнитивных понятий "поезд" и "пояс", именуемых им знаком "ту-ту". Довольно привычное "слово" из детской речи "ту-ту", которое в языке взрослых уже закрепилось за смыслом "название поезда в языке детей", ребенок вдруг переносит на пояс. Здесь мы имеем дело с очень интересным фактом, обычно не исследующимся лингвистами и психологами: с "переводом" детьми слов языка взрослых на свой язык. Для того, чтобы применить знак "ту-ту" к поясу, ребенку, как минимум, нужно было обладать знанием, что тот предмет, который он называет "ту-ту", взрослые называют звукорядом "поезд" (или близким к нему, учитывая ударность первого слога и возможность редуцированного акустического образа концовки). Следовательно, услышав от взрослых форму "пояс", ребенок идентифицировал ее с уже известным ему "поезд", а после этого "перевел" его в свою систему активного кодирования, после чего стал называть пояс "ту-ту". Такова внешняя сторона процесса. Внутренняя же сторона, а именно процесс семантизации, наполнения смыслом нового знака "ту-ту" (со значением "пояс"), остается скрытой. Подсказку можно найти в предметной деятельности ребенка, который стал играть поясом как игрушечным поездом. Это действие подсказывает гипотезу: ребенок, услышав от взрослых, что этот тонкий и длинный предмет называется "пояс/поезд" (а на его языке - "ту-ту"), стал толковать эту загадку - почему взрослые называют поездом этот предмет - и решил ее с честью. Он определил для себя этот предмет в качестве игрушки, игрушечного поезда, благо что модель переноса с игрушек на предметы, которые эти игрушки изображают, и с предметов на игрушки была у него выработана раньше.

Это оказалось для ребенка довольно несложным, поскольку могли быть найдены мотивационные основания (вроде удлиненности форм, ведь, как показали наши наблюдения, "поездом" в понимании ребенка может быть не любой предмет, а лишь продолговатый; так, один кубик не удовлетворил ребенка в качестве "поезда", для этого ему понадобилось выстроить в ряд несколько кубиков).

Было бы ошибкой полагать, что детские предпонятийные формы смысла настолько аморфны, что ребенок не различает предметов-прообразов игрушек от самих игрушек. З.Фрейд по этому поводу писал: "Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительной жизни" (Цит. по: Выготский, 1986, 94). Ситуации, вроде той, когда, увидев на улице собаку, ребенок вспоминает о своей, но не такой, а "которая не лает", только создают иллюзию смешения, диффузии понятий натурфакта и артефакта. Ребенок очень рано, уже на начальном этапе формирования языковой деятельности, усваивает категориальные признаки "живой // неживой", "человек // не-человек", "настоящий // ненастоящий" (последний заменяет у ребенка критерий "конкретно-реальный // абстрактно-ирреальный"). Впрочем, речь ребенка (как и языковое обыденно-мифологическое сознание взрослого) часто скрывает от нас факт наличия подобных разграничений. В своей речемыслительной деятельности мы часто склонны персонифицировать предметы и животных, оживлять неодушевленные понятия и конкретизировать абстракции, редуцируя свои мысли в целях экономии выразительных средств. Так, например, мы говорим: "Вот мой брат", показывая его фотографию, "Взгляните на ее руки", указывая на элемент скульптурного изображения, "Класс внимательно слушал", имея в виду учеников, "Я слышу тебя хорошо", слыша звуки чьей-то речи и т.д. Поэтому, оценивая семантику детской речи (как, впрочем, и взрослой), следует быть особенно осторожным в

оценке понятийной отнесенности отдельных словоформ и фраз. Здесь легко ошибиться, приписав испытуемому смыслы (которые ему не присущи) и не обнаружив неявно эксплицированную информацию.

Я.Бодуэн де Куртенэ в свое время замечал, что ребенок не только (и не столько) воспринимает языковую систему от взрослых, сколько творит ее дедуктивно, "натываясь" на препятствия непонимания и коррекции с их стороны. Факт непонимания, коммуникативной неудачи является именно тем эмпирическим апостериорным фактором, который детерминирует все последующие творческие трансцендентальные акты ребенка. Более того, Бодуэн де Куртенэ предположил, что ребенок часто "захватывает вперед", предвосхищая будущее состояние языка. Это положение (гипотезу) также можно объяснить функционально, т.е. вполне апостериорно. Языковой онтогенез предполагает эвристическое открытие законов системы. На творческом характере онтогенетического познания настаивал Ж.Пиаже: "... детскую мысль нельзя изолировать от факторов воспитания и от тех влияний, которым взрослый подвергает ребенка, но эти влияния не отпечатываются на ребенке, как на фотографической пленке, они ассимилируются, т.е. деформируются живым существом, которое им подвергается, и внедряются в его собственную субстанцию" (Цит. по: Выготский, 1982, II:35). Но это открытие не является феноменологическим, эйдетическим, трансцендентным проникновением в объективно существующие вне человека законы. Это апостериорное открытие, т.е. гипотетическое объяснение для себя всего многообразия наблюдаемого в опыте коммуникации и предметной деятельности. В первую очередь, фактором апостериорного стимулирования таких трансцендентальных открытий является ошибка предметно-коммуникативной деятельности, иначе говоря, затруднения и сложности на пути достижения некоторой цели, реализации некоторой интенции, верификации некоторой дедуктивной гипотезы. Закон осознания, сформулированный одним из основоположников швейцарской функциональной пси-

хологии Э.Клапаредом, звучит так: "Осознание наступает в ходе преодоления затруднения и нарушения автоматически текущей деятельности". Такое дедуктивное объяснение трудностей и ошибок неминуемо сопряжено с попыткой понять общую тенденцию движения мысли. Именно вследствие такого гипотезирования ребенок может предложить собственную версию дальнейшего развития смысла, которая впоследствии может оказаться плодотворной.

Специфической чертой современного онтогенеза языковой деятельности и психики-сознания в целом, отличающей его от существенно удаленных в филогенетическом отношении в прошлое, является то, что современный цивилизованный ребенок обладает гораздо большими дедуктивными возможностями, чем даже ребенок традиционной культуры. Информация о референтах (о фактах) зачастую поступает к нему по сенсорным каналам позже, чем понятийное их осмысление. Так, современный ребенок вынужден дедуктивно порождать категориальную информацию гораздо раньше, чем у него успеет накопиться для этого достаточное количество референтивной (фактуальной) информации. Вещи, явления или их признаки современный ребенок сперва познает на уровне понятия, на уровне вербального смысла (слова, словосочетания). Более того, даже референтивные свойства целого ряда предметов возможного опыта формируются у современного ребенка через понятия, опосредованно символическими суррогатами в виде игрушек, иллюстраций в книгах, кино- и видеоизображений. Однако, неверно было бы и трактовать понятийность современного детского мышления аналогично взрослой понятийности. Это филогенетическая понятийность, понятийность в сравнении с референтивностью мышления представителей традиционной культуры. С позиций синхронии мышление даже современного цивилизованного ребенка является референтивным по сравнению с мышлением взрослого. Детское предпонятие все же в значительной степени более референтивно, чем у взрослого. Доказательства этому

находим все в том же факте символической суррогатной замены некоторых референтов. Так, некоторое время ребенок может даже не осознавать понятийной разницы между натурфактом и артефактом, являющимся его суррогатной заменой (реальным животным и игрушкой, реальным фруктом и нарисованным). Однако очень скоро опыт коммуникативно-предметных неудач заставляет ребенка четко дифференцировать эти понятия. Этот момент становится основой для разграничения обыденно-реальной и игровой реальности, а следовательно, обыденно-естественной и искусственной сферы сознания (мышления), которая впоследствии разовьется в искусственные формы взрослого мышления - научно-теоретическую и художественно-эстетическую.

Следует заметить, что онтогенетические изменения могут быть изменениями становления и изменениями развития. Первые свойственны детскому периоду онтогенеза смысла, когда происходит собственно становление языковой деятельности индивида под огромным давлением социальной среды, вынуждающей ребенка отказываться от множества гипотез в пользу социальной традиции и нормы. Такие изменения можно назвать собственно онтогенетическими в отличие от филогенетических, которыми можно назвать изменения в уже существующей системе, т.е. изменения системы после того, как она усвоена. Эти обычно фиксируются в моделях внутренней формы языка и в знаках языковой информационной базы. Именно так зафиксированы прошлые онтогенетические изменения, которые оказались плодотворными и социализировались. Их постижение современным ребенком напоминает процесс множества гипотетических скачков (часто "неудачных" с точки зрения взрослых).

Интересно, что многие производные с точки зрения филогенеза явления языковой системы появляются в языковой деятельности детей гораздо раньше их мотиваторов и сами становятся для ребенка мотиваторами по отношению к своим системным предшественникам.

Так обстоит дело не только с деминутивами и гипокористиками, которыми насыщена речь родителей и детей, но и с огромным множеством омонимов (в традиционной терминологии - полисемичных слов), связанных производными отношениями метафоризации и метонимизации. Так, дети сперва узнают, что их зовут Машами, Настями, Колями, Шурами, Олдами, Миреками, Малгосями, Пепиками, Стасиками и т.д., и лишь потом им приходится привыкать к чуждым их слуху и явно функционально вторичным и психологически производным именам: Мария, Анастасия, Николай, Александр, Олдржих, Мирослав, Малгожата, Йозеф, Станислав и под. Дети, живущие в больших городах в странах, ранее входивших в состав СССР, с детства усваивают, что "Бам" - это удаленный микрорайон их города с новостройками (не любой, а какой-то конкретный). Затем они с удивлением узнают, что подобный "Бам" есть не только в других больших городах, но и на больших предприятиях, где "Бамом" называют удаленные от административного центра участки. И только погодя дети узнают, что "БАМ" - это Байкало-Амурская магистраль. Хотя последняя информация их никак не волнует, особенно, если они живут не в России и понятия не имеют ни о Байкале, ни об Амуре, ни, тем более, о "магистрали".

Приведем еще один пример из собственных наблюдений за детской речью. Ребенок, слышавший неоднократно от родителей, что его отец - "сова" и поэтому сидит допоздна за столом и пишет, увидев сову, спросил, что это за птица. Услышав в ответ, что это сова, птица, которая днем спит, он поспешил проявить свою обознанность: "Я знаю, это та, что днем спит, а ночью читает и пишет." Примерно то же может происходить и с омонимичными языковыми знаками "МОРЖ" (для ребенка прежде "купающийся зимой человек", а уже потом "морское животное"), "МОЛНИЯ" (прежде "тип застёжки", а уже потом "явление природы").

Таким образом, становится понятным, что филогенетическое (историческое) направление развития вполне может не совпадать с онтогенетическим, собственно функциональным, особенно в период развития детского сознания. Верное с точки зрения истории смысла может оказаться ложным с точки зрения онтогенеза и функционирования. Именно поэтому нам кажется неверным смещение Выготским акцентов с функционального аспекта на генетический, как, впрочем, ошибочно и ограничивать функциональный аспект бытия смысла одним смыслопользованием, коммуникацией, забывая то, что смысл продолжает развиваться постоянно даже во взрослом сознании, где, тем не менее, очень сильны механизмы торможения генезиса и сохранения status quo.

Важным в методологическом отношении моментом онтогенеза языковой деятельности, относящимся к собственно изменениям становления, является вскрытое Жаном Пиаже и Львом Выготским понятие эгоцентрической речи. Не вникая в глубину проблемы становления речевой способности ребенка, остановимся только на методологической значимости данного понятия для функционального понимания онтогенеза смысла.

Принципиальное отличие позиций Выготского и раннего Пиаже относительно роли и места эгоцентрической речи в становлении речевой функции ребенка касаются собственно методологически различного понимания сущности онтогенеза, а именно: рационалистического выведения эгоцентрической речи из детского врожденного аутизма и эгоцентризма у Пиаже и функционального выведения эгоцентрической речи из социального предметно-коммуникативного опыта у Выготского. У Пиаже онтогенез речи выглядит следующим образом: аутистическое мышление - внутренняя речь - эгоцентрическая речь - социальная внешняя речь. Выготский же полагал (и совершенно справедливо), что эгоцентрическая речь предшествует развитию как мышления (через внутреннюю речь), так и внешней речи в их собст-

венном смысле, как мышления и речи взрослого человека. Это строго апостериорная позиция, центральным моментом которой является социальная обусловленность онтогенеза смысла (не только вербального, но любого смысла вообще).

Говоря о методологической позиции Л.Выготского, нельзя не обращать внимание на то, в какой исторической ситуации он создавал свою генетическую теорию психологии. Прежде всего, начало XX века - это бурный расцвет априоризма и субъективизма. В психологии, односторонне воспринявшей идеи В.Джемса и формирующейся под сильным влиянием неопозитивистских идей эмпириокритицистов, рационалистов Венского кружка и Львовско-Варшавской школы, а также априоризма феноменологии Э.Гуссерля, появляются теории рационалистического (вюрцбургская школа, К.Бюллер, ранний Ж.Пиаже) или феноменологического (персонализм В.Штерна) толка. Поэтому Выготский полагал своей основной задачей выстроить собственно последовательную апостериорную методологию психологии. Стремление к апостериоризму зачастую подводило его, так как он иногда не замечал, что некоторые положения его теории уже выходят за пределы методологического субъективизма и сливаются с позитивистскими (с рефлексологией и бихевиоризмом). И только последовательный анализ всего творчества Выготского (в частности, его критика работ Э.Торндайка, физиологизма и атомизма в психологии) свидетельствует в пользу его антипозитивистской методологической настроенности. В пользу гносеологического субъективизма Выготского свидетельствует и его идея многоместного субъекта смысла (субъекта-микросоциума), последовательное отрицание всяческой деперсонализации смысла, возможность внеречевых форм мышления ("Мысль также имеет независимое бытие; она не совпадает со значениями"; Выготский, 1982, I:163; "Отношения мышления и речи ... можно было бы схематически обозначить двумя пересекающимися окружностями, которые показали бы, что известная часть процессов речи и мышле-

ния совпадает. Это так называемая сфера речевого мышления. Но речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех форм речи"; Выготский, 1982, II:110). В пользу функционализма Выготского говорит и его критика бихевиористов в вопросе генезиса смысла. Бихевиористы в чисто позитивистском ключе утверждали, что смысл порождается исключительно низшими (чувственно-отражательными) участками мозга, в то время как роль высших мозговых центров сводилась к регулирующей. Выготский же последовательно проводил идею трансцендентального происхождения смысла (в духе Канта) (См. Выготский, 1982, I:168-174). Правда, Выготский так до конца и не смог преодолеть позитивизм в своих взглядах. Прежде всего это отразилось в его неприятии идеи невербального понятийного мышления ("Понятие невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно вне речевого мышления..."; Выготский, 1982, II:133). Возразить Выготскому можно, используя его же образное сравнение о сращении живых тканей посредством их сшивания нитью (См. Выготский, 1983, III:121). Знак (язык) оказывается той "нитью", которая связывает психическое в одном человеке с окружающим миром и другими людьми. В ходе и вследствие такого связывания человек, во-первых, преобразует мир и воздействует на других людей, а во-вторых, - формирует собственное сознание. Как известно, нить впоследствии (после срастания тканей) оказывается ненужной и ткани могут функционировать (взаимодействовать) и без нее. Подобное происходит и со знаком, который оказывается по меткому выражению авторов книги "Планы и структура поведения" лишь "костылем обучающегося" (Миллер, Галантер, Прибрам, 1965:109) и становится ненужным для внутреннего пользования взрослому человеку. Таким образом, без языка не могло бы возникнуть сознание, но функционировать оно может и без помощи языка. Причина такой методологической ограниченности Выготского состоит, по нашему мнению, именно в постоянной ориентированности Выготского на историзм, причем историзм или генетизм

своей гносеологической позиции он смешивал с онтологией. Выготский неоднократно подчеркивал генетический характер своей теории. Вспомним и то, что синхронический подход пребывал в 20-30-е гг. XX века только в стадии становления. В лингвистике безраздельно властвовал сравнительно-исторический метод. Поэтому, как нам кажется, Выготский и не стал последовательно разводить генетические и собственно функциональные свойства психической деятельности. Отсюда и смешение становления и функционирования. Со стороны происхождения абстрактного мышления вообще (филогенетический аспект) и со стороны становления системы сознания у конкретного человека (онтогенетический аспект) понятийная форма мышления действительно вторична по отношению к речи, но после ее становления в развитом сознании она становится сравнительно независимой от языка, свидетельство чему - невозможность адекватной передачи мысли словесными средствами, многочисленные факты забывания наименований мыслимых понятий, возможность различной этноязыковой реализации мыслительной интенции полиглотами и под.

Приложение 6

Предикация и номинация в свете рационалистической методологии

Очень часто лингвисты, особенно генеративисты, не различают, с одной стороны актов номинации и предикации в речевой деятельности в целом, и в речепроизводстве в частности, а с другой стороны актов речевой номинации (знакоупотребления) и языковой номинации (знакообразования), поскольку в этом случае им пришлось бы признать наличие языковых (воспроизводимых) единиц, являющихся результатами языковой номинации (и хранящихся в информационной базе языка), и, онтически отличающихся от них, речевых продуктов, образуемых в ходе предикации. Это, в свою очередь, повлекло бы признание первичности семантики языкового знака по отношению к речевой коммуникации. А это в корне противоречит рационалистской концепции порождения семантики речевым контекстом. Отсюда - использование термина "номинация" как по отношению к речевым единицам - словоформе, словосочетанию, высказыванию и тексту, так и к языковым единицам (словам, клише и фразеологизмам).

Неразличение языковой и речевой семантики приводит рационалистов к рассмотрению высказываний как продуктов обозначения логической действительности, в связи с чем возникает проблема истинности или ложности высказываний. Большинство представителей этого направления считают вопрос истинности высказывания главным, поскольку нахождение "истинной" логики, т.е. логики, позволяющей максимально верифицировать высказывания относительно действительности, считается главной задачей гуманитарной науки, так как у

нее нет иных, непосредственных возможностей исследовать свой объект. Нахождение необходимой логической системы считается средством "объективизации" данных гуманитарных наук.

Примером такого подхода может служить рассмотрение Б.Расселом дефиниции как типа высказывания. По его мнению, дефиниция представляет собой акт номинации некоторого имени путем идентификации значений левой и правой стороны высказывания (См. Russell, 1952:94-108). Рассел, равно как и многие его последователи, упускал из виду то, что, во-первых, любое высказывание не столько обозначает действительность (или, вернее, ментальную картину этой действительности), сколько выражает отношение говорящего к тому, что он говорит. Во-вторых то, что он говорит, также не является обозначением действительности, но лишь мнением говорящего (его окружения, большинства или всех людей) по поводу своих знаний о действительности. В-третьих, знания говорящего о действительности также не обозначают, не отображают действительность адекватно, но всецело зависят от уровня познания индивида и общества. Таким образом, произнося высказывание "шахматы - один из видов спорта", говорящий не номинирует некоторую реалию и не определяет слово, но высказывает определенную мысль, мнение. При этом истинность или ложность этой мысли для языка нерелевантны, поскольку лишь некоторые когнитивные понятия основываются на сенсорно-эмпирических данных, которые сами по себе также небесспорны в плане истинности/ложности. Что же касается слов, то они обозначают когнитивные понятия под определенным углом зрения, что выражается в их внутренней форме. В речи слова еще более специфицируются и психологизируются, т.е. удаляются от инвариантного понятия, поскольку используются в определенном аспекте. Так, дефиниция "машина - средство передвижения" содержит словоформу "машина" с актуализированным значением "некоторый неодушевленный предмет, механизм". По-

этому словоформа "машина" неидентична по значению языковому знаку "МАШИНА". В речевом произведении словоформа выступает не сама по себе, но в функции составной синтагмы или высказывания, и ее значение само по себе в речевом произведении нерелевантно. Б.Рассел рассматривает дефиниции "Скотт - писатель" или "Скотт - автор "Айвенго" как отождествление левой и правой стороны, в то время как это не более, чем мнение по поводу некоторого человека, именуемого "Скотт", где левая сторона - тема, а правая - рема предикативного соположения. "Писатель" и "автор "Айвенго" специфицируют тему "Скотт", выражают мысль говорящего о Скотте. Поэтому, в лингвистике нельзя ни в коем случае рассматривать дефиницию как функцию элементарного математического (логического) отождествления.

Дефиниция далеко не всегда вскрывает значение единицы, находящейся в левой части. Нужно очень внимательно следить, насколько нормативно, обычно построение в правой части насколько оно покрывает все референции, которые можно подвести под левую. Вряд ли можно согласиться с К.Айдукевичем, который полагал, что значением выражения является все то общее, что объединяет все другие выражения, пребывающие в отношении равноценности к данному выражению, т.е. в отношении синонимичности (См. Simons, 1993:8). Далеко не всякая синонимичность носит характер языковой номинативности. При таком понимании полностью сливаются языковое значение (совокупность нормативных функций знака) и речевое значение (пропозициональная функция, предикативная модальность). Первое (языковое значение) принципиально неприменимо к выражениям (высказываниям), о которых и говорят рационалисты, поскольку последние - речевые, производимые единицы, продукты предикации. Видеть значение высказывания в синонимике, т.е. в парадигматическом по своей сути явлении, это то же самое, что признавать наличие у высказывания стабильного,

постоянного значения (содержания). А это, в свою очередь, ведет к признанию высказывания воспроизводимой единицей, наличествующей до речевого акта. Отсюда - прямой путь к признанию списка высказываний. Говорить о синонимике как критерии установления значения можно только в отношении языковых знаков, т.е. в отношении слов, фразеологических и клишированных сочетаний, цитатных высказываний и цитатных текстов. При этом нельзя забывать, что в контексте не выявляется все значение (содержание), а лишь какая-то актуализированная часть его. С другой стороны, далеко не все контексты вскрывают нормативное (языковое, системное) значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 7.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 (Гл.1, 1.3)

Языковая деятельность		
система	процесс	результат
язык	речевая деятельность	речь

Таблица 2 (Гл.1, 2.3)

тип семиотического отношения	характер выполняемых функций	
понятие : знак	понятие - означаемое	знак - означающее
стороны знака значение : форма	значение - эксплицируемое	форма - эксплицирующее

Таблица 3 (Гл.2, 1.2)

модус бытия смысла	инвариантный смысл (смыслы психики-сознания)		фактуальный смысл (смыслы психики-мышления)	
тип нейро-психической реакции	субституция с элементами предикации		предикация с элементами субституции	предикация
характер формы смысла	понятийные смыслы	смысловые императивные предписания	атрибутивно-модальные смыслы	процессуально-модальные смыслы
единица смысла	инвариантное когнитивное понятие	шаблонизированная мысль, поле знания	актуальное когнитивное понятие	мысль, актуальное знание
способ вербализации	знакообразование (языковая номинация)		речепроизводство (предикация и речевая номинация)	
тип знака	языковые знаки		речевые знаки	
характер знаков	номина-тивные	неномина-тивные	номина-тивные	предика-тивные
вербальный знак	слово, фразеологизм, клишированное словосочетание	клишированное высказывание, клишированный текст	словоформа, словосочетание, высказывание, СФЕ (на основе клише)	словосочетание, высказывание, СФЕ, текст

Таблица 4 (Гл.2, 1.2)

категориальная часть	референтивная часть		сигнификат	
категориальные семы: классемы, родо-, видосемы, семантемы (когнитивные и внутриформенные)	понятийные семы: валентностные и внутриформенные	непонятийные семы: сенсорные, эмотивные, волевые	десигнат-ядерные категориальные семы	денотат - ядерные референтивные семы

Таблица 5 (Гл.2, 2.1)

характер речевой деятельности	тип продуктов речевой деятельности
речепроизводство	речевые знаки и вспомогательные незнаковые речевые единицы
знакообразование	языковые знаки

Таблица 6 (Гл.2, 2.1)

тип модели внутренней формы языка	тип внутриформенного семантического элемента знака
модели текста	стилистическое значение
модели высказывания	синтаксическое значение
модели синтаксического развертывания	синтагматическое значение
модели словоформы	морфологическое значение
модели знакообразования	словообразовательное значение
фоно-графические модели	фонематическое и графическое значения

Таблица 7 (Гл.2, 2.3)

единицы языка		единицы речи	сигналы
информационные	модельные		
морфонема, архифонема, фонема как элементы формы языкового знака	морфонема, архифонема, фонема как элементы моделей фонации	фон	звук
графема как элемент формы языкового знака	графема как элемент модели графического оформления	граф	начертание

Таблица 8 (Гл.2, 2.3)

этапы речепроизводства					
синтаксирование		фонация		графическое оформление (ГО)	
модели речепроизводства	единицы семант. речи	модели фонации	единицы фонетич. речи	модели ГО	единицы письменной речи
модели текста и текстового блока	текст и текстовый блок (СФЕ)	модели создания и интонирования ф/текста и ф/абзаца	фонетический текст, фоноабзац	модели ГО текста и модели абзаца	графический текст, абзац
модели высказывания	высказывание	модели фонации фразы	период (макрофраза), фраза	модели ГО периода и фразы	гр/период гр/предложение
модели синтаксического развертывания и модели словоформ	словосочетание и словоформа	модели создания синтагмы и ф/слова	синтагма, фонетич. слово	модели ГО синтагмы и созд. гр/цепочек	пунктуац обороты и графич. цепочки
	морф	модели слогаобразования, сегментной фонации и ударения	слог, фон	модели переноса и сегментного графического оформления	графич. слог, граф

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 8.

РИСУНКИ

Рис. 1 (Гл.1, 3.3)

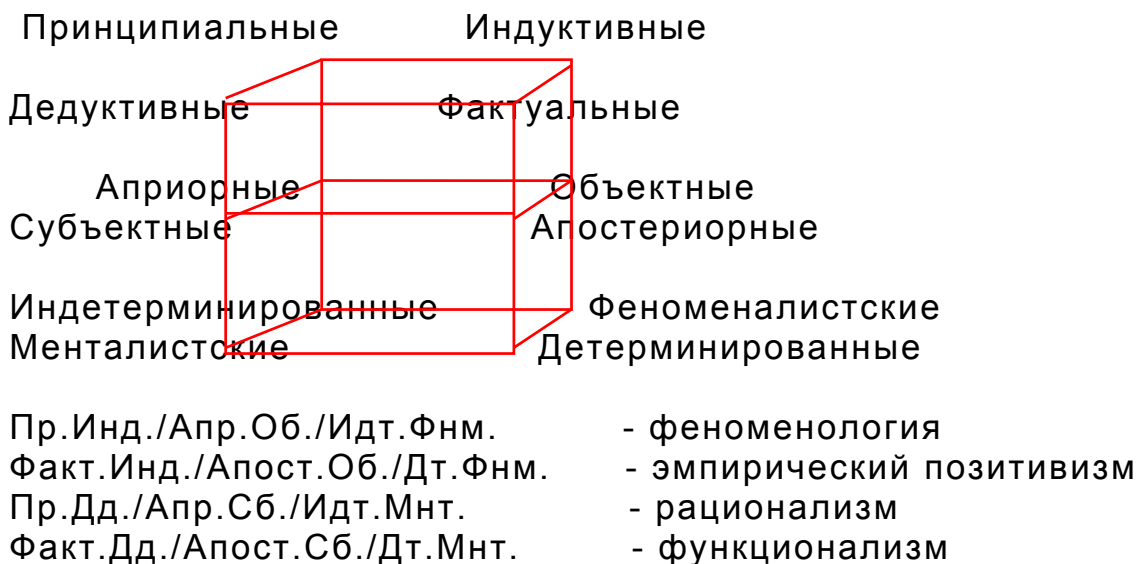


Рис.2(Гл.2., 1.1)

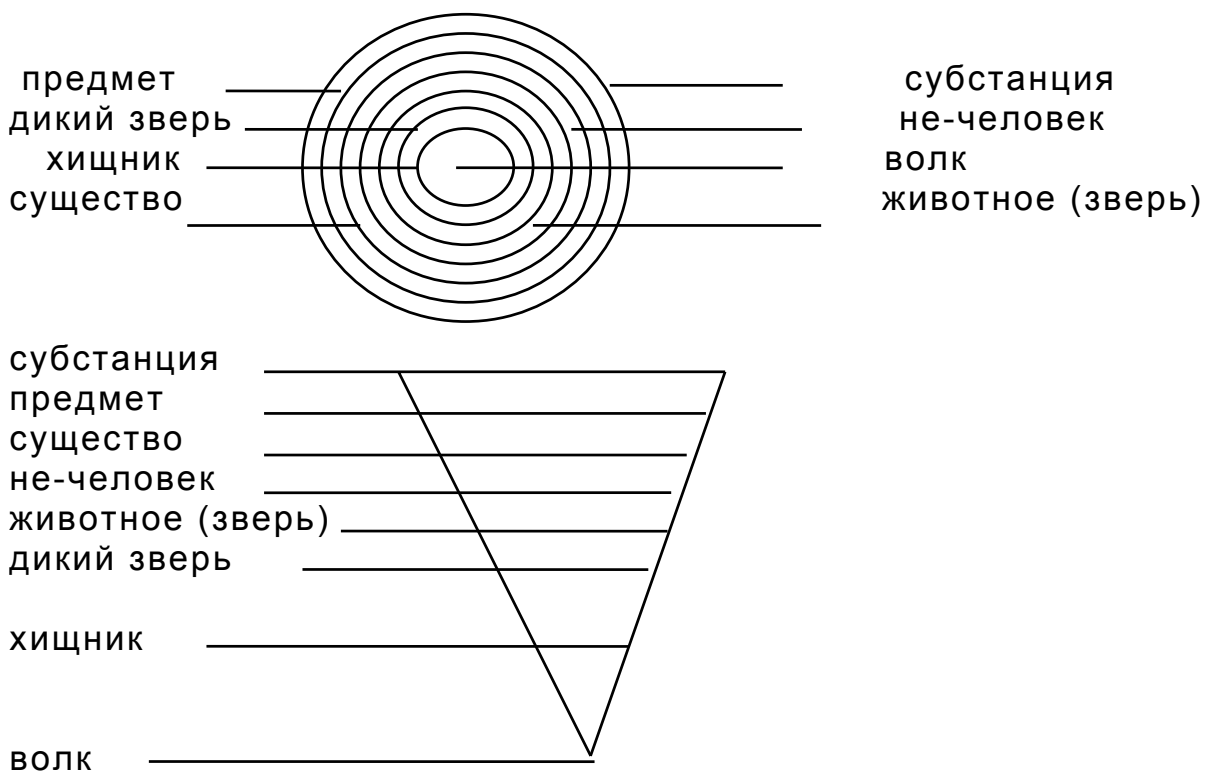


Рис 3 (Гл.2., 1.1)

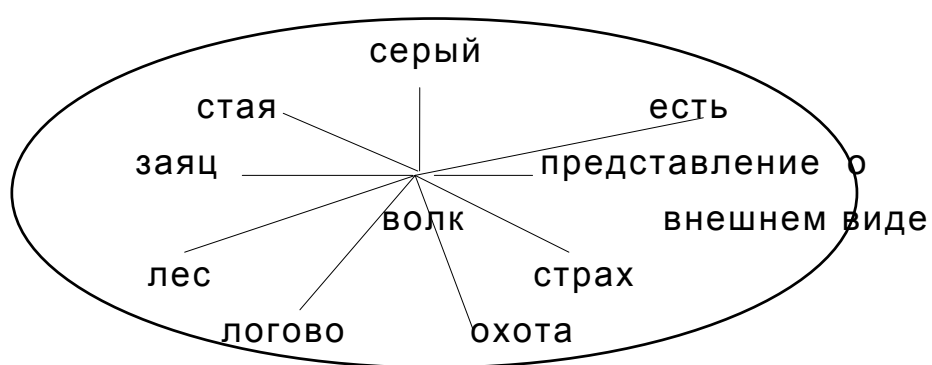


Рис.4 (Гл.2,1.1)

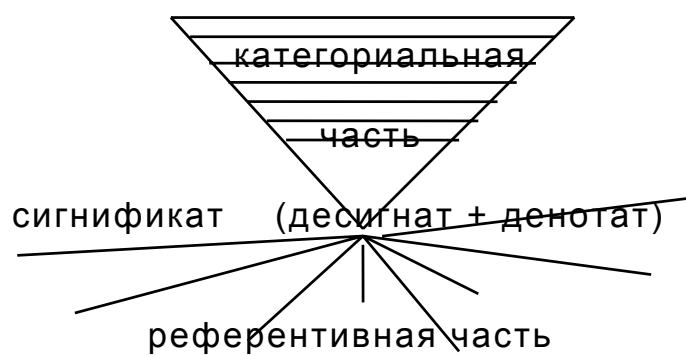


Рис.5 (Гл.2, 2.1)

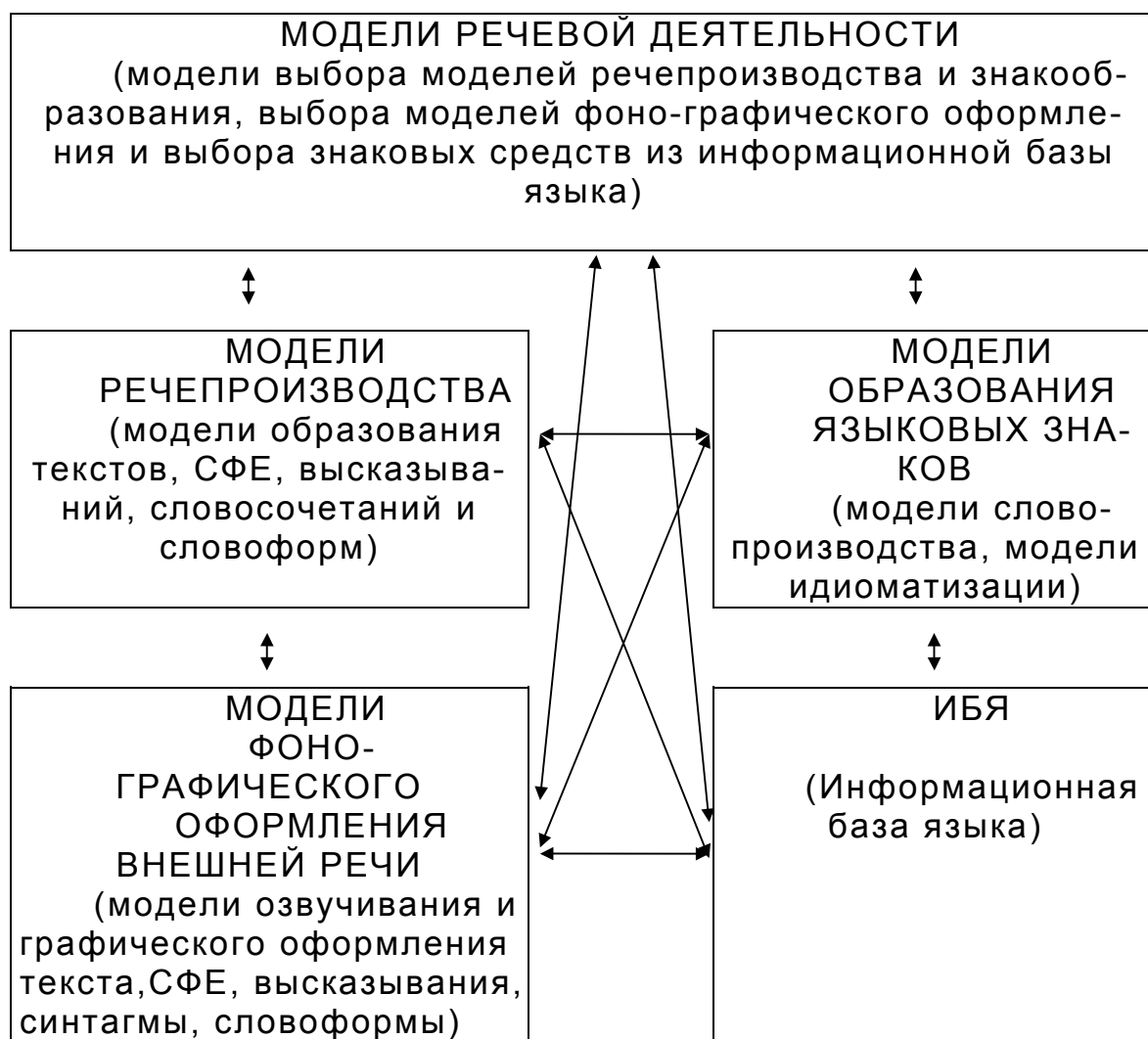


Рис.6 (Гл.2, 2.5)

